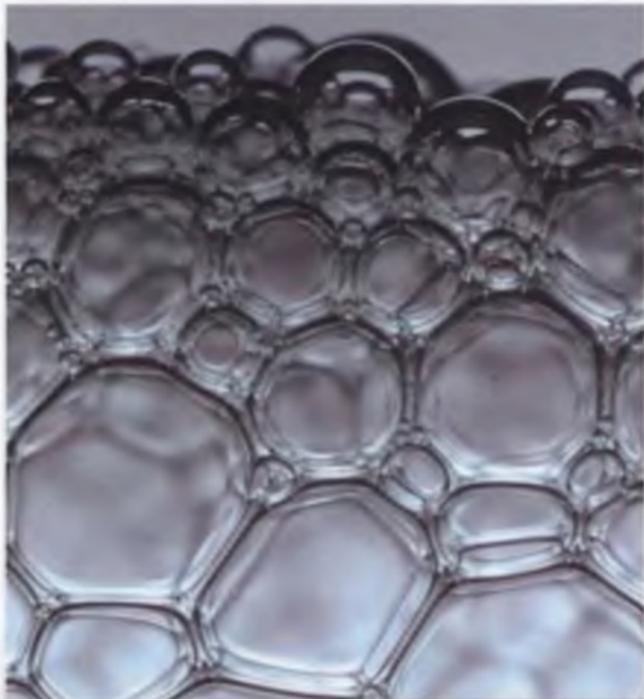


Петер
Слотердаjk

Сферы III
пена



**Петер
Слотердаик**

Сферы III
пена

Peter
Sloterdijk

SPHÄREN
PLURALE SPHÄROLOGIE

Band III

schäume

Suhrkamp

Петер
Слотердайк

СФЕРЫ
ПЛЮРАЛЬНАЯ СФЕРОЛОГИЯ

Том III

пена

Перевод с немецкого
К.В. Лощевского

i

Санкт-Петербург
«Наука»

2010

УДК 1/14

ББК 86.3+88.6

С48

*Перевод сочинения осуществлен
при поддержке Гёте-Института
за счет средств Министерства иностранных дел ФРГ*

ISBN 5-02-026882-8 («Наука»)
ISBN 978-5-02-026346-8 (Т. III)
ISBN 3-518-41466-6 (Suhrkamp)

© Suhrkamp Verlag Frankfurt
am Main, 2004
© Издание на русском языке.
Распространение на террито-
рии Российской Федерации.
Издательство «Наука», 2010
© К. В. Лощевский, перевод,
2010
© П. Палей, оформление, 2010

Столетие за столетием я возвращаюсь в самую далекую древность; я не вижу ничего подобного тому, что вижу сейчас.

Алексис де Токвиль. О демократии в Америке

ЗАМЕЧАНИЕ

Предлагаемая книга представляет собой третью, и последнюю, часть философского проекта, начатого в 1998 году публикацией «Сфер I. Пузыри» и продолженного в 1999 году «Сферами II. Глобусы». Из этого вытекают следствия, касающиеся способа ее прочтения. Автор должен считаться с тем требованием, что книга, выходящая отдельным изданием, может и читаться и пониматься как нечто самостоятельное. Это полностью относится к данной работе. Чтение можно начинать с третьей части «Сфер», как если бы она была первой. В определенном отношении она действительно является таковой, ибо все предприятие в целом может быть окинуто взором лишь со своего завершающего этапа.

Чтению не повредит, если ему будет предпослано несколько слов, призванных показать связность всей трилогии в целом. В двух предыдущих томах была предпринята попытка придать слову «сфера» статус фундаментального понятия, в котором обнаруживаются топологические, антропологические, иммунологические, семиологические смысловые аспекты. В «Сферах I» предлагается (как полагает автор, местами новое) описание человеческого пространства, в котором подчеркивается, что благодаря близкому совместному бытию людей возникает некий до сих пор недостаточно принимающийся во внимание интерьер. Мы называем эту внутреннюю область микросферой и характеризуем ее как весьма чувствительную и способную к обучению душевно-пространственную (если

угодно, моральную) иммунную систему. При этом акцент делается на тот тезис, что пара представляет собой величину, обладающую большей реальностью по сравнению с индивидом, — одновременно это означает, что Мы-иммунитет воплощает собой более глубокий феномен, чем Я-иммунитет. В эпоху, свято верящую в элементарные частицы и индивиды, такой тезис отнюдь не является чем-то само собой разумеющимся. Мы характеризуем миры человеческой близости как сюрреальные пространства, тем самым указывая, что даже такие непространственные отношения, как симпатия и понимание, чтобы стать представимыми и жизнеспособными, переводятся в квазипространственные.

Человеческое пространство, рассмотренное нами в семи вариантах, с самого начала (буквально *ab utero**) формируется как биполярное, а на более развитых стадиях — как многополярное образование; оно обладает структурой и динамикой, старомодно выражаясь, одушевляющего взаимодействия живых существ, предрасположенных к близости и причастности друг к другу; нередко это тесное слияние порождает извращенную близость первичной агрессии, ибо эти живые существа, вмещающие друг друга, могут и интернировать и аннигилировать друг друга. В то же время в этом отношении содержатся все те возможности, которые традиционно обозначались такими звучными понятиями, как дружба, любовь, понимание, консенсус, *concordia*** и *communitas****. Даже выхолощенное выражение «солидарность», к которому душевно привязались современные лишенные страсти левые (и которое в настоящий момент означает нечто такое, что можно было бы назвать телесентиментальностью), может, если, конечно, вообще может, быть регенерировано лишь благодаря этому источнику.

* От чрева (лат.).

** Согласие (лат.).

*** Общность, общение (лат.).



Пабло Рейносо. *La parole (Речь)*. 1998 г.

Человек, поскольку он есть существо, которое «экзистировать», является гением соседства. Хайдеггер в свое высшей степени креативное время так определил эту ситуацию: когда экзистирование пребывает вместе, они удерживаются «в одной и той же сфере открытости». Они и взаимно достижимы, и взаимно трансцендентны — мысль, которую не устают подчеркивать диалогические мыслители. Однако не только люди, но и вещи и обстоятельства на свой манер подчинены принципу соседства. Поэтому «мир» означает для нас взаимосвязь возможностей доступа. «Dasein уже несет с собой сферу возможного соседства; по самой своей природе оно уже есть сосед...»¹ Лежащие рядом камни не знают экстатической открытости друг другу.² Тот, кто желает, может рассмат-

¹ *Martin Heidegger. Einführung in die Metaphysik, gehalten 1935, Tübingen 1953. Frankfurt, 1983. S. 138.*

² Не все с этим согласны. Один современный автор отмечает: «Монгольский шаман сказал мне, что камень, выкапываемый из земли, не сможет успокоиться в течение многих лет. Я считаю это вероятным» (*Martin Mosebach. Ewige Steinzeit // Kursbuch 149. Berlin. September, 2002. S. 13.*)

ривать «Сферы I» как погружение в бездну онтологической нервозности в поисках сосуществующего, Другого, внешнего. В ходе этого стоического путешествия в первую экологическую нишу человека невозможно было обойтись без своего рода очерка философской гинекологии. Понятно, что это не каждому придется по вкусу. Тем хуже читателям, которых еще меньше порадует насыщенная теологической информацией пропедевтика интимности, завершающая эту книгу об обращенных вовнутрь эксцессах.

В «Сферах II» выводятся следствия из понимания экстатически-сюрреальной природы обжитого и обитаемого пространства. Это осуществляется в форме объемистого повествования об экспансии душевного в процессе имперского и когнитивного захвата мира. Теперь мы могли бы назвать все наше предприятие философским романом, в котором реконструируются доступные обозрению этапы закругления внешнего. Здесь утрирование оправдывает себя не только как стилистическое средство, но и как метод наглядного прояснения взаимосвязей. В таком случае первой главой гиперболического романа был бы первый том проекта «Сферы», в котором речь идет об интимной конституции диады и о ее развертывании в простую семейную композицию — процессе, ведущем от двоицы к пятиполюсной структуре как минимальной форме способности к психическим связям и открытости миру. Взяв начало в фундаментальной семейной ситуации (ее архитектурным символом является хижина), программа экспансии движется от деревни к городу, к империи и далее к конечному универсуму, пока не теряется в необитаемом безграничном пространстве. От этой сияющей тропы отходят мучительные ответвления дантовских адов — они иллюстрируют почти все возможности погруженности в наихудшее. В течение этого периода обучения инклюзивному чувству можно наблюдать, как бесчисленные небольшие сферы лопаются и иногда воспроизводятся в большем формате. Повторим: микросфера — это про-

странство обучения, обладающее способностью к росту. В нем действует закон присоединения посредством ассимиляции; если оно удерживается в потоке, то лишь благодаря бегству во что-то большее. Оно — гибридно-эластичное пространство, реагирующее на деформацию не только реставрацией, но и экспансией. На постулате, гласящем, что последнюю безопасность можно найти лишь в величайшем и только в нем, зиждется роман души с геометрией. Именно в этом заключалось событие, именованное метафизикой: локальное существование интегрируется в абсолютный шар — и одушевленная точка набухает до размеров вселенской сферы. Самое безоглядное упрощение прокладывает путь к спасению.

В ходе повествования должно было стать понятным, почему классическая философия приняла форму макросферологии, созерцания величайшего шара и всеобъемлющей иммунной структуры. Там, где послеплатоновское философское мышление оказывалось на высоте, два воплощения тотальности — мир и Бог — представлялись в виде всё включающих в себя сферических объемов, в которые включена иерархия многочисленных концентрических мировых оболочек, ценностных сфер и энергетических кругов — вплоть до точечной души, воспринимаемой как световой источник атома Я. Существование характеризуется погружением в какую-либо предельную стихию, — оно пребывает либо «в Боге», либо «в мире», а, возможно, в них обоих одновременно. Скажи мне, во что ты погружен, и я скажу тебе, что ты есть. Распространенность таких воззрений позволяет нам понять, каким авторитетом они пользовались у практически всех мощнейших мыслителей старой Европы: начиная с Плотина и кончая Лейбницем рассмотрение макросфер являлось главной формой онтологии.³ Согласно традиционным убеждениям, одна и та же «сфера открытости» окру-

3 См.: *Dietrich Malinkę. Unendliche Sphäre und Allmittelpunkt. Halle, 1937; Georges Poulet. Metamorphosen des Kreises in der Dichtung. Frankfurt; Berlin; Wien, 1985. S. 11—124.*



Альберт Шпеер. *Проект большого зала.*

жает как физический космос, так и познающее Я. Отсюда экзальтированная вера в то, что в природе человеческого духа заключено стремление к достижению своего рода совместного знания о первых и последних вещах; отсюда и быстро исчезающее первоначальное ощущение бытийных дебютантов, что на земле они способны добиться чего-то великого. «Я состоял из одной лишь головы — и был таким, словно во мне воплощаются совершенство и вечность, а именно абсолютно круглым; это позволяло заключить... что в будущем я обрету подвижность для всемирного завоевательного похода...».* По иронически преломленной мысли писателя, каждый индивид еще в пренатальном состоянии начинает свой жиз-

⁴ *Jean Paul. Des Geburtshelfers Walther Vierneissel Nachtgedanken über seine verlorne Fötus-Ideale, indem er nichts geworden als ein Mensch [Ночные мысли акушера Вальтера Фирнайсселя по поводу своего утраченного эмбрионального идеала, ибо он стал не кем иным, как человеком] // Jean Paul. Museum (1814). Sämtliche Werke. Abt. II. Bd 2. Darmstadt, 2000. S. 1005, 1010.*



Джозайя Вудворд. *Fair Warnings to a Careless World* (Честные предупреждения беспечному миру). Фрагмент. 1707 г.

ненный путь с такого рода предвосхищений. Если бы реальность соответствовала идеалу, то человеческий дух не стал бы взрослым, прежде чем не научился воспринимать себя в качестве младшего партнера абсолютного. Как анонимный плацентарный гений и плод образуют первую пару, так Бог и душа, или, если угодно, космос и индивидуальный интеллект, — последнюю.

Цель обширного повествования «Сфер II», прослеживающего извилистый и полный катастроф путь от минимума к максимуму, состояла в разъяснении того, почему метафизика представляла собой продолжение анимизма как теоретическими, так и политическими средствами, — анимизм же есть вера в иммунную гиперсистему «душа». На этом фоне становится ясно, почему классическая метафизика должна была разбиться о свои внутренние противоречия. Хотя мы повсюду сталкиваемся с легендой, что она погибла под ударами отрезвляющей критики и более совершенного знания позднейшего интеллектуального порядка, в действительности роковой

для нее стала внутренняя невозможность ее собственного замысла. Те немногие, кто относится к ней серьезно, и сейчас понимают это: она разрушилась из-за того, что желала защитить дело жизни, сохраняющейся лишь в конечности индивидуированной иммунной системы, и одновременно принимала сторону Бесконечного, отрицающего отдельную жизнь и игнорирующего частные иммунные интересы. Как служанка двух господ, классическая метафизика разбивается о невозможность своей позиции, и критике языка, психологии или «деконструкции» не понадобилось бы даже пошевелить для этого пальцем. Эта эндогенная неудача (которая, разумеется, должна быть констатирована и извне) ведет к весьма далеко идущим последствиям: благодаря ей становится явным конфликт между бесконечностью и иммунитетом, в котором заключен первичный спор современного мышления, а возможно, и всякого мышления, желающего быть философским.

В соответствии с логикой предмета реконструкция метафизической мании упрощения и объединения завершается кратким изложением истории современного мира — европоцентричным, насколько это необходимо, всемирно-историческим, насколько это возможно. Под современностью мы, скорее по традиции, понимаем эпоху, в которую в Старом Свете происходило освобождение от метафизического моноцентризма. В это время осуществлялся разрыв того магически простого круга, который прежде обещал всем живым существам иммунитет в их Едином Боге — то есть внутри гладкой целостности. Тот, кто рассказывает такую историю, *nolens volens** должен дать в общих чертах картину европейской экспансии после 1492 года. Это эксцентричное движение, в настоящее время однобоко обозначаемое как «глобализация» (словно она была только одна, а не три), реконструируется в форме макроисторического рассмотрения в 8-й главе

* Волей-неволей (лат.).



Аркадий Шайхет. *Монтаж глобуса на здании московского телеграфа. 1928 г.*

«Сфер II», озаглавленной «Последний шар. К философской истории наземной глобализации». Наземной мы называем ту глобализацию, которая следует за метафизической и предшествует телекоммуникативной. Эту главу в соответствии с ее внешними и внутренними характеристиками можно прочесть и в качестве самостоятельной публикации.^{5**}

⁵ См.: Сферы. Т. II. Гл. 8. С. 806—1014; этот текст вышел в качестве самостоятельной публикации в итальянском переводе под заглавием «L'ultima sfera. Breve storia filosofica della globalizzazione» (Roma, 2002); в значительной мере расширенный немецкий вариант озаглавлен так: «В мировом внутреннем пространстве капитала» (Im Weltinneiraum des Kapitals. Frankfurt, 2005).

О состоянии идей круга и шара в XX столетии — применительно к теории мира — свидетельствует анекдотичная история, рассказанная Альбертом Шпеером в его «Воспоминаниях». В начале лета 1939 года Адольф Гитлер (который годом ранее вместе с Ганди рассматривался в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира) в соответствии со своими планами мирового господства вознамерился внести изменения в спроектированную совместно со Шпеером модель монументального здания новой рейхсканцелярии в Берлине. Теперь имперский орел на вершине 290-метрового купола уже не должен был, как это было предусмотрено ранее, находиться на национал-социалистском символе — свастике. Гитлер диктовал: «Венчать это величайшее в мире здание должен орел, сидящий на земном шаре».⁶

Надо ли еще объяснять, почему в этих словах дает о себе знать история загнивания политической метафизики? С давних пор она, когда выражалась ясно, артикулировалась как имперская моносферология, и когда Гитлер в своих мечтаниях заменяет свастику земным шаром, то и он также на секунду превращается в классического философа. Сложнее понять, каким образом протекает загнивание моносферического учения о Боге. О его начале, пожалуй, можно судить по следующему рассуждению аббата Сийеса, относящемуся к 1789 году:

«Я представляю себе закон как центр гигантского шара; все без исключения граждане на поверхности шара находятся на одном и том же расстоянии от него и занимают там одинаковые места; все в равной мере зависят от закона...»⁷

О распаде божественной моносферы свидетельствует заявление, что все человеческие твари должны быть в равной степени удалены от той точки, которой является ⁸

⁶ *Albert Speer. Erinnerungen. Berlin, 1969. S. 175.*

⁷ *Emmanuel Joseph Sieyès. Was ist der Dritte Stand // Politische Schriften 1788—1790. München; Oldenburg, 1981. S. 188—189.*

Бог. Трудно ли было предвидеть, что демократизация отношения к Богу приведет к его нейтрализации, а в конечном счете к его ликвидации и тому, что место неизбежно будет занято чем-то другим? Защищая «Энциклопедию», Дидро еще в 1755 году осуществил *expressis verbis** замену и объявил человека «общим центром» всех вещей (и всех словарных статей): «Существует ли в бесконечном пространстве какая-либо привилегированная точка, из которой мы могли бы направлять те бесконечные линии, которые мы хотим провести ко всем остальным точкам?»⁸ В момент предварительного конца истории мы наталкиваемся на радиотеоретический тезис Маршалла Маклюэна:

«Электрическая simultанность информационных движений порождает вибрирующую общую сферу аудиального пространства, центр которой повсюду, а окружность нигде».^{8,9}

При поверхностном взгляде кажется, что этот тезис посвящен распределению слуховых шансов в радиоакустическом пространстве мировой деревни. При более глубоком исследовании выявляются его теологические корни: паулистские амбиции величайшего медиатеоретика своей эпохи непосредственно отсылают нас к окруженной тайной теореме теософии средневековой «Книги двадцати четырех философов»,¹⁰ вызывая последнюю теорию Единого шара из духа электронного католициз-

8 Denis Diderot. Artikel aus der von Diderot und d'Alambert herausgegebenen Enzyklopädie / Ausgew. von Manfred Naumann. Stichwort «Enzyklopädie». Frankfurt, 1985. S. 359.

9 Marshall McLuhan. *Wohin steuert die Welt?* Toronto; Wien, 1978. S. 81. В том же самом контексте Маклюэн говорит о беспорядке, вносимом в католический централизм «вибрирующим пространством оральнй церкви» (Ibid. S. 79).

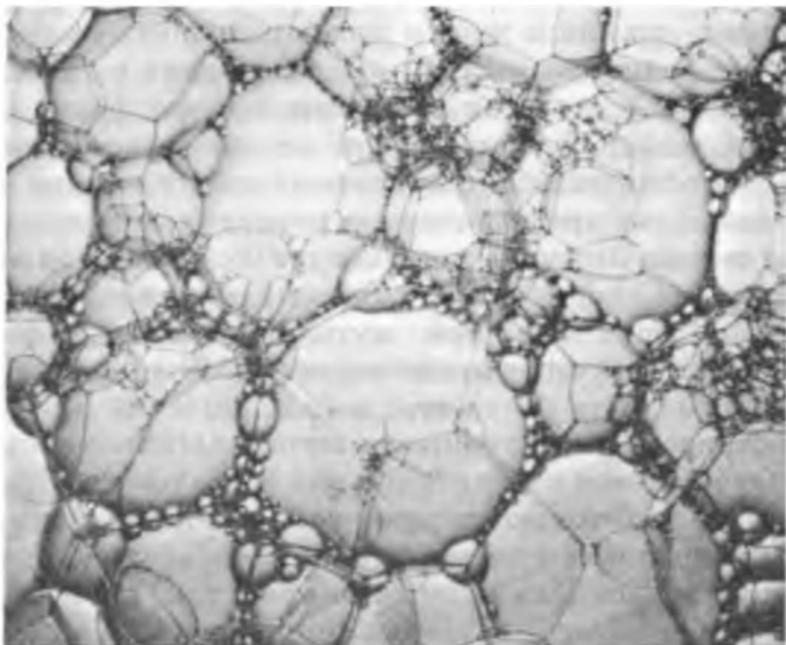
¹⁰ «Deus est sphaera cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam» [«Бог есть шар, центр которого всюду, а окружность нигде»]. Этот тезис рассматривается в соответствующем контексте и комментируется в «Сферах П. Глобусы» (Глава 5).

* Дословно (ла/п.).

ма. С великодушием, граничащим с требовательностью, Маклюэн постулирует наличие гибридного, трайбально-глобального информационного тара, который охватывает нас всех как осчастливленных и вынужденных членов «человеческой семьи» некоей «одной-единственной мембраной»¹¹ и который одновременно и круглый (центрированный, римский), и некруглый (периферийный, канадский). Машиной,, осуществившей это чудо упрощения, является¹ истолкованный в пятидесятническом духе компьютере согласно Маклюэну, он делает возможной интеграцию человечества в некое супертрайбалистское «психическое сообщество». Можно ли не заметить, что здесь вновь — и кто знает, возможно, не в последний раз — провозглашается единство глобальной деревни и церкви?

В «Сферах Ш. Пена», напротив, предлагается теория современной эпохи с той точки зрения, что жизнь разворачивается как мультифокальный, мультиперспективистский и гетерархический феномен. Исходным пунктом этой теории является неметафизическая и нехолистическая дефиниция жизни: ее иммунизация уже не может мыслиться с помощью средств онтологической симплификации, объединения в гладком вселенском шаре. Если жизнь формирует бесконечно многообразные пространственные образования, то не только потому, что каждая монада обладает своим собственным окружающим миром, но и прежде всего потому, что все эти монады перемешаны с другими жизнями и состоят из бесчисленного количества единств. Жизнь артикулируется на вложенных одна в другую симультанных аренах, она продуцируется и расходится в интегрированных сетевым образом маетерских. Однако для нас решающим является следующее: она всякий раз порождает пространство, в котором пребывает она и которое пребывает в ней. Если Брюно

¹¹ *Marshall McLuhan. Geschlechtsorgan der Maschinen. Playboy-Interview mit Eric Norden (März, 1969) — цит. по: Absolute Marshall McLuhan / Hrsg, von Martin Baltes, Rainer Höltzschl. Freiburg, 2002. S. 37.*



Майкл Боран. *Honey* (Мёд).

Латур говорил о «парламенте вещей»,¹² то мы, воспользовавшись метафорой пены, займемся рассмотрением своего рода республики пространств.

Исследования третьего тома подхватывают нить повествования в том месте, в котором завершается работа скорби (точнее, работа по улучшению настроения), вызванная невозможностью метафизики Всеобъемлюще-Единого. Ее исходным пунктом является подозрение, что в действительности дело жизни не находится в хороших руках ни у представителей традиционных религий, ни у метафизиков. И те и другие были сомнительными советчиками нерешительной жизни, поскольку в конечном счете не могли прописать ей ничего другого, кроме плацебо увлечения небесным упрощением. Если это так, то

12 *Bruno Latour. Das Parlament der Dinge. Für eine politische Ökologie. Frankfurt, 2001.*

отношение знания и жизни следует мыслить куда более решительно по-новому, чем это приходило в голову реформистам XX столетия. Староевропейская форма мышления и жизни — философия, несомненно, исчерпала себя, биософия только принялась за работу, теория атмосфер едва-едва предварительно консолидировалась, всеобщая теория иммунных и коммунных систем только зарождается,¹³ теория мест, ситуаций, погружений нерешительно начинает свой путь,¹⁴ замена социологии теорией сетей акторов представляет собой лишь немногими принимаемую гипотезу,¹⁵ а размышления о призыве реалистически структурированного коллектива к принятию некоей новой конституции для глобального общества знания только-только обрели самые общие контуры.¹⁶ По этим признакам не так-то просто выявить какую-либо общую тенденцию. Ясно лишь одно: там, где сожалеют о потерях в форме, появляются приобретения в подвижности.

Веселый мысленный образ пены служит нам для постметафизической реконструкции дометафизического плюрализма изобретений мира. Он поможет нам переместиться в стихию разнообразного мышления, не позволяя сбить себя с толку тем нигилистическим пафосом, который в течение XIX—XX веков был невольным спутником рефлексии, разочаровавшей в монологической метафизике. Он вновь объяснит нам, что скрывается за нашей веселостью: тезис «Бог мертв», несомненно, стал благой вестью современности. Мы могли бы переформулировать

¹³ См.: *Roberto Esposito. Immunitas. Protezione e negazione della vita. Torino, 2002; Idem. Communitas. Origine e destino della comunità, Torino, 1999; Philippe Caspar. L'individuation des êtres. Aristote, Leibniz et l'immunologie contemporaine. Paris; Namur, 1985.*

¹⁴ См.: *Homi K. Bhabha. Die Verortung der Kultur. Tübingen, 2000; Volker Demuth. Topische Ästhetik. Körperwelten Kunstwelten Cyberspace. Würzburg, 2002; Hermann Schmitz. Adolf Hitler in der Geschichte. Bonn, 1999.*

¹⁵ См.: *Bruno Latour. Gabriel Tarde und das Ende des Sozialen // Soziale Welt 52 (2001). S. 361—375.*

¹⁶ *Bruno Latour. Das Parlament der Dinge.*

его: Единый шар взорвался, что ж — пена живет. Если механизмы объединения разоблачены как упрощающие глобусы и разновидности имперской тотализации, это не причина, чтобы мы бросили все то, что считалось большим, воодушевляющим и ценным. Сказать, что вредный Бог консенсуса мертв, означает осознать, с какими энергиями нам отныне придется иметь дело, — ими не могут быть никакие другие энергии, кроме тех, которые были вплетены в метафизическую гиперболу. Когда отживает великий эксцесс, возникает множество более скромных движений.

Пролог

ПЕННОРОЖДЕННОСТЬ

И даже мне, расположенному к жизни, кажется, что мотыльки и мыльные пузыри и те, кто похож на них среди людей, больше всех знают о счастье.

Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра.
*Часть первая. О чтении и письме**

ВОЗДУХ В НЕОЖИДАННОМ МЕСТЕ

Почти ничто, и все-таки — не ничто. Нечто, хотя и только паутина из полых пространств и тонких стен. Реальная данность, но в то же время хрупкое строение, лопающееся и гибнущее от самого легкого прикосновения. Такова пена, и так она открывается повседневному опыту. С добавлением воздуха жидкое и твердое теряют свою плотность; то, что казалось самостоятельным, однородным, надежным, превращается в некие рыхлые структуры. Что же происходит? Феномен пены обязан своим существованием смесимости противоположных веществ. Легкой стихии очевидным образом присуща коварная способность проникать в более тяжелые стихии и соединяться с ними — как правило, на мгновение, но в некоторых случаях и на достаточно длительное время. «Земля*», соединившись с воздухом, образует стабильную и сухую пену, такую как лавовый камень или вспененное стекло — явления, лишь в современную эпоху приз-

* Перевод Ю. Антоновского.

нанные разновидностями пены, после того как введение воздушных камер в любые твердые или эластичные материалы стало индустриальной рутинной. «Вода» же, соединенная с воздухом, дает влажную и жидкую недолговечную пену, такую как пена морского прибоя и накипь на стенках стоящей на огне кастрюли. Эта кратковременная связь газов и жидкостей становится моделью для общепринятого понятия пены. Оно подразумевает, что при пока невыясненных обстоятельствах плотность, непрерывность, массивность уничтожаются в результате вторжения пустоты. Воздух, непонятная стихия, находит пути и средства проникать туда, где его никто не ждет; более того, он своими силами создает странные места, где до него ничего не было. Каким же в таком случае должно быть первое определение пены? Воздух в неожиданном месте?

Пена, в своей недолговечной форме, позволяет нам собственными глазами наблюдать субверсию субстанции. Одновременно мы убеждаемся в том, что месь надежного, как правило, не заставляет себя ждать. Как только волнение, вызванное смещением, обеспечивающим проникновение воздуха в жидкость, успокаивается, величье пены быстро меркнет. Одно продолжает внушать тревогу: что позволяет ослабить субстанцию, пусть даже только на короткое время, если не причастность к тому, что должно считаться дурным и презренным, а возможно, даже враждебным? Именно таким образом традиционно истолковывалось это сомнительное нечто — и вызывало недоверие как некое извращение. Как лабильная структура, образованная заполненными газом полыми пространствами, которые словно в результате ночного путча захватили власть над надежным и основательным, пена предстает в качестве дерзкой инверсии природного порядка, осуществляемой внутри самой природы. Кажется, что материя оказалась на ложном пути и на физических сатурналиях увлеклась чем-то совершенно бесперспективным. Не случайно в течение целой эпохи пена

была отмечена позорным пятном, выступая в качестве метафоры несущественного и непрочного. Ночью люди дают кредит фантомам, в сумерки — утопиям; когда же взойдет утреннее солнце и мир проснется, они «растают на рассвете, как пены снег пустой».¹⁷ Пена есть нечто паробразно легкое, внешне полнотелое, ненадежно переливающаяся — бастард материи, появившийся на свет в результате незаконной связи стихий, сверкающая поверхность, обман из воздуха и чего-то еще. В пене приходят в движение подъемные силы, не нравящиеся любителям надежных состояний. Когда вспенивается плотное вещество, оно оказывается призраком самого себя. Материя, плодородная матрона, ведущая добропорядочную жизнь бок о бок с логосом, переживает истерический кризис и отдается в руки первой попавшейся иллюзии. Злые воздушные жемчужины проделывают с ней в высшей степени сомнительные фокусы. Она волнуется, вздувается, сотрясается, лопается. Чем же все это заканчивается? Пенный воздух возвращается во всеобщую атмосферу, более твердая субстанция превращается в горстку праха. Из почти ничего получается почти ничто. Если же твердое вещество выносит из объятий с ничтожным лишь ложные беременности, то кто может утверждать, что это происходит неожиданно?

Итак, там, где набухает пена, разочарование гарантировано. Как некогда сновидения казались не более чем пустым дополнением к реальности, которым можно спокойно пренебречь и, более того, от которого по возможности следовало бы избавиться, чтобы остаться в сфере категориального, субстанциального, общественного, — так и у пены отсутствует все то, что могло бы быть связано с авторитетными сферами прочного и значимого. Императив Гераклита следовать общему (*koínon*) в течение целой

¹⁷ Генрих Гейне. Книга песен. Лирическое интермеццо XLIII «Из старых сказок, мнится...», заключительные строки [перевод Вс. Рождественского].

эпохи воспринимался как требование остерегаться ночного и сугубо частного, сказочного и пенного, этих агентов не-общего, не-публичного, не-светского.¹⁸ Заключив союз со светлым днем, ты будешь прав. Там, где общее воспринимается со всей трезвостью, бытие официально заявляет о себе. В тезисе «Сны — это пена» отождествляются два вида ничтожности. Пена и сновидение... Здесь одно несущественное рифмуется с другим.* * Еще лейпцигский студент Гёте мудро высмеивал «пустую голову, что пенится на треножнике и подобно Пифии во сне изрекает пророчества».** Пена есть реально существующий обман: не-сущее как все-таки сущее, или симуляция бытия, символ Первого Ложного, эмблема разложения надежного непрочным, — обманчивый свет, излишек, каприз, болотный газ, в котором обитает некая подозрительная субъективность.

Так думали не только академики, эссенциальные фундаменталисты, наследовавшие Платону. Народное простодушие издавна весьма прохладно относилось к пенному, легкому, слишком легкому. Между классической метафизикой и народно-онтологической повседневностью, несмотря на их глубокие различия, с давних пор существовало взаимное согласие относительно того, что серьезному, ответственному уму присуще презрение к пене. Вербальные характеристики несерьезного: пена и воздушные замки; способ существования опустившихся людей: накипь, пена; паутина томления романтических умов: сладкое блуждание пустой субъективности по себе самой; яростно-пустые претензии множества недовольных к политике, или, точнее, к универсуму: речевые пузыри, возникшие в результате перемешивания в резервуаре коллективных иллюзий. О такого рода явлениях хо-

18 См.: Die Vorsokratiker, griechisch-deutsch / Hrsg. von Jaap Mansfeld. Stuttgart, 1987. S. 244—245, fr. 3.

* Нем.: Schaum und Traum.

** «leeren Kopf, der auf dem Dreyfuß schäumet / Und wie die Pythia Orakel-Sprüche träumet*».

рошо известно: там, где приходит к власти пустота, она оставляет след из лопнувших фраз. В пене, как в карточных домиках, обитают мечтатели и агитаторы. Там никогда не встретишь людей взрослых, серьезных и солидных. Кто такой взрослый? Это тот, кто остерегается искать опору в неустойчивом. Лишь соблазнитель и мошенники, жаждая невозможного, увлекают своих жертв беспочвенной взволнованностью. Пена — парадный мундир *nihil*,* из которого ничего не может получиться, ибо информации Лукреция все еще можно доверять; она есть непрочное, «одноразовое», выдающее себя неплодотворностью и бездеятельностью. Пенное существует, говорят информированные источники, лишь в пустой обращенности к самому себе; оно живет не более чем эпизодами, всегда оставаясь занятым собственным вздутием. То, чему не предстоит ничего кроме распада, есть лишь дурная надутость, пришедший к власти анекдот. Пена ничего не производит на свет, за ней ничего не следует. Ничего не ожидая от жизни и не порождая следующих поколений, она знает лишь движение к собственному разрыву. Поэтому изо всех диковинных детей хаоса пена если не первенец, то по крайней мере самое презренное дитя.¹⁹

И все же: когда в гегелевской логике мышление провалилось к многозначности, на повестку дня встала позитивизация негативного, а с ней и возможная реабилитация пены. «Из брожения конечности, прежде чем она превратиться в пену, испаряется дух».²⁰ Не должен ли сам дух, та среда в которой субстанция развивается в

¹⁹ Еще полностью оставаясь в русле традиции, Витгенштейн сказал о критике языка: «Это лишь воздушные замки, которые мы разрушаем» (*Ludwig Wittgenstein. Philosophische Untersuchungen. Frankfurt, 1967. S. 68*). В том же самом духе, и не боясь сомнительных образов, Ричард Сол Вурмен (*Information Architects. New York, 1997*) говорит о «гигантской волне данных», подобно *an incoherent cacophony of foam* [бессвязной какофонии пены] обрушивающейся на людей информационной эпохи.

²⁰ *G. W. F. Hegel. Vorlesungen zur Philosophie der Religion. Werke in 20 Bänden. Frankfurt, 1970. Bd 17. S. 320.*

* Ничто (*лат.*).

субъект, даже быть чем-то обязанным пене? Не оказывается ли она, бастард, которому нельзя доверять, тем долгоискомым средним, в чем духовное и материальное соединились в конкретность, именуемую существованием? Не есть ли она то третье, в котором была преодолена бинарная идиотия? Не было ли у Аристотеля предчувствия такого рода амальгамы, когда в «*Problemata physica*»* он причислял болезнь умных мужчин, меланхолию, к «воздушным недугам», одним из признаков которых является родство с пенящимися веществами, связывая эту болезнь с черной желчью, по мнению античных врачей представлявшей собой воздухосодержащую смесь? Если обычные смертные хотят понять состояние людей незаурядного ума, им поможет пенящееся, теплое темное вино, ибо оно приведет их в расположение духа, «в котором (с давних пор) пребывают содержащие в себе воздух меланхолики».²¹ Не было ли поэтому изучение меланхолии неожиданным связующим звеном между антропологией и теорией пены? Тягу таких мужчин к вину Аристотель объяснял тем, что оно благодаря своему пенному характеру и наличию в нем воздуха делает их любвеобильными. Даже мужская эрекция и эякуляция, согласно Аристотелю, сводились к пневматическому эффекту. Итак, вновь воздух в неожиданном месте: ведь «извержение (спермы), очевидно, также происходит в силу напора воздуха».²²

ТОЛКОВАНИЕ ПЕНЫ

Тот факт, что в процессе изменения картины мира XIX—XX веков как сновидения, так и пена более не могли оставаться на своих местах в старом субстанциальном космосе, является — наряду с многочисленными переворотами в области знаков и поразительным перераспреде-

²¹ *Aristoteles. Problemata physica. XXX, I. Darmstadt, 1962. S. 252.*

²² *Ibid.*

* «Трудности природы» (*греч.*).

лением сил — одним из интимных признаков той формы мира, которую ныне более спокойным тоном называют современной. Если венский психоанализ, несмотря на его консервативные черты, с полным правом причисляли к движущим силам ментальной модернизации, то в первую очередь потому, что в нем утверждался некий новый модус обхождения с мнимо маргинальным, прежде побочным и остававшимся ранее без внимания. Благодаря своему расположению в том эпистемологическом месте, в котором должно было состояться слияние позднеидеалистически-романтических философий бессознательного и естественнонаучно-технических механистических концепций, психоаналитическому авангарду удалось сформулировать знаковое понятие, позволившее по-новому посмотреть на то, что ранее считалось неприглядным и незначительным. Сделав психические симптомы читаемыми подобно текстам, Фрейд, как заметил Арнольд Гелен, смог стать «Галилеем мира внутренних фактов». То, что было *quantité négligeable*,* обрело смысл и оказалось в фокусе внимания. Решение раннего Фрейда избрать в качестве столбовой дороги к бессознательному сновидение обнажило «революционную» смену акцентов между центром и периферией. Но, оглядываясь на прошедшее столетие, мы видим, что выход в 1900 году в свет «Толкования сновидений» знаменовал не только эпистемически-пропагандистский акт основания психоаналитического движения, но и стал одним из исходных пунктов субливерсии системы серьезного и сознания важного вообще. То, что производит сдвиг в серьезном и ревизует декорум, изменяет всю культуру в целом. Приняв участие в подготовленной романтизмом реабилитации такого измерения, как сновидение, венский психоанализ вошел в контекст, в котором речь шла не менее как о перераспределении акцентов в поле первичного, основополагающего, задающего значения, — то есть он стал участником

* Незначительное количество (фр.).

процесса революционной культурной мощи: в нем шоковые волны ницшевской атаки на метафизический идеализм слились с потоками раздражения, изливавшимися как марксистской, так и позитивистской критикой надстройкой. Новое искусство чтения едва заметных знаков как интимных, так и публичных смысловых взаимосвязей интегрировало самые приватные фантазии, причуды, отклонения и ошибки в некие субверсивно расширенные семантические гипотезы. Эта ревизия границ между смыслом и бессмыслицей, серьезным и несерьезным самым решительным образом изменила формат культурного пространства. Теперь незначительное свело свои старые счета со значительным. Отныне сновидения — уже не пена, они разве что служат индикаторами эндогенного вспенивания психических систем и дают повод для формулирования гипотез по поводу законов, которым подчинено формирование симптомов и извержение внутренних образов.

Но если мы осознаём факт новаторского сдвига в серьезном, то как обстоит дело с другим членом уравнения, объединяющего сновидения и пену? Каким образом в XX столетии пена могла восприниматься как нечто серьезное? Какая значимость приписывалась «воздуху в неожиданном месте»? Как шла работа над реабилитацией этого недолговечного, обреченного на распад? С помощью каких средств осуществлялись попытки корректного описания автономных полых пространств, которые наполнены собственными значениями внутренних сфер, пригодных для дыхания интерьеров и климатических фактов? Адекватный ответ на эти вопросы, если, конечно, он уже возможен в наше время, дал бы нам своего рода метеосводку модернизации. Он стал бы подробным описанием метода доступа к случайному, моментальному, смутному, преходящему и атмосферному, — метода, в котором специфическим образом используются искусства, теории и экспериментальные формы жизни. Одним из достигаемых с его помощью результатов стала принципиально новая, постгероическая редакция декорума — свод правил, в соответствии с

которыми эталонируются культуры в целом.²³ Тот, кто захотел бы предпринять всеобъемлющую реконструкцию этих процессов, должен был бы говорить как об интенциях неискаженного Ницше, так и о развертывании импульса Гуссерля; как о перспективизме 1990 года, так и о теории хаоса 2000 года; как о превращении сюрреального в самостоятельную секцию реального, так и о признании за атмосферным теоретической ценности;²⁴ как о математизации неточного,²⁵ так и о понятийном проникновении в перфорированные структуры и беспорядочные множества.²⁶ Он должен был бы говорить о мятеже незаметного, в результате которого малое и недолговечное обеспечило себе попадание в поле зрения больших теорий, — о своего рода следо-ведении, целью которого является вычитывание из неброских примет знаков, указывающих на тенденции мировых процессов.²⁷ Кроме «микрологического» поворота, следовало бы говорить об открытии неопределенного, благодаря которому — возможно, впервые в истории мышления — не-ничто,²⁸ почти-ничто,²⁹ случайное и бес-

23 Здесь мы следуем теории декорума, предложенной Хайнером Мюльманном в его фундаментальной книге «Природа культур. Культурно-генетическая теория» (*Heiner Mühlmann. Die Natur der Kulturen. Eine kulturgenetische Theorie.* Wien; New York, 1996. S. 50—97). Более подробно см. ниже Главу 1, раздел С. Краткую версию изложения подхода Брока—Мюльманна см.: *Heiner Mühlmann. Die Ökologie der Kulturen // Krieg und Kunst / Hrsg. von Bazon Brock, Gerlinde Koschik.* München, 2002. S. 39—54.

²⁴ Прежде всего в трудах основателя неофеноменологии Германа Шмитца; среди прочего см.: *Hermann Schmitz. Leib und Gefühl. Materialien zu einer philosophischen Therapeutik.* Paderborn, 1992. S. 135 f.

²⁵ См.: *Bart Kosko. Die Zukunft ist fuzzi. Unscharfe Logik verändert die Welt.* München, 2001.

²⁶ См.: *Gilles Deleuze, Felix Guattari. Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2.* Paris, 1980. Chap. 14. P. 592—625; нем. изд.: *Tausend Plateaus.* Berlin, 1992. S. 657—694.

²⁷ См.: *Ernst Bloch. Spuren.* Berlin, 1930; 2-е изд.: Frankfurt, 1969.

²⁸ См.: *Günther Gamm. Nicht nichts. Studien zu einer Semantik des Unbestimmten.* Frankfurt, 2000; *Idem. Flucht aus der Kategorie. Die Positionierung des Unbestimmten als Ausgang aus der Moderne.* Frankfurt, 1994.

²⁹ См.: *Vladimir Jankélévitch. Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien.* Paris, 1957; 2-е изд.: Paris, 1980.



**Жан-Люк Паран. *Livres de Jean-Luc Parant mis en boules*
(Книги Жан-Люка Парана, помещенные в шары).**

форменное³⁰ вошли в область доступной теоретическому осмыслению действительности.

Сколь бы широким ни был такой обзор свидетельств смещения серьезного в сторону знаков непризнанного, незаметного, маргинализированного, он только подтверждает тот факт, что убедительное собрание этих инноваций еще никогда не рассматривалось в некоем общем пространстве. На современных теориях и теориях современности все еще лежит длинная тень субстанциального мышления, которое не испытывает особого интереса к акцидентальному. Презрение к несубстанциальному и по сей день определяет тематику академической философии, в которой продолжает давать знать о себе древнейшая инерция. Это не препятствует свободным умам уже в

³⁰
Paris, 1996.

См.: *Yve-Alain Bois, Rosalind Kraus. L'informe. Mode d'emploi.*

течение достаточно продолжительного времени отправляться на фронты в высшей степени рискованной актуальности, но их участие в боях еще не смогло привести к новой связной оценке ситуации. Пусть сновидения уже не считаются пеной, но это все-таки останется половинчатым достижением, пока не удастся осуществить и полную эмансипацию пены. Характерные для современности революции в серьезном и ревизии декорума будут иметь важные последствия лишь в том случае, если толкование сновидений будет поддержано толкованием пены.³¹ Его задача — уделить «воздуху в неожиданном месте» подобающее ему внимание, в надежде, что при этом в неожиданном месте возникнет теория, — постгероическая теория, в фокусе которой окажется недолговечное, неважное, вторичное, тогда как в героической теории все внимание было направлено на постоянно сущее, субстанциальное, первичное. Более того, возможно, что лишь после проведения параллельной акции в отношении пены по-настоящему прояснится значение толкования сновидений. Если Эрнст Блох в своей после первоначального успеха почти забытой политической онтологии человеческой способности предвосхищения ослабил зависимость фрейдовского толкования сновидений от ночных и регрессивных смысловых слоев, дабы наделить фантазии достоинством утопической потенции и формирующей реальность проективной силы, то толкование пены должно быть конституировано как политическая онтология одушевленных внутренних пространств. В ней самое хрупкое должно быть понято как сердцевина действительности.

На языке наших исследований толкование пены елудет называть полисферологией или расширенным теплицеведением. С самого начала необходимо констати-

³¹ О происхождении этого выражения, *ad hoc* использованного Хансом-Юргеном Хайнрихсом в одном разговоре, см.: *Hans-Jürgen Heinriche, Peter Sloterdijk. Die Sonne und der Tod. Dialogische Untersuchungen. Frankfurt, 2001. S. 347.*

ровать, что это «чтение» в пене не может остаться простой герменевтикой или расшифровкой знаков. Толкование пены, как мы его понимаем, возможно лишь в качестве технологической теории заселенных людьми, символически климатизированных пространств, то есть в качестве инженерно-научного и политического руководства для формирования и сохранения цивилизационных единств, — а следовательно, оно относится к той предметной области, которая прежде находилась в компетенции этики и производных от нее политологии и педагогики. Дисциплиной, наиболее родственной этой гетеродоксальной теории культуры и цивилизации, в настоящий момент является, пожалуй, пилотируемая космонавтика — нигде более вопрос о технических условиях возможности человеческого существования в сохраняющих жизнь капсулах не ставится столь радикальным образом.³²

Итак, новая констелляция такова: серьезное и хрупкое, или (чтобы максимально резко обозначить тот переворот в серьезном, на котором она основывается) пена и продуктивность. Афрология (от греческого слова *áphros*, пена) — это теория кофрагильных (то есть взаимосвязанных) хрупких систем. Если бы нам удалось доказать, что пенообразное может иметь будущее и даже при определенных условиях способно к репродукции, мы выбили бы фундамент из-под субстанциалистского предрассудка. Именно этому и будут посвящены наши дальнейшие исследования. То, что в течение целых эпох считалось презренным, — мнимо фривольное, существующее лишь до того момента, как оно взорвется, — должно вернуть себе причастность к дефиниции реального. Тогда мы поймем: парящее следует рассматривать в качестве особого рода основополагающего; полость с полным правом можно описать как нечто заполненное; хрупкое может быть осмыслено как место и модус в высшей степени действительного; неповторимое по отношению к серийному ока-

32 См. ниже Главу 1, раздел А.



Сандро Боттичелли. *Рождение Венеры*. 1477/1478 г.

жется феноменом более высокого порядка. Однако не является ли представление о некоей «существенной» пене внутренне противоречивым — как на физическом, так и на метафорическом уровне? Может ли структура, не способная гарантировать сохранение даже своей собственной формы, рассматриваться в качестве стимулятора возникновения жизненных цепочек и дистанционных творческих воздействий?

ПЛОДОРодНЫЕ ПЕНЫ — МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Подтверждения факта, что фигура «плодородной пены» в истории мысленных и образных мотивов не всегда была нелегитимной фикцией, обнаружатся, как только мы обратимся к временам, предшествовавшим эпохе презрения к пене, мотивированного народной онтологией и субстанциальной метафизикой. В самых ранних мифо-



Сандро Боттичелли. Фрагмент.

логических упоминаниях пены как в староевропейской, так и в индийской и ближневосточной традиции обнаруживается тесное взаимодействие между комплексами представлений о морской пене и изменчиво-нерушимой жизнью. Философствующий рапсод Гесиод, живший в VII веке до н. э. в Беотии как пастух и свободный крестьянин, своим рассказом о рождении из пены богини Афродиты в результате кастрации титана навсегда ввел в западную традицию связь между пеной и генеративной потенцией. Благодаря этой мрачно-л прической истории досократическая поэзия пены сохранилась в человеческой памяти наряду с воцарившейся впоследствии метафизикой презрения к мимолетному. Было ли это соединение плодом собственной фантазии Гесиода или восходило к более древней мифологической образности, в силу скудости дошедших до нас источников остается неясным. Несомненно лишь то, что Гесиод стал жертвой счастливо-го этимологического заблуждения, выведя имя богини, импортированной в греческий пантеон с Ближнего Востока, из слова *áphros* (пена). Тем самым он связал богиню любви и плодородия с той бессубстанциальной субстанцией, в чьей компетенции находились благородные эрогенные функции. Псевдоэтимология Гесиода делает гре-

ческое искажение имени финикийско-сирийской богини Астарты (и соответственно вавилонской Иштар), в результате которого возникло имя Афродиты, мифологически продуктивным и выводит из него генеалогический контекст, способствующий впечатляющему дебюту пены в рассказывавшихся и пересказывавшихся греками и их наследниками историях о поколениях богов.

Здесь поэту удастся создать — вместе с мифом о выходе богини на берег, очаровавшем живописцев Ренессанса, — беспрецедентный мысленный образ пены, которой присуща не только энергия формы, но и способность рождать и генеративная эффективность в том, что касается порождения прекрасного, чарующего, совершенного. Разумеется, пена, о которой идет речь, это не просто какая-нибудь произвольно взятая пена; возникнув в результате катастрофического соприкосновения морской волны и детородного органа праотца Урана, коварно отрезанного Кроносом, она свидетельствует о некоей чреватой последствиями аномалии в процессе порождения 60-гов:

Член же отца детородный, отсеченный
острым железом,
По морю долго носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена.
И девушка в пене
В той зародилась. Сначала подплыла
к Киферам священным,
После же этого к Кипру пристала, омытому морем.
На берег вышла богиня прекрасная. Ступит ногою —
Травы под стройной ногой вырастают. Ее Афродитой
[«Пеннорожденной», еще «Кифереей»
прекрасновенчанной]
Боги и люди зовут, потому что родилась из пены.
А Кифереей зовут, потому что к Киферам пристала,
«Кипрарожденной» — что в Кипре,
омытом волнами, родилась.



Ж. О. Д. Энгр. Пеннорожденная Венера.
1848 г..

чудовищ и стихийных зверств — что, несомненно, происходит под влиянием мотива включения госпожи сладострастия в космически очень ранний, первичный, еще целиком и полностью; подвластный дорациональным стихийным силам процесс. Лишь в этом контексте было возможно приписывание пене генеративной потенции и пло-

дородных смыслов, и лишь относительно семени титанов можно было поверить, что оно способно оказаться эрогенной, афрогенной, теогенной силой. *En-aphro-фертилизация* богини позволяет понять, каким образом пена — в течение мифопоэтически продуктивного мгновения — могла мыслиться в качестве аналога чрева и матрицы последующих формообразований.³⁵

Нечто подобное и родственное, поднятое на уровень трансцендентного барочного романа, демонстрирует древнеиндийский миф о решении обитателей неба взбить океан до состояния пены, чтобы получить из нее нектар бессмертных, — рассказ, дошедший до нас в том числе и в версиях «Рамаяны» и «Махабхараты».³⁶ Оба варианта объединяет мотив, что боги, озабоченные ненадежностью своего бессмертия, получают от божественного советчика (согласно «Махабхарате», от Вишну-Нараяны) рекомендацию пахтать молочный мировой океан, пока из него не возникнет *amrita* — эликсир бессмертия. Небесные обитатели следуют этому совету, используя в качестве мешалки, точнее, 'в качестве мутовки и веревки, мировую гору Меру и гигантскую тысячеголовую змею Шешу *alias** Васуки. После тысячелетнего взбивания пены в глубинах океана приближается мгновение успеха:

«Итак, восстановив силы, боги продолжили перемешивание. Вскоре из моря взошла мягкая луна о тысяче лучей. После нее из стихии возникла Лакшми (богиня счастья), вся в белых одеждах, затем Сома

³⁵ Аналогичный мотив прослеживается в индийских мифах о танцующем боге Шиве Натарадже; из кудрей сотрясающегося в экстазе бога возникают вспененные воды Небесной Реки; там, куда упали капли пены, появился центр паломничества; см.: *Helmut Maaßen. Der tanzende Gott Shiva // Rolf Elberfeld, Günter Wolfart. Komparative Ästhetik. Künste und ästhetische Erfahrungen zwischen Asien und Europa. Köln, 2000. S. 113.*

³⁶ Свободный пересказ и интерпретации различных традиционных версий дает Генрих Циммер в своей книге «Майя. Индийский миф» *CHenrich Zimmer. Maya. Der indische Mythos. Frankfurt, 1978*) под рубрикой «Взбивание морского молока» (S. 127—147).

* Иначе (*лат.*).

(пьянящий напиток богов), после него Белый Конь и, наконец, небесная гемма Каустубха, украшающая грудь бога Нараяны (Вишну)... Затем появился сам божественный Дхавантари (божественный врач 60-гов) с белой чашей нектара в руках... Позднее возник Айравата, Большой Слон, могучего телосложения и с двумя парами белых бивней. Наконец, после того как перемешивание продолжилось, появился яд калакута...»³⁷

В «Рамаяне», приписываемой поэту Вальмики (около 200 года н. э.), тысячелетнее перемешивание также приводит к серии появлений из молочной пены, однако в другой последовательности: в этом случае первым поднимается бог врачевания Дхавантари со своей изящной нектарной чашей, содержащей «воду аскетов»; его сопровождает несметное множество сверкающих дев любви (*lapsaras*) общим числом шестьсот миллионов, служанки, дарящие счастье женские существа, «принадлежащие всем», ибо ни люди, ни боги не пожелали взять их в жены; за этими эротическими эманациями вспененного океана следует Варуни, дочь бога вод Варуны, затем — великолепный белый конь, за ним — божественный драгоценный камень и, наконец, желаемый эликсир, дарующая бессмертие эссенция, за обладание которой тотчас разгорается жестокая война между богами и демонами.³⁸

В индийских повествованиях о вспенивании, или пахтанье, океана бросается в глаза, что в них изображается уже не стихийный анонимный процесс, как у Гесиода, а деятельность, которой — при всех ее алхимических

37 The Mahabharata / Transi. Pratap Chandra Roy. New Delhi, 1970. Voi. 1. Section 18. S. 59—60. Название яда, возможно, означает «вершина (кута) смерти (кала)». Согласно толкованию Генриха Циммера, оно символизирует «квинтэссенцию смертельного яда мира»; когда бог Шива выпил этот яд, тот остался у него в горле, вследствие чего бог носит прозвище Нилакантха («с синей шеей»).

³⁸ Le Ramayana de Valmiki / Ed. Madeleine Biardeau. Paris, 1999. P. 87—88.

чертах — очевидным образом присущ производственный характер. Молочная пена не только является матрицей для изготовления последующих форм, она сама возникает в результате определенной пенообразующей *aphro-gene*-операции; порождению из пены предшествует порождение пены. Тем самым феномен афрогении приобретает технические черты и становится доступным истолкованию в двух направлениях. Он может быть поднят на понятийный уровень, если образование из пены и пенообразование будут подведены под одно общее выражение. Сколь бы гротескным ни было это производство (гора и гигантская змея, соединенные в сбивалку, используемую на космическом молокозаводе), нет никаких сомнений, что мы имеем дело с мысленным образом, мотивированным наблюдениями за ремесленной деятельностью. В первую очередь напрашивается аналогия с процедурами изготовления масла, что неудивительно в культуре, в которой возлияния жидкого масла у жертвенного огня (*ajya*) относились к первичным ритуальным жестам.³⁹ В то же время перемешивание демонстрирует нам примитивное методическое ядро алхимии, в которой речь, казалось, испокон веков шла о получении некоей действенной эссенции посредством фильтрации и редукции. Проникновение воздуха в субстанцию служит выделению из субстанции наиболее субстанциального, пока не будет достигнута предельная концентрация силы становления в одном-единственном сосуде, в последней сперматической точке. Понятно: там, где, как в зарождающейся Первой теории, предполагается единство первоначальной силы и полноты сущности, дело не дойдет до настоящей радикализации поисков; в этом случае речь идет о магическом доступе к сущности сущностей, дабы

³⁹ Во французском издании «Рамаяны» санскритское выражение *manthá* (пахтанье) не без оснований переводится как *barattage* (сбивание масла). См. также Амритабинду Упанишаду 20: «Как масло таятся в масле, так и Чистое Сознание (*vijnanam*) покоится в каждом существе, причем рассудок служит мутовкой*».

из силы выфильтровать силу. В теургической драме, благодаря которой боги должны окончательно обрести бессмертие, изготовление пены служит прелюдией к абсолютной экстракции.

Мы не должны забывать, что в египетском мифе о сотворении мира присутствует даже образ космогонической слюнной пены: в нем рот бога Атума описывается как первый очаг движения или первичный сосуд, в котором сначала зародились, а затем слились друг с другом Тефнут (влага), и Шу (воздух); превратившись в тотипотентную смесь, они покинули рот-прародитель, дабы произвести на свет все прочие творения. Здесь примечательно прежде всего то, что из божественного рта эмануруют не первые разделения и императивы «Да будет!», как это обычно бывает в логократических схемах, а пенная биматериальная *prima materia*; * по аналогии с первой парой она вызывает к жизни все прочее путем дальнейшего порождения посредством своего рода высочайших плевков.

Все эти мифы указывают на самые первые альтернативы предрассудку относительно стерильности пены, поэтому они могут описать констелляцию пены и продуктивности в лучшем случае с поэтической убедительностью. Тем не менее они издавна подготавливают появление понятия афрогении, которое позволяет нам поставить вопрос не только о порождении богов, но и о возникновении человека из чего-то воздушного, парящего, смешанного и одушевленного. В дальнейшем нам предстоит показать, что пена — в некоем еще слишком обобщающем смысле слова — образует матрицу человеческих фактов в целом. *We are such stuff the foam are made on.* ** Как мы видели, первая лекция по толкованию пены завела нас в мифологический экскурс; вторая лекция будет состоять в том, что мы оставим в стороне теогониче-

* Первая материя (лат.).

** Мы из такого материала, из которого сделана пена (англ.).

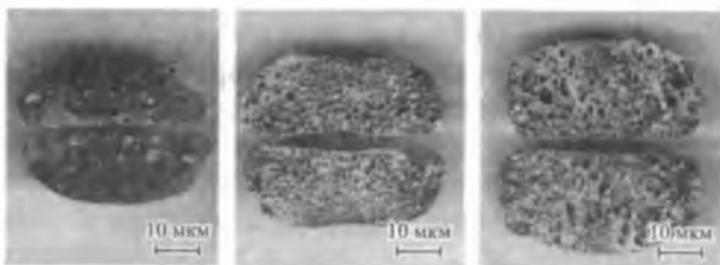
ские мотивы, чтобы, вкратце ознакомившись с вкладом, внесенным в исследование пены современным естествознанием, перейти в антропологический регистр.

ПРИРОДНЫЕ ПЕНЫ, АТМОСФЕРЫ

В физическом контексте под пенами понимаются многокамерные гаонаполненные системы из твердых и жидких материалов, ячейки которых отделены друг от друга пленкообразными стенками. Толчок к научному исследованию пенных структур дал бельгийский физик Жозеф Антуан Фердинанд Плато, который в середине XIX столетия сформулировал несколько важнейших, до сих пор признаваемых законов геометрии пен, — законов, внесших минимум порядка в кажущийся хаос пенных пузырьных агломераций. С их помощью пены могут быть точно описаны как скульптуры, созданные натяжением пленочных поверхностей. Эти законы гласят, что углы пенного пузыря, или, точнее, пенного многоугольника, всегда образуются тремя пленочными стенками, что две из трех стенок всегда образуют угол в 120 градусов и что четыре угла пенной ячейки обязательно сходятся в одной точке. Мыльные пленки обязаны своим существованием поверхностному натяжению воды, описанному еще в 1508 году Леонардо да Винчи в его наблюдениях за морфологией капель. Оптические свойства влажных и сухих пен были рассмотрены британским физиком Чарльзом Верноном Бойсом в изложенной в 1890 году популярной теории цветов пены.⁴⁰ Благодаря ей радужные чудеса проникли в викторианские детские.

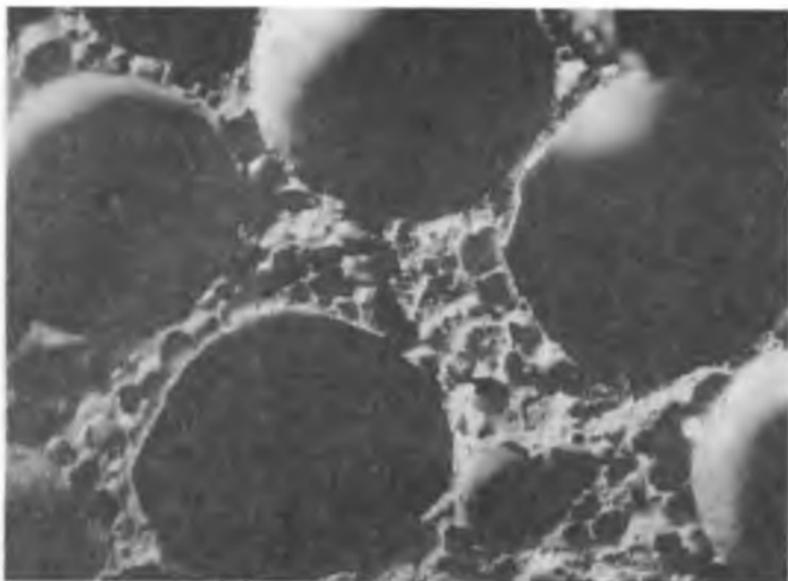
XX веку мы обязаны прежде всего введением в анализ пены времени. Мы поняли, что пены представляют

⁴⁰ *Charles Vernon Boys. Soap Bubbles. Their Colors and Forces Which Mould Them (1890). New York, 1959.*



Пористые железистые вещества.

собой процессы и что внутри многоячеистого хаоса происходят непрерывные скачки, перегруппировки и реформации. У этого волнения есть направление — оно движется к более высокому уровню стабильности и инклюзивности. Замечено, что пузыри старой пены больше, чем пузыри молодых пен, поскольку лопающиеся молодые ячейки, умирая, переходят в своих соседей и оставляют им свой объем. Чем более влажной и молодой является пена, тем меньше, круглее, подвижнее и автономнее собранные в ней пузыри; чем же она суше и старше, тем больше отдельных пузырей уже испустили свой дух, тем крупнее выжившие ячейки, тем сильнее они воздействуют друг на друга, тем при взаимной деформации увеличенных пузырей более явно дают о себе знать законы геометрии соседства Жозефа Плато. Состарившаяся пена воплощает собой идеальный случай кофрагильной системы, в которой достигнута наивысшая степень интерпенденции. В фахверке из лабильно-стабильных многогранников ни одна ячейка не может лопнуть, не уничтожив вместе с собой и все строение. Таким образом, динамика процесса развития пены представляет собой шаблон для всякой истории, в которой описываются имманентно увеличивающиеся инклюзивные пространства. В этих трагических геометриях между остающимися коизолированными пространствами достигнут такой уровень внутреннего натяжения, или тензигритивности, что общий риск для их существования может быть описан од-



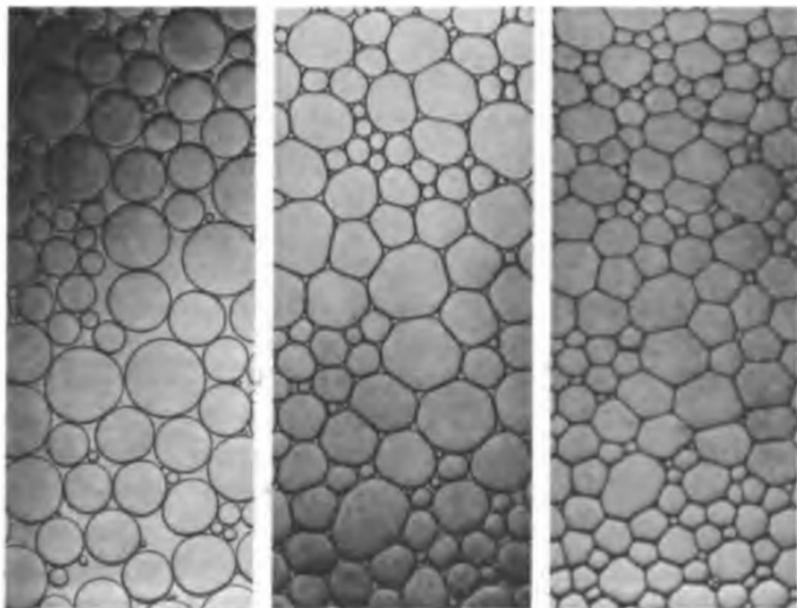
Снимок пористо-пенного кирпича с полистиролом.

ной формулой кофрагильности. Отметим, что в пенах не существует центральной ячейки и к ним *per se** неприменимо представление о какой бы то ни было столице.

В последнее время мотив многокамерности стал играть заметную роль и в физических теориях пространства. Вследствие этого метафора пены все чаще привлекается для описания как спонтанных пространственных образований в микромире, так и для феноменов среднего мира и, наконец, для процессов галактических, даже космических масштабов. XXI столетие прямо провозглашается *century of foam*,** Новейшая астрофизика в своей значительной части наряжается в афрофизические одежды. Некоторые из обсуждаемых в настоящее время космологических моделей изображают универсум как сплетение инфляционных пузырей, каждый из которых

* Само собой (лат.).

** Век пены (англ.).

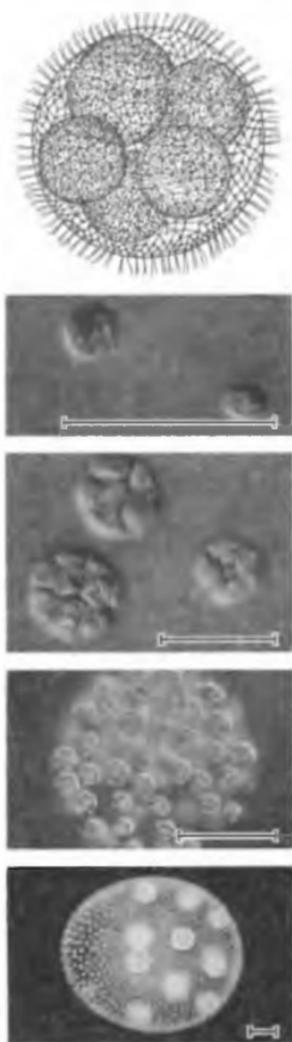


Переход от пузырькового поплавка к плоскостной много-
гранной сети (согласно исследованиям группы Отто Фрая).

образует систему Большого взрыва типа мирового конгломерата, в котором обитает современное человечество.⁴¹ Многочисленные микрофизические реальности с недавних пор также представляются под знаком пены и спонтанных микрофизических пространственных образований. Однако ни в одной из современных наук морфологическая потенция пены не играет такой роли, как в биологии клетки. С точки зрения некоторых биологов возникновение жизни можно объяснить лишь спонтанным пенообразованием из мутных вод первичного океана:

«...клеткообразные, окруженные мембраной пузыри образуются сами собой при встряхивании смеси из жидкого масла и воды. На заре существования еще безжизненной Земли такие пузырьчатые полые про-

⁴¹ См.: *Sidney Perkowitz. Universal Foam. From Capucino to the Cosmos. New York, 2000; о разветвляющемся древе космических пузырей см. график: Сферы. Т. II. С. 134.*



Биологический *coenobium*, с дочерними колониями: водоросль *voivox* как эволюционный пример превращения колониобразующих одноклеточных в многоклеточный, глобулярный и дифференцированный в половом отношении индивид.

странства обеспечили разделение на внутреннее и внешнее... Эти жировые пузыри увеличивались в размерах и развивали в себе способность к самосохранению... По всей вероятности, первоначально солнечная энергия поступала через мелкие капельки; в конечном счете контролируемый поток энергии привел к формированию структур, превратившихся в живые клетки».⁴²

В этом рассказе о клеточном генезисе круглая форма и энергетическое содержание взаимодействуют таким образом, что первое живое существо, пеннорожденная монада, смогла выделиться из моря, плавающая в воде и растворяясь в ней, но в то же время уже от нее отделившись, наполнившись чем-то внутренним, собственным. В первичном молекулярном бульоне путем самоинклюзии образуются крошечные, сохраняющие форму протоинтерьеры, которые можно считать предшественниками жизни. По выражению системных биологов, они образуют «полуоткрытые системы», существующие в качестве чувствительных по отношению к самим себе и окружающему миру реактивных пространств. Древнейшими из до сих пор найденных на Земле ископаемых, возраст которых превышает 3.5 миллиарда лет, палеобиологи считают остатки протобактерий; из-за своей формы и по месту находки они называются свазилленд-микросферами. Их существование доказывает, что тайну жизни невозможно отделить от тайны формы, точнее, от тайны формирования внутреннего пространства, подчиняющегося сферическим законам. Там, где появляются одноклеточные, начинается история органического как сферическое уплотнение и герметизация: под шарообразной мембраной собирается некий излишек, который будет назван жизнью. В примитивном организме пространство

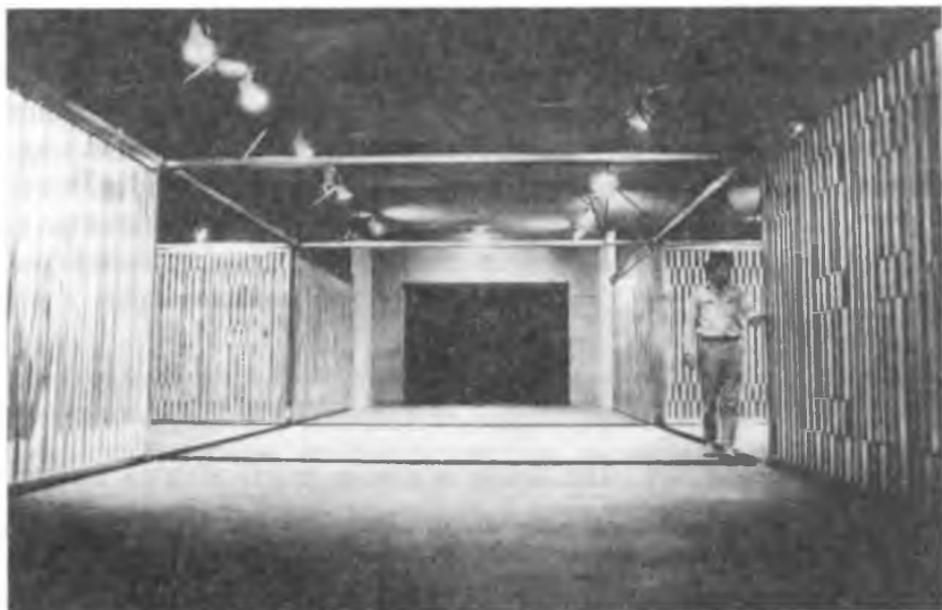
⁴² *Lynn Margulis. Die andere Evolution. Kap. 5: Aus Schaum geboren. Heidelberg; Berlin, 1999. S. 92—93.*

движется к самости. Первым признаком самости является способность занимать определенную позицию, вставая в оппозицию к внешнему. Как мы видим, позиция возникает вследствие развертывания в себе — или вследствие проявления настойчивости в неожиданном месте. Быть может, даже у самой примитивной жизни должен был существовать таинственный путь, ведущий вовнутрь.⁴³

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПЕНЫ

Сколь бы убедительной в свете достижений современных наук о жизни ни выглядела связь между морфологией пены и примитивным зоогенезом, для нас приключение, связанное с множественностью пространства, начинается лишь с перехода к антропологическим и культурно-теоретическим контекстам. С помощью концепта пены мы опишем агломерации *пузырей* в том смысле, какой мы вкладывали в это слово в наших предыду-

43 О эмульсионно-пенной гипотезе зоогенеза см.: *Harold Morowitz. Mayonnaise and the Origine of Life: Thoughts of Minds and Molecules. Woodbridge, Conn., 1985.* О лишь недавно понятой роли воздушных пузырей в газообмене между океанами и земной атмосферой см. сообщение океанографов Гранта Дина и Дэйла Стоукса в журнале «Нейчур*» (*Nature. 2002. Vol. 418. P. 839*). Поразительно разнообразны технические применения принципа пены: к их самым популярным проявлениям относятся такие продукты пекарного дела, как хлеб и пироги, глядя на которые, мы редко отдаем себе отчет, что они представляют собой полутвердые пены, возникающие в результате вызванной термическим воздействием инфляции имеющихся в тесте воздушных ячеек. Жест взбивания теста представляет собой след самой обыденной афрогении. Модернизация конструктивных материалов породила изобилие рукотворных пен, от известных эластичных пенных PVC-(поливинилхлоридных) продуктов до металлических пен и других твердых пен из стекла, камня, глины и подобных материалов. Элегантной инновацией в сфере пенных технологий стало внедрение аэрогелей. Что касается современной архитектуры, то она самыми разнообразными способами воспринимает инспирации пространствообразующей потенции пенных структур. Благодаря им перед новоевропейским зодчеством открывается некий третий, наряду с геометризмом и органоморфизмом, путь, основывающийся на подражании природе.



Вито Аккончи. *Разделители пространства*. «В своем исходном положении стены образуют шкатулкообразно замкнутое пространство в центре зала. Если кто-нибудь пожелает войти в него, ему придется отодвинуть стену. Однако теперь на ее месте окажется следующая стена...»

щих микросферологических исследованиях.⁴⁴ Это выражение используется для обозначения систем (или агрегатов) сферического соседства, в которых каждая отдельная «ячейка» образует дополняющий ее саму контекст (говоря обыденным языком — мир, место), интимное, порожаемое диадическими и многополярными резонансами смысловое пространство или «семью», вибрирующую в своей собственной, лишь ей самой и в ней самой переживаемой одушевленности.⁴⁵ Каждая из этих семей, каждый из этих симбиозов, или альянсов, представляет собой *sui generis** теплицу, в которой развивают-

⁴⁴ См.: Сферы. Т. I.

⁴⁵ К мотиву клеточных плюральностей мы вновь обратимся в Главе 2, раздел В.

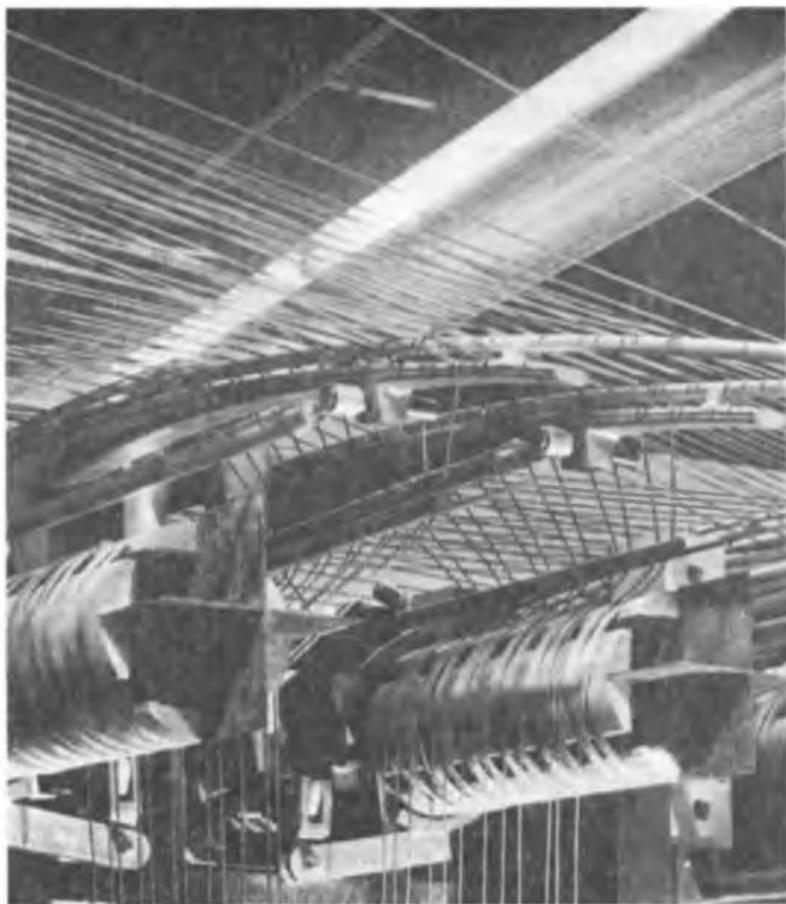
* Своего рода (*лат.*).

ся определенные отношения. Мы могли бы назвать такие структуры «обществами на двоих»⁴⁶ (если бы не намеревались в дальнейшем показать, что выражение «общество» применительно к такого рода предмету всегда вводит в заблуждение). Там, где образуются места такого типа, существование тесно соединенных так или иначе становится подлинной движущей силой формирования пространства; климатизация коэкзистенциального внутреннего пространства осуществляется путем взаимной экстраверсии участников симбиоза, словно расположенные друг против друга очаги⁴⁷ темперирующих общих интерьер. Каждая микросфера формирует внутри себя свою собственную ось интимного. Ниже мы покажем, какие индивидуальные формы она способна принимать.

Интровертность отдельных «семей» не препятствует их объединению в более массивные союзы, можно сказать, социальные пенные образования: соседские соединения и разъединение могут быть поняты как две стороны одной и той же ситуации. В пене действует принцип коизоляции, согласно которому одна и та же перегородка служит границей для двух и более сфер. Такие принадлежащие обеим сторонам стенки представляют собой первичные интерфейсы. Если в физически реальной пене отдельные пузыри граничат с множеством соседних шаров и обуславливаются ими в силу пространственного разделения, то из этой ситуации можно вывести мысленный образ, пригодный для интерпретации социальных ассоциаций: в человеческом поле отдельные ячейки также склеены друг с другом взаимными изоляциями, разделениями и иммунизациями. Одной из особенностей этого рода предметов является то, что многократная коизоляция

46 См.: *Georg Simmel. Die Gesellschaft zu zweien (1908) // Georg Simmel. Aufsätze und Abhandlungen 1901—1908. Bd 2. Frankfurt, 1993. S. 348 f.*

47 О мотиве очага как переходного пункта между квазисюрреальным пространством брачной диады и конкретным физическим, социальным и культовым пространством домашности см.: Сферы. Т. II. С. 191—245.



Морфозис (Том Мэйн и Мишель Ротонди). Политике (*retail store* — магазин розничной торговли). Портленд. Space modulator (пространственный модулятор). 1990 г.

ция пузырей-семей в их множественном соседстве может быть описана и как замкнутость, и как открытость миру. Поэтому пена образует парадоксальный интерьер, в котором большая часть окружающих меня пузырей одновременно и соседствует с моим местоположением, и не достижима, и связана со мной, и удалена от меня.

В сферологическом смысле «общества» образуют пены в строго ограниченном смысле слова. Эта формулировка моментально блокирует доступ к той фантазии, с

помощью которой традиционные группы превратным образом истолковывают собственное бытие: речь идет о представлении, согласно которому социальное поле образует органическую целостность и интегрируется во все-общую и все-инклюзивную гиперсферу. Именно это с незапамятных времен предлагала аутопластическая пропаганда империй и фикций Царствия Божьего.⁴⁸ В действительности «общества» представимы лишь в качестве нестабильных и асимметричных ассоциаций пространственных и процессивных множеств, ячейки которых невозможно ни по-настоящему объединить, ни по-настоящему отделить друг от друга. Лишь пока «общества» внушают сами себе, что они представляют собой гомогенные единства — например, генетически или теологически субстанциальные народы-нации, они рассматривают себя в качестве изначально (или в соответствии с каким-то исключительным установлением) объединенных моносфер. Они выдают себя за некие заколдованные пространства, извлекающие пользу из своего воображаемого иммунитета и магической общности по сущности и избранности, — именно в этом духе наше понятие «сфера» было недавно воспринято Славоем Жижекком, критически применившим его для описания ментального состояния США накануне атаки на Всемирный торговый центр.⁴⁹ Нужно ли объяснять, почему знание о взаимодействии людей начинается с выхода из заколдованного круга взаимного гипноза? Тот, кто хочет вести теоретический разговор об «обществе», должен действовать, освободившись

48 о радиократическом или имперском пространстве см.: Сферы.

Т. И. С. 706 и сл. v

49 См.: *Slavoj Žižek. Willkommen in der Wüste des Realen // Die Revolution steht bevor. Dreizehn Versuche über Lenin. Frankfurt, 2000. S. 147*; в качестве отклика на эту работу могут быть поняты размышления Эрики Йонг, вращающиеся вокруг тезиса, что США в действительности никогда не обладали иммунной защитой и верой в свой иммунитет обязаны только своей самонадеянностью. В сходном критическом смысле Вилем Флюссер определяет понятие родины: это — окруженные тайной жилища. См.: *Vilém Flusser. Von der Freiheit des Migranten. Einsprüche gegen den Nationalismus. Bensheim, 1994. S. 15—30.*

от одержимости «Мы». Если это будет достигнуто, мы сможем заметить, что сами «общества» или народы являются намного более жидкими, гибридными, негерметичными и хаотичными, чем следует из их гомогенных названий.

Когда в дальнейшем мы будем говорить об «обществе», этим выражением мы не будем обозначать ни (как в вирулентном национализме) монокультурный, резервуар, который содержит ограниченную популяцию индивидов и семей, объединенных одним субстанциальным политическим именем или конститутивным фантазмом, ни (как в представлении некоторых системных теоретиков) непространственный коммуникативный процесс,⁵⁰ «выделяющийся» в различных подсистемах. Под «обществом» мы понимаем агрегат из микросфер (пар, семей, предприятий, союзов) различного формата, которые, подобно отдельным пузырям в ценной массе, граничат друг с другом и наслаиваются друг на друга, при этом не являясь ни по-настоящему достижимыми друг для друга, ни эффективно отделимыми друг от друга.⁵¹ Конечно, по незабвенному выражению Эрнста Блоха, «в мировом доме много комнат» — но у них нет окон, а есть, возможно, лишь глухие проемы, на которых нарисованы сцены внешнего мира. Пузыри в пене, то есть пары и семьи, команды и сообщества ради выживания, представляют собой автаркически замкнутые микроконтиненты. Как бы они ни притворялись, что связаны с чем-то другим и внешним, они замкнуты в первую очередь лишь на себя самих. Симбиотические единства формируют картину мира в себе и для себя — рядом с формирующими свои картины мира соседствующими группами, которые на свой манер делают то же самое и с которыми они, в соответствии с принципом коизоляции, образуют интерактивный союз. Их схожесть друг с другом, казалось бы,

50 *Peter Fuchs. Das seltsame Problem der Weltgesellschaft: Eine Neubrandenburger Vorlesung. Opladen, 1997.*

51 См. ниже Переходную главу *Не конвенция, не вегетация*.



Дженни Пинеус. *Cocoon Chair*
(Кресло-кокон). 2000 г.

позволяет сделать вывод, что они находятся в оживленной взаимной коммуникации и широко открыты друг для друга; на самом же деле они похожи друг на друга лишь в силу своего возникновения на общей волне подражания⁵² и благодаря наличию у них аналогичного медиаарсенала. В оперативном отношении между ними, как правило, нет почти ничего общего (вспомним об обитателях автомобилей, колоннами едущих друг за другом: каждое едущее сообщество образует внутри машины определенную резонансную ячейку, тогда как между автомобилями царит изоляция — и это хорошо, поскольку коммуникация означала бы столкновение). Их согласова-

⁵² Об этом выражении см.: *Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung* (1890). Frankfurt, 2003, S. 25—60; там же см. о выражениях «излучение подражания» (*rayonnement imitatif*) и «заразное подражание» (*contagion imitative*) (S. 67).

ние происходит не в непосредственном обмене между ячейками, а посредством миметической инфильтрации в каждую отдельную ячейку сходных моделей, возбуждений, заразных товаров и символов. В прежние времена эти тезисы можно было бы проиллюстрировать на примере понимаемой в традиционном смысле семьи (отец, мать, дети), ибо готовые к репродукции пары с давних пор представляют собой (и, пожалуй, будут представлять в будущем) самый убедительный образец способных к росту диад. В настоящее время наши выводы можно распространить и на бездетные пары, и даже на одиноких людей, пребывающих в специфических *cocooning**-формах (примеры: японская культура *takotsubo*, аутистическая сцена каракатица-горшок).⁵³ Мы подчеркиваем, что ячейка в пене — это не абстрактный индивид, а диадическая или мультиполярная структура.⁵⁴ Для теории пены очевидным образом характерна неомонадологическая ориентация, однако основной формой ее монад является диада или более сложные душевно-пространственные, коммунальные и командные образования.

В медиатехнической перспективе «общество» пенных ячеек представляет собой мутную среду, обладающую определенной способностью быть проводником информации и определенной проницаемостью для различных веществ. Излияния непосредственных истин ею не передаются. Если бы в соседнем доме жил Эйнштейн, то я несколько не стал бы больше знать о Вселенной. Если бы Сын Божий годами проживал на одном со мной этаже, я бы в лучшем случае задним числом узнал, кто был моим соседом. В пене с любого места видно лишь отграничивающее, всеохватные панорамы исключены, — в са-

53 *Volker Grassmuck*. «Allein — aber nicht einsam» — die otaku-Generation. Zu einigen neueren Trends in der japanischen Populär- und Medienkultur // *Norbert Bois, Friedrich Kittler, Christoph Tholen*. Computer als Medium. München, 1994. S. 283.

54 Она, как мы покажем ниже, может инсценироваться в качестве самостного парного сочетания; см. Главу 2, раздел В.

* Коконный (англ.).



Альфонс Шиллинг. *Шляпа в виде камеры-обскуры.*

мом крайнем случае в каком-либо пузыре формируются излишки, используемые во многих соседних пузырях. Новости передаются выборочно, выход в целое отсутствует. Для теории, воспринимающей бытие-в-пене как первичную ситуационную определенность, завершающее какое бы то ни было супервидение Единого Мира не только недостижимо, но и принципиально невозможно — а при правильном понимании и нежелательно.

Тот, кто говорит о пене в такой тональности, распрощался с центральным символом классической метафизики, с всё в себя включающей моносферой: шарообразным Единым и его проекциями на паноπτические центрированные конструкции. Они логично вели к энциклопедической системе, в политическом отношении — к имперскому *urbi-et-orbi**-пространству (о его судьбах говорилось

* Город и мир (лат.).

в третьей и седьмой главах «Сфер II»), в полицейском — к форме паноптикума контроля, в военном — к параноидальной онтологии Пентагона. Излишне говорить, что такие виды централизма представляют лить исторический интерес. В качестве систем асимметричного соседства между теплицами интимности и самостоятельными мирами средней величины пены являются полупрозрачными, полуматовыми. Любое положение в пене означает относительное слияние панорамного зрения и слепоты в отношении своего собственного пузыря; всякое бытие-в-мире, понятое как бытие-в-пене, открывает просвет в непроницаемое. Поворот к плюралистической онтологии подготавливался современной биологией и метабиологией, после того как ей благодаря введению понятия окружающего мира удалось достичь новой точки зрения на свой предмет:

«Было бы заблуждением утверждать, что человеческий мир предоставляет некую общую арену всем живым существам. Каждое живое существо обладает своей особой ареной, которая столь же реальна, как особая арена человека... Признав это, мы обретем совершенно новый взгляд на универсум. Последний состоит не из од ного-единственного мыльного пузыря, раздувающегося в бесконечность за пределами нашего горизонта, а из миллионов и миллионов строго ограниченных мыльных пузырей, которые повсюду пересекаются и перекрещиваются».⁵⁵

Таким образом, собрание бесчисленных эндокосмических «мыльных пузырей» уже нельзя мыслить как монокосмос метафизики, в котором полнота сущего подццйна некоему всеобщему логосу. На место философского мыльного сверхпузыря, всеобщей монады Единого Мира (формы которого мы рассматривали прежде всего в чет-

55 *Jakob von Uexkiill. Kompositionslehre der Natur. Frankfurt; Berlin; Wien, 1980. S. 355.*

вертой и пятой главах «Сфер И»), приходит некая поликосмическая агломерация. Она может быть описана как собрание собирателей, как полупрозрачная пена, состоящая из образующих картины мира пространственных конструкторов. Важно понять, что это бесконечное множество способов чувствующего существования в обладающих смысловой структурой окружающих мирах развернуто уже на ступени животной интеллигенции — и, насколько мы можем видеть, не существует животного, инвентаризирующего и соотносящего с собой всех прочих животных. Люди, со своей стороны, после затухания централистской мании (антропо-, этно-, эго-, лого-), возможно, составят себе более адекватное представление о своем существовании в среде из онтологической пены. Тогда мы поймем, почему Гердер говорил скорее о прошлом, чем о будущем, когда писал: «Каждая нация имеет в себе свой *центр* счастья, подобно тому как каждый шар обладает центром тяжести». ⁵⁶ Первое представление об эластичном способе бытия децентрализованных проектов мира дают некоторые забегающие далеко вперед формулировки современных теоретиков киберпространства. Пьер Леви в своих рассуждениях о семиотической продуктивности возникающего «коллективного разума» замечает:

«В пространстве знания соединяется активное дыхание участников, но не ради достижения гипотетического слияния индивидов, а ради совместного пуска тысяч переливающихся мыльных пузырей, которые в той же мере являются временными универсумами, в какой мирами общего значения». ⁵⁷

Поскольку формирование миров всегда имеет архитектурное выражение, точнее, проявляется в напряже-

⁵⁶ *Johann Gottfried Herder. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit.* Frankfurt, 1967. S. 44.

⁵⁷ *Pierre Lévy. Die kollektive Intelligenz. Eine Anthropologie des Cyberspace.* Mannheim, 1997. S. 172.

нии между мобильным и иммобильным, необходимо принимать во внимание те сферопойетические процессы, в качестве материального воплощения которых выступают жилые помещения, здания и агломерации построек. По словам Ле Корбюзье, здание можно сравнить с мыльным пузырем: «Мыльный пузырь выйдет совершенно гармоничным, если дыхание было хорошо распределено, если изнутри был дан верный импульс. Внешнее есть результат внутреннего». ⁵⁸

ПЕНЫ В ЭПОХУ ЗНАНИЯ

Тонкие вещи поздно становятся объектами: этим они сродни бесчисленным, якобы само собой разумеющимся вещам, которые лишь тогда становятся заметными, когда утрачиваются, а утрачиваются они, как правило, в то мгновение, когда их с чем-нибудь сравнивают, в результате чего они лишаются своей наивной данности. Воздух, которым мы не задумываясь дышим; насыщенные различными настроениями внутренние и внешние ситуации, в которых мы бессознательно существуем; незаметные взгляду атмосферы, в которых мы живем и движемся и существуем, — все это поздние дети в тематическом пространстве, ибо они, до тех пор пока явным образом не станут предметом внимания, подобно вечным природам или потребительским благам *a priori* кажутся немым фоном нашего здесь- и там-бытия. Они словно переростки, которые были призваны на тематическую и техническую службу лишь благодаря своей недавно доказанной способности быть объектом манипуляций как в конструктивном, так и в деструктивном смысле этого слова. Ранее рассматриваемые как скромный аванс бытия, они, прежде чем стать предметами теории, должны были стать предметами заботы. Они должны были начать

58 Цит. по: Maurice Besset. Le Corbusier. Genf, 1987. S. 98.



Вид внутренней области головы мухи, полученный с помощью рентгеновского микроскопа.

восприниматься как нечто хрупкое, уязвимое и ломкое, прежде чем стать проблемными полями, на которых ведут свою работу феноменологи воздуха и настроения, терапевты человеческих отношений, атмосферные инженеры и архитекторы внутренних пространств, наконец, теоретики культуры и медиатехнологи; они должны были испортиться, прежде чем люди смогли осознать себя как хранителей, реконструкторов и новых открывателей того, что до сих пор только предполагалась.

Фон прерывает свое молчание лишь в том случае, если процессы на авансцене требуют использования его

подъемной силы. Сколько реальных экологических и военных катастроф потребовалось, прежде чем появилась возможность с юридической, физической, атмотехнической точностью заявить о мерах, которые мы должны принять относительно пригодного для человеческого дыхания воздушного окружения? Сколько невежества в отношении атмосферных предпосылок человеческого существования должно было накопиться в теории и практике, прежде чем радикализованное мышление обратило свое внимание на сущность настроений,⁵⁹ чтобы позднее перейти к конституциям *бытия-в* во всеобъемлющей среде как таковой и к модусам экзистенциальной включенности в целостные обстоятельства⁶⁰ (для которых мы с недавних пор используем выражение «погружение», *immersion*)? Насколько далеко должен был качнуться маятник в направлении индивидуалистических недоумений и аутистических одиночеств, прежде чем, пусть даже весьма половинчатым образом, смогла найти свое выражение самостоятельная ценность резонансных феноменов и интерпсихических слияний в одушевленных пространствах? Как долго замаскированное под прогрессивное безразличие должно было опустошать близкие человеческие отношения, прежде чем конститутивное значение прочных связей пар и семейных отношений стали описывать с фундаментально-понятийным почтением?⁶¹

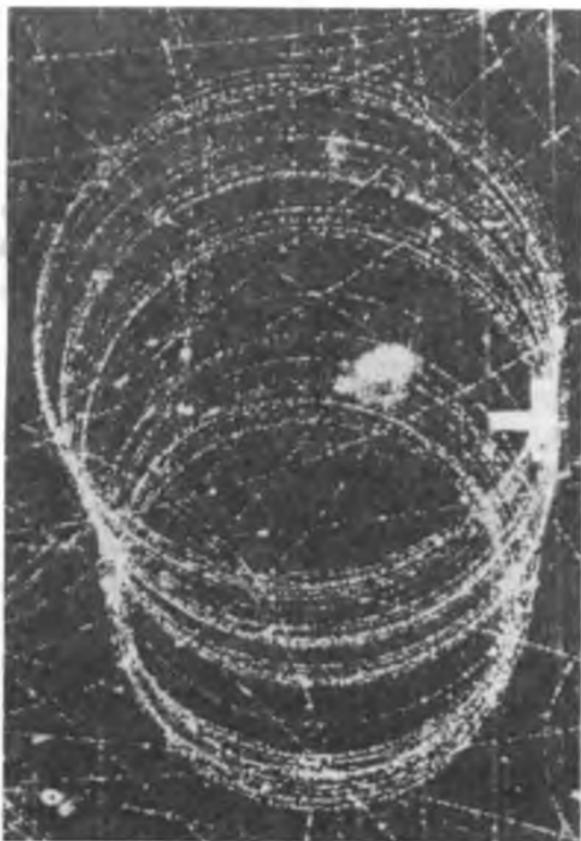
Все слишком явное становится демоническим. Тот, кто решается на тематизацию фоновой действительности, ранее прятаншейся в безмолвно мыслимом и осознаваемом (а еще чаще в никогда не мыслимом, никогда не

59 См.: *Martin Heidegger. Sein und Zeit* (1927). Tübingen, 1967.

§ 29—30.

60 См.: *Hermann Schmitz. Adolf Hitler in der Geschichte*. S. 21—31, 377—404.

61 О необходимости интегрального «одомашнивания* см.: *Hugh Miller. Progress and Decline. The Group in Evolution*. Oxford, 1964. P. 173—213; *Tilman Allert. Die Familie. Fallstudien zur Unverwüstlichkeit einer Lebensform*. Berlin; New York, 1998.



Электроны, ставшие видимыми в камере Вильсона.

осознаваемом), осознает свою причастность к ситуации, в которой прогрессирует и неудержимо расширяется дефицит того, что инстинктивно предполагается и о чем не принято говорить. Горе тому, перед кем раскинулась пустыня: теперь следует искусственно возводить то, что раньше казалось естественным ресурсом. Мы вынуждены с обременительной тщательностью и раздражающей обстоятельностью артикулировать то, что некогда могло звучать в качестве тихой коннотации. Этот поворот к эксплицитному проясняет функции современной культурологии. Она предстает в качестве агента цивилизацион-

ных экспликаций в целом. Нам следует понять, что ныне она должна навсегда стать также и технической наукой, и практической заботой о работе в культурных оранжереях. После того как культуры (и именно они) перестали восприниматься как данности, необходимо заботиться об их существовании и регенерации — совершенствуя, по-новому описывая, фильтруя, разъясняя, реформируя: в эпоху экспликации фона культура культур становится цивилизационным критерием.

Чтобы быть до конца современными, мы должны предполагать, что ныне едва ли еще можно что-либо предполагать. Если в этом месте мы начинаем со странной подробностью артикулировать то, что в соответствии со *state of the art** мы можем сказать относительно нашего бытия-в-мире, если (вместе с феноменологами) мы все-сторонне и точно описываем, в каких окружающих условиях или целостных обстоятельствах мы себя обнаруживаем, если, наконец, мы проектируем и реконструируем (вместе с медиатехнологами, архитекторами внутренних пространств, специалистами по производственной медицине, атмодизайнерами) те пространственные условия, атмосферы и всеобъемлющие ситуации, в которых мы находимся в соответствии со своими собственными планами и оценками, то на этих конструктивных и реконструктивных действиях сказывается отчуждение, которое покончило с само собой разумеющимся, прежде чем позволить ему вернуться в качестве вторичной данности. Когда оно вернется, то будет продуктом экспликации и предметом бережного ухода. Оно станет объектом длительной социально-политической заботы или нового технического дизайна. Там, где был «жизненный мир», должна возникнуть климатическая техника.

* Состояние искусства (англ.).

Демония эксплицитного есть следствие истории цивилизации. Она растет по мере того, как современное сознание становится все более искусственным. Если фоновое выдвигается на первый план; если то, что с давних пор обходилось молчанием, в наши дни должно стать тематическим проектом; если складка имплицитного распрямляется и проецируется на широкую плоскость, на которой каждая, ранее внутри скрытая деталь предстает в равной зримости и с одинаковой степенью подробности, — то эти процессы свидетельствуют о том, что знающие радикально меняют свою позицию по отношению к тем предметам сознания, которые ранее либо осознавались иначе, либо не осознавались вообще. Применительно к этому изменению позиции затертая метафора *революции* как разрушающего основы переворота в отношениях между телами и в ролевых функциях, пожалуй, в последний раз может доказать свою теоретико-познавательную ценность (чтобы затем быть сданной в архив отживших понятий).

Что такое «революция», проще всего объяснить, обратившись к прорывам в анатомии XVII столетия, состоявшим в открытии внутренней области человеческого тела путем его разрезания и знакомства с ним общественности посредством дескриптивно адекватных изображений. Быть может, для самосознания западного человека «революция» Везалия имела даже более значительные последствия, чем давно обсуждаемый и превратно истолковываемый коперниканский переворот. Противопоставив традиционному невежеству людей относительно собственного тела свои карты органов и конструктивные чертежи с новой точностью рассмотренного внутреннего механического мира (не случайно *opus magnum** Везалия озаглавлен «*De humani corporis fabrica*»**), анатомия на-

* Главный труд (лат.).

** «О строении человеческого тела» (лат.).



Андреа Везалий. *De humani corporis fabrica* (О строении человеческого тела). Седьмая иллюстрация, изображающая мускулатуру.

чала Нового времени раскрыла не слишком зрелищную соматическую изнанку изучаемой самости и произвела в знании о себе запортретированных таким образом телесных субъектов переворот, после которого уже ничто более не могло оставаться на своей прежней бытийной и познавательной позиции. Отныне я должен рассматривать анатомические карты и воспринимать их послание: это — ты! Так выглядит то, что находится в тебе, поскольку знающие заглянули в тебя с помощью скальпеля. Никакое антианатомическое *mauvaise foi** * не способно вернуть дооперационную наивность существования в качестве телесного существа. Действующие лица Нового времени, хотя они того или нет, принимают участие в некоем «уиавг-аутохирургическом повороте. Даже тот, кто в силу своей профессии не является представителем патологоанатомического искусства и не занимается проникновением с помощью ножа в органическую плоть, самой своей причастностью к данной культуре виртуально перемещен в ту познавательную и оперативную точку, находясь в которой, он не может быть не включен в великий переворот старого внутреннего телесного универсума. Понимание внутреннего пространства собственного тела с точки зрения возможности анатомического превращения его в нечто внешнее — это первичный когнитивный результат «революции» Нового времени, по своей силе сравнимый лишь с изменившим картину мира кругосветным плаванием Магеллана и Элькано.⁶²

По своему когнитивному габитусу кругосветное путешествие и картографирование Земли тождественно всестороннему вскрытию, человеческого тела и его графическому изображению во всех перспективах. Обе операции

62 См.: Сферы. Т. II. С. 830—831, а также: *Peter Stolerdijk, Hans-Jürgen Heinrichs. Die Sonne und der Tod. Dialogische Untersuchungen. S. 190 f.*

* Недоверие (*фр.*).

являются компонентами великой ротации, изменяющей угол (*klima**) знания о вещах и людях. *Making it explicit*** — с начала Нового времени это означает участие в перевороте телесного мира, осуществляемом благодаря мастерству анатомов, и конституирование себя в качестве виртуального автооператора в условиях радикального изменения угла зрения на самого себя — «предмет становится доступен нам под углом в 45 градусов». ⁶³ Новое время — эпоха анатомов, время разрезов, пенетраций, имплантаций, инвазий на темный континент, в прежнюю Лету.

На значительно более позднем этапе, после того как академические абстракции исказили основные оперативные данности новоевропейского знания до неузнаваемости, философы смогли прийти к мысли, что экспликация есть дискурсивная операция, в первую очередь относящаяся к ведению бухгалтерского учета мнений и убеждений на счету говорящего. ⁶⁴ Не является ли, таким образом, каждый говорящий человек спекулянтom на бирже утверждений и не выполняет ли философия роль инстанции, осуществляющей биржевой контроль? Истинное значение экспликации находится в другом поле: важнейшей характеристикой новоевропейских возможностей знания является отнюдь не то, что «субъекты» могут рассматривать себя или давать публичный отчет по поводу оснований своих мнений, а то, что они оперируют самими собой и держат перед собой карты своей собственной, частично проясненной темной стороны, на которых обозначены точки потенциального вмешательства в самих себя. Разделение труда между хирургами и не-хирургами не должно вводить нас в заблуждение: после Везалия

⁶³ *Иоганн Вольфганг Гёте*. Максимы и рефлексии. № 501.

⁶⁴ См.: *Robert B. Brandom*. *Making It Explicit. Reasoning, Representing and Discursive Commitment*. Boston, 1994; немецкий перевод вышел под измененным заглавием: *Expressive Vernunft*. Frankfurt, 2000.

* Покатость, наклонность (*греч.*).

** Экспликация (*англ.*).

«субъект» — это тот, кто живет, согласен он с этим или нет, в оперативно искривленном пространстве. В Новое время я уже не могу быть аутентично, то есть на уровне соответствующей культуры, быть самим собой, пока не абстрагируюсь от своего потенциального хирурга. Когда люди Нового времени лгут по поводу состояния своего здоровья, то это почти всегда происходит в силу сознательного отказа от своей аутооперабельной конституции.⁶⁵ Принципиальное «нет» операции по собственному заключению и настоянию составляет ядро дурного романтизма. Наше неизбежно несовершенное, однако постоянно развиваемое умение воздействовать на свою собственную соматическую и психосемантическую изнанку является признаком той ситуации, которой мы приписываем порядком поизносившийся предикат «современная». Излишне объяснять, почему на этой стадии нам едва ли еще придется иметь дело с так называемым овеществлением.

КОГДА ЭКСПЛИЦИРУЕТСЯ ИМПЛИЦИТНОЕ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Тот основополагающий для всех высокоразвитых цивилизаций и тем более для современности факт, что в результате непрерывного вторжения разума в скрытое дом знания приходит в движение, в своем обычном истолковании именуется исследованием. Там, где толкование становится претенциозным, оно в течение значи-

⁶⁵ Один из немногих авторов, отдававших себе отчет в этой ситуации, был иезуит Карл Ранер, заявивший в своей статье «Эксперимент "Человек"». Теологический взгляд на манипуляцию человека самим собой»: «Он должен желать быть операбельным человеком, даже если масштаб и истинный метод этой самоманипуляции еще в значительной мере неясны» (*Karl Rahner. Experiment Mensch. Theologisches über die Selbstmanipulation des Menschen // Die Frage nach dem Menschen. Aufriß einer philosophischen Anthropologie. Festschrift für Max Müller zum 60. Geburtstag. Freiburg; München, 1966. S. 53.*

тельного для истории духа периода носит имя феноменологии, то есть теории выступления «предметов» в явленность и логической оценки их наличия в контексте прочего массива знания. В том, что людям не сразу все открывается, но предметы становятся достоянием знания в соответствии с законами некоей последовательности (сколь строгого, столь и труднодостижимого порядка 60-лее раннего и более позднего), заключалась первоначальная, впервые сформулированная Ксенофаном интуиция, переработанная эволюционным и феноменологическим мышлением в философские романы образования и в истории духа. Ядром этой интуиции является наблюдение: более позднее и более раннее часто соотносятся друг с другом как эксплицитное и имплицитное. Экспликации превращают данности и предположения в понятия, а эти превращения могут описываться и обосновываться. Тем самым становится возможной наука о необратимых духовных процессах, предметом которой являются ряды следующих друг за другом идей (например, представлений о Боге, понятий души и личности, концепций общества, архитектурных форм и техник письма), детерминированные логикой открытия. Феноменология — это повествовательная теория эксплицирования того, что первоначально может наличествовать лишь в качестве имплицитного. Быть имплицитным в данном случае означает: предполагаться в неразвернутом состоянии, оставаться в когнитивном покое, не испытывать давления обстоятельного упоминания и развития, быть данным в модусе темной близости — еще не вертеться на языке, еще не быть способным появиться в следующее мгновение, не быть мобилизованным дискурсивным режимом и не быть встроенным в метод. Эксплицироваться же — это влечься потоком, текущим от фона к авансцене, из Леты к свету, от свернутости к развернутости. Временная стрела мышления направлена в сторону более высокого уровня эксплицитности. То, что может быть сказано с более высокой степенью обстоятельной артикулированности, спо-

собствует мобилизации аргументов — при условии, что таков был призыв эпистемического духа времени. Разумеется, импликация также представляет собой отношение между высказываниями; она традиционно рассматривалась как пребывание менее всеобщего тезиса в более всеобщем или как включение текстов в контексты; и в той мере, в какой это верно, логическое исследование может рассматриваться как метод осуществления экспликации; но его действительное значение состоит в том, что имплицитное обозначает то место в сущем, где находится бутон, предназначение которого — в развертывании, артикуляции, экспликации.⁶⁶ Поэтому истинная история знания обладает формой превращения в феномен прежде не явленного — перехода неосвещенного в освещенное или восхождения от теневых данностей к тематике первого плана. Реальное знание... Так мы называем дискурсы, пережившие долгую ночь импликации и резвящиеся при свете дня тематически расцветшего.

Не так уж мало самых выдающихся умов старой Европы осмысливали процесс знания в соответствии с этой схемой, и это достаточная причина, чтобы после заката этой теоретической конъюнктуры рассмотреть обстоятельства ее успеха.⁶⁷ В течение почти двух веков сколь строгие, столь и назидательные мыслители различных факультетов вырабатывали убеждение, что все, возникающее в знании, каким бы гетерономным и новым оно ни казалось, в конечном счете не может быть чуждым самости знающего, а следовательно (пусть даже после сколь угодно глубоких кризисов), должно войти в историю нашего интимного образования (причем в выражении

⁶⁶ См. также Промежуточное рассуждение на с. 206—227, особенно ссылку на концепцию артикуляции Брюно Латура.

⁶⁷ Трезвый ретроспективный взгляд на феноменологическую констелляцию и ее распад мы находим в книге Эрика Алье «Невозможность феноменологии. О современной французской философии*»: *Eric Alliez. De l'impossibilité de la phénoménologie. Sur la philosophie française contemporaine*. Paris, 1995.

«наша история» чувствуется дыхание культурной самости более высокого порядка, если даже не самого мирового* *го духа). Феноменологи распространяют благую весть, что не существует такого внешнего, которому бы не соответствовало некое внутреннее; они внушают: мы не встретим ничего чуждого, что после определенной работы не могло бы быть усвоенным нами и стать нашим. Их вера в апроприацию без границ опиралась на утверждение, что более позднее знание есть не что иное, как развертывание того, что было дано в самых ранних импликациях.

Онтологическое основание этого оптимизма было заложено в XV столетии Николаем Кузанским, постулировавшим симметрию максимального имплицитного бытия (Бог как стяжение в атомарную точку) и максимального эксплицитного бытия (Бог как развертывание во вселенский шар). При таких предпосылках человеческое мышление представляло бы собой когнитивное сопровождение божественной экспансии в эксплицитное (то есть осуществленное и сотворенное) в той мере, в какой в условиях конечности возможно такое сопровождение. Кульминацию западной теологии шара, которой стал на первый взгляд несложный трактат «*De ludo globi*»,* вышедший из-под пера жовиального кардинала, мы подробно рассматривали в главе «*Deus sive sphaera*»** «Сфер II».⁶⁸ С похожим когнитивным оптимизмом мы встречаемся в этике Спинозы, представляющей собой одно-единственное требование развертывания естественного потенциала: мы не знаем всего того, что способно знать темное тело; научитесь этому, и вы увидите и сможете. У Лейбница когнитивный оптимизм принял более мягкие формы, поскольку автор «Монадологии» обладал четким представлением о неисчерпаемости импликаций,

68 Особенно с. 563—579.

* «Игра в шар» (лат.).

** «Бог или сфера» (лат.).

простирающихся в бесконечность.⁶⁹ Но еще в гегелевском конструкте круга из кругов сохраняется принцип, согласно которому последнее есть лить исполненное, эпицентрически приведенное в себе в нашем понимании первое.

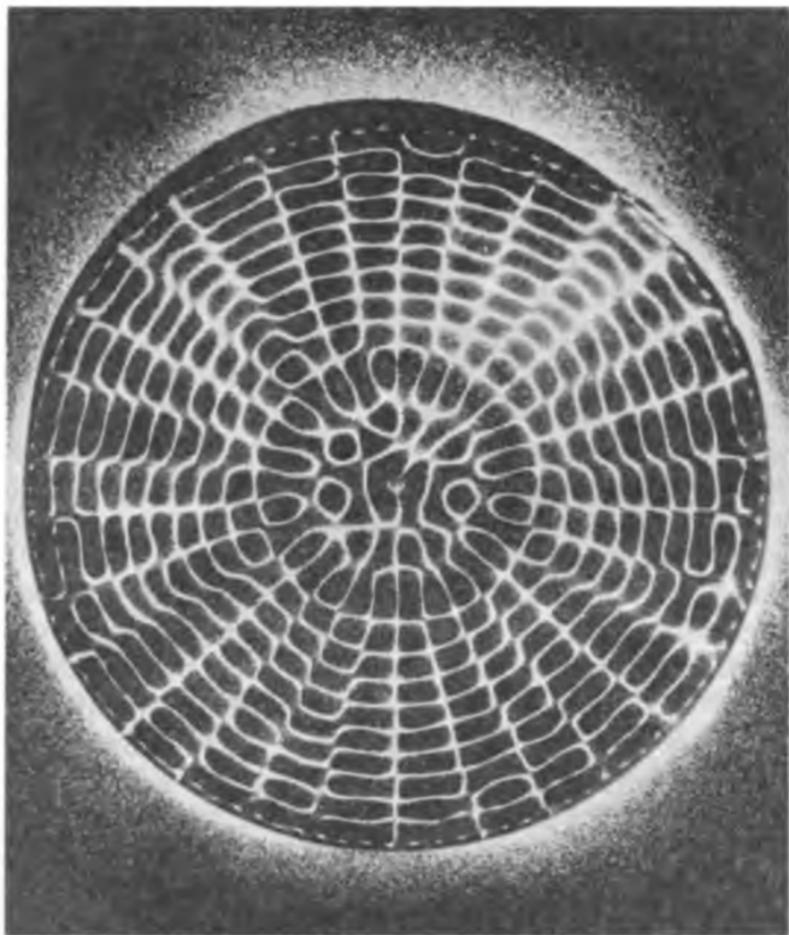
Там, где задает тон оптимизм, он порождает вопрос: как в конечном счете внутреннее вообще может стать внешним? Рассмотренная в обнадеживающем свете, человеческая практика есть не что иное, как великая ротация, которая доставляет нам то, что скрыто во мраке прожитого мгновения, таким образом, чтобы оно в качестве отчетливого представления могло быть инкорпорировано в человеческую сокровищницу. Последовательный оптимизм приводит историю познания и техники к заключительному акту, в котором пункт за пунктом устанавливается паритет между внутренним и внешним. Но каким образом это происходит, если можно показать, что вместе с эксплицированием имплицитного в мышление иногда проникает нечто совершенно самостоятельное, чуждое, иное, нечто никогда не подразумевавшееся, никогда не ожидавшееся и в принципе не доступное ассимиляции? Если исследование, осуществляющееся в ограниченных областях, превращает в известное прежде неизвестное, к которому не относится утверждение, что в нем субъект пришел «к себе»? Если существует новое, избегающее симметрии имплицитного и эксплицитного и проникающее в порядки знания как то, что до конца остается чуждым, внешним, чудовищным?

69 **Монадология, тезис 51:** «*Mais une Ame ne peut lire en elle-même que ce qui y est représenté distinctement, car elle ne sauroit développer tout d'un coup tous ses replis, car ils vont a l'infini** [«Но душа может в себе самой читать лишь то, что в ней представлено отчетливо; она не может с одного раза раскрыть в себе все свои тайны, ибо они идут в бесконечность*». — Перевод Е. Боброва]. Если изгибы имплицитно или нечетко осознаваемого душой уходят в бесконечность, то нет никакой надежды, что мы достигнем полностью эксплицитного знания; оно является прерогативой Бога, человеческому же интеллекту свойствен прогресс в осознании все большей, однако всегда недостаточной эксплицитности.

По завершении оптимистической конъюнктуры мы можем беспристрастно констатировать, что *de facto* представляла собой феноменология в своем обычном применении. Она была службой спасения для феноменов в эпоху, когда большинство «явлений» уже не обращаются сами собой к нашим глазам или другим чувствам, а делаются зримыми благодаря исследованию, посредством инвазивных экспликаций и соответствующих измерений (то есть «наблюдений») с помощью машин и искусственных сенсоров). Она приглашала своих адептов к участию в попытке оборонить метафизическое первенство созерцательного восприятия от натиска измерения, калькуляции и оперирования.⁷⁰ Она посвятила себя задаче защиты от шокирующего затопления сознания неассимилируемыми картинами вскрытых тел и внутренностей механизмов — не для того, чтобы уберечься от нового, а чтобы включить его в обычное восприятие природы либо тех или иных обстоятельств, словно в результате технического перелома ничего не произошло. Хайдеггер справедливо отмечал, что техника есть «способ раскрытия». Одновременно это означало, что технически раскрытому и опубликованному может быть присуща лишь некая производная феноменальность, некая гибридная публичность и нарушенная доступность восприятия.⁷¹

⁷⁰ Современную защиту примата восприятия можно ретроспективно проследить по крайней мере вплоть до критики Гёте естественнонаучного мировоззрения; см.: *Albrecht Schöne. Goethes Farbentheologie. München, 1987; Ursula Schuh. «Die Sinne trügen nicht*: Goethes Kritik der Wahrnehmung als Antwort auf virtuelle Welten. Stuttgart; Berlin, 2000.*

⁷¹ Хайдеггеровское понятие «по-став* (Ge-stell) ухватывает нечто от ненормальности ситуации, которую вынуждают стать явлением, но которая сама по себе не является. Оно свидетельствует о чутье на монетруозное во вновь раскрытом, а следовательно, на насилие над скрытым, которое узнается посредством исследования и которое, вынуждаемое стать видимым или оказывающееся в сфере публичности, означает нечто совершенно иное, чем присутствие самобытных «вещей» в близком окружении и открытость для широкого обзора традиционных ландшафтов.



Звуковые волны, ставшие видимыми на металлическом диске.

Наряду с представшими в своей монструозной зримости анатомическими фактами, сопровождающими нас с XVI столетия (и уже никакой гуманизм более не способен интегрировать их в цельный образ читающего человека), начиная с XVII века с помощью микроскопов и телескопов — адских машин для глаза — мы открываем совершенно новые виды. Увеличение — это (наряду с картографией) первичное накопление экспликации, бла-

годаря которому прежде не видимый мир принуждается к тому, чтобы стать картиной.⁷² Вспомним и о превращении в феномены атомных грибов, клеточных ядер и внутренних машин, о рентгеновских снимках и компьютерной томографии, о галактических фотографиях — о диффузном универсуме сложных, с трудом поддающихся дешифровке картин, к появлению которых не может быть готов человеческий (точнее, прежний человеческий) глаз (заметим, что такая дисциплина, как дизайн, понимаемый как искусственное производство воспринимаемых и используемых поверхностей, под которыми скрыты невидимые функции, современнее своей ровесницы феноменологии, поскольку он оперирует уже на уровне вторичного восприятия, то есть наблюдения с помощью приборов и сенсоров).

Итак, феноменологически ангажирован тот, кто решился таким образом обращаться с искусственно созданной зримостью ранее естественным образом скрытых ситуаций и латентных механизмов или функций, словно старый безоблачный альянс глаза и света действителен и для этих новичков в пространстве зримого. В этом смысле феноменология есть своего рода реставрация восприятия после его поражения в соревновании с наблюдением с помощью механизмов. Она осознанно уклоняется от вопроса о способности человеческого глаза конкурировать со счетчиком Гейгера. Пока это уклонение продолжается, сохраняется убеждение, что знание может жить в мире, как буржуа на своей вилле.

При первом приближении невозможно отрицать: виды и изображения всего диковинного, что под различными углами стало зримым при вскрытии тел людей, и животных, а также при химическом разложении веществ (вплоть до ядерных эпифаний над американской пустыней и следов атомов в камере Вильсона), также

⁷² Scale up: Modellübertragung in der Verfahrenstechnik. Weinheim, 2000.



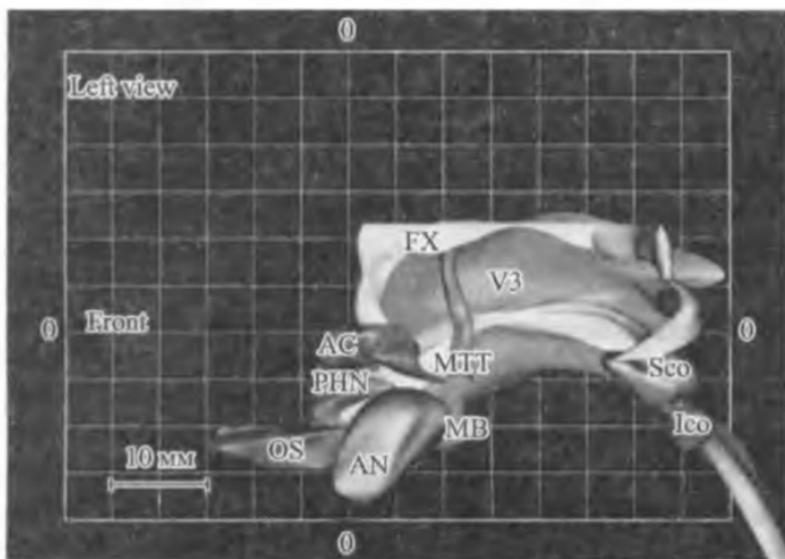
Л. Рогозов, делающий самому себе операцию на слепой кишке. Станция Новолазаревская, Антарктида, апрель 1961 г.

включаются в человеческое восприятие, словно эти новые зримости являются всего лишь продолжением современными средствами непотаенности первой открытой взору природы. Но они представляют собой нечто иное. Все эти новые зримости, эти проникновения в изнанку феноменов, возможны лишь благодаря развитию определенных методов, продуцирующих визуальные образы: эти неумолимо эксплицитные разрезы живых и неживых тел, эти внешние виды естественным образом скрытых органов, эти контринтуитивные искусственные картины темной и механической стороны природы, эти крупные снимки оголенной материи, плоды высокоразвитого оперативного знания и рутинизированной эксцентрики — все они своего рода онтологическим рвом отделены от естественной, осмотрительно-терпеливой способности человека вглядываться в более или менее знакомые ему внутригоризонтальные обстоятельства, за которыми с давних пор закрепилось наименование «природа». Лишь после аутооперативного переворота новое знание оказывается в ситуации, когда для него становится феноменом то, что

никоим образом не было предназначено для аппарата человеческого восприятия, по крайней мере в соответствии с его первым проектом. То, что в исследовании выносится на поверхность, необходимо было «обнаружить» или «раскрыть». Для «откуда» этого обнаружения у современности имеются самые различные имена: оно возникает либо из бессознательного, либо из латентного, из незнания, из скрытости на внутренней стороне складок явлений или каких-либо других разновидностей когнитивного «еще-не».

Ни к одному роду «предметов» это не относится в большей мере, чем к героическим сюжетам новых «наук о жизни», в новейшее время эффектно вторгшихся в прежде незримое, а потому неведомое, не-явленное; вследствие этой инвазии человеческий мозг, человеческий геном и человеческие иммунные системы столь театрально вышли на эпистемологические подмости, что инсценировки и постановки, в которых они участвуют, известные под заглавиями «исследование» и «расшифровка», держат в постоянном напряжении как образованную, так и падкую до сенсаций общественность.

На примере этих трех объектных полей можно объяснить, насколько абсурдным является представление, что дисциплины этой ориентации — это выражение и следствие осмысления людьми факта существования или даже манифестаций того, что идеалистические философы называли саморефлексией. Поворот знания к мозгу, в котором, насколько мы можем судить, протекает процесс всякого знания, в том числе и это радикальное знание о знании, а также к геномам и иммунным системам, которые, вне всякого сомнения, представляют собой актуальные биологические предпосылки существования в том числе и самих этих генетиков и иммунологов, отнюдь не обладает каким бы то ни было «рефлексивным» или отражательным характером; он есть не что иное, как акт аутооперативной ротации, вследствие которой знание оказывается позади зеркала или на «обратной стороне»



Амигдала, форникс и перивентрикула мозга. 3D-реконструкция.

субъективности. Для этого необходимо принудительное осуществление доступа к тому, что скрыто, ибо лишь после прорыва к сокрытому и его включения в освещенное пространство может стать феноменально обнаруживаемым то, что само по себе латентно, афеноменально и не обладает необходимой связью с познающим сознанием. Для того чтобы гены, мозг и иммунные системы перешли в разряд явлений, необходимы срывающие покровы методы и инструменты — эффективные орудия переворота, в ходе которого не имеющееся в наличии занимает позицию наличного.⁷³

Следует подчеркнуть, что это превращение в наличное не может навсегда сохранить за собой характер надменного господства над объектами, и именно новые науки о жизни позволяют предвидеть, каким образом исследование будет все больше и больше пронизываться идеей

⁷³ См.: *Peter Galison. Image and Logic. A Material Culture of Microphysics. Chicago, 1997.*

о превосходстве объекта. Тот, кто поднимает вопрос о том, что такое жизнь, должен сначала признать, что жизнь уже дает на него ответ. Речь все меньше и меньше может идти о присвоении объекта исследующим субъектом. Мой мозг, мой геном, моя иммунная система... В этих словосочетаниях старые добрые притяжательные местоимения звучат как проявления грамматического фольклора. Новое имущество никогда не сможет перейти в нашу собственность, ибо во все времена для нас не будет ничего более чуждого, чем наша «собственная» эксплицированная биомеханика. Разумеется, представление о необходимом характере долговременного наступления на скрытое и о его всесторонней легитимности относится (под такими лозунгами, как «свобода исследования» или «улучшение условий человеческой жизни») к первичным убеждениям новоевропейской цивилизации, убеждениям, в свою очередь, восходящим к античным источникам, — например, учению Аристотеля о том, что стремление к познанию заключено в самой природе человека.

Мы не станем комментировать эти постулаты, разве что укажем, что всякое выдвигание на первый план того, что в течение долгого времени было латентным, имеет свою цену, — и прежде всего тогда, когда атмосферная и климатическая обусловленность культур становится явной в силу ее эрозии и в еще большей мере из-за ее намеренного разрушения. После нанесенной ей травмы она стала предметной и требует оперативной реконструкции. Это особенным образом относится к знанию о культурах, переведенном великой ротацией во внешнюю и техническую позицию.⁷⁴ О XX веке можно сказать много плохого — но только не то, что в его время не была заплачена цена за такого рода отчуждения. Ни одна другая эпоха не может похвастаться проведением

⁷⁴ По нашему мнению, самую убедительную на данный момент форму ротированной в этом смысле теории культуры предложил Хайнер Мюльманн: *Heiner Mühlmann. Die Natur der Kulturen. Entwurf einer kulturgenetischen Theorie.* Wien; New York, 1996.

столь далеко идущей экспертизы в области искусства уничтожить свои собственные витальные предпосылки. Обратная сторона метода разрушения делает зримыми конструктивные условия сохранения культурных пространств. Их судьба будет зависеть от реконструктивного знания и умения, черпаемого цивилизациями в самих себе.

МЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМИ

После завершения XX века растет понимание, что было ошибкой ставить в центр его истолкования понятие революции, — как было заблуждением рассматривать экстремистские модусы мышления этой эпохи в качестве отражения «революционных» изменений в социальном «базисе». Мы все вместе еще слишком доверяем самомистификациям действующих лиц этой эпохи. Те, кто до и после 1917 года говорил о революциях, политических или культурных, почти всегда позволяли одурачить себя некоей неясной метафоре движения. Сущность этого столетия никогда не заключалась в переворотах. Никогда верх и низ не менялись местами; ничто из того, что стояло на голове, не ставилось на ноги; мы бы тщетно искали примеры того, как последние стали первыми. Ничто не переворачивалось, ничто не вращалось. Напротив, фоновое повсеместно выносилось на первый план, на многочисленных фронтах латентное становилось явным. То, что можно было раскрыть посредством инвазивных гипотез, интервенций, глубинного бурения, нашло свое выражение в танках, в напечатанных текстах, в торговых балансах. Средний план расширялся, репрезентативные функции возрастали, блюда сменялись, административные органы пухли, точек приложения для действий, производств, публикаций становилось все больше, новые учреждения росли на глазах, количество карьерных возможностей увеличивалось тысячекратно. Пожалуй, отчасти именно обо всем этом говорится в злых словах

Поля Валери о том, что французы и *eo ipso** современные люди вообще «превратила революцию в рутину».

Истинным и действительным главным понятием современности является: не революция, а экспликация. В наше время, экспликация есть истинное наименование становления; которому можно подчинить или поставить на службу традиционные модусы становления посредством дрейфа, подражания, катастрофы и творческой комбинации.. Пожалуй, Делёз артикулировал похожую мысль, попытавшись перенести событийный тип «революция» на молекулярный уровень, дабы избежать амбивалентности действия в «массе»; здесь речь идет не о мажорном перевороте, а о течении, неброском переходе в следующее состояние, длинной веренице *status quo*. В молекулярной области все зависит от мелких и мельчайших маневров; все новое, что ведет дальше, оперативно. Зримость действительной инновации восходит именно к экспликационному эффекту — то, что впоследствии превозносится как «революция», как правило, есть лишь шум, начинающийся, когда событие уже миновало. Современная эпоха не переворачивает вещи, состояния, темы; она раскатывает их. Она разворачивает их, влечет вперед, раскладывает на плоскости, вынуждает стать явными, по-новому аналитически разлагает на элементы и встраивает в синтетический опыт; она превращает предположения в операции; она дает строгие методы для выражения запутанных отношений; она переводит сновидения в инструкции по эксплуатации; она вооружает *ressentiment*, она позволяет любви играть на многочисленных, нередко вновь изобретенных инструментах. Она хочет знать все о фоновом, свернутом, прежде недрступном и запретном — во всяком случае столько, чтобы получить его в распоряжение для новых действий уже на переднем плане, для разворачиваний и расщеплений, интервенций и преобразований. Она превращает монструоз-

* Тем самым (лот.).

ное в повседневное. Она изобретает метод встраивания неслыханного в регистр реального; она создает клавиши, позволяющие пользователям легко получить доступ к прежде невозможному. Она говорит своим современникам: бессилия не существует; тому, чего ты не можешь, ты способен научиться. Она по праву — носительница технической эпохи.

В следующих главах мы воспроизведем некоторые эпизоды катастрофической истории XX столетия и объясним, вследствие каких битв и каких травм человеческое пребывание в пригодной для дыхания среде вынужденно превратилось в предмет эксплицитного культивирования. Когда это будет сделано, потребуется уже не так много усилий для объяснения, почему все виды этики, основывающейся на ценностях, добродетели и дискурсе, остаются пустыми, до тех пор пока они не перешли в климатическую этику. Не преувеличивал ли Гераклит, провозглашая, что борьба — отец всех вещей? Во всяком случае, современный философ не перегнет палку, заявив, что террор — отец науки о культурах.

Введение

ВОЗДУХОТРЯСЕНИЕ

Затаив дыхание от напряженной бдительности, затаив дыхание от подавленности не пригодным для дыхания ночным воздухом...

*Герман Брох. Смерть Вергилия*⁷⁵

1. ГАЗОВАЯ ВОЙНА, ИЛИ АТМОТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Ели бы нам нужно было как можно более кратко сказать о том уникальном, что — кроме неоценимых художественных достижений — внес в историю цивилизации XX век, то ответ, пожалуй, мог бы ограничиться указанием на три явления. Желая постигнуть оригинальность этой эпохи должен принять во внимание едущее: практику терроризма, концепцию производственного дизайна и идею окружающего мира. Первая поставила интеракции между врагами на постмилитарный фундамент; благодаря второй функционализму удалось опять включиться в мир восприятия; благодаря третьей феномены жизни и познания соединились на прежде не виданной глубине. Все вместе эти три явления указывают на форсирование экспликации — раскрывающего включения латентного или фоновых данностей в явные операции.

Если бы наряду с этим перед нами была поставлена задача определить, когда именно началось это столетие,

⁷⁵ *Hermann Broch. Der Tod der Vergil. Frankfurt, 1976. S. 103.*

то ответ мог бы быть дан с поистине пунктуальной точностью. Этот же ответ способен объяснить, каким образом три первичные характеристики эпохи в самом ее начале были объединены одной общей первичной сценой. XX век с сенсационной зримостью начался 22 апреля 1915 года, с первого крупномасштабного применения в качестве боевого средства газообразного хлора специально сформированным для этого на германском Западном фронте «газовым полком» против французско-канадских пехотных частей, располагавшихся на севере Ипрской дуги. В предшествующие недели немецкие солдаты незаметно для противника возводили на этом участке фронта батареи, прежде еще не известного типа, из тысяч газовых баллонов, устанавливаемых у края германских окопов. Ровно в 18 часов при преимущественно северном или северо-западном ветре саперы нового полка под командованием полковника Макса Петерсона открыли 1600 больших (40 кг) и 4130 малых (20 кг) наполненных хлором баллонов. В результате этого «выпуска» сжиженной субстанции около 150 тонн хлора образовали газовое облако приблизительно 6 километров в ширину и 600—900 метров в высоту.⁷⁶ Аэрофотосъемка запечатлела расползание первого облака боевого газа над ипрским фронтом. Благоприятный ветер погнал облако со скоростью 2—3 метра в секунду в сторону французских позиций; концентрация яда в воздухе составляла около 0.5 процента, что при достаточно длительном времени экспозиции вело к тяжелейшим повреждениям дыхательных путей и легких.

Французский генерал Жан-Жюль Мордак (1868—1943), находившийся в этот момент в 5 километрах от

⁷⁶ Эти данные мы приводим, следуя Дитеру Мартинету: *Dieter Martinete. Der Gas-Krieg 1914—1918. Entwicklung, Einsatz und Herstellung chemischer Kampfstoffe. Das Zusammenwirken von militärischer Führung, Wissenschaft und Industrie. Bonn, 1996*; незначительные расхождения, касающиеся характеристик местности, а также данных о временных и количественных параметрах, содержатся в монографии Оливье Лепика: *Olivier Lepick. La grande guerre chimique: 1914—1918. Paris, 1998*.



Аэрофотоснимок первой немецкой газовой атаки под Ипром 22 апреля 1915 г.

линии фронта, сразу после 18 часов получил полевую телефонограмму, в которой офицер окопавшегося на передовой 1-го Стрелкового полка сообщал о появлении облака желтого дыма, двигавшегося от немецких окопов в сторону французских позиций.⁷⁷ Когда Мордак на основании этого поначалу вызвавшего сомнения, но затем подтвержденного другими телефонными сообщениями сигнала тревоги в сопровождении своих адъютантов верхом отправился к линии фронта, чтобы самолично проконтролировать ситуацию, спустя короткое время у него самого и у его спутников начались затруднения дыхания, кашель и тяжелый шум в ушах; после того как лошади отказались двигаться дальше, Мордак и его команда

⁷⁷ *Jean-Jules Henry Mordacq. Le drame de l'Yser. Paris, 1933; цит. по: Der chemische Krieg / Hrsg. von Rudolf Hanslinn. 3. Aufl. Berlin, 1935. S. 123 f.*

были вынуждены приблизиться к загазованной зоне пешком. Вскоре они столкнулись с толпами бегущих в панике солдат; их мундиры были расстегнуты, винтовки брошены, солдаты харкали кровью и просили воды. Некоторые катались по земле, тщетно хватая ртом воздух. Около 19 часов в линии французско-канадского фронта образовалась брешь шириной в 6 километров; в это время немецкие войска выдвинулись вперед и заняли Лангемарк.⁷⁸ Для своей собственной защиты наступающие части располагали лишь надетыми поверх рта и носа марлевыми повязками, пропитанными раствором соды и связывающей хлор жидкостью. Мордак пережил атаку и в год захвата власти Гитлером опубликовал свои военные мемуары.

Военный успех операции ни на мгновение не вызывал сомнений — император Вильгельм II уже через несколько дней после событий под Ипром удостоил' научного руководителя немецкой военной газовой программы, профессора химии Фрица Хабера, директора далемского Института физической и электрической' химии, персональной аудиенции, чтобы произвести его в капитаны.⁷⁹ Разве что звучало мнение, что немецкие войска, сами пораженные эффективностью нового метода, недостаточно энергично извлекали пользу из своего триумфа 22 апреля. Данные же о количестве жертв всегда сильно различались — согласно официальным французским источникам

⁷⁸ См.: *Dieter Martinetz. Der Gas-Krieg 1914—1918. S. 23- f.*

⁷⁹ Во время войны Фриц Хабер (1868—1934) был также руководителем сектора «газовой войны» в Военном министерстве. В 1933 году как еврей он был вынужден покинуть Германию, но еще летом того же года советовал командованию рейхсвера вновь принять на вооружение газовое оружие. Он умер 29 января 1934 года в Базеле после пребывания в Англии и находясь на пути в Палестину. Несколько его родственников закончили жизнь в Освенциме. В военной науке сохранилось упоминание о так называемом коэффициенте смертоносности Хабера, получаемом путем умножения концентрации яда на время экспозиции (с · t-коэффициент). Присуждение Хаберу в 1918 году Нобелевской премии по химии за открытие синтеза аммиака вызвало резкие протесты в Англии и Франции, где его имя ассоциировалось прежде всего с развязыванием химической войны.

газом было поражено лишь 625 человек, из которых смертельно отравилось не более 3, тогда как по первоначальным немецким рапортам насчитывалось 15 000 отравившихся и 5000 погибших; правда, по мере поступления все новых и новых данных разведки это число постоянно корректировалось в сторону снижения. Очевидно, что в этих различиях дает о себе знать война интерпретаций, в различном свете представляющая военно-технический и моральный смысл этих операций. В одном канадском отчете о вскрытии жертвы газовой атаки на участке фронта, где концентрация газа была самой высокой, указывалось: «При удалении легких вылилась значительное количество пенящейся светло-желтой жидкости... Вены на поверхности мозга в высокой степени закупорены, все малые кровяные сосуды заметно выделяются».⁸⁰

Если злосчастный XX век сегодня намереваются включить в учебники истории как «эпоху крайностей»,⁸¹ отказываясь от его ставших неактуальными линий фронта и концепций мобилизации (его сценарии всемирной истории изветшали в не меньшей степени, чем призывы средневековых теологов к освобождению Гроба Господня), то одна из технических моделей прошедшего столетия дает о себе знать со все возрастающей отчетливостью. Мы имеем в виду включение в борьбу контрагентов окружающего мира.

С тех пор как существует артиллерия, в ремесло стрелка и военачальника входит непосредственная стрельба по неприятелю и его оборонительным сооружениям. Тот, кто желает нейтрализовать противника по всем правилам солдатского искусства убийства на расстоянии, должен установить орудийный ствол в *intentio directa** на его тело и вывести из строя ставший целью предмет достаточно точным попаданием. Со времен Позд-

⁸⁰ Цит. по: Dieter Martinets. Der Gas-Krieg 1914—1918. S. 24.

⁸¹ См. ниже с. 688 и сл.

* Прямое направление (*лат.*).



Сооружение из баллонов с хлором в передовом немецком окопе.

него Средневековья и до начала Первой мировой войны сущность солдата определялась тем, что он мог открывать и «оберегать» в себе этот замысел. В тот период мужественность ассоциировалась со способностью и готовностью быть непосредственной причиной смерти врага, то есть солдат должен был убивать врага собственными руками и с помощью собственного оружия. Целиться в противника — все равно что продолжать поединок баллистическими средствами. Поэтому жест убийства мужчины мужиной остается настолько тесно связанным с добуржуазным представлением о личном мужестве и возможном героизме, что оно сохранило свою действенность — пусть и в качестве анахронизма — даже в условиях дистанционной борьбы и анонимной битвы материалов. Ссылаясь на риск непосредственной встречи с собственной смертью,

военнослужащие XX века еще могли полагать, что они заняты «мужским», а в обстоятельствах военных действий «честным» ремеслом. Оружейно-технической манифестацией смерти является винтовка с примкнуть™ штыком: если (буржуазная) нейтрализация врага посредством дистанционной стрельбы по какой-либо причине не удавалась, это оружие оставляло возможность возвращения к (благородному и архаичному) пронзанию противника с минимального расстояния.

XX век сохранится в нашей памяти как эпоха, главная идея которой состояла в том, что целью является не тело врага, а его окружающий мир. Это — основная идея террора в более развернутом и современном смысле. Устами Шейлока Шекспир пророчески изложил принцип террора: «Жизнь мою берите, отнявши все, чем только я живу».^{82*} Сегодня наряду с экономическими условиями в центре внимания оказались экологические и психосоциальные условия человеческого существования. В новом методе, заключающемся в том, чтобы путем воздействия на окружающий мир врага лишить его жизненных предпосылок, проступают контуры специфически современного, постгегельянского понятия ужаса.⁸³

Террор XX столетия есть нечто существенно большее, чем то Я-могу-потому-что-я-хочу, с которым якобинское самосознание шагало по трупам тех, кто вставал

⁸² «You take thy life / When you do take the means whereby I live* (Венецианский купец. Акт IV, сцена I).

⁸³ См.: G. W. F. Hegel. *Phänomenologie des Geistes*. Frankfurt, 1970. S. 431 f. Согласно Гегелю, в терроре осуществляется «разобшенная абсолютная жесткая косность и своенравная точечность действительного самосознания... Единственное произведение и действие всеобщей свободы есть поэтому *смерть*, и притом смерть, у которой нет никакого внутрѐнного объема и наполнения; ибо то, что подвергается негации, есть йенаполненная точка абсолютно свободной самости; эта смерть, следовательно, есть самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не больше, чем если разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды» [цит. по; Г. В. Ф. Гегель. *Феноменология духа*. СПб., 1992. С. 317—318; перевод Г. Шпета).

* Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

на пути его свободы; он принципиально отличается — несмотря на формальное сходство — и от бомбизма анархистов и нигилистов последней трети XIX века, стремившихся к предреволюционной дестабилизации буржуазно-позднеаристократического общественного порядка; у них нередко развивалась целая «философия бомбы», выражавшая властные фантазии одержимых страстью к разрушению мелких буржуа.⁸⁴ Кроме того, ни по методам, ни по целям его нельзя путать с фобократической техникой существующих и становящихся диктатур, применяемых для того, чтобы с помощью точно рассчитанной микстуры из «церемонии и террора»⁸⁵ подавлять собственное население. Наконец, следует различать его строгое понятие и многочисленные эпизоды, в которых отдельные головорезы по мстительным, параноидальным и геростратовским мотивам используют современные средства разрушения для инсценировки точечных концов света.

Террор нашей эпохи — это форма проявления модернизированного деструктивного (результат теории окружающего мира) знания, благодаря которому террорист лучше понимает своих жертв, чем жертвы понимают самих себя. Если тело врага уже нельзя ликвидировать непосредственным попаданием, у агрессора возникает идея сделать его дальнейшее существование невозможным, погрузив его на достаточно долгое время в не пригодную для жизни среду.

Из этой идеи рождается современная «химическая война» — как атака на зависящие от окружающего мира витальные функции врага, а именно на дыхание, регуля-

8« Ср. немецкого анархиста-идеалиста Иоганна Моста, придумавшего идею бомб-писем; см. также: *Albert Camus. L'homme révolté. Paris, 1951* ; нем. изд.: *Der Mensch in der Revolte. Reinbeck bei Hamburg, 1953/1991* (особенно с. 121—198, где подчеркивается различие между индивидуальным террором и государственным терроризмом).

85 См.: *Joachim Fest. Hitler. Eine Biographie. München, 2000. 3. 205.*

цию центральной нервной системы и пригодные для жизни температурные и радиационные условия. Здесь действительно осуществляется переход от классической войны к терроризму, ибо последний предполагает отказ от старого единоборства между равноценными противниками. Современный террор действует по ту сторону наивного обмена вооруженными ударами между регулярными армиями. Он характеризуется заменой классических форм борьбы посягательством на обеспечиваемые окружающим миром жизненные предпосылки врага. Такая замена напрашивается в том случае, когда имеет место столкновение противников, чьи силы слишком неравны, — как, например, столкновение между государственными армиями и негосударственными бойцами во время современных негосударственных войн и восстаний. Тем не менее тезис, что террор есть оружие слабых, в корне неверен. Любой взгляд на историю XX столетия показывает, что государства, и среди них весьма сильные, первыми овладели террористическими средствами и методами.

Бросив взгляд в прошлое, мы видим, что военно-историческая особенность газовой войны 1915—1918 годов состоит в том, что в ней по обе стороны фронта официально поощряемые формы террора против окружающего мира были интегрированы в ведение регулярных боевых действий законно рекрутированных армий — при сознательном игнорировании статьи 23а Гаагской конвенции о ведении сухопутной войны, в которой категорически запрещалось использование против противника и тем более мирного населения любого рода ядов и оружия, причиняющего тяжелые страдания.⁸⁶ В 1918 году немцы располагали девятью газовыми батальонами численностью при-

86 !Поскольку обе стороны сознавали, что нарушают военное право, они отказывались от подачи протестов правительствам противников по поводу использования отравляющих газов. Ложный аргумент Хабера, что хлор якобы не отравляющий газ, а только раздражающий и потому не подпадает под запрет Гаагской конвенции, до самого последнего времени находил сторонников среди немецких националистов.

близительно 7000 человек, союзники — тринадцатью батальонами «химических войск», насчитывавшими более 12 000 бойцов. Эксперты не без оснований говорили о «войне в войне». Эта формула возвещает о высвобождении экстерминизма из рамок ограниченного военного насилия. Многочисленные высказывания солдат Первой мировой войны, прежде всего кадровых офицеров благородного происхождения, явствуют, что они рассматривали газовую войну как унижительную для всех ее участников дегенерацию. Тем не менее едва ли известны случаи, когда бы военнослужащие открыто отказывались повиноваться новому «закону войны».⁸⁷

Открытие «окружающего мира» произошло в окопах Первой мировой войны, сделавших солдат обеих сторон настолько неуязвимыми для предназначенных им винтовочных пуль и артиллерийских снарядов, что во весь рост встала проблема атмосферной войны. То, что впоследствии было названо газовой войной (а еще позднее воздушно-бомбовой войной;), представляло собой ее техническое решение: его принцип состоял в том, чтобы в течение достаточно долгого времени — что на практике означало по меньшей мере в течение нескольких минут — окутать противника облаком вредоносного вещества необходимой «убойной концентрации», пока он не падет жертвой своей естественной потребности в дыхании (производством облаков психологических вредных веществ над собственными популяциями занимаются, как правило, масс-медиа противоборствующих групп: они преобразуют потребность в информации в невольное сообщничество террористам, простодушно расширяя локальный ужас до национальных масштабов). Эти ядовитые облака практически всегда состояли не из газов в физическом смысле, а из мельчайших пылинок, высвобождав-

87 См.: *Jörg Friedrich. Das Gesetz des Krieges: das deutsche Heer in Rußland 1941—1945. Der Prozeß gegen das Oberkommando der Wehrmacht. München, 1993.*



Открытие «окружающего мира».

мых взрывной энергией. Тем самым на арену выходит феномен вторичной артиллерии: ее целями были уже не столько сами вражеские солдаты и их позиции, сколько воздушное окружение вражеских тел. А следовательно, понятие «попадание» лишалось своей логической строгости: отныне то, что находилось в достаточной близости к объекту, могло в полной мере приниматься в расчет и тем самым рассматриваться в качестве подлежащего оперативному контролю.⁸⁸ На более поздней стадии использо-

⁸⁸ Этот эффект предвосхищало массовое применение разрывных б припасов; см.: *Niall Ferguson. Der Falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und*

вание разрывных снарядов классической артиллерии комбинировалось с дымообразующими снарядами новой газовой артиллерии. Начались лихорадочные исследования вопроса, как можно противостоять быстрому рассеиванию висящих над полем битвы ядовитых облаков, что, как правило, достигалось химическими добавками, изменявшими поведение отличающихся высокой летучестью боёвых частиц в желаемом направлении. В результате событий под Ипром родилась своего рода военная климатология, о которой не будет преувеличением сказать, что она представляет собой главный феномен терроризма.

«Ядооблаковедение» — это первая наука, с которой XX век начинает исследование своей идентичности.⁸⁹ До 22 апреля 1915 года это утверждение выглядело бы патафизическим; в последующее время эта наука должна рассматриваться как ядро онтологии современности. Она эксплицирует феномен не пригодного для дыхания пространства, который по традиции имплицитно присутствовал в концепции миазма. По сей день сохраняющаяся неясность статуса «ядооблаковедения», или теории не пригодных для жизни пространств, в рамках климатологии связана лишь с тем, что теория климата до сих пор еще не освободилась от своей естественнонаучной ориентации. На самом деле она, как мы еще покажем, была самой первой из новых гуманитарных наук, рожденных знанием, появившимся в результате мировой войны.⁹⁰

das 20. Jahrhundert. München, 2001. S. 290: «Мощь гранаты должна была компенсировать недостаток точности».

⁸⁹ Ниже мы объясним, почему, на наш взгляд, второй новой наукой столетия стала теория массовых маний Германа Броха; см. с. 180 и сл.

⁹⁰ О возникновении веселой нефологии (или, говоря словами Томаса Манна, теории «верхней подвижности») в начале XIX столетия рассказывается в монографии Ричарда Хэмблина «Изобретение облаков. Как один безвестный метеоролог исследовал язык неба*» (*Richard Hamblin. Die Erfindung der Wolken. Wie ein unbekannter Meteorologe die Sprache des Himmels erforschte.* Frankfurt, 2001). Важнейшие для гуманитарных наук производные феномена военной пропаганды и ее перехода в отравляющие массовые коммуникации рассматриваются в теории массовых маний Германа Броха; см. ниже с. 180 и сл.

Стремительное развитие военных приспособлений для защиты дыхания (проще говоря, массовых противогазов) свидетельствовало об адаптации войск к ситуации, в которой человеческое дыхание оказалось непосредственным участником боевых действий. Вскоре Фриц Хабер мог быть торжественно провозглашен отцом противогаза. Когда из военно-исторической литературы мы узнаем, что только между февралем и июнем 1916 года в немецкие войска под Верденом было поставлено почти пять с половиной миллионов противогазов, а также 4300 приборов кислородной защиты (взятых по большей части из шахт) с двумя миллионами литров кислорода,⁹¹ то эти числа со всей очевидностью показывают, в какой мере уже в то время «экологизированная», перенесенная в атмосферный окружающий мир война превратилась в борьбу за респираторные потенциалы противоборствующих сторон. Отныне боевые действия направлены на биологические слабые места противников. То, с какой скоростью завоевывает популярность концепция противогаза, говорит о том, что подвергшиеся нападению пытались преодолеть свою зависимость от непосредственной дыхательной среды, спрятавшись за воздушным фильтром (первый шаг к принципу кондиционера, базирующемуся на отделении определенного воздушного объема от окружающего воздуха). С наступательной стороны этому соответствовала эскалация атаки на атмосферу посредством применения ядовитых веществ, проникающих сквозь приборы защиты дыхания противника; с лета 1917 года немецкие химики и офицеры начали применять боевое вещество дифениларсинхлорид (ставшее известным как «голубой крест», или «Кларк I») в форме тончайших частиц взвешенного вещества, способное преодолевать вражеские защитно-дыхательные фильтры (эффект, который те, кого он затронул, прозвали «маекодробилкой»). В то же самое время на Западном фронте

91 См.: *Dieter Martinetz. Der Gas-Krieg 1914—1918. S. 93.*

немецкая газовая артиллерия применила против британских войск новый боевой газ «желтый крест», или «лост»,⁹² который при малейшем контакте с кожей или соприкосновении со слизистой вызывал тяжелейшие поражения организма, в частности слепоту и катастрофические нервные дисфункции. Одной из самых известных жертв лоста, или иприта, был ефрейтор Адольф Гитлер, который в ночь с 13 на 14 октября 1918 года на высоте под Варвиком, южнее Ипра, попал под одну из последних британских газовых атак Первой мировой войны. В своих воспоминаниях он говорил, что утром 14-го его глаза превратились словно в раскаленные угли; кроме того, поле событий 9 ноября в Германии, о которых он услышал в лазарете померанского города Пазевальк, он пережил рецидив вызванной лостом слепоты и во время него принял решение «стать политиком*». Весной 1944 года Гитлер перед лицом приближающегося поражения сказал Шпееру, что боится вновь ослепнуть, как тогда. В качестве нервного следа газовая травма беспокоила его до самой смерти. Роль одной из детерминант Второй мировой войны, по всей видимости, сыграл тот факт, что в силу пережитых им событий Гитлер привнес идиосинкратическое отношение к газу в свою личную концепцию войны и практики геноцида.⁹³

Начало газовой войны характеризуется тем, что она сразу же свела воедино оперативные критерии XX столе-

⁹² Названный так Фрицем Хабером по первым буквам фамилий ответственных за его создание ученых: доктора Ломмеля (Байер, Leverkusenz) и профессора Штайнкопфа (сотрудника хаберовского Института физической и электрической химии имени кайзера Вильгельма, во время войны — Прусского военного института). Этот боевой газ из-за его запаха называли также *mustard gas* [горчичный газ], а из-за его опустошительного воздействия — «гуннским веществом»; кроме того, по месту своего первого применения он получил название «иприт».

⁹³ О неприменении газового оружия во Второй мировой войне см.: *Gunther Gellermann. Der Krieg, der nicht stattfand. Möglichkeiten, Überlegungen und Entscheidungen der deutschen Obersten Führung zur Verwendung chemischer Kampfstoffe im Zweiten Weltkrieg. Koblenz, 1986.*

тия: терроризм, дизайн-сознание и идею окружающего мира. Как мы видели, строгое понятие террора основывается на развернутом понятии окружающего мира, поскольку террор представляет собой сдвиг разрушительного действия с системы (здесь: с физически конкретного тела врага) на ее «окружающий мир» — в данном случае на воздушную среду, в которой движутся тела врагов, испытывающих потребность в дыхании. Поэтому террористическое действие само по себе всегда носит характер покушения, ибо в определение покушения (от латинского *attentatum*, — посягательство, попытка убийства) входит не только неожиданный удар из засады, но и злонамеренное использование жизненных привычек жертвы. В газовой войне атаке подвергаются глубочайшие слои биологических условий человеческого существования: неустранимая привычка дышать обращается против дышащих таким образом, что они становятся невольными соучастниками своего собственного уничтожения — при условии, что газовому террористу удастся до тех пор удерживать жертвы в токсичной среде, пока они вследствие неизбежных ингаляций не окажутся в не пригодном для дыхания окружающем мире. Отнюдь не только отчаяние (вспомним замечание Жан-Поля Сартра) есть покушение человека на самого себя; воздушное покушение газового террориста вызывает у подвергшегося нападению отчаяние, поскольку неспособность отказаться от дыхания заставляет его содействовать прекращению собственной жизни.

Феномен газовой войны выводит климатические и атмосферные предпосылки человеческого существования на некий новый уровень экспликации. В нем погружение живущего в пригодную для дыхания среду разрабатывается со своей формальной стороны. С самого начала в этом экспликационном сдвиге присутствует принцип дизайна, ибо оперативное манипулирование газовой средой на открытой местности обуславливает ряд атмотехнических инноваций. В силу этого облака боевых отравляющих веществ становятся задачей производственного ди-

зайна. На газовых фронтах бойцы, призванные в армию в качестве обычных солдат, столкнулись с проблемой необходимости развивать в себе навыки специалистов по региональному атмосферному дизайну. Для искусственного изготовления или инсталляции боевых пылевых облаков была нужна эффективная координация облакообразующих факторов в том, что касается их концентрации, диффузии, седиментации, когерентности, массы, протяженности и движения. Для этого требовалась своего рода черная метеорология, занимавшаяся «осадками» совершенно особого рода.

Твердыней этого особого знания был возглавляемый Фрицем Хабером Институт физической и электрической химии имени кайзера Вильгельма в Берлине-Далеме, одно из самых зловещих обиталищ теоретических познаний XX столетия; с французской и британской стороны ему противостояли аналогичные институты. Чтобы достичь требуемой убойной концентрации на местности, в боевые вещества, как правило, добавлялись определенные стабилизаторы. Эти ядовитые осадки могли образовываться в результате длительной бомбардировки тех или иных участков фронта газовыми гранатами или же вследствие поддерживаемого ветром «выпуска» из направленных газовых баллонов; то, что различие в способах образования этих осадков оставалось сугубо технологическим, ни в коей мере не подрывает раз и навсегда установленный принцип преднамеренного создания ядовитых облаков над определенной, в силу *outdoor**-условий вынужденно нечетко ограниченной территорией. При атаке немецкой газовой артиллерии под Флери на Маасе в ночь с 22 на 23 июня 1916 года было выпущено облако дифосгена («зеленого креста») такой консистенции, которая на открытой местности должна была привести к смертельному эффекту, эквивалентному залпу пятидесяти гаубиц или ста тяжелых орудий на гектар в минуту, —

* На открытом воздухе (акгл.).

результат, не достигнутый в полной мере, поскольку на следующее утро французы сообщали «лишь» о 1600 отравленных газом и 90 убитых на поле боя.⁹⁴

Решающее значение имело обстоятельство, что с помощью газового терроризма техника прорвалась к горизонту дизайна беспредметного, благодаря чему в поле экспликационного натиска оказались такие латентные темы, как физическое качество воздуха, искусственные атмосферные добавки и прочие факторы, формирующие климат в пространствах пребывания людей. Вследствие прогрессирующей экспликации гуманизм и терроризм оказались связанными одной цепью. Нобелевский лауреат Фриц Хабер всю свою жизнь говорил о себе как о горячем патриоте и гуманисте. В своем поистине трагическом прощальном письме, отправленном им в институт 1 октября 1933 года, он заверял, что был горд во время войны работать для родины, а в мирное время — для человечества.

Терроризм снимает различие между насилием против личности и насилием против предметов окружающего мира: он есть насилие против тех окружающих человека «вещей», без которых личность не может оставаться личностью. Насилие против атмосферного воздуха тех или иных групп превращает непосредственную атмосферную оболочку людей в вещь, поврежденность или невредимость которой отныне находится под вопросом. Лишь благодаря реакции на террористическое лишение воздуха и атмосферы — первичных жизненных сред как в физическом, так и в метафорическом смысле — последние смогли стать предметом эксплицитного культивирования и аэротехнической, медицинской, юридической, политической, эстетической и культурно-теоретической заботы. В этом смысле теория воздуха и техника климата — это не просто своего рода осадки военного и послевоенного

94 См.: *Dieter Martinetz. Der Gas-Krieg 1914—1918. S. 70.*

знания и *eo ipso* первые объекты мирной науки, которая могла возникнуть лишь в стрессовой тени⁹⁵ войны, но и первичные посттеррористические формы знания. Назвать их таковыми уже означает объяснить, почему такое знание прежде фиксировалось лишь в лабильных, бес-связных и неавторитетных контекстах; возможно, идея, что могло бы существовать нечто такое, как эксперты по террору, сама по себе гибридна.

Профессиональные аналитики террора и борцы с ним примечательным образом демонстрируют заинтересованность в игнорировании высокого уровня его природы — феномен, который стал совершенно очевидным благодаря потокам поражающих своей беспомощностью экспертных мнений, хлынувших после атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон в Вашингтоне 11 сентября 2001 года. Содержание почти всех высказываний по поводу покушения на известнейшие символы США сводилось к следующему: американцы, как и весь остальной мир, поражены случившимся, однако видят в этом подтверждение тезиса, что существуют вещи, которые невозможно в достаточной мере защитить. В *War-on-Terror** *-K&Nin&RVLYI американских телевизионных компаний, сомкнувшихся в своей стилистике с официальными заявлениями Пентагона и почти целиком перешедших на откровенную пропаганду, ни разу не нашла выражения элементарная мысль, что терроризм не противник, а *modus operandi*,** метод борьбы, к которому, как правило, прибегают обе стороны конфликта, вследствие чего лозунг «война против терроризма» представляет собой абсурдную формулировку.⁹⁶ Она превращает алле-

⁹⁵ О выражении «стрессовая тень» см.: *Heiner Mühlmann. Die Natur der Kulturen.*

⁹⁹ Но ни в коей мере не бессмысленна организация мероприятий полицейского, а в случае необходимости военного характера против определенных групп, прибегающих к применению насилия против институтов, лиц и символов.

* Война с терроризмом (англ.).

** Образ действий (лат.).

горию в политического врага. Как только мы заключаем в скобки заразное требование примкнуть к одному из противников и следуем принципу мирного процесса, состоящего в необходимости слушать и другую сторону, становится очевидным, что отдельный террористический акт никогда не является абсолютным началом. Не существует никакого террористического *acte gratuit*,* никакого «да будет!»-террора. Каждое террористическое нападение рассматривается его организаторами как контратака в серии, начало которой так или иначе было положено противником. Таким образом, сам терроризм конституирован антитеррористически; это относится даже к «первичной» сцене на Ипрском фронте в 1915 году — не только потому, что за ней тотчас последовали обычные эпизоды контрударов и контр-контрударов, но и потому, что немецкая сторона справедливо могла сослаться на то, что французы и британцы еще до нее применяли газовые боеприпасы.⁹⁷ Началом террора является не осуществление какой-либо стороной какого-либо конкретного покушения, а, скорее, воля и готовность участников конфликта действовать на расширенном поле боя. Благодаря расширению зоны боевых действий в военных акциях дает о себе знать принцип экспликации: враг эксплицируется в качестве объекта в окружающем мире, и его устранение является условием выживания системы. Терроризм есть экспликация Другого с точки зрения возможности его экстерминации.⁹⁸ Если война испокон веков подразумевает определенное отношение к врагу, то терроризм разоблачает его «сущность». Как только исчезает междунаро-

⁹⁷ Да и для немецкой стороны в газовой войне хлорная атака под Ипром не была абсолютной премьерой; еще в январе 1915 года на Восточном фронте была испытана так называемая газовая граната Т12, примененная в марте на Западном фронте под Ньивпортом.

⁹⁸ Экстерминизм представляет собой упрощение классически описанного Сартром садизма; он характеризуется не присвоением свободы Другого, а освобождением собственного окружающего мира от свободы Другого.

* Произвольное действие (*фр.*).

но-правовая регуляция конфликтов, командование принимает техническое отношение к врагу: форсируя развитие методов экспликации, техника до конца раскрывает военную сущность вражды; она есть не что иное, как воля к ликвидации своего визави. Технически эксплицированная вражда называется экстерминизмом. Это объясняет, почему зрелый военный стиль XX века был ориентирован на уничтожение.

Таким образом, стабилизация по-настоящему содержательного знания террора зависит не только от точности воспоминаний о его практиках; она требует формулировки тех принципов, которым с 1915 года подчинены террористические действия в их технической эксплицитности и продолжающейся экспликации. Мы лишь тогда поймем сущность терроризма, когда будем рассматривать его как форму исследования окружающего мира с точки зрения возможности его уничтожения. Он эксплуатирует то обстоятельство, что обитатели своего окружающего мира относятся к нему как пользователи и, как правило, только потребляют его как незаметную предпосылку своего существования. Однако в этом случае разрушение аналитичнее потребления: точечный террор извлекает выгоду из различия в обороноспособности между атакующими и беззащитным объектом, тогда как систематический террор порождает устойчивый климат страха, в котором обороняющиеся приспособляются к перманентным атакам, не имея возможности их отразить. Поскольку это так, радикализованная до перехода на террористический уровень борьба все больше и больше превращается в конкуренцию за выгоды, извлекаемые из экспликации слабых мест окружающего мира противника. Специфика новых типов террористического оружия состоит в том, что они все более интенсивно эксплицируют жизненные условия; новые категории покушений открывают — в модусе шокирующей внезапности — новые уязвимые поверхности. Террорист — это тот, кто извлекает выгоду из экспликации имплицитных жизненных



Газовая обработка имущества, перевозимого в мебельном автофургоне. Около 1930 г.

предпосылок противника и пускает их в дело. В этом состоит причина, почему после крупных террористических разрезов у нас может возникнуть ощущение, что в произошедшем отражается будущее. В будущем раскрывается имплицитное, и то, что кажется не таящим никакой угрозы, превращается в зону боевых действий.

Всякий террор по своему методическому принципу атмотеррористичен. Ему присуща форма покушения, при котором удар наносится по жизненным условиям врага, связанным с его окружающим миром, начиная с атаки на самый непосредственный окружающий ресурс человеческого организма, с отравления вдыхаемого им воздуха." ⁹⁹

⁹⁹ Отравления как в буквальном, так и в переносном смысле. 4 августа 2002 года в ночном выпуске программы телекомпании ARD «Темы

Тем самым мы признаем: то, что с 1793 года и тем более с 1915 года мы называем *terreur** * и террором, можно было предвидеть, глядя на всевозможные способы применения насилия против жизненных условий человеческого существования, — вспомним об отравлениях источников питьевой воды, примеры которых известны еще в античности, о средневековых заражениях чумой обороняемых крепостей, о поджогах и окуриваниях осаждающими войсками городов и служащих убежищем пещер, о распространении ужасных слухов и деморализующих сообщений. Тем не менее в таких сравнениях упускается нечто существенное. По сути дела, терроризм следует идеентифицировать как порождение современности, ибо он смог дозреть до своего точного определения лишь после того, как нашел свое достаточно эксплицитное выражение принцип атаки на окружающий мир и иммунную защиту определенного организма или жизненной формы. Как мы видели, впервые это произошло 22 апреля 1915 года, когда легкий ветерок понес выпущенное из 5700 газовых баллонов облако хлора от немецких позиций в сторону французских окопов между Биксхооте и Лангемарком. Вечером этого дня, между 18 и 19 часами, часовая стрелка эпохи перестала указывать на виталистически-позднеромантический сегмент современности и перешла в сегмент атмотеррористической практичности. С тех пор событий такой глубины на этом поле более не происходило. Как мы еще увидим, все без исключения великие бедствия XX и начинающегося XXI столетия относятся к истории экспликации того, что началось на Западном фронте тем апрельским вечером, когда французско-канадские солдаты, застигнутые врасплох напавшим на них светло-желтым газовым облаком, обратились в паническое бегство.

дня» было показано интервью с молодой женщиной на набережной Тель-Авива, которая после очередного взрыва палестинца-самоубийцы в израильском автобусе спросила: «Нам что, перестать дышать?»

* Ужас (фр■)■

Дальнейшая техническая экспликация полученного на войне знания военно-климатологических методов самое позднее уже в ноябре 1918 года была естественным образом развернута в сторону его «мирного использования». С приближением конца войны в поле зрения берлинских химиков оказались постельные клопы, комары, мучная моль и прежде всего платяные вши. Очевидно, что наложенный Версальским договором запрет на производство в Германии любых боевых химических веществ не мог уничтожить увлеченности немцев своим ремеслом. Профессор Фердинанд Флюри, один из самых близких сотрудников Фрица Хабера по далемскому институту, на съезде Немецкого общества прикладной энтомологии в сентябре 1918 года прочитал программный доклад на тему: «Работы Института физической и электрической химии имени кайзера Вильгельма в Берлине-Далеме по борьбе с вредителями». Во время последовавшей дискуссии слово взял Фриц Хабер и доложил о деятельности «Технического комитета по борьбе с вредителями» («Tasch»), усилия которого были направлены прежде всего на применение газа синильной кислоты (цианистого водорода, HCN) для защиты немецких крестьянских хозяйств от насекомых. Он отметил: «Большая основополагающая идея, которую подарила нам война, а наряду с синильной кислотой речь идет и о других боевых веществах, после восстановления мира должна быть применена для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и тем самым для содействия развитию сельского хозяйства».¹⁰⁰ Флюри в своем докладе обращал внимание на то, что «при воздействии газов на насекомых или клещей принимаются во внимание совершенно иные факторы, чем при вдыхании газов и дымов легкими млекопитающих, хотя определенные параллели с отравлением высших животных существуют».¹⁰¹ Уже

¹⁰⁰ Цит. по: *Jürgen Kalthoff, Martin Werner. Die Händler des Zyklon B. Tesch & Stabenow. Eine Firmengeschichte zwischen Hamburg und Auschwitz. Hamburg, 1998. S. 24.*

¹⁰¹ *Ibid.* S. 25.

в 1920 году отраслевой журнал основанного незадолго до конца войны Немецкого общества борьбы с вредителями ГмбХ («Degesch») сообщал, что с 1917 года в соответствии с критериями прогрессивной синильно-кислотной техники — так называемым «бочковым методом» — было обработано газом около 20 миллионов кубометров «помещений на мельницах, кораблях, в казармах, лазаретах, школах, зерновых и семенных хранилищах» и тому подобных учреждениях. Начиная с 1920 года к цианистому водороду добавился разработанный Флюри и другими химиками новый газовый продукт, сохранявший достоинства синильной кислоты — ее высочайшую токсичность, но лишенный ее недостатков — опасной недоступности газа для обоняния, вкуса и прочих чувств людей (точнее, части людей, поскольку способность воспринимать или не воспринимать запах газа синильной кислоты, по всей видимости, детерминирована генетически). Специфика нововведения состояла в том, что к чрезвычайно ядовитому цианистому водороду добавлялась десятипроцентная (позднее меньшая) примесь хорошо воспринимаемого раздражающего газа (например, соединения хлора, углекислоты и метила). Новый продукт был выпущен на рынок под названием «Циклон А» и рекомендован для «уничтожения вредных и переносящих инфекцию насекомых в жилых помещениях». «Циклон А» был примечателен тем, что представлял собой своего рода дизайнерский газ, на примере которого можно наблюдать образцовое решение специфически дизайнерской задачи — возвращение невоспринимаемых или не слишком заметных функций продукта в восприятие потребителя. Поскольку главный компонент соединения, цианистый водород, испарявшийся при температуре около 27 °С, сам по себе часто был недоступен человеческому восприятию, создателям этого вещества показалось целесообразным снабдить свой продукт чрезвычайно заметным раздражающим компонентом, который производимым им неприятным эффектом указывал на присутствие

субстанции (с философской точки зрения мы могли бы говорить о рефеноменализации неявляющегося).¹⁰² Заметим, что первая «дезинсекция большого помещения» (*Großraumtwesung*) была проведена почти день в день спустя два года после атаки под Ипром, — 21 апреля 1917 года состоялась газовая обработка мельницы в Хайдингсфельде под Вюрцбургом. Между смертью Гёте и появлением слова «*Großraumtwesung*» в немецком языке прошло всего лишь восемьдесят пять лет; в это же время словесную сокровищницу немцев обогатили и выражения «*Entmottung*» (избавление от моли) и «*Enträtung*» (дератизация). Владелец мельницы официально подтвердил, что его предприятие и спустя долгое время после газовой обработки оставалось полностью «свободным от моли».

Гражданское производство облаков синильной кислоты осуществлялось, как правило, в замкнутых пространствах зданий (исключения составляли находящиеся на открытой местности плодовые деревья, накрывавшиеся непроницаемым для воздуха брезентом и затем обрабатывавшиеся газом). При этом можно было работать с такими концентрациями, которые позволяли поставщикам такого рода услуг выступать с рекламными заявлениями, что они полностью истребляют локальные популяции насекомых, включая их яйца и гниды, — не в последнюю очередь благодаря свойству цианистого водорода проникать во все углы и щели. На ранней стадии этой практики в отношении между особой воздушной зоной, то есть окурненным газом пространством, и остальным воздухом, открытой атмосферой, не видели никакой проблемы. Поэтому газовая обработка обычно завершалась простым проветриванием — то есть распространени-

102

Ввиду того что для целей человеческой экстерминации такая добавка была бы контрпродуктивна, в гигиенические отделения Освенцима, Ораниенбурга и других лагерей поставлялся не содержащий вещества-индикатора вариант — «Циклон Б». См.: *Kalthoff, Werner*. Op. cit. S. 162 f.

ем ядовитого газа по окружающему воздуху вплоть до возвращения к «не вызывающим опасений показателям». Факт, что «проветривание» одной области вело к повреждению другой, в этот период никого не заботил. Незначительность объема обрабатываемых газом пространств по сравнению с незагазованным внешним воздухом казалась установленной *a priori* и навсегда. В начале 40-х годов в профессиональной литературе не без гордости отмечалось, что к данному моменту «дезинсектировано» 142 миллиона кубических метров и при этом использовано полтора миллиона килограмм цианистого водорода; мы бы добавили: выброшено в незащищенную атмосферу. Прогрессирующее нарастание проблемы окружающей среды перевернуло отношение между окружающим воздухом и особыми воздушными зонами, поскольку теперь именно искусственно созданная — как мы говорим, климатизированная — зона предлагает привилегированные воздушные условия, тогда как окружающая среда становится все более рискованной для дыхания вплоть до своей полной непригодности и хронической непригодности для жизни.

В 20-е годы ряд северогерманских предприятий предлагал свои услуги по ставшей уже рутинной обработке газом «Циклон» кораблей, складских помещений, казарм, бараков, железнодорожных вагонов и тому подобных помещений, и среди них — основанная в 1924 году гамбургская фирма «Tesch & Stabenow» («Testa»), лучший продукт которой был запатентован в 1926 году и стал известен под названием «Циклон Б».¹⁰³ Тот факт, что один из двух основателей фирмы, доктор Бруно Теш (род. 1890), на процессе 1946 года в гамбургском Куррио-хаусе приговоренный британским военным судом к смертной казни и казненный в исправительной тюрьме Хамельна, в 1915—1920 годах работал в военно-химическом институте Фрица Хабера и стоял у истоков развязы-

103Ibid. S. 56 f., 241.



Банка с «Циклоном», найденная в Освенциме.

вания газовой войны, подтверждает сохранявшуюся и во всех прочих случаях персональную и содержательную преимственность новых практик уничтожения по ту сторону войны и мира. Преимущество изобретенного и затем усовершенствованного доктором Вальтером Хеердтом «Циклона Б» состояло в том, что чрезвычайно летучая синильная кислота поглощалась пористыми сухими несущими субстанциями, благодаря чему те качества вещества, которые были связаны с его хранением и транспортировкой, существенно улучшались по сравнению с прежней жидкой формой. «Циклон Б» появился на рынке в жестяных банках по 200 г, 500 г, 1 кг и 5 кг. Уже в

30-е годы «Циклон Б», первоначально производившийся исключительно в Дессау (позднее также в Колине) и распространявшийся фирмой «Testa» в кооперации с Немецким обществом борьбы с вредителями, достиг квазимонопольного положения на мировом рынке средств борьбы с вредителями, испытывая конкуренцию со стороны более старых средств на основе серы лишь в области газовой обработки морских судов.¹⁰⁴ Уже в то время практика уничтожения вредных насекомых осуществлялась также в стационарных или передвижных антимолевых и «дезинсекционных камерах», в которых подлежащий обработке материал — как правило, ковры, униформа и различного рода текстильные изделия — помещался в заполненное газом пространство и затем проветривался.

После начала войны, осенью 1939 года, фирма «Testa» проводила курсы для военнослужащих вермахта и гражданских лиц на востоке. На этих курсах не последнее место отводилось и демонстрации газовых камер. Уничтожение вшей в войсках и лагерях военнопленных всегда считалась одной из самых настоятельных задач, стоящих перед борцами с вредителями. Зимой 1941—1942 годов фирма «Tesch & Stabenow» выпустила для своих клиентов, а среди них, между прочим, все большую роль играли воевавшие на Восточном фронте части вермахта и ваффен-СС, брошюру под названием «Маленькая Testa-азбука о "Циклоне"», в которой можно обнаружить языковые симптомы милитаризации «метода дезинсекции» — а вероятно, даже возможности переноса применения синильной кислоты на человеческие окружающие миры. В ней говорится, что уничтожение паразитов «не только соответствует предписаниям благоразумия, но и, сверх того, представляет собой акт самообороны!»¹⁰⁵ В медицинском контексте этот тезис может быть воспринят как указание на эпидемию сып-

¹⁰⁴ *Ibid.* S. 45—102.

¹⁰⁵ *Ibid.* S. 109.

ного тифа, вспыхнувшую в 1941 году в германских восточных армиях, во время которой умерло немногим более 10 процентов инфицированных; учитывая, что обычная смертность от этой болезни составляла более 30 процентов, это уже было успехом немецкой гигиены, ибо возбудитель сыпного тифа *Rickettsia prowazeki* переносится платяными вшами. В свете же последующих событий использование в данном семантическом поле юридического термина *terminus technicus** «самооборона» рассматривается как предвестие потенциального переноса техники газовой обработки в область человеческих объектов. Спустя несколько месяцев оказалось, что атмотехническая форма уничтожения организмов может использоваться для ее наполнения человеческим содержанием. Когда в 1941—1942 годах к 25-летию юбилею начала применения синильной кислоты для борьбы с вредными насекомыми появился ряд статей, в которых нанятые фирмой историки химии воспевали этот факт как событие, обладающее огромной значимостью для всего культурного мира, их авторы еще не знали, насколько важными окажутся их оппортунистические гиперболы для диагностического определения цивилизационного контекста в целом.

1924 год играет выдающуюся роль в драме атмосферной экспликации не только из-за основания Гамбургской фирмы «Tesch & Stabenow», разработавшей «Циклон Б»; это еще и год, когда атмотеррористический мотив экстерминации организмов посредством уничтожения их окружающего мира был внедрен в уголовное право демократического государственного образования. 8 февраля 1924 года власти американского штата Невада ввели в эксплуатацию первую «гражданскую» газовую камеру для проведения якобы гуманно-эффективных казней; этот пример повлиял на одиннадцать других

* Технический термин (лат.).

штатов, в том числе на Калифорнию, знаменитую своей двухместной криптообразной восьмиугольной газовой камерой в находящейся в ведении штата тюрьме Сент-Квентин и снискавшую недобрую славу после возможного «судебного убийства» Черил Чессмэн 2 мая 1962 года. Правовые основания для нового метода экзекуции были созданы законодательным собранием Невады еще в 1921 году. Первым казненным с применением нового метода стал 29-летний уроженец Китая Джи Йон, признанный виновным (на фоне развернувшей в Калифорнии в начале 20-х годов войны банд) в убийстве китайца Тома Куонг Ки. В американских газовых камерах осужденные умирали, вдыхая пары синильной кислоты, образовавшейся после соединения в одном сосуде различных компонентов яда. Как показали лабораторные военно-химические исследования и полевые испытания, газ препятствует снабжению крови кислородом и ведет к внутренней асфиксии.

Интернациональное *community** экспертов по дизайну ядовитых газов и атмосфер как по ту, так и по эту сторону Атлантики начиная с последних лет Первой мировой было достаточно восприимчивым, чтобы в течение кратчайшего времени реагировать на технические новшества и колебания в климате этики их использования. После постройки арсенала Эджвуд, гигантского центра военных исследований, в возведение которого после вступления США в войну в 1917 году были вложены колоссальные средства, Соединенные Штаты получили в свое распоряжение академически-военно-индустриальный комплекс, позволявший создать между различными занимающимися развитием вооружений факультетами намного более тесную кооперацию, чем та, которая существовала между соответствующими европейскими институтами. Эджвуд стал одним из мест рождения *team-work*** — во

* Сообщество (англ.).

** Командная работа (англ.).

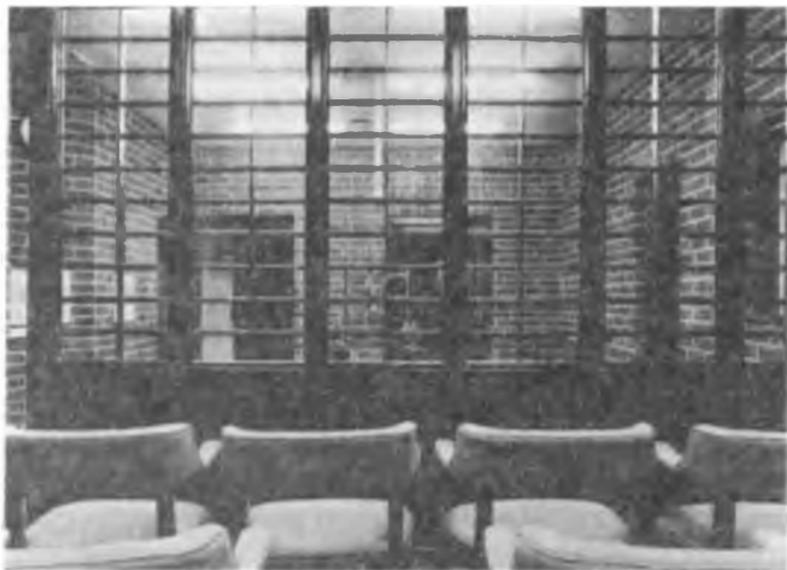


Газовая камера в тюрьме штата Невада. Карсон-Сити, 1926 г.

всяком случае, превзойти его смогла разве что *dream team** Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая начиная с 1943 года, собравшись словно в некоем медитативном лагере экстерминизма, разрабатывала ядерное оружие. Уже для состоявших из ученых, офицеров и предпринимателей команд Эджвуда важнейшей задачей стал поиск форм выживания после спада военной конъюнктуры по окончании Первой мировой войны. Д. А. Тернер, создатель газовой камеры в тюрьме штата Невада в Карсон-Сити, во время войны был майором медицинского корпуса армии США; его идея заключалась в адаптации опыта военного применения синильной кислоты к условиям гражданской экзекуции.

По сравнению с применением отравляющего газа на открытой местности его использование в камере облегчалось отсутствием проблемы стабилизации смертельной концентрации газа в атмосфере. Тем самым дизайн ядо-

* Команда-мечта (англ.).



Люсинда Девлин. *The Omega Suites*: комната для дачи свидетельских показаний. Broad River Correctional Facility Columbia. Южная Каролина, 1991 г.

витых облаков уступал место дизайну камеры и газового аппарата. О том, что отношение между камерой и облаком все же может оказаться проблематичным, свидетельствуют отнюдь не только инциденты, сопровождавшие казни посредством газовых камер в США; весьма неравномерное распространение газа во время зариновых атак в токийском метро 20 марта 1995 года демонстрирует, что эмпирически создать идеальные условия контролируемого отношения между отравляющим газом и объемом помещения весьма не просто.¹⁰⁶ Это касается даже тех отравителей, которые более профессиональны, чем члены секты «Аум Синрикё», положившие свои наполнен-

106 Боевой газ зарин (Т 144) синтезирован в 1938 году в возглавлявшемся доктором Герхардом Шрадером исследовательском отделе компании «I. G. Farben». Своей ядовитостью он более чем в тридцать раз превосходит синильную кислоту; при определенном времени экспозиции одного грамма зарина достаточно для убийства тысячи человек.

ные зарином и завернутые в газетную бумагу пластиковые пакетики на пол вагонов и перед самой станцией, на которой они вышли, проткнувшие их заточенными спицами своих зонтов; продолжившие поездку пассажиры остались вдыхать истечения яда.¹⁰⁷

Тем, что гарантирует юстиции штата Невада место в истории экспликации человеческой зависимости от атмосферы, является ее одновременно и соответствующая духу эпохи, и опережающая свое время чувствительность к современному характеру смерти от газа. Новым в этом поле может считаться то, что соединяет гуманность с высокой эффективностью, — в данном случае предположительное уменьшение страданий осужденного в силу быстрого действия яда. Майор Тернер настоятельно рекомендовал свою камеру как более мягкую альтернативу уже тогда снискавшему недобрую славу электрическому стулу, на котором мощные удары тока расплавляют мозг осужденного под тесно прилегающей к его голове увлажненной резиновой шапкой. Концепция газовой экзекуции демонстрирует, что отнюдь не только война действует как экспликатор вещей; к тому же самому эффекту нередко приводит и прямолинейный гуманизм, с середины XIX века составляющий спонтанную американскую философию, академической версией которой является так называемый прагматизм. В стремлении соединить действенное с не причиняющим страданий этот способ мышления не смущают отчеты о казнях, в которых говорится о беспримерных мучениях некоторых осужденных на смерть в газовой камере, — описания такой силы, что напрашивается мысль о возвращении США XX столетия

107

См.: *Haruki Murakami. Underground. The Tokyo Gas Attack & the Japanese Psyche. London, 2001.* У писателя Йозефа Хаслингера мы находим австрийский вариант этих террористических мотивов (*Josef Haslinger. Opernball. Frankfurt, 1995*). В своем криминальном романе «Бал в опере» он обыгрывает представление, что здание масштабов Венской оперы может быть при случае превращено группой преступников в гигантскую газовую камеру.

под гуманитарными предложениями к средневековой практике пыточных экзекуций. Смерть от газа до поры до времени официально воспринималась как практическая, так и гуманная процедура; в этом отношении газовая камера в Неваде представляла собой своего рода капище прагматического гуманизма; ее введение было продиктовано сентиментальным законом современности, предписывающим не допускать актов очевидной жестокости в публичном пространстве. Никто не сказал о господствующей над современными людьми необходимости окружать тайной жестокие стороны своих действий столь точно, как это сделал Элиас Канетти: «Общая сумма чувствительности в культурном мире значительно возросла... Сегодня труднее официально приговорить одного-единственного человека к смерти на костре, чем развязать мировую войну».¹⁰⁸

Инновационная для техники наказания идея казни в газовой камере предполагает абсолютный контроль над различием между смертельным внутренним климатом камеры и внешним климатом — мотив, нашедший свое отражение в установке в камерах для совершения казней стеклянных стен, глядя сквозь которые приглашенные свидетели должны убедиться в эффективности атмосферных условий внутри камеры. Таким образом пространственно инсталлируется своеобразное онтологическое различие — смертельный климат внутри строго определенной, тщательно герметизированной «ячейки» и благоприятный климат в области жизненного мира экзекуторов и наблюдателей; бытие и возможность быть снаружи, сущее и неспособность быть внутри. В данном контексте быть наблюдателем означает не что иное, как наблюдать агонию, обладая привилегией следить со стороны за гибелью органической «системы» в результате превращения ее «окружающего мира» в не пригодное

¹⁰⁸ *Elias Canetti. Das Gewissen der Worte. Essays. Frankfurt, 1981. S. 23.*



Люсинда Девлин. *The Omega Suites*: газовая камера.
Тюрьма штата Аризона. Флоренс, 1992 г.

для жизни пространство. В немецких лагерях уничтожения двери газовых камер также иногда были снабжены стеклянными глазками, позволявшими экзекуторам пользоваться привилегией наблюдателя.

Если речь идет о том, чтобы мыслить умерщвление как производство в точном смысле слова, а следовательно, как экспликацию методов, результат применения которых заключается в наличии мертвых тел, то газовая камера в Неваде представляет собой одну из вех на пути разумного экстерминизма XX века, пусть даже ее использование вместе со всеми подражаниями ей в многочисленных других штатах США и оставалось спорадическим (в 1924—1979 годах камера в Карсон-Сити использовалась 32 раза). Когда в 1927 году Хайдеггер с онтологической обстоятельностью говорил об экзистенциальной характеристике бытия-к-смерти, исполнительные служители американской юстиции и тюремные вра-

чи уже привели в действие аппарат, превращавший дыхание-к-смерти в онтически контролируемый метод. Речь, разумеется, здесь идет не о «заступании» в собственную смерть, а о пребывании кандидата в летальной воздушной западне.

. В данном повествовании мы не стремимся к детальному исследованию слияния обеих сосуществовавших начиная с 30-х годов идей газовой камеры. Достаточно констатировать, что ареной или процессором этого слияния был некий СС-разум, который, с одной стороны, получал консультации от немецкой индустрии борьбы с вредителями, а с другой — мог выбирать «необычные средства» в соответствии со своим мандатом, исходившим от берлинской рейхсканцелярии, а именно в соответствии с постановлением Гитлера об «окончательном решении еврейского вопроса», которое с лета 1941 года посредством устно передаваемых секретных приказов было поставлено на повестку дня особых подразделений СС. Получив это поручение, оставлявшее широкий простор для собственной инициативы, самые верные помощники Гитлера принялись самозабвенно исполнять свой долг. В качестве катализаторов объединения идеи борьбы с вредителями и идеи казни людей посредством цианистого водорода выступали систематические убийства военнопленных с помощью автомобильных выхлопных газов (в таких лагерях, как Бельцек, Хлемно и других местах), а также многочисленные убийства больных в немецких психиатрических учреждениях посредством газовых душей во вмонтированных в грузовики камерах.

На этом относительно позднем этапе экспликации реалий атмосферного фона, опирающемся на технику терроризма, в игру в качестве эскалирующего момента вступает фактор Гитлера. Едва ли могут существовать сомнения в том, что самая крайняя экстерминистическая радикализация немецкой «еврейской политики» после 1941 года была опосредована метафорикой борьбы с вред-

ными насекомыми, которая с начала 20-х годов превратилась в конститутивную составную часть определяемой Гитлером риторики национал-социалистской партии, а с 1933 года стала почти официальной языковой нормой для приобщенной к государственной идеологии немецкой общественности. Псевдонормализующее воздействие выражения «вредители народа» (которое относилось к широкой области значений, включая пораженчество, торговлю на черном рынке, насмешки над фюрером, системную критику, недостаточную веру в будущее и интернационалистические убеждения) также было ответственно за то, что идеологам национального движения удалось если не популяризировать свою идиосинкратическую форму эксцессивного антисемитизма, выдав ее за специфически немецкий вариант гигиены, то по крайней мере сделать ее терпимой или превратить в объект имитации для широких социальных слоев. В то же самое время метафоры вредителей и паразитов входили и в риторический арсенал сталинизма, проводившего всестороннюю политику лагерного террора, но не достигшего, однако, радикализма эсэсовской практики «дезинсекции».

Очевидно, что такие предприятия, как газовые камеры и крематории Освенцима и других лагерей, в своей работе опирались на метафору «борьбы с вредителями». Выражение «специальная обработка» подразумевало прежде всего прямолинейное применение методов уничтожения насекомых к человеческим популяциям. Практическое осуществление этой метафорической операции привело к использованию самого распространенного «дезинсекционного» средства «Циклон Б» и к фанатичному воспроизводству повсеместно применявшегося метода газовой камеры. В предельном прагматизме экзекуторов почти без трений соединились психотическое воздействие метафоры и профессионально хладнокровное проведение соответствующих мероприятий.

Исследователи холокоста справедливо отмечали, что функционирование Освенцима было отмечено слиянием

безумия и рутины. Тот факт, что, по свидетельству очевидцев, «Циклон Б» нередко доставляли в лагеря на автомобилях Красного Креста, соответствует как гигиенически¹⁰⁹ медицинским тенденциям лагерных мероприятий, так и потребности преступников в маскировке своих действий. В 1941 году в отраслевом журнале «Практический дезинсектор» один военный врач назвал евреев «разносчиками инфекции», что в широком временном контексте было почти общепринятым выражением, однако на актуальном фоне несло в себе едва завуалированную угрозу. Афористическая дневниковая запись рейхсминистра пропаганды Геббельса от 2 ноября того же года только подтверждает стабильную ассоциацию между энтомологическим и политическим полями представлений: «Евреи — это вши цивилизованного человечества».¹⁰⁹ Эта запись демонстрирует, что Геббельс обращался к самому себе так, как агитатор обращается к толпе. Как и глупость, зло аутогипнотично.

В январе 1942 года в перестроенном крестьянском доме (именовавшемся «Бункер I») на территории лагеря Освенцим-Биркенау были установлены и «введены в эксплуатацию» две газовые камеры. Вскоре была осознана потребность в расширении производственных мощностей; в ночь с 13 на 14 марта 1943 года в подвале морга I крематория II Освенцима при помощи газа были умерщвлены тысяча четыреста двадцать девять «нетрудоспособных» евреев из Краковского гетто; из 6 килограмм «Циклона Б» была получена рекомендованная «Degesch» для уничтожения вшей концентрация: около 29 грамм синильной кислоты на кубический метр воздуха. Летом подвал крематория III был оснащен непроницаемой для газа дверью и четырнадцатью фальшивыми душами. В начале лета

109 См.: *Götz Aly. «Endlösung»: Völkerverschiebungen und der Mord an den europäischen Juden. Frankfurt, 1995. S. 374. Hate-speech-тезисы такого рода лишь недавно были проанализированы адекватным лингвистическим и морально-философским образом. См.: Judith Butler. Hab spricht. Zur Politik des Performativen. Berlin, 1998.*

1944 года в Освенцим торжественно вступил технический прогресс: там были установлены разработанные «Сименсом» электрические коротковолновые приборы для уничтожения вшей, живущих в рабочей одежде и униформе. В ноябре того же года рейхсфюрер СС Гиммлер отдал приказ о прекращении убийств с помощью ядовитого газа. По минимальным серьезным оценкам, к этому времени жертвами обработки стали три четверти миллиона человек; реальные цифры могут быть еще выше. Зимой 1944 года лагерные служащие и заключенные занимались тем, что уничтожали следы газотеррористических установок перед приходом союзных войск. В фирмах «Degesch» (Франкфурт), «Tesch & Stabenow» (Гамбург) и «Heerd-Lingler» (Франкфурт), поставлявших продукцию в лагеря, зная о том, как она используется, была осознана необходимость уничтожения деловой документации.

2. НАРАСТАЮЩАЯ ЭКСПЛИЦИТНОСТЬ

Обращение к атмотеррористическим процедурам газовой войны (1915—1918) и геноцидному газовому экстерминизму (1941—1945) позволило нам разглядеть контуры некоей особой климатологии. С ее помощью манипуляция дыхательным воздухом становится предметом культуры, хотя поначалу лишь в деструктивном измерении. С первого момента она отмечена чертами дизайнерских приемов, с помощью которых людьми и для людей проектируются и *lege artis** изготавливаются более или менее четко отграниченные микроклиматы смерти. Это «негативное *air conditioning*»** может помочь нам понять современный процесс как экспликацию атмосферы. Атмотерроризм дает решающий толчок модернизации тех областей человеческого пребывания в условиях «жиз-

* По всем правилам искусства (*лат.*).

** Кондиционирование воздуха (*англ.*).

ненного мира», которые были способны наиболее долго сопротивляться переходу к их современному пониманию, — естественной атмосферной оболочке и растворению живущих и путешествующих в несомненно данной, беспечно предполагаемой воздушной среде. До тех пор обычное человеческое бытие-в-мире (это также современный термин, эксплицирующий онтологическую «ситуацию» после утраты староевропейской достоверности мира) было в столь значительной и само собой разумеющейся степени бытием-в-воздухе, точнее, бытием-в-пригодной-для-дыхания-среде, что обстоятельная тематизация воздушных и атмосферных условий могла осуществляться разве что в поэтических формах или в физических и медицинских контекстах,¹¹⁰ но ни в коем случае не в повседневном самоощущении носителей культуры и тем более не в дефинициях их жизненных форм — за исключением, возможно, обогнавших свое время пророческих интуиций теоретика культуры Иоганна Готфрида Гердера, который уже в 1784 году в своих «Идеях философии истории человечества» постулировал необходимость создания новой науки «аэрологии», а также некоего всеобщего атмосфероведения как исследования «воздушного шара», обеспечивающего сохранение жизни: «...ибо человек, как и все прочее, питомец воздуха». Если бы у нас наконец, провозгласил Гердер, была академия, где преподавались бы такие дисциплины, то связь человеческой культуры и природы озарилась бы для нас новым светом и мы смогли бы «увидеть, как эта великая теплица природы работает в соответствии с тысячами вариантов единого основного закона».¹¹¹

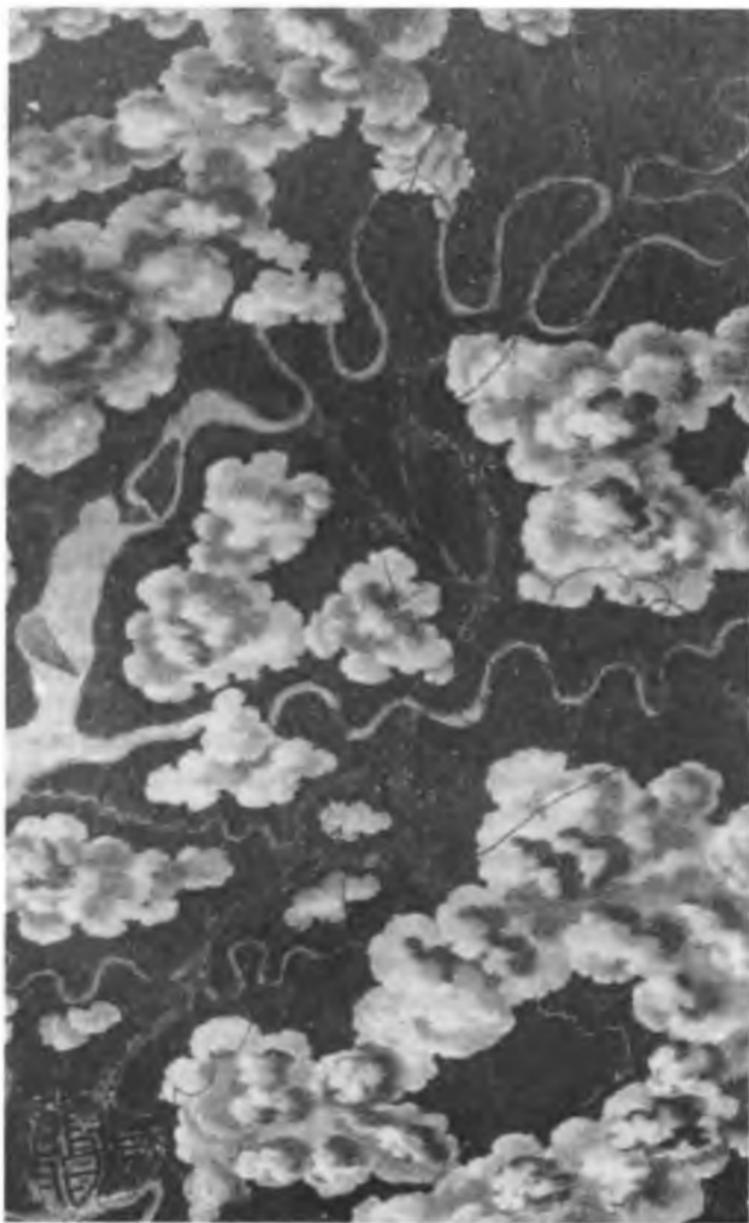
¹¹⁰ См.: Die Schwere der Luft in der Diskussion des 17. Jahrhunderts / Hrsg. von Wim Klever. Wiesbaden, 1997: Steven Shapin, Simon Schaffer. Leviathan and the Air Pump. Hobbes, Boyle and the Experimental Life. Princeton, 1985: уже в «Макробиотике» Кристофа Вильгельма Хуфеланда указывается на связь между качеством воздуха и предполагаемой продолжительностью жизни.

¹¹¹ J. G. Herder. Schriften. Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk / Hrsg. von Walter Flemmer. München, 1960. S. 78—79 (курсив наш).

Эти слова напоминают нам о том, что Гердер стоял у истоков интенсивно развивавшейся в том столетии антропологий; мы не будем здесь снова говорить о нем как об авторе сомнительной доктрины о неполноценной природе человека,¹¹² а лишь укажем, что он был инициатором разработки теории человеческих культур как форм организации существования в теплицах. Тем не менее его гуманные, эвтонически взмывающие над противоположностью природы и культуры антиципации еще не способны ухватить диалектическую и тематогенную связь между терроризмом и экспликацией фона. Даже знаменитая гиперчувствительность Ницше ко всему тому, что касается климатических условий человеческого существования, например атмосферному давлению, влажности, ветру, облачности и квазинематериальным напряжениям, все еще относится к последним сумеркам староевропейской доверчивости по отношению к природе и атмосфере, хотя и в уже распадающейся форме. Из-за своей экстраординарно чувствительной к атмосфере конституции Ницше мог в шутку даже рекомендовать себя в качестве экспоната Парижской электрической выставки 1881 года, где он выступал бы в роли какого-нибудь патафизического измерителя напряжения.¹¹³ Однако значение воздуха, климата, дыхательной среды и атмосферы в микро- и макроклиматологическом смысле и тем более с культурно- и медиатеоретической точки зрения может быть осознано лишь в результате прохождения через модусы и стадии экстерми-

¹¹²См. ниже Главу 3, раздел 2.

из См.: *Friedrich Nietzsche. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe. Bd 6. München, 1986. S. 140. An Franz Overbeck. 14 November, 1881: «...но к сожалению, эта медицинская метеорология... как наука еще пребывает во младенчестве и для моей персональной нужды способна разве что поставить еще дюжину вопросительных знаков. Возможно, теперь люди знают несколько больше; я должен был бы оказаться в Париже на электрической выставке, отчасти чтобы узнать нечто самое новое, отчасти в качестве предмета выставки, ибо в восприятии электрических изменений и как так называемый погодный пророк я могу потягаться с обезьянами и, вероятно, представляю собой нечто "специфическое"».*



Томас Болдуин. *Аэропедия*. 1786 г. Вид с воздушного шара, поднявшегося выше облаков.

нистско-атмотеррористических практик XX века — причем уже теперь очевидно, что в XXI столетии продолжится движение в направлении все большей и большей ясности.

Воздухотрясение... С экспликацией воздушных, климатических и атмосферных условий исконная привилегия существующего нарушается в пользу первичной среды существования и разоблачается как наивность. Если в своей прежней истории люди в любом месте — как на открытом воздухе, так и под крышей — могли твердо рассчитывать на то, что окружающая их атмосфера пригодна для дыхания, за исключением миазмических зон, то теперь стало ясно, что они пользовались привилегией наивности, которая после надлома XX века навсегда утрачена. Тот, кто живет после этого надлома и пребывает в синхронизированной с этой новацией культурной зоне, обречен по-настоящему заботиться о климате и заниматься атмосферным дизайном, будь то в рудиментарных или детально разработанных формах. Он должен признать свою готовность быть причастным этой новации, поняв ее эксплицирующую власть над прежде незаметно «лежащим» в основании или окружающе-объемлющим.

Прежде чем новое представление об обязанности заботиться об атмосферном и климатическом прочно укоренилось в сознании последних поколений, атмотерроризм должен был сделать еще несколько экспликационных шагов. Здесь у нас появляется повод для того, чтобы поговорить на языке философии о развитии современной *воздушной войны*, само название которой указывает на ее причастность к вторжению в область атмосферных фактов. В нашем контексте следует разъяснить, что боевая авиация *per se* представляет собой центральный феномен атмотерроризма в его огосударствленном аспекте. Военные самолеты, как и позднее ракетная артиллерия, работают в первую очередь как оружие доступа; они устраняют иммунизирующее действие пространственной удаленности армейских группировок друг от друга; они добывают доступ к объектам, которые на земле едва ли

достижимы или достижимы ценой очень больших жертв. Они превращают во второстепенный вопрос о том, являются ли воюющие естественными соседями или нет. Без взрывного расширения дальности в результате возникновения военной авиации глобализация войны посредством теледеструктивных систем была бы невозможна. В силу использования авиации специфический экстерминизм в своей значительной части может быть отнесен к области компетенции черной метеорологии. В этой теории рукотворных осадков мы описываем освоение воздушного пространства летательными аппаратами и их применение для выполнения атмотеррористических и параартиллеристских задач.

Если акции газового терроризма в его явных формах (1915—1945) осуществлялись только на земле (за исключением рифской войны в Испанском Марокко в 1922—1927 годах, ставшей первой аэрохимической войной¹¹⁴), то термо-террористические и радиационно-террористические атаки жизненных миров врагов по техническим и тактическим причинам почти всегда проводились как *pig-/ogse** *-операции, для которых (после шокирующих налетов немецких самолетов на Гернику 26 апреля 1937 года и на Ковентри в ночь с 14 на 15 ноября 1950 года) парадигматическими остаются прежде всего разрушение Дрездена британской бомбардировочной авиацией 13—14 февраля 1945 года и уничтожение Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года в результате сбрасывания с американских самолетов двух отдельных атомных бомб. Какие бы сцены воздушных рыцарских турниров ни рисовало наше воображение, бои между равноценными

"¹¹⁴ См.: *Rudibert Kunz, Rolf-Dieter Müller. Giftgas gegen Abd el Krim. Deutschland, Spanien und der Gaskrieg in Spanisch-Marokko 1922—1927.* Freiburg, 1990; в книге детально описывается участие немецких фирм и военных химиков в первой аэрохимической войне, во время которой конные воины горного народа рифов-кабилы были побеждены с помощью *lost-* и бензиновых бомб.

* Военно-воздушные силы (*англ.*).



Начало бомбовой войны посредством ручного бомбометания с воздуха.

ми эскадрильями имели скорее маргинальное историческое значение; пресловутая «битва за Англию» составляет военно-историческое исключение. *De facto* же в области «воздушной борьбы» господствовала практика односторонних, не встречающих сопротивления воздушных ударов, при которых либо отдельные машины проводят точные атаки на конкретные цели, либо более крупные воздушные соединения используются для бомбардировок определенных площадей, в последнем случае — по аналогии с логически нестрогим принципом газовой артиллерии: с оперативной точки зрения «достаточно близко» означает «почти точно». Очевидно, что в данном случае необходимо предполагается современный экстерминистский подход, в соответствии с которым победить — значит уничтожить, и в этом отношении авиация, артиллерия и асептика развиваются в аналогичных направле-

ниях. Метафора коврового бомбометания, появившаяся в 40-е годы прошлого столетия, сводит этот процесс к убедительной наглядной картине: атакующие авиаэскадры покрывают крупные сегменты застроенных и заселенных ландшафтов смертельным ковровым настилом. То, что точечные бомбардировки при достаточной плотности целей в свою очередь могут приводить к эффекту разрушения на значительной площади, доказали воздушные удары НАТО по Сербии во время кризиса вокруг Косова с 24 марта по 10 июня 1999 года.

Сколь бы боевая авиация ни казалась подходящей для военно-романтической интерпретации ее функций, изображаясь подчас в качестве неоаристократического вида вооружения (в какой-то степени как продолжение королевского вида — артиллерии — в более свободной среде), согласно своей практической тенденции она является привилегированным органом осуществления государственного атмотерроризма.¹¹⁵ При этом подтверждается факт, что государственный характер вооружения, весьма далекого от того, чтобы быть противоядием от террористических практик, способствует его систематичности. Поскольку принцип террора неотделим от оружия как такового, не может существовать никакой симметрии между нападением и обороной; экстерминация подвергнувшихся нападению, будь то лица или предметы, предусматривается *a priori* (но поскольку экстерминизм в самоописании западных политических структур присутствовать не может, а служит лишь для характеристики умонастроений противника, начиная с операции *Desert Storm** * с целью освобождения Кувейта в 1990—1991 годах публикация фоторепортажей о последствиях американских воздушных ударов более не допускается). Факт,

¹¹⁵ Уже в 1950 году Карл Шмитт говорил о том, что «современная воздушная война обладает характером чистого уничтожения»; см.: *Carl Schmitt. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Berlin, 1988. S. 298.*

* Буря в пустыне (*англ.*).



Гражданское население на Бранковском мосту через Саву, Белград.

с*го начиная со Второй мировой войны военно-воздушные силы превратились в ведущие вооруженные системы (прежде всего в многочисленных интервенционистских войнах, которые вели США после 1945 года), свидетельствует лишь о необходимости нормализации государственно-террористического габитуса и экологизации ведения войны.¹¹⁶ Там, где задает тон базирующийся на военной авиации государственный терроризм, неизбежно массовое уничтожение гражданского населения; нередко главным результатом оказывается так называемый побочный эффект {*collateral damage**}. С этой точки зрения

¹¹⁶ Одним из свидетельств является применение военно-воздушными силами США такого откровенно террористического боевого средства, как напалм, во Вьетнаме, а также использование печально знаменитой, разрывающей легкие бомбы Blue-82 Commando Vault *alias* Daisy Cutter (5.7-тонной нитратаммониевой бомбы) против иракской пехоты и афганских бойцов.

* Второстепенный ущерб (*англ.*).

демонстрации сербских граждан, которые во время на-товских воздушных атак весной 1999 года, нацепив на себя изображение мишеней, выстроились на Бранковском мосту через Саву, представлял собой адекватный комментарий к реальности воздушной войны XX века.

Как показывает отнюдь не только опыт Второй мировой войны в Европе и на Дальнем Востоке, при ведении боев государственными военно-воздушными силами речь идет о том, что габитус совершающего покушение преступника получает всеобщее распространение, поскольку в соответствии со своим *modus operandi* воздушные атаки всегда носят характер неожиданного нападения. К тому же они, даже тогда, когда производятся точечные удары по конкретным «сооружениям», неизбежно подразумевают повреждение жизненных миров врага и *eo ipso* риск убийства гражданских лиц; при атаке на большие площади это становится первичным намерением. Как известно, генерализованный «бомбовый террор», который в 1940—1945 годах был развернут над территорией германского рейха, был направлен не только против военных структур, но в еще большей степени против ментальной инфраструктуры страны; поэтому из-за своего якобы подрывающего морально-волевые качества противника воздействия (говорили о *moral bombing**) он должен был быть защищен союзниками и от внутренней, а не только от пацифистски мотивированной критики. Прожило два поколения, прежде чем военные историографы отважились на толкование систематического характера той воли к уничтожению, которая лежала в основании британско-американской воздушной войны против немецких городов.¹¹⁷

Бомбардировка Дрездена в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года двумя эскадрильями бомбардировщиков «Ланкастер» Royal Air Force** осуществлялась в соответствии

117 См.: Jörg Friedrich. Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940—1945. München, 2002.

* Моральная бомбардировка (англ.).

** Королевские военно-воздушные силы (англ.).



«На пути к цели: зажигательные и фугасные бомбы летят к земле, падая на нацистский узловой железнодорожный пункт в Брухзале, 1 марта 1945 г.».

с пиротехнической концепцией, согласно которой легко-воспламеняющийся старый городской центр в форме сектора в четверть круга окружался плотным кольцом сбрасываемых фугасных и зажигательных бомб. Вследствие этого на всей этой территории должен был возникнуть эффект доменной печи; атакующие рассчитывали, что множество отдельных пожаров сольются в один общий пожар, в вероятной разрушительной силе которого убеждали первые пробы, проведенные на других хорошо горящих старых городах, а именно на Гамбурге в июле 1943 года (в ходе операции «Гоморра») и на Касселе в октябре того же года. Вследствие высокой плотности бомбометания зажигательные бомбы создавали в центре городов вакуум, производивший воздушную струю ураганной силы. Этот метод систематического разжигания огненной бури, в соответствии с «принципом пространства уничтожения»,¹¹⁸ был объявлен британским маршалом авиации Артуром Харрисом вероятным решающим военным средством. В Дрездене желаемый эффект был подготовлен первой бомбардировкой, проводившейся с 22 часов 03 минут до 22 часов 28 минут, и обеспечен второй волной атаки между 1 часом 30 минутами и 1 часом 55 минутами, вызвавшей огненную бурю и распространившей ее на обширную городскую территорию, в частности на заполненный беженцами район центрального вокзала. Третья волна атаки, проведенная американскими воздушными соединениями, накрыла уже опустошенный город. Во время двух первых атак было сброшено 650 000 отдельных бомб, из которых около 1500 тонн составляли мины и фугасные бомбы и около 1200 тонн — зажигательные бомбы, расплывшиеся на мелкие, напоминающие дождь частички.¹¹⁹ Высокая доля зажигательных

¹¹⁸ *Jörg Friedrich. Op. cit. S. 358.*

¹¹⁹ Детальное воспроизведение событий 13—15 февраля 1945 года см.: *Götz Bergander. Dresden im Luftkrieg. Vorgeschichte, Zerstörung, Folgen. Weimar; Köln; Wien, 1994. S. 112—231; а также: Jörg Friedrich. Op. cit. S. 358 f.*

бомб доказывает, что в планы атакующих входило прежде всего разрушение жилых районов и уничтожение гражданского населения. Нападавшим были известны обстоятельства, в соответствии с которыми планомерное осуществление их концепции в переполненном беженцами с востока городе должно было привести к большому числу гражданских жертв. Тем не менее Черчилль был готов назвать самого себя террористом.

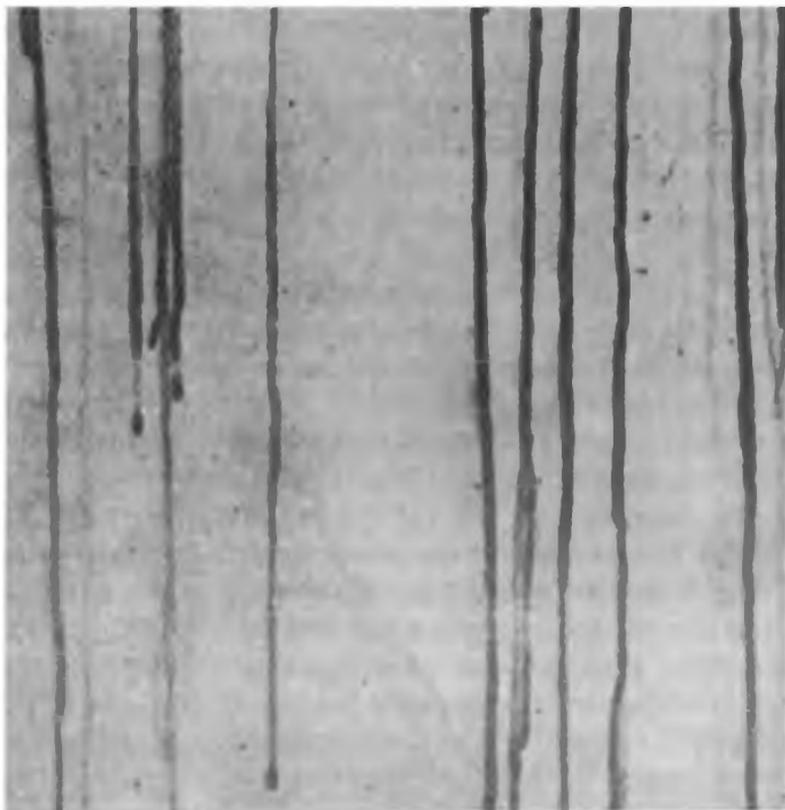
Успех осуществления плана проявился среди прочего и в том, что огромное число людей, оказавшихся внутри огненного котла, были найдены обезвоженными, сморщенными и мумифицированными, при том что они не вступали в непосредственное соприкосновение с пламенем. Некоторые бомбоубежища вследствие каминного эффекта превратились в очаги раскаленного воздуха, а находившиеся в них люди заживо выкипели; для более чем 12 тысяч человек подвалы стали газодымовыми ловушками. В истории применения террора до 6 августа 1945 года едва ли найдется пример того, как в «жизненном мире» размером с исторический центр города были созданы условия, которым соответствовали признаки работающей на полную мощность топки; в ней была достигнута температура свыше тысячи градусов Цельсия. Факт, что в этой особой атмосфере в течение одной-единственной ночи по самым низким оценкам могло быть сожжено, карбонизировано, высушено и задушено 35 000 (а по всей вероятности, даже свыше 40 000) человек, свидетельствовал об инновации в области скоростных убийств людей.¹²⁰ Даже воспринимаясь как кульминация серии обусловленных войной единичных случаев, дрезденская огненная ночь принесла в мир новый архетип масштабного термо-

¹²⁰ Впрочем, уже число жертв гамбургской огненной ночи оценивается в 41 000 погибших. «Официальное» число жертв в Дрездене интуитивно кажется такому очевидцу событий, как Гётц Бергандер, заниженным, однако как историк он признает, что для более высоких цифр, сколь бы правдоподобными с его субъективной и сложившейся в ходе работы над этой темой точки зрения они ни казались, доказательства отсутствуют.

терроризма. Здесь было осуществлено до конца продуманное великое покушение на пограничные термические условия жизни. Оно осуществило самую эксплицитную негацию самого имплицитного изо всех ожиданий: того, что человеческое бытие-в-мире ни при каких обстоятельствах не может подразумевать бытие-в-огне.

Одной из более несенсационных сенсаций XX века является то, что этот максимум не оказался непревзойденным. Экспликация атмосферы посредством террора при преобразовании «жизненных миров» в газовые и огненные камеры не прекратилась. Чтобы превзойти черчиллевскую доменную печь, понадобилось нечто не меньшее, чем «революция в картине мира» или, точнее (раз мы теперь понимаем ошибочность разговоров о революции), еще более широкое развертывание того, что обеспечивает единство мира в его физической и биосферической латентности. Мы отнюдь не собираемся воспроизводить здесь всю историю появления ядерной физики и создания ядерного оружия. В нашем контексте значение имеет обстоятельство, что ядерно-физическая экспликация радиоактивной материи и ее популярная демонстрация посредством атомного гриба, поднимающегося над пустынными полигонами и густонаселенными городами, одновременно открыли некий новый колоссальный этап в процессе экспликации человечески релевантных атмосфер. Тем самым она привела к «революционной» переориентации сознания «окружающего мира» в направлении незримой волновой и лучевой среды. В этой ситуации апелляции к классическому свету, в котором мы «живем и движемся и существуем», хоть теологического, хоть феноменологического характера, уже ничем не помогут. (Пост)феноменологический комментарий к атомным молниям над невадской пустыней и японскими городами гласит: *Making radioactivity explicit.**

* Экспликация радиоактивности (англ.).



Радиоактивный черный дождь, пролившийся на Нагасаки. Фотография Юичиро Сасаки.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки не просто количественно превосходили события в Германии, — одновременное уничтожение (по самым осторожным оценкам) ста и сорока тысяч человеческих жизней соответственно¹²¹ до сих пор остается кульминацией процесса атомотеррористической экспликации; в то же время ядерные взрывы 6 и 9 августа 1945 года форсировали эскалации и в качественном отношении, поскольку они открыли путь от термотеррористического к радиационно-терро-

¹²¹ Если добавить к ним умерших от лучевой болезни до конца 1945 года или к первой годовщине бомбардировок, то число погибших составит для Хиросимы 151 000, а для Нагасаки 70 000 человек.



«Маска Хиросимы»: молодая женщина разыскивает в Хиросиме свою семью.

ристическому измерению. Жертвы радиации из Хиросимы и Нагасаки, спустя короткое время (а в огромном количестве случаев с задержкой на годы и десятилетия) присоединившиеся к жертвам теплового удара первых секунд и минут, стали не оставляющим сомнений свидетельством, что человеческое существование постоянно протекает в некоей сложной волновой и лучевой атмосфере, о реальности которой мы можем судить разве что по определенным косвенным последствиям, но не с помощью непосредственного восприятия. Прямое получение моментально или по прошествии времени смертельной дозы радиоактивности, высвободившейся вслед за первичным термическим и кинетическим эффектом бомб, открыло в знании пострадавших и свидетелей совершенно новое измерение латентности.

Испокон веков скрытое, незнакомое, неосознаваемое, неизвестное, незамечаемое, незаметное в одно мгновение было перемещено в область явного; оно проявилось

опосредованно, в форме отслаивания кожи и язв, словно незримый огонь оставил зримые ожоги. На лицах выживших отразился некий новый вид апатии: «маски Хиросимы» отсутствующим взглядом смотрели на останки мира, отнятого у людей световой бурей. Он был возвращен им облученной пустыней. Эти лица комментируют требование бытия в его темном предельном значении. После прошедшего над Японией черного дождя безымянное зло в течение десятилетий давало о себе знать всевозможными онкологическими заболеваниями и глубочайшими душевными расстройствами. Вплоть до 1952 года любое публичное упоминание об обоих террористических актах в Японии было запрещено цензурой США.¹²²

Эти события можно истолковывать как приобщение к террористическому действию некоего нового измерения: ядерное покушение на жизненный мир врага отныне включает в себя и террористическое использование латентности как таковой. Незримость лучевого оружия становится существенным компонентом его действия. Лишь после облучения враг поймет, что он существовал не только в воздушной, но и в волновой и лучевой атмосфере. Ядерный экстерминизм представляет собой еще более радикальный способ атмосферной экспликации, чем экстерминизм химический, использовавший газ и огонь.

Ядерный этап процесса экспликации превращает феноменальную катастрофу в катастрофу феноменального. После того как физики и информированные ими военные перешли на радиоактивный уровень воздействия на окружающий мир, выяснилось, что в воздухе может находиться нечто, о чем весело дышавшие, наивно воспринимавшие окружающий их фон дети мира доядерной эры, «питомцы воздуха» прежнего человечества, даже не

122

6 августа 2001 года на памятных мероприятиях в Хиросиме было названо общее число жертв, к которым причисляются умершие от отдаленных последствий взрыва (что спустя более чем полвека несколько теряет в убедительности): 221 893 человека, из них около 123 000 мужчин и 98 500 женщин.



Рисунок одного из выживших после бомбардировки Хиросимы: человек, лежащий на улице лицом вверх, умер сразу после взрыва бомбы. Его рука была протянута к небу, пальцы горели в голубом пламени. Темная жидкость каплями стекала на землю.

подозревали. С этого момента необходимость считаться с недоступным восприятию нависает над ними подобно некоему принципиально новому закону. В будущем, чтобы выжить в токсичных окружающих мирах, придется не доверять своему собственному восприятию. Способ мышления и переживания параноиков становится частью всеобщего обучения — *only the paranoid survive*;^{123*} * тот, кто идет в ногу с фактами, постоянно ощущает вероятность

123 Andrew S. Grove. *Nur die Paranoiden überleben: strategische Wendepunkte vorzeitig erkennen*. Frankfurt, 1994.

* Выживают только параноики (англ.).

незримой материализации злой воли далеко находящегося врага.

В получившей новое определение латентности (симулируя ее и паразитируя на ней) действуют биотеррористы как государственного, так и негосударственного толка. Они включают измерение недоступного восприятиею малого в планы своих атак и угрожают окружающему миру невидимыми агрессорами. В пространстве биоатмосферного терроризма самое впечатляющее наступление было предпринято в 70-е и 80-е годы советскими военными исследователями. К его первичным сценам относятся проведенные ими в 1982—1983 годах эксперименты с возбудителями туляремии, в ходе которых на не доступном для общественности острове в Аральском море содержались сотни специально привезенных из Африки обезьян. Применение против них новых туляремийных бомб привело к удовлетворившему исследователей результату: почти все подопытные животные, даже привитые, вдохнув возбудителей вместе с воздухом, вскоре погибли.¹²⁴

Когда Мартин Хайдеггер в своих послевоенных статьях столь часто использовал слово «безродность» как экзистенциальный пароль человека в эпоху по-става, он, возможно, думал при этом не только об утраченной наивности жизни в сельских домах и переходе к существованию в городских машинах для жилья. На некоем более глубинном уровне термин «безродный» указывает на изгнание человека из естественной воздушной среды и его переселение в климатизированные пространства; в еще более радикальном прочтении «безродность» символизирует исход из всех возможных ниш защищенности в латентном. После появления психоанализа родиной уже не может служить бессознательное, после возникновения

12« Ken Alibek, *Stephen Handelman. Biohazard. The Chilling True Story of the Largest Covert Biological Weapons Program in the World — Told from the Inside by the Man Who Ran it.* New York, 1999. P. 25—28.



Бункер на случай ядерного удара. Инсталляция Гийома Бижля. 1985 г. Площадь Сан-Ламбер, Льеж.

современного искусства — «традиция», после формирования современной биологии ею вряд ли может быть и жизнь, не говоря уже об «окружающей среде». После Хиросимы спектр этих прорывов в существование без родины пополнился вынужденным открытием радиофизического и электромагнетического измерения атмосферы. На место обитания приходит пребывание в радиотехнически контролируемых ареалах. Своеобразный памятник этой ситуации воздвиг хорошо знакомый с работами Хайдеггера физик Карл фон Вайцзеккер, который в 70-е годы, в момент кульминации гонки ядерных вооружений между США и Советским Союзом, демонстративно построил в саду своего дома под Штарнбергом антирадиационный бункер.



Магдалена Йетелова. *Atlantic Wall (Атлантический вал)*. 1994—1995 гг.

Весьма сомнительно, чтобы памятная речь Хайдеггера об «обитании» человека в допускающем и призывающем ее «краю» осталась последним словом в вопросе об оказавшемся под экспликационным давлением существовании и стоящей перед ним задаче собственного преобразования. Когда философ воспевал вдумчивое пребывание в этом «краю», он слишком быстро перескакивал к идеалу некоего восстанавливающего целостность, по-старому и по-новому имплицитующего пространства.¹²⁵ «Край» для него — название области, в которой могло бы состояться аутентичное присутствие. Было бы не так-то просто объяснить, как достичь его, если бы мы уже не пребывали в нем. Этот «край» должен был бы быть местом, не затронутым экспликацией, действительной лишь за его пределами; местом, которое даже на холодном вет-

¹²⁵ См.: *Werner Marx. Der «Ort» für das Maß — die Verwindung des Subjektivismus // Werner Marx. Gibt es auf Erden ein Maß? Grundbestimmungen einer nichtmetaphysischen Ethik. Hamburg, 1983. S. 63—85.*

ру внешнего, локального риска как следствия модернизации все равно оставалось бы родиной. Его обитатели знали бы, что пустыня растет, и должны были бы именно там, где они находятся, чувствовать себя обязанными некоему чудесным образом иммунизирующему «простору и длению».¹²⁶ Здесь можно увидеть высокую идиллию. Тем не менее словам о «крае», несмотря на всю их предварительность и присущие им провинциальные коннотации, нельзя отказать в том, что они могут быть поняты как указание на терапевтическое измерение искусства формирования пространства.¹²⁷ Что же такое терапия, как не методическое знание и искусство познания нового устройства соразмерных человеку условий после вторжения безмерного? То, что разделяет нас с Хайдеггером, это исторически созревшее и теоретически стабилизировавшееся убеждение, что в эпоху экспликации фона отношения, характерные для «края» и родины, в тех местах, где они еще возможны, также уже не могут приниматься как некие дары бытия, а зависят от высоких расходов на формальный дизайн, техническое производство, юридическое обслуживание и политическое оформление.

В этих ссылках на начатое газовой войной (и усиленное индустриальным смогом) развертывание вопроса об условиях пригодности воздуха для дыхания, а также на газо- и термотеррористические эксцессы Второй мировой войны и, наконец, на взрывное открытие фонового радиологического измерения человеческого бытия-в-мире, которое после Хиросимы и Нагасаки стало постоянной темой, мы даем описание исторической дуги развития нарастающей определенности в процессе проблематизации

¹²⁶ *Martin Heidegger. Zur Erörterung der Gelassenheit. Aus einem Feldweggespräch über das Denken, 1944—45 // Gesammelte Werke 13. S. 47.*

¹²⁷ Позитивное содержание понятия «обитание» использовал и Герман Шмитц в своей доктрине «включающих ситуаций»; см.: *Hermann Schmitz. Adolf Hitler in der Geschichte.*

пробытия людей в газовой и лучевой среде. Из принятого нами ретроспективного экскурса не следует делать вывод, что с окончанием холодной войны завершилась и история экспликации атмосферы посредством совершенствования ядерного оружия. После исчезновения Советского Союза последняя оставшаяся сверхдержава приобрела монополию на продолжение разрабатывавшегося с 1915 по 1990 год континуума атмотерроризма в еще более эксплицитных и монструозных измерениях. Окончание холодной войны, пожалуй, привело к снижению ядерной угрозы; что же касается включения до сих пор не развернутых климатических, радиофизических и нейрофизиологических фоновых измерений человеческого существования в военные проекты сверхдержавы, то рубеж 90-х годов, скорее, дал ему некий новый толчок. С этого момента осуществляется почти не замечаемый общественностью стремительный переход к новой непредсказуемой стадии эскалации возможностей атмотеррористических интервенций.

В одном допущенном к открытой публикации и обнародованном 17 июня 1996 года документе Department of Defense* семеро офицеров научно-исследовательского подразделения Пентагона прояснили контуры ведения будущей ионосферной войны. Проект, представленный под заглавием «Погода как мультипликатор боевой мощи: распоряжение погодой в 2025 году» («Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025»), был разработкой по заказу Генерального штаба военно-воздушных сил, сопровождавшемся директивой описать условия, при которых Соединенные Штаты смогут в 2025 году играть роль абсолютно доминирующей военно-воздушной и военно-космической державы. Авторы документа исходят из того, что в течение тридцати ближайших лет релевантным для ведения войны образом удастся взять под контроль ионосферу как не доступный

* Министерство обороны США (англ.).

человеческому восприятию компонент внешней физической оболочки Земли, прежде всего посредством произвольного производства и устранения грозových погодных условий, что гарантирует обладателю ионосферного оружия доминирование на поле боя (*battlefield dominance*). По сегодняшним прогнозам погодное оружие, среди прочего, обеспечит: поддержание или затруднение видимости в воздушном пространстве; повышение и понижение *comfort levels* (морального духа) войск; усиление и модификацию гроз; отведение дождей от вражеской территории и производство искусственных засух; перехват вражеских коммуникаций и создание помех для них; пресечение аналогичной погодной активности противника.

Вместе с экспликацией этих новых параметров для оперативного доступа вооруженных сил к *battlespace environment** уже сегодня принимается во внимание вероятное будущее состояние дизайна поля боя (*battlefield shaping*) и восприятия поля боя (*battlefield awareness*). Поэтому в резюме документа говорится:

«Чреватая высоким риском и сулящая высокое вознаграждение модификация погоды ставит нас перед дилеммой, напоминающей ту, что была связана с расщеплением атомного ядра. Пока некоторые слои общества будут высказывать постоянное недовольство разработкой таких спорных тем, как модификация погоды, колоссальные (*tremendous*) военные возможности, которые могла бы нам дать эта область, будут игнорироваться опасным для нас образом».

Тем самым авторы документа о погодной войне не только дают понять, что они одобряют разработку такого рода оружия даже вопреки общественному мнению, но и включаются в культурную окружающую среду, способную представить себе лишь один-единственный тип войны — военный конфликт США с государствами-«зло-

* Ставшая пространством боя окружающая среда (англ.).

деями», то есть государствами, допускающими или поддерживающими военные или террористические акции против цивилизационного комплекса «Запад». Лишь в этом контексте агитация за создание будущего метеорологического оружия совместима с чрезвычайно юридизированной и отмеченной крайней чувствительностью к необходимости всевозможных обоснований культурной ситуацией. В предпосылки исследований в области погодного оружия встроена стабильная моральная асимметрия между ведением войны США и потенциальными военными действиями, которые будет вести любое другое государство, — иначе инвестирование общественных средств в конструирование технологически асимметричного оружия очевидно террористического характера не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. Чтобы демократически легитимизировать атмотерроризм в его прогрессивной форме, следует создать такой образ врага, который сделает приемлемым применение любых пригодных средств для его особой ионосферной обработки. В *american way of war** борьба с врагом включает в себя его наказание, ибо вооруженное недружелюбие по отношению к Соединенным Штатам могут выражать только очевидные преступники. Впрочем, этот стандарт действует еще со времен холодной войны, во время которой Москва упорно именовалась «всемирной базой терроризма». Поэтому объявление войны врагу фактически заменяется ордером на его арест или приказом о приведении приговора в исполнение. Тот, кто обладает верховной интерпретационной властью объявлять борцов за чужое дело террористами, систематически сдвигает восприятие террора с уровня методов на уровень ментальности вражеских групп и тем самым выводит из поля зрения самого себя. Отныне ведение войны становится не отличимым от военно-полевого судопроизводства. Предваряющее правосудие победителя вершится не только в ходе военных действий,

* Американский способ войны (англ.).



HAARP-проект, антенны.

объявленных дисциплинарными мероприятиями; оно осуществляется также и как военные исследования, направленные против завтрашнего и послезавтрашнего врага.

Кроме открыто декларированного интереса к погодному оружию, США с 1993 года работают над родственной, однако остающейся секретной, программой исследования полярного сияния, High-frequency Active Auroral Research Programme* * (HAARP), предметом которой являются научные и технологические предпосылки создания потенциального волнового супероружия. Сторонники проекта, когда они вынуждены обращаться к общественности, подчеркивают его гражданский характер, например возможную пригодность для восстановления озонового слоя и предотвращения ураганов, тогда как его — весьма немногочисленные — критики видят в такого рода заявлениях типичный камуфляж военных планов высшей степени секретности.¹²⁸ Ведущая роль в разработке проекта HAARP отводится исследовательскому

¹²⁸ См.: *Jeane Manning, Nick Begich. Löcher im Himmel. Der geheime Ökokrieg mit dem Ionosphärenheizer HAARP.* Frankfurt, 1996.

* Программа исследований высокочастотной активности полярного сияния (англ.).

комплексу в Гаконе, расположенному на юге центральной Аляски в 300 километрах северо-западнее Анкориджа, который состоит из множества антенн, производящих высокоэнергетические электромагнитные поля и посылающих излучения в ионосферу. Их отражающее и резонирующее воздействие должно использоваться для фокусирования энергетических полей над любыми точками на поверхности Земли. Из излучений такого рода могла бы быть создана энергетическая артиллерия почти безграничной эффективности. Технические предпосылки для создания этого сооружения восходят к идеям изобретателя Николы Теслы (1856—1943), который еще в 1940 году привлекал внимание правительства США к военным возможностям телеэнергетического оружия.

Если бы система такого рода была создана, она могла бы вызвать колоссальные физические последствия — вплоть до провоцирования климатических катастроф и землетрясений в специально выбранных областях. Некоторые наблюдатели связывают аномальные снежные бури и туманы в Аризоне и другие загадочные явления в различных регионах мира с тестами на установке в Аляске. Но поскольку ELF-волны (Extremely Low Frequencies*), или инфразвуковые волны, способны воздействовать не только на неорганическую материю, но и на живые организмы, в частности на человеческий мозг, работающий в низкочастотных областях, в перспективе осуществление проекта HAARP может привести к созданию нейротелепатического оружия, дестабилизирующего человеческие популяции путем дистанционного поражения церебральных функций человека.¹²⁹ Само собой разумеется, что оружие этого типа даже в умозрительной форме может проектироваться в одном-единственном случае: если его создатели полагают, что моральное различие между мозгом, который его разрабатывает, и мозгом, по-

¹²⁹ *Ibid.* S. 231 f.

* Крайне низкие частоты (англ.).

давяемым с помощью ELF-волн, является совершенно однозначным в данный момент и останется неизменным в будущем. Это оружие — даже если оно обладает нелетальным эффектом — может применяться исключительно против чего-то совершенно чуждого и представляющего собой абсолютное зло в его человеческом воплощении. Однако нельзя исключать, что осуществление таких исследований *per se* принесет с собой моральные осложнения, которые сделают невозможной констатацию различий этого рода. Если строгое различие между злодейским и незлодейским мозгом стирается, то производство волнового оружия, направленного против одной из сторон этой оппозиции, может затронуть и другую сторону и иметь для нее — как это было в случае атомного оружия — роковые последствия.

Упоминание такого рода перспектив может показаться неким сюрреализмом; но они не более сюрреалистичны, чем перспектива газовой войны до 1915 года и атомной до 1945-го. До того как применение ядерного оружия стало доказательством его возможности, большинство образованных людей Западного полушария восприняли бы его разработку как своего рода маскирующийся под естествознание оккультизм и отказали бы известиям о нем в каком бы то ни было правдоподобии. Эффект сюрреальности реального до его обнародования является одним из побочных следствий процесса форсированной экспликации и с самого начала разделяет общество на две неравные части: небольшую группу лиц, в качестве мыслителей, операторов и жертв причастных к прорыву в эксплицитное, и другую, гораздо более многочисленную группу, *ante eventum** остающуюся утверждать возможность бытия в имплицитном и разве что постфактум и точечно реагирующую на экспликации. Публичная истерия — таков демократический ответ на эксплицитное, поле того как оно становится неоспоримым.

* До конца (*лат.*).

Повседневное пребывание в латентности становится все более беспокойным. Появляется два типа спящих: спящих в имплицитном и дальше ищущих защищенности с помощью незнания и спящих в эксплицитном, знающих фронтовые планы и ожидающих приказа вступить в бой. Атмотеррористическая экспликация настолько разделяет сознания внутри одной и той же культурной популяции (называют ли ее народом или населением, уже давно не имеет значения), что они *de facto* уже не живут в одном и том же мире и лишь ввиду наличия государственно-гражданской формы образуют синхронно существующее общество. Одних эта экспликация превращает в своих сотрудников ■ и тем самым — на постоянно сменяющих друг друга участках фронта — в агентов структурного, хотя и достаточно редко актуального, террора против фоновых условий природы и культуры, а других — в своего рода внутренних аборигенов, регионалистов и добровольных кураторов собственной несовременности, которые, живя в свободных от фактов резервациях, пользуются привилегией держаться за картины мира и символические иммунные условия эпохи латентности.

3. AIR/CONDITION*

Из всех наступательных движений современности именно сюрреализм с предельной остротой поставил вопрос о том, что основной интерес настоящего времени должен состоять в экспликации культуры. Под культурой мы понимаем (следуя идеям Безона Брока, Хайнера Мюльманна, Ойгена Розенштока-Хюсси, Людвига Витгенштейна, Дитера Клэссенса и других) совокупность правил и методик, передающихся и варьирующихся от поколения к поколению.

Участвуя в модернизационной кампании, сюрреализм следует императиву оккупации символических из-

* Воздух/Состояние (англ.).

мерений. Его явная и неявная цель состоит в экспликации творческого процесса и техническом раскрытии его источников. Для этого он без лишних слов вводит в игру фетиш эпохи, легитимирующее всё и вся понятие «революции». Но как в отношении процессов, протекающих в политическом пространстве (где *de facto* речь всегда идет не о реальном «перевороте» в смысле перемены мест между верхами и низами, а о стремительном росте количества мест наверху и их занятии представителями наступающих средних слоев), так и для явлений, имеющих место в поле культуры, некорректность сюрреализма очевидна, ибо и здесь всегда имел место не «переворот», а исключительно перераспределение символической гегемонии — что требовало определенного обнажения художественного метода; поэтому и в этой области должна была начаться фаза варварства и иконоборчества. В отношении культуры «революция» есть не что иное, как эвфемизм для обозначения «легитимного» насилия против латентности. Она инсценирует разрыв новых операторов, верных ее методам, с холизмом и комфортом буржуазной художественной ситуации.

Напоминание об одной из самых знаменитых сцен сюрреалистического наступления могло бы сделать для нас более очевидным параллелизм атмотеррористических экспликаций климата и культурно-«революционных» ударов по менталитету буржуазной художественной публики. 1 июля 1936 года Сальвадор Дали, в начале своей карьеры провозгласивший себя послем империи сверхдействительного, на открытии International Surrealist Exhibition* в лондонских Новых галереях Берлингтона выступил с докладом-перформансом, в котором на фоне себя как экспоната намеревался изложить принципы разработанного им «параноидально-критического метода». Чтобы самим своим появлением дать понять публике, что он обращается к ней от имени Другого и как представитель не-

* Международная сюрреалистическая выставка (англ.).



Дали в водолазном скафандре во время чтения своего доклада 1 июля 1936 г.

кого радикального «не-здесь», Дали решил прочитать свою речь, облачившись в водолазный скафандр; как сообщает лондонская газета «Стар» от 2 июля, к шлему скафандра был прикреплен автомобильный радиатор; художник держал в руке бильярдный кий, кроме того, его сопровождали две большие собаки.¹³⁰ В автобиографии «Comment on devient Dali»* художник дает свою версию инцидента, к которому привела эта идея:

«В связи с открытием выставки я решил выступить с речью в водолазном скафандре, чтобы сделать наглядным подсознание. Итак, меня засунули в мое облачение и даже натянули на меня ботинки со евин-

¹³⁰
S. 378.

См.: *Ian Gibson. Salvador Dalí. Die Biographie. Stuttgart, 1998.*

* «Комментарий к ненормальному Дали» (англ.).

цовыми подошвами, не позволявшие мне передвигать ноги. На подиум меня пришлось вносить. Затем на меня надели шлем и привинтили его болтами. Из-за стекла шлема я начал свою речь — перед микрофоном, который, естественно, ничего не мог передать. Однако моя мимика очаровала публику. Но вскоре я начал хватать ртом воздух, мое лицо стало сначала красным, а затем синим, и я завращал глазами. Очевидно, меня забыли (sic!) подключить к системе обеспечения воздухом, и я был близок к удушью. Специалист, оснащавший меня, исчез. Я жестами дал своим друзьям понять, что мое положение стало критическим. Кто-то принес ножницы и тщетно пытался продырявить мой костюм, кто-то хотел отвинтить шлем. Когда это ему не удалось, он начал бить по болтам молотком... Двое мужчин попробовали сорвать с меня шлем, третий и дальше стучал по металлу так, что я почти потерял сознание. На подиуме царил какой-то дикая потасовка, над которой изредка всплывал я, как кукла с вывихнутыми конечностями, а мой медный шлем звучал, как гонг. Тут публика начала бурно аплодировать этой удачной Дали-мимодраме, которая, как ей казалось, изображала, как сознание пытается овладеть бессознательным. Но этот триумф почти довел меня до смерти. Когда с меня наконец сорвали шлем, я был бледен, как Иисус, вернувшийся из пустыни после сорокадневного поста».¹³¹

Эта сцена проясняет две вещи: сюрреализм — это дилетантизм, не применяющий технические объекты по их прямому назначению, а использующий их символически; в то же время он представляет собой часть эксплицитского движения современности, поскольку недвусмысленно понимает себя в качестве метода, раскрываю-

¹³¹ *Salvador Dalí. Dalí. Rastatt. 1998. S. 229 f.*



Барокостюм образца 1915 г. для лечения кессонной болезни.

щего латентное и высвобождающего фоновое. Один из важнейших аспектов высвобождения фонового составляет попытка разрушить существующий в художественном процессе консенсус между продуцирующей и воспринимающей сторонами, чтобы выявить радикальную самоценность события демонстрации. Она эксплицирует как абсолютность продуцирования, так и автономность восприятия.

Такие интервенции обладают боевой ценностью как акты антипровинциального и антикультурно-нарциссического просвещения. Не случайно на раннем этапе своего наступления сюрреалисты разрабатывали искусство шокировать буржуа как форму проведения *sui generis* акций, во-первых, потому что это помогало инноваторам различать *ingroup** и *outgroup*** а во-вторых, потому что протест общественности мог расцениваться как знак ус-

* Внутренняя группа (англ.).

** Внешняя группа (англ.).

пеха в деле разложения традиционной системы. Тот, кто скандален в глазах буржуа, заявляет о своей приверженности прогрессивному иконоборчеству. Он использует террор против символов, чтобы взорвать мистифицированные латентные позиции и осуществить прорыв, используя более эксплицитные техники. Легитимность символической агрессии обосновывается убежденностью, что у культур слишком много скелетов в шкафах и что пришло время разорвать латентные связи между оснащением и внутренней структурой.

Если приходится признать, что ранний авангард все же стал жертвой некоего заблуждения, то следует назвать прежде всего его недооценку подлежащей запугиванию буржуазии, которая всегда усваивала свой урок намного быстрее, чем мог предвидеть какой-либо из эстетических террористов. После нескольких ходов в партии между провокаторами и провоцируемыми должна была создаться ситуация, в которой расслабленная массовой культурой буржуазия с помощью маркетинга, дизайна и аутогипноза перехватила инициативу в деле эксплицирования искусства, культуры, значения и смысла. Художники прилежно продолжали пугать, не замечая, что время этого средства прошло (семантический терроризм становится неэффективным, как только публика осознает свою роль; то же самое, впрочем, произошло бы и с криминальным и военным террором, если бы пресса отказалась от своей роли соучастника). Другие повернули в сторону неоромантизма и вновь заключили пакт с глубиной. Казалось, многие очень быстро забыли сформулированный Гегелем принцип современной философии, во многом значимый и для эстетических произведений: глубина мысли может быть измерена лишь по силе ее изложения — в ином случае претензия на глубину остается лишь пустым символом непобежденной латентности.

Такие выводы можно сделать из неудавшегося и именно поэтому весьма информативного перформанса Дали. Во-первых, он доказывает, что разрушение консен-

суса между художником и публикой не удастся, если последней известно правило, в соответствии с которым пространство произведения на окружающий мир самого произведения в свою очередь должно восприниматься как форма произведения. Бурные аплодисменты, которыми был награжден Дали в Берлингтоне, иллюстрируют, насколько последовательно информированная публика соблюдает договоры о новом художественном восприятии. Во-вторых, художник предстал в этой сцене как взломщик латентности, передающий профанному народу весть из империи Иного. Функция Дали в этой игре была отмечена двусмысленностью, говорящей нечто существенное о его колебаниях между романтизмом и практичностью. С одной стороны, он отрекомендовывается как холодный технолог Иного, поскольку в своей речи (которая так и не была произнесена, однако название доклада — «Аутентичные параноидальные фантазии» — говорит само за себя) намеревался говорить о некоем строгом методе овладения доступом к бессознательному — том параноидально-критическом методе, с помощью которого Дали сформулировал официальные инструкции для «завоевания иррационального».¹³² Он объявил себя сторонником своего рода фотореализма в отношении иррациональных образов, который с точностью старых мастеров должен объективировать то, что предстает в сновидениях, делириях и внутреннем созерцании. Художник-сюрреалист есть в некотором роде секретарь частного потустороннего, под диктовку которого он механически и с максимальной точностью делает свои зарисовки, а следовательно, художественное произведение представляет собой некий архив видений. Как и Пикассо, Дали не ищет, он находит, — а находить в данном случае означает не что иное, как актуализировать вырастающую из бессознательного форму.

В это время Дали, подобно Бретону и многим до него, уже понимал свою работу как акцию, параллельную так называемому открытию бессознательного психоанализом, — тому научному мифу, который в 20-е и 30-е годы был самым различным образом воспринят как эстетическим авангардом, так и образованной публикой (и в который Лакан, почитатель и соперник Дали, в 1950—1970-е годы вдохнул вторую жизнь, реанимировав сюрреалистическую форму изложения для «возвращения к Фрейду»). В этой перспективе сюрреализм занимает свое место в ряду манифестаций инициированной непрерывной модернизацией оперативистской «революции». С другой стороны, Дали совершенно некритично придерживался романтической концепции художника-посланника, бродящего среди непросвещенных как делегат исполненного смысла потустороннего. Эта поза выдает в нем царственного дилетанта, пребывающего в иллюзии, что для артикуляции своих метафизических китчевых акций он способен использовать сложный технический прибор. Здесь дает о себе знать типичная позиция пользователя, который простодушно оставляет техническую сторону перформанса «специалистам», не убедившись в их компетентности. Даже факт, что сцена не была прорепетирована, свидетельствует о том, что обращение художника с техническими структурами отдает дешевой литературностью.

Тем не менее выбор Дали своего обмундирования указывает на один многое проясняющий аспект. Произшедшая с ним авария была поистине пророческой — и отнюдь не только из-за реакции зрителей, не понявших происходящего и устроивших ему овацию как новому габитусу культуры. То, что художник для своего явления в качестве посланца из глубины избрал рассчитанный на искусственную подачу воздуха водолазный скафандр, удачно ставит его в контекст развертывания атмосферного сознания, которое, как мы здесь пытаемся показать, в XX веке оказывается в центре самоэкспликации культуры. Даже если сюрреалист доходит лишь до полутехниче-

ского истолкования мирового и культурного фона как «моря бессознательного», он постулирует наличие некоей особой компетентности, необходимой для навигации в этом пространстве при помощи определенных профессиональных процедур. Его перформанс иллюстрирует, что сознательное существование должно проживаться как эксплицитное погружение в контекст. Тот, кто в мультисредовом обществе рискует покинуть собственный лагерь, должен быть уверен в своем «водолазном оснащении», то есть в своей как физической, так и ментальной иммунной системе или в своей социальной пространственной капсуле (Маршалл Маклюэн писал в начале 60-х годов, что современный человек превратился в «космического аквалангиста», — тезис, который может быть прочитан как комментарий и к межкультурному серфингу, и к полетам в космос¹³³). Аварию следует отнести не только на счет дилетантизма; она является указанием и на системные риски, связанные с технической экспликацией атмосферы и техническим завоеванием доступа в иную стихию — подобно тому, как риск отравления собственными войсками во время газовой войны стал не делимым от акций военного атмотерроризма. Если рассказ Дали об этом инциденте не грешит преувеличениями, то у художника есть почти все, чтобы в качестве мученика погружений в символическое войти в культурную историю современности.

При данных условиях авария заявила о себе как о некоей продуктивной форме. Она высвободила в художнике то паническое, что с давних пор было внутренним стимулом его работы. При неудачной попытке изобразить «подсознательное» как доступную для навигации зону на первый план вышел страх перед уничтожением, для обуздания и вытеснения которого, собственно, и запускается процесс экспликации. Обобщим: контрфобиче-

133 *Marshall McLuhan. Die magischen Kanäle. Understanding Media. Düsseldorf; Wien, 1968. S. 139.*

ский эксперимент модернизации никогда не сможет освободиться от своего фонового страха, ибо этот фон способен проявиться лишь в том случае, если в существование будет допущен страх сам по себе — что в силу природы вещей представляет собой невозможную гипотезу. Современность как экспликация фона остается замкнутой в некоем фобическом круге; стремясь к преодолению страха с помощью продуцирующей страх техники, она раз за разом стреляет мимо цели. Как первичный, так и вторичный страх дают затяжной толчок для продолжения бесполезного процесса; их неотступность оправдывает дальнейшее применение взламывающей латентность и контролирующей фон силы на любой стадии модернизации — или, говоря языком нашего времени, она требует перманентных фундаментальных исследований и инноваций.

Современная эстетика представляет собой метод применения силы не против людей или вещей, а против непроясненной культурной ситуации. Она организует волну атак на такие целостные жесты, как вера, любовь, честность, и такие псевдоочевидные категории, как форма, содержание, образ, произведение и искусство. Ее *modus operandi* является покушением на тех, кто использует такого рода понятия. Нет ничего удивительного, что агрессивный модернизм порывает с благоговением перед классиками, в котором, как он с отвращением отмечает, чаще всего дает о себе знать смутный холизм, связанный со склонностью и дальше прислоняться к оставленному в непроясненности и неразвернутости целому. Обладая обостренной волей к эксплицитности, сюрреализм объявляет войну посредственности; он распознает в ней подходящее убежище для сил антисовременной инерции, сопротивляющихся оперативному развертыванию и реконструктивному раскрытию скрытых явлений. Поскольку в этой ментальной войне нормальность расценивается как преступление, искусство может быть в экстренном порядке мобилизовано как средство борьбы с преступностью.

Когда Исаак Бабель заявил: «Банальность — это контрреволюция», он опосредованно воспроизвел принцип модернистской «революции»: использование террора как силы, направленной против нормальности, взрывает как эстетическую, так и социальную латентность и выносит на поверхность законы, по которым конструируются общества и художественные произведения. Террор служит для осуществления антинатуралистического поворота и повсюду утверждает примат искусственного. Перманентная «революция» желает стать перманентным террором, ибо она предполагает такое общество, которое раз за разом демонстрирует, что его можно постоянно запугивать, тем самым внося в него желаемые коррективы. В 1930 году во «Втором манифесте сюрреализма» Андре Бретон писал:

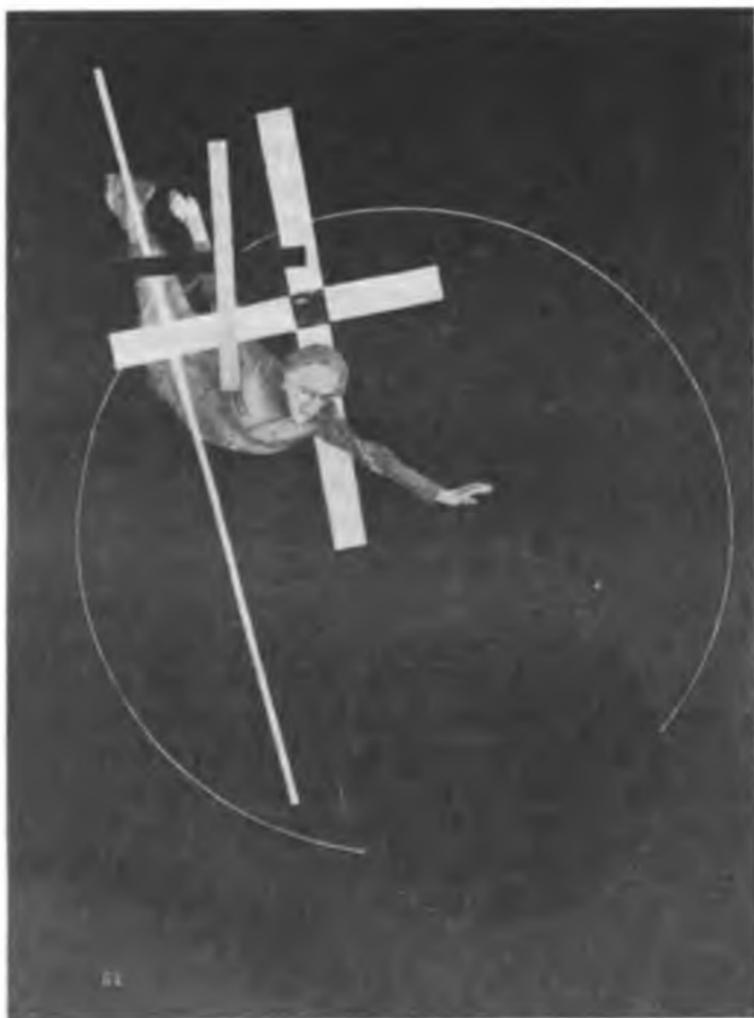
«Простейшее сюрреалистическое действие состоит в том, чтобы выйти на улицу с револьверами в руках и, пока есть возможность, не целясь стрелять по толпе».¹³⁴

Новое искусство впитало в себя новейшие импульсы, ибо оно подражает террору и подобно войне — часто не в силах сказать, объявляет оно войну войне обществ или ведет войну в собственном смысле слова. Художник постоянно должен принимать решение, кто он — спаситель различий или *warlord** * инновациями против общности. Кроме того, он должен объяснить себе, согласен ли он с законом подражания высшему, на котором была построена прежняя культура, или примыкает к неоварварскому габитусу современности, превращающему в правило подражание низшему.¹³⁵ Перед лицом этой амбива-

¹³⁴ *André Breton. Manifeste du surréalisme. Paris, 1962. P. 155.*

¹³⁵ Как указывает Габриэль Тард, с этим связана и та «революция в головах», которая ошибочно именуется просвещением: привычка верить на слово священникам и предкам заменяется привычкой повторять то, что выдвигают современные новаторы. См.: *Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung (1890). S. 270.*

* Главнокомандующий (*англ.*).



Эль Лисицкий. Черные сферы. 1921—1922 гг.

лентности так называемый постмодерн имел некоторые основания артикулировать себя как антиэксплицитную, антиэкстремистскую и частично антиварварскую реакцию на эстетический и аналитический терроризм современности.

Как и любой другой, эстетический терроризм атакует тот сплошной фон, на котором артикулируются худо-

жественные произведения, и выдвигает его на авансцену как феномен, обладающий самостоятельной ценностью. Прототип современной живописи этого направления, написанный в 1913 году «Черный квадрат» Казимира Малевича, своим неисчерпаемым потенциалом для интерпретаций обязан решению художника эвакуировать образное пространство в пользу чистой темной поверхности. Благодаря этому само ее квадратное бытие становится фигурой, тогда как в других художественных ситуациях она является не более чем расположенным позади фигуры фоном. Скандальность этого произведения состоит еще и в том, что оно утверждается в качестве самостоятельной картины, а отнюдь не просто выдает за нечто достойное внимания пустое полотно, чего можно было бы ожидать в контексте дадаистских художественных провокаций. Пожалуй, эта картина может рассматриваться как минимально неправильная (ибо вынуждена отдавать дань чувственности) платоническая икона равностороннего четырехугольника; но в то же время она есть икона неиконического — обычно не видимого фона картины. Поэтому «Черный квадрат» располагается на белом поле, окружающем его подобно своего рода раме; но в «Белом квадрате» (1914) почти снимается и это различие. Главным жестом таких изображений формы является превращение нетематического в тематическое. В них различные образные содержания, которые могли бы оказаться на переднем плане, уже не наносятся на всегда один и тот же фон; напротив, тщательно выводится фон как таковой, эксплицируясь в качестве фигуры того, что несет на себе все прочие фигуры. Присутствие очистительного террора в требовании «супрематии чистого ощущения» не вызывает никаких сомнений. Картина настаивает на безоговорочной капитуляции восприятия зрителя перед ее реальным присутствием.

Сколь бы недвусмысленно супрематизм вместе с присущими ему антинатурализмом и антифеноменализмом ни выдавал себя за наступательное движение на эс-

тетическом фланге экспликации, он во многом остается обязанным тому идеалистическому представлению, что эксплицирование означает редукцию чувственно наличного к духовному не-наличному. Он застрял в староевропейских установках, поскольку интерпретирует вещи снизу вверх и упрощает эмпирические формы, сводя их к истым первичным формам. Иначе действует в этом отношении сюрреализм, скорее солидаризирующийся с материалистическим эксплицированием сверху вниз (не заходя, однако, столь далеко, чтобы его можно было назвать сурреализмом*). Если материалистическая тенденция оставалась для сюрреалистического движения своего рода кокетством, то его альянс с различными версиями глубинной психологии, прежде всего психоаналитической направленности, вскрывает его основную характерную черту. Сюрреалистическая рецепция венского психоанализа представляет собой один из тех многочисленных случаев, которые подтверждают, что первоначально фрейдизм завоевал успех у художников и образованных буржуа не как терапевтический метод, а как стратегия толкования знаков и манипуляций с фоном, допускающая использование любым интересующимся в соответствии с его потребностями. Не всегда ли мы более всего увлечены именно тем анализом, который никто никогда не производил?

Подход Фрейда вел к раскрытию латентной области особого типа, для наименования которой было использовано заимствованное в идеалистической философии — а именно у Шеллинга, Шуберта, Каруса, а также в философии жизни XIX столетия, и прежде всего у Шопенгауэра и Гартмана — выражение «бессознательное». Оно описывало некое скрытое субъективное измерение, выводя в пространство языка внутренние латентности и незримые предпосылки состояний Я. В фрейдовской редакции

* От фр. *sous* — «вниз», «под».

смысл этого выражения был сильно сужен и настолько специализирован, что оно стало пригодным к клиническому применению; теперь оно означало уже не резервуар неких темных интегрирующих сил в досознательной, обладающей спасительной мощью и способной творить образы природе, и даже не расположенное под «субъектом» подполье потоков слепо самоутверждающейся воли; оно описывало небольшой внутренний контейнер, наполняющийся в результате вытеснений и оказывающийся под вызывающим невротизацией напряжением вследствие обратного давления вытесненного.¹³⁶ Энтузиазм сюрреалистов по поводу психоанализа основывался на том, что они перепутали фрейдовское понятие бессознательного с аналогичным понятием романтической метафизики. В результате этого творчески ошибочного прочтения и возникли декларации, подобные опубликованной в 1939 году Дали «Декларации независимости фантазии и декларации прав человека на безумие», в которой мы, в частности, встречаем такие положения:

«Мужчина имеет право любить женщин с экстатическими рыбьими головами. Человек имеет право находить теплые телефоны отвратительными и требовать телефоны, которые так же холодны, зелены и возбуждающи, как наполненный видениями сон шпанских мушек».¹³⁷

Ссылаясь на право быть безумным, знаменитый сюрреалист предостерегает индивидов от их склонности подвергаться нормальной терапии; он желает превратить обыкновенных неудачливых пациентов в монархов, воз-

¹³⁶О философских источниках понятия бессознательного в первую очередь см.: *Odo Marquard. Transzendentaler Idealismus. Romantische Naturphilosophie. Psychoanalyse. Köln, 1987; Jean-Marie Vaysse. L'inconscient des modernes. Essai sur l'origine métaphysique de la psychanalyse. Paris, 1999.*

¹³⁷*Salvador Dali. Op. cit. S. 290.*

вращающихся из разумно-невротического изгнания в царство персональной мании.

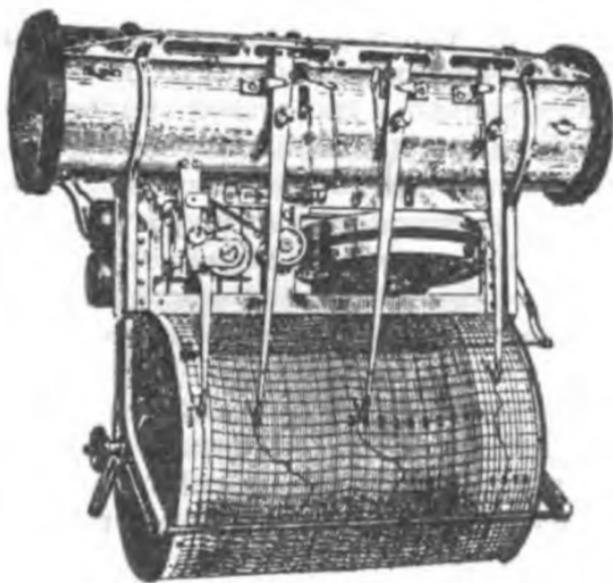
Если перформанс Дали 1 июля 1936 года завершился тем, что его помощники, сорвав с него водолазный шлем, обеспечили ему возвращение в общую воздушную атмосферу лондонской галереи, то к цивилизационной ситуации в целом это целесообразное в отдельном случае решение неприменимо, поскольку процесс экспликации атмосферы не допускает никакого возврата назад, к прежним имплицитным предпосылкам. Условия технической цивилизации позволяют забыть, как это было при эксперименте Дали, решающее: люди, в данный момент или постоянно пребывающие в ярко выраженных *indoors**-ситуациях, должны быть подключены к какой-либо поддерживающей «системе воздушного обеспечения». Прогрессирующая атмосферная экспликация вынуждает обратить внимание на пригодность воздуха для дыхания — сначала в физическом смысле, а затем во все большей степени и в отношении метафорических измерений дыхания в культурных пространствах мотивации и заботы.

По завершении XX века учение о *homo sapiens* как питомце воздуха обретает прагматические контуры. Мы начинаем понимать, что человек есть не только то, что он ест, но и то, чем он дышит и во что погружается. Культуры суть коллективные состояния погружения в звучащий воздух и определенные знаковые системы.

Таким образом, на рубеже XX и XXI веков тема наук о культуре гласит: *Making the air conditions explicit*** Они занимаются эмпирически ориентированной пневматологией: наукой об искусственном дыхании чувственно-зависимых живых существ, осуществляемым посредством информирующей и императивной среды. В настоя-

* Внутри дома (англ.).

** Экспликация воздушных условий (англ.).



Метеорограф Марвина, созданный в 90-е годы XIX столетия для бюро погоды США.

щее время разработка этой программы может носить лишь реконструктивный характер и сводиться в первую очередь к накоплению материала, поскольку «сам предмет» — универсум подвергающихся воздействию Климатов, сформированных атмосфер, модифицированных типов воздуха и определенным образом настроенных, измеренных, подлежащих правовой регуляции окружающих миров — после мощнейших экспликационных сдвигов, произошедших в естественнонаучном, техническом, военном, законодательно-юридическом, архитектурном и художественном пространстве, находится уже почти вне досягаемости для культурно-теоретического образования понятий, и ликвидация этого гандикапа представляет собой весьма не простую задачу. Поэтому на первом этапе, пока эта теория еще не обрела уверенности в себе, наиболее целесообразной кажется ее ориентация на наиболее развитые формы научного описания атмосферы, на метеорологию и климатологию, с тем чтобы на втором этапе

обратиться к культурно значимым и более близким человеческой личности воздушным и климатическим феноменам.

Современная метеорология (название образовано в XVII веке от греческого *metéoros* — «находящийся в воздухе») — наука об «осадках» и всех прочих мелькающих на небе или парящих в выси телах — благодаря своей наиболее успешной публичной форме, так называемым *сообщениям о погоде* (*informations météorologiques, weather news*), навязала населению современных национальных государств и политическим медийным сообществам исторически новую форму разговорной практики, которая лучше всего может быть охарактеризована как «обсуждение климатологического положения». Современные общества представляют собой погодно-дискурсивные сообщества в той мере, в какой официальная служба климатической информации подкидывает гражданам темы для их взаимных уведомлений о господствующих погодных условиях. Благодаря поддерживаемым масс-медиа погодным коммуникациям крупные современные коммуны, включающие в себя миллионы членов, превращаются в подобные деревням объединения соседей, в которых обмениваются сообщениями о том, что сейчас для этого сезона слишком жарко, слишком холодно, слишком дождливо или слишком сухо (Маршалл Маклюэн даже утверждал, что погодная среда образует «важнейший программный компонент радио, которое постоянно воздействует на наше ухо и создает звучащее пространство, или пространство жизни»¹³⁸). Современные сообщения о погоде превращают население в зрителей своего рода климатического театра, побуждая реципиентов сравнивать свои персональные

138 Цит. по: Absolute McLuhan / Hrsg. von Martin Baltes, Rainer Höltzschl. Freiburg, 2002. S. 164; см. также: Marc Monmonier. *Air Apparent. How Meteorologists Learned to Map, Predict and Dramatize Weather*. Chicago; London, 1999.

ощущения с оперативной сводкой и формировать свое собственное мнение по поводу текущих событий. Описывая погоду как спектакль, разыгрываемый природой перед обществом, метеорологи превращают людей в собравшуюся под общим небом искушенную публику; из каждого индивида они создают климатического рецензента, оценивающего актуальные номера в исполнении природы в соответствии со своим личным вкусом. Более строгие климатические критики в периоды плохой погоды в массовом порядке вылетают в регионы, где с достаточной вероятностью можно ожидать более приятного представления, из-за чего во время между сочельником и Богоявлением Маврикий и Марокко переполнены погодными диссидентами из Европы.

Пока метеорология остается естественной наукой и ничем иным, она может позволить себе игнорировать вопрос о творце погоды. Рассмотренный в контексте природы, климат есть нечто, что создает исключительно само себя и непрерывно переходит из данного состояния в следующее. При этом вполне возможно описывать важнейшие климатические «факторы» в их динамическом влиянии друг на друга: атмосфера (газовая оболочка), гидросфера (водный мир), биосфера (мир животных и растений), криосфера (регион, покрытый льдом), педосфера (континенты) под воздействием солнечного излучения формируют в высшей степени сложные модели энергетического обмена, которые могут быть представлены чисто естественнонаучными средствами без ссылки на какой-либо первоначально планирующий или постфактум вмешивающийся разум.¹³⁹ Адекватный анализ этих процессов оказывается настолько сложным, что ведет к возникновению нового типа физики, способной работать с непредсказуемыми потоками и турбулентностями. Эта

139 См.: *Thomas E. Graedel, Paul J. Crutzen. Atmosphäre im Wandel. Die empfindliche Lufthülle unseres Planeten. Heidelberg; Berlin; Oxford, 1996. S. 3—5.*

вооруженная теорией хаоса погодная физика также обходится без апелляции к какой-либо трансцендентной интеллигенции; для интерпретации своих данных она не нуждается ни в творце погоды анимистического происхождения, ни в деистическом создателе мировых часов. Она находится в русле традиции западного рационализма, который на заре Нового времени освободил всякого, еще возможного, Бога от ответственности за погодные феномены и вынес его в некие сверхклиматические зоны. Если Зевс и Юпитер метали молнии, то Бог европейцев Нового времени — это *deus otiosus**, и *eo ipso* он климатически неактивен. Поэтому современные сообщения о погоде могут выступать в качестве регионально-онтологической дисциплины, в которой речь идет о причинах, но не о творце. В них сообщается о том, что происходит само собой и в соответствии со своими собственными условиями, вне всякой связи с человеческими интересами, и только в качестве объективной данности «отражается» в субъективной среде.

Тем не менее современная метеорология связана с прогрессирующей субъективацией погоды в нескольких смыслах: во-первых, поскольку она постоянно соотносит климатические «данности» с оценками, расчетами и реакциями населения, для которого атмосферное поле с точки зрения его собственных проектов становится все менее безразличным; во-вторых, поскольку объективный климат — как региональный, так и глобальный — все больше должен описываться как результат индустриально-общественных жизненных форм. Оба аспекта этой ориентации погоды на новоевропейского человека как на погодного клиента и погодного соавтора объективно взаимосвязаны. Несомненно, с точки зрения более древней традиции сообщения о погоде, как мы их знаем, должны были бы казаться формой поощрения кощунства, ведь

* Праздный бог (лат..).

они недвусмысленно побуждают человека к дерзости обладать мнением о том, чему, согласно метафизической ортодоксии, следовало лишь с молчаливым смирением покориться. Древние полагали: как рождение и смерть, так и погода исходит исключительно от Бога. Покорность Богу и покорность погоде традиционно были аналогичными признаками усилий благоразумного человека по минимизации своего несогласия с судьбой, чреватого преступным своеволием.

Однако современная склонность к формированию «мнения» о климате отнюдь не является простой прихотью субъекта, которая представляет собой отклонение от действующей бытийной нормы и от которой можно было просто отмахнуться; в ней находит свое отражение тот факт, что с начала XVIII столетия политехнически активные европейские и европеоидные культуры сами становятся климатическими силами. С этого времени люди обнаруживают в погоде, пусть и в опосредованной форме, ставшие атмосферно объективными следы своей собственной индустриально-химико-технической, военной, машинно-транспортной и туристической деятельности. В своей совокупности они — в результате многих миллиардов микроэмиссий — изменяют не только атмосферный энергетический баланс, но и состав и «настроение» воздушной оболочки в целом. Поэтому необходимость иметь мнение о климате есть отнюдь не только признак силового вмешательства антропоцентрического произвола во все, что происходит в окружающем мире. Эта необходимость подготавливает изменение основной установки, в результате которой люди из мнимых «хозяев и владельцев» природы превращаются в атмосферных дизайнеров и климатических сторожей, которых не стоит путать с хайдеггеровскими пастырями бытия.

Главным поводом для появления климатической способности суждения в макромасштабах стал феномен, получивший известность в общественных дискуссиях

как антропогенный парниковый эффект. Под ним мы понимаем кумулятивное воздействие климатомодифицирующих эмиссий человеческой и технической деятельности, такой как работа электростанций, промышленных предприятий, частных отопительных устройств, автомобилей, самолетов и многочисленных других объектов, выбрасывающих в окружающий воздух пар и выхлопные газы. Этот вторичный парниковый эффект, смутно замеченный нами не более двухсот лет назад и зафиксированный в эксплицитных формулировках каких-нибудь тридцать лет назад, представляет собой исторический факт, ставший следствием стиля энергопотребления «индустриальной эпохи»: он есть не что иное, как климатический след цивилизационного проекта, основывающегося на облегченном доступе к ископаемым горючим материалам посредством добычи угля и нефти.¹⁴⁰ Доступность ископаемой энергии — объективная опора той фривольности, без которой не было бы ни глобального общества потребления, ни автомобилизма, ни мирового рынка мяса и моды.¹⁴¹ В условиях роста массового спроса на энергетически богатые углероды «подземный лес» земного прошлого в твердой и жидкой форме поднимается на поверхность и перерабатывается тепловыми двигателями.¹⁴² Вследствие этого продукт горения диоксид углерода (наряду с метаном, окисью углерода, фтористым водородом, различными окислами азота и т. д.) в количественном отношении начинает играть важнейшую роль в насыщении атмосферы парниковыми факторами второго порядка. Они усиливают — по всей вероятности, чреватых катастрофой образом — первичный парниковый эффект, без которого, как не устают подчеркивать климатология, жизнь

¹⁴⁰ См.: *Günter Barudio. Tränen des Teufels. Eine Weltgeschichte des Erdöls. Stuttgart, 2001.*

¹⁴¹ См.: *Peter Sloterdijk, Hans-Jürgen Heinrichs. Die Sonne und der Tod. S. 320—329.*

¹⁴² *Rolf Peter Sieferle. Der unterirdische Wald. Energiekrise und industrielle Revolution. München, 1982.*

на нашей планете была бы невозможна. Если Земля как солнечный паразит стала местом зарождения жизни (она не привлекает и миллиардной части излучаемой Солнцем энергии), то потому, что водяной пар и парниковый газ в земной атмосфере препятствуют отражению полученной от Солнца коротковолновой энергии в форме длинноволнового инфракрасного излучения, вследствие чего смогло произойти совместимое с жизнью нагревание земной поверхности со средней температурой 15 °С. Если бы не тепловая ловушка, благодаря которой солярная энергия удерживается в атмосфере, то средняя температура поверхности Земли не превышала бы 18 °С ниже нуля. «Без парникового эффекта земля была бы огромной ледяной пустыней».¹⁴³ То, что мы знаем как жизнь, обусловлено тем обстоятельством, что благодаря своему атмосферному фильтру земная поверхность живет при температуре на тридцать три градуса превышающей ту, которая царила бы на ней, не обладай она атмосферой. Если люди — еще раз процитируем Гердера — питомцы воздуха, то облака были их опекунами. Жизнь — побочный эффект климатической избалованности. Специфика эпохи ископаемой энергии заключается в том, что избалованные стали достаточно легкомысленными, чтобы поставить на карту свою избалованность, рискуя вызвать антропогенный перегрев (по иначе рассчитанным прогнозам — промежуточный ледниковый период).¹⁴⁴

Задолго до того как макроклиматологические прозрения такого масштаба обрели научную форму и получили общественный резонанс, предметом применения климатической способности суждения представителей

143 *Sylvie Joussaume. Klima. Gestern, heute, morgen. Berlin; Heidelberg, 1996. S. 62.*

144 Технические и ментальные предпосылки перехода к постископаемо-энергетической цивилизации (и в еще большей степени политическое и идеологическое сопротивление этому переходу) обсуждают в своей книге Карл Амеры и Герман Шеер: *Carl Amery, Hermann Scheer. Klimawechsel. Von der fossilen zur solaren Kultur. München, 2001.*



Фрагмент кондиционера, находящегося в подвале музея Института Байелера в Ритене, под Базелем; архитектор Ренцо Пиано. 1997 г.

новоевропейской культуры стали микропространственные и локальные феномены. Речь идет о климатизации домов и квартир, которые лишь благодаря искусственным источникам тепла стали благоприятными для жизни тепловыми островами; об охлаждении погребов, позволившем использовать их в качестве хранилищ продуктов питания и напитков; о миазмических свойствах воздуха общественных пространств вблизи кладбищ, живодерен и клоак;¹⁴⁵ о сомнительном атмосферном состоянии многочисленных рабочих мест, таких как ткацкие фабрики, горные рудники и каменоломни, где органическая и неорганическая пыль приводила к тяжелым заболеваниям легких. От этих первоначальных микроклиматических областей необычного воздуха в XVII—XX веках начался путь, приведший к тому опирающемуся на дизайн «открытию общеизвестного», благодаря которому люди эпохи экспликации получили мотивацию для

¹⁴⁵ См., «феры. Т. II. С. 339—353.

вторичного овладения очевидным. На этих полях развивались конкретные атмотехники, без которых современные формы существования невозможно представить ни в городских, ни в сельских контекстах: популяризация прежде бывших предметами роскоши зонтов от солнца и дождя;¹⁴⁶ установка нагревательных приборов и вентиляторов в частных домах и крупных архитектурных сооружениях; искусственная регуляция температуры и влажности воздуха в пространствах пребывания людей и в различного рода хранилищах; установка холодильников в жилищах и производство стационарных или мобильных холодильных камер для транспортировки и хранения продуктов питания; политика воздушной гигиены рабочих мест на фабриках, горнопромышленных предприятиях и в офисных зданиях;¹⁴⁷ и, наконец, ароматехническая модификация атмосферы, с которой начинается переход к наступательному Air Design.*

Air Design — это технический ответ на запоздалое и торопливое феноменологическое понимание того факта, что человеческое бытие-в-мире всегда представляет собой модификацию бытия-в-воздухе. Бели нечто постоянно находится в воздухе, то в ходе атмосферной экспликации напрашивается идея и его включить в этот процесс. Как только зависимость людей от воздуха артикулируется в тональности принципа, встает вопрос об их соответствующей эмансипации. Она требует и добывается активного преобразования стихии.

Здесь технический путь расходится с путем феноменологов, лишь недавно с помощью средств радикальной дескрипции занявшихся экспликацией человеческого

146 *Claudia Bölling, Rolf Horst. Schirme. Der Himmel auf Erden. Berlin, 1995.*

147 См.: *Erich Heck. Indoor Air Quality am Arbeitsplatz. «Sick Building Syndrom» und «Building Related Illness». Ein deutsch-amerikanischer Rechtsvergleich. Baden-Baden, 1994.*

* Воздушный дизайн (*англ.*).

пребывания в целостности атмосферных условий. Двигаясь по этому пути, Люс Иригарай даже предложила заключить в скобки хайдеггеровское понятие «просвет» (Lichtung) и заменить его напоминанием о воздухе — термином «проветривание» (Lüftung).

«Не свет есть то, что создает просвет; скорее, свет доходит сюда лишь благодаря прозрачной легкости воздуха. Свет предполагает воздух».¹⁴⁸

Воздух составляет условие существования, и автор не устает подчеркивать, что оно остается незамеченным и непродуманным. Причем Иригарай почти не обращает внимания на тот факт, что аэротехническая практика, включая атмотеррор, уже давно объявила это якобы непродуманное областью применения в высшей степени эксплицитных процедур. Как феноменолог она упорствует в милой ее сердцу иллюзии, что предмет лишь тогда эксплицирован, когда он тематизирован философами, прошедшими гуссерлианскую тренировку. В действительности же техники еще ста годами ранее приступили к работе по практическому овладению этим мнимо непродуманным. Подозрение подтверждается: мышление, слишком долго остающееся феноменологическим, на границах мира явлений превращается в акварельную живопись и завершается нетехническим созерцанием.

Air Design «противостоит» воздуху с позиции практической силы. Он отбрасывает гигиенически мотивированную оборонительную установку заботы об «охране чистоты воздуха» и подчиняет тематизированный воздух позитивной программе, — в определенном смысле он предлагает продолжить приватное использование парфюмерии публичными средствами. Непосредственной целью Air Design является модификация настроения пользова-

¹⁴⁸® *Luce Irigaray. L'oubli de l'air chez Martin Heidegger. Paris, 1983. P. 147.*



Реклама кондиционера. 1934 г.; обещает контроль над шестью пространственно-климатическими факторами: отоплением, охлаждением, увлажнением, осушением, циркуляцией, очищением.

телей воздушного пространства — с тем, чтобы она служила объявленной дели, то есть посредством индуцированных запахом приятных ситуативных впечатлений привязывала воздушных прохожих к определенному месту и вызывала у них повышенное одобрение по отношению к продукту и готовность его купить.¹⁴⁹ *Point-of-Sale** *-атмосфера оказывается в центре внимания как «самостоятельный маркетинговый инструмент». С помощью активной *Indoor-Air-Quality-Policy*** торговля — прежде всего в зонах развлечений и шоппинга — борется за аффективную привязку клиентов как к месту продажи, так и к ассортименту. Юридическая безупречность такого рода подспудно инвазивного метода «психологического

¹⁴⁹ См.: *Anja Stöhr. Air-Design als Erfolgsfaktor im Handel. Modellgestützte Erfolgsbeurteilung und strategische Empfehlung. Wiesbaden, 1998.*

* Торговая точка, магазин (англ.).

** Политика качества воздуха внутри зданий (англ.).

принуждения к покупке» по крайней мере спорна. Если «принудительное ароматизирование» клиентов интерпретируется ими как попытка манипуляции, направляется и действительно имеют место реакции отторжения; в других случаях удачно выбранные оттенки запаха, окружающего товар, воспринимаются как приятные аспекты широко истолковываемой заботы о клиенте. Благодаря формированию дыхательного окружения посредством психоактивного воздушного дизайна (особенно в шопинг-моллах, но также и в клиниках, на выставках-ярмарках, в конференц-центрах, отелях, развлекательных комплексах, оздоровительных центрах, пассажирских салонах и тому подобных местах) принцип интерьерной архитектуры распространяется на обычно незаметную жизненную среду, окружающий мир газов и запахов. Нормативы таких вмешательств вырабатываются в результате наблюдений за «обонятельным комфортом» пользователей воздушного пространства. При этом выясняется, что комплексное «обонятельное предложение» предпочтительнее «монозапахов». Первая заповедь возникающей *odor* *-этики гласит: ароматизирующие пространство добавки не могут использоваться для того, чтобы скрывать за обонятельной маской присутствие неприятных запахов или вредных веществ. Субтренд в направлении «обонятельно-гедонистического общества»¹⁵⁰ включается в первичный тренд общества потребления в направлении формирования рынков переживаний и «сцен», в которых атмосферы используются в качестве общих ситуаций, складывающихся из возбуждений, знаков и возможностей контактов.¹⁵¹

150 См.: *Diotima von Kempfski. Raumluft-Essenzen-Zugabe. Ein kleiner Leitfaden über Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten. Karlsruhe, 1999.*

151 См.: *Gerhard Schulze. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt; New York, 1993. Kap. 10. Theorie der Szene. S. 459 f.*

* Запах (англ.).

Не следует забывать, что так называемое общество потребления и происшествий сформировалось в теплице — в тех крытых стеклом пассажах начала XIX столетия, в которых первое поколение ищущих впечатлений покупателей* * училось вдыхать пьянящий запах замкнутого внутреннего мира товаров. Пассажи представляют собой первую ступень урбанистической экспликации атмосферы, первое объективное проявление предрасположенности к «маниакальной одержимостью жильем», которой, с точки зрения Вальтера Бенямина, был охвачен весь XIX век* Одержимость жильем, говорит Бекьямин, это неудержимое инстинктивное стремление в любом окружении «сооружать для себя какой-нибудь футляр».† Уже в учении Бенямина об интерьере «сверхвременнада» потребность в утеральной симуляции мыслилась в неразрывной связи с символическими формами конкретной исторической ситуации. Разумеется, XX век своими гигантскими строениями показал, насколько далеко еооружение «футляров» выходит за рамки потребности в жилом интерьере. Большие контейнеры и коллекторы¹⁵³ нашего времени, будь то офисные башни или шоппинг-моллы, стадионы или конференц-центры, все меньше и меньше связаны с задачей симуляции домашних условий; эпизодическая связь универмага и теплицы, в которой Беньямин с гениальной чрезмерностью распознал отличительный признак современности, в условиях постоянно прогрессирующей дифференциации архитектурных форм неизбежно должна была распасться. Еще не написано исследование, в котором XX век был бы осмыслен так же, как в «Passagen-Werk»* был осмыслен век XIX. В соответствии с тем, что мы знаем об эпохе, этот труд должен был бы называться «Air-Condition-Werk».

¹⁵² См.: *Walter Benjamin. Das Passagen-Werk // Gesammelte Schriften. Bd V 1. Frankfurt, 1989. S. 292.*

¹⁵³ о понятии «коллектор» см. ниже с. 636—656.

* «Труд о пассажах» (нем.).

- 100 лет кондиционеров: 1880—1980
- 1880: Обеденный зал одного из нью-йоркских отелей на Стейтон-Айленде охлаждается посредством того, что воздух пропускается через лед.
- 1889: Альфред Р. Вулф, американский инженер, охлаждает Карнеги-холл посредством воздуха, подаваемого через ледяные блоки. Однако этот метод не оправдал себя, поскольку влажность воздуха оказалась слишком высокой. Трубопроводная охлаждающая система устанавливается в метрополитене Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Бостона и других крупных американских городов.
- 1890: «Великий дефицит льда» как следствие теплой зимы заставляет американскую индустрию льда обратиться к методам механического охлаждения.
- 1904: Впервые большое число людей может пользоваться преимуществами, предоставляемыми кондиционером, в штате Миссури на World's Fair (Всемирной выставке) в Сент-Луисе.
- 1905: Стюарт Креймер, американский текстильный инженер, формулирует понятие «air-conditioning», а фирма «Carrier» использует слоган «Ветер, сотворенный человеком».
- 1906: «Carrier» получает первый патент на «прибор для обработки воздуха».
- 1922: «Carrier» разрабатывает охлаждающую машину-центрифугу, первый практичный метод климатизации больших пространств.
- 1928: «Carrier» производит первый кондиционер для частных домов («творец погоды»).
- 1950: После телевизоров кондиционеры занимают второе место в рейтинге темпов роста производства во всем промышленном секторе.
- 1955: У 5 % американских семей имеются кондиционеры. Американское правительство поощряет установку кондиционеров в государственных учреждениях.
- 1979: Президент Картер объявляет чрезвычайное энергетическое положение и постановляет, чтобы температура воздуха в государственных учреждениях и компаниях не опускалась ниже 40 °С.
- 1980: Кондиционеры имеются у 55 % американских семей.

1936 год входит в хронику эстетической и атмосферной экспликации не только благодаря лондонской аварии обложившегося в водолазный скафандр Сальвадора Дали; 1 ноября того же года в Вене тридцатидно-



Построенный в 1961 г. Виктором Грюном торговый центр в Кэмдене, Нью-Джерси.

летний писатель Элиас Канетти выступил с необычной по содержанию и тону юбилейной речью, посвященной пятидесятилетию Германа Броха; в ней он не только нарисовал проникновенный портрет чествуемого автора, но и, можно сказать, заложил основы нового жанра хвалебной речи. Оригинальность речи Канетти состоит в том, что в ней совершенно по-новому был поставлен вопрос о связи между автором и его эпохой. Канетти определяет пребывание художника во времени как дыхательную связь — как особый модус погружения в атмосферные состояния современности. Он видит в Брохе первого великого мастера «поэзии атмосферных явлений как некой статики»¹⁵⁴ (сегодня мы могли бы говорить об искусстве погружения); он признает за ним способность наглядного изображения «статического атмосферного пространства» или, как выражаемся мы, климатического дизайна лиц и групп в типичных для них пространствах:

154 *Elias Canetti. Hermann Broch. Rede zum 50. Geburtstag // Elias Canetti. Das Gewissen der Worte. S. 22.*

«...ибо для него всегда важно охватить все пространство, в котором он находится, важно своего рода атмосферное единство». ¹⁵⁵* *

Канетти импонирует присущий Броху дар, так сказать, экологического понимания каждого человека; он видит в каждой личности сингулярное существование в ее собственном дыхательном воздухе, окруженное незаметной климатической оболочкой и включенное в персональное «дыхательное хозяйство». Он сравнивает писателя с любопытной птицей, обладающей свободой проникать во все возможные клетки и брать в них «пробы воздуха». Наделенный некоей загадочной воздушной и «дыхательной памятью», писатель умеет на ощупь осваиваться в том или ином атмосферном месте. Поскольку Брох более писатель, чем философ, он описывает свои персонажи не как абстрактные Я-точки; он изображает их как сущие во плоти фигуры, каждая из которых живет в своей особой воздушной среде и движется внутри многообразия атмосферных констелляций. Лишь видя это многообразие, мы способны дать плодотворный ответ на вопрос о возможности литературы, «создаваемой на основе дыхательного опыта»:

«На это можно было бы ответить, что многообразие нашего мира в значительной части заключается также в многообразии наших дыхательных пространств. Помещение, в котором вы сейчас сидите, в совершенно определенном порядке, почти полностью отгороженные от всего окружающего, то, как ваше дыхание смешивается в общий для всех воздух... все это, с позиции того, кто дышит, есть единственная в своем роде... ситуация. Но пройдите на несколько шагов дальше, и вы обнаружите совершенно другую ситуа-

¹⁵⁵ Ibid. S. 18.

* Здесь и далее цитаты из речи Канетти «Герман Брох» приводятся по изданию: *Элиас Канетти. Человек нашего столетия*. М., 1990 (перевод С. Шлапоберской).

цию в другом дыхательном пространстве... В большом городе полно таких дыхательных пространств так же, как полно в нем отдельных людей, и подобно тому, как раздробленность людей, из. коих ни один не похож на другого — каждый своего, рода. тупик, — составляет главную прелесть и главное бедствие жизни, так же можно сетовать и «на раздробленность атмосферы».¹⁵⁶

Согласно этой характеристике, повествовательное искусство Броча основывается на открытии атмосферного многообразия: (благодаря*ему^современный роман выходит за пределы изображения отдельных судеб. Его предмет — уже не индивиды в их действиях, и переживаниях, а, акдрее, (более широкое единство индивидуума и дыхательного пространства — и слияние нескольких таких пространств в пенообразные агрегаты. Действие разворачивается уже не между идеями, а между атмосферными хозяйствами и их обитателями. (Благодаря этой экологической перспективе изменяется тот фундамент, на котором развивается характерный для современности мотив критики отчуждения, — им становится атмосферная разобщенность людей, заботящихся о своем включении в то или иное личное «атмосферное хозяйство». Их труднодостижимость для иначе настроенных, иначе окруженных, иначе климатизированных выглядит более обоснованной, чем когда-либо ранее. Расщепленность социального мира на не доступные друг для друга самостоятельные зоны представляет собой моральный аналог микроклиматической «раздробленности атмосферы» (которая, со своей стороны, согласно автору, соответствует раздробленности «мира ценностей»). После того как Броч своим рывком на индивидуально-климатический и персонально-экологический уровень показал всю глубину разъединения современных индивидов, пе-

156 *ibid.* s. 23.

ред ним со всей ясностью и настоятельностью неизбежно должен был встать вопрос об условиях их объединения в некоем общем эфире по ту сторону атмосферной раздробленности, на который ни в его время, ни в более поздний момент истории социологических исследований стихии социальных связей не было дано адекватного ответа — возможно, за исключением близкой по своим установкам «Массы и власти» Канетти.

В своей произнесенной в 1936 году речи Канетти признает Германа Броха пророком, предупреждающим о беспрецедентной опасности, грозящей человечеству как в метафорическом, так и в физическом атмосферном смысле:

«Но величайшая из всех опасностей, когда-либо возникавших в истории человечества, избрала себе жертвой наше поколение.

То, о чем я хочу сказать в заключение, — это о незащитности дыхания. Ей как-то не придают слишком большого значения. Ни для чего человек не открыт так, как для воздуха. В воздухе он все еще движется, как Адам в раю... Воздух — это последняя альменда. Он принадлежит одинаково всем. Он не поделен, и пользоваться им вправе беднейший из бедняков...

И вот это последнее, чем мы владели сообща, теперь сообща всех нас отравит...

Творчество Германа Броха развивается между одной войной и другой войной, между одной газовой войной и другой газовой войной. Может статься, что он где-то еще ощущает ядовитые частицы последней войны... Верно зато одно: он, умеющий дышать лучше, чем мы, уже сегодня задыхается от газа, который — кто ведает когда — задушит и нас, остальных».¹⁵⁷

¹⁵⁷ Ibid. S. 23 f.

Патетические рассуждения Канетти демонстрируют, как информация о газовой войне 1915—1918 годов была подвергнута интенсивной понятийной диагностике в 30-х годах: Брех понял, что после преднамеренных атмосферных разрушений в ходе химической войны социальный синтез в некотором отношении сам начал приобретать газОВО-военный характер. «Тотальная война», дающая о себе знать с помощью химических частиц и косвенных политических признаков, неизбежно приобретет черты мировой войны с использованием в боевых целях окружающей среды; в ней ареной боевых действий станет сама атмосфера, более того, воздух превратится в вид вооружения и особого рода поле битвы. И сверх того: из-за сообща вдыхаемого воздуха, из-за коллективного эфира будущая токсико-химическая война обезумевшего общества станет его войной против самого себя. Как это сможет произойти, способна объяснить теория «сумеречных состояний» — несомненно, самая оригинальная, хотя по большей части оставшаяся фрагментарной, из массОВО-психологических гипотез Бреха.

Сумеречные состояния — это такие состояния, в которых остающиеся в здравом уме люди впадают в транс, подчиняясь какому-либо общему тренду. Поскольку грядущая тотальная война будет по самой своей сути террористической и экологической (а следовательно, вестись в среде тотальной массовой коммуникации), ее целью станет «моральное состояние» армии, которую будет практически невозможно отличить от гражданского населения. Токсические причащения погрузят комбатантов и не-комбатантов, синхронно атакованных газом и одновременно возбужденных, в коллективное сумеречное состояние. Модернизированные массы интегрируются в некое обусловленное их бедственным положением коммунистическое единство, которое должно транслировать им острое ощущение идентичности перед лицом общей угрозы. В таком случае особенно опасными оказываются климатические яды, изливаемые самими членами этих

единств, пока они накрыты герметичными коммуникативными колоколами, и их возбуждение не находит выхода: в патогенных кондиционерах насильственно-возбужденных сообществ их обитатели вновь и вновь вдыхают свои собственные выдохи. То, что носится в воздухе, вброшено в него замкнутой тоталитарной коммуникацией: он наполнен победными грезами больных масс и их шумными, далекими от реальности самовосхвалениями, за которыми тенью следует стремление унижить своих врагов. Жизнь в медиагосударстве напоминает пребывание в газовом дворце, одушевленном ядовитыми переживаниями.

Начиная с 1936 года взгляды Броча основываются не только на ожидании близкой новой мировой войны, которая, как полагал писатель, станет прежде всего универсальным взаимным «загазовыванием»;¹⁵⁸ они связаны еще и с теоретико-социологическим диагнозом, согласно которому интегрированные масс-медиа крупные современные общества вступили в фазу, в которой их день-за-днем-существование в атмосферном и политическом отношении оказалось подчиненным власти массово-психологических механизмов. Поэтому центром диагностики современности должна стать теория массовых маний; над ней начиная с 1939 года Броч работал в течение целого десятилетия.

⁵²® См.: *Paul Michael Lützeier. Hermann Broch. Eine Biographie. Frankfurt, 1985. S. 209*; выражение «загазовывание» встречается в письме Эрнсту Шёнвизе от 3 октября 1936 года. Знал ли Броч о разработке исследовательской лабораторией «I. G. Farben» новых чрезвычайно ядовитых боевых газов табун (1934) и зарин (1938), установить невозможно. Ряд авторов того времени, основываясь на воспоминаниях о газовой войне, видели будущее в столь же мрачном свете; яркий пример — стихотворение «Последняя глава» Эриха Кёстнера из поэтического сборника «Человек дает справку* (1930): однажды, в 2003 году, из Бостона стартует тысяча самолетов с газом и бактериями на борту и умерщвляет все человечество, которое лишь таким образом способно достичь своей цели — всеобщего мира; со странной конкретностью Кёстнер датирует действие этого сатирического изображения инстинкта смерти 13 июля, кануном Дня взятия Бастилии; см.: *Erich Kästner. Kästner für Erwachsene // Ausgewählte Schriften. Bd 1. Zurich, 1983. S. 219 f.*

С 20-х годов прошлого столетия носителями и агентами маниакальных образований в современных коллективах являются прочные коммуникации, осуществляемые прессой и радио. Большинство из них выступают в роли растормаживающих сред, в которых слова становятся реальностью. Самоотравление «общества» массовой коммуникацией представляет собой феномен, за зарождением которого пристально следил и с разворачиванием которого в течение всей своей жизни боролся старший современник Броха — Карл Краус; лишь в феврале 1936 года, за четыре месяца до своей смерти, выпустив последний номер журнала «Факел», он отказался от борьбы против «воздуха Содома»;¹⁵⁹ мы полагаем, что он уже в 1908 году представлял европейские напряжения в образе наихудшего замутнения атмосферы: «Во всех концах из гнойного мозга мира прут газы, культура не может перевести дух...»¹⁶⁰

Мы лишь вскольз скажем о воздействии такого рода медиа, охарактеризовав их с помощью секулярно обезцвеченного миссионерско-теологического термина «пропаганда». Эти медиа способствуют погружению всего населения той или иной страны в боевой климат, созданный со стратегическими целями; они представляют собой информационный аналог ведению химической войны. Теоретическая интуиция Броха ухватила параллелизм между газовой войной — как попыткой окутать противника достаточно плотным для его физического уничтожения ядовитым облаком, а также производством массовых маниакальных состояний — как попыткой погрузить население в достаточную для его саморазрушения, сверх меры заряженную жаждой «суперудовлетворений» экстатическую атмосферу. В обоих случаях создаются оболочки, загоняющие своих жертв или своих обитате-

¹⁵⁹ *Karl Kraus. Briefe an Sidonie Nadherny von Borutin 1913—1936. Bd 1. München, 1974. S. 167.*

¹⁶⁰ *Karl Kraus. Die Fackel. Reprint. Frankfurt, 1977. Heft 261 — 262. 1908. S. 1.*

лей в актуально неизбежную общую ситуацию: пропагандистски национализированная атмосфера эпизодически функционирует как «замкнутая система»; воздушное и знаковое пространство, индуцируя транс, располагается вокруг своих обитателей как зона некоей предписанной одержимости. Под тоталитарным знаковым колоколом люди вдыхают его ставшую общественным мнением ложь и добровольно-принудительно впадают в оппортунистическое гипнотическое состояние. Находящиеся внутри таких токсичных атмосфер индивиды с еще большей категоричностью могут быть признаны теми, кем они являются и в более свободных условиях, — «лунатиками», которые в «социальных грезах»¹⁶¹ своих организаций ведут себя так, словно ими управляют на расстоянии. При этом журналистам отводится роль анестезиологов, следящих за стабильностью коллективного трансa. Можно предположить, что в образах Броха слышен отзвук тезисов Габриэля Тарда о социальном лунатизме («...нет никакого фантастического заблуждения в том, что я рассматриваю социального человека как подлинную сомнамбулу»¹⁶²). Социализированные лунатики вместе со своим приданным из фикций свободы и критических фантазий, словно совладельцы воздушных замков, собираются под лозунгами и знаменами. Канетти говорит об этом в другом контексте:

«Знамена — это ставший зримым ветер. Они будто отрезанные куски облаков... Народы, словно они способны разделить ветер, используют его, чтобы обозначить воздух над собой как свой».¹⁶³

Интуиции этой направленности развиваются у Броха в первую попытку приблизиться к некоей принципиально новой атмосферной этике, которая в своей «гигиениче-

¹⁶¹*Hermann Broch. Massenwahrnehmungstheorie. Beiträge zu einer Psychologie der Politik. Frankfurt, 1979. S. 454.*

¹⁶²*Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung. S. 100.*

¹⁶³ *Elias Canetti. Masse und Macht. Frankfurt; Wien, 1988. S. 97.*



Марсель Дюшан, *Парижский
воздух*. 1919 г.

ской» части занимается профилактикой массовых маний, а в своей «терапевтической» части — возвращением одержимых маниями к пригодной для жизни рациональности «открытой системы» *alias* демократии или разделению панических и истерических властей.¹⁶⁴ С точки зрения задач такой этики атмосферного, «во вчерашнем мире»¹⁶⁵ жили отнюдь не только демократии 1939 года; они и сегодня настолько слепы в отношении присущих им самим тенденций к формированию замкнутых атмо-

¹⁶⁴ *Hermann Broch. Massenwahntheorie. S. 306 f.*

¹⁶⁵ *Ibid. S. 334.*

сфер и усилению систем маний победителей, словно политико-психологические и моральные лекции XX века всегда читались исключительно в пустых аудиториях.¹⁶⁶

Рождественские дни 1919 года Марсель Дюшан проводил со своей семьей в Руане. Вечером 27 декабря он собирался на борту «SS Touraine» отправиться в Гавр, чтобы оттуда отплыть в Нью-Йорк. Незадолго до выхода из Гавра он зашел в аптеку на рю Бломе, где уговорил аптекаря снять со стеллажа среднего размера ампулу, распечатать ее, вылить содержавшуюся в ней жидкость, а затем вновь закрыть пузатый сосуд. В Нью-Йорке Дюшан вручил пустую ампулу, привезенную им в своем багаже, супругам-коллекционерам Уолтеру и Луизе Аренсбергам в качестве подарка от благодарного гостя: поскольку все остальное у его состоятельных друзей уже есть, он желает подарить им 50 кубических сантиметров *air de Paris*.^{*} Так случилось, что определенный объем воздуха с французского побережья оказался в списке первых *ready-mades*.^{**} Дюшана, по-видимому, нисколько не заботило, что его

166

Брох формулировал задачу следующим образом: «Борьба... предполагает одержимость победой как таковую, и если удастся довести ее до ее цели, то эта "победа над победой" уже не является победой в традиционном смысле... Пожалуй, мы могли бы сказать, что привычное (и в высшей степени человеческое) празднование победы следовало бы заменить трауром по случаю победы...» (Ibid. S. 344). Этой перспективе близка формулировка Поля Валери (1927): «Европа усеяна одновременно воздвигнутыми триумфальными арками, сумма которых равняется нулю» (Cahiers П. Paris, 1974. P. 1478). Впрочем, тезисы Броча о политическом сомнамбулизме, организованном самообмане и массовых маниакальных состояниях нашли косвенное подтверждение в новейшей американской науке о стратегии. Она нарисовала четкий образ пропаганды, определив ее как обязательную для американской гегемонии форму «государственного управления общественным мнением». Эта гиперсостифическая концепция кибервойны была проверена в связи со второй иракской войной в марте 2003 года в ходе некоего гигантского медийного эксперимента всемирного масштаба. См.: *John Arquilla, David Ronfeldt. The Emergence of Noopolitik. Towards an American Information Strategy*. Santa Monica, 1999.

^{*} Воздух Парижа (фр.).

^{**} Готовые изделия (англ.).

первый готовый воздушный объект сразу же окажется фальшивкой, поскольку наполнен воздухом не Парижа, а какой-то гаврской аптеки. Акт именованья перевесил происхождение. Однако для самого Дюшана «оригинал» был весьма важен; когда в 1949 году какой-то соседский мальчишка случайно разбил ампулу «Парижского воздуха» из собрания Аренсбергов, он попросил одного своего хорошего друга из Гавра раздобыть в той же самой аптеке такую же ампулу.¹⁶⁷ Десять лет спустя в холле нью-йоркского отеля Дюшан заявил интервьюеру: «Искусство было сновидением, которое перестало быть необходимым... Я очень просто провожу свое время, но я не знаю, как сказать вам, что я делаю... Я дышу».¹⁶⁸

4. МИРОВАЯ ДУША В АГОНИИ, ИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ ИММУННЫХ СИСТЕМ

В ходе кампании, которую современность ведет против само собой разумеющегося, ранее именовавшегося природой, воздух, атмосфера, культура, искусство и жизнь оказались под экспликационным давлением, в корне меняющим способ бытия этих «данностей». То, что было фоном и насыщенной латентностью, теперь под тематическим нажимом превратилось в представленное, предметное, выработанное и продуцируемое. В облике террора, иконоборчества и науки явились три взламывающие латентность силы, под воздействием которых разрушаются факты и интерпретации старых «жизненных миров». Террор эксплицирует окружающий мир в аспекте его уязвимости; иконоборчество эксплицирует культуры, исходя из опыта ее пародированности; наука эксплицирует первую природу с точки зрения ее заменимости приборами-протезами и интегрируемости в технические

¹⁶⁷ См.: *Calvin Tomkins. Marcel Duchamp. Eine Biographie. München, 1999. S. 262, 436.*

¹⁶⁸ *Ibid. S. 474.* Интервьюер — Кельвин Томкинс.

методы; теории систем эксплицируют общества как структуры, зрячие в отношении своего зрения и слепые в отношении своей слепоты.

Те всеобъемлющие отношения, которые традиционно могли восприниматься в модусе самоотдачи, причастности и свободного от задних мыслей причащения, посредством экспликации преобразуются в способы предметной данности технически производимого и произведенного, что, однако, не позволяет людям прервать свое пребывание в этих «обстоятельствах» или «средах». Как бы ни росло наше недоверие, мы остаемся имманентны подозрительному. Мы обречены на *бытие-в*, даже если продолжающие окружать нас резервуары и атмосферы уже не могут восприниматься как доброжелательная природа.¹⁶⁹

Составляющие наши обстоятельства целостности, которые мы не можем покинуть, но которым более не способны безоглядно доверять, с начала XX века называются *окружающими мирами* — такова формулировка, в 1909 году введенная в дискурс теоретической биологии Якобом фон Икскульем и с тех пор прошедшая извилистый путь, порой выпадающий на долю казалось бы очевидных понятий.¹⁷⁰ С констатации, что жизнь всегда есть жизнь в определенном окружающем мире (а тем самым и вопреки окружающему миру, и в оппозиции ко многим чужим окружающим мирам), начинается продолжающийся до сих пор кризис холизма. Прежняя человеческая диспозиция, состоявшая в окруженности близкими целостностями, как добрыми локальными богами, утрачивает свою ориентационную ценность, после того как сами окружения превратились в конструкты или же были признаны таковыми. Квазирелигиозное примыкание к окружающему первичному — как бы оно ни на-

¹⁶⁹ Об обусловленных этими инвестициями имунитарных энергий в жилищные условия см. ниже Главу 2, разделы А и В.

¹⁷⁰ *Jakob von Uexkiill. Umwelt und Innenwelt der Tiere. Berlin, 1909; 2-е изд.: 1921.*

зывалось: природой, космосом, творением, ситуацией, культурой, родиной или как-либо еще — в эпоху ядов и таких стратегий, как смертельно опасные соблазны, исключено. Форсированная экспликация меняет смысл наивности, более того, делает ее все более бросающейся в глаза, даже непристойной; наивным теперь является то, что приглашает к лунатизму посреди настоящей опасности.

После осознания как первого, так и второго парникового эффекта жизнь и дыхание под открытым небом уже не могут означать то же самое, что и в прежние времена. В исконном привычном-бытии смертных на открытом воздухе обнаруживается нечто злое, непригодное для жизни, непригодное для дыхания. Вследствие возникновения вопроса об окружающем мире человеческое обитание в первичной среде становится все более проблематичным. После того как Пастер и Кох открыли и сделали достоянием научной общественности существование микробов, человеческое существование вынуждено было снизить до принятия эксплицитных мер по обеспечению симбиоза с невидимым, более того — до превентивных и оборонительных мер в отношении теперь уже точно установленных конкурентов-микробов. Начиная с 1915 года, после немецких массированных газовых атак и опустошительных контрударов союзников, пригодный для дыхания воздух утратил свою невинность; с 1919 года его можно дарить как разделенное на порции *ready-made*, а с 1924 года он превратился в средство осуществления казни и несет смерть осужденным. После приобщения национальной прессы к государственной идеологии в ходе мировой войны гражданская коммуникация была полностью скомпрометирована; казалось, сами знаки запятнали себя причастностью к милитаристским делириям и психосемантической гонке вооружений. Благодаря критике религии, идеологии и языка крупные сегменты семантических окружающих миров были идентифицированы как интеллектуально не при-

годные для дыхания зоны; отныне ручаться можно лишь за пребывание в аналитически очищенных, реконструированных и вновь допущенных для критически-мобильного проживания пространствах. Даже Мона Лиза улыбается иначе, после того как Дюшан пририсовал ей усы.

В этой ситуации на первый план выходит тема иммунных систем. Там, где все может быть латентно зараженным и отравленным, где все потенциально обманчиво и подозрительно, целостность и способность-быть-целым уже не могут выводиться из внешних обстоятельств. Целостность уже нельзя мыслить как нечто, возникающее в результате самоотречения в пользу благотворной окружающей оболочки; ее можно понимать лишь как собственное достижение самого организма, активно заботящегося о своем отграничении от окружающего мира. Тем самым прокладывает себе путь идея, что жизнь определяется не столько открытостью и причастностью к целому, сколько автаркией и селективным отказом от причастности. Большая часть мира организма является для него ядом или ничего не значащим фоном, поэтому он обосновывается в четко очерченной зоне избранных вещей и сигналов, образующих релевантный ему круг, то есть тот самый окружающий мир. Не будет преувеличением назвать эту мысль главной идеей постметафизической или инакометафизической цивилизации. Ее психосоциальный след обнаруживается в том натуралистическом шоке, благодаря которому биологически просвещенная культура учится преобразованию фантазматической этики универсального дружественного сосуществования в этику соблюдения антагонистических интересов конечных единиц. Это учебный процесс, в котором со времен Макиавелли политическая система достигла очевидных успехов.

Главная тема столетия вырастает из катастрофы традиционной культуры и ее холистической морали: *Making the immune systems explicit*.^{*} Выяснилось, что конструи-

^{*} Экспликация иммунных систем (англ.).

рование иммунитета представляет собой намного более всеобъемлющий и противоречивый процесс, чем все, что может быть описано с помощью одних лишь медицинско-биохимических категорий. В силу его комплексной природы для его реального развертывания необходимо привнесение политических, военных, юридических, технико-страховых и психосемантических, а следовательно, и религиозных компонентов.¹⁷¹ Рассвет иммунитета определяет интеллектуальную световую ситуацию XX столетия. Обучение беспрецедентному в духовной истории недоверию накладывает свой отпечаток на смысл всего того, что прежде называлось рациональностью. Для разума, находящегося на передней линии фронта развития, начинаются годы обучения не-самоотверженности.

Первым весьма и по-разному ощутимым, но едва ли понятийно осмысленным следствием примата отграничения по сравнению с причастностью стало растущее давление риска, с начала XX века тяготеющего над персонажами и авторами актуальных мировых сценариев. Поскольку в эпоху экспликации фона люди могут получать все меньше не подвергаемой сомнению априорной информации о своем как-, где- и так-бытии (исключение составляют разве что жители каких-нибудь удаленных высокогорных районов и те, кто глубоко укоренен в ставших весьма редкими традиционных культурах), они вынуждены переориентироваться с имплицитной привязанности к фону на эксплицитные установки. Там, где само собой разумеющееся стало дефицитным, резко возрастает значение выбора. Это открывает эпоху выбора картин мира и собственных образов. Начинается долгий конъюнктурный цикл так называемых идентичностей. Идентичность — это протез само собой разумеющегося на небезопасной территории. Она изготавливается как

¹⁷¹

См.: *Roberto Esposito. Immunitas. Protezione e negazione della vita. Turin, 2002.*

по индивидуалистическим, так и по коллективистским образцам.¹⁷² В концепции изготовления ментальных протезов находит свое выражение понимание того обстоятельства, что производство витальных предположений — ведущих жизненных «гипотез» в смысле Уильяма Джеймса — уже не может основываться на культурном наследии, а все больше и больше становится предметом новых изобретений и непрерывного переформатирования. Как следствие возникает сдвиг в направлении индивидуализации жизненных форм. Согласимся, что пока я усматриваю главный факт своей жизни в том, что я корсиканец, армянин или ирландец-протестант, модернизмы такого рода не имеют ко мне никакого отношения; в этом случае я воспринимаю себя как этническое *ready-made* и соответствующим образом наряжаюсь для походов на мультикультурный базар. Если требуется, то в Британии я даже участвую в демонстрациях за сохранение охоты на лис. Если же мне не по душе бегство в типическое, я должен удостовериться в наличии того присущего моему собственному организму фундамента, на котором в обозримой перспективе могло бы основываться мое существование.

Лишь в этом контексте становится понятен эксцессивный интерес людей современной эпохи к собственному «здоровью»: за этим феноменом кроется спрос на надежный фон, сохраняющийся и после упразднения природных и культурных латентностей, и после того, как

172

Об индивидуалистической тенденции см.: *Norbert Bolz. Die Konformisten des Andersseins. Ende der Kritik. München, 1999; Tilman Habermas. Geliebte Objekte: Symbole und Instrumente der Identitätsbildung. Frankfurt, 1999; Detlef Ax. «Verwundete Männer»: zu vaterloser Kultur und männlicher Identität in den westlichen Industriestaaten. Stuttgart, 2000; о коллективистской тенденции см.: «Gottes auserwählte Völker»: Erwählungsvorstellungen und kollektive Selbstfindung in der Geschichte / Hrg. von Alois Mosser. Frankfurt; Berlin; Bern; New York, 2001; Carolin Emette. Kollektive Identitäten: sozialphilosophische Grundlagen. Frankfurt, 2000; Nikolaus Busse. Die Entstehung von kollektiven Identitäten: das Beispiel der ASEAN-Staaten. Baden-Baden, 2000; Imagined Differences: Hatred and the Construction of Identity / Ed. Günther Schlee. Münster; Hamburg; New York, 2002.*

поблекли характерные региональные краски.¹⁷³ Таким образом, современное настойчивое внимание к основанию здоровья (в философском поле впервые продуманному Шопенгауэром) инициировано в высшей степени понятным импульсом. На чем, если не на предполагаемом внутреннем биологическом фундаменте, должен основываться поиск моего личного своеобразия, более того, поиск ядра неотчуждаемо мне принадлежащего? Не является ли существование моего собственного тела решающим доказательством эволюции как истории успеха, и может ли быть что-то более разумное, чем ориентация на свою способность быть здоровым? Тем не менее этот поиск внутреннего основания не лишен определенной иронии. Благодаря массовому интересу к биологически укорененной самостоятельности уверенность парадоксальным образом утрачивают именно наиболее ревностные адепты концепции идентичности-посредством-здоровья. То, что упускают из виду приверженцы культа здоровья, это та субверсивная роль, которую в экспликационном процессе играют медицинские исследования; результатом поиска последних оснований здоровья как минимального биологического наполнения фона существования становится открытие и превращение в проблему тех тонко настроенных лабильных структур, которые мы уже почти столетие называем иммунными системами в биологическом смысле слова. Форсированное выявление надежного фона в своем собственном телесном базисе открывает слой регуляционных механизмов, после обнаружения которых впервые становится очевидной полная невозможность биосистемной целостности как таковой.

В результате тематизации присущих телу иммунных систем радикально меняется отношение просвещенных индивидов к органическим условиям их здорового и 60-

173 См.: *Gert Mattenklott. Sondierungen. Das Verblässen der Charaktere // Gert Mattenklott. Blindgänger. Physiognomische Essays. Frankfurt, 1986. S. 7—40.*

лезненного состояния. Теперь необходимо принять к сведению, что в человеческом организме ведутся незримые битвы между возбудителями болезней и «антител», результаты которых решающим образом влияют на наше здоровое состояние. В описаниях многих биологов соматическая самость уподобляется окруженному врагом плацдарму, с переменным успехом обороняемому пограничными войсками организма. Тем, кто пользуется этой «ястребиной» терминологией, противостоит фракция биологических «голубей», рисующих менее милитаристскую картину иммунных процессов; согласно этой картине, самость и чуждое сливаются друг с другом на столь глубинном уровне, что слишком примитивные стратегии их разграничения имеют скорее контрпродуктивный эффект. К тому же обнаруживается, что рядом протекает запутанная игра эндокринологических эмиссий, осуществляющихся на границе между бессознательными биохимическими процессами и чувствительной поверхностью организма. Иммунные системы сбивают с толку своих стремящихся к надежности обладателей отнюдь не только своей сложностью; еще более они раздражают имманентной им парадоксальностью, ибо их успехи, когда они оказываются чересчур основательными, становятся причинами заболеваний особого типа; растущий универсум аутоиммунных патологий является наглядной иллюстрацией этой опасной тенденции: в борьбе против другого свое одерживает победу, влекущую за собой собственную смерть.

Не случайно в новейших интерпретациях феномена иммунитета прослеживается тенденция приписывать присутствию чужого посреди своего намного большее значение, чем это предполагалось в традиционных идеититарных воззрениях на монолитно единую самость организма, — пожалуй, можно говорить даже о постструктуралистском повороте в биологии.¹⁷⁴ В его свете патрули

174 См.: Donna J. Haraway. *The Biopolitics of Postmodern Bodies: Determinations of Self in Immune System Discourse* // *Differences* I, 1. 1989.

антител в организме оказываются не столько полицией, противостоящей ригидной политике чуждого, сколько театральной труппой, пародирующей интервентов и выступающих в роли переодевающихся в их одежды травести. Но как бы ни завершился спор биологов по поводу интерпретации иммунитета, тот, кто достаточно основательно интересуется способностью быть здоровым как фундаментальным! слоем личной целостности и идентичности, рано или поздно узнает об их функциональных условиях настолько много, что биохимическое иммунное измерение как таковое во всей своей раздражающей парадоксальности выступит из латентности и разовьется в самую серьезную из всех тем переднего плана.

Это влечет определенные последствия для ментального иммунного статуса «просвещенного общества»: теперь оно знает не только то, что оно знает, но и должно сформировать мнение о том, как ему жить с теми или иными достигнутыми в процессе экспликации результатами. Для современных людей становится все более и более актуальным понимание; что прогресс возможностей знания не всегда конвертируется в аналогичные иммунные преимущества. Знание — это не просто сила. Когда ежегодно открывается и описывается по пятьсот новых заболеваний, это отнюдь не ведет к непосредственному росту безопасности обитателей гордо вознесшейся башни цивилизации. Развитие знаний об архитектуре безопасности существования — от медицинского поля через юридическое к политическому — в силу их нарастающей эксплицитности (и ограниченной вытесняемости) в итоге нередко приводит к дестабилизирующим последствиям. Вследствие контрпродуктивных эффектов, вызванных форсированной экспликацией, в своих желаемых функциях эксплицируется и латентность как таковая. Пришедшему к знанию постфактум становится ясно, чем он обладал в незнании. Выясняется, что уже допросвещенные или преэксплицитные состояния как таковые могут быть иммунологически релевантными — по крайней

мере в том смысле, что пребывание в неразвернутом иногда и в некоторых аспектах позволяет извлекать психическую пользу из определенных защитных эффектов незнания. Это было известно еще античным авторам, например Цицерону, провозгласившему: «Несомненно, незнание будущих зол полезнее их знания».¹⁷⁵ Возможно, открытие этих взаимосвязей имеет самое непосредственное отношение к изобретению религии спасения. Более того, быть может, то, что в христианской традиции стало называться верой, первоначально представляло собой не что иное, как программную прогрессивно-регрессивную смену установки с ослабляющего знание на усиливающее незнание, соединенное с благотворной иллюзией. На фоне античного просвещения *vera religio** * была весьма успешной, поскольку она смогла рекомендовать курс священнической терапии от заболевания имперским реализмом. Благодаря своей антифактической форме она гарантировала, что ее пациенты имеют шанс ухватиться за спасительную фантазию, пусть даже вопреки более глубокому знанию об ужасе тех обстоятельств, которые теперь отважно называют внешними.

Если сегодня просвещенное сознание неизбежно исходит из эксплицитно представленных возможностей крушения (из статистически подтвержденных ссылок на риски несчастных случаев, риски террористических актов, бизнес-риски, риски онкологических заболеваний и инфаркта и из прочих измерений точно рассчитанных вероятностей тех или иных аварий), то сознание, не подверженное современному алармизму, поскольку оно каким-то смутным образом согласуется со своим фоном и может позволить себе сохранять традиции, иногда еще сохраняет ауру защищенности в наивности. Просвещенные, однако, иногда высмеивают ее, если сами уже долго

¹⁷⁵

«*Certe ignoratio futurorum malorum utilior est quam scientia*».
De divinatione. II, 23.

* Истинная религия (лат.).

живут в постоянной тревоге, даже завидуют ее обладателям. Просвещение относительно просвещения становится побочным ущербом, наносимым знанием. В результате просвещения первой ступени мы все, прибегнем к выражению *Вотто Штрауса*, «в прогнозе заражены».¹⁷⁶

Впрочем, ныне выясняется, что в силу узости своего тематического окна ни одно сознание не способно одновременно обрабатывать более одного или двух алармических мотивов, так что большинство актуально эксплицированных заботящих тем должно отходить на задний план, как если бы *realiter** их не существовало (в мультиалармистском обществе двадцать четыре часа в сутки звучит несколько дюжин колоколов, однако мы, как правило, способны отфильтровать одну, доступную обработке, главную тревогу). Из непрерывной игры т[^]матизации и детематизации рисков возникает некая практически пригодная функциональная замена наивности: если первично какой-либо древний наивный в силу презексплицитной конституции своего сознания не мог обладать адекватным представлением о пространстве рисков, в котором он действует, то современный человек ориентируется в том же самом пространстве с помощью своего рода вторичной наивности, поскольку и в обработанной анализом рисков зоне, и именно в ней, невозможно одновременно учитывать все, что следовало бы учитывать. Мы называем эту вторично-наивную установку «реимпликацией»; она представляет собой *standby*** -функцию эксплицированных, но временно деактуализированных тем. Реимпликация есть своего рода протез доверия; ее использование пред пол агает, что действительно происходит все, что может происходить, — правда, лить от случая к случаю и, как правило, таким образом, что потерпевшими являются другие. Применительно к документам типичным местом реимплика-

176 *Botho Strauß. Die Fehler des Kopisten. München, 1999. S. 102.*

* В действительности (лат.).

** Поддерживающий (англ.).

ции является архив, применительно к личному опыту — долговременная память в ненапряженном состоянии; потенциальное тревожное знание, складываемое там, позволяет своему обладателю пребывать в состоянии своего рода вторичной беззаботности. Достаточно упорядоченная долговременная память и архивы являются формальной опорой вторичной латентности.¹⁷⁷

Незадолго до того как в 1890 году Эмиль фон Беринг и Шибасабура Китасато, ассистенты Роберта Коха в Берлине, своим совместным открытием, как они их назвали, «антитоксинов», одной из первых манифестаций антител, дали решающий импульс развитию медицинской иммунологии (Илья Мечников еще в 1883 году в Мессине описал функцию «прожорливых клеток» [фагоцитов] при защите от проникновения в организм каких-либо захватчиков), Ницше в своих фундаментальных исследованиях различных функций человеческого сознания обратил внимание на существование ментальной защитной системы, которая незаметно и эффективно обслуживает господствующий центр самости и его смысловые потребности. С этой точки зрения Ницше — после подготовительной работы, проделанной Месмером, Фихте, Шеллингом, Карусом и Шопенгауэром, — может считаться истинным первооткрывателем оперативного бессознательного. В своем главном морально-критическом сочинении «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего», вышедшем в августе 1886 года, он отмечал:

«Способность духа усваивать чуждое обнаруживается в сильной склонности уподоблять новое старому, упрощать разнообразное, игнорировать или отбрасывать совершенно противоречивое... Той же самой

¹⁷⁷ См.: *Sven Spieker. Die Ablagekultur, oder: *Wo es war, soll Archiv werden*. Die historische Avantgarde im Zeitalter des Büros // *Trajekte* 5, 3. Jg., September 2002. Newsletter des Zentrum für Literaturforschung Berlin. S. 23—28.

воле служит... внезапно возгорающаяся решимость оставаться в неведении, замкнуться по своему произволу, запереть свои окна, внутренний отказ от той или иной вещи, недопускание до себя, нечто вроде оборонительной стойки против многого, что доступно знанию, удовлетворенность темнотою, замыкающим горизонтом, утверждение и одобрение незнания...»^{178*}

Если размышления такого типа могли предлагаться под заголовком «Философия будущего», то потому, что благодаря им был осуществлен прорыв к иммунологической парадигме критики разума: пройдя этот рубеж, мышление начинает действовать по ту сторону «Познай самого себя». В соответствии с этой парадигмой, по всей видимости, должно существовать нечто такое, как семантические антитела или идейные супрессоры, настроенные на удаление из пространства сознания несовместимых с ним представлений. Там, где была любовь к мудрости, должно возникнуть понимание, что многочисленные истинные представления обладают отталкивающими и неинтегрируемыми свойствами. Теория познания превращается в гносеологический филиал аллергологии.¹⁷⁹ Таким образом, мы сталкиваемся здесь с самым смелым до сих пор предвосхищением рациональных форм кибернетики, исследующей внутренние и внешние условия функционирования сознаний. В свете искусственного разума становится более понятным, чего достигает разум

¹⁷⁸ *Friedrich Nietzsche. Jenseits von Gut und Böse, 230 // Kritische Studienausgabe. Bd 5. München, 1980. S. 167 f.*

¹⁷⁹ Этот взгляд предвосхищается у Иоганна Готфрида Гердера, который в своем сочинении «Еще одна философия истории для образования человечества» (*Johann Gottfried Herder. Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Frankfurt, 1967. S. 45*) замечает: «Все, что *однородно* моей природе, что может быть *ассимилировано* ею — этому я завидую, к этому я стремлюсь, это я усваиваю; *кроме этого*, добрая природа вооружила меня *бесчувственностью, холодностью и слепотой*, они могут стать даже *презрением и отвращением...*»

* Перевод Н. Полилова.

естественный. Мы протезируем лить то, что мы достаточно ясно поняли; мы по-новому оцениваем то, что невозможно протезировать.

Предварительные намеки на этот переход можно проследить в мышлении Ницше вплоть до начала 70-х годов; самым важным в этом отношении является написанный в 1873 году и ставший известным лишь после смерти Ницше трактат «Об истине и лжи во вненравственном смысле» — ранняя попытка понять человеческое мышление и речь в соответствии с их первичной функцией как конструкцию, представляющую собой некую поддерживающую метафорическую оболочку, заслоняющую субъекту культуры вид пугающих и беспочвенных обстоятельств существования.¹⁸⁰ По-прежнему заслуживает внимания тот факт, что Ницше одновременно с иммунологическим и аллергологическим модусом рассмотрения рациональных процессов открыл и его парадоксальный характер: если мышление с полной серьезностью относится к возможности следовать своей собственной логике, оно способно эмансипироваться даже от своих необходимых для жизни иммунных функций и выступить против витальных интересов своего носителя. Именно это находилось в поле зрения Ницше во время его интервенции против «метафизики». Отныне всякая претендующая на полноту концепция просвещения должна включать в себя представление об аутоиммунитарной парадоксальности знания; то же самое относится и к необходимости заново пересчитать издержки, связанные с идеалистическими порывами. Ницше с самого начала было ясно, что этот род исследования сознанием своего собственного функционирования уже никогда не выльется в спокойное знание, более того, что отныне внутренняя противоречивость и даже вред самому себе должны быть открыто названы предпосылками прогресса позна-

180
1980. S. 875 f.

Friedrich Nietzsche. Kritische Studienausgabe. Bd 1. München,

ния: философская жизнь может быть оправдана только тем, что она оказывается экспериментом, ставящимся познающим на самом себе. Мыслитель видел, как в этом месте интересы познания отрываются от интересов жизни. Фатальный характер выбора не вызывал у него никаких сомнений.¹⁸¹ Для самого себя он принял решение отдать предпочтение познавательному мотиву, а не витальной «воле к поверхности», — предпочтение, иногда нарушаемое цветистыми речевыми фигурами заратустровских заверений в верности жизни. Уже в 1872 году Ницше, еще вполне в духе Шопенгауэра, замечает: «Природа окутала человека сплошными иллюзиями. Это его подлинная стихия», — чтобы затем сделать вывод, что лишь разрыв с иллюзорной средой, или с привычными человеческими объяснениями, открывает доступ в сферу познания.

Ницше очень быстро получил адекватное представление о цене этого выбора. Он прямо говорит о таких предпосылках, как терпимость, героизм и мазохизм, лишь при которых в достаточной мере остерегающийся самого себя, стойкий по отношению к своим собственным потребностям познающий способен противостоять наущениям своего ограниченного витального разума; для мыслителя уже не важно, заслуживает ли его мысль предикат «душевно применимой». «Мир как иммунитарно полезное представление»: новая, биологически информированная критика познания освобождается от мелоч-

181 См.: Веселая наука. § 344. В какой мере и мы еще набожны. В смягченном варианте эта антитетика жизни и познания представлена в учении Хельмута Плеснера об «эксцентрической позициональности» человека. См.: *Joachim Fischer. Androiden — Menschen — Primaten. Philosophische Anthropologie als Platzhalterin des Humanismus // Humanismus in Geschichte und Gegenwart / Hrsg. von Richard Faber, Enno Rudolph. Tübingen, 2002. S. 229—239.* Одновременно с Ницше Габриэль Тард указывал на вероятность того, что «индивидуальный культ безнадёжной истины будет принесен в жертву социальной потребности в утешающей, комфортной и общей для всех иллюзии». См.: *Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung. S. 149.*

ной опеки обыденного представления, подвластного хронической потребности в иллюзиях. А следовательно, отныне мышление становится чем-то большим, чем философия: последняя как любовь к мудрости приходит к своему концу в то мгновение, когда мудрость и истина оказываются скорее отталкивающими, нежели привлекательными величинами. Тот, кто хотел бы быть иммунологом-теоретиком или — что отныне почти то же самое — свободным умом и пожелал бы, апеллируя к мудрости и истине, свидетельствовать в пользу философии по завершении одноименной староевропейской (и староазиатской) практики гармонизации, должен был бы мобилизовать в себе самом «своего рода жестокость интеллектуальной совести и вкуса»¹⁸² — одновременно и научную и моральную беспощадность, на которую способен лишь тот, кого не страшит отвращение к самому себе. Свободный ум проходит длительный курс прививок био-негативности.

Неудивительно, что эта самоотчуждающая экспликация ментальной механики начинается у моралистов конца XVII столетия, придумавших светский вариант религиозного контроля за совестью. Их идеи были подхвачены и развиты романтизмом и, наконец, переформулированы психоанализом и родственными ему доктринами, которые, со своей стороны, в последние десятилетия XX века передали эстафетную палочку таким дисциплинам, как психолингвистика и психонейроиммунология. Все без исключения формы знания о механических сторонах интеллектуальных и эмоциональных процессов объединяет то, что они описывают человеческое сознание как место непрерывного отделения эксплицитного от имплицитного.

182!bid. S. 168.

ПРИНУЖДЕНИЕ К СВЕТУ
И РЫВОК К АРТИКУЛИРОВАННОМУ МИРУ

Making the immune systems explicit: таков один из логических и прагматических девизов, под которыми с начала XX века должны выступать современные буржуа, если они хотят сохранить связь с *modus vivendi** своей эпохи. Одним из признаков форсированного процесса экспликации является то, что она преобразовывает организацию безопасности существования (от уровня антител и диететики до уровня социального государства и военных учреждений) в по-настоящему надежные институты, дисциплины и навыки. Но предоставляет ли она при этом людям интеллектуальные средства для понимания того, что они делают, остается под вопросом. Для постижения своего существования в бурно эксплицируемом мире большинство располагает не более чем несколькими вялыми риторическими формулами, с помощью которых амбивалентность человеческой иммунной ситуации может быть тематизирована с нетехнической точки зрения. Так, современное «общество» предается праздным рассуждениям о «благословении и проклятии научных открытий»; на всевозможных симпозиумах оно артикулирует свои колебания между «страхом перед техникой и надеждой на технику»; в публичных размышлениях оно одновременно высказывает мысли о пользе и вреде расколдовывания мира для жизни; оно бьется над вопросом, как в техническом мире можно было бы установить равновесие между тревогой и защищенностью. В этих дискурсах — если, конечно, они таковы — обрабатывается сырой материал иммунной проблематики, накопленный в сознании благодаря повседневному опыту модернизации.

* Образ жизни (лат.).

Экспликации — в соответствии с нашими основополагающими гипотезами — всегда затрагивают одновременно и слова, и вещи; в этом смысле они являются в равной степени и реально-аналитичными, и реально-синтетичными. Они форсируют развертывание фактической ситуации как активное соединение оперативных шагов с дискурсивными приемами. Они не только превращают в категорические выражения невысказанные («бессознательные», неизвестные, непонятные) фоновые предположения, но и переводят прежде свернутые в латентности «реалии» в форму явного существования. Если бы дело обстояло иначе, то все анализы остались бы лишь риторическими событиями; в лучшем случае они позволяли бы сопровождать судебные решения более обстоятельными мотивировочными заключениями, которые, как показал Роберт Б. Брэндом, с письменных столов судей и экспертов переносятся в данные об изъятии мнения мистера и миссис Everybody,* насколько к этому обязывает корректность. Если кто-то намеревается эксплицировать «это», то это означает, что он (или она) должен (или должна) инвестировать в новое аргументативное финансирование своих убеждений, — точка зрения, реалистичная для подчеркнута скрупулезных академических дискурсивных игр.

Поскольку экспликация как реальный анализ и реальный синтез осуществляется одновременно и в мастерских и в текстах, поскольку она продвигается вперед как в технических методах, так и в соответствующих описаниях и комментариях, она, где бы ни наступала, всегда развивает в себе силу, врезающуюся в реальное и ментальное. Она изменяет когнитивные и материальные окружающие миры, заново заполняя их экспликационными результатами. Этот эффект можно проследить по меньшей мере до XVI—XVII веков, времени, когда механика и ее творения начали наступление на жизненные миры

* Каждый (англ.).

по всей линии фронта. Рубежным моментом для нее можно считать внедрение машин-двигателей — отныне культуры Запада являются прежде всего странами, куда иммигрируют машины. То, что называется капитализмом, есть не что иное, как политика открытых границ для прибытия механических, естественноисторических и эпистемических иммигрантов, переселяющихся из неизобретенности в изобретенность, из неоткрытости в открытость. Поэтому изобретенность и открытость представляют собой ситуации, затрагивающие когнитивный гражданский статус вещей. Цивилизационный процесс осуществляет натурализацию не-человеческого нового. Без этой постоянной уступки места для переселений нового современный мир невыносим; в этом пункте различие между США и Старым Светом является не более чем стилистическим, по существу же все культуры-носители модернизации суть страны иммигрантов. В них каждое частное хозяйство ориентировано на непрерывное вселение инноваций. В самом деле (приведем один из наиболее важных примеров), такое физическое новшество, как электричество (иногда являвшееся даже чем-то нуминозным¹⁸³), необходимо было извлечь из естественного фона и осмысленно имплантировать в максимально широкий пространственный масштаб, чтобы смогла возникнуть иллюминированная, автоматизированная, образно-эротизированная, не считающаяся с расстояниями массовая культура.¹⁸⁴ Универсум микробов следовало сначала переместить из его незримости на санитарную арену конца XIX столетия, прежде чем стали возможными преобразование современных популяций в гигиенические общества и мобилизация масс на антимикробные кампании. Отныне вирусы, бактерии и иные микроскопические живые

¹⁸³ См.: *Ernst Benz. Theologie der Elektrizität. Zur Begegnung un Auseinandersetzung von Theologie und Naturwissenschaft im 17. und 18. Jahrhundert.* Mainz; Wiesbaden, 1971.

¹⁸⁴ См.: *Die elektrifizierte Gesellschaft, Ausstellungskatalog des Badischen Landesmuseums Karlsruhe.* 1996.

существа в подлинном смысле находятся «среди нас».¹⁸⁵ Если телеграфные линии и железные дороги прорезают староевропейские сельскохозяйственные ландшафты, если синтетические удобрения и антибиотики ставят обмен веществ между человеком и природой на некую новую основу, если появление автомобиля вызывает волну подражаний, которая менее чем за столетие подвергает радикальной ревизии все традиционные представления о городах, дорогах, домашних хозяйствах и окружающих мирах, то самое малое, что можно сказать, это то, что поле этих нашествий и их эпидемического распространения общий для людей и вещей мир уже не тот, что был прежде. Практически то же самое относится и к бесчисленным нововведениям продуктов экспликации на физических, химических и культурных фронтах — причем с точки зрения включения в цивилизационный коллектив такие изобретенные объекты, как автомобили и тамагочи, такие открытые объекты, как феромоны и вирус иммунодефицита человека, и такие синтезированные объекты, как рекомбинированные бактерии, трансгенные энзимы или фосфоресцирующие кролики, представляют собой явления одинакового значения.

Современность есть якобы руководствующийся прагматизмом, а *de facto* в значительной мере неконтролируемый эксперимент под открытым небом по одновременному и последовательному внедрению в цивилизацию неопределенного количества инноваций.¹⁸⁶ Мультиинновационная конституция современного общества основывается на том предположении, что борьба за взаимное вытеснение между новым и старым (Тард тематизировал ее

185 о том, как открытия Пастера участвовали в формировании солидаристского и социально-гигиенического мышления конца XIX века, см.: *François Ewald. Der Vorsorgestaat. Frankfurt, 1993. S. 464 f.*

186 См.: *Jacques Poulain. L'âge pragmatique ou l'expérimentation totale. Paris, 1991.* Пожалуй, есть смысл в том, казалось бы, случайном обстоятельстве, что самый проницательный аналитик современной научной культуры Брюно Латур возглавляет в парижской «Ecole de Mines» кафедру «социологии инновации».

под рубрикой «логическое единоборство»), как правило, ведет к социальному прогрессу и что новшества способны мирно сосуществовать друг с другом, будь то в модусе взаимной индифферентности или в смысле позитивной комбинированности и кумулятивности (по Тарду: «логические соединения», *accouplements logiques*). В вопросе о критериях совместимости экспликаций и изобретений царит неясность. Успешным кажется то, что сразу или в среднесрочной перспективе не приводит к физическим или культурным катастрофам. Одна часть нововведений оценивается рынками, другая поддерживается государственным регулированием, третья рекомендуется экспертными сообществами и моралистами; большинство же не вполне ясными путями, однако всегда усиливаясь волнами подражаний, просачивается в технические сооружения и с большей или меньшей задержкой распространяется на «жизненные миры». Там, где доминирует ментальность модернизации, популяции программно ориентируются на готовность принять инфильтрирующиеся инновации.

В условиях таких процессов обычный разговор об открытиях и изобретениях уже не годится для истолкования продуцирующей действительности серьезности экспликации: изобретенное и открытое, как правило, прорывается в реальное в какой-либо строго очерченной точке, но лишь благодаря мощной волне подражаний оно может стать фактором коллективных отношений. Даже такое распространенное выражение, как «революционная» природа того или иного изобретения, открытия или метода производства, представляет собой лишь шаблон для ложных сообщений с фронта экспликации. Такие ложные сообщения о так называемых революциях, со своей стороны, могут эксплицироваться и нуждаются в этом: в своей дилетантской фазе они называются утопиями, а пройдя стадию профессионализации — рекламой или *public relations** (рассмотренный под этим углом зрения

* Связи с общественностью (англ.).

Советский Союз был в первую очередь своего рода рекламным агентством, транслировавшим на весь мир новостные сообщения о революции, давшей существование самому агентству¹⁸⁷).

Обусловленные экспликацией нововведения действительно часто производят такое впечатление, словно в «дом бытия» въехали новые агрессивные жильцы, для которых не нашлось подходящей квартиры, вследствие чего они вселились силой. Неудивительно, что иногда это описывалось как «революционный» вихрь. Нет никаких сомнений (вспомним об одной из самых ярких внедренческих драм), что экспликация письма посредством печатания с помощью подвижных литер перевернула всю экологию европейской цивилизации после 1500 года. Можно пойти еще дальше и говорить о том, что Гуттенберговский мир представляет собой попытку обеспечить на первый взгляд безобидным новичкам, появившимся в наборных цехах в виде маленьких кусочков свинца, сносное сосуществование с прочими культурными фактами, прежде всего с религиозными убеждениями людей. Доказательство успеха: новоевропейская литература и система образования национальных государств; доказательство неудачи: роковая роль печатной прессы как основного агента националистической деформации сознания, как соучастника всех без исключения идеологических перверсий, распространителя и катализатора коллективных истерий.¹⁸⁸ Габриэль Тард справедливо назвал влияние книгопечатания «паразитической инвазией», внушившей иллюзию, «что книги — источник всех истин».¹⁸⁹

¹⁸⁷ *Boris Groys. Werbung für den Kommunismus. 50 Jahre nach Stalins Tod: Warum schon damals die Kunst nur Lifestyle sein wollte // Die Zeit. N 10/2003. S. 38.*

¹⁸⁸ См.: *Marshall McLuhan. Das gedruckte Wort. Baumeister des Nationalismus // Marshall McLuhan. Die magischen Kanäle. Understanding Media. S. 186 ff.* А также классическую работу: *Karl Kraus. Untergang der Welt durch schwarze Magie (Die Fackel. Dezember, 1912). Frankfurt, 1989. S. 424 f.*

¹⁸⁹ *Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung. S. 387.*

То, что в форме новых аппаратов, теорем, объектов и методов появляется в поле реальности рассеянного по коллективам и корпорациям разума, обязательно должно быть внесено в кадастровые книги познавательной администрации и социализировано в сознании пользователей. Несоциализируемые инновации либо исключаются, либо развиваются в опасных паразитов: вспомним об остром споре по поводу интегрируемости ядерных технологий. Поскольку эффективная экспликация продвигается вперед как технический или оперативный реальный анализ и реальный синтез, она производит в многочисленных практических непрерывных линиях жизненного процесса надрезы или скачки, благодаря которым можно четко различать определенное «до» от определенного «после». Экспликации изменяют форму и направление потоков событий и порядка действий. В них можно было бы даже увидеть то вещество, из которого состоят отличия, создающие действительное различие. В этом своем свойстве они становятся главным мотивом новой онтологии, трактующей сущее не как наличие, а как событие.

Насколько оправданна эта точка зрения, можно проверить с помощью одного простого рассуждения. Если в результате так называемого открытия в хозяйство внедряется некий новый «факт» (скажем, факт «Америка», с 1493 года ставший общеизвестным в Европе благодаря сообщению Колумба, или факт «фермент молочной кислоты», который в 1858 году усилиями Пастера стал достоянием сообщества французских ученых), то реорганизованное новшеством или «информированное» сознание испытывает своего рода шок прибытия, при котором резко ощущается различие между неоткрытостью и открытостью той или иной вещи, словно в этом переходе происходит локальная актуализация перепада между бытием и ничто. Там, где, казалось, было что-то совсем малое или ничто, в результате экспликации и ее обнародования поднимается некое новое нечто и заявляет о своем желании быть принятым в сообщество реалий. В этой

внезапно образовавшейся брешу, прежде чем изумление сменится рутинной, мышление в наибольшей степени расположено к постановке вопросов, благодаря которым экспликацию можно осознанно использовать как повод для развертывания своего рода онтологии открытия. Где же в мире (можно было бы спросить, находясь под первым впечатлением) был двойной континент Америка до своего появления в утверждениях Колумба? Действительно ли мореплаватель дал правильный ответ, выразив в своей изданной в 1502 году «Книге пророчеств», что Новый Свет был скрыт в Духе Божиим, пока Всемогущему не пришло на ум снять с него покров перед взором своего избранного слуги Колумба? Где прятался знаменитый фермент молочной кислоты до того, как Луи Пастер отвел ему почетное место в перечне того, что достойно знания просвещенных людей и простых владельцев молокозаводов? Далее: где были микробы, прежде чем тот же Пастер и его немецкий соперник Роберт Кох изгнали их из эпистемологического укрытия и превратили в действующих лиц некоего расширенного сценария реальности?¹⁹⁰ Где были радиоактивные лучи до того, как мадам Кюри начала эксперименты с урановой смолкой, и до того, как физики Лос-Аламоса посредством хиросимского скандала ввели их в окружающий мир фактов достижимого для новостей человечества? Или, если мы поставим вопросы, касающиеся экспликации пены как витального, защитно-креативного пространственного многообразия: каким образом климат, воздух и атмосфера были даны индивидам и группам до того, как они в результате атмотеррористической экспликации, с одной стороны, и их метеорологической и климатотехнической проработки — с другой, стали предметом современной заботы об окружающей среде? В каком тайнике, в каком допонятий-

¹⁹⁰ См.: *Bruno Latour. Die Geschichtlichkeit der Dinge. Wo waren die Mikroben vor Pasteur? // Bruno Latour. Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Frankfurt, 2000. S. 175 f.*

ном месте скрывались человеческие культуры, прежде чем они были зафиксированы мореплавателями и этнологами и функционально разъяснены системными, военными и стрессовыми теоретиками? В конечном счете, сами люди — каким образом они истолковывали и свою заброшенность в климаты «природы», прежде чем у них появилось сознание того, что они вплоть до своих самых интимных склонностей являются «питомцами воздуха» и порождением парниковых эффектов?¹⁹¹ И, наконец, где были иммунные системы до того, как рассвет экспликации XX столетия вынес их в поле зрения наук о жизни и на передний план медиализированной заботы людей о самих себе?

Эти вопросы на первый взгляд кажутся странными, более того, в них нельзя не слышать определенной наивности. Тем не менее они вполне законны и продуктивны в научно-теоретическом отношении, пока содержат в себе требование некоторым более эксплицитным образом отдавать себе отчет в том, что люди пребывают в некоей населенной наряду с ними продуктами экспликации *res publica*. Эта уступка, однако, никак не влияет на возможность получения адекватного ответа — несомненно лишь то, что оба распространенных ответа на вопрос о бытийном модусе открытого и открытия не только недостаточны, но и откровенно ошибочны; первый ответ дает (трансцендентальный и конструктивистский) идеализм, утверждающий, что открытые вещи не обладают никаким предсуществованием до их восприятия в сознании и высказывания в речи. Ошибочность этого тезиса основывается на убеждении, что классическая гипотеза о тождестве бытия и воспринимаемости может пониматься как абсолютная зависимость объектов от мыслящего субъекта. Отсюда не так далеко до гипнотической абсурдности субъективного идеализма, согласно которому у объектов,

¹⁹¹ См.: Peter Fabian. *Leben im Treibhaus: unser Klimasystem — und was wir daraus machen*. Berlin; Heidelberg, 2002.

случайно не замеченных наблюдателем-человеком, отсутствует и их бытие как таковое. С заблуждением, дополняющим данное, мы сталкиваемся во втором ответе, в котором объективное и не зависимое от познания предсуществование открытого до всякого открытия принимается в расчет таким образом, что бытие вещи рассматривается как нечто, отчего его воспринимаемость без труда может быть отвлечена разумом без малейшего ущерба для его наличия. В этом близком повседневной естественнонаучной деятельности воззрении объективизм неполноценной онтологии празднует свой обманчивый успех; согласно ему, сущее всегда является однозначно таким и только таким, как оно существует («в себе») до всякого восприятия, тогда как мышлению отводится роль чего-то случайно дополнительного, что с таким же результатом могло бы и отсутствовать (ведь очевидно, что до открытия его у вещи и не было) и что к тому же становится подозрительным вследствие непостоянства толкований и их подверженности заблуждениям. Здесь открытое якобы может существовать без открытия, без того чтобы первое сколько-нибудь потеряло в своей полноте. Симметрия этих ложных суждений очевидна: если ошибочность первого ответа состоит в том, что в нем абсолютизируется сознание и, как следствие, преувеличивается значение открытости открытого, то ложность второго ответа заключается в объективистской недооценке открытия, словно для самого по себе «сущего», или объекта, не имеет никакого значения, когда, где и как оно попадает в знание и в каких символических формах и в каком логическом соседстве циркулирует в обществе знающих.

Единственным выходом из дилеммы, состоящей в необходимости выбирать из двух альтернативных заблуждений, станет доказательство существования какого-либо третьего пути. Такие доказательства предлагаются в целом ряде формулировок, из которых мы хотели бы упомянуть две; при поверхностном взгляде они кажутся буквально противоположными друг другу, однако в

своей глубинной структуре обнаруживают определенное родство. Во-первых, мы говорим об исследованиях Брюно Латура по теории науки, давшим импульс гражданско-правовому направлению в эпистемологии, чтобы наделить технические объекты и животные симбионты гражданскими правами в некоем расширенном конституционном пространстве и чтобы создать своего рода интегральную республику, которая в конечном счете признает онтологически полноценными согражданами не только людей, но и артефакты, словно они живые существа.¹⁹² Во-вторых, мы имеем в виду медитации Мартина Хайдеггера по поводу нового определения «существа истины», размышления, исходным пунктом которых стало греческое слово *alethéia** * (несокрытость, непотаенность), понимаемое как указание на переход с незримой на зримую сторону сущего.

Оригинальность открытого Латуром третьего пути между идеализмом и реализмом проявляется во внимании исследователя к тем переходным ритуалам, с помощью которых новые научные факты, открытия, изобретения, теоремы и артефакты вводятся в определенное окружение, выступающее по отношению к ним в роли «культуры-хозяина». Когда речь идет о «введении» открытого в когнитивное *environment*** или о включении новых фактов в состав уже существующих коммун, это отнюдь не должно служить подтверждением представления, что какая-либо самостоятельная сущность — скажем, фермент молочной кислоты — в некий произвольный момент времени выхватывается из своего предсуществования и включается в массу известных человеческому сознанию и признанных им вещей. В этом случае роль Пастера соответствовала бы лишь роли офицера-пограничника, проверяющего, в порядке ли пас-

192 См.: *Bruno Latour. Das Parlament der Dinge. S. 82 f.*

* Истина (греч.).

** Окружение (англ.).

порт у только что обнаруженной им вещи; если бы при этом выяснилось, что фермент молочной кислоты представляет собой не какую-нибудь химеру, а объективную сущность, то ничто не препятствовало бы ее включению в царство удостоверенных фактов. В действительности же функция первооткрывателя намного активнее и сложнее, ибо только он своими предположениями, своими наблюдениями, своими манипуляциями, своими описаниями, своими экспериментами и своими выводами впервые придает подлежащей открытию «вещи» такую форму, в которой ее способность быть открытой в качестве самостоятельной сущности или доступного демаркации эффекта может стать вирулентной. Согласно Латуру (ссылающемуся на «Процесс и реальность» Уайтхеда), тот, кто позднее признается первооткрывателем, есть не кто иной, как манипулятор и копродюсер «высказываний» или, точнее, «предложений» (*propositions*), из которых может возникнуть будущее открытие, а отнюдь не простой фиксатор или наблюдатель, обнаруживающий те или иные не входящие ни в какой контекст факты.¹⁹³ Открывать означает не одним махом срывать покров с полноценно предсуществующего объекта, а посредством последовательной артикуляции разворачивать предложенное или проблематичное состояние, в котором *implicite** находилась «вещь» до своего реформирования, и таким образом ткать новую, более густую сеть, охватывающую артикулируемую сущность, прочие сущности, науку и общество.

Используемое Латуром понятие артикуляции в некоторых отношениях весьма близко тому, что в контексте вышесказанного именовалось экспликацией. Оно также

¹⁹³

См.: *Bruno Latour. Haben auch Objekte eine Geschichte? Ein Zusammentreffen von Pasteur und Whitehead in einem Milchsäurebad // Bruno Latour. Der Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften.* Berlin, 1996. S. 87—112; о выражении *propositions* см.: *Alfred N. Whitehead. Das Abenteuer Ideen.* Frankfurt, 2000. S. 426 f.

* В скрытой форме (*фр.*).

находится на границе между научно-теоретическими и онтологическими значениями. Мир, в котором возможны артикуляции или экспликации, не является ни универсумом безмолвных вещей, ни совокупностью установленных и неустановленных фактов, а, скорее, представляет собой подвижный горизонт всех тех «предложений», в которых возможное и действительное сущее пропозициональным или провокативным образом предлагает себя человеческому вниманию. В определенном смысле ткань бытия сама по себе предстает как нечто, имеющее форму предложения — можно было бы даже сказать, форму упрека, поскольку выражение «упрек» понимается здесь исходя из греческого глагола *probálllein* (бросать, упрекать), от которого происходит существительное *problema*. * В проблемах вещи обращаются к разуму; в предлогах они открываются человеческой причастности. Давление их значимости дает крылья творчеству. Вещи, ситуации, природы могли казаться не умеющими говорить, пока они были приговорены к немоте Интеллектом, зарезервировавшим за собой язык. Изначальный модус данности вещей — их интересность для другого: одно беспокоит другое; сущее постоянно погружено в ванну релевантности, в которой оно пребывает вместе с разумом.

Проблемно-онтологический способ рассмотрения — бытие означает предложение-себя — имеет то преимущество, что он уже не позволяет развернуться мнимой пропасти между словами и вещами, в которую проваливался метафизически ангажированный разум при каждой из своих бессмысленных попыток навести через нее мост. Если мир есть все, что происходит, а происходит все, что предлагается или бросается в упрек знающему участию, то открытие следует понимать как развертывание предложения, при котором достигим ощутимо более высокий уровень артикулированности. То же самое выражает и

* Предлог, задача, поручение (греч.).

метафора складки: там, где есть складка или нечто свернутое, может начаться распрямление или развертывание (*explicare*). Складки — это предложения или пропозиции, в которых начинается процесс экспликации. Там, где мы видим складку, мы воспринимаем это как указание на ее еще не развернутое внутреннее. Радикальный демократ и научный оптимист Латур незамедлительно объявляет: «Чем больше артикуляции, тем лучше».¹⁹⁴ Благодаря артикуляциям между предложениями устанавливаются соседские отношения. Открытые и изобретенные вещи суть артикулированности на фоне предложений — развертывания в ландшафте развертываний на фоне панорамы складок.

Как же в соответствии со всем этим следует оценивать прибытие открытой Пастером новой стихии в республику людей, теорем и артефактов? Ответ Латура умеренно оптимистичен: «Фермент молочной кислоты отныне существует как скромная единица; он артикулирован среди многих других единиц в многочисленных активных и искусственных окружениях».¹⁹⁵ В этом высказывании дает о себе знать светлый вариант институционализма, исходящий из тезиса, что открытия и изобретения должны социализироваться и контекстуализироваться как обычные феномены второй ступени, чтобы приобрести описанную Арнольдом Геленом «собственную стабильность»¹⁹⁶ жизнеспособных квазиинститутов. Именно для современного знания характерно, что оно, как отмечал уже Д'Аламбер, «обрело социальную функцию»; «оно образует пригодный для дыхания воздух, которому мы обязаны жизнью».¹⁹⁷ Теория научного знания — достаточно скромное наименование для веселой философии мира, населенного продуктами экспликации. Она, пол-

¹⁹⁴ *Bruno Latour. Die Hoffnung der Pandora. S. 173.*

¹⁹⁵ *Ibid. S. 174.*

¹⁹⁶ *Arnold Gehlen. Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Bonn, 1956. S. 26.*

¹⁹⁷ *Ibid. S. 71.*

ностью переворачивая миф современности, предлагает одну из самых адекватных современных теорий.¹⁹⁸

В чем-то сравнимый с вышеизложенным, хотя и совершенно иначе окрашенный ход мыслей известен прежде всего благодаря хайдеггеровским исследованиям «существа истины». Они должны были принять более мрачные тона, поскольку в процессе, именуемом Латуром артикуляцией, Хайдеггер увидел прежде всего насильственно продолжающееся вторжение воли к знанию в низведенную до уровня ресурса природу. Согласно Хайдеггеру, наука и техника сами по себе обладают характером организованного покушения на сокрытое. Решающий для формирования этой позиции намек Хайдеггер углядел в греческом слове *alethéia* (истина), переведенном им как «не-сокрытость», — в некотором отношении, пожалуй, правильно, поскольку оно побуждает рассматривать это выражение как композицию из слова *lethe* (покров, утаивание, забвение) и отрицательной приставки а-. Таким образом, это понятие основывается на представлении, что «истинным» является или, лучше сказать, вступает в область истины то, что «переходит» из скрытого, потаенного, забытого в открытое, непотаенное, вспоминаемое. Истина учреждается как истина отнюдь не благодаря суждению, определяющему суждение как истинное или ложное; событие истины имеет место благодаря тому, что явление, предложение, феномен складки выступает в область открытого и вызывает суждение (которое, естественно, может быть и ложным). Здесь могла бы быть уместна цитата из Уайтхеда: «...в реальном мире важнее то, что предложение (*proposition*) интересно, чем то, что оно истинно. Значение истины состоит в том, что она еще более повышает заинтересованность».¹⁹⁹ Истина, с самого начала многозначная, случается *одновременно и*

198См.: Bruno Latour. Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Frankfurt, 1998.

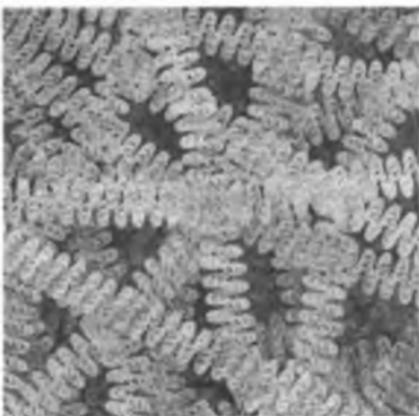
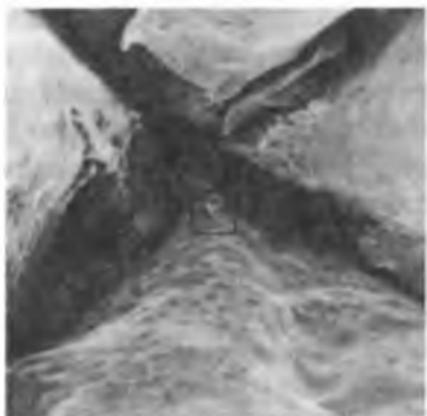
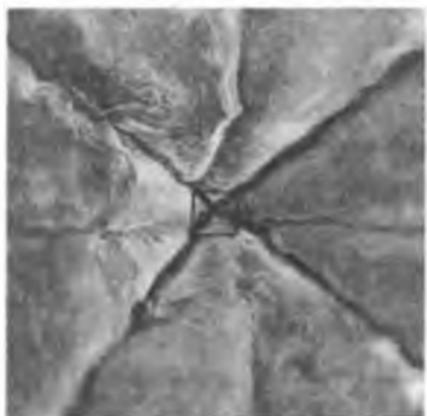
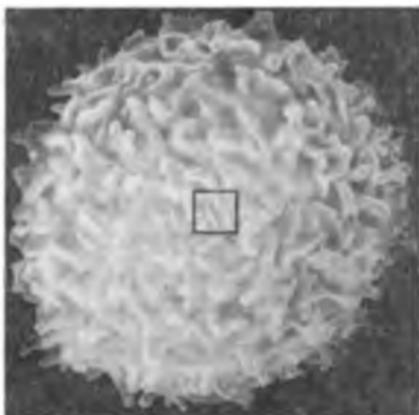
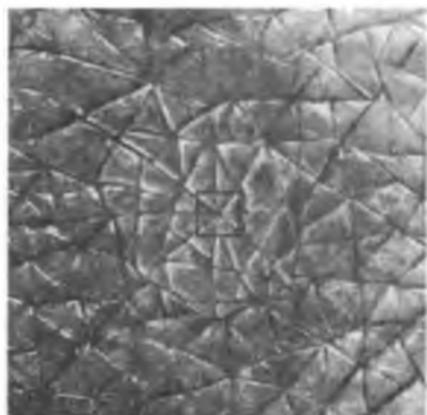
199 Alfred North Whitehead. Prozeß und Realität. Einwurf einer Kosmologie. Frankfurt, 1984. S. 472.

в раскрытии, и в высказывании. Поэтому она всегда есть и переход из незаинтересованности или дозаинтересованности в актуальный интерес.

Таким образом, истина — это не просто свойство высказанных суждений обладать способностью быть истинными тогда и только тогда, когда «в реальности» «фактически»* имеет место то, что высказывается или «выводится» в суждениях; скорее, согласно этой интерпретации, *physis** есть некое само себя публикующее событие, в декларацию которого вовлечен чувствующий и выносящий суждения разум. Не следует пугаться аллегорической манеры выражения; когда мы говорим о природе как о действующем лице, мы всегда подразумеваем медиальные процессы. В их явлении — как можно переформулировать эту мысль, дает знать о себе сама природа: она делает намеки, она показывает свой лик, она позволяет себя услышать и увидеть, она сообщает о себе своим раскрытием, своим гулом. Природа, могли бы мы сказать, учитывая уже сделанную нами оговорку, это автор, публикующийся в своем собственном издательстве (причем она, по всей видимости, вынуждена прибегать к услугам человеческой редколлегии). Понятно, что эта интерпретация события истины противоположна дуалистической догматике Платона и других постсократиков эпохи официально коронованной метафизики и их научно-технических наследников, для которых природа — *alias* сущее в целом — наличествует как глыба безмолвной, бессмысленной, ничего не значащей вещности. С этой точки зрения лишь человеческий дух, монополярный обладатель языка, способности к осмыслению и интереса к индифферентной массе природы, мог бы словно извне подойти к ней и вынудить ее открыть свои тайны.

Трагическая ирония этого ошибочного истолкования познания природы метафизикой, а также ее продолжателями в области современного естествознания и новых

* Природа (*грек.*).



Увеличение изображения тыльной стороны кисти.

технологий заключается, согласно Хайдеггеру, в том, что ее крайне редуccionистские, искажающие и обедняющие событие истины понятия были настолько успешными, что именно они — в модусе самоосуществляющегося — за более чем двухтысячелетний период стали определяющими для европейской рационалистической культуры. Поэтому эта эпоха тождественна по своей протяженности эре забвения бытия. Вспомним, что сходный взгляд на вещи высказывался в тезисе: «Целое — это неистинное», что в историческом преломлении означает: и у неистинного есть древность. Тот, кто желает познать его истоки, чтобы проследить его вплоть до его неискаженных форм, должен обратиться к платоновскому преобразованию истины в «идею» или к еще более раннему расщеплению Демокритом человеческой реальности на тело и душу. Последствия неправильных описаний этого измерения, как полагал Хайдеггер, таковы, что они выходят за рамки того, что можно было бы охарактеризовать с помощью обычного понятия заблуждения; они вынуждают наблюдателя прибегать к таким выражениям, как «судьба», а возможно, даже «рок».²⁰⁰

Когда встает вопрос об определении места драмы экспликации атмосфер и иммунных систем в истории идей и катастроф XX столетия, взгляды Хайдеггера на генезис очевидного могли бы еще раз подтвердить свою

200

См.: *Ernst Tugendhat. Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger*. Berlin, 1967; эта работа, в отношении Хайдеггера приходящая к негативному результату, являет собой наглядный пример, как ритуалы основательности могут способствовать тому, чтобы худшее понимание помешало лучшему. Герман Шмитц, оставаясь в критической близости к Гуссерлю и Хайдеггеру, адекватным образом переформулировал слишком массивный тезис о «забвении бытия» в скромный перечень фундаментальных «промахов» западного духа; при этом он (в отличие от Гуссерля, который в своем «Кризисе» назвал две крупные ошибочные тенденции — трансцендентальный субъективизм и объективистский физикализм) насчитал их четыре: психолингвистически-редуccionистский, динамический, иронический, аутический. Для каждого из них автор предлагает культурно-терапевтическую корректуру в духе обновленной феноменологии.

привлекательность. Как мы отмечали, мыслитель выводит превращение открытого в открытое из изначальной самопубликации бытия; в качестве местоположения издательства у него выступает просвет. Разумеется, Хайдеггер в ходе своих медитаций должен был обратить внимание на границы этого понимания истины, поскольку он, современник мировых войн и технизации окружающего мира, не мог не сознавать, сколь малого в современных обстоятельствах можно достичь с помощью реконструированной в его духе раннегреческой концепции возвещающего о себе и скрывающего себя мира феноменов. Избранный им выход из этого затруднения состоял в том, что он истолковывал преобразование самораскрытия бытия как природы в насильственное открывание сущего с помощью исследования и развития как опять-таки самим бытием предписанную «судьбу», — путь, с одной стороны, обладавший тем достоинством, что, по всей видимости, он оставлял возможность дальнейшей перемены судьбы в направлении неодревнегреческих первичных истин, но, с другой стороны, связанный с тем недостатком, что он более не позволял сформулировать никакое позитивное понятие научного исследования и технической цивилизации, не говоря уже о новой фаталистической интерпретации вершащейся в настоящий момент истории.

В любом случае, несомненно, что переработанной практикой Просвещения действительности искусственное освещение затмило светящееся своим собственным светом. То, что на современный манер представляется «очевидным» или распространяется по поверхности, ни в коем случае уже не есть та из себя самой раскрывающаяся природа, которая показывает то, что она показывает, и скрывает то, что она скрывает. Современная раскрытость не есть уже и тот тепло-серый повседневный свет над ремесленно-крестьянской средой, в которой ориентируется уверенное во внешнем облике окружающего человеческого присутствие (*Dasein*), ибо оно всегда встречается

с вещами и живыми существами лить в радиусе своей деятельности. В техническом мире вследствие организованного взлома латентного неочевидное превращается в наличное — или в результате аналогичного движения оно с помощью дизайна и демонстрационной техники переводится из области не-наглядного в область искусственно воспринимаемого и из области неподвластного манипулированию — в область вторично подручного. Произведенное с помощью исследования и изобретения знание — это знание в неоновом свете. На место собственного просвета бытия приходит принудительный просвет «данного», на место органического восприятия — организованное наблюдение. При таких предпосылках невозможно себе представить, что люди когда-нибудь опять смогут включиться в «событие истины», собираемое старой природой вместе с ее «раскрытием», ее «жестами», ее потаенностью и отступлением в неприметность, — событие, в котором вещи сами по себе, без какого бы то ни было принуждения показывают, что и сколько из того, что им принадлежит, они позволяют увидеть, сохранив темный остаток как свою тайну.

Новоевропейский характер нашей ситуации проявляется в том, что раскрытие, обнаружение, приведение-себя-к-высказыванию осуществляется в режиме систематического наступления на Лету. Принудить латентность к манифестации и встроить фон в передний план, чтобы развернуть его в практическом использовании: таково, по всей видимости, важнейшее априори новоевропейской цивилизации, которая поэтому по еще более глубоким, чем обычно приводятся, причинам может именоваться обществом знания. Право человека на разоблачение природы и реконструкцию культуры предполагается с такой самоочевидностью и сверхсамоочевидностью, что до сих пор никто не считал необходимым эксплицитно зафиксировать его ни в одной декларации прав человека. Нигде эта мысль не была сформулирована более ясно, чем в изречении Хайдеггера: «Техника есть

способ раскрытия», — тезисе, который хотя и высказан со спокойным пониманием исключительности ситуации, но все же не содержит в себе четкого указания, является ли он еще только диагнозом или уже должен пониматься как предостережение. В нем говорит озабоченность тем, что организованное вторжение в сокрытость все отчетливее приобретает характер «рока», точнее, демонстрирует признаки состава алетейологического преступления. То, что начинается как просвещенный менеджмент действительностью, повышает риск несчастья, причиной которого могло бы стать знание. Настойчивое указание на то, что техника по своей сущности есть раскрытие или экспликация (выражаясь более четко, модус использования взламывающей латентность силы), должно покончить с привычкой описывать колоссальный неконтролируемый процесс открытия, изобретения и опубликования соответствующих результатов как веселую историю прогресса человеческого познания, за каковую он, как правило, выдается с XVIII столетия и до наших дней, пусть даже в течение XX века к прогрессивным описаниям иногда и примешивались определенные скептические нотки. Исследование как систематическая отработка неразоблаченного должно, согласно Хайдеггеру, вести ко все более глубокому непониманию сокрытого.

Под этим углом зрения главным сокровенным событием XX века является катастрофа латентности. Ее самым ярким результатом стали: инструментализация ядерной энергии, обнаружение иммунных систем, расшифровка генома и открытия в области исследования мозга. В таких обстоятельствах представители цивилизации технического раскрытия сталкиваются с чудовищами, которые после взлома латентности занимают место посреди совокупности действительности. После 6 августа 1945 года Элиас Канетти записал в своих «Заметках»:

«Какое благо, что все это время нас не жгло пылающее сознание вероятностей, о которых мы не подо-

зревали. ...Мельчайшее победило... Путь к атомной бомбе — путь философский». ^{201*}

Конец экскурсии

Итак, где же были иммунные системы до их «открытия»? В какой складке они прятались, прежде чем биохимическая артикуляция распрямила ее и включила их в пространство реальности современных знаний и практик? В каком предложении, какой пропозиции они пребывали до своего дебюта на подмостках современной науки? В каком рукаве Леты они скрывались? Под какими масками прятались, подтверждая изречение Гераклита, что природа любит становиться незримой: *phýsis krýptestai philei*, — та же самая *physis*, которая в других случаях обращается к нам как себя показывающее, открыто-себя-выдающее?²⁰² Было ли у иммунных систем, этих служб безопасности и агентств по организмическому, социальному и политическому самоутверждению, какое-либо доэксPLICITное существование в народных концепциях выносливости и здоровья, в которых очень рано укоренилось понимание, что лить их повреждение задним числом доводит до сознания их присутствие и требует восстановления этого присутствия во всей полноте? Таились ли они в интуициях примитивного права, которое с давних пор допускало в случае нанесения ущерба жизни или оскорбления чести жест самозащиты и санкционировало восстановление нарушенного статуса? Были ли они *implicite* уже в игре, когда люди боялись мести богов, увидев, что нарушили протокол в контактах между поту- и посюсторонним? Присутствовали ли они в ри-

²⁰¹ *Elias Canetti. Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942—1972. Frankfurt, 1976. S. 77.*

²⁰² См.: *Martin Heidegger. Aletheia (Heraklit Fragment 16) // Martin Heidegger. Vorträge und Aufsätze. Pfullingen, 1985. S. 249 f.*

* Перевод С. Власова.

туалах защиты от демонов или освящения зданий и территорий, благодаря которым отграниченные пространства приписывались к своим духам-хранителям при отказе прочим потенциальным магическим оккупантам? Пребывали ли они имплицитно в имаго сакрального германского королевства, когда достойному монарху было дано изобилие харизм — победная мощь, благотворное влияние на урожай, веселость и щедрость вождя, дальность предвидения, блеск честолюбия, дар исцеления своим присутствием? Можем ли мы косвенным образом допускать присутствие эффекта иммунной системы в том, что лютеровский Бог прославлялся как твердая крепость и доброе оружие? Поможет ли нам этимологическая справка о том, что латинское слово *immunis* первоначально означало не что иное, как «освобожденный от налогов и податей» (ранняя манифестация десолидаризации?), и, кроме этого, могло использоваться по отношению к лицу, свободному от воинской службы, — фон, на котором впоследствии сформировался юридический смысл иммунитета как неподсудности лиц, занимающих определенные политические посты?

Если мы представляем себе существование иммунных систем лишь в соответствии с их современной медико-биохимической артикуляцией, то на все эти вопросы следует ответить отрицательно. Ни в одно из вышеназванных измерений не включены иммунные системы в узко ограниченном смысле слова. Нигде не может идти речи о внутреннем сражении между микробами-инвазорами и принадлежащими системе антителами; никоим образом вышеупомянутые феномены не описывают операции системы эндокринологической регуляции. Тем не менее эксплицированный феномен биосистемного иммунитета отбрасывает длинную тень в прошлое: поле человечески релевантных представлений о целостности охватывает огромное количество «предложений», каким образом следует придать концептуальную, оперативную и ритуальную форму борьбе за нарушенную целостность и состояние порядка.

Уже дометафизическое мышление знает своего рода онтологию границ, тесно связанную с этикой обороны. Здесь в поле зрения попадает дотерриториальное понятие границы, интимно соприкасающееся с феноменом иммунитета: следует защищать не демаркационные линии земельных участков и территориальных владений, а объединенные одной одушевляющей энергией сообщества, которые очевидным образом складываются из центральной области и уязвимой периферии. Спонтанный плюрализм дометафизических чертежей картины мира считается с многообразием занимающих свои поля отдельных «сущих» или «субъектов силы» (оба эти выражения, естественно, неудачны, ибо деформированы позднейшей метафизикой), между которыми идет нескончаемая борьба за распределение ресурсов. И хотя эти очаги силы взаимодействуют друг с другом в намного более широком объеме, чем это имело место в более позднем, регулируемом посредством онтологических статусов эссенциальном космосе, где каждая «вещь», чтобы быть при деле, поставлена на свое «место», и здесь уже можно разглядеть перманентную драму разграничения.

Дометафизическое истолкование мира располагает герилья-онтологической концепцией мира как нападения и защиты. В ней еще нет большого панно универсума, на котором каждое отдельное сущее занимает свое место под властью господствующего логоса. Действительность представляет собой скорее *patchwork** из микродрам, флуктуацию стычек между множеством подвижных единиц. Атакующие силы ведут непрерывные бои с силами обороны; нашествия и изгнания захватчиков сменяют друг друга — идет бесконечная нерегулярная война энергий, в которой верх одерживает то одна, то другая сторона. Поэтому мудрость в таких условиях может выступить лишь в облике веселой науки о военной хитрости очагов силы. В ней в неявной форме предсуществует кон-

* Лоскутное одеяло (англ.).

цепция иммунитета (если мы признаем за ней какое-либо предсуществование), сведенная к принятию во внимание боеспособности той или иной силы. В таком мире, как вышеописанный, еще не существует заинтересованных в обобщении центров накопления знания. При таких обстоятельствах если различные знания и собираются в каком-либо одном месте с целью их демонстрации и мультипликации, то это происходит во время проведения таких агональных мероприятий, как состязания магов и соревнования певцов, — формах, у греков сохранившихся вплоть до эпохи трагедии.

После того как две с половиной тысячи лет назад начали возникать метафизические картины мира, с которыми, согласно Веберу, Шпенглеру, Ясперсу и прочим авторам, по праву или нет, ассоциируются такие понятия, как высокоразвитая культура и высокоразвитая религия, вопрос о предшественниках иммунных систем перемещается в другую плоскость: отныне их следует искать не в воюющих очагах силы, а в области внутреннего переживания, которая с недавних пор стала описываться как *psyche*.^{*} Там, где в метафизическом смысле речь идет о душе, уже произошла смена мотива истолкования внутренних сил, мобилизующихся для защиты и самоутверждения. Бели прежде локальные жизненные точки, или «субъекты силы», могли отстаивать свою территорию от вторжений интервентов благодаря наличию у них способности обороняться и переходить в контрнаступление, то отныне речь идет скорее о неких имманентных, формальных константах, усиливающих так называемые души во время пограничной войны с соседними душами и не-душевым. В понятии *psyche* и его производных было найдено в высшей степени плодотворное предложение для латентной формы иммунитета в метафизическую эпоху. Оно подразумевало переориентирование оборонительной силы на сохранение формы; не случайно первич-

* Душа (грек.),.

ным атрибутом души в этом режиме является ее «бессмертие» — выражение, правильно оцениваемое лишь в случае, если в нем слышатся такие коннотации, как «неподверженность деформациям» или «коррозийная стойкость». Получив этот выигрыш во внутренней стабильности, *homo metaphysicus** мог более экспансивно и предприимчиво, чем любой анимист в своих локальных битвах, реагировать на экзистенциальные риски своего положения в мире. Таким образом, иммунная функция правильно понятой психической формы состоит в следующем: обладать бессмертием и предоставлять его. Лишь благодаря этому она позволяет индивидам вознестись над пространствами своих относительных связей.

Именно поэтому истине, как ее понимают философы, первые иммунологи бытия, приписывается в истории метафизики столь выдающаяся ценность: поскольку *aletheia* (несокрытость, непотаенность) по своей глубинной структуре есть то же самое, что и *immunitas*, необязанность, невовлеченность в общие судьбы и задачи (*munera*) смертных, она (теми немногими, кто ее знает) может восприниматься как наивысшее благо. В соответствии с этим открыть истину означает постичь неповседневное основание неуязвимости жизни. Поскольку истина остается истинной даже там, где ее не замечают или оспаривают, знающие обладают причастностью к ее трансцендентной стабильности. Исходя из этого может быть объяснено возникновение предпосылок, позволивших вознести понятие Бога на сверхрациональную высоту. Отныне Бог — это название для решения проблемы, которая не по плечу человеческому интеллекту: какой должна быть универсальная иммунная система, которая в то же время функционировала бы как универсальная общественная система? Теперь нам понятно, что этот вопрос указывает на глубинную структуру формулы «Бог и мир». Лишь Бог может знать, как спасение (или иммуни-

* Человек метафизический (лат.).

зация) всех вещей (в Боге) можно мыслить вместе с реальной связью вещей (в мире, на площадке взаимного потребления). Тот, кто ищет строгое понятие оптимизма, найдет здесь его дефиницию: оптимистичным является предположение, что существует такого рода объемлющее.

Еще Гёте в своем стихотворении о «чеканной форме, что развивается, живя» признавался, что сохраняет веру в решение загадки иммунитета: сопротивление формы заботится о том, чтобы ни время, ни любая сила не были в состоянии разорвать то, чей облик отчеканен вечностью и является во временном; вечные истины в аристотелевском смысле. В результате переориентации оборонительной силы на обеспечение сохранности формы возникает новый архетип мудреца и праведника, благодаря сбережению душевной формы достигающего иммунитарного оптимума. *Integer vitae scelerisque purus / non eget Mauris iaculis neque arcu...*²⁰³ «Кто душою чист и незлобен в жизни, / не нужны тому ни копье злых мавров, / ни упругий лук»,* — в этих строках Горация высказывается эпохальная идея иммунитета как социальной неуязвимости и незапятнанности преступлениями. Мудрец, как тот, кто логически последователен и морфологически праведен, благодаря полному согласию со своей душевной формой не нуждается ни в каком оружии. Теперь целостность подразумевает сохранение формы.²⁰⁴

То, что это следует понимать не с точки зрения современного, выродившегося в пустую схему понятия формы, а в смысле ее плероматического понимания как сущности способности быть целым какой-либо вещи или жизненной ситуации, *per analogiam*** проявляется также и в римском юридическом термине *integrum*, обозначавав-

203 Квинт Гораций Флакк. Оды. I, 22.

204 в процитированном стихотворении речь идет прежде всего о неизменности любви поэта, являющейся ответом на не зависящее от климата очарование возлюбленной.

* Перевод с латинского А. Семенова-Тян-Шанского.

** По аналогии (лат.).

шем неприкосновенность охраняемой правом жизненной единицы. В соответствии с этим задача осуществления правосудия римско-староевропейского типа есть задача терапевтическая, поскольку ему приходится иметь дело с защитой от травм и восстановлением невредимости «вещей», вследствие чего римское судебное слушание *par excellence* представляет собой процесс о возмещении ущерба. Однако, обращаясь к функциям, связанным с обеспечением целостности, римское право соотносит их не столько с «формой» (остающейся скорее мотивом) речей в греческо-философском стиле, сколько с *ius civile*,* той привилегией, которая гарантировала свободным римским гражданам и приравненным к ним на территории империи лицам жизнь под защитой формальных процедур развернутого судебного процесса. Не случайно в критические моменты Павел с помощью своего *civis romanus sum*** апеллировал к иммунной функции римского судопроизводства (с тем результатом, что его главный процесс был перенесен в Рим и там доведен до конца).

С самым масштабным и радикальным преобразованием понятия души мы встречаемся в концепции мировой души, сформулированной в позднем платоновском диалоге «Тимей». Она представляет собой кульминацию античных предложений артикуляции иммунологически релевантных ситуаций. Тот, кто говорит о мировой душе, повествует о принципах духовной обороны и защиты от потерь смысла и формы на самой высокой ступени. На примере этой концепции можно видеть, что стоит за метафизическим понятием души в аспекте ее интегрирующих и защитных для одушевленного функций. Согласно рассказу ученого Тимея, при сотворении мира демиург руководствовался соображением (*logismós*) создать творение, которое в силу своей совершенной формы и структуры не будет подвержено никакому разложению:

* Гражданское право (лат.).

**Я — римский гражданин (лат.).

«По такой причине и согласно такому усмотрению он построил космос как единое целое, составленное из целостных же частей. Совершенное и непричастное дряхлению и недугам... В самом деле, живому существу, которое должно содержать в себе все живые существа, подобают такие очертания, которые содержат в себе все другие. Итак, он путем вращения округлил космос до состояния сферы... Всю поверхность сферы он вывел совершенно ровной... Так, космос не имел никакой потребности ни в глазах, ни в слухе, ибо вне его не осталось ничего такого, что можно было бы видеть или слышать. Далее, его не окружал воздух, который надо было бы вдыхать».^{205*}

За конструированием совершенно круглого мирового тела следует присоединение к нему души, о которой говорится, что она внедряется в центр мирового тела, пронизывает Вселенную на всем ее протяжении и даже окутывает тело космоса снаружи. Из этого последнего указания следует, что не душа находится в теле, а тело в душе, ибо содержащее всегда благороднее содержимого.²⁰⁶ По своему внутреннему составу арифметически скомпонованная душа находится посередине между природой неделимого «тождественного» (*taüton*) и природой «иноного» (*hèteron*), претерпевающего разделение в телах. В силу этого ерединного положения душа мира обладает двойной способностью к ассимиляции: с чем бы она ни сталкивалась — с неделимым тождественным, всегда остающимся равным самому себе, или делимым иным, чувственным и становящимся, — она в состоянии полностью вобрать в себя как одно, так и другое, и на основании соразмерной причастности к обоим давать истинные сведения о том, с чем она входит в соприкосновение.

²⁰⁵ Платон. Тимей. 33 а.

²⁰⁶ Об истоках, развертывании и катастрофе метафизики объемлющего см.: Сферы. Т. II. Гл. 5. С. 466—583.

* Перевод С. Аверинцева.

Платоновская мировая душа представляет собой совершенную познавательную среду, одновременно образующую иммунную систему, которая также совершенна, ибо благодаря своей составной природе она в состоянии полностью абсорбировать оба вида первичной «информации»: тождественность и инаковость вместе с их производными и смесями. Все, что ей «встречается», в ней уже заранее сформировано и осознано; поэтому ее ничто не способно поразить и травмировать. Ее иммунная функция состоит в том, что она предвосхищает любую информацию, любую инвазию, любую травму; она *a priori* свободна от необходимости обороняться от какого бы то ни было возможного чуждого, поскольку не может пострадать ни от чего внешнего, чего бы уже не было в ее собственной программе. Если при аутизме смертных для защиты от внешнего возводится «пустая крепость», то совершенный аутизм метафизически истолкованной души обладает свойствами крепости, заполненной всем. То, что желало бы в нее проникнуть (хотя из какого внешнего оно бы приходило?), уже в ней содержится. С возвышенной обстоятельностью Платон рисует фантастическую картину живого разума, которому за свою восприимчивость и чувствительность уже не приходится платить собственной подверженностью травмам, деформациям и разрушениям: «мировая душа» подразумевает чувствительность, замкнутую на самое себя, для нее исключена любая внешняя, потенциально болезнетворная или гетерономная «информация». Как мировое тело должно обладать абсолютно гладкой поверхностью, поскольку оно не имеет никакой окружающей среды, существует независимо от какого бы то ни было внешнего и не знает никакого обмена веществ, так и мировая душа круговращается исключительно в себе самой, ибо по причине своей насыщенности всяким тождеством и всяким различием она не нуждается ни в каком обучении — разве что в каком-либо внешнем импульсе для актуализации воспоминания. Подобно биохимической иммунной системе, кото-

рая разделявалась бы со всеми возбудителями любых болезней, поскольку в нее была бы заложена программа распознавания и нейтрализации каждого из них, мировая душа справляется с любым опытом, ибо благодаря своему оснащению прообразами тождественного и иного она заранее знает любую новость. Она — совершенный аппарат познания, редуцирующий все якобы новое к уже известному.

Ретроспективный взгляд на формально-метафизическую экспликацию души в ее высшем психокосмическом облике весьма плодотворен, ибо ее рассмотрение позволяет понять, чего при таком порядке вещей следует ожидать от душ меньшего формата, народных, городских, семейных и *last but not least** * индивидуальных душ. Мировая душа — это название для супериммунитета, причастность к которому дает индивиду широкие и надежные гарантии — с тем критическим ограничением, что защитное действие психической формы никогда не сможет быть распространено на шаткий сегмент существования, телесное и эмпирическое измерение. Как известно, платоновский иммунитет ограничен «царством умопостигаемого», вследствие чего непрочные чувственные тела только временно — пока в них присутствует душевное — остаются в форме. Платоновская философия вполне логично характеризуется как школа разрыва, в которой первым делом изучается различие между прочным и бранным. Поэтому Сократ мог безо всякой иронии учить, что философ еще при жизни должен быть как можно более мертвым.²⁰⁷ Смерть есть своего рода анализ — разложение связанного телом единства тождественности и инаковости с целью возвращения тождественного компонента в резервуар чистых форм.

Оглядываясь назад, мы видим, что метафизический интерес к бессмертному был одной из неявных форм

207 Федон. 61 с 2—69 е 5.

* Последнее по списку, но не по важности (англ.).

позднейшей заботы о технически сформулированном и реконструированном иммунитете, поскольку в проекте «метафизика» дает о себе знать стремление защитить жизнь от того, что враждебно жизни в самой жизни. Бегство к форме было поиском защиты от тех травм и искажений, которые неразрывно связаны с риском бытия; более того, оно есть действие, направленное против конечности как таковой. Эта версия заботы о вечности жизни (Хайдеггер под влиянием Ницше даже хотел увидеть в ней *ressentiment* тех, кто отказывается мириться с текущим временем) очевидным образом основывалась на возвышенном отождествлении жизни с формой, — отождествлении, давшем толчок представлению, что жизнь лишь потому жива, что причастна к некоему более высокому регистру, регистру духа. Недаром его называют жизнью жизни. Человек может избавиться от своей бренности лишь тогда, когда ему покровительствует субстанция, которая не может умереть, ибо она пребывает по ту сторону различия между смертью и жизнью. Достаточно провозгласить о причастности живого к этому субстанциальному слою, чтобы уже на этом основании вывести из жизни способность-не-умирать. Таким образом, операцию «бессмертие» можно считать достигшей своей цели.

Эта операция могла быть успешной лишь благодаря методическому уходу от вопроса о том, действительно ли жива этернизированная жизнь, или же тот, кто так утверждает, лишь навязчиво рекламирует переименованное мертвое. Если мы будем исходить из последнего предположения, то диагноз выигрывает в правдоподобии: метафизическая «иммунная система» использует особый вид мертвого — будь то дух, форма или идея — в качестве защиты от смерти и всех прочих витальных рисков, в свою очередь рискуя под предлогом спасения жизни заранее выдать ее тому, что ей прямо противоположно. Тайна метафизики... Не состояла ли она в отождествлении форм с сущностью жизни? И не вытекал ли из него некий паравитализм, предписывавший отдать жизнь под защиту не-

ккой более высокой жизни, а в действительности подчинявтий ее мертвому, или духовному (точнее, тому, что не может умереть, поскольку оно никогда не жило), царству чисел, пропорций, идей, чистых форм (и смертельных упрощений)? Атанатический паравитализм наделяет мир форм опытом полноты и счастья, заимствованными из брэнной сенситивной жизни и проецируемыми на эту после-жизнь, словно он может быть воспроизведен в некоем избранном вневременном «где-то», освобожденный от своей печальной оборотной стороны.

Метафизически кодированная концепция души на протяжении тысячелетий представляла собой самое убедительное предложение, в котором артикулировался интерес к антикоррупционной программе для брэнного живого. Она стала первым всеобъемлющим антибиотиком и анальгетиком. Ее сила заключалась в способности допускать как самые популярные, так и самые тонкие интерпретации; радиус ее действия простирался от арациональных представлений о возбуждениях и энергиях до умопостигаемого уровня математических ангелов. Как бы ни была далека метафизически интерпретированная душа от современного представления о циркулирующих в организме, специализирующихся на защите от микробов патрулей антител и об эндокринологическом щите, она связывала сенситивно-мобильный уровень эмпирической витальности с защитными и берегущими стабильность функциями некоего метавитального уровня форм. Если философия когда-либо и несла утешение, то это именно то утешение, которое берет начало в иммунном воздействии таких рассуждений о форме.

Тем не менее нельзя не заметить, что представление о мировой душе в своем этическом аспекте представляло собой полную противоположность представлению об индивидуальной иммунной системе: в метафизическом режиме индивиды следуют своего рода холистической инструкции, обязывающей их жертвовать своей независимостью и подчиняться власти некоего общего плана;

спасение здесь приносят исключительно связь с целым и преданность объемлющему. Поэтому для метафизического порядка конститутивной является пронизывающая все и вся пропаганда антиэгоизма: поскольку считается, что способность быть целым присуща единичному в силу его причастности к формам и всеобщностям, индивиды с самого начала оказываются под подозрением, что они незаконным образом могут возжелать поставить свое Я выше целого. Метафизика в большей степени защищает целостности от свойственных индивидам порывов, чем индивидов от сопровождающих их жизнь рисков. Ее пафос — рассматривать существование исключительно под знаком больших симбиозов. Она желает облегчить не жизнь индивидов, а их смерть. Концепция всеобщей души агитирует за снятие малого в большом с теми неискоренимыми смысловыми и эмоциональными коннотациями, которые излучает концепция обращенного к универсальному организма и к которым добавляются дополнительные обертоны известного панфамилиализма. Там, где всё корреспондирует со всем в некоем благом целом, всё находится со всем в дальне-интимном родстве. То же, что по своей глубинной структуре пансимбиоз представлял собой пантаназию, примечательным образом долго оставалось скрытым за эффективностью возвышенных речей о всеобщей связи вещей.

Мы не получим никакого адекватного представления о динамике новоевропейской истории идей, пока не обратим внимание на ее главный скрытый мотив: второй шанс Платона. Ренессансное мышление очень быстро ответило на результаты новой эмпирии, взрывавшие картину мира (экспедицию Колумба, плавание Магеллана, раннюю земную глобографию, картографирование мира, вскрытие трупов, зарождение химии и расширяющееся машиностроение), патетической реанимацией платонической натурфилософии и вторым изданием античного панпсихизма и панорганицизма. А следовательно, часто

упоминающегося «расколдовывания мира» современными науками никогда не было, как не было и его мнимого нового околдовывания виталистическими и неорелигиозными движениями, — скорее, в новоевропейском мытлении с самого его начала полемически-копродуктивно сливались с друг с другом (и продолжают сливаться и по сей день) механистические и панпсихические мотивы.

В 1612 году Джон Донн в своем стихотворении «An Anatomy of the World»* предположил, что пришло время оплакивать смерть мировой души. Он имел в виду закат дохристианского благоговения перед космосом, которое и после своего христианского преобразования желало видеть в универсуме некое живое целое. Траурное стихотворение, несомненно, содержит в себе ответ на первые результаты начавшегося процесса механизации. Однако своим стихотворным некрологом *anima mundi*** поэт дал мощнейшее перформативное доказательство жизненной силы оплакиваемого. В его время космотеистические элементы греческого истолкования природы в своей критической функции уже вновь вошли в современный обиход (пусть и под разнообразными псевдонимами). Чем дольше продолжалось триумфальное шествие посткартезианского и постгоббезианского механицизма, тем увереннее должна была выходить из тени их виталистически-панорганологическая альтернатива, как правило, отчетливо сознававшая свою связь с родственной системой платонических учений о всеобщей душе. Эта линия протянулась от флорентийского платонического ренессанса конца XV столетия до пансофов и магов эпохи барочного универсального знания и до кембриджских платоников. От них тонкая цепочка тянется дальше, до различных версий пантеизма гётевского времени, а также романтически-натурфилософского крыла немецкого идеализма вместе с его следами в эклектичных системах спекуля-

* «Анатомия мира» (англ.).

** Мировая душа (лат.).

тивно-позитивистских истолкований природы, характерных для XIX столетия. Эти расходящиеся успешные линии популярного платонизма ответственны за то, что в устах прекраснодушных мыслителей эпохи Просвещения слова «вселенная» и «душа» стали синонимами. Однако уже нечто большее, чем простой оборот речи, было в словах Гегеля, в его знаменитом письме Нитхаммеру от 13 октября 1806 года: он заметил, что видел императора Наполеона — «эту мировую душу», индивид, «который, сконцентрировавшись в одной точке, сидя на лошади, объемлет мир и господствует над ним».²⁰⁸

Из импульсов поэтического пантеизма рубежа XVIII—XIX веков и (используя выражение Фехнера) «ночной» герменевтики, пережившей рассвет в 1810—1850 годах,²⁰⁹ к началу XX столетия вновь сформировались своего рода общеевропейские климатические условия для позднееоплатонического поворота в сторону мировой души и популярно-пантеистической органицистики, в которой слово «жизнь» произносилось как наполненное священными тайнами признание. Излишне говорить, что характер этой позиции благоговения перед жизнью во многом объяснялся наличием у нее противника, ни на мгновение не отказывавшегося от своих притязаний.

Изо всех сил ее приверженцы протестовали против характерного для механистически-капиталистической картины мира прогрессивного истолкования природы как индустриального ресурса и источника сырья. Это истолкование, после того как заявил о себе прекрасно знакомый с его принципами технико-прагматический проект мира, превратилось в почти что господствующее учение.

²⁰⁸ *Briefe von und an Hegel. Bd 1 / Hrsg. von J. Hoffmeister. Hamburg, 1969. S. 120.*

²⁰⁹ 0 ее магнетопатическо-психоаналитическом крыле см.: Сферы. Т. I. С. 213 и сл. Масштабное описание этого течения в целом см.: *Bertrand Méheust. Somnambulisme et médiumnité (1784—1930). T. 1: Le défi du magnétisme animal; T. 2: Le choc des sciences psychiques. Paris, 1999.*

В этом отношении симптоматичным является заключительное видение в свое время весьма популярной книги «Старая и новая вера» (1872), вышедшей из-под пера экс-теолога и великого немецкого филистера Давида Фридриха Штрауса, опьяненного своим представлением о современном мире как о планетарном фабричном цехе. В англосаксонском мире эта позиция нашла параллель в умонастроениях утилитаристов и оптимистов, для которых слово «фабрика» была не столько метафорой мира, сколько фактической реальностью, с которой люди находятся в непосредственном контакте как собственники, сотрудники и покупатели. Не страшась упреков в филистерстве, они с помощью своей либеральной пропаганды промышленного разума отражали натиск притязаний романтически-целостного мироощущения, враждебных аналитическому мышлению.

И все же: история идей второй половины XIX столетия во многих отношениях могла быть изложена в форме репортажа о разочарованном пантеизме,²¹⁰ но лишь глубокий шрам, оставленный Первой мировой войной, завершил катастрофу новоевропейской рецепции идеи мировой души. И тот факт, что она упорно продолжает жить в некоторых квиетистских субкультурах, ничего не меняет. Даже ее терапевтическое использование осталось уделом маргиналов и не способно возратить ей какую-либо значимую в культурном отношении силу. Деанимистический поворот был подготовлен натуралистическим разложением пантеизма, которое в целом завершилось уже к рубежу XIX—XX веков, хотя современники едва ли осознавали этот факт. Уже давно разговор о природе как о некоей силе перестал быть вариантом поэтического интегристского утопизма гётевской эпохи; он уже не был связан и с раннеромомантической гипотезой о целительной силе господствующего до всякого Я бессозна-

²¹⁰

См.: *Werner Weiss. Enttäuschter Pantheismus. Zur Weltgestaltung der Dichtung in der Restaurationszeit. Dornbirn, 1962.*

тельного. Теперь он скорее подчинен «темным» изменениям секса, энергетики инстинкта, воли к власти и жизненного порыва.²¹¹ Тем не менее и помрачневшие натурфилософии рубежа XIX—XX веков могут восприниматься как метастазы доктрины мировой души. В некоторых из этих новых натурметафизических систем Бог и мировая душа заменялись такими фигурами, как «мировое дыхание»,²¹² «океаническое чувство», первичное различие между Я и миром и прочими псевдонимами «принципа жизни». Лишь после неопрагматической цезуры 20-х годов XX столетия становится убедительной та модернизированная с помощью теории иммунитета и окружающего мира холодная онтология, которая должна предполагаться, когда всеобщего признания добивается картина природы и общества как совокупности полемически отграничивающихся друг от друга, самосохраняющихся единиц, каждая из которых создает для себя свой «окружающий мир». В этих условиях на передний план выходит мотив холода.²¹³

Здесь, как обычно, следует остерегаться категоричных тенденциозных высказываний: даже тот, кто не замечает механистических и функционалистских признаков логики и настроения XX столетия, должен обратить внимание на обстоятельство, что некоторые из важнейших рудиментарных реинкарнаций идеи мировой души относятся к эпохе мировых войн, — мы имеем в виду психокосмологическую систему Альфреда Н. Уайтхеда, самым изысканным образом изложенную в вышедшей в 1929 году книге «Процесс и реальность», а также поэтизированный платонизм Германа Броха, во всей своей ра-

211 См. выдающееся исследование Вольфганга Риделя: *Wolfgang Riedel. «Homo Natura». Literarische Anthropologie um 1900. Berlin; New York, 1996.*

212 См.: *Karl Joel. Seele und Welt. Versuch einer organischen Auffassung. Jena, 1912.*

213 См.: *Helmut Lethen. Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen. Frankfurt, 1994.*

дикальной несвоевременности разворачивающийся в его позднем романе «Смерть Вергилия» (1945). В этом произведении классическая метафизика превращается в космопоэтику дыхания.

Европейское Новое время в целом представляет собой картину сверхинновационной и дерегулированной цивилизации, в которой, постоянно провоцируя друг друга, в антагонистическом слиянии сосуществуют культура веры в мировую душу и культура механистического прогресса, — причем линии фронта постоянно перемещаются и нередко, как показывает пример Ньютона, Пересекаются в одной и той же фигуре. Они образуют две культуры, антитеза которых начиная с XVII столетия придает динамику европейской истории идей. Известное исследование Чарльза Перси Сноу о литературном и технико-естественнонаучном разуме дает лишь весьма обедненную, зажатую между зубцами академической башни из слоновой кости картину этого взаимодействия.²¹⁴

214

Ch. P. Snow. Die zwei Kulturen. Literarische und naturwissenschaftliche Intelligenz. Stuttgart, 1967. В весьма информативной работе по английской истории идей XVIII века, принадлежащей Зигмунду Бонку (*Sigmund Bonk. Abschied von der anima mundi. Die britische Philosophie im Vorfeld der Industriellen Revolution. Freiburg; München, 1999*), избрано слишком узкое направление исследования, чтобы она могла продемонстрировать долговременную оппозицию механицизма и веры в мировую душу. Впрочем, обрисованная нами точка зрения двух культур, со своей стороны, сводится к некоему единому измерению, поскольку новоевропейский неогнозис, как своего рода третья культура, отвергал как механицизм, так и панпсихизм, чтобы вырвать человека из целостного мирового контекста и подчинить его некоему Целостному Иному. Своей кульминации эта тенденция достигает в творчестве Карла Барта, который, разумеется, мог прийти к своей *íóía/ííer-a/ííer*-теологии лишь вследствие односторонней интерпретации традиции, не в последнюю очередь вследствие пренебрежения космотеистическими аспектами доктрин Святого Духа, — хотя нельзя не отметить, что безоговорочное отождествление мировой души с третьей ипостасью Троицы было неприемлемым для ортодоксии (см. обвинения, выдвинутые на процессе против Джордано Бруно); см.: *Henning Ziebritzki. Heiliger Geist und Weltseele. Das Problem der dritten Hypostase bei Origines, Plotin und ihren Vorläufern. Tübingen, 1994.*

Открытие иммунных систем и их включение в экологию знания современного «общества» предполагало такую общую культурную ситуацию, в которой на повестку дня вставало вытеснение классического холизма соответствующим духу времени рассмотрением организма в его окружающем мире. Лить в новой форме мысли могли быть отодвинуты в сторону как вопросы индивидуального настроения, метафизическое требование самоотдачи и поэтическая готовность слиться в объятиях со всеобщим. Лишь в такой ситуации мог освободиться путь для научного исследования эмпирических и функциональных условий целостности на уровне отдельного организма, без того чтобы этот способ рассмотрения был тотчас обвинен в аморализме или даже разлагающем влиянии на культуру. В процессе биологического исследования основ жизни обнаружилось пространство протекающей внутри организма бессознательной, доперсональной борьбы, перед лицом которой классический моральный холизм лишается всякой опоры. В той мере, в какой соматическая иммунная система является воплощением антимикробного защитного механизма, этот последний и его обладатель, индивид, «участвуют» в невинной обороне, которая уже не подлежит критике эгоизма со стороны этики целостности. К добродетели природы как способной к самосохранению системы относится умение бороться с интервентами и конкурентами за обладание одним и тем же биологическим пространством — особенно если симбиотические альтернативы исчерпаны.

Весьма примечательную двойственную роль в процессе перехода от холистически негативного к системно позитивному истолкованию самоотграничения индивида от целостно-окружающего сыграл венский психоанализ, ибо его основное учение о вытеснении травмы и позднейшая систематика защитных механизмов уже свидетельствовали о переходе к полуиммунологической точке зрения. Фрейд, с одной стороны, признавал психоорганизмическую неизбежность первичной защиты от невы-

носимых психических явлений, а с другой — ставил в центр своего клинического образа действий жизненно-историческую или терапевтическую целесообразность последующего снятия укрепленной защиты. Таким образом, в психоаналитической практике давали о себе знать остатки холистической этики: лишь тот, кто способен освободиться от фиксации на защитной структуре — неврозе — выполняет условия, необходимые для возвращения к неискаженному целостному восприятию своей экзистенциальной ситуации и тем самым — в придачу — к психическому выздоровлению. Ту же самую двойственность можно заметить и в психоаналитической теории нарциссизма, которая в первом чтении устанавливает у определенных индивидов перверсивную замкнутость на самих себя, однако впоследствии под рубрикой «первичный нарциссизм» производит позитивизацию аутоэротического измерения, предполагая, что оно представляет собой предпосылку удачной психоорганизмической интеграции. В истории концепции нарциссизма находит свое отражение цивилизационный поворот XX столетия, двигавшегося от стоических истоков к эпикурейскому устью, — смена акцентов, которую можно было бы интерпретировать как отпечаток, оставленный в моральном поле энтропией. В нашем контексте важно, что теоретические судьбы оказавшегося в состоянии эпистемологической обороны психоанализа повторяют драму экспликации, по ходу действия которой на подмостки выходит системно-иммунологическая парадигма.

Лишь после того как экспликация иммунных структур достигла достаточно высокой степени развернутости, появляются средства для описания современных обществ как многообразия производств иммунных пространств — или, возвращаясь к основной метафоре третьей части нашего романа о пространствах, — как *пены*. Когда Якоб фон Икскуль сформулировал тезис об ошибочности представления, что человеческий мир является единственной ареной для всех живых существ, он не просто

вывел биологические следствия из дефляции идеи мировой души, — он сделал шаг от монологической метафизики, истолковывавшей мир как моноконтекст и проецировавшей его на один-единственный глаз, к некоей плюралистической онтологии, принимающей во внимание столько миров, сколько есть видящих и ощущающих их глаз и иных сенсоров, а не прибегающей к помощи образа глаза всех глаз (или сенсора всех сенсоров). Лишь таким образом он мог прийти к уже цитировавшейся нами плодотворной констатации, что универсум «состоит не из одного-единственного мыльного пузыря, раздувающегося в бесконечность за пределами нашего горизонта (реплика посреди цитаты: лучшая характеристика метафизической деятельности, когда-либо дававшаяся вне соотвествующего цеха!), а из миллионов и миллионов строго ограниченных мыльных пузырей, которые повею-ду пересекаются и перекрещиваются».²¹⁵

Если исполнение желаний обычно представляет собой насмешку над первоначальными мечтаниями, то и метафизическое стремление должно быть готово к тому, что после своей экспликации в результате захвата власти техникой оно окажется опровергнутым своим успехом, — а может быть и так, что в случае успеха осуществление и пародия сведутся к одному и тому же. В современных судьбах идеи мировой души европейская духовная история принимает иронический оборот. Мы, представители новоевропейской культуры разума, хотели быть душами, а эксплицировали себя как пользователей иммунных систем; мы хотели быть причастными гарантиям неуязвимости, предоставляемым формой всех форм, а оказались рассеянными по множеству систем с их специфическими окружающими мирами. В высшей точке воодушевления идеей мировой души мы даже хотели спроектировать универсум, в котором всё коммуници-

²¹⁵ *Jacob von UexkütU. Kompositionslehre der Natur. S. 355.*

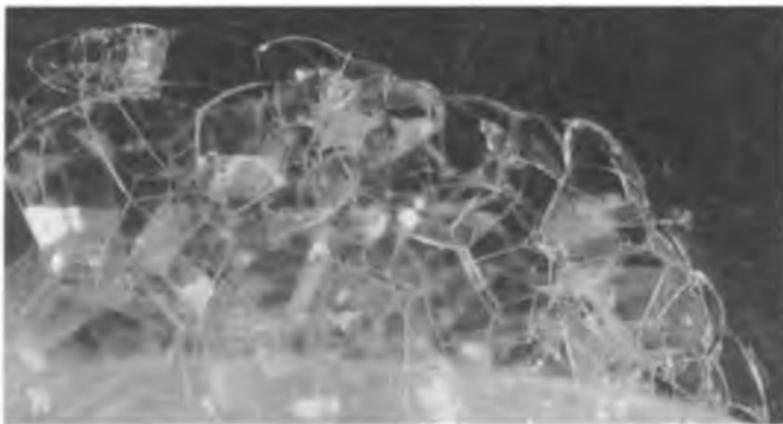
ровало бы со всем, а эксплицировало для себя мир, в котором почти всё воюет почти со всем.

Так как же отныне следует мыслить, если перед лицом этих артикулированных позиций системного знания мы хотим сберечь спасительный остаток прежде метафизически кодированного стремления к открытости, коммуникации и всеобщей связи?

5. ПРОГРАММА

В заключении этой экспозиции остается только транспонировать плюралистическую аксиому Иксьюля с биологического на метабиологический, а с него на культурно-теоретический уровень. Открытые биологами витальные «пены», эти многочисленные мыльные пузыри жизненных форм в их собственных окружающих мирах, еще не получили достаточно комплексного определения, чтобы характеризовать человеческие сферы по их специфическим признакам. Хотя им и присущ тот же признак, что и прочей жизни, — существование в пересекающихся и перекрещивающихся окружающих мирах, однако их онтологический статус отличается от статуса биологически интерпретируемых жизненных форм и пространств, границы которых охраняются аутогенной защитой и специфическими спасительными моделями.

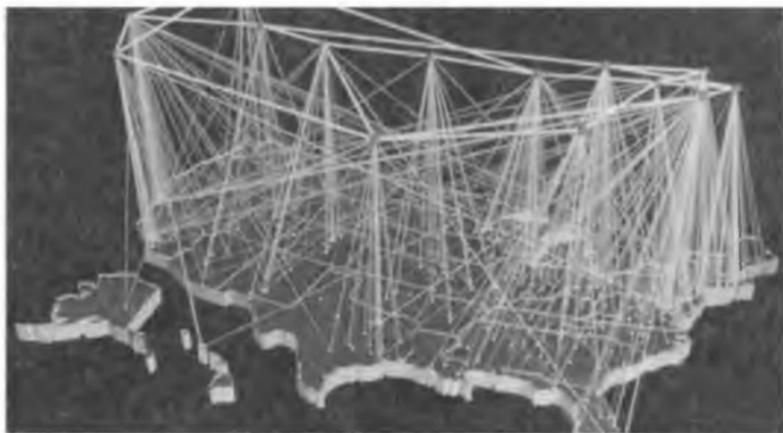
Пузыри в совокупности множеств человеческих пространств невозможно стабилизировать только оборонительными средствами; за их постоянство ответственна также и первичная способность к распространению, которую можно было бы описать с помощью понятий креативности и способности устанавливать связи, не подвергшись эти выражения серьезной инфляции. Задача, над которой нам предстоит поработать, состоит в характеристике множества собственных человеческих пространств как форм-процессов, при которых защита и изобретение нового переходят друг в друга, — в некотором смысле



Крупноячеистая мыльная пена.

как говорящей пены, как стремящихся за свои пределы иммунных систем. Нам предстоит показать, что человеческие «семьи», описываемые нами как ячейки в социальной пене, кроме своих оборонительных приспособлений используют и разнообразные механизмы экспансии, которые применяются для оборудования жилых резервуаров, плетения персонализированных коммуникативных сетей и, наконец, для создания определяемой пользователем вымышленной картины мира. Благодаря таким наблюдениям понятие иммунитета приобрело наступательные черты: от биохимического смыслового слоя оно поднимается к антропологическому истолкованию человеческого *modus vivendi* как самозащиты посредством креативности.

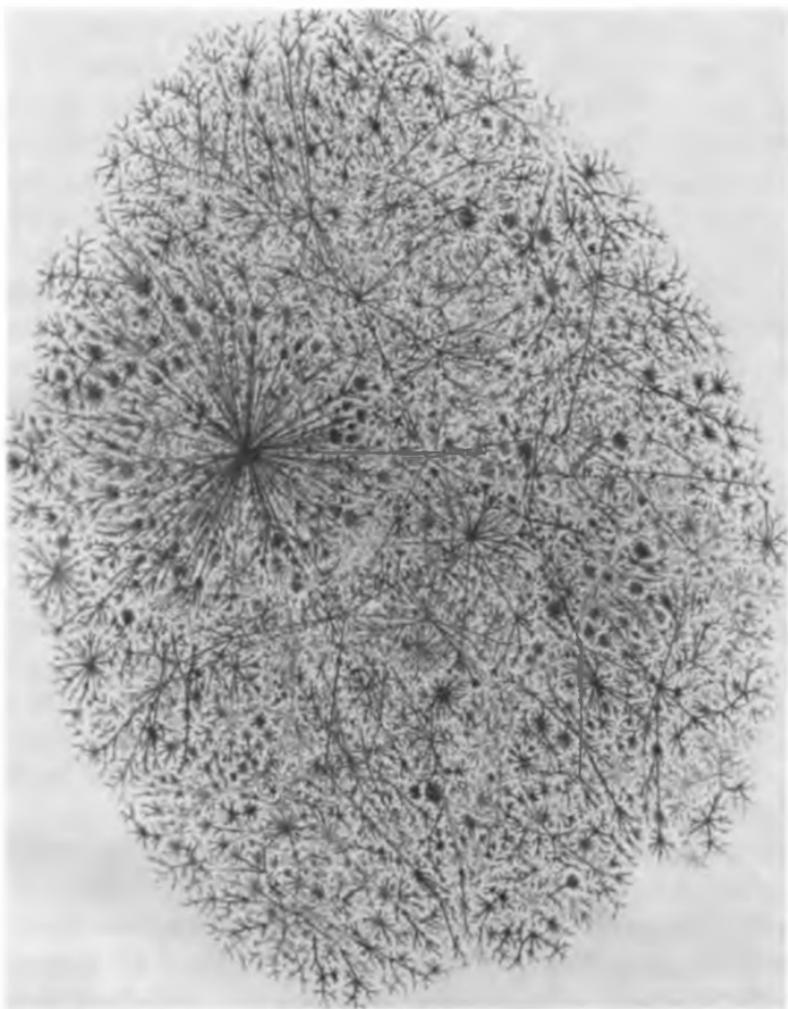
Таким образом, постоянная работа людей над собственными жизненными сферами есть первичная афроденная деятельность: они создают множества из пузырей, или «семей», концентрация которых в плотные группы близких соседей приводит к зримому эффекту штабелирования пространств, именуемому нами пеной. С помощью этого обобщенного понятия иммунных структуры от теории аутогенных защитных механизмов перекидываем мостик к теории эндоатмосферно защищенного



Донна Кокс и Роберт Паттерсон. *NSFNET Traffic Flows* (струи трафика NSFNET) над Северной Америкой.

пространства, а от нее — к теории культур как климатизирующих самих себя (а потенциально и отравляющих себя) единств жизненной формы.

Разговор о пене дает нам метафору, используемую в качестве выразительного средства для экспликации ставших предметом теории множеств соседних, вминающихся друг в друга, громоздящихся друг на друга иммунных импровизаций жизненных пространств. Она служит для философско-антропологической интерпретации современного индивидуализма, который, как мы убеждены, не может быть достаточно адекватно описан с помощью имевшихся у нас до сих пор средств. На теории пены основывается надежда на разработку некоей новой формы экспликации того, что в социологической традиции называется общественной связью или «социальным синтезом». Известные предлагавшиеся решения, представленные в таких концепциях, как теории разделения труда (Смит, Дюркгейм), концентрации капитала (Маркс), имитации и сомнамбулизма (Тард), взаимодействия (Зиммель), жертвы (Жирар, Хайнрих) или дифференциации и коммуникации (Луман), страдают тем общим недостатком, что они не дают адекватного описания ни про-



Билл Чезвик и Хэл Бёрч. Интернет-соединения в Северном полушарии.

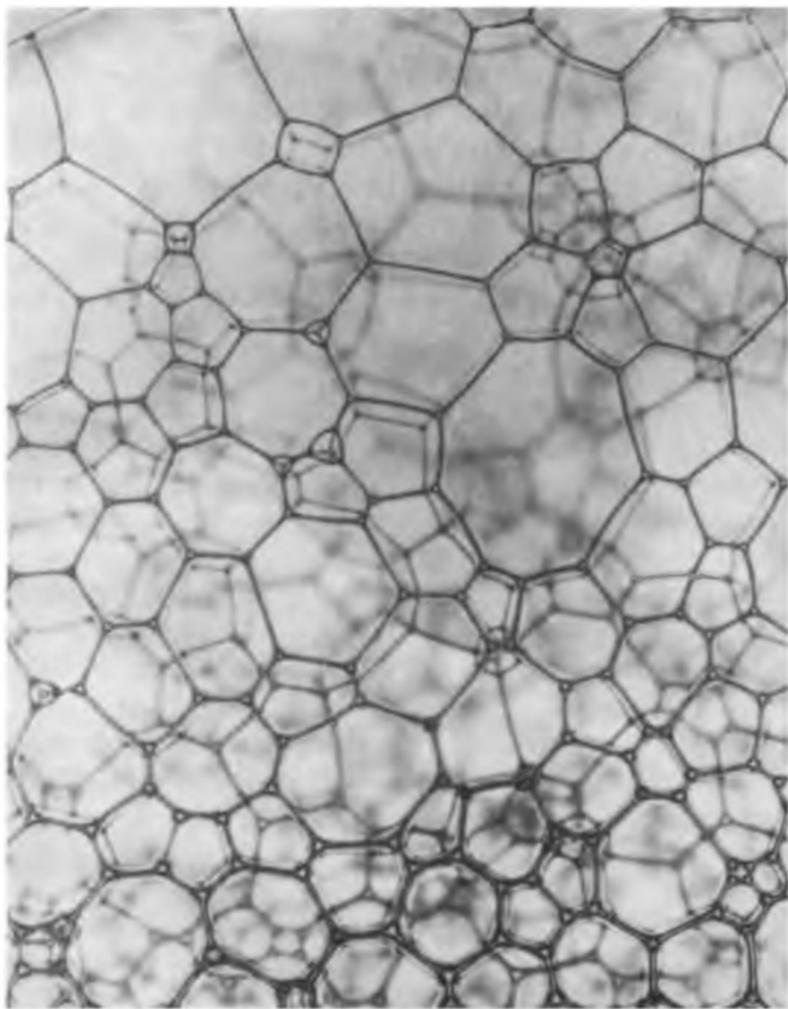
странственных качеств социальных ячеек, ни иммунно-системного характера первичных пространств.²¹⁶

Пенами называются спроектированные в соответствии с медиальными и психологическими правилами игры индивидуализма, находящиеся в тесном соседстве,

²¹⁶ См. ниже Переходную главу «Не конвенция, не вегетация».

полупрозрачные друг для друга пространственные множества; они названы так еще и потому, что нам необходимо подчеркнуть их уникальность, не оценивая при этом их хрупкость в качестве какого-либо недостатка, негативно влияющего на жизненные функции их обитателей. Важнейшим признаком индивидуалистических жизненных форм является необходимость создавать пространственные образования в такой мировой ситуации, которая в силу своей крайней подвижности постоянно предъявляет чрезмерные требования как к врожденным, так и к благоприобретенным иммунным структурам. Стабильность через ликвидность — формула постмодерна ведет нас непосредственно к самому ядру всеобщей иммунологии. Никогда прежде обеспечение самоутверждения не зависело от столь многих дополнительных функций, не связанных с решением сугубо оборонительных задач. Становится ясен иммунологический смысл креативности: она служит тем энергиям, благодаря которым открываются конкретные жизненные сферы и сохраняют форму локальные импровизации. Не заботься о креативности следующего дня; достаточно того, чтобы каждый день обладал своим собственным порывом.

Метафора пены позволяет наглядно представить топологический порядок креативно-самосохраняющего создания жизненных пространств. Она напоминает не только о тесном соседстве хрупких единиц, но и об обязательной замкнутости каждой ячейки пены в себе самой, пусть даже эти ячейки способны существовать лишь как пользователи общих разделительных сооружений (стен, дверей, коридоров, улиц, оград, пограничных строений, окон, средств коммуникации). Таким образом, образ пены указывает как на кофрагильность, так и на коизоляцию ассоциированных в тесные союзы единиц. Коэкзистенцию следует мыслить как коинзистенцию: нигде этот тезис не был столь четко и технически совершенно артикулирован, как в некоторых концепциях пространственного разъединения и соединения современной архитектуры,



При образовании растительных эмбрионов толщина стенки клетки указывает на старение.

прежде всего в формуле *Connected Isolation*,* предложенной американской архитектурной группой «Морфозис» (основанной в 1974 году Томом Мэйном и Мишелем Ротонди). Понятие коинзистентных систем подчеркивает

* Связанная изоляция (англ.).

одновременность соседства и разъединенности — ситуацию, без осмысления которой современные «общества» останутся непонятыми. Для адекватного в социально-морфологическом отношении описания жилых сооружений, многоквартирных домов и населенных пунктов необходим инструментарий, позволяющий принимать во внимание коинзистентную коэкзистенцию и связанную изоляцию обитаемых сферических единиц. Концепция коизоляции в пене позволяет нам избежать заблуждений, вызываемых метафорой сети, с помощью которой слишком многие авторы обещали слишком многое, как правило, не замечая, что, говоря о сетевой связи, они обращаются к некоей ошибочной графике и чересчур редуцированной геометрии; вместо того чтобы подчеркивать наличие собственного пространства у вступающих в связь коммуникаторов, образ сети внушает представление о непротяженных точках, пересекающихся соединяющими их линиями, — об универсуме для ловцов данных и аноректиков.

Образ пены подчеркивает собственный объем коммуницирующих единиц. С его помощью мы можем если не понятийно, то по крайней мере наглядно представить относительную автономность производства смыслов и его отделение от социальных функций. Эту возможность использовал Никлас Луман, указывавший: когда распадается общественная структура и общественная семантика, возникает «пена». В дискурсе теории систем фигурирует выражение, используемое для обозначения эффекта инфляционных производств смысла, растущих без тесной привязки к социальным функциональным императивам. В этом смысле семантика, подобно музыке, представляет собой некую демоническую область; она ведет нас в царство, в котором индивиды и группы существуют только вместе со своими идеями, своими установками и своими глубинами. Ни одна внешняя норма реальности не способна эффективно контролировать своеобразные оттенки их речи; ни один фильтр истины не может надежно отде-



Филипп Паррено. *Speech Bubbles* (Говорящие пузыри).
1997 г. Публикуется с разрешения Air de Paris, Париж.

лить в сказанном прочное от непрочного.²¹⁷ Без распада общественной структуры и семантики «общества» не предоставляли бы своим членам опыт свободы, ибо функция дисфункционального как раз и состоит в раскрытии пространства для индивидуального. Лишь там, где возникает пена в лумановском смысле, впервые появляется свобода, понимаемая как эмансипация индивидов от обязательного совместного функционирования и как освобождение речи от заполнения формуляров для истинных высказываний. С этой точки зрения не является ли «искусство общества» в целом царством пены — поразительным не-примыканием к реальному в точно обозначенном, открытом для отступления месте? И не подчиняется ли современное «общество» в целом закону растущего высвобождения капризов и роскоши?

С семантико-критической точки зрения пену можно сравнить с ментальными бумажными деньгами, которые эмитируются, не обеспечиваясь вещественными и функциональными ценностями (экономики, науки, политической системы и официальных судебных и административных процессов). Популярное выражение «словесные пузыри»^{*} достаточно близко подходит к этому пониманию: оно подразумевает использование частных языковых и экспрессивных средств, в которых с самого начала заметен перевес перформативного и автологического по сравнению с любой возможной объективной предметной связью. Попугаю из «*Zazie dans le métro*»^{**} это было совершенно ясно еще полвека назад: *Tu parles, tu parles.*^{***} Как только мы устанавливаем, что (и почему) функциональные системы функционируют, а смысловые системы пенятся, нам приходит в голову, что сопутствующим

217 Озабоченность этим отделением Жак Пулен разделяет с Арнольдом Геленом; см.: *Jacques Poulain. De l'homme. Eléments d'anthropologie du langage.* Paris, 2001.

^{*} *Sprechblasen* — «облака» вокруг голов персонажей комиксов, в которые заключены их реплики или мысли.

^{**} «Зази в метро» (*фр.*).

^{***} Ты говоришь, ты говоришь (*фр.*).

щую производству смысла инфляционную тенденцию следует оценивать не столько как невнимание к логической норме, сколько как выражение влечения к обладающему своим собственным значением фантазированию, которому следуют говорящие существа, становясь — индивидуально или в группе — «оригинальными». В прошедшем столетии оно необоснованно дискредитировалось, характеризуясь как «безбрежная область глупостей освобожденной субъективности».²¹⁸ Если мы признаем, что «оригинальность» или, точнее, микроманиакальная компетенция (вплоть до китча и бреда) обладает аутоиммунизирующим эффектом и создает собственное пространство, то конститутивная речь-не-о-реальности большинства человеческих высказываний, даже представляющая собой явную галлюцинацию, может интерпретироваться как указание на успешное освоение индивидами и небольшими группами своего собственного своеволия. Оригинален тот, кто носит то, что сплетено им самим. Здесь возникает вопрос: может ли стабилизация микропространственных единиц такого типа рассматриваться как деятельность, совместимая с культурой? Еще более серьезной является проблема, обнаруживающаяся благодаря требованиям холистов: можно ли обоснованно требовать, чтобы индивидуированные пространства, в которых индивиды хозяйничают как племенные вожди своей мании (Аксель К. Шпрингер: «Если я и ненавижу какое-то слово, то это слово — "реальность"»), «раскрывались» в суперинституте универсума цивилизации?

Узы сходства, связующие соседей по региональной массе пены (которая в иных местах может быть описана как окружающая среда или как субкультура), не возникают ни благодаря совместной инспирации, ни благодаря языковому общению, а появляются вследствие миметической инфекции, в результате которой в популяции рас-

218 См. : *Arnold Gehlen. Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Bonn, 1956. S. 13.*

пространяется определенный *modus vivendi*, определенный способ проектирования и охраны жизненного пространства.²¹⁹ По словам Габриэля Тарда, подражание есть порождение на расстоянии — *génération à distance*.²²⁰ «Соседями» теперь называются те, кто применяет аналогичные стратегии иммунизации, использует сходные креативные модели, родственные жанры искусства выживания; из этого следует, что «соседи», как правило, живут вдалеке друг от друга и сходны друг с другом лишь благодаря подражательным инфекциям (сегодня: транскультурному обмену). Если между ними возникает успешное «взаимопонимание», если они высказывают похожие мнения или принимают общие решения, то потому, что они уже до того были инфицированы подражательным сходством и заранее синхронизированы действительными ситуативными и инструментальными аналогиями. Профессиональные переговорщики знают, что говорить друг с другом следует до тех пор, пока вследствие взаимной подражательной ассимиляции посредников не будет создан достаточный базис для заключения письменного соглашения. В этом смысле комнаты для переговоров следует рассматривать и как лечебные кабинеты — они представляют собой афрогенные пространства, в которых надуваются новые пузыри общности. Взаимопонимание посредством вербальных и прочих знаков паразитирует на предварительном взаимопонимании, устанавливаемомся благодаря сходным иммунным и климатическим условиям. В этих условиях решающую роль играет использование аналогичных ритуалов, равных по своей эффективности средств и совместимых инструментов.

На этом фоне еще более очевидной становится иллюзорность представления о возможности консонантных коммуникаций между различными пенными регионами или ограниченными друг от друга интерьерными. Эта иллю-

219См.: *Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung* (1980).
220!bid. S. 58.

люзия могла поддерживаться лишь с помощью абстракций, в которых рассматривающиеся вне какого бы то ни было контекста коммуникаторы встречаются на вымышленных форумах, чтобы отыскать там содержащееся в знаках и аргументах общее. Беспомощному формализму такого рода, *faute de mieux** приобретшего сомнительную как академическую, так и журналистскую популярность, необходимо противопоставить этику ситуаций — или предприятий в широком смысле слова. Такая этика представляла бы собой теорию организации и экономики производства для цивилизационных теплиц. Мы могли бы назвать ее атмосферной этикой. В ней под благом понимается пригодность для дыхания; кроме того, ее можно было бы назвать и этикой мыльных пузырей. Она характеризуется тем, что для нее исходным пунктом ответственности является самое хрупкое. Она указывает лицам и культурам на атмосферные последствия их деятельности; в качестве главного цивилизационного процесса она рассматривает производство климата. В данный момент для нас достаточно применить эти критерии к настоящей книге — что не исключает последующих обобщений.

* За неизменением лучшего (*фр.*).

Переходная глава

НЕ КОНВЕНЦИЯ, НЕ ВЕГЕТАЦИЯ

Приближение к пространственным множествам, которые, к сожалению, называют обществами

Люди — это существа, живущие вместе, как правило, не способные назвать причины своего совместного бытия. Что же такое совместное бытие? Когда меня не спрашивают о нем, я знаю, что это, когда же я должен отвечать спрашивающему, я этого не знаю.

Сосуществование людей с другими людьми и прочим сущим на первый взгляд не содержит в себе никакого указания на то, что в нем могла бы крыться какая-либо проблема — как на уровне бытия, так и на уровне познания. Поскольку совместное бытие является основополагающей для нас ситуацией, все, что относится к нему, первоначально дано нам лишь в модусе знакомого, тривиального, само собой разумеющегося. Пока мы существуем вместе с другими людьми и иным сущим привычным для нас образом, мы обладаем достаточным знанием об этом отношении, но ничего не можем сказать о нем в четких, категоричных, способных разъяснить суть дела выражениях. Такое знание представляет собой случай почти тотальной имплицитности. Первоначально его носители причастны к нему лишь в модусе слепой погруженности. Поскольку вместе со всем своим имуществом все люди принадлежат к группам, состоящим из себе подобных, они являются своего рода латентными социологами; однако большинство из них на протяжении всей своей жизни не видят причин становиться таковыми в явном виде; они должны были бы умереть как члены своей группы, чтобы возродиться в качестве наблюдате-

лей — химеры, которой было одержимо погруженное в неверный сумеречный свет XIX столетие. Самые продолжительные эпохи обходились без «социологического просвещения» ; людям было почти неведомо сопутствующее ему снижение готовности жить исключительно в качестве агента собственной группы.

Во время длительного процесса эволюции первобытных человеческих орд сосуществование людей друг с другом и со всем прочим сущим осуществлялось в условиях своего рода запутанной непотаенности, артикулировавшейся в форме систем родства и логик сходства. Концепция родства, в которой вертикальные генетические связи между матерями или отцами²²¹ и их детьми соединяются с горизонтальными союзными связями между супругами и их кланами в некоем совместном нексусе, служит архаичным культурам ключом, который в большей или меньшей степени подходит ко всем дверям в доме сосуществования. Пока бытие и родство кажутся синонимами, вопрос о прочих основаниях и модусах сосуществования не может быть развернут — возможно, к счастью для тех, кого он касается. При антропологическом «старом режиме» существует одна-единственная социальная сеть, и она представляет собой мир для тех, кто ею охвачен. Когда все релевантные другие являются родственниками — предками, родителями, братьями и сестрами, зятьями и невестками, совместное бытие представляет собой не что иное, как навигацию в пространстве семейных и кодированных родоплеменными законами отношений.²²² Ос-

221 Это «или», стоящее между «матерями» и «отцами», напоминает о том, что в большинстве архаичных систем династических линий дети считались родственниками лишь одной половины брачного союза, — в прямом противоречии с само собой разумеющейся сегодня логикой родства, согласно которой каждый ребенок рассматривается в качестве родственника обоих родителей, а следовательно, обладает двумя линиями родства.

222 о протонституциональном и в значительной мере искусственном характере нелинейных систем родства см.: *Arnold Gehlen. Ur-mensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Bonn, 1956; § 37: Blutsverbands-Ordnungen, § 38: Totemismus. S. 217—230.*

тальное должно обеспечить вечное возвращение подобного. Обстоятельство, что мотив родства по крови, плоти, костям и тотемам неизбежно порождает и архаичные представления о консубстанциальности между членами клана или династической линии, способствует нейтрализации зачатков осознания quasi-внешнеполитического измерения в заключении браков и даже возможных глубинных различий между родственниками, а тем более неродственниками и не схожими друг с другом людьми. Внешнее, расположенное по ту сторону родства и принадлежности к одной семье, первоначально и в течение долгого времени является чем-то немислимимым, не подвластным никакому обозначению. У неизвестного еще нет ничего, за что можно было бы ухватиться, чтобы им манипулировать. При таком положении вещей проблематичность совместного бытия людей с людьми и прочим сущим остается латентной. На горизонте еще не появилось несметное множество чужих; коллективам еще не ведомы центробежные силы, присущие большим количествам; да и границы между «мы» и «не-мы» пока что не могут мыслиться с достаточной отчетливостью; отделение индивидов от формирующих их групп еще только началось; катушка импликаций еще очень туго намотана. Намотанные на эту катушку не подозревают, до каких состояний размотанности и развернутости однажды будет доведено исследование оснований и форм способности-быть-вместе ассоциированных и высвобожденных субъектов. Они еще не имеют представления о том, что близость и родство — лишь капли в море дистанций.

Возникновение политического ведет к ликвидации той «мировой ситуации» (используем гегелевское выражение), в которой совместное бытие истолковывалось исключительно с помощью родства. Если бы потребовалось в двух словах объяснить, что же нового имеется в «политике», то нам следовало бы сказать: она есть изобретение сосуществования, представляющего собой синтез не-родственн©го. С «политикой» связано сотворение кол-

лективного общего, не исчерпывающегося семейным. Эпоха древнейших царств и античных городов-государств — если использовать термины политической истории — определяется движением к расширенным формам «мы». Отныне собственное следует мыслить как результат: когда люди того времени говорили «мы», они подразумевали соединение собственного и не-собственного в некоем всеобъемлющем принципе. Благодаря этому находит свое решение характерная для высокоразвитых культур проблема возможности и способа интеграции больших пространств многообразия и не-близости в нечто объединяющее. Начинается производство символических куполов, возводящих над головами огромного числа людей *coelum nostrum*,* небесную крышу общности. Что такое метафизика и высокоразвитая религия как не крупномасштабное строительство куполов? В возникающей мировой ситуации совместное бытие и взаимодействие действующих лиц должны пониматься как некая взаимопринадлежность по ту сторону брачных союзов и генеалогических и тотемистических династических линий. Возникновение крупных форм «мы» открывает эпоху искусственных разновидностей солидарности со всеми их загадками и изломами — эру народов и метанародов, тотемистических сообществ и магических наций, корпоративных идентичностей и региональных универсализмов.

Каким же образом следует понимать совместную жизнь в целом и приспособление друг к другу объединенных в человеческие множества людей, если между их участниками уже не может предполагаться априорная координация, способствующая возникновению кровной и брачной системы, в ее первоначальной самоочевидности? Каким образом совместное бытие людей — вместе с их имуществом и окружением — в некоей общности может быть истолковано как обязательность существования друг с другом, друг в друге и друг напротив друга, коль

* Наше небо (лат.).

скоро мощь их ассоциации более не выводима из конфигураций кровной общности? Как следует понимать *synousia*,* если необходимо отказаться от племенных ориентаций, а мотив синтеза должен определяться независимо от генеалогии? Загадочные узы — гласит первый ответ — завязываются благодаря участию в полисной жизни, благодаря отношениям придворной и имперской службы, благодаря духовным альянсам, благодаря занятию неким общим «делом» или солидаризации *in distans*** на основании общих ценностей и сопереживаемых страданий. В конечном же счете следует ссылка на значимое для всех устройство космоса или на всеобъемлющую тайну мира. Но на самом деле, не достаточно ли, подобно Аристотелю, принять в качестве основания совместной жизни не родственных друг другу многих некую «общность речей и мысли», ибо очевидно, что совместное бытие людей в полисе представляет собой нечто иное, чем безмолвное сосуществование «скота, пасущегося на одном и том же выгоне»?²²³ Не стоит ли нам вслед за автором «Никомаховой этики» рассматривать его как синергию политики и дружбы?

Своей блистательной мощью европейская античность, во-первых, обязана тому, что она в убедительной и доступной форме поставила эти вопросы (или, по крайней мере, наметила их предварительные формулировки), а во-вторых, и в еще большей мере, тому, что ответы, которые ей удалось дать, сохраняли свое значение вплоть до недавнего времени, и лишь недавно им на смену пришел принципиально улучшенный инструментарий для описания социальных и политических реалий. Как ответы, так и вопросы были вызваны кризисами и катастрофами греческих городов-государств рубежа IV столетия до нашей эры, которым примечательным образом со-

²²³ Никомахова этика. Книга 9. 1170 b 10.

* Сожительство (*греч.*).

** На расстоянии (*лат.*).

ответствовали кризис и триумф греческой философии и науки и которые в тот же самый период сформировались во всеобщую теорию совместного бытия сущего как такового с сущим как таковым.²²⁴ Задачей философии, которая во времена Платона действительно представляла собой нечто новое, была интерпретация сожителства людей с себе подобными, а также с животными, камнями, травами, механизмами, богами и планетами в эвтонически пропорциональном, математически структурированном универсуме, носившем многообещающее название *kósmos*. Эта интерпретация, как правило, включала в себя делавшийся на основании вызывающего изумление гармоничного порядка большой Вселенной вывод о способности-быть-в-порядке-и-на-своем-месте отдельных душ и их коопераций в мысленно реформированном полисе. Древние вообще никогда не говорили об универсуме, не рассматривая при этом и город, и не дискутировали о городе, не глядя на универсум сквозь очки аналогии.²²⁵ И тот и другой служат друг другу примером крупномасштабной совокупности мест.

В контексте этих полисно-космологических рассуждений появляются два различных, даже противоположных, объяснения, почему и каким образом столь многие и столь резко отличающиеся друг от друга по своему внешнему облику, социальному положению и происхождению люди сосуществуют в рамках одних и тех же коллективов, — объяснения, которые, учитывая историю вызванных ими последствий, заслуживают эпитета «архетипические». В них мотив родства как основания совместного бытия заменяется более абстрактными принципами. Первое объяснение трактует совместное человеческое бытие как результат некоего первичного собрания и договоренности изначально самостоятельных индиви-

224См.: Сферы. Т. II. Гл. 4. С. 354—365.

225См.: *Jean-Pierre Vernant. Die Entstehung des griechischen Denkens. Frankfurt, 1982.*

дов; второе для интерпретации загадки сосуществования использует сравнение с организмом, отстаивая онтологический и правовой примат целостности по отношению к ее отдельным «частям» или членам. Факт, что оба эти объяснения появляются в сочинениях Платона, указывает не столько на их совместимость, сколько на то обстоятельство, что в эпоху своего зарождения философское мышление не слишком заботилось о собственной систематизации.

Что касается истолкования происхождения «общества» как результата собрания, служащего прообразом позднейших договорных теорий, то одним из его источников является третья книга платоновских «Законов», в которой рассматривается возможность возникновения государства в результате объединения немногих выживших после последнего Великого потопа. Платоновская гипотеза всемирного потопа привлекательна тем, что она позволяет философу изобразить исходные условия формирования общества из взрослых индивидов, не заставляя его прибегать к собственническо-индивидуалистическим абстракциям, которые, как известно, смогли обрести видимость правдоподобия лишь в новоевропейских общественно-договорных теоретических конструкциях, а именно у Томаса Гоббса и Джона Локка. Платоновское «естественное состояние» представляет собой картину ансамбля выживших после катаклизма людей, индивидуальное бытие которых производно не от их эгоистической природы или их настоящей заинтересованности в самосохранении и собственной легитимации, но от факта их спасения на вершинах гор, — вследствие чего, впрочем, напрашивается вывод, что участниками первого собрания должны были стать преимущественно жившие в одиночестве пастухи-содомиты, которые теперь, после гибели всякой цивилизации и искусства государственно-го управления в долинах, внезапно оказались охвачены потребностью в том, чтобы собраться вместе. Половой вопрос остается на заднем плане — словно просвещенные

греки придерживались безмолвного соглашения о допустимости преобразования альпийской содомии в городскую педерастию, пока сексуальные отношения иного рода не дадут городу новых граждан. Платону не нужно подробно останавливаться на прочих мотивах образования общины (*synoikia*), поскольку античная антропология принимала во внимание естественную общительность людей, тогда как тревогу ей внушали лишь отдельные случаи асоциальности, дававшие о себе знать в судьбах, подобных судьбе Филоктета, и первых вспышках мизантропии. «Ввиду своей малочисленности, они с удовольствием взирали друг на друга в те времена».²²⁶ Впрочем, в своем мифе о первичном собрании Платон не забывает отметить, что первых членов новой скромной общины сопровождали отдельные полезные животные, такие как козы и коровы, которые также выжили после потопа, что, однако, остается без каких бы то ни было последствий для теории совместного бытия с Другим в едином политическом универсуме (говоря иными словами, в этом режиме одомашненные животные остаются без репрезентации²²⁷).

Мотив возникновения общества в результате совместного поселения изолированно живущих взрослых людей рассматривался в качестве весьма правдоподобного и в более древней греческой традиции — по крайней мере, он покажется нам вполне логичным фантазмом, если мы вспомним, что многие из важнейших городов Аттики возникли в результате *synoikismös*, решения до тех пор самостоятельных, управляемых аристократией коммун о дальнейшем взаимодействии внутри общих стен. Кроме того, сторонники теории собрания указывают на многократно засвидетельствованный феномен «этногенеза из

²²⁶ Законы. Книга 3. 678 с. [Здесь и далее цитаты из «Законов» даны в переводе А. Егунова].

²²⁷ См.: *Peter Sloterdijk. Stimmen für Tiere. Phantasie über animalische Repräsentation // Herausforderung Tier. Von Beuys bis Kabakov / Hrsg. von Regina Haslinger. München; London; New York, 2000. S. 128—133.*

убежища», который — в вопиющем противоречии с романтически-субстанциальными этнологическими представлениями Нового времени — демонстрирует, сколь многие из так называемых (впоследствии) народов сформировались из смеси предоставляющих и принимающих убежище популяций самого различного происхождения²²⁸ (кроме того, такие образования, как античные города-убежища и средневековые вольные города, служат доказательством возможности формирования более или менее гомогенной популяции из первоначально совершенно гетерогенных человеческих агрегатов). Но как бы ни осуществлялся этнопойесис — посредством договора или путем слияния различных племен, оба способа рассмотрения должны разочаровывать этнических эссенциалистов и этнозоологов. Однако объяснение совместного бытия людей с помощью собрания и само по себе не носит исторического характера. Защитники такого рода теорий интерпретируют сосуществование «в обществе» скорее как выражение интересов компаньонов, тем самым получая возможность подвергнуть ситуацию реальных общин рациональному анализу с точки зрения интересов их членов. Уже из платоновских сочинений по теории государ-

228 См.: *Wilhelm Mühlmann, Colluvies gentium. Volkentstehung aus Asylen // Wilhelm Mühlmann. Homo creator. Abhandlungen zur Soziologie, Anthropologie und Ethnologie. Wiesbaden, 1962. S. 303 f.* Мюльманн ссылается, в частности, на пример крымских татар, представляющих собой этническое новообразование, которое возникло из «обломков самых различных народностей», «смесь настоящих татар с османскими турками, генуэзцами, остатками крымских готов и, по всей видимости, осколками древних иранских народностей, населявших Южную Россию (скифов)» (*Ibid.* S. 306). Источником *colluvies gentium* [смешения народов] был клиентский и метекский характер эллинистического полиса, стремившегося с помощью активной политики по предоставлению убежища увеличить число обслуживающего персонала; здесь следует искать истоки клиентско-мафиозного «государства», которое можно рассматривать в качестве темного двойника как феодального, так и постдемократического государства. Мюльманн подчеркивает, что эра *colluvies gentium* отнюдь не закончена: в потоках беженцев второй половины XX века он видит завязку этногенетических драм нового типа. С этими рассуждениями вполне согласуются *imagined-communities*-подходы новейшей политической социологии.

ства — из «Государства», «Политика» и «Законов» — явствует, что эмпирический полис не выдерживает такого анализа, вследствие чего он вынужден мириться с тем, что самые умные и неудовлетворенные эмигрируют из него в государство рационализма, Космополис. Отныне у умных людей есть вторая резиденция во всеобщем. Поэтому представления о рестарте «общества» благодаря некоему первичному собранию взрослых, разумных и договороспособных людей, преследующих собственные интересы, часто артикулируются в форме утопий, то есть туристических проспектов, рекламирующих сказочные условия жизни на рационально управляемых островах. Они должны служить доказательством тому, что «общества» возможны как таковые. Поэтому утопизм, чаще всего выражающийся в форме политических мечтаний о неких островах, представляет собой своего рода естественный диалект Нового времени, воспринимающего близкое по смыслу античное предприятие в качестве подготовки к своим собственным проектам. Как заметил в одной из своих ранних работ Жиль Делёз, покинутый остров представляет собой подходящее место для реализации идеи второго, и более плодотворного, начала.²²⁹

Куда метят фантазии о первоначальном собрании индивидов в «общество», можно понять лишь благодаря циркулирующим начиная с XVII столетия описаниям человеческих ассоциаций как результата заключения неких конвенций. Согласно этим описаниям, все исторические народы (или как бы мы еще ни называли единства людей, традиционно сосуществующих друг с другом по генеалогическим линиям) появились вследствие того, что *in illo tempore* * * между членами коллектива был заключен *implicite* пролонгируемый в настоящее время договор о совместной жизни, подобный тому, в силу которого акци-

229

Gilles Deleuze. Die einsame Insel und andere Texte. Texte und Gespräche 1953 bis 1974 / Hrsg. von David Lapoujade. Frankfurt, 2003. S. 16—17.

* В некое время (лат.).

онерное общество из собрания компаньонов превращается в юридически оформленное предприятие, налагающее на акционеров взаимные обязательства. Очевидно, что теории этого типа формулируются в угоду индивидуализму как имущественному, так и экспрессивному, поскольку он определяется нами как страстное желание обособленного и независимого бытия. Это — страсть индивидуального индивидуума к самоутверждению в качестве *maître et possesseur** собственной жизни со всеми ее измерениями. Самообладание, как его понимают современные собственники, предполагает разрыв как с личным, так и с коллективным прошлым; оно требует освобождения от диктата генеалогии, от любого рода цепей, которые протягиваются из прошедшего в настоящее. Отцеубийство бессмысленно, если оно не имеет продолжения в убийстве остальных предков. На очищенной доске рестдрт-разума не должно быть начертано имен предков и предшественников, если те претендуют на нечто большее, чем положение держащихся на дистанции советников.²³⁰ Тот, кто говорит об «обществе», если он знает, о чем он говорит, имеет в виду ассоциацию новаторов, считающих первой добродетелью забвение.²³¹

230 Основные компоненты критики генеалогического разума содержатся в: *Thomas Macho*. So viele Menschen. Jenseits des genealogischen Prinzips // Vor der Jahrtausendwende. Berichte zur Lage der Zukunft / Hrsg. von Peter Sloterdijk. Frankfurt, 1990. S. 29—64; а также: *Idem*. Stammbäume, Freiheitsbäume und Geniereligion. Anmerkungen zur Geschichte genealogischen Systeme // Genealogie und Genetik. Schnittstellen zwischen Biologie und Kulturgeschichte / Hrsg. von Sigrid Weigel. Berlin, 2002. S. 15—43; *Klaus Heinrich*. Die Funktion der Genealogie im Mythos // *Klaus Heinrich*. Vernunft und Mythos. Ausgewählte Texte. Frankfurt, 1992. S. 11—26; *Pierre Legendre*. L'ineestimable objet de la transmission. Etude sur le principe généalogique en occident. Paris, 1985.

231 Идею социализации посредством собрания качественно нового типа высказывал уже Цицерон: «Народ — это не всякое собрание как-либо столпившихся людей, а объединение некоего множества, которое сплотилось в общество на основе правового соглашения и общей пользы» («*Populus non est omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*»). De re publica. I 39).

* Хозяин и владелец (*ипр.*)■

Модель этой ассоциации хорошо известна: у основоположника новейшего радикального контрактуализма Томаса Гоббса охваченные разумным страхом смерти индивиды совместно основывают государство-фирму «Левиафан», при условии, что ее генеральный менеджер, монарх, будет управлять ею как внушающим возвышенный страх предприятием сферы обслуживания по производству мира и правовой защищенности в ситуации тогдашних гражданских войн. Предметом договора у Гоббса является полная передача собственной воли всех без исключения индивидов властителю, который в силу этого обладает властью лишь постольку, поскольку играет роль благословенного Третьего. Он — абсолютный монарх, поскольку его суверенитет не терпит никакого сопротивления; он конституционен, поскольку его власть представляет собой не что иное, как кумулятивный эффект делегирования страстного стремления договаривающихся сторон к самоуправлению тому одному, кто должен всех дисциплинировать, всем угрожать и надо всеми возвышаться. Знаменитая формула договора, который, будучи однажды подписан всеми и служит основанием конституционного абсолютизма, гласит:

«I authorize and give up my Right of Governing my seife, to this Man, or to this Assembly of men; on this condition, that thou give up thy Right to him, and authorize all his Actions in like manner. This done, the Multitude so united in one Person, is called a COMMONWEALTH... » 232 **

232 *Thomas Hobbes. Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiastical and Civil (1651) / Ed. Richard Tuck. Cambridge, 1992. P. 120.*

* «Я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц, и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством (цит. по: *Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Т. Сочинения. Т. 2. М., 1991. С. 133; перевод А. Гутермана.*)

Характерная особенность этой сопровождающейся оговорками присяги заключается в том, что благодаря хитрости контракта народ государства соединяется в одном-единственном лице (или в одной-единственной палате), не нуждаясь в непосредственном физическом собрании, — и именно отсутствие такого собрания не менее важно, чем отказ всех от чреватых насилием претензий на самоуправление. Как только договаривающиеся стороны вновь начнут настаивать на том, чтобы в полном составе встречаться на реальных собраниях, об абсолютистской идее рационального делегирования можно будет забыть — новый суверен, народ национальных государств, после 1789 года, несмотря на все усилия по выработке идеи демократического представительства, вновь и вновь будет предаваться мечтаниям о реальном собрании акционеров крупных коллективных предприятий; и именно благодаря мощному следу воли к непосредственному собранию сформируется то, что будет названо эпохой масс (поэтому клич демонстрантов, протестовавших против саммита G-8 в Генуе: «Нас 6 миллиардов», вызывает у знатоков истории смешанные чувства).

Что касается насильственного конструктивизма «Левиафана», то он, если не принимать во внимание системные мотивы, вызван прежде всего мрачным взглядом Гоббса на изначальные человеческие интеракции. В условиях своего естественного, догосударственного или недостаточно огосударственного сосуществования люди по якобы значимым во все времена причинам неизбежно образуют не знающие покоя множества: живущие в одно время обречены на неустанную конкуренцию и беспощадную войну, ибо каждый индивид вынужден, словно *perpetuum mobile** эгоизма, контролировать свой жизненный мир и всячески вредить своим конкурентам по борьбе за дефицитные ресурсы. Следовательно, нескончаемая борьба за неделимые блага и привилегированное положение

* Вечный двигатель (лат.).

ние вспахивает социальное поле. Гражданская война открывает истину о совместном бытии граждан до заключения договора. Как война всех против всех, она представляет собой мощнейший симбиотический механизм, создавая между воюющими сторонами такую близость, которая может возникнуть лишь благодаря искренности взаимной ненависти. Гоббсу эта война представляется естественным следствием спонтанного плюрализма своеволий, а следовательно, лишь своего рода второе собрание под контролем одного властителя, который в равной мере держал бы под постоянной угрозой всех, могло бы обеспечить терпимые отношения между объединившимися в ассоциацию людьми. Договор об отказе от своеволия должен стать основанием общества как такового: первоначально общество есть не что иное, как наименования ассоциации субъектов, отказавшихся от своих притязаний. Из этого следует, что неимущие не принадлежат к обществу, ибо они еще не достигли того, от чего они могли бы отказаться; равным образом неисправимые аристократы также не способны быть членами общества, ибо они не в силах избавиться от своего наследственного высокомерия. Те, кто одержим своим правом на врожденную значимость и максимальную экспансию, не способны быть субъектами в регулируемом *commonwealth*;^{*} они оказываются вечно беспокойными, некастрируемыми анархистами. Гоббсу представляется несомненным, что естественное множество высокомерий может быть укрощено лишь чудесной искусственностью государственной машины.

Договорно-правовое мышление в его применении к коллективу представляет собой раннюю, убедительную в силу своей односторонности форму экспликации того, что в первичном знании о совместном бытии людей друг с другом первоначально дано лишь в компактных импликациях. Если я истолковываю человеческую ассоциацию

^{*} Государство (англ.).



Тело Левиафана.

как результат договора, то в моем распоряжении оказывается понятие, позволяющее рассматривать совместно живущих как компаньонов, а форму их сосуществования — как компанию, общество, вследствие чего я могу ясно видеть принцип их взаимосвязи. Если я вправе представить понимаемое в вышеуказанном смысле общество как движимую интересами отдельных лиц машину, то ее *modus operandi* уже не составляет никакой тайны. «Социальный синтез» в таком случае будет осуществляться благодаря взаимодействию конвенциональным образом скоординированных и по этой причине транспарентных индивидуальных волей. Тот, кто говорит о договоре, полагает, что у него перед глазами находится своего рода конструктивный план или органограмма ассоциации. Когда можно принимать в расчет интересы, не нужно приписывать сообществу никаких таинственных солидарностей, никаких глубинных связей, предшествующих заключению договора, никаких дорациональных глубин.

Действительно, в мире, характер которого во все большей степени определяется индустриальной деятельностью, финансовым капиталом, торговлей и продуктообменом, заработной платой, тарифными соглашениями, сферой услуг, рекламой, масс-медиа и модой, понятие «общество» пригодно для описания огромного количества ситуаций. В эпоху перехода к современным отношениям его превращение в господствующую метафору целостности совместного бытия людей и прочего сущего в рамках некоей общности было ускорено мощным эмпирическим воздействием. Это понятие даже можно было бы принять как рационально удовлетворительную экспликацию кооперирующего коллектива, если бы не один факт, который лишь теперь, на фоне господства конвенционализма, стал заметен и, со своей стороны, доступен экспликации: некоторые существенные измерения совместного бытия людей с себе подобными ни при каких обстоятельствах не могут носить договорного характера или обладать телеосоциальными качествами. В первую

очередь это относится к семейным отношениям: разве мои родители заключали со мной контракт по поводу моего появления на свет? Поле «взрослых», не реконструируемых конвенциональным образом отношений распространяется на область религиозной принадлежности, будь она народно-религиозной природы или получена в результате принятия какого-либо вероисповедания и вступления в духовную коммуну, и, наконец, охватывает культурно-общинные группы идентификации по национальному или народному, а иногда и по предпринимательскому признаку (как показывает пример японского фирменно-корпоративного феодализма). Но самым главным опровержением договорной фикции является тот факт, что под маской конвенциональности сохраняются отношения прямого и косвенного господства. Однако перед лицом самоформирующейся социоморфности совместного бытия людей друг с другом и ее рефлексии в различного рода «социологиях» эти возражения выглядят слишком запоздалыми.

Тем не менее неудовлетворенность неадекватностью этих языковых норм становится все более острой. Нет ничего удивительного в том, что в период становления «гражданского общества», особенно при интерпретации последствий Французской революции, лишь немногие мыслящие люди, ссылаясь на вышеназванные аспекты человеческого существования, отваживались восстать против абсурдности радикального и одностороннего «просвещенческого» конвенционализма. Ныне такие понятия, как традиция, народ, культура и общность, могут быть наполнены прежде неведомым пафосом; кое-кому из использовавших эти выражения они обещали никак не меньше, чем истинную социодицею. В первую очередь это относится к слову «общность», нагруженному прежде чуждыми ему группо-метафизическими коннотациями. Под знаком этого слова приблизительно в одно время сформировались романтизм, консерватизм и диалектический государственный холизм (агрессивным социологи-

ческим вариантом которого является марксизм) — три попытки зрелого Нового времени защититься от поглощения знания о совместном бытии договорно-теоретическими, индивидуалистическими и атомистическими идеологиями. Но оглядываясь назад, мы должны признать, что эти движения (мы могли бы объединить их под рубрикой «восстание холистов») не располагали достаточно развитым языком, чтобы надлежащим образом сформулировать свои антиконвенционалистские интуиции, в силу чего представители этого направления были вынуждены использовать клише классического авторитарного холизма, источники которого — как и теории собрания — опять-таки восходят к платоновским «Законам».

Таким образом, час социологически ориентированного целостного мышления пробивает дважды: первый раз в раннерационалистических попытках обоснования коллективного бытия античной философией, а во второй — в сколь современном, столь и антисовременном повторном открытии общности в холистическом смысле. Если мы ранее признали, что в качестве принципа совместного бытия людей с людьми и прочим сущим нельзя рассматривать договор и тем более заключаемое с определенной целью соглашение между совершеннолетними, расчетливо преследующими свои интересы индивидами, то перед нами должен встать вопрос: в каких больших по размеру общих пространствах «содержатся» сосуществующие друг с другом и какой связью они действительно привязаны друг к другу? Очевидно, что здесь ищется объяснение прочной связи между людьми — более древней, чем собрание, соглашение, договор и ратифицированная конституция. То, что теперь оказывается в поле зрения и требует истолкования, это возможность объединяющей и сплачивающей силы — настолько мощной, чтобы она предшествовала эгоистичной автономии носителей интересов и склоняла все индивиды к пунктуальным манифестациям некоей существующей до всякого порядка общей действительности.



Джузеппе Арчимбольдо (окружение). *Троянский конь*.
Начало XVII в.

Речь, естественно, идет о целостности — той героине с тысячей лиц, о которой говорится в традиционных учениях о мудрости. Классический холизм лучше всего может быть понят как первая форма экспликации и кризиса прежде едва ли нуждавшихся в артикуляции, архаически недифференцированных, как бы автоматизированных интеграционных ожиданий членов способных к размножению и сохранению традиции группы, — ожиданий, которые, однако, в условиях более высокого развития столь часто и неизбежно обманываются, что стано-

вится необходимой некая новая эксплицированная форма отношения между полисом и его гражданами (если мы находимся на почве греческих городских культур). Причиной этого разочарования является факт, что индивиды, как только они начинают извлекать выгоду из локальных свобод и городского комфорта, перестают беспрекословно выполнять то, что от них требует так называемое целое. Обычно это проявляется в том, что в служилых слоях возникает сопротивление тем повинностям, жертвам и налогам, которые от них требуют власть имущие. Уже классический город сталкивается с нежелательными последствиями своего вольнодумства: первый принцип его синтеза, преданность многих общему, подрывается вторым принципом — ориентацией граждан на их законные личные и семейные интересы; этот подрыв становится заметным тем быстрее, чем более становятся заметны политические успехи коллектива. Самая процветающая коммуна рантье всех прочих сталкивается с риском разбиться о свое собственное преуспеяние. Из этой ситуации рождается первоначальная политическая философия целостности — можно даже сказать, первая онтология консерватизма. Она представляет собой иллюстрацию западного пути к мыслительным формам авторитарных административных империй.

Образцовый аргумент в пользу повторного встраивания ставших неуправляемыми индивидов и руководствующихся собственными интересами сепаратистских групп в так называемое единое и целое приводится в десятой книге платоновских «Законов» — причем не случайно в контексте рассуждений о наказаниях, грозящих за проступки против богов, прежде всего за то капитальное политико-религиозное преступление, которое называется атеизмом (и которое, по сути дела, представляет собой клевету на целостность). Этот контекст характерен потому, что в дискурсе первых политологов боги признаются истинными и реальными городскими медиумами и *eo ipso* являются онтологическими гарантами чувства общности.

В платоновском диалоге ведущий речь афинянин предлагает модель речи, и с ее помощью молодежь, которой грозит атеизм и неверие в законы, возвращается в экосистему божественного мирового плана. Преступника, говорит он, следует убеждать в том,

«что тот, кто заботится обо всем, устроил все, имея в виду спасение и добродетель целого, причем по возможности каждая часть испытывает или совершает то, что ей надлежит. Над каждой из этих частей, вплоть до наименьших, поставлен правитель, ведающий мельчайшими проявлениями всех состояний и действий: все это направлено к определенной конечной цели. Один из таких правителей руководит даже, жалкий ты человек, крошечной частицей твоего существа, постоянно имея перед глазами целое. Ты и не замечаешь, что все, что возникло, возникает ради всего в целом, чтобы осуществилось присущее жизни целого блаженное бытие, и бытие это возникает не ради тебя, а, наоборот, ты — ради него».²³³ «Обратив внимание на все это, он (высший правитель. — *П. Сл.*) придумал... место для каждой из частей... во Вселенной... Для этого он придумал, какое место должно занимать всё...»²³⁴

Ключевым перформативным выражением в этом выступлении является «ты и не замечаешь», дополненное имплицитной инъюнкцией: здесь то, что было долго скрыто, раз и навсегда открывается тебе. Доктрина целостности обращена к мятежным индивидам, которых необходимо избавить от популярного древнейшего заблуждения, что якобы существует некое естественное множество более или менее равных по своему рангу индивидуальностей, имеющих полное право, каждая на свой манер, преследовать собственные цели, — причем

233 **Законы. Книга 10. 903 в с.**

234 **Там же. 904 Б.**

дело может доходить до утверждения, что коллектив возникает в качестве своего рода побочного продукта жизненных игр своеобразных индивидов. Приблизительно так говорят либеральные софисты (и их современные наследники, романтики множества, и, хуже того, последователи Хайека и прочих софистов рынка, но, что хуже всего, делёзианцы и латурианцы), и такие высказывания недостойны (платонически) мыслящего существа. Тот, кто желает воспринять истину, должен быть готов к более высоким ставкам: колоссальный ответ Платона на великий вопрос об основании совместного бытия людей с себе подобными и прочим сущим одним смелым, без оглядки на обывательские сомнения, прыжком достигает уровня предельного теокосмологического высказывания. Согласно его тезисам, универсум представляет собой совершенное художественное творение — а согласно другим выражениям, даже реально существующего блаженного бога²³⁵ или лишенное окружающего мира и вечное живое гиперсущество,²³⁶ которое в соответствии со своим всеобъемлющим характером превосходит, обхватывает и интегрирует все без исключения отдельные живые существа. Платоновская доктрина объединения существ есть не что иное, как философский текст в самом строгом смысле слова, ибо философию в соответствии с ее традиционным дизайном следует понимать как экспертизу отношений к целостности — а в ее основном идеалистическом направлении, быть может, даже как своего рода латентную проповедь тотальности, присущую религии консенсуса. Но каковой бы ни была дефиниция философии, в первую очередь она есть агентство по установлению гиперболического иерархического порядка всего, что имеет место. Порядок означает распределение мест. Нетрудно понять, почему здесь речь идет об утешительной по тону и направленности, то есть об абсорбирующей

235 *Eudaimona theôn*. Тимей. 34 в.

236 *Zooti aidion on*. Тимей. 37 d.

сомнения, информации, которая сталкивает растерянного смертного, запутавшегося в изначальном заблуждении спонтанного плюрализма индивида с авторитетным выказыванием о последних, полностью доступных лишь экспертам, холистически конституированных структурных и глубинных истинах. Однако обстоятельства таковы, что благая весть о незримой гармонии целого должна проповедоваться также и профанам, быть внедрена в их умы в качестве истины. Тот, кто поймет это, выкажет волю, упокоится на подобающем ему месте.

Приманкой, с помощью которой Платон пытается заставить сбившееся с истинного пути индивидуальное сознание служить делу божественной целостности и обустроенного богами космоса, это отнюдь не какой-то тезис, убедительный в силу своей привлекательности. Изображая космос в качестве совершенного, до мелочей продуманного смыслового целого и определяя человека как его функциональную частицу, философ использует формальный аргумент огромной убеждающей мощи и ошеломляющей возвышенности — доказательство, назовем его так, от которого исходят лучи света, заметные и спустя два с половиной тысячелетия. Неотразимая сила рассуждения афинянина коренится в убедительности схемы, используемой при истолковании ситуации пребывания людей в политическом мире: организованном целом и его части, из которой, если она принимается, может следовать лишь подчинение индивида определенному общему плану (при условии, что открытое бегство в желаемое и осознанное зло как в Другое совершенное не принимается в расчет).

Перед нами не что иное, как аргументативная первичная сцена холизма — и *eo ipso* зарождения всех разновидностей политического органицизма, социал-биологизма и теории искусства государственного управления. Свою силу этот аргумент получил от субверсивного включения в понятие мира теологического принципа, согласно которому сосуществование сущих вещей в универсуме

определяется тотальным целевым взаимодействием, подобно тому как в произведениях архитектуры каждая деталь находится на своем месте, а в живых телах каждый орган бескорыстно вносит свой вклад в здоровую эвдаимию целого. Субверсивным это включение является отнюдь не в том смысле, что оно вводило в дискурс нечто невысказанное, с помощью чего в будущем можно было бы коварной хитростью добиться какой-либо пользы; напротив, оно возвещало о своих главных предпосылках столь агрессивным способом, что его сомнительный статус растворялся в блеске сверхчеткой экспозиции. Самое невероятное в одно мгновение оказывалось самым достоверным. Перенесение идеи художественного произведения или организма на универсум осуществлялось с такой энергией убедительности, что адресату оставалось либо принять его, либо смириться. Как только я соглашаюсь с утверждением, что я вместе со всем своим бытием представляю собой орган некоего космического живого существа или являюсь строительным камнем в некоем интегральном храмовом здании (или, используя другую метафору, голосом в некоем универсальном хоре), я подчиняюсь некоей картине своего положения в универсуме, из которой может следовать лить то, что я обязан добровольно жертвовать собой ради предположительных целей гипостазированной тотальности. Я понимаю, что нахожусь именно в том самом месте, которое мне подходит. Схему «живое целое и его части» радикальный холизм превращает в матрицу для онтологий служения, жертвенности и кооперации, без которых и сегодня не способны функционировать ни римская церковь, ни японские концерны, ни соединения Военно-морского флота США, ни военные режимы, окрасившие своими резкими цветами политические карты XX столетия.

Своей зрелости холистический гипноз достиг уже в эпоху Римской империи. О монолитном натурализме Стой свидетельствует высказывание Марка Аврелия, назвавшего всякого, кому приходит в голову возмущаться

ситуацией в природе, «опухолью на теле мира»; мы рождены для кооперации, «как верхняя и нижняя челюсти».²³⁷ Впрочем, согласно этой точке зрения, в универсуме не существует неправильных мест; каждое местоположение в целом подобает своему обладателю; следовательно, он не может сделать ничего лучшего, чем подчиниться божественному приговору, дающему о себе знать в его собственной ситуации. «Признай положение» здесь означает: открой задачу, заключающуюся в твоём местонахождении. Руссо говорит: «Когда государство основано, в жилище царит согласие»;²³⁸ девиз и Платона и Зенона мог бы гласить: когда космос обустроен, согласие царит в самом бытии.

О том, что использование метафоры организма для описания совместного бытия многих и различных в едином *quasi*-психосоматически интегрированном политическом целом не было изобретением исключительно афинской философии, а представляло собой элементарную идею множества народов, создававших древнейшие государства, свидетельствует малоазиатская притча о желудке и прочих органах, которая благодаря Титу Ливию и его персонажу — красноречивому экс-консулу Менению Агриппе — вошла в канон староевропейских политических легенд. Во второй книге своей римской хроники «*Ab urbe condita*»,* в которой речь идет о событиях рубежа V—VI веков до и. э., Ливий повествует об одном из самых мрачных моментов римской истории, о той парализующей панике, в которую погрузил раздираемый сословной борьбой город взаимный страх (*mutuo metu*), внушаемый друг другу благородными патрициями и мятежными плебеями. Эта отчаянная ситуация, в которой лишь немногие компетентные люди оказались способны понять, что спасти общину может только восстановление

237 Размышления. IV, 29; II, 1.

238 Jean-Jaques Rousseau. Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. Stuttgart, 1986. S. 116.

* «От основания города» (лат.).

concordia, послужила поводом для рождения назидательной политической риторики. Менений использовал для описания судьбы Рима организмическую метафору:

«В те времена (обратился оратор к возмущенному народу), когда не было, как теперь, в человеке все согласовано, но каждый член говорил и решал, как ему вздумается, возмутились другие члены, что всех их старания и усилия идут на потребу желудку; а желудок, спокойно сидя в середине, не делает ничего и лить наслаждается тем, что получает от других. Сговорились тогда члены, чтобы ни рука не подносила пищи ко рту, ни рот не принимал подношения, ни зубы его не разжевывали. Так, разгневавшись, хотели они смирить желудок голодом, но и сами все, и все тело вконец исчахли. Тут-то открылось, что и желудок не нерадив, что не только он кормится, но и кормит, потому что от съеденной пищи возникает кровь, которой сильны мы и живы, а желудок равномерно по жилам отдает ее всем частям тела».^{239*} *

С помощью аналогии между восстанием членов против желудка и гневом плебеев по адресу патрициев Менений в конце концов изменил (*flexisse*) настроение возмущенной толпы. Картина консенсуса органов утихомиривает мятежную толпу, избавляет ее от паралича страха и возвращает к кооперации. Возможно, из этого инцидента следует, что определенные темноты совместного бытия могут быть прояснены лишь с помощью организмических образов, словно идея антагонистически-кооперативного сосуществования неравноценных элементов в единой ассоциации может быть артикулирована только благодаря использованию грубых биологических метафор. Живое тело — это та образная ловушка, в которую не может не угодить раннехолистическое мышление. И хотя

239 *Titus Livius. Ab urbe condita. II, 32, 9—12.*

* Перевод Н. Поздняковой.

речь здесь еще не идет о всеинтегрирующем мировом животном, каким представлялся воодушевленным ученикам платоновский космос, ту же самую функцию с помощью отдельных разумных органов выполняет своего рода животное *e-res-publica*.

В нашем контексте излишне более подробное обсуждение судебных как конвенционалистских, так и органицистских теорий. Тот факт, что обе эти школы дожили до наших дней, что они взаимодействуют друг с другом, борются друг против друга, переходят друг в друга, можно расценивать как свидетельство, насколько убедительными были первичные ответы на вопросы об основании совместного бытия. Даже модернизации критического холизма, интерпретирующие принцип социальной взаимосвязи с помощью движения капитала с его сетью обменов или с помощью выделения субсистем внутри всемирного общества, в данный момент не способны приковать к себе нашего внимания. Ныне скорее вызывает интерес то обстоятельство, что оба направления почти с самого начала сопровождало некое неприятное чувство, более того, своего рода недоверие по отношению к тому налету неправдоподобности, который был характерен как для конвенционалистского, так и для холистического дискурса. Первые следы этого скепсиса мы опять-таки можем обнаружить у Платона: как бы опровергая оба свои обоснования общинной жизни и пользуясь тем, что мышление может быть свободно ото всякой ортодоксии, он набросал эскиз третьей теории социального синтеза — ту беспощадно реалистичную, quasi-функциональную доктрину благородной лжи, посредством которой — согласно рекомендациям «Государства» — у граждан должно быть вызвано чувство родства, необходимое для подавления возмущения тех, кто был обделен в результате классового расслоения. В соответствии с этой доктриной принцип совместного бытия людей с себе подобными состоит в некоей общей мистификации, или, говоря современным языком, в некоей искусственно созданной иллюзорной социальной

когерентности, которая включает в себя как лгущих, так и обманываемых якобы ради их собственного блага.²⁴⁰

Как в конвенционализме, так и в холизме мы имеем дело с очевидными радикальными конструктивистскими гиперболами, сила которых состоит в том, что они отвергают повседневный опыт и заменяют его выработкой некоей абстрактной метафоры. Большинство современных социологий, политологий и социальных философий, пожалуй, можно назвать серией попыток компенсировать перенапряжения, вызываемые как одним, так и другим подходом, путем их скрещивания, как если бы два заблуждения можно было устранить с помощью их комбинации друг с другом.

И конвенционализм и органицизм остаются в большом долгу перед своим предметом прежде всего потому, что они претендуют на объяснение истинного основания совместного бытия людей с людьми и прочим сущим, не будучи способными на осмысленную речь о пространстве, в котором осуществляется синтез и которое, более того, открывается благодаря этому синтезу. Оба они слепы на один пространственный, а в более общем смысле — ситуационный или контекстуальный глаз. Они считают эту слепоту определенным преимуществом, ибо посредством теории надеются увидеть нечто такое, что ускользает от дотеоретического взгляда. Тем не менее теоретик-конвенционалист еще способен допустить, что его так называемые общества составлены из спонтанно данных множеств, даже если этот принцип составления представлен у него в превратном свете. Видя интеллигибельное основание взаимосвязи членов общества в договоре между ними, он проходит мимо исходного пункта, нередуцируемого множества самостоятельных семей и соседствующих

240 Государство. Книга III. 414 b—415 c d. Актуальность аргумента доказываемая мощным влиянием политического платоника Лео Штрауса на американских неоконсерваторов, вслед за своим учителем признающих необходимость основывающегося на иллюзиях демократического управления, осуществляемого лишенными иллюзий элитами.

щих, аналогичным образом мотивированных жизненных игр. От фактического сосуществования в собственных пространствах и собственных временах в этой модели остается лишь абстрактное множество наделенных разумом волевых точек, которые, как только они договорятся о какой-то кооперативной форме жизни для преследования общих интересов, превращаются в «граждан». С умышленной торопливостью конвенционалист прибегает к помощи представления о формировании единства, о котором невозможно сказать, где, когда и в какой среде оно осуществляется и каким образом его можно было бы зафиксировать; поэтому неудивительно, что еще ни одному архивариусу не удалось обнаружить тот канцелярский шкаф, в котором хранится общественный договор. Конвенционализм живет галлюцинациями, которые сегодня называют антифактическими предположениями — прежде всего о некоем первоначальном собрании, на котором компаньоны решают оставить свое додоговорное состояние, чтобы оказаться под защитой общих законов. Изысканное «нигде», в котором заключается договор, отвлекает взгляд от ситуативной конституированности совместного бытия и от его особой пространственной динамики.

Там, где категорически требуется скрыть реальность, как, например, в новейших модернизациях теории договора (скажем, в «Теории справедливости» Джона Ролза²⁴¹), партнерам предлагается сыграть в своего рода социогенные жмурки, и во время игры они, надев на глаза «повязку незнания», должны установить честные отношения друг с другом. Договор здесь появляется из некоей топологической нирваны, именуемой «первоначальным состоянием», в котором ситуационная слепота объявляется добродетелью:

«Первоначально никто не знает своего места в обществе, своего класса и своего статуса; то же самое от-

²⁴¹ John Rawls. *Eine Theorie der Gerechtigkeit*. Frankfurt, 1975.

носится и к естественным дарованиям, уму, телесной силе и т. д. (...) В первоначальном состоянии люди не ведают и того, к какому поколению они принадлежат». ²⁴²

Глядя на эту морально-философскую конструкцию, мы видим, что теория договора (пройдя через промежуточный этап антифактичности) из неправдоподобной превратилась в абсурдную — ведь она постулирует существование очищенной ото всех исторических, психических и соматических качеств популяции, рассматривающей себя в качестве подопытного кролика в эксперименте по установлению справедливости. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с идеологией тех стран, население которых состоит из иммигрантов. Их граждане должны учиться считать свои свойства и врожденные задатки прахом вчерашнего дня: различия смыаемы. Надев на глаза повязку незнания, собираются вместе люди без свойств, без признаков, без документов — это напоминает посадку на корабль эмигрантов, которые после долгого морского перехода высадутся в новой стране, изнуренные и благодарные за все, что сулит им новую жизнь; еще более это напоминает тренинг энкаунтер-группы, члены которой, обнаженные и исполненные великой братской любви, приступают к изучению самих себя. В любом случае, по-видимому, лишь индивиды, порвавшие с самими собой, способны решить заданную им задачу — заключить справедливый договор о сосуществовании. Только люди, утратившие способность воспринимать свое положение в пространстве и времени, свою судьбу и настроение, могут обрести права гражданства в коммуне Ролза. Нам кажется, мы вновь слышим голос утописта времен Французской революции Анахарсиса Клоотса, считавшего названия наций (и *ipso facto* всех локальных и качественных признаков) не более чем «го-

²⁴² Ibid. s. 160.

тическими титулами». Очевидно, что самый лучший философ права не будет возражать, если его будут считать самым плохим социологом, пока он волен игнорировать локальные свойства и не совместимые друг с другом цвета сосуществующих жизненных ячеек, в первую очередь те, посредством которых совместно существующие включаются в свои конкретные пространственные образования и локальные истории.

Одним словом, теория договора уже не нуждается в совместно существующих, каковы они до заключения договора или параллельно ему. Она обращается к людям, которые обрели свойства как грешники и, раскаявшись, готовы начать все заново по ту сторону своих свойств, — стоит отметить, что мы находимся на протестантской и кантовской почве. В этом утопия Ролза конгениальна известной теории коммуникативного действия, которая точно так же неприменима к говорящим, не находящимся в идеализированных речевых ситуациях. Эта теория описывает коммуникаторов таким образом, словно их речь представляет собой следствие некоего соглашения об обмене предложениями, которое они, придя в отчаяние от своей собственной болтовни в естественном состоянии, заключили при переходе в лингвистическое договорное состояние. Как в первом, так и во втором случае мы имеем дело с одним и тем же: Первой теорией для Последнего Человека.²⁴³

²⁴³

См.: *Gabris Kortian. Une philosophie première pour le dernière homme? // Critique. Janvier 1981. N 404. P. 3.* Обстоятельство, что в последнее время мы можем наблюдать ренессанс конвенционалистских теорий, как признают сами представители этой тенденции, объясняется не содержательной плодотворностью метафоры договора, а теоретико-политическими мотивами, а точнее, заинтересованностью в дискредитации системных социологических подходов и в привлечении внимания к модели, которая могла бы поддержать не слишком фантастическую теорию коллективного действия. Неоконвенционализм — это предложение, посредством которого так называемая социальная философия удовлетворяет существующий в среде общественных функционеров и педагогов спрос на обладающую значительным дидактическим потенциалом теорию. О том, что речь идет именно о дидактической по своей сути теории,

Что касается политического органицизма, то он пренебрегает изначальной множественной пространственностью совместного существования людей с себе подобными и прочим сущим в противоположном смысле. Если договорная химера собирает вымышленных и лишенных каких бы то ни было собственных качеств индивидов в некоей вымышленной сети, то органицистский фантазм соединяет реальных индивидов в выдуманном, гротескно упрощенном «целом». Эта экспликация социального синтеза также искажает пространственно-человеческие, психосферические, конспиративные и полемогенные свойства совместного бытия, подчиняя условия обитания людей, распределение задач между ними и интерпретаций человеческих ситуаций некоей насильственной свержинтеграции, словно способы соседства и формы коммуникации людей можно истолковывать по аналогии с кооперацией клеток и органов в теле живых организмов. Органицистская идеология на свой манер уничтожает смысл изначальной пространственности, присущей совместно-му бытию; она втискивает соседствующие дома, микросферы, пары, команды и корпорации, популяции и собрания, коллективы и классы в одно упрощенное гипертело, как если бы сосуществование тел человеческого типа обеспечивалось витальной композицией более высокого уровня, гигантским политическим животным, которое свободно в своих внешних действиях, однако его внутренние органы, такие как кишечник, мышцы и кости, занимают строго определенные места. Еще более

свидетельствует, в частности, тот факт, что представители профессий, связанных с ведением переговоров (адвокаты, дипломаты, профсоюзные деятели, участвующие в выработке тарифных соглашений, различного рода посредники, социальные работники, командующие миротворческими силами и т. д.), едва ли узнают в спекуляциях теоретиков-конвенционалистов собственную, определяющуюся стратегическими соображениями практику. См.: *Klaus Eder. Der permanente Gesellschaftsvertrag. Zur kollektiven Konstruktion einer sozialen Ordnung // Gerechtigkeit, Diskurs oder Markt? Die neuen Ansätze in der Vertragstheorie / Hrsg. von Lucian Kern, Hans-Peter Müller. Opladen, 1986. S. 67 f.*

резко принудительно-холистическая тенденция проявляется в архитектурных метафорах, согласно которым индивиды должны быть встроены в государство, как обтесанные камни в фасад роскошного здания. Даже сравнение с настольной игрой, в которой индивиды подобно фишкам переставляются неким суверенным игроком, не слишком подходит для описания того, что пребывает в состоянии беспорядочного движения.

Очевидно, что аналогии с телом и художественным произведением рождаются из духа власти экспертов по тем или иным предметным целостностям, ведь, как известно, только специалисты знают, как построить дом как целое, как управлять кораблем как целым, как лечить тело как целое, как соткать ковер как целое и как руководить армией как целым. Пока дело не дошло до учреждения царства философов, которое будет *lege artis* управлять государством как целым, придется довольствоваться царством ткачей и архитекторов, в лучшем случае царством терапевтов. Впрочем, либеральные договорные теории, как и все контринтуитивные, дискредитирующие *common sense** дискурсы, столь же экспертократичны, как и холистические, разве что перед мысленным взором их авторов встает скорее своего рода адвокатура. Теоретики-конвенционалисты интересуются эмпирическими демократическими формами, как правило, лишь в той мере, в какой они гарантируют сохранение ситуации, в которой главенствующую роль играют юристы, политкорректные журналисты и профессора моральной философии.

Нищета органицизма проистекает от того, что его законное выступление в защиту справедливости в отношении высших интересов коллектива в большинстве случаев стремительно перерастает в *ressentiment* по отношению к своеволию объявляемых «частями» меньших единиц. Его типичный тон — тон лишенной власти ари-

* Здравый смысл (англ.).

стократии, удовлетворяющей свою жажду превосходства в мечтах о чистом служении. Благородные холлисты, как правило, с радостью готовы служить коллективу в качестве мудрого мозга или полезного желудка, но они ожидают, что и прочие органы будут занимать свои места. Если мы желаем сберечь смысл социологических интуиций холизма, нам следует выработать альтернативный взгляд на природу ассоциаций: необходимо вывести совместное бытие, коммуникацию и кооперацию испытывающих стресс сосуществования и обладающих собственными пространствами множеств (которые, к сожалению, постоянно именуется обществами) из их собственных условий, не прибегая при этом к антихолистическим костылям, на которые опираются индивидуалисты и конвенционалисты.

Это можно было бы — как, например, попытаемся мы — сделать с помощью теории пространственных множеств, подходящей к загадке социального синтеза, вооружившись арсеналом ситуационных, плюралистических, ассоциативных, морфологических и прежде всего психотопологических средств описания. В него входит и философское решение мыслить единство как результат — и тем самым демистифицировать любую концепцию «общества», в которой оно предшествует своим элементам.²⁴⁴ Это означало бы, что его модель следует искать уже не в онтологическом единстве индивидуального живого существа (вплоть до платоновского космоса-животного), а в полиперспективном единстве переживаемой одновременно несколькими интеллигенциями, однако всегда по-разному символизируемой общей ситуации. Ситуации — это конгломераты (в другой перспективе: сети) акторов, конфигурирующих друг с другом так, что исключается возможность того, что хотя бы один из них

244 Другой путь покончить с выражением «социальное» в теории общества предлагает теория акторов и сетей (ANT), в которой речь идет исключительно об ассоциациях. См.: *Bruno Latour. Gabriel Tarde und das Ende des Sozialen // Soziale Welt (2001). S. 361—376.*

лишится каких-либо своих физических или умственных свойств в угоду так называемому целому.

Важное первоначальное указание на избранный нами путь мы можем обнаружить у самого философски значимого из основоположников немецкой философии — Георга Зиммеля, вошедшего в анналы социальных наук в качестве зачинателя нетоталистического анализа социальных единств. Именно ему принадлежит инициатива переноса кантовского вопроса о возможности предметов познания в природы на «общества», а тем самым переориентации рефлексии на внутреннюю когнитивную конституцию человеческих ансамблей.²⁴⁵ Зиммель несистематически различает три *quasi* «априорных условия, или формы, образования общества»;²⁴⁶ в качестве первого из них он выделяет схематизацию, по завершении которой члены какой-либо группы первоначально способны воепринимать друг друга лишь в соответствии со своими ролями или своим статусом; второе условие он видит в частичной не-социальности социализированных существ, третье — во включение индивидов в «штатное расписание» «общества» как в совокупность видов профессиональной деятельности, «как если бы в этом целом каждый элемент был приписан к своему месту».²⁴⁷

Наиболее интересный для нас тезис, выражающий протест против чрезмерного холизма, гласит, «что каждый элемент группы является не только частью обще-

²⁴⁵ Georg Simmel. Exkurs über das Problem: Wie ist Gesellschaft möglich // Georg Simmel. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Leipzig, 1908. S. 27—45; а также: *Idem.* Schriften zur Soziologie. Frankfurt, 1983. S. 275—293.

²⁴⁶ *ibid.* S. 280.

²⁴⁷ *ibid.* S. 290. Это (подчеркиваемое самим Зиммелем) ♦как если бы» необходимо для того, чтобы автор действительно не скатился к социал-холистической точке зрения, даже когда он прибегает к языковой игре, в соответствии с которой «занятый определенной профессиональной деятельностью индивид именно в силу своей особенности становится необходимым участником жизни целого...» (*Ibid.* S. 293).

ства, но, сверх того, и еще чем-то».²⁴⁸ «Априори эмпирической социальной жизни состоит в том, что не вся жизнь социальна...»²⁴⁹ Согласно автору, основание этого следует искать в обстоятельстве, «что общества суть строения из существ, которые одновременно находятся и внутри, и вне их».²⁵⁰ Индивидуалистически ориентированному социологу кажется несомненным, что базовым единством этого составного строения может быть только индивидуум, или отдельная душа, которая, как он полагает, «не включена ни в один порядок, не находясь при этом в оппозиции к нему».²⁵¹ Акцент Зиммеля на характерном для философии жизни *бытия-в* и противостояния предвосхищает первоначально шокирующую, живоительно антитоталитарную и антиконсенсуалистскую фундаментальную теорию Лумана, согласно которой реальные индивиды являются не компонентами социальной системы, а принадлежат к ее окружающему миру. С еще большим правом в протесте Зиммеля против тотального поглощения индивида социологией можно увидеть немецкую параллель осуществленному Габриэлем Тардом монадологическому повороту в науках о конгломерациях.

Мы можем принять тезис Зиммеля о частичной вне-социальности индивидуальных компонентов «обществ» при соблюдении трех критических условий: во-первых, следует отказаться от индивидуалистической метафизики зиммелевского учения о формировании общества и заменить ее какой-нибудь более радикальной теорией со-

248 Ibid. s. 283.

249 Ibid. S. 285.

250 Ibid. S. 285. Более радикальная формулировка этой мысли содержится в статье Габриэля Тарда «Монадология и социология» (*Gabriel Tarde. Monadologie et sociologie. Paris, 1999. P. 80*): «Его элементы (то есть крупные социальные механизмы. — П.Сл.)... всегда лишь одной стороной своей сущности принадлежат миру, который они образуют, тогда как другой своей стороной они его избегают. Этот мир не существовал бы без них, однако они без этого мира все-таки нечто собой представляли бы».

251 Ibid.

вместного бытия и ассоциации, например такой, черты которой наметил современник Зиммеля Габриэль Тард в своей не принятой большинством профессиональных социологов работе «Монадология и социология» (1893). В этом философском тексте самого интересного в философском отношении социолога французской школы (мы согласны с меткой характеристикой Эрика Алье) речь идет об остроумной неолейбницианской попытке такой широкой генерализации идеи ассоциации, которая позволила бы описывать все эмпирические предметы как состояния совместного бытия нечто с нечто: «*toute chose est une société*», каждая вещь есть общество.²⁵² Тард настаивает на этой инверсии классического холизма: истина в том, что после создания теории клетки организмы превратились в общества особого типа, как бы

«в ликурговские или руссоистские общины, эксклюзивные и дикие, или еще скорее в религиозные конгрегации невероятного ригоризма, с которым может сравниться только величественная и незыблемая странность их религиозных практик, каковая незыблемость, впрочем, никоим образом не отменяет индивидуального разнообразия и изобретательности их членов».²⁵³

Из этого можно сделать вывод, что то необщественное бытие индивидов, на которое указывает Зиммель, ни в коем случае нельзя понимать как предельно интимное бытие атомарных точек-личностей, в чем нас убеждает метафизика субъекта. С точки зрения Тарда, если человеческие индивиды причастны некоему внеобщественному измерению, то потому, что они сами возникают как до-

²⁵² *Gabriel Tarde. Monadologie et sociologie. P. 58.* Этим определением Тард предвосхищает идеи Уайтхеда, который в «Процессе и реальности» понимает «общество» как самоподдерживающуюся связь «реальных сущностей»; так, например, речь может идти об «обществе электромагнетических явлений»; см.: *Alfred Norton Whitehead. Prozeß und Realität. S. 176, 182.*

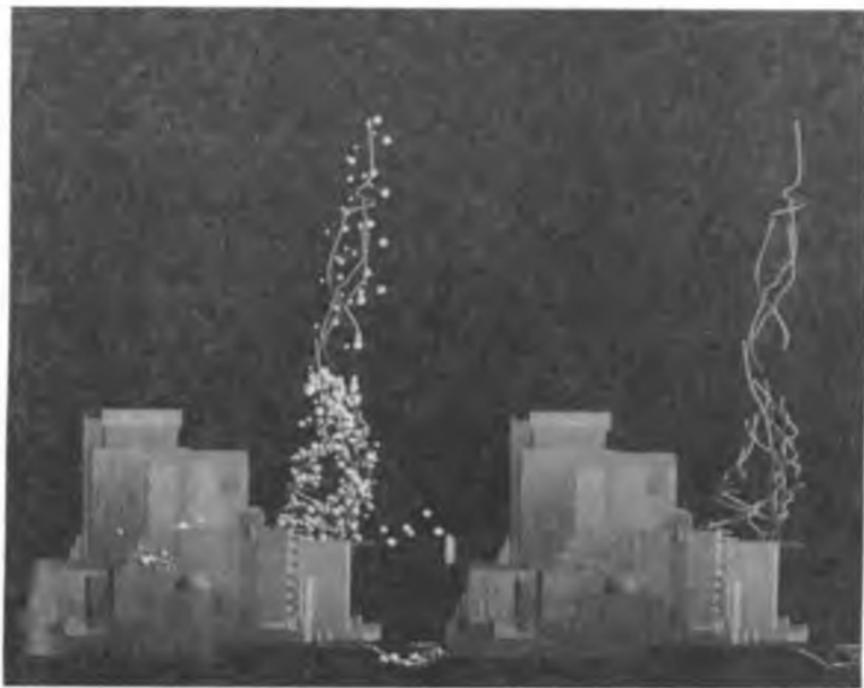
²⁵³ *!ibid. S. 58.*



Франтишек Купка. *Синие и вертикальные поверхности.*
1912—1913 гг.

персональные ассоциации, общества клеток и частиц, подчиненные автономным модальностям композитного бытия. Таким образом, чтобы частично изымать людей из «общества» себе подобных, вовсе не нужно повышать значение их самости в духе метафизики одиночества. На интерперсональном уровне они в определенном отношении десоциальны и асоциальны (или, используя выражения Тарда, пресоциальны или субсоциальны), тогда как на других уровнях и в других отношениях социальны, множественны и существуют в составе определенной композиции. Иначе говоря: чтобы иметь возможность включиться в социальную сеть — то есть войти в общее поле *munera*,* задач, дел, проектов, — индивиды должны

* Обязанности (лат.).



NOX/Ларс Спуйбрёк. Из проекта Beachiiess.

обладать собственным специфическим иммунитетом — освобождением от социального служения. То, что сегодня называется здравоохранением (лучше было бы говорить о биополитической конституции популяции), представляет собой некогда актуальный компромисс между интересами *communitas** и условиями *immunitas***.

К достоинствам неомонадологического подхода в теории общества относится следующее обстоятельство: благодаря своему вниманию к ассоциации небольших единств он препятствует той пространственной слепоте, которая столь характерна для распространенных социологических теорий. С этой точки зрения «общества» являются нуждающимися в пространстве величинами и могут быть описаны лишь с помощью адекватного про-

* Общность (лат.).

** Освобождение от общественных повинностей (лат.).

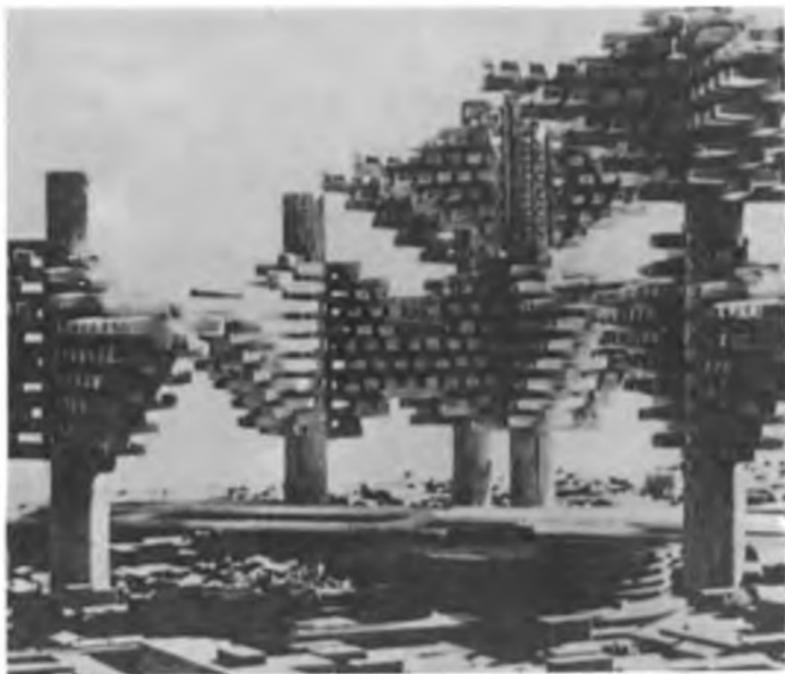
странственного анализа, топологии, теории измерений и «сетевого» анализа (если метафора сети предпочитается метафоре пены²⁵⁴). Тард мимоходом намечает возможное направление таких исследований с помощью мысленного эксперимента: «если бы стадный инстинкт людей не сдерживался непреодолимыми ограничениями, обусловленными силой тяжести, то рано или поздно наряду с известными горизонтально расположенными народами, вне всякого сомнения, появились бы и вертикальные нации — сообщества, состоящие из человеческих кластеров, поднявшихся в воздух и не распространяющихся по земной поверхности, а опирающихся на нее лишь в одной точке.

«Едва ли имеет смысл объяснять, почему это невозможно. Нация, которая распространилась бы ввысь в тех же масштабах, что и вширь, вышла бы далеко за пределы пригодного для дыхания слоя атмосферы, а земная кора не в состоянии предоставить достаточно прочные материалы для титанических конструкций, которые могли бы использоваться при такого рода вертикальном расширении городов».²⁵⁵

С помощью этого рассуждения ассоциативный аналитик пытается объяснить, почему для плоских композитных образований типа человеческих «обществ» (аналогично некоторым мхам и лишайникам) характерны размытые внешние границы. Это свидетельствует о том, что в данном случае мы (возможно, впервые) имеем дело с морфологически чувствительной и внимательной к пространственно-теоретическим проблемам версией социологии. Мы можем подозревать, что процитированный пассаж представляет собой одно из тех редких в социологической литературе мест, в котором человеческие агломерации ин-

254о наших претензиях к метафоре сети см. выше с. 252 и сл.

255 *Gabriel Tard. Op. cit. S. 61.* Отметим, что в своем мысленном эксперименте по созданию вертикальной нации Тард вновь игнорирует гипотезу об устранении силы тяжести (иначе для возведения вертикального города не нужны были бы особенно прочные материалы).



Арата Исодзаки. *Кластеры в воздухе, метаболический город.* 1962 г.

терпретируются с оглядкой на статические, морфологические и атмосферные условия совместного бытия людей.

(Мысленный эксперимент Гарда находит свое продолжение в архитектурных утопиях XX столетия, таких как эскизы по-вавилонски устремленного ввысь «*Ville cosmique*»* * Ионы Фридмана (1964) или «*City in the Air*»** Араты Исодзаки (1962); его указание на плоскую ассоциацию оказало влияние на ризоматику Делёза и Гваттари; с ним перекликается введенное Вилемом Флюссером понятие «жизненного пространства» как «длинного и широкого, но низкого ящика».²⁵⁶ В соответствии с этими концепциями «общества» оказываются своего рода сетча-

256 *Villém Flusser. Räume. Der Wandel des Raumbegriffs in Zeitalter der elektronischen Medien.* Wien, 1991. S. 78.

* «Космический город» (фр.).

** «Город в воздухе» (англ.).

тыми половыми настилами. Их важнейшим измерением всегда является латеральная протяженность).

Если мы хотим и дальше работать с тезисом Зиммеля, гласящим, что «общества» составлены из существ, находящихся одновременно и внутри, и вне своей ассоциации, нам следует внести в него две дополнительные коррективы. Монадологический поворот в духе Тарда действительно способствует устранению того индивидуалистического света, которым сияют члены «гражданских обществ», так что отныне «общества» могут исследоваться как композиции из композиций. Как нам кажется, он должен быть дополнен диалогическим поворотом, благодаря которому при описании социальной взаимосвязи на первый план выйдет принцип формирования специфически человеческих сюрреальных пространств. Вспомним, что уже несколько десятилетий назад Бела Грунбергер своим понятием психической монады проложил путь к такому диадическому повороту. Для психоаналитика выражением «монада» обозначается «форма», содержание которой возникает в результате совместного бытия двоих, связанных друг с другом тесным психическим взаимодействием.²⁵⁷ Поэтому «общества» не следует рассматривать только как монадические сообщества более высокого уровня, как множества, состоящие из множеств; в нашем контексте их прежде всего следовало бы понимать как диадические множества, элементарными единицами которых являются не индивиды, а пары, симбиотические молекулы, семьи, резонансные сообщества, описанные в первом томе нашей трилогии. То, что в ней называется пузырем, есть место *прочного отношения*, характеризующееся тем, что в пространстве близости люди устанавливают между собой психическую связь, дающую им взаимное прибежище; для ее обозначения мы предложили выражение *аутогенный сосуд*.²⁵⁸

²⁵⁷ См.: Сферы. Т. I. Гл. 5. С. 358 и сл.

²⁵⁸ См.: Сферы. Т. I. Введение. Особенно с. 42 и 59.



Марина Абрамович. *Inner Sky for Departure (Внутреннее небо для ухода)*. 1992 г.

Представление о множестве психических аутососудов само собой приводит нас к выражению *пена* — причем мы принимаем топологическое указание Тарда на плоский характер человеческих ассоциаций, получая гетеродоксальную картину плоской пены. Пена — это совокупность обладающих внутренним пространством ризом, принцип соседства которых следует искать прежде всего в латерально пристраиваемых друг к другу образованиях, в плоских кондоминиумах и коизолированных ассоциациях. Интегрированные посредством коизоляции пространственные множества можно сравнить с труппами островов, такими как Киклады или Багамы, на которых одновременно развиваются сходные автохтонные

культуры. Тем не менее интерпретация «общества» как плоской пены не должно привести нас к заключению, что полное собрание коммунальных кадастровых списков даст нам адекватное описание совместного бытия людей с себе подобными и прочим сущим, сколь бы привлекательной — в силу схожести с теорией клетки — ни выглядела аналогия с делением земли на участки в кадастровых книгах. Хотя «общество» вместе со своими сетевыми синтагмами может быть понято лишь исходя из его изначальной пространственности и множественности, геометрические схемы кадастровых книг не дают действительной картины совместного бытия людей с людьми и их архитектурных «резервуаров»; простой образ контейнера не годится для артикуляции специфического напряжения, возникающего между одушевленными структурами в их агрегациях. Нам следовало бы работать с психотопологическими картами (если бы, конечно, такие существовали), основывающимися на диагн-инфракрасных снимках внутренних ситуаций в поливалентных полых телах.

Оставаясь в области метеорологических и климатографических образов, мы могли бы сказать, что самыми, лучшими общими снимками «общества» были, бы афрографин, или сделанные с большой высоты снимки пены. Такие изображения уже при первом взгляде на них информировали бы нас, что целое не может быть ничем иным, как лабильным моментальным, синтезом огромного множества агломераций. Они представляли бы собой наглядные иллюстрации психотермических отношений в агломерациях человеческих пузырей, которые можно сравнить со сделанными в безоблачные ночи спутниковыми снимками индустриальных стран, на которых в виде хаотичных световых пятен перед нами предстает картина совместного бытия людей и технических сооружений в электрифицированных районах с высокой плотностью населения. Выполненная с высоким разрешением афрограмма «общества» продемонстрировала бы нам сотовую

систему соседствующих климатизированных пузырей, благодаря чему мы бы увидели, что «общества» как в физическом, так и в психологическом смысле представляют собой полисферические климатические устройства. Снимок современной ситуации дал бы нам картину в высшей степени различных температурных настроек и высокой неравномерности уровней одушевления, иммунизации и комфорта — различий, которые внутри соответствующих полей трансформируются в психосемантические напряжения и социально-политические темы. Политическое поле отныне можно было бы исследовать с помощью учения о течениях семантических зарядов или смысловых векторов. Что такое социальная политика, как не формализованная дискуссия о перераспределении шансов на комфорт и психотермических ресурсов, необходимых для привилегированного существования, а также о доступе к самым эффективным иммунным технологиям?

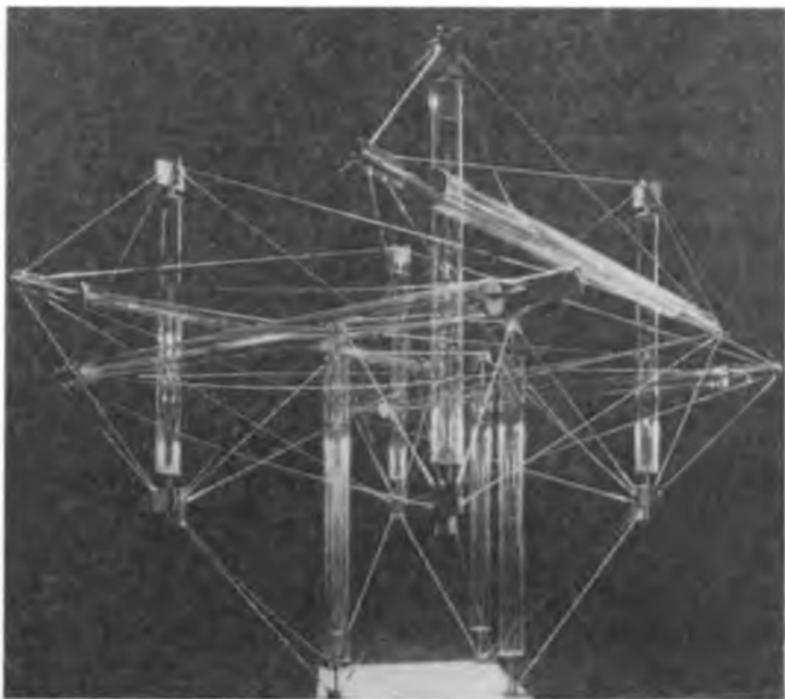
Наконец, нам необходимо более основательно рассмотреть замечание Зиммеля о том, что конститутивные элементы социальных групп не только являются компонентами общества, но и, *сверх того*, всегда представляют собой *еще нечто* в пространственно-теоретическом и топологическом ракурсе. С помощью концептов «пузырь» и «аутогенный сосуд» мы можем истолковать смысл этого «сверх того» с пространственно-критической точки зрения. Если люди способны сосуществовать в «обществе», то лишь потому, что они объединились и вступили в отношения друг с другом в каком-то другом месте. «Общества» — это множества, состоящие из самостоятельных пространств, к которым люди могут быть причастны лишь в силу своих всегда уже заранее данных психотопических различий. Следовательно, чтобы типично человеческим образом быть «в обществе», необходимо заранее обладать некоей психической способностью к совместному бытию. Без предварительного психотопического тьюнинга собранные вместе не могли бы собраться — или же их ассоциации можно было бы сравнить с конгрессами



Северная и Южная Америка (с Гавайями). Снимок сделан в безоблачную ночь со спутника NASA.

аутистов, группами замерзающих ежей, как Шопенгауэр характеризовал «буржуазное общество». Лишь поскольку психическое пространственное образование *alias* коммуникация предшествует социальной ассоциации, возможно участие в более масштабных собраниях. Если бы дело обстояло иначе, то, как отметил Рене Кревель, каждый отдельный человек должен был бы оставаться замкнутым в самом себе, как «затянутая в корсет, превратившаяся в развалину старая шляха». Но как в таком случае объяснить неоспоримые феномены духовного влияния, «изобилие наших общих доменов», «не поддающийся учету, но реальный обмен»?²⁵⁹

259 René Crevel. *Le bien du siècle*, zitiert nach: *La révolution surréaliste*. Ein Lesebuch / Hrsg. von Una Pfau. München, 1997. S. 55.



Штефан Гозе и Патрик Тойффель. *Tensegrity Skulptur*. Концепция со стеклянными трубами 3—4-метровой длины.

В действительности индивиды способны к существованию в обществе в той мере, в какой они оказываются в состоянии с помощью своего рода психосоциальной шлюзовой камеры переместиться из примитивного диадического пространства в поливалентное пространство как еще не слишком развитых, так и зрелых «социальных» контактов, в насыщенную пену или сеть, наконец, даже в систему обязательной необязательности.²⁶⁰ Однако их «готовность к обществу», как отмечает в своем сферологическом рассуждении *ante litteram* Зиммель, в той же мере обусловлена и тем, что личности удерживаются в границах «власти и права собственной сферы», сознавая,

²⁶⁰ *u_{we} Sander*. Die Bindung der Unverbindlichkeit. Mediatisierte Kommunikation in modernen Gesellschaften. Frankfurt, 1998.

что «власть и право не распространяются на другую сферу».²⁶¹ Персонализм представляет собой философскую форму, в которой контролирующие себя индивиды предлагают друг другу взаимные гарантии безопасности. Естественно, Зиммель говорит здесь как кантианец, разделяющий мысль своего учителя, что смысл гражданского правопорядка состоит в обеспечении сосуществования различных центрированных в самих себе кругов произвольного выбора.²⁶² Новалис, несколько лучше оценивая соотношение сил, заметил столетием ранее, что каждый индивидуум есть центр определенной системы эманации.²⁶³

На фоне этих рассуждений становится очевидным, что (и почему) кантовская дефиниция пространства как возможности совместного пребывания должна быть дополнена или заменена ее инверсией.²⁶⁴ -Совместное пребывание создает возможность пространства. Если в кантовской физике вещи лишь заполняют заранее существующее (лучше сказать, *a priori* представленное) пространство и существуют рядом друг с другом в модусе взаимного исключения, то в психо- и социосферическом пространстве собравшиеся вместе благодаря своему совместному бытию сами формируют пространство: они переходят друг в друга и в модусе взаимного убежища и взаимной эвакуации образуют психосоциальное место особого типа. Здесь еще раз дает о себе знать различие между простыми вмещающими сосудами физической интерпретации пространства и самоокругляющимися аутогенными сосудами сферологии.

²⁶¹ *Georg Simmel. Soziologie des Raums (1903) // Georg Simmel. Schriften zur Soziologie. Frankfurt, 1983. S. 229.*

²⁶² См.: *Immanuel Kant. Die Metaphysik der Sitten / Hrsg. von Wilhelm Weischedel. Frankfurt, 1977. S. 336 f.*

²⁶³ *Paralipomena zum Blütenstaub. N 131.*

²⁶⁴ Ср. топологические рассуждения Хайнера Мюльманна в его теории инстинктивной архитектуры, в которых различаются биологические пространственные системы и пространства артефактов и символов; см.: *Heiner Mühlmann. Die Natur der Kulturen. S. 55 f.*

В ракурсе этого различия и темпоральная связь между поколениями как друг-после-друга-совместно-сущими предстает в несколько ином свете. Если мы понимаем культуры как пространства, интегрирующиеся благодаря формированию общих моделей, то традиция должна пониматься как процесс коллективного сохранения моделей во времени. В традиционных культурах смысл обучения состоит в адаптации к существующим моделям. В ориентированной на исследование культуре, которая, как, например, современная, становится открытой благодаря прогрессирующей экспликации, обучение, напротив, означает участие в процессах перманентной ревизии моделей. Каждое учебное место представляет собой временную микросферу в обучающей пене.

ИНСУЛЯЦИИ

К теории капсул островов и теплиц

После выхода в свет в 1719 году романа Даниэля Дефо «The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner: who lived eight and twenty years all alone in an uninhabited island on the coast of America... written by himself»* европейцы признали, что люди суть существа, которым есть что искать на островах. Начиная с этого образцового кораблекрушения остров в далеком океане служит ареной процессов ревизии, которой подвергаются определения реальности на *terra ferma*.**

Констатировать это означает обратить внимание на асимметрию в отношениях между сушей и островом. Обычно континентальная культура и островное существование соотносятся друг с другом как правило и исключение, и в случае Робинзона первенство исключения приобретает парадигматическое значение. История простоватого пуританина, создавшего на уединенном атлантическом острове своего рода микро-*commonwealth* из христианских и британских клише, в течение последних столетий выдержала более тысячи переизданий, переработок и переводов, распространившись по миру в масштабах, сопоставимых с масштабами распространения

* «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки... написанные им самим» (англ.).

** Суша (лат.).

Нового Завета, а это свидетельствует о том, что она представляет собой нечто большее, чем всего лишь адаптированное на примере острова евангелие о частной собственности. В ней дана формула отношения между Я и миром в эпоху овладения миром европейцами.

Мы хотим уйти от традиционной пространственной диалектики, в которой мир и остров соотносятся как тезис и антитезис, чтобы снять их: в туристически-цивилизованном синтезе. Нас интересует сферологическая теория острова, с помощью которой мы покажем, как могут возникать одушевленные внутренние миры и каким образом множества миров аналогичного типа Объединяются в морские архипелаги или ризомы. В своем раннем эссе «Одинокий остров» Жиль Делёз фиксирует различие между островами, вырванными из континентального контекста в результате работы морской воды, и островами, поднявшимися из моря вследствие подводной активности земли. Этому различию, и свою очередь, соответствует различие между изоляцией как следствием эрозии и изоляцией как результатом творческого акта. Пребывание людей на острове занимает философа в той мере, в какой остров воплощает место, являющееся предметом человеческих грез, а человек — чистое сознание острова. Это отношение возможно при одном условии:

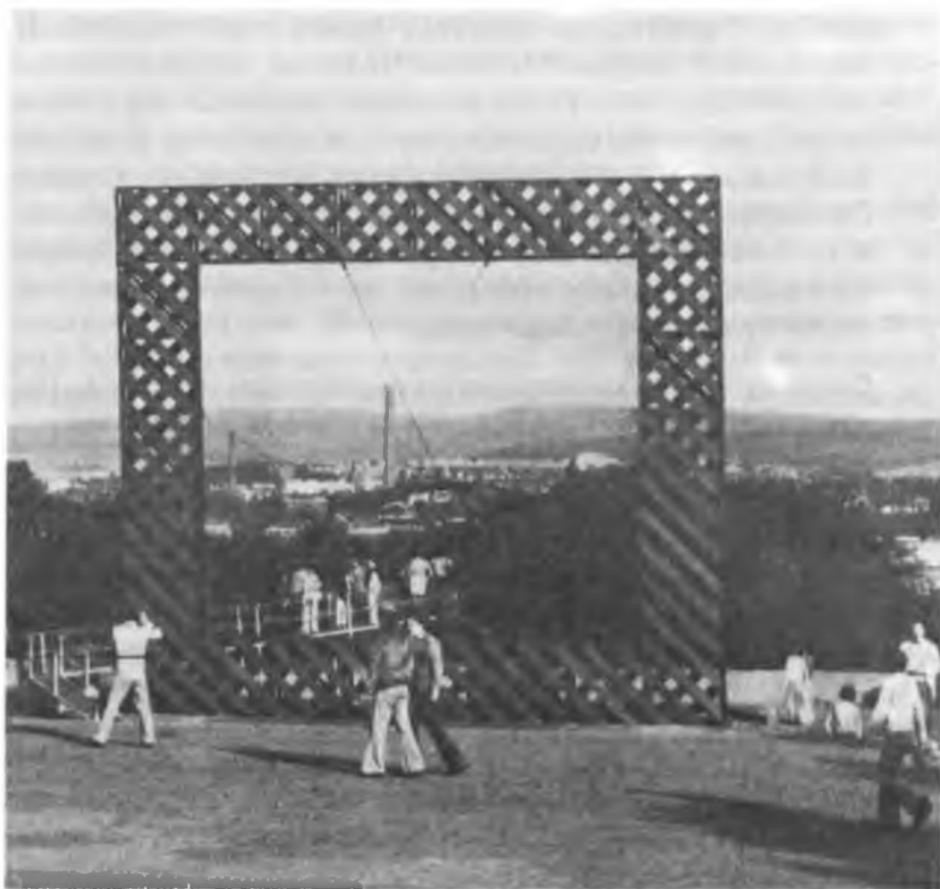
«Человека следовало бы свести к движению, приводящему его на остров, движению, продлевающему и повторяющему порыв, который рождает остров. Тогда география соединилась бы с воображением. Так что единственный ответ на излюбленный вопрос прежних исследователей: "Какие существа живут на одиноком острове?", гласил бы, что на нем уже живет человек, но человек необычный, полностью изолированный, сугубо творческий человек, короче говоря, идея человека, прототип, мужчина — почти бог, женщина — почти богиня, человек, лишенный воспоминаний, чистый художник, сознание земли и

океана, гигантский циклон, прекрасная колдунья, изваяние с острова Пасхи. Человек, предшествующий самому себе. Такое существо на одиноком острове само было бы одиноким островом, ибо он сам себя воображает и отражается в своем первом движении. Сознание земли и океана, одинокий остров, способный дать новое начало миру... вопрос в том, способно ли индивидуальное воображение в одиночку достичь этого чудесного тождества».²⁶⁵

Острова — это модели мира внутри самого мира. Их способность стать таковыми объясняется прежде всего изолирующим воздействием влажной среды, которой они, согласно своему определению, окружены со всех сторон. Бернарден де Сен-Пьер имел все основания, сказать, что острова суть «краткие версии небольшого континента». Есть какая-то ограничительная сила, ставящая предел вздымающей силе острова, и вне контекста эти поверхности представляют собой своего рода, поднявшиеся из глубины естественные ■ художественные произведения, обрамленные морем ■ выставочные экспонаты природы. Как микроконтиненты острова служат образцами миров, поскольку на них собрана коллекция мирсгобразующих единств: собственная флора, собственная фауна, собственная человеческая популяция, ансамбль автохтонных нравов и рецептов. Обрамляющее действие моря, со своей стороны, служит примером, подтверждающим теорию границы Георга Зиммеля, изложенную им в «Социологии пространства» (1903), где говорится:

«Рама, замкнутая граница картины, имеет для социальной группы почти такое же значение, что и для художественного произведения... Она отделяет его от окружающего мира и замыкает в самом себе; рама

265 Gilles Deleuze. Die einsame Insel und andere Texte. Texte und Gespräche von 1953 bis 1974 / Hrsg. von David Lapoujade. Frankfurt, 2003. S. 12 f.



Хаус-Рукер-Ко. Рамочная конструкция. 1977 г.

возвещает, что внутри нее находится подчиняющийся только собственным нормам мир...»²⁶⁶

Таким образом, изоляция превращает остров в то, что он есть. Ту функцию, которую для картины выполняет рама, исключая ее из мирового контекста, а для народов и прочих групп — укрепленные границы, для

²⁶⁶ Georg Simmel. *Soziologie des Raums* // Georg Simmel. *Schriften zur Soziologie*. S. 226; ср. также: *Idem*. *Der Bildrahmen. Ein ästhetischer Versuch, 1902* // *Vom Wesen der Moderne. Essays zur Philosophie und Ästhetik* / Hrsg. von Werner Jung. Hamburg, 1990.

острова выполняет изолятор, море. Если острова — это модели мира, то именно потому, что они в достаточной мере оторваны от остального мирового контекста, чтобы мог состояться эксперимент по восставлению тотальности в ограниченном формате. Если, согласно Хайдеггеру, художественное творение воссоставляет мир, то море мир выграничивает.

Море как изолятор позволяет появиться модели мира, главным признаком которого является островной климат. Островные климаты — это компромиссные климаты, устанавливающиеся в результате взаимного влияния континентальных воздушных масс с присущей им биосферой и воздушными массами открытого моря. В этом смысле мы можем сказать, что подлинный опыт острова — климатической природы и что он обусловлен погружением посетителя в островную атмосферу. Это отнюдь не только чрезвычайная биотопическая ситуация, тепличная оторванность от континентального жизненного процесса, окрашивающая острова в характерные локальные цвета, но и в еще большей мере то атмосферное отличие, которое оказывается решающим для определения островного как такового. Острова образуют климатические анклавов во всеобщих атмосферных условиях; они — используем искусственный неологизм — суть атмотопы, автономно формирующиеся под воздействием своей морской изоляции. Если островной климат — это метеорологический термин, то выражение «климатический остров» представляет собой пространственно-теоретическое и сферологическое понятие. Первый принимает особые климатические условия острова как данный факт, второе инициирует их генетическое исследование, вызывая вопрос об условиях возникновения и изготовления островов.

На то, что означают климатические острова с генетической точки зрения, указывает вульгарно-латинский, позднее итальянский глагол *isolare* (превращать в остров), поскольку сам его характер вызывает вопрос о создателе острова, изоляторе. До сих пор в наших рассу-

дениях в качестве создателя островов рассматривалось только море, и вследствие того что речь о создании шла с оглядкой на эту стихию, она носила непреодолимо аллегорический характер. Однако мы вряд ли сможем до конца оставаться в этих рамках, ибо изолирующая деятельность как отграничение определенной объектной области и прерывание континуума реальности есть общетехническая идея, так что напрашивается вопрос о возможности создания более крупных островных единств некими разумными деятелями, а не только такими бессубъектными агентами, как море, суша и воздух. То, что это рассуждение выражает нечто большее, чем техническую *hybris*, * * доказывают античные этиологические мифы, повествующие о возникновении островов. Мы имеем в виду знаменитую историю о борьбе олимпийцев с гигантами, замыслившими напасть на небо, чтобы отомстить за своих братьев, низвергнутых в Тартар титанов. В заключительной фазе битвы, когда гиганты, преследуемые олимпийцами, летели обратно на землю, имело место метание скальных обломков, следствием которого стало возникновение островов; вот как описывает это событие Ранке-Гравес в своем строгом изложении греческих историй о богах:

«Афина метнула в Энкелада скалу. Скала поразила летящего. Так возник остров Сицилия. Посейдон отколол своим трезубцем кусок от острова Кос и бросил его в Полибута. Тот упал в море, в результате чего вблизи Сицилии возник остров Низирос, под которым погребен Полибут».²⁶⁷

Ознакомившись с этой этиологической легендой, мы можем сделать вывод, что некоторые острова представляют собой не что иное, как могилы гигантов или крышки

267 *Robert von Ranke-Graves. Griechische Mythologie. Quellen und Deutung. Reinbeck bei Hamburg, 1984. S. 116—117.*

* Дерзость (*греч.*).



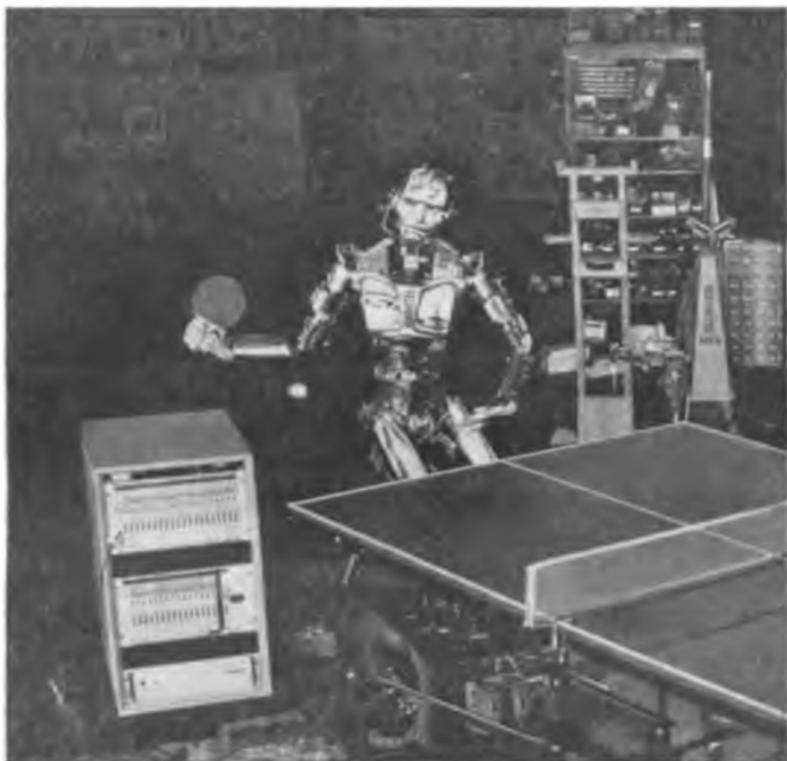
Иероним Фабриций Аквапенденте. Протез всего человеческого тела. Иллюстрация из «Opera chirurgica Patavii», 1647 г.

гробов, в которых покоятся враги богов. Еще более впечатляет то, что они описываются как завершившие свой полет снаряды, как следствие мощнейших бросков и, стало быть, как результат некоей практики. Теперь, когда речь идет об изоляторах, имеется в виду уже не одно только море. Акции богов также могут создавать острова, но пока лишь в модусе побочного действия. Придется дожидаться наступления эпохи раннепросвещенческих утопий, чтобы увидеть, как архаическое островометание переходит в политически и технически компетентное проектирование островов. Начиная с этого времени для новоевропейских обывателей с каждым поколением ста-

новится все очевиднее, что так называемый проект модерна неразрывно связан с незопойетическим архетипом, а следовательно, с тенденцией к переводу острова, по-гречески *he nésos*, из разряда найденного в разряд сделанного. Современные люди — это занимающиеся выдумыванием и возведением островов интеллигенции, исходящие словно из своего рода топологической декларации прав человека: в ней право на изоляцию связывается со столь же исконным правом на сетевую интеграцию. Поэтому сформулированная около 1970 года калифорнийской группой «Морфозис» концепция *Connected Isolation** с предельной точностью выражает топологический принцип новоевропейского мира. Современность направляет свою эксплицирующую мощь и на фундаментальное условие бытия-в-мире, обитание в жилище, которое отныне должно рассматриваться как изолирующая по своему изначальному смыслу деятельность человека — или, используя формулу феноменолога Германа Шмитца, «как культура чувств в огороженном пространстве».

Ниже мы намереваемся описать три формы технической экспликации образования островов, сложившиеся в результате развития новоевропейского искусства изоляции: во-первых, конструирование изолированных, или абсолютных, островов, таких как корабли, самолеты и космические станции, для которых изолятором служит уже не море, а какая-либо другая среда — сначала воздух, а затем пустое пространство; во-вторых, сооружение климатических островов, то есть теплиц, в которых атмосферическая чрезвычайная ситуация естественного острова заменяется технической имитацией парникового эффекта; и, наконец, антропогенные острова, на которых совместное бытие вооруженных различными инструментами людей с себе подобными и прочим сущим вызывает воздействующий на самих жителей йнкубационный эф-

* Связанная изоляция (англ.).



Робот, играющий в настольный теннис; фирма «Sarcos». Реагирует на мышечную активность своего визави.

фект. Этот эффект рождает такую форму инсуляции, о которой еще нельзя утверждать, что ее создание осуществляется по всем правилам искусства социальной инженерии, хотя современные социальные государства — рассматриваемые нами как интегральные комфортабельные капсулы — далеко продвинулись в деле замены первичного инкубатора коллективной конструкцией, выполняющей функции суррогатной матери.

Предложенная классификация островов следует принципу Вико, согласно которому мы понимаем лишь то, что способны делать сами. В сущности, техническая деятельность есть не что иное, как замена, или протезирование. Тот, кто хочет понять остров, должен с по-

мощью технических средств строить протезы островов, точь-в-точь воспроизводящие все существенные характеристики естественного острова. По эрзац-форме мы в конце концов поймем, что представляет собой первичная форма. Поэтому развертывание изготовления протезов — ядра процесса экспликации — представляет собой не что иное, как феноменологию действительного духа. Воспроизводство жизни в другом месте демонстрирует, насколько понята жизнь в своей первичной форме.

А. АБСОЛЮТНЫЕ ОСТРОВА

Абсолютные острова возникают вследствие радикализации принципа образования анклавов. Сами по себе обрамленные морем участки суши не способны стать таковыми, поскольку они достигают лишь горизонтальной изоляции, оставаясь открытыми по вертикали. В этом смысле естественные морские острова являются только относительно и двухмерно (по длине и ширине) изолированными. Даже обладая особым климатом, естественные острова испытывают воздействие потоков воздушных масс. Абсолютный же остров предполагает трехмерную изоляцию — а следовательно, переход от рамы к капсуле или, проводя аналогию с искусством, от плоской картины к инсталляции в пространстве. Без вертикальной изоляции не может быть полной замкнутости.

Чтобы быть абсолютным, технически изготовленный остров должен избавиться от привязки к определенному месту и стать мобильным. Поэтому непреодолимая относительность естественных островов обусловлена двояким образом: двухмерностью их изоляции и неподвижностью их положения. Для абсолютного, трехмерного и мобильного острова необходима ревизия его отношения к окружающей стихии. Он уже не располагается в ней в какой-либо точке, а относительно свободно перемещается в ней, плавая или летая. Наиболее точный способ бытия

абсолютного острова — девиз жюль-верновского капитана Немо: *mobilis in mobili*, подвижный в подвижном, — изречение, в котором Освальд Шпенглер с полным основанием видел экзистенциальную формулу индивида-предпринимателя «фаустовской» цивилизации. Приводимый в движение электричеством подводный отель «Наутилус» — порождение изобретательского духа великого мизантропа — воплощает первую технически совершенную проекцию идеи абсолютной инсулярности; он — модель совершенно замкнутого и интровертного мира, оснащенная бортовым оргйном и огромной библиотекой; способный погружаться в морские глубины климатизированный анклав, непрерывно блуждающий и скрывающийся от людей и кораблей, словно вынужденная высадка Робинзона на пустынный остров превратилась в добровольное изгнание, а атлантический модельный остров — в плавучую пещеру, наполненную сокровищами высоко-развитой культуры и ученой горечью загадочного морского отшельника. Чрезвычайно подвижное морское судно представляет собой совершенный протез острова, экплицирующий и воспроизводящий, по существу, все основные черты островного бытия. На трехмерном острове не просто становится ясен анклавный характер такого фрагмента пространства; одновременно с этим мы осознаем тот принцип вытеснения, в соответствии с которым острова как пространственные величины пускают в ход собственную массу, чтобы оттеснить окружающую стихию.

Тем не менее, являясь морскими протезами островов, подводные лодки и батискафы родственны естественным островам, поскольку они вместе с ними делят традиционную стихию. Абсолютные острова появляются лишь тогда, когда меняется и сама окружающая стихия. Это относится к самолетам, прежде всего тем, которые летают на таких больших высотах, что внутри них приходится техническими средствами создавать пригодный для жизни воздушный режим, а также к космическим станциям, пребывающими в не-стихии, пустоте. В этих слу-

чаях пространство занимается уже не посредством обычного вытеснения, а с помощью имплантации тела, простирающегося как не знающий конкуренции обладатель своего места в пространстве. Как только окружающая стихия заменяется вакуумом, инсулярный пространственный имплантат, избавленный от противодействия силы притяжения, должен нести себя исключительно сам. При этом протяжение и вытеснение становятся, по сути, одним и тем же. В вакууме свободные от какой бы то ни было конкуренции тела настолько велики, насколько позволяет их собственная воля к протяжению — а она тождественна их конструктивному плану. Имплантация в вакуум есть не что иное, как продолжение островометания средствами космической техники. Его принцип известен с 1687 года, когда Исаак Ньютон в своем трактате «De Mundi systemate»* провел знаменитый мысленный эксперимент с метанием камня, в котором снаряд ускорился настолько сильно, что уже не падал обратно на землю, а, подобно естественному спутнику, стабилизировался на земной орбите.

Таким образом, если изоляция становится трехмерной и возможна свободная навигация в окружающей стихии, обрамление острова уже не может быть результатом встречи земли и моря на береговой линии. У абсолютных островов нет берега, а есть внешние стены, причем со всех сторон. Им необходима абсолютная герметичность — тот, кто пожелает выйти из них в окружающее пространство, должен быть готов к тому, что он тотчас пойдет ко дну. Купание во Вселенной возможно лишь с помощью специального обмундирования; того, кто станет купаться в вакууме обнаженным, ждет незавидная судьба. Решающей для дизайнера абсолютного острова является необходимость преобразования относительно мягкой атмосфической чрезвычайной ситуации естественного острова в строгую чрезвычайную ситуацию искусст-

* «О системе мира» (лат.).

венно замкнутого атмосфера. На естественном острове дыхание использует спонтанное формирование климата, осуществляющееся в результате взаимодействия морского воздуха и островной биосферы; внутри же абсолютного острова дыхание оказывается в безусловной зависимости от технических систем воздушного обеспечения, становящихся все более совершенными благодаря подводным, аэронавтическим и космическим исследованиям. Климат абсолютного острова возможен лишь как абсолютный интерьер, ибо острова этого типа передвигаются в не приспособленной для дыхания среде, будь то вода, бедные кислородом высотные слои земной атмосферы или космический вакуум — в любом случае в окружении, в котором отсутствует стабилизированная эволюцией связь между дыхательным обменом веществ и воздушной средой. То, что на относительном острове является окружающей стихией, на абсолютном должно стать внутренним пространством. Тот, кто попытается дышать в нем без специально доставленной воздушной среды, почти моментально задохнется, точнее, умрет от вакуумной эмболии.

С философской точки зрения значение космических полетов заключается отнюдь не в том, что они подготавливают средства для возможного исхода человечества во Вселенную или якобы связаны с потребностью человека в постоянном раздвижении границ возможного. Мы можем оставить в покое романтику исхода. Если космический полет важен в онтологическом отношении для технически компетентной теории *conditio humana*,* то лишь потому, что в нем фиксируются результаты экспериментов с тремя необходимыми для человеческого способа бытия категориями: имманентности, искусственности и порыва. Пилотируемые космические станции суть не что иное, как антропологические демонстрационные стенды, ибо бытие-в-мире астронавтов возможно лишь как бытие-внутри-станции. Специфический онтологический

* Удел человека (лат.).

смысл этой ситуации состоит в том, что станция в большей мере, чем какой-либо земной остров, представляет собой модель мира, точнее, машину имманентности, в которой существование, или способность-пробытия-в-мире, целиком и полностью оказывается в зависимости от технических средств создания мира. Адекватной бортовой философией могла бы быть позитивная версия учения Хайдеггера о по-ставе. Космическая станция — это не ландшафт и тем более не «край», а также не биотоп в корректном смысле слова, ибо единственными биологически активными обитателями внутреннего пространства станции являются космонавты и сопровождающие их микробы. Однако в будущем, в частности на борту построенной в 1999—2004 годах Международной космической станции (МКА), пришедшей на смену станции «Мир», предполагается наличие менее крупных биосферных единств; так, например, входящим в структуру НАСА Ames Research Center* разработана «Salad Machine»,** подсвечиваемая мини-теплица, способная трижды в неделю производить на площади 2.8 квадратных метров морковь, огурцы и салат в количестве, достаточном для пропитания экипажа из четырех человек.²⁶⁸ Со-

268 См.: *Ernst Messerschmidt, Reinhold Bertrand, Frank Pohlemann. Raumstationen. Systeme und Nutzung. Berlin; Heidelberg; New York, 1997. S. 145.* «Салатная машина» представляет собой дальнейшее развитие разработанной советскими исследователями теплицы «Свет», испытывавшейся на борту «Мира» начиная с 1990 года. Эксперименты в условиях невесомости показали, что в «Свете» растения первоначально достигают лишь половины от размеров тех растений, которые выращивались в сопоставимых условиях на Земле; при опытах с пшеницей появлялись съедобные зерна, бывшие, однако, стерильными — как выяснилось в результате дальнейших исследований, в силу слишком высокой концентрации этилена. Прорыв в области космической биологии культурных растений произошел в 1997 году, когда были выращены способные к размножению всходы горчицы; в 1999 году были проведены успешные эксперименты с двумя поколениями космической пшеницы. См.: *Marsha Freeman. Challenges of Human Space Exploration. Chichester, 2000. P. 74—79.*

* Исследовательский центр Эймса (англ.).

** «Салатная машина» (англ.).



Астронавт Марк Ли парит за бортом космического корабля «Дискавери» на высоте 279 км от уровня моря.

временные станции формируют окружающую среду, которая с оглядкой на человеческий компонент станции именуется «системой поддержания жизнеобеспечения» — Environment Control and Life Support System (ECLSS).²⁶⁹

Это проливает новый свет на природу, понимаемую в старом антропоцентрическом духе: ее можно — отталкиваясь от идеи протеза — интерпретировать как заранее данную, спонтанно заселенную систему жизнеобеспече-

²⁶⁹ Ibid. P. 109—148.

ния, обитатели которой не могут иметь физически адекватных представлений о способе ее функционирования, пока «экзистенциально» населяют ее, то есть обитают в ней в модусе интуиции, увлеченности, а также ритуального и метафорического истолкования. Лишь тот, кто нокидает систему, способен научиться понимать ее, глядя на нее извне; взгляд извне возможен благодаря отказу от кооперации с хорошо известным и поиску заменяющих его форм. Космический полет может быть должным образом оценен лишь тогда, когда в нем — кроме мотивов действующих лиц — видят ключевую дисциплину экспериментальной антропологии; он — самая суровая школа разрушающих наивность процедур в отношении *conditio humana*, ибо в силу присущих ему радикально эксцентрических эрзац-форм совместного бытия людей с себе подобными и прочим сущим в одной общности он неминуемо вынуждает учитывать даже самую мельчайшую деталь в машине имманентности. Имея своей целью интегральную, эксцентрическую, радикально-эксплицитную реконструкцию жизненных условий во внешнем пространстве, космический полет как эталон понимания реальности на порядок жестче самой жесткой до сих пор дисциплины понимания реальности в общении с внешним — политики, определение которой как искусства возможного тем не менее пока остается в силе для земных ситуаций. По сравнению с космическим полетом политика, даже когда ею занимаются в достаточной мере профессионально, все еще связана с иллюзорной, смутной, обманчивой средой, в которой высшие посты могут занять спекулянты на определенные темы и контейнеры коллективного смятения.²⁷⁰ Разница в эксплицитности между космическим полетом как искусством возможного в вакууме и политикой как искусством возможного на

²⁷⁰

о политиках как контейнерах коллективных состояний см.: *Thomas Macho. Container der Aufmerksamkeit. Reflexionen über Aufrichtigkeit in der Politik // Opfer der Macht. Müssen Politiker ehrlich sein? / Hrsg. von Peter Kemper. Frankfurt; Leipzig, 1993. S. 194 f.*



Шеннон Люсид изучает быстрорастущую пшеницу в культиваторе «Свет», модуль «Кристалл».

земной поверхности в настоящее время еще чрезвычайно велика; современную политическую деятельность, пожалуй, можно сравнить с чем-то вроде караоке-вечеринки, а партии — с участвующими в ней конкурсантами.

Конструирование абсолютных островов в космическом пространстве — дело, требующее необычайной точности, ибо в нем нет места допущениям. Тот, для кого важно оторвать остров от твердой земли и от земных окружающих стихий, должен знать, что он ничего не может предполагать. В вакууме удачным может быть лишь то, что понято до последней детали, включая технику, с помощью которой осуществляется подъем в безвоздушное пространство. Космический полет — продукт мультипликации точности и легкомыслия. В нем соединяются левитация и предельная тщательность. Пророчество Ницше, что мы, мореплаватели будущего, несем за собой не только мосты, но и саму землю,²⁷¹ для путешествуя-

271 *Фридрих Ницше. Веселая наука, § 124: *На горизонте весело печного. Мы покинули сушу и пустились в плавание! Мы снесли за со-*



Космическая лаборатория «Колумбус».

щих по Вселенной вакуонавтов конкретизируется букв-
вальным образом. Это относится прежде всего, повторим
еще раз, к сердцевине космического острова, системе
жизнеобеспечения, которая лучше всего может быть по-
нята как полностью инсулированный атмотоп, или ин-

бою мосты — больше, мы снесли и саму землю!.. Горе тебе, если тебя ох-
ватит тоска по суше и дому, словно бы там было больше свободы, — а
“суши”-то и нет больше!» [перевод К. Свасьяна].

тегральная камера для продуцирования дыхательных газов и обмена веществ; в нее входят узлы для решения задач по управлению воздухом, водой и отходами.

Что касается первой задачи, то речь идет в первую очередь о системах изготовления дыхательных газов, а также контроля температуры и влажности воздуха, его очистки от малейшего загрязнения и вентиляции. Последняя важна для безопасности космонавтов, поскольку в условиях невесомости не происходит спонтанной конвекции, циркуляции воздушных масс в силу различия в массе между нормальным и выдыхаемым воздухом, вследствие чего чрезмерному скоплению CO_2 и теплого воздуха в дыхательном колоколе вблизи тел космонавтов может помешать лишь искусственная циркуляция воздуха. Российский космонавт Сергей Крикалев, за шесть полетов на борту космической станции «Мир» проводивший «во Вселенной» почти двадцать месяцев, в состоявшейся в апреле 1999 года беседе с режиссером Андреем Ужика указал на некоторые особенности жизни на станции, в частности на необходимость защиты спящих астронавтов от остановки циркуляции воздуха в области их головы. «Есть этот вентилятор, обеспечивающий циркуляцию воздуха в области наших лиц во время сна... Если он выйдет из строя, жизни члена экипажа будет грозить опасность».²⁷² Без искусственной циркуляции воздуха спящие астронавты сами похоронили бы себя в невидимом саркофаге из азота и диоксида углерода.

Тот факт, что внимание космонавтов направлено прежде всего на созданную в герметизированных кабинах искусственную атмосферу., во многом объясняется обстоятельством, что два фатальных эпизода в истории космонавтики были вызваны отказом систем воздухообеспечения. В июне 1971 года три советских космонав-

272 Der Kosmonaut Sergei Krikalev im Gespräch mit Andrei Ujica: Schwerelos um Heimat Erde. Das Leben im All-Das All im Leben // Lettre international. Heft 53. Sommer 2001. S. 75.



Авария в январе 1967 г.

та, возвращаясь в земную атмосферу после посещения станции «Салют», погибли на борту космического корабля «Союз-11» из-за неисправного вентиля. Выход из строя последнего повлек за собой утечку воздуха из спускаемого аппарата; космонавты Добровольский, Пацаев и Волков, бывшие в этот момент без скафандров, в течение двенадцати минут находились в вакууме, вследствие чего

сначала потеряли сознание, а затем скончались от эмболии. Погребение чрезвычайно популярных космонавтов (именно в связи с их миссией Советский Союз начал PR-кампанию во славу социалистической космонавтики, и о полете ежедневно сообщалось по телевидению) в кремлевской стене превратилось в акт государственного значения; о минуте же размышлений об атмосферных условиях жизни людей ничего не известно. В США еще ранее, в январе 1967 года, во время наземных тестов в рамках программы «Аполлон» в горящей капсуле погибли три астронавта, после того как наполнявшая ее стопроцентно кислородная атмосфера вспыхнула от электрической искры и капсула в течение нескольких секунд оказалась объята пламенем. После этих инцидентов ни один человек, занимающийся космо- и аэротехникой, не мог не осознать значения систем воздухообеспечения на борту космических станций.

В аэротехническом дизайне своего жилого пространства астронавты выступают в качестве потребителей кислорода и производителей CO_2 или вообще в качестве преобразующих вещества биологических *black boxes*,* пронизываемых потоками различных веществ. В интересах уменьшения массы проходящие сквозь тела астронавтов газообразные, жидкие и твердые субстанции по возможности включаются в циклические процессы с целью установления взаимосвязи между управлением снабжением космонавтов и утилизацией отходов. При рециклировании воздуха и воды эта взаимосвязь оказывается весьма тесной, тогда как в том, что касается управления питанием и утилизацией экскрементов, все еще приходится считаться с высоким фактором экстернализации. В литературе по космической технике сообщается, что русские уверяют дальнейшую судьбу экскрементов космосу, тогда как американцы возвращают свои выделения на Землю. Публикации, в которых были бы даны этнопсихоло-

* Черные ящики (англ.).

гические интерпретации этого различия, до сих пор отсутствуют — возможно, в интересах будущего мирного сотрудничества великих держав в исследованиях космоса.

Впрочем, очевидно, что семантическое и психическое обеспечение астронавтов в обозримом будущем почти на сто процентов останется зависимым от внешнего снабжения, ибо ментальный спрос находящихся на борту людей *de facto* удовлетворяется исключительно за счет поставок с наземных станций. Как в этом, так и в коммуникативном отношении все существующие космические станции в самой чистой форме воплощают идею *connected isolation*. Благодаря сетевой интеграции изолированных тел преимущества замкнутой системы соединяются с преимуществами открытой системы. Это относится как к профессиональной стороне пребывания на борту, где восьмичасовой рабочий день заполнен заранее распланированными научными экспериментами, так и к его «приватной» стороне, поскольку астронавты в свободное время слушают взятую с собой музыку или смотрят видеофильмы. При затоплении «Мира» бортовая видеотека сгорела в земной атмосфере. Об автономии или полной изоляции речь могла бы идти только в том случае, если бы существовала какая-либо независимая бортовая семантика или эндогенная космическая религия. Так было бы, если бы бортовые научные факультеты разрабатывали самостоятельные исследовательские программы или если бы орбитальные кино- и музыкальные студии независимо от Земли производили собственные художественные и развлекательные программы. При продолжительном пребывании на борту космических станций среди членов экипажей могли бы возникнуть спонтанные религии или метафизические школы. Это могло бы повлечь за собой и лингвистические последствия: длительная невесомость, возможно, столь сильно повлияла бы на работу языка, что появились бы фонетические сдвиги, которые привели бы к возникновению не известных ранее диалектов, а, быть может, даже к образованию невнятных, но вполне

самостоятельных языков и созданию новой лирики, декламирующей плавающими, соскальзывающими к пьяным консонантам языками. Пока этого не произошло, существующие и будущие космические островитяне будут похожи на своего далекого предка, имитатора Робинзона Крузо, ибо в культурном отношении они, подобно ему, располагают только арсеналом принесенных с собой смысловых моделей. Излишне говорить, что обычные астронавты чрезвычайно далеки от того, чтобы быть чистым сознанием своего острова.

Имплантация системы жизнеобеспечения в космический вакуум информативна с антропологической точки зрения, поскольку она инициирует конструктивистский образ действий. С ним вплоть до мельчайших деталей связаны мышление и оперирование во внешнем. На обычных строительных площадках конструкторы опираются на свой «жизненный мир» и могут рассчитывать на поддержку окружающего мира. Космические стройплощадки лишены этого онтологического комфорта. Для того чтобы появилась возможность пребывания в космосе, в мир, не приспособленный для жизни, должен быть имплантирован минимальный «жизненный мир». Тем самым переворачивается отношение между несущим и несомым, имплицитным и эксплицитным, жизнью и формами. Строительство острова представляет собой инверсию обитания в жилище: речь идет не о том, чтобы встроить здание в окружающий мир, а о том, чтобы инсталлировать окружающий мир в строение. Архитектура в вакууме предполагает, что жизнеобеспечение осуществляется с помощью внедрения интегрального имплантата во враждебную жизни среду.

Эту ситуацию можно описать с помощью выражения «инверсия окружающего мира». Если в естественной ситуации окружающий мир окружает, а люди окружаемы, то при строительстве абсолютного острова люди сами проектируют и возводят окружение, в котором они впоследствии будут пребывать. Фактически это означает:

окружать окружение, обнимать объемлющее, нести несущее. Инверсия окружающего мира осуществляется как техническая деятельность под герменевтическим девизом: охватим то, что охватывает нас. Следовательно, имплантируемые в вакуум жизненные миры — это отнюдь не «микрокосмы», поскольку классическая идея микрокосма подразумевала нетехническое воспроизведение Большого Мира в Малых Мирах. Она предполагала, что одна необъяснимая целостность отражалась в другой. Теперь же речь идет о техническом регулировании исследованной окружающей среды с целью обеспечения пребывания в ней реальных обитателей.

На этом фоне становится ясно, в каком смысле обитаемый остров может быть понят как модель мира. О наличии достаточно полноценного мира речь может идти лишь тогда, когда созданы минимальные условия для жизнеобеспечения. *Life support** * буквально означает едущее: выполнение совокупности условий, при которых человеческий жизненный мир в течение определенного времени сможет рассматриваться как готовый к эксплуатации абсолютный остров (о размножении на борту и о развитии какой-либо особой традиции космической архитектуры речь пока не идет). Сокращенную версию таких жизнеобеспечивающих систем представляют собой специальные скафандры для космических прогулок. Сергей Крикалев заметил, что они напоминают маленькие космические корабли,²⁷³ с тем отличием, что в скафандре система жизнеобеспечения рассчитана лишь на несколько часов. С большим космическим кораблем его сближает отсутствие биотопической автономии (из истории станции «Мир» известно, что за время ее пятнадцатилетней эксплуатации из нее было произведено 78 выходов космонавтов в открытый космос общей продолжительностью 359 часов).

273 Gespräch mit Andrei Ujica. S. 74.

* Жизнеобеспечение (англ.).

Преобразование «жизненного мира» в систему жизнеобеспечения позволяет понять, что означает экспликация, предметом которой становится экологический фон. Подобно разве что только террору (который наряду с космическими полетами будет сопровождать нас в течение XXI столетия) вакуум требует точного прочтения алфавита, которым написано имплицитное. В этом отношении космический полет можно сравнить с овладением онтологической грамотой: с его помощью могут и должны быть формально зафиксированы элементы бытия-в-мире. На борту космического корабля бытие-в-мире переосмысливается как пребывание внутри протеза жизненного мира — причем сама возможность протезирования жизненного мира составляет подлинный смысл такого приключения, как космический полет или строительство орбитальной станции. По аналогии с крупным биотопически-экологическим проектом «Биосфера-2», с переменным успехом осуществляющимся в аризонской пустыне начиная с 1992 года,²⁷⁴ ситуацию, в которой люди находятся на борту космического корабля, можно было бы назвать *бытием-в-мире-2*.

Абсолютный остров представляет собой результат онтологического эксперимента, в котором находит свое формальное выражение гоминизм, то есть специфически человеческое игнорирование того очевидного факта, что совместное бытие людей с себе подобными всегда имеет место в некоем конкретном месте и что люди никогда не появляются на свет нагими и одинокими, а всегда сопровождаются эскортом вещей и знаков, не говоря уже о конститутивных для них паразитах — биологических (микробы) и психосемантических (убеждения). С философской точки зрения космический полет представляет собой, бесспорно, важнейшее предприятие современно-

²⁷⁴ Более подробно о нем см. ниже с. 352 и сл.

сти, ибо как имеющий всеобщее значение эксперимент с имманентностью он позволяет нам понять значение совместного бытия человека с человеком и прочим сущим в одной общности.

Прежде чем этот эксперимент не будет переосмыслен в земных условиях, главная проблема, оставленная современности классической метафизикой, эмансипация нечто, не сможет найти удовлетворительного решения. Как бы ни именовалось обнищавшее нечто — материей, предметом, вещью или окружающим миром, это пока лишь вопрос терминологии. Солидарность с нечто может иметь смысл лишь тогда, когда она связана с участием в конструировании абсолютных островов. С помощью островов этого типа можно наблюдать, как осуществляется сожительство людей с системами вещей. В результате прогрессирующей экспликации машины и системы, я®-ляющиеся носителями бытия-в-мире-2, достигают такого уровня развития, что их следовало бы упоминать в конституциях космических станций, если бы таковые существовали. *Ufe-siipport*-блок, системы коммуникации, навигационные устройства, энергетические установки и лаборатории: все это можно рассматривать как конституционные органы и, провозгласив — по аналогии с правами человека — декларацию прав вещей и систем, взять под защиту специального космического права. На старой, мечтательной, все еще убаюкиваемой ставшими ложными самоочевидностями Земле большинство конституций составлено таким образом, что из них никак не следует, где расположены те страны, в которых они действуют. Место действия конституций — это не предмет конституций; оно предполагается доэкотехническим мышлением как ресурс, не нуждающийся в упоминании, поскольку зрелой интуиции он представляется в достаточной мере очевидным, пока что не нуждающимся в комментариях. С этой точки зрения традиционная политика принадлежит герменевтическому «золотому веку» — эпохе, наполненной самоуверенной возможностью-ссы-



Р. Букминстер Фуллер. *Tetra City*. Проект плавучего города.

л ат&ся-ва-неясные-пред посылки. Привычные конституции выносят за скобки землю, для которой они. устанавуливают порядок; они игнорируют не-человеческих жителей страны, необходимых для существования людей; они не принимают во внимание атмосферные* условия!, в> которых и при которых осуществляется совместное бытие граждан и их оснащение. Такой наивности не место в: м©-делях мира типа абсолютных островов. При взгляде на острова в вакууме возникает вопрос: сколько пройдет времени, прежде чем полученный в процессе их сооружения опыт будет использован для организации еовместного бытия на земных, а следовательно, рассматриваемых в качестве естественных контейнеров континентах? Пока знание о сосуществовании в условиях внешнего в его орбитальной версии еще кажется чрезвычайно далеким от реалий традиционных жизненных миров. Его возвращение в атмосферу Земли уже не заставит себя долго ждать.

Из всех авторов наземных станций, в чьих работах, либо в уже зрелых метафорах, либо даже частично в технически пригодных для имплантации моделях принцип абсолютной инсуляции был использован применительно к Земле в целом или к отдельным локальным окружающим средам, мы хотели бы упомянуть двоих. В первую очередь следует назвать Р. Букминстера Фуллера, который своим «Operating Manual for Spaceship Earth»* * (1969) наметил системно-теоретические контуры глобального управления Землей; он высказал идею, что планета Земля представляет собой не что иное, как всего лишь «капсулу», «внутри которой должны выживать мы, человеческие существа».²⁷⁵ Теория познания Фуллера выливается в этику всемирной кооперации, встроенную в метафизику коллективного пробуждения. А она, в свою очередь, основывается на определенном истолковании фундаментальной человеческой ситуации, исходя из одного «крайне важного факта, относящегося к космическому кораблю Земля: к нему не приложено никакой инструкции по эксплуатации».²⁷⁶ «Вследствие этого человек в течение долгого времени пребывал в глубоком невежестве».²⁷⁷ Характерным признаком современности является стремительное снижение терпимости к невежеству в отношении создаваемых людьми вещей, — снижение, обусловленное непрерывным распространением результатов прикладной науки и промышленной технологии. Присущая технике *feedback*** провоцирует человеческий интеллект приобретать квалификацию, не-

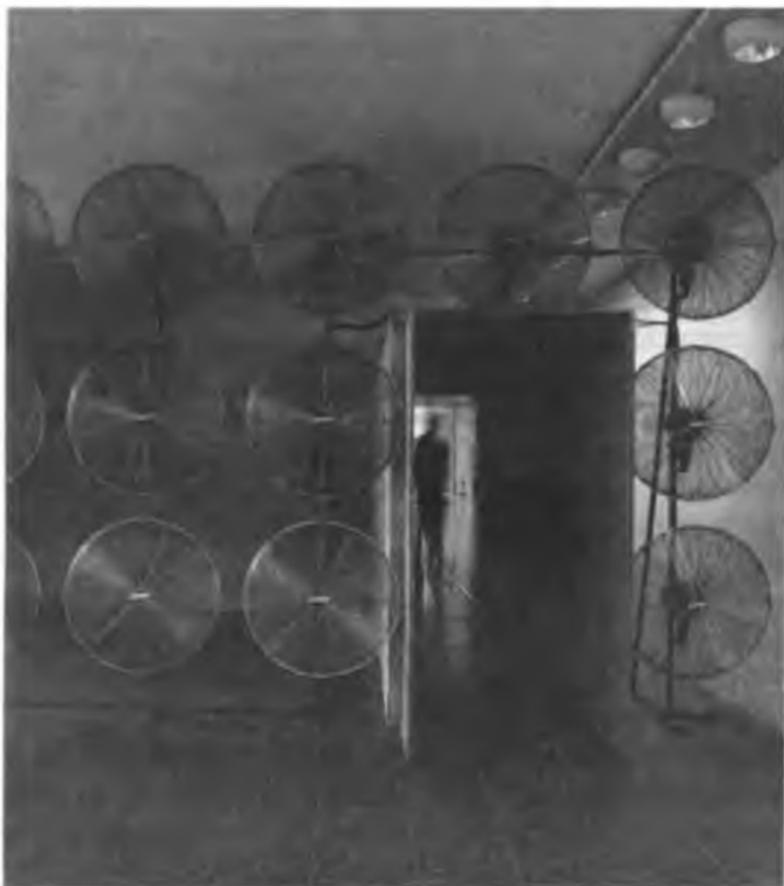
²⁷⁵ Так Барбара Уорд в своей написанной под влиянием Фуллера книге (*Barbara Ward. Spaceship Earth. London, 1966. P. 17*) перефразирует основной принцип холистического учения гениального инженера.

²⁷⁶ *Richard Buckminster Fuller. Bedienungsanleitung für Raumschiff Erde und andere Schriften. Amsterdam; Dresden, 1998. S. 48.*

²⁷⁷ *Ibid. S. 49.*

* «Руководство по эксплуатации для космического корабля Земля» (англ.).

** Обратная связь (англ.).



Олафур Элиассон. *Your Windless Arrangement* (Ваша безветренная композиция). 1997 г.

обходимую для решения задач, встающих перед бортиженером космического корабля Земля.

После Букминстера Фуллера мы должны назвать датского объект-художника Олафура Элиассона, чьи разнообразные инсталляции и монтажи предлагают самую прозрачную интерпретацию концепции инверсии окружающей среды, какую только можно найти в современном искусстве. Благодаря прежде всего организованной им в 2001 году совместно с Петером Вайбелем в Центре искусства и медиатехнологий Карлсруэ (ZKM) выставке

«Surroundings Surrounded»* * Элиассон зарекомендовал себя как один из первых бортовых художников на строящемся абсолютном острове.²⁷⁸ В названии выставки недвусмысленно заявляет о себе конструктивистский поворот: естественные окружающие миры, демонстрируемые художником, окончательно превратились в окруженные окружения, то есть в истолкованные и воспроизведенные наукой и техникой природные феномены. Перед нами не стилизованные в экоромантическом духе целостности, а природные имплантаты, вживленные в выставочный зал и лабораторию; мы видим копии, протезы, экспериментальные модели, композиции, презентация; которых всегда высвечивает сразу две вещи: естественную структуру или естественный эффект и научную оптику; с помощью которой они попадают в поле нашего зрения. Впрочем, демонстрируемые Элиассоном «окруженные окружения», такие как, например, знаменитый гремящий искусственный водопад, «Мшистая стена» (1994), «Комната для одного цвета» (1998), «Комната для всех цветов» (1999) или «Очень большая вечная мерзлота» (1998), представлены, расположены и «окружены» отнюдь не только в научно-технически-искусственном ракурсе, они используют также и оформляющий эффект музейной ситуации. В них природа соотнесена с музеем, как жизненный мир — с вакуумом.

В самом деле, музей можно рассматривать как общий для объектов изолятор: все, что можно в нем увидеть и пережить, предстает в качестве инсулированного артефакта, своим присутствием стремящегося к взаимодействию со специфической формой эстетического внимания. В конечном счете очевидно, что феноменология духа, музей и прогрессирующая экспликация связаны друг с другом. Теперь знание означает умение эксплици-

278 *Olaf ug Eliasson. Surroundings Surrounded. Essays on Space and Science / Ed. Peter Weibel. Graz; Karlsruhe, 2001. См. также: Idem.. The Weather Project / Ed. Susan May. London, 2003.*

* «Окруженные окружения» (англ.).

ровать; эксплицирование же означает умение экспонировать. Одной из самых информативных и забавных работ Элиассона является ветряная инсталляция «Your Windless Arrangement»* (1997), находящаяся в Художественном музее Мальмё и состоящая из шестнадцати развешанных на пространстве от пола до потолка и соединенных друг с другом вентиляторов, демонстрирующих, что даже ветер более не застрахован от того, чтобы стать выставочным экспонатом.

В. АТМОСФЕРНЫЕ ОСТРОВА

Экспликация принципа изоляции самым стремительным образом прогрессирует благодаря опытам со строительством абсолютных островов. Тем не менее относительные по своему характеру искусственные острова также полезны для исследования моделей миров, поскольку они развивают нашу способность видеть атмосферические изменения инсулированной среды. Об относительных искусственных островах можно говорить тогда, когда в качестве места их размещения избирается не космический вакуум, а поверхность земли или моря. В случае искусственных плавучих островов масса имплантата вытесняет окружающую морскую воду — процесс, который можно наблюдать при спуске корабля со стапеля; находящиеся в открытом море буровые платформы и прочие понтонные конструкции также отвечают характеристикам плавучего острова. Функция вытеснения осуществляется более или менее герметичными бортовыми стенками, отделяющими островной внутренней мир от окружающей стихии. Поскольку идеально герметичная структура эмпирически недостижима, на плавучих островах предусмотрены устройства контроля за возможными течами — такие как корабельные помпы

* «Ваша безветренная композиция» (англ.).



Олафур Элиассон. *The Weather Project* (Погодный проект). Лондон, 2003 г. Фотография Йенса Цихе.

или приспособления для подводной заправки воздушных камер.

Острова, базирующиеся на земле, в отличие от плавучих связаны с вытеснением воздушной стихии (в незначительных масштабах также и *root medium*,* то есть флоры и фауны перестраиваемой территории). Они отграничивают в окружающем воздухе определенный анклав и устанавливают перманентное атмосферное различие

* Корневая среда (англ.).

!между внутренним и внешним пространством. Эту формулировку можно считать предварительной, пока еще приблизительной дефиницией дома, поскольку мы можем исходить из того, что дома, выполняя функции пространства для обеспечения безопасности, для труда, сна и собраний, всегда выполняют и имплицитную функцию климатических регуляторов; в первую очередь это относится к каменным домам, которые летом действуют охлаждающе, а зимой аккумулируют тепло. Ассоциация между концептами дома и острова подкрепляется и этимологией: начиная со II века н. э. латинское слово *insula*, сохраняя свое основное значение, стало обозначать и стоящий отдельно многоэтажный доходный дом, как правило, населенный беднотой. Шпенглер, чтобы проиллюстрировать отсутствие различий в механике функционирования поздних больших городов, упоминает одно место у Диодора, где говорится об «одном низложенном египетском царе, который был вынужден обитать в Риме в жалких номерах на верхнем этаже».^{279*} В нашем контексте можно было бы сказать, что этот египетский Робинзон был выброшен имперскими бурями на берег перенаселенного острова.

Римский дом с атриумом обладал ярко выраженными признаками климатического изолятора — во-первых, благодаря респираторному и теплоизолирующему действию кирпичных стен (толщина которых, если они были сложены из высушенного на воздухе кирпича, в соответствии с законодательной нормой составляла 44.5 сантиметра), во-вторых, благодаря защищенному положению и вентилирующей функции засаженных зеленью внутренних дворов (*atria*) и дворов с колоннами, в которых располагались бассейны (*compluvia*), накапливавшие проникающую через проемы в крыше (*impluvia*) воду.

279 *Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte (1923). München, 1979. S. 676.*

* Перевод И. Маханькова.

В домах зажиточных римлян начиная с I века до н. э. осуществлялось отопление полов: теплый воздух от кухонных плит по керамическим трубам направлялся в полы, а иногда и в стены (гипокаусты).

Однако наземные атмосферные острова в узком смысле слова появляются лишь в XIX столетии, когда использование в строительстве чугуна и стекла позволило возводить дома совершенно нового типа — стеклянные теплицы. Теплицы — это не просто здания, построенные в одном из архитектурных стилей XIX века. Они воплощают собой важнейшую, начиная с античности, архитектурную инновацию, ибо «благодаря им строительство домов превращается в эксплицитное климатическое конструирование. В них можно видеть своего рода мирную прелюдию к инициированной газовой войной *воздухетрясению*, которое более подробно рассматривалось в наших рассуждениях, посвященных атомполитическим основаниям XX столетия.²⁸⁰ Стеклянные дома возводятся ради того внутреннего климата, который должен в них царить; видимая конструкция, если не принимать во внимание ее самостоятельную эстетическую ценность, служит в первую очередь оболочкой для находящегося внутри нее воздуха, который, со своей стороны, изготавливается как среда для обитателей особого рода. Архитектурный стиль, в котором построены теплицы, обусловлен определенной атомполитической ситуацией, как правило, необходимостью создания специального Климата для экзотических растений.

Начало эпохи стекла в архитектуре равнозначно началу эпохи атмосферы в специальной онтологии. Если Георг Зиммель на рубеже XIX—XX веков в кантовских выражениях спрашивал о формальных и когнитивных условиях возможности совместного бытия людей в обществах (сегодня этот вопрос можно было бы назвать «постнациональным»), то проектировавшие теплицы ар-

280 См. выше с. 84—190.

хитекторы с начала XIX века исследовали практические возможности укоренения тропических растений в центральноевропейских условиях. Они нашли ответ в виде стеклянных домов с регулируемой температурой, которые в некотором смысле рассматривались как пристанища для растений-беженцев. Естественно, теплолюбивые растения не бежали в Европу из родных стран, ища убежища, они переселялись в нее как невольные гости, словно вегетативные двойники индийских *homeboys** и наряженных в чалмы мальчиков-мавров колониальной идиллии, подававших дамам чай на богатом Северо-Западе.

Тем не менее значение тепличной архитектуры далеко выходит за пределы первоначальной, связи с имперской ботаникой. В еще меньшей степени феномен остекленных теплых домов можно сравнивать с создававшимися в XVII—XVIII веках для удовольствия монархов и крупных буржуа зимними садами* в которых были цветочные храмы и ананасные консерватории, оранжереи и «померанцевые домики». Даже заинтересованность их хозяев в получении независимых от времени года плодов, не способна в достаточной, мере объяснить любовь европейцев к культуре теплиц, и это несмотря на пример де Ла Кинтинье, директора кулинарного сада Людовика XIV, который мог в декабре подавать на стол своего монарха спаржу, в январе — кочанный салат, а в июне — инжир.

В своих теплицах европейцы начали серию имевших значительные последствия экспериментов с ботаническими, климатическими и культурными предпосылками глобализации. Когда в теплицах Великобритании XIX столетия призывались на службу подданные тропического *Kingdom of plants*,** то хозяева проявляли предупредительность по крайней мере в том, что касается

* Домашние слуги (англ.).

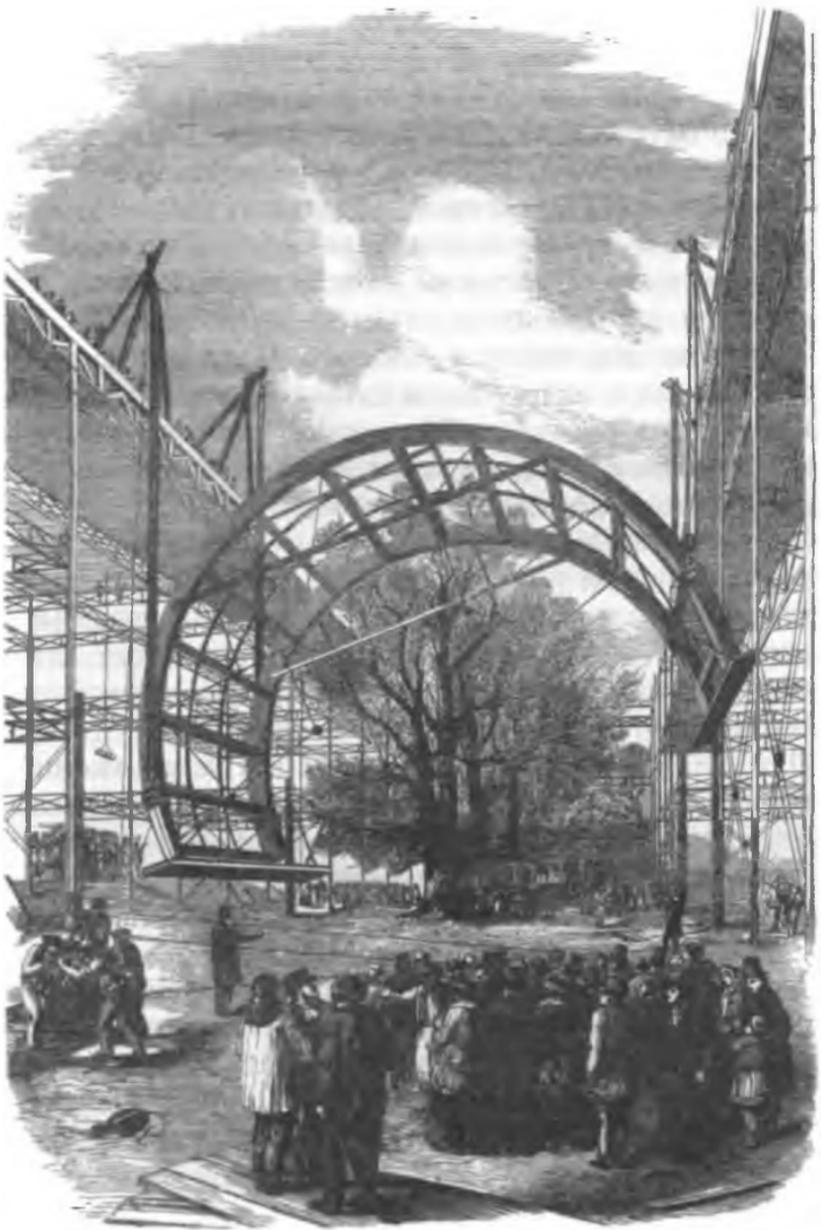
** Королевство растений (англ.).

атмосферы. В климатическом отношении законы гостеприимства уважались и соблюдались. И нельзя ли предположить, что прототип мультикультурного общества появился именно в теплицах? Когда колониальные ботаники без спросу собирали растения далеких провинций в своих остекленных биотопах, они тем не менее знали, что необходимо предоставить гостям из тропиков, — прежде всего когда речь шла о королевских видах растительного мира, орхидеях и пальмах, для сохранения которых сооружались королевские дворцы среди стеклянных зданий, пальмовые и орхидейные дома. Понятно, что и для прочего растительного дворянства, например камелий, возводились собственные теплые жилища.²⁸¹

В отношении таких гостей даже в Германии царил дружественный климат: когда 29 июня 1851 года в пальмовом доме в одной усадьбе под Ганновером впервые на немецкой земле зацвела быстрорастущая пальма сорта *Victoria regia*, это событие стало поводом для газетного сообщения. Иногда идея искусственного климатического острова соединялась с идеями утопического урбанизма и ориентализма, как, например, при сооружении «Вильгельмы» под Штутгартом (строительство начато в 1842, закончено в 1853 году) — сказочного замка в мавританском стиле из стекла и чугуна, в конструкции которого несколько интерьерных мотивов соединяются вместе, блистательным образом производя эффект инсуляции; в нем изолирующая сила тепличного ландшафта вступает в исключительный симбиоз с чарами королевского острова наслаждений и райского сада.

Неудивительно, что архитекторы стеклянных домов достаточно рано поддались искушению испытать конструктивный потенциал новой чугунной техники на сооружениях в монументальном стиле. Первым был англий-

281 Например, в 1823 году был построен дом для камелий Уоллтон-холл в Ноттингеме, который к тому же является старейшей теплицей из элементов, изготовленных дофабричным способом.



**Перекрытие над вязом в лондонском Кристал-Паласе.
1851 г.**

ский архитектор теплиц Джозеф Пэкстон, чей Кристал-Палас, воздвигнутый в кратчайшие сроки — с 30 июля 1850 по 1 мая 1851 года — в лондонском Гайд-парке, представлял собой величайшее расположенное внутри строения пространство в мире (длиной 563 метра, шириной 124 метра, высотой в среднем трансепте 33 метра). Заказчики строительства утверждали, что на площади, занимаемой гигантским стеклянным домом, могли поместиться четыре римских собора Святого Петра и семь лондонских соборов Святого Павла. Разумеется, Кристал-Палас с самого начала был задуман не как теплица, а как универмаг особого типа, поскольку он, сооружение с твердым цоколем, смог принять 17 000 участников лондонской Всемирной выставки 1851 года вместе с шестью миллионами ее посетителей. Лишь ввиду наличия в его высоком нефе нескольких высоких старых язв, сохранение которых было условием получения разрешения на строительство в популярном парке, дворец Всемирной выставки обладал и некоторыми свойствами зимнего сада.

Эти свойства стали главными, когда по окончании Всемирной выставки Кристал-Палас был демонтирован и в 1853—1854 годах заново, с улучшенными пропорциями, установлен в Сайденхэме — на сей раз в качестве публичного ботанического и орнитологического *indoors*-парка или, как провозглашала в своем проспекте основанная для его эксплуатации «Crystal Palace Compagnie»,* * в качестве «универсального храма» для «воспитания больших масс народа и облагораживания их отдыха».²⁸² Благодаря Брайтонской железной дороге публичный парк в транспортно-техническом отношении был доступен для массового посещения; в 1936 году гигантский пожар разрушил чрезвычайно популярное, хотя и небеспорное,

282 *Georg Kohlmaier, Bama von Sartory. Das Glashaus. Ein Bautypus des 19. Jahrhunderts. München, 1981. S. 426.*

* «Компания хрустального дворца» (*англ.-фр.*).

строение, о котором даже критики говорили, что его сооружение стало поворотным рубежом в истории архитектуры. Описания первых посетителей свидетельствуют, что восприятие его внутреннего пространства оказывало на них такое воздействие, которое в 60-х годах XX столетия называли психоделическим: «В этом гигантском пространстве было нечто освобождающее. В нем чувствуешь себя защищенным и в то же время раскрепощенным. Теряется ощущение тяжести, связанности своим телом».²⁸³ Вентиляция и проветривание осуществлялись посредством системы из тысяч воздушных клапанов, установленных в боковых стенах и крышах. Для защиты от летнего перегрева Пэкстон использовал прикрепленные к внутренней стороне крыши влажные холщовые экраны; в прочие времена года поддержание оптимальной температуры обеспечивала система парового отопления, состоявшая из подчиненных центральному посту управления 27 паровых котлов. Из рекламных сочинений Пэкстона явствует, сколь очевиден был для него мотив «окруженного окружения», даже если соответствующего понятия еще не существовало.

О том, что уже Пэкстон занимался климатическими симуляциями и пытался перенести в залы модели природы далеких стран, в частности средиземноморские ландшафты, о которых грезил англичане, свидетельствует предложенный им в 1855 году, но не реализованный проект «Great Victorian Way»,* предусматривавший проведение через весь Лондон шестнадцатикилометровой стеклянной галереи. Замысел состоял в окружении всей внутренней части британской столицы кольцом широких застекленных бульваров, тогда как большие площади внутри кольца надлежало превратить в открытые искусственные ландшафты, что, вне всякого сомнения, могло быть осуществлено — по аналогии с османовскими про-

²⁸³ Ibid. S. 425.

* «Великий викторианский путь» (англ.).

ломами в Париже — лишь за счет сноса унылых кварталов доходных домов. Факт, что проект так и не был реализован, заслуживает сожаления со многих точек зрения, в том числе и с той, что создавшаяся ситуация облегчила бы задачу Вальтера Беньямина и он смог бы еще прежде Парижа увидеть в Лондоне столицу XIX столетия — ведь не столько пассажи, сколько теплицы дают ключ к принципу интерьера,²⁸⁴ лишь в свете которого, как справедливо подчеркивал Беньямин, мы сможем понять современность.

Стремясь соблюдать климатический протокол в отношении растительных переселенцев из южных широт, биологи, архитекторы, стекольные фабриканты и любители орхидей XIX века не просто все более очевидным образом втягивались в практику изготовления искусственных островов — ее основная техническая идея была известна уже в античности, доказательством чему служит найденный в Помпеях зимний сад. Они раскрыли технологию культуры, более того, принцип формирования пространства и пространственного атмосферного контроля, развертывание которого осуществлялось в течение всего XX столетия, а с началом XXI века перешло в постановку вопроса о глобальной форме жизни. После конференций в Рио-де-Жанейро и Токио принцип атмотопического менеджмента был признан вопросом большого политического значения, хотя введение просвещенных климатотехнических критериев в условиях отчаянного сопротивления тех, кто готов отстаивать свое исконное право на *ignorance** (в смысле Букминстера Фуллера), дается с большим трудом (ведь именно политические гиганты держатся — пока — за стереотипы имперского использования пространства, ресурсов и климата).

Технико- и *eo ipso* культурно-историческое значение стеклянных домов заключается в том, что с их появлени-

284 См. ниже Главу 2, особенно с. 531 и сл.

* Невежество (*англ.*).

ем обрел массовую известность парниковый эффект. Несмотря на то, что как эмпирический факт он уже давно **был** известен садовым инженерам и эксплуататорам зимних садов, его теоретическое описание и прагматическое обобщение началось лишь в начале XIX столетия, в частности в поданной в 1803 году патентной заявке английского архитектора Джеймса Андерсона, предполагавшего использовать принцип тепловой ловушки в конструкции двухэтажной теплицы. Согласно плану Андерсона, днем солнечное тепло проникало сквозь стеклянные поверхности верхнего этажа и нагревало воздух внутри теплицы, который ночью с помощью специально для этого спроектированной вентиляционной системы перемещался на более прохладный нижний этаж: такова была остроумная двухкамерная система с далеко идущими термополитическими импликациями. Отныне место под солнцем стало вопросом перераспределения комфорта.

Немного позднее Томас Найт (1811) и Джордж Маккензи (1815) сформулировали теоретические принципы возведения стеклянных зданий полусферической формы, показав, как с помощью изогнутых стеклянных поверхностей можно оптимально использовать солнечное излучение для нагрева атмосферы внутренних пространств. Конструктор стеклянных домов и садовый инженер Джон Клодиус Лаудон использовал эти принципы уже в 1818 году в своих «*Sketches for Curvilinear Hothouses*»*, а его пальмовый дом Бреттон-холл, построенный в 1827 году в Йоркшире, стал одним из первых образцов архитектуры, в которой использовались термодинамические расчеты и такие материалы, как чугун и изогнутое стекло. В этом «тотальном прозрачном пространстве» наряду с благоприятными световыми условиями следует отметить весьма прогрессивную для английских широт и стекольной техники того времени форму использования солнечной энергии. Это дало мощный импульс строи-

* «Эскизы криволинейных теплиц» (англ.).



Теплица в парке замка Лекен (юг Брюсселем) во время строительства. 1875 г.

тельству куполов — со времен возведения римского Пантеона королевской архитектурной дисциплине. Новые материалы позволили не только увеличить ширину пролетов, но и по-новому взглянуть на отношения между формой купола и находящимся под его сводом интерьером. Развитие идей Лаудона в области полусферических конструкций можно проследить вплоть до проекта Большого зимнего сада в Лекене под Брюсселем, строительство которого было завершено в 1876 году.

В XX веке внедрение заменителей стекла дало новый импульс тепличному строительству. В конце 50-х годов появление дешевых светопроницаемых полиэтиленовых и поливинилхлоридных покрытий инициировало поворот к массовому культивированию растений в теплицах. Примечательно, что его мировой центр тяжести находится в Китае, где сконцентрировано три четверти всей теп-



Вид конструкции крыши.

личной площади Земли — 600 000 из 800 000 гектаров (согласно статистическим данным 1994 года), причем почти все китайские теплицы представляют собой простые низкие пластиковые туннели, которые, располагаясь, как правило, вблизи крупных городов, служат для интенсивного производства овощей. Япония по тем же самым причинам и с помощью тех же самых средств быстро превратилась также в великую пластиково-тепличную державу — еще прежде Италии и Испании.²⁸⁵ В США, где было испытано множество новых типов теплиц, в незначительном объеме нашли применение свободонесущие пневматические конструкции из усиленных нейлоновой решеткой полиэстеровых куполов — техника, в свое время сыгравшая определенную роль и в строи-

285 Greenhouse Ecosystems / Ed. G. Stanhill, H. Zvi Enoch. Amsterdam, 1999. P. 9—11.

тельстве крытых спортивных сооружений. Наряду с по большей части примитивистскими инновациями в области пластиковых конструкций появляются и образцы традиционной тепличной культуры, которые, как, например, в Нидерландах, базируются почти всегда на стекле и которые можно сравнить с предметами благородного староевропейского антиквариата. Но идет ли речь о вульгарных пластиковых трубах или о добротных стеклянных домах, всюду под крышу прячется принцип реальности; растения — это зеленый капитал, который, поддерживаемый термическим или химическим допингом, использует способность к росту. В силу своего одностороннего экономического предназначения и своей монокультурной специфики большинство тепличных культур этого типа остаются некоммуникабельными в популяционно-динамическом отношении и образуют отдельный биосферный подкомплекс.

Эта ситуация меняется, поскольку в результате развития современных наук о жизни и исследований принципов функционирования экосистем возник интерес к созданию комплексных биосферных ансамблей в условиях экспериментальной изоляции. Самым знаменитым парадигматическим образцом для такого рода предприятий является масштабный проект «Биосфера-2», запущенный в сентябре 1991 года в Оракле под Тусоном, в американском штате Аризона, после разносторонней, хотя и непоследовательной в концептуальном отношении подготовки и четырехлетнего периода строительных работ (1987—1991). Если бы нам нужно было в нескольких словах охарактеризовать специфику «Биосферы-2», мы бы назвали ее одержимостью искусственностью — капсульным делирием, во многих отношениях выходящим за рамки обычного тепличного конструирования. Здесь стеклянный дом уже нечто большее, чем климатический остров; он служит для наземной подготовки к возведению абсолютной теплицы в космосе. Мы убедимся в этом, если примем к сведению, что эксперимент в Оракле не

исчерпывается созданием растительных миров в замкнутых пространствах; скорее, его цель состоит в осуществляемой необычным, возможно абсурдным, способом радикализации как принципа собрания, так и принципа изоляции. В силу своего расположения в одном из самых жарких мест Земли парадоксальный парник отнюдь не ориентирован, как его собратья в более умеренных широтах, на эффект тепловой ловушки, используемый для стимулирования роста растений и нейтрализации зимы; в нем с колоссальным расходом электрической энергии должны применяться системы охлаждения, препятствующие перегреву сооружения. Энергия для этого поставляется с расположенной поблизости гидроэлектростанции; это обуславливает ежегодные расходы в размере 1.5 миллионов долларов. Кроме того, имеется запасной агрегат, который в случае перебоев в снабжении электроэнергией должен возобновить его, поскольку в противном случае внутреннее пространство огромной капсулы в течение менее чем часа превратится в не пригодное для жизни растений и людей пекло.

«Биосфера-2» представляет собой эксперимент по изоляции и инклюзии, обладающий ярко выраженным художественным характером с сильной примесью идеологии исхода и gafa-метафизики — в соответствии с представлениями спонсора проекта, тexasского нефтяного миллиардера Эда Брасса, хотя его организаторы настаивают, что он преследует научные и технологические цели. С помощью масштабной PR-атаки проект связал науку с eieгаf*-культурой. По своему архитектурному дизайну «Биосфера-2» представляет собой компромисс между функционализмом и историзмом, причем последний находит свое выражение в двух стеклянных ступенчатых пирамидах в стиле культуры майя, замыкающих ансамбль с флангов. Своими корнями предприятие уходит в среду типичной для Западного побережья США фи-

* Событие (англ.).



«Биосфера-2».

лософии New Age* и Nasa, в которой вплоть до 80-х годов активно разрабатывались планы колонизации Луны и Марса, поэтому неудивительно, что на первом этапе эксперимента «Биосфера-2» он поддерживался американским космическим ведомством.

В раскинувшемся на площади 1.6 гектара ансамбле стеклянных зданий мотив интенсивной изоляции подчеркивается использованием чрезвычайно затратных технологий герметизации — начиная со сплошного двойного остекления и многократного силиконового уплотнения окошек на оснащенных шлюзовыми камерами дверях; к этому добавляется детально продуманная система контроля за нарушениями в циркуляции воды и воздуха. «Биосфера-2» принципиально отличается от всех прочих теплиц особым характером управления герметичностью, предполагающим полный контроль над *root medium*, то

* Новая эпоха (англ.).



Механические легкие.

есть почвой, которая в других местах лишь вскапывается, настиляется и в случае необходимости облагораживается, тогда как здесь она полностью помещается в герметичную конструкцию. Все сооружение располагается на бетонном фундаменте, покрытом приваренными друг к другу, нержавеющими и не подверженными коррозии стальными пластинами Allegheny-Ludlum, причем особое внимание обращено на герметичность стыков между пластинами земли и вертикальными элементами стеклянного покрытия. Остекление, а также стальная рамочная структура спроектированы компанией «Peter Pearce and Associates». Пирс, ученик Букминстера Фуллера, привнес в проект опыт конструирования решетчатых форм на базе стандартизированных подпорок. В «Биосфере-2» можно наблюдать своего рода удвоение принципа инверсии окружающего мира, поскольку в ней не только осуществляется помещение почвы в замкнутую окружающую форму, то есть интегральная инкапсуляция жиз-

ненного мира; кроме того, это сооружение само включено в определенную биосферу и техносферу, причем таким образом, что биосферная область повсюду находится в зависимости от техносферных предпосылок, а именно от обеспечения энергией, замкнутой системы циркуляции воды, атмосферного менеджмента и бесчисленных электронных имплантаций.

Что же касается инклюзионного мотива «Биосферы-2», то характер модели мира, присущий этому острову, очевиден: его амбициозные конструкторы намеревались перенести в закрытое помещение миниатюрный вариант естественной биосферы, за исключением многих видов фауны, чтобы смоделировать пять первичных типов ландшафта (или биом) Земли: влажный тропический лес, саванну, мангровое болото, море и пустыню. Эти автономные модели жизненных пространств дополнялись моделями двух культурных жизненных пространств — земледельческим и садовым ландшафтом, а также городским поселением, причем последнее было представлено жилой областью площадью 2600 квадратных метров, в которой обитали восемь первых «биосферян», ставших участниками эксперимента по включению людей в изолированную биосферу, длившегося два года и расцененного как полностью провалившийся. В результате краха животных и растительных биосистем временными победителями в гонке на выживание вышли муравьи и тараканы.

В «Биосфере-2» инсуляция и инклюзия оказались теснейшим образом связаны друг с другом, прежде всего в отношении возможности и необходимости внеземной реконструкции земных жизненных контекстов. Мотив включенности и автономии лишь потому мог быть принят всерьез и учтен в конструкции вплоть до ее последней детали, что на горизонте маячила перспектива тотальной симуляции самодостаточной и доступной человеческой эксплуатации биосферы в условиях космического вакуума; относительный остров был построен в це-

лях подготовки к конструированию абсолютного острова. Искусственный жизненный мир должен дать ответ на вопрос: «Что произойдет, если землю, растения, животных и людей поместить в стеклянную бутылку и затем заткнуть ее пробкой? Существует ли саморегулирующийся механизм, сохраняющий жизненную систему?»²⁸⁶

Очевидно, что это вопрос о возможности *life support system*, с помощью которой мог бы начаться экспорт биосферного комфорта в вакуум — уже не только в виде скромной «салатной машины» или орбитальной оранжеи, а в виде крупномасштабного механизма жизненного мира. Если в аризонском симуляторе биомира для эксперимента по сосуществованию было собрано около 3800 видов растений; если для атмосферного менеджмента в супертеплице были созданы два гигантских, управляемых температурными сенсорами механических легких объемом 1.7 кубических футов (при том, что общий объем сооружения составлял 7.2 миллионов кубических футов, или 204 000 кубических метров); если в искусственную биосферу были имплантированы двенадцать различных гидросистем (от симулятора объемом 250 000 литров, наполненного соленой водой моря, и накапливающих воду почв дождливого леса до дренажных и плювиальных систем, очистных станций и противопожарных устройств), — то это означает, что лейтмотивом всего этого предприятия является идея такой изоляции, которая онтологически представима только во внеземном вакууме или на Земле, пережившей катастрофу окружающей среды, приведшую к тому, что природная атмосфера либо исчезла, либо стала не пригодной для дыхания.²⁸⁷ Сколь бы романтическими ни были первоначальные мотивации ор-

²⁸⁶ Бернд Цабель, технический руководитель «Биосферы-2», в беседе с Флорианом Рётцером 25 сентября 1996 года.

²⁸⁷ Эта гипотеза по крайней мере с 20-х годов XX века обыгрывалась в среде как массовой, так и элитарной культуры; см.; *E. M. Forster. Die Maschine bleibt stehen. 1928; Arno Schmidt. Kaff, auch Mare Crisium. 1960; Philip K. Dick. Total Recall. 1965.*



Гримшо и партнеры. *Eden Project (Проект Эдем)*. Корнуолл, 2001 г.

ганизаторов проекта «Биосфера-2», в характере его технической реализации дают о себе знать черты ультрареалистичной философии выживания во враждебной жизни стихии. Его внутренний пароль гласит: «После природы». Эти представления можно было бы отбросить как плоды некоего нового, обратившегося к вакууму тоталитаризма или высмеять как еще одну, капсульно-утопическую, разновидность коммунизма, если бы глобальные, необратимые, едва ли доступные какой-либо регуляции тенденции в обращении технических цивилизаций с земной атмосферой не давали нам понять, что эксперименты по интегральным атмосферным и биосферным инсуляци-

ям обладают respectableным предупреждающим измерением. Они должны рассматриваться как выражение осмысленной тревоги по поводу будущей наземной биосферной политики.

Проводившиеся в рамках проекта «Биосфера-2» эксперименты с атмосферным менеджментом в условиях последовательной изоляции не слишком воодушевляют. Уже вскоре после вселения в комплекс первой тест-команды обнаружился столь серьезный дисбаланс в составе воздуха, что систему пришлось неоднократно вскрывать и стабилизировать посредством подачи кислорода извне. Социальная интеграция тепличной команды также оставляла желать лучшего. Под давлением критиков, утверждавших, что в этом проекте наука смешана с *science fiction*,* инклюзионные эксперименты после нескольких попыток были прекращены. В 1996 году нью-йоркский Колумбийский университет включил в свои исследовательские планы задачу: выработать новое научное определение биосферы и интегрировать его в учебные программы Earth Department.** Эта семантическая смена климата переносит сюрреалистическую плантацию Оракла из атмосферы *gaia*-романтики в благородный вакуум американского университета.

С. АНТРОПОГЕННЫЕ ОСТРОВА

Если абсолютный остров предполагает, что окружающей стихией становится не море, а вакуум, а Климатический остров считает таковой переформатирование атмосферной реальности, то антропогенный остров характеризуется наличием определенных, рассматривающихся в качестве переменных величин факторов человеческого бытия. Такие образования позволяют понять,

* Научная фантастика (англ.).

** Факультет Земли (англ.).



Южная Америка и Огненная Земля, сфотографированные с космической станции «Мир».

как люди становятся незиотами, то есть островитянами, или — а это означает то же самое — как обитающие на островах живые существа благодаря беспрецедентному воздействию изоляции превращаются в людей. Согласно общему мнению современных палеонтологов, африканская саванна представляет собой тот ареал, в котором

осуществлялась гоминизация одного из видов древесных обезьян, а следовательно, именно этот ландшафт следует рассматривать в качестве вытесненной окружающей стихии кочующих по ней антропогенных островов. В таком случае покрытая травой степь играет роль моря, из которого поднимается человеческий остров. Итак, первичное событие древнейшей истории, антропогенез, связано прежде всего с топологической тайной. В возникновении человека место действия должно объяснить действие, сама арена события дает ключ к пониманию того, что на ней происходило.

Факт существования людей вытекает из изоляционного феномена, в котором роль изолятора пока что остается невыясненной. Как могло случиться, что посреди всегда незаметно меняющегося окружающего мира возникли анклавные, населенные особыми живыми существами, которые галлюцинируют, говорят и работают? Как можно постичь это внезапное появление, это отделение, этот раскол, ведущий к возникновению людей? Тем не менее выдвинутое Делёзом требование, чтобы незиот, образцовый островитянин, сохранил свой островообразующий порыв и благодаря этому стал чистым сознанием своего места, выполнимо лишь на антропогенных островах — при условии, что мы определяем коллективы приматов, выступающие в роли инкубаторов для будущих людей, как единства инсулярного типа и видим в возникших в них людях векторы творческих движений, проявляющиеся, созревающие и продолжающиеся в их мышлении. Впрочем, здесь наряду с названными Делёзом способами формирования островов — морской эрозией и подъемом земли — в нашем поле зрения оказывается и третий способ: инсуляция посредством групповой инклюзии или изолирующего самовключения в определенную среду.

Наше намерение вывести факт существования людей из спонтанной автоинклюзии разумных островов неизвестного типа (мы будем называть их островами бытия)

могло бы считаться успешно реализованным, если бы нам удалось достаточно обстоятельно показать, что (а также каким образом и почему) примитивное совместное бытие гоминидов с себе подобными и прочим сущим вызывает эффект самоизоляции, подготавливающий арену для антропогенеза. Топография места осуществления антропогенеза может считаться точно реконструированной, если она объясняет, каким образом событие связано с тем местом, где оно происходит. Тогда способность онтологического острова быть местом обитания людей окажется равнозначной способности возникающих людей самим характером своего совместного бытия инициировать онтологическое событие, эффект мира. Благоприобретенная неспособность быть животным соединяется у этого все-же-живого-существа с благоприобретенной способностью быть в мире. Понимание этого предполагает наличие антропологической фантазии, которая, несмотря на колоссальный промежуток времени, превращает нас в свидетелей неслыханного события: своего рода продолжительного моретрясения, два миллиона лет назад обрушившегося на старый континент и поднявшего из глубины многие тысячи антропофорных островов — архипелаги странствующих стад приматов, в которых устанавливались формирующие людей внутренние климаты. Из нескольких проточеловеческих групп развились позднейшие линии *homo sapiens*, благодаря непрерывности которых сформировался современный род человеческий.

Чтобы понять, что происходило в это критическое время в африканских степях, мы должны крайне схематически, но и с минимальной подробностью рассмотреть, какое воздействие оказало это моретрясение на дочеловеческие живые существа. Нам следует показать, что обитатели саванн в силу присущего им способа обитания в пространстве сами спровоцировали это сотрясение, а также продемонстрировать, каким образом впоследствии установился парниковый эффект, благодаря которому



Посевные угодья в Саудовской Аравии с артезианскими колодцами в центре. Снимок сделан из космоса.

началась автоинкубация *homo sapiens*. Это сотрясение вызвало ослабление защищенности, которое могло быть компенсировано только некоей новой защитой — последняя в свое время будет названа культурой. Если мы рассмотрим динамику этой ослабленной защищенности в целом, то получим универсальное понятие человеческой иммунной ситуации. На антропогенных островах начинается протоархитектурное приключение — и именно благодаря синергии гнезд и нор животных и гоминидных пещерных стоянок, пока ставшие человеческими про-

странственные требования однажды не выкристаллизовались настолько, что из них смогло развиваться агрессивное строительство хижин, деревень и городов. Мы исходим из тезиса, что архитектура представляет собой позднейшее воспроизведение спонтанных пространственных формообразований внутри группового тела. Хотя факт существования людей основывается на парниковом эффекте, первичные антропические парники поначалу не имели физических стен и крыш, а, если можно так выразиться, обладали лишь стенами из дистанции и крышами из солидарности. Человек, как животное, способное соблюдать дистанцию, формируется в африканской саванне, при этом у него появляется кругозор. Как обитатели вытесняющей формы нового типа, люди обустраиваются у себя самих.

Антропогенные острова — как мы покажем — представляют собой мастерские беспрецедентно сложного пространственного творчества. Антропотоп возникает в результате соединения множества типов пространства специфически человеческого свойства, без симультанного раскрытия которых немислимо совместное бытие людей с себе подобными и прочим сущим в одной общности. Благодаря многократным обратным связям формирующие и обустраивающие пространство инсуляционные движения переходят друг в друга таким образом, что сфера человеческой группы с самого начала образует некое кибернетическое пространство. Однако в данном случае киберпространство отнюдь не располагается рядом с пространством так называемого первичного и реального; скорее, реальное и виртуальное сливаются в своеобразный «горизонт» реальности человеческого мира. Человеческий остров — это космическая станция, объемлющая нас как наш первый «жизненный мир». Когда ниже мы словно продемонстрируем серию снимков острова, сделанных с большой высоты, то всегда будем иметь в виду, что благодаря началу воспроизведения земного «жизненного мира» в космическом вакууме мы обрели совершен-

но новый по своему характеру взгляд на ситуацию, сформировавшуюся в околоземном пространстве. Космический полет играет для современной философии роль радикализованного *epoche*.^{*} * При возвращении в «жизненный мир» оптика теории космического корабля позволяет сделать серию эксцентричных снимков.

В состоянии минимально полноценного развертывания антропосфера может быть определена как девятимерное пространство.²⁸⁸ В нее входят — как носители так или иначе необходимых мирообразующих функций — следующие топосы, или измерения:

1. Хиротоп, охватывающий область действий человеческих рук, зона подручного и наличного, среда приложения рук в буквальном смысле слова, в которой первичные манипуляции с вещами — первые броски, удары и разрезы — приводят к характерным для окружающего мира результатам.

2. Фонотоп (или логотоп), образующий вокальный колокол, под которым совместно живущие слышат друг друга, говорят друг с другом, отдают друг другу приказы и вдохновляют друг друга.

3. Утеротоп (или истеротоп), служащий для расширения зоны материнской заботы и политической метафоризации беременности, а также порождающий центростремительную силу, ощущаемую теми, кто включен в определенные — в том числе и в крупные — единства, как чувство принадлежности и общий экзистенциальный флюид.

4. Термотоп, интегрирующий группу как изначально привилегированных обладателей общих результатов работы очага, в силу которых родина мила и которые представляют собой матрицу всех ощущений комфорта.

5. Эрототоп, организующий группу как место передачи первичных эротических энергий и подвергающий ее стрессу в качестве поля ревности.

6. Эрготоп (или фаллотоп), в котором воздействующая на всю группу отцовская или священническая беспрекословная власть рождает *sensus communis*,* декорум или дух кооперации; исходя из последнего определяются общие, основывающиеся на необходимости дела (*erga, munera*), и вычлняются связанные с распределением труда функции, вплоть до того, что члены группы могут быть подвергнуты максимальному стрессу — призваны на войну, понимаемую как главное дело избранного для победы сообщества.

7. Алетотоп (или мнемотоп), благодаря которому обучающаяся группа конституируется в качестве хранителя континуума своего опыта и сохраняется как место накопления истины, что сопровождается претензиями на особую значимость и особенно высоким риском фальсификации.

8. Танатотоп, или теотоп (или иконотоп), предлагающий предкам, мертвым, духам и богам группы пространство для обнаружения или семиотическую клавиатуру для значимых манифестаций из потустороннего мира.

9. Номотоп, связывающий совместно живущих общими «нравами», распределением труда и взаимными ожиданиями, причем благодаря обмену и кооперации возникает некая воображаемая протяженность, социальная архитектура, материалом для которой служат взаимные ожидания, требования и сопротивление, короче говоря, появляется своего рода первая конституция.

1. ХИРОТОП — ПОДРУЧНЫЙ МИР

Антропогенный остров — это место метаморфозы: здесь лапы до-человеков превращаются в человеческие

* Общее чувство (лат.).

руки. Гоминиды становятся хиропрактиками, которые с помощью только что приобретенных рук устанавливают не виданные доселе отношения с вещами. Более того, само существование «вещей» в смысле окружающих нас удобных для пользования объектов и общедоступных предметов есть не что иное, как мировое отражение одного события: однажды в африканской саванне некоторые острова-обезьяны отправились в путь, приведший их к обретению руки. Живые существа, сохранившие лапы, в целом ограничиваются более узким, еще животным хватательным репертуаром. Хватание при помощи лап представляет собой предварительную ступень к формированию мира. Лишь когда вещи хватается рука, когда она проворно их находит или делает удобными в обращении, окружающее начинает превращаться в полезное средство. Это — первый, при всей его скромности, акт созидания мира; с него начинается автоинклюзия островитян. Он ведет к тому экстатическому затворничеству, которое в философии XX века стало называться бытием-в-мире. У того, кто пребывает в мире, под рукой имеются средства; там, где возникают средства, недалеко и до мира.

Предпринятый в «Бытии и времени» анализ средства позволяет считать Мартина Хайдеггера первым хиротопологом: под таковыми мы понимаем интерпретаторов человеческих ситуаций, исходящих из того, что люди обладают руками, а не являются лишенными конечностей духами. В человеке Хайдеггера наблюдателю бросается в глаза, что у него, похоже, совсем нет гениталий и почти нет лица, — тем лучше его ухо развито для восприятия зова заботы. Наиболее замечательно наличие у него рук, ибо хайдеггеровские руки от случая к случаю узнают от уха, которому подсказывает забота, что им следует делать: об этом весь-ухо-весь-рука-человеке впервые в истории мышления *expressis verbis* говорится, что в мире, в котором он живет, у него есть вещные соседи, находящиеся у него *под рукой* в виде средств. В хайдеггеровском открыто-озабоченном мире подручность является основ-



Лезвия полируются посредством возникающей между камнями вибрации.

ной характеристикой того, что окружает экзистирующего в области близости. Средство есть то, что имеет место в пределах досягаемости умной руки, в хиротопе: средство для бросания, средство для резания, средство для битья, средство для шитья, средство для копания, средство для сверления, средство для еды и приготовления пищи, средство для сна, средство для одевания. Хайдеггеровский человек осведомлен, какие задачи все эти вещи ставят перед его рукой. Чем была бы поварешка, если бы она не отдавала приказа помешивать; чем был бы молоток, если бы он не предлагал «воспроизвести» образ действий, состоящий в «ударах по определенному месту»? Умной руке обычно не нужно повторять дважды. В серьезных ситуациях добавляются средства для убийства, в несерьезных — средства для игры, при заключении союзов используются средства-подарки, в несчастных случаях — перевязочные средства, в случае смерти нужны средства погребения, для передачи значений — средства-указатели, для любви — средства красоты.

Из находящихся в хиротопе популяций средств особое значение имеют прежде всего три их категории, обеспечивающие выделение человеческого острова из окру-

жающей стихии. В первую очередь следует назвать метательные средства, ибо благодаря их постоянному использованию гоминиды могли постепенно освобождаться от мощнейшего давления окружающего мира. Научившись поднимать пригодные для метания объекты, как правило, небольшие, величиной с кулак и меньше камни, и бросать их в инициаторов нежелательных встреч и контактов — будь то крупные животные или чужие собратья по виду, формирующаяся человеческая рука, растущая из плеча приспособившейся к степному ландшафту прежней древесной обезьяны, впервые предоставила гоминидам альтернативу до тех пор единственному способу уклонения от контактов — бегству. Став метателями, люди обрели свою до сих пор важнейшую онтологическую компетентность — способность к *actio in distans*. * * Благодаря метанию они превратились в животных, способных соблюдать дистанцию.²⁸⁹

Вместе с дистанцией возникает перспектива, в которой разворачиваются наши проекты. Вся невероятность человеческого контроля над действительностью концентрируется в жесте броска. Поэтому хиротоп образует первоначальное и исконное поле деятельности, в котором действующие лица обычно наблюдают результаты своих бросков. Здесь в игру вступает глаз-преследователь, контролирующий плоды работы рук; нейробиологи даже стремятся доказать существование врожденной способности мозга целиться в летящие объекты. Хиротоп, собственно, представляет собой видеотоп, сферу визуальной проверки результатов человеческих действий. То, что Хайдеггер называл заботой, по сути, представляет собой прежде всего внимательную неуверенность, с которой метатель проверяет, достигает ли цели его бросок. Попада-

289 *Eduard Kirschmann. Das Zeitalter der Werfer — eine neue Sicht des Menschen. Das Schimpansen-Werfer-Aasfresser-Krieger-Modell der menschlichen Evolution. Hannover, 1999; Alfred W. Crosby. Throwing Fire: Projectile Technology Through History. Cambridge, 2002.*

* Действие на расстоянии (лат.).

ния и промахи — это практические функции истинности, доказывающие, что направленность в даль может вести либо к успеху, либо к неудаче — с невятным промежутком для какого-либо третьего значения. Как при удачном броске,, так и при промахе истинное и ложное, логические первенцы дистанции, сами заявляют о себе.

Палеонтолог Пауль Альсберг еще в 1922 году дал убедительное описание эффекта дистанцирования, распространяющегося на многочисленные другие модусы использования орудий» В принципе дистанции он видел естественноисторически обусловленную возможность разрыва с голой естественной историей — и именно в этой возможности, по его мнению, заключается найденное им решение «загадки человека», и, как мы полагаем, он был прав. В самом деле, создав между собой и окружающим миром некую промежуточную среду из дистанционного оружия и инструментария, гоминиды смогли вырваться из тюрьмы телесной адаптации.²⁹⁰ Дистанционное животное *homo sapiens* само инсулирует себя, эмансипируясь — как метатель и существо, пользующееся орудиями, — от сугубо соматического эволюционного тренда. Поэтому оно может осмелиться на прогрессивную дезадаптацию (продолжающуюся, по мнению некоторых антропологов, до сих пор) — процесс, для обозначения которого Альсберг предложил использовать термин *отключение тела*. Вне всякого сомнения, странную утонченность (в глазах некоторых антропологов даже деградацию или упадок) строения тела *homo sapiens* невозможно понять, пока у нас нет более точного представления об этом эволюционном явлении. Эффект отключения тела можно представить себе с помощью следующего наглядного образа: до-люди словно укрываются за стеной из ди-

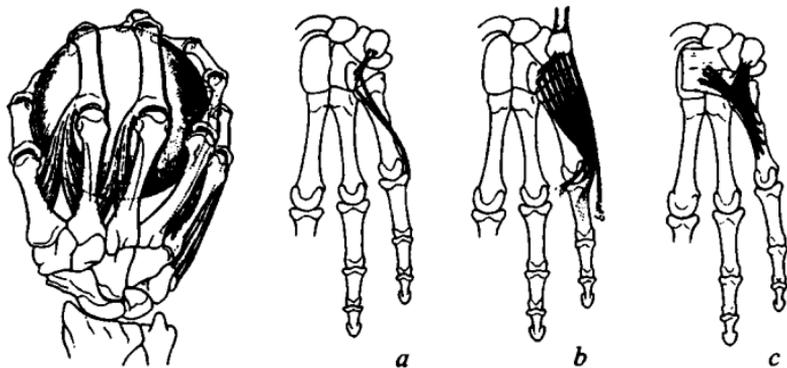
290 *Paul Alsberg. Das Menschheitsrätsel. 1922; переиздана в новой редакции с предисловием Дитера Кляссенса под заглавием «Побег из тюрьмы — к условиям возникновения человека» (Paul Alsberg. Der Ausbruch aus dem Gefängnis — Zu den Entstehungsbedingungen des Menschen. Gießen, 1975).*

станционных эффектов, возникшей в результате использования своих собственных метательных средств и различного рода орудий. Сподручные камни предоставляют материал для первых «стен*», !воздвигаемых вокруг себя группами гоминидов, стен, которые, однако, не строятся, а «набрасываются». Благодаря отключению тела появляется живое существо, которое в том, что, касается его биологической экипировки, может позволить себе оставаться плюрипотентным, неадаптированным к специфическим условиям своего обитания, до л гое время незрелым и в течение всей своей жизни ювенильным — и все это потому, что функция необходимой адаптации к давлению окружающего мира перешла от тела ж ррудиям.

Метаорудие - культура во всей евоей совокупности выполняет функцию инкубатора, в котором живое существо постоянно пользуется привилегией незрелости. Начиная с Юлиуса Кольманна биологическая основа этого эффекта называется неотенией: это сохранение детских соматических форм и моделей поведения даже на стадии половой зрелости (феномен, наблюдаемый у множества видов животных, созревающих в привилегированной ереде). *Homo sapiens* появляется в результате синергии рас-судка и комфорта. Мишель Серре обобщил антропологические следствия из этой долговременной эволюционной тенденции в термине *гоминесценция*; он истолковывает способ бытия вида исходя из его вечно подростковой, исследующе-становящейся конституции.²⁹¹

Очевидно, что лишь два органа не участвуют (или участвуют лишь парадоксальным образом) в отключении тела: во-первых, мозг, который как в соматическом, так и в функциональном отношении развивается совершенно автономно, поднимаясь до уровня решения невероятно сложных задач и, особенно после изобретения письменности, включаясь в потенциально бесконечные процессы созревания и специализированной адаптации; во-вторых,

291 *Michel Serres. Hominiscence. Paris, 2001.*



Способность руки адаптироваться к крупным шарообразным объектам.

рука, которая в качестве ближайшей сообщницы мозга достигает поистине виртуозной разносторонности. Рука — единственный орган человеческого тела, при надлежащем воспитании становящийся взрослым. Она — первый и истинный субъект «образования»; Гегель определяет его как «сглаживание особенности, необходимое для того, чтобы она вела себя согласно природе вещей».²⁹² Сглаживать особенное здесь означает: отказ от первичной неумелости и замена наивного хватания *savoir toucher*. * * Рука быстро научается, как следует брать вещи, и никогда не прекращает учиться. Поэтому рука как авангард человеческого тела вступает в бой на переднем краю фронта реальности, тактичная, коммуникабельная, работоспособная, ориентированная на успех, тогда как все прочие органы прячутся за щитом из орудий и оказываются в биологическом сказочном времени, в котором сохранившиеся интраутеральные признаки сосуществуют с вечно детскими и ювенильными признаками. Взрослость руки подразумевает «образование» в диалектическом смысле слова, поскольку при всякой сознательной манипуляции момент «отчуждения», преданности объекту

292 Г. В. Ф. Гегель. *Философия права*. § 187, прибавление.
* Умение прикасаться (*фр.*).



Valie Export. Из книги гуманоидных набросков, 1974 г.

коррелирует с возвращением к самому себе, то есть с сопутствующим тактильным ощущением. Из этой «активно-пассивной двойственности» происходит зрелость руки как единство отчуждения в пользу другого и возвращения к самостоятельной деятельности.²⁹³ Опытная рука в той же мере воспитывается сопротивлением материала, что и опытом собственной податливости. Неисчерпаемо деловитая рука оплачивает пристрастие к роскоши прочих телесных органов *homo sapiens*. Поскольку человеческий остров представляет собой хиротоп, где умные руки оперируют средствами, островитяне являются одновременно и манипуляторами-реалистами, и привычными к роскоши тепличными созданиями. С одной стороны, они предстают как экипированные различными орудиями борцы за выживание, нацеленные на успех кооператоры, составители хитроумных планов; с другой же стороны, они — навсегда разоруженные птенцы, дрожа-

293 См.: *Arnold Gehlen. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Frankfurt; Bonn, 1962. S. 135.*

щие истерики, взрослые зародыши, прислушивающиеся к звукам мировой ночи и принимающие божественных визитеров.

На второе место после дистанционного действия метательных средств следует поставить антропогенный эффект средств для битья — опять-таки представленные преимущественно сподручными камнями и предметами из других твердых материалов, таких как дерево и рог. Твердость материала имеет значение, поскольку с твердых средств начинается использование орудий в узком смысле и *eo ipso* история хиротопии. Там, где есть орудие, еще раньше была взявшая его рука. Оснащенными орудиями руками проводится перее тестирование реальности, чтобы получать опыт того, как более твердый материал заставляет капитулировать менее твердый. Остров Харотопия (о котором пока не написал ни один Мор, и лишь Хайдеггер издали увидел его туманные очертания) должен подняться над своим окружением как остров бытия, ибо он является ареной производств — первых операций по обнаружению бытия. Производить означает предсказывать вещи посредством рук. Когда гоминиды начинают обрабатывать камни при помощи камней или прикреплять камни к рукояткам, их глаза становятся свидетелями события, для которого в древней природе не существует образцов; им открывается, как в бытие вступает нечто, чего прежде не было, не существовало, не наличествовало: полезное орудие, смертоносное оружие, сияющее украшение, понятный знак. Как творения, возникшие в результате производственных успехов человеческих рук, орудия открывают своим создателям одно колоссальное отличие: эти новички в пространстве гоминидов суть вестники, сообщающие, что за тесным горизонтом окружающего мира находится пространство ожидания, из которого к нам приходит несущее с собой счастье и несчастье новое. Однажды это пространство назовут миром. После этого хиротопийцы начинают подозревать, что они — островитяне, окруженные зловещей

стихией, испытываемые новым, провоцируемые знаками. Они чувствуют, что степная страна, в которой они обитают и по которой кочуют, представляет собой мировое море, переполненное чем-то незримым, скрытым и тем не менее внушающим почтение. Сначала это подозрение посещает обитателей инструментального острова лишь в чрезвычайных ситуациях — когда они переходят от страха к экстазу. В своих повседневных состояниях они успокоены опытом, что хиротоп — заполненная подручным сущим окружающая среда, стоянка, близкий мир — образует спокойную, освещенную, подвластную им зону, внутри которой все, что есть, получает бонус доверительной интимности.

В антропологии XX века позитивная тривиализация постоянно находящегося в распоряжении называется «разгрузкой» и «заполнением фона». Под разгруженным понимается такое состояние, которое преобразует сумму невероятного и очевидного и тем самым закладывает фундамент того, что позднее будет названо институтом²⁹⁴. В этом смысле хиротоп — мать всех навыков. То злое и непредсказуемое, что связано с порождением нового, нормализуется навыками производства и использования орудий на стоянках. Тем не менее бывает и так, что орудие дичает и способствует тому, чтобы один какой-нибудь хиротопиец поднял руку на своего ближнего; в таком случае то злое, что присутствует в производстве, заявляет о себе в злодеянии, для которого оно себя предоставляет. Если непосредственно преступление вызывает отвращение у потерпевших, то косвенно оно должно отвергаться и средствами, ибо оно покушается на мирное сосуществование навыков. Убийство с помощью оружия демонстрирует, что подручность средства невозможно объяснить, прибегая лишь к аналогии с domesti-

294

Более подробно мотив разгрузки будет рассмотрен ниже, при обсуждении тезиса Арнольда Гелена о человеке как недостаточном существе; см. с. 711 и сл.

нацией животных; в этой категории средств словно вырываются наружу дикие свойства прирученной материи, посягающие на мир и спокойствие в доме.

В хиротопе руки социализируются. Это никак не связано с тем фактом, что рук две, — как и с тем, что голова одна: все хиротопические ситуации конституированы как полихирургически, так и мультцеребрально. Подручность средства в первом «жизненном мире» дополняется взаимопомощью кооператоров, использованием различных приемов, способствующих осуществлению общего замысла. Антрополог Питер К. Рейнолдс говорит в этой связи о «гетеротехнической кооперации», признаком которой является предвосхищение совместно творящими тех или иных актов своих сотрудников и произволство ими соответствующего дополнительного действия. Многие задачи уже в древнейшую эпоху можно было решить лишь при наличии полихирургического командного сотрудничества; они, словно полифонические партитуры, предполагают исполнение в четыре и более руки. При симметрических кооперациях каждый в состоянии взять на себя исполнение роли другого; при гетеротехнических — каждый делает то, что умеет делать лучше других. Вследствие этого хиротоп становится матрицей аутентичного социального разума, определение которого включает в себя ряд разрывов и рекомбинаций дискретных операций. На примере коллективного изготовления простого каменного ножа австралийскими аборигенами Рейнолдс перечисляет эксплицитные условия, выполнение которых необходимо для успешного осуществления, казалось бы, простого замысла: «специализация задач, символическая координация, ролевая взаимодополнительность, коллективное целеполагание, логичная очередность рабочих действий и монтаж отдельно изготовленных компонентов».²⁹⁵ Согласно наблюдениям Рейн-

295 Цит. по: *Frank R. Wilson. Die Hand — Geniestreich der Evolution. Ihr Einfluß auf Gehirn, Sprache und Kultur des Menschen. Stuttgart, 2000. S. 189.*

олдса, особое значение для перехода гоминидов к человеческому хиротопу имеют орудия с рукоятками, представляющие собой первые примеры объектов политического типа, — не только потому, что в рукоятках дает о себе знать принцип изготовленного хвата, то есть создания искусственного средства, облегчающего использование вещи, но и прежде всего потому, что они представляют собой аутентичные композитные орудия, так называемые полилиты, удобные для манипуляций комбинации камней с множеством других материалов. Их прототипами являются каменные молотки или каменные топоры, образующие первые материальные троичности из камня, палки и связующего элемента, причем тяжелое бьющее или рубящее тело, со своей стороны, может быть предварительно оформлено при помощи другого обрабатываемого камня.²⁹⁶

В древнейшем хиротопе совместное бытие людей с себе подобными и прочим сущим выступает в качестве первичного (социального) синтеза по меньшей мере четырех рук и примитивного (материального) синтеза трехчастных объектов. Мы полагаем, что полилит представляет собой первый материальный тезис, в котором субъект (рукоятка) соединен с объектом (камнем) связкой (*join*, или связующее средство); тогда примитивный синтаксис — как первый логический синтез — должен был бы возникнуть из оперативных категорий или универсалий хиротопических практик.

Поскольку на более развитых стадиях своей цивилизации люди окружены артефактами со всех сторон, они оказываются в ситуации, в которой почти все, за что берутся, они получают «из вторых рук»; большую часть того, что у них под рукой, до них держали в руках другие, придав ему тот облик, в котором их застали позднейшие пользователи. Однажды, находясь в предельно раз-

296 См. у Уилсона Главу 9 «Плохие парни, полилиты и гетеротехническая революция» (*F. R. Wilson. Op. cit. S. 181—196*).

вернутых формах хиротопа, теоретики установят, что даже руки, уже давно не соприкасающиеся друг с другом, способны работать сообща. Такая телекооперативная мастерская интегрируется полиофтальмией рынка. Но чтобы скрытые друг от друга руки могли производить вещи, наполняющиеся смыслом в других руках, должна существовать еще одна — незримая — рука, издали режиссирующая этот процесс. Сам Гегель посвятил хвалебную рецензию тайной работе *invisible hand*,* воздав должное ее кибернетическим добродетелям:

«Прежде всего достойно внимания это взаимодействие, в которое сначала не верится, ибо кажется, что все предоставлено произволу единичного; оно имеет сходство с планетной системой...»²⁹⁷

Наконец, для хиротопической климатической реальности имеет огромное значение открытие острых граней у камней и костей. С него начинается культурная история резания и материального анализа. Когда появляется функция ножа, начинает функционировать разум как делящая, порционирующая, рассекающая сила. Модельный навык «резание» находит в древнейших ножах свой «хронический актуализатор».²⁹⁸ Они наделяют пребывающие в мире вещи статусом делимого. С их помощью древнейшие хиротопийцы становятся живыми существами, проникающими взглядом вовнутрь тел, — они заглядывают под шкуру другого, не-человеческого живого существа, в ткань растения, в мякоть плодов, в слои и гранулы камней. Их картина мира формируется в том числе и опытом аутопсии, тем, что они собственными глазами видят обычно скрытую внутренность плотных тел. Ножи древнейших хиротопийцев эксплицируют смерть — они разлагают на фрагменты ее реликт, тело животного, и

297 г. В. Ф. Гегель. *Философия права*. § 189, прибавление.

²⁹⁸ См.: *Arnold Gehlen. Urmensch und Spätkultur*. S. 26.

* Невидимая рука (англ.).

тем самым разоблачают видимость неразрывной целостности членов. Живое тело есть нечто составное, еще не нашедшее своих аналитиков, мясников, патологоанатомов. Резание устанавливает связь между количеством и силой, существующую везде, где в телах отмечается аспект делимого множества. Лишь благодаря таким искусственным и гомогенным объектам, как тесто или металлы для чеканки монет, обнаруживаются чистые количества, которые можно quasi-ненасильственно делить и складывать. В практике разрезания природных тел елудет видеть первую манифестацию того, что мы в открывающих этот том рассуждениях назвали экспликацией, — раскрытие фонового или предьявление и разоблачение отсутствующего, свернутого, скрытого.

Опыт использования ножа находит свое отражение в древнейшей лексике. Если у людей есть особые слова для многих окружающих их существ и вещей, то потому, что они пользуются ножами, находящимися у них во рту. С помощью их именуемой силы они разрезают на куски мировое животное, саванну и ее детей — процесс, не осуществимый без сопутствующей оперативной силы и ее сохраняющихся результатов. Каждое слово подает на стол порцию мира. Долгое время будет существовать мнение, что это блюдо подается тем более бескровным, чем чаще мы при составлении слов врезаемся в плоть мира именно там, где он артикулируется сам собой, словно его заранее разрезал некий высший бог-резчик, так что люди, когда они говорят осмотрительно, с минимальным насилием вводят в свой лексикон, в репертуар своих действий, в сокровищницу своих знаний заранее предусмотренные компоненты. А следовательно, истинным языком был бы тот, который следовал бы отрезкам самого сущего и всегда производил разрывы там, где самими вещами предлагаются надрезы и разделения. Роды и виды потому так важны для архаичного мышления, что они вызывают ощущение, что в них содержатся объективные порции сущего; реальные различия воспринимаются как сочле-

нения сущего. Еще у Платона человеческое мышление почти отождествляется с воспроизведением божественной онтологии; древние китайцы были убеждены, что люди лишь тогда должным образом включены в движение мира, когда они содержат в порядке слова и берегут искусство истинной классификации. Высшие дистинкции следуют «путями ножа».²⁹⁹ Как жертвенный нож разрезает животное в испокон веков указанных местах, так и распределение отрезанных кусков зависит от деления группы по званиям, рангам и ролям.

2. ФОНОТОП — БЫТИЕ В РАДИУСЕ СЛЫШИМОСТИ

Тот, кто оказывается на антропологическом острове, сразу же приобретает определенный акустический опыт: место звучит соответственно своим обитателям. Если окружающая саванна часто погружена в молчание, то возникшие в ней стоянки гоминидов и первых людей кажутся своего рода шумовыми оазисами, в которых введен режим акустического чрезвычайного положения. Однако для обитателей этих оазисов оно представляет собой самую что ни на есть нормальную ситуацию. Эти острова всегда звучат по-особому; они образуют *soundscape** * чрезвычайно необычного характера, наполнены звуками жизни своих жителей, шумом работы, треском устройств и инструментов, тем журчанием, которое, наверное, сопровождает все наши представления. Яснее всего различим почти нескончаемый гул голосов: детских, которые радуются и плачут, материнских, которые предостерегают, утешают, убеждают, голосов совместно работающих мужчин, подбадривающих, советующих и соглашающихся, голосов старейшин, приказывающих, возвещаю-

299 См.: *Charles Malamoud. Les chemins du couteau. Remarques sur les découpages dans le sacrifice védique // Charles Malamoud. Cuire le monde. Rite et pensée dans l'Inde ancienne. Paris, 1989. P. 211 f.*

* Звуковые стержни (англ.).

щих, угрожающих, сердитых. Древнейший человеческий остров накрыт своего рода психоакустическим колоколом, словно оживленный музыкой молл перед Рождеством. Он формирует свой соносферический контекст благодаря присутствию сливающихся голосов и шумов, пропитывающих группу как проприоцептивное единство. Нужно оказаться в нем, чтобы понять, как он звучит, и надолго задержаться, чтобы в качестве слабого отзвука собственного настроения, как сонорное бессознательное, принять его в свое бытие. Остров бытия непрерывно акустически настроен на передачу и прием.

Лишь в фонотопе полностью верен тезис, что ереда — это послание. К этому самозвучающему пространству, пребывание в котором, как правило, уже включает в себя признание существующей ситуации, в полной мере относится замечание Маклюэна о среде, в которой сам факт сообщения друг с другом составляет все содержание коммуникации.³⁰⁰ Это положение вещей становится очевидным тому, кто соотносится с фонотопом как приходящий извне. Содержание того, о чем многие голоса способны сказать друг другу на общем для них языке, для внешнего наблюдателя всегда сводится лишь к факту, что они способны сказать друг другу что-то на общем для них языке. То, что изнутри представляется информацией, для внешнего восприятия оказывается всего лишь коммуникацией; все вокальные и аудитивные события относятся к производству типичной для группы избыточности. Группа живет внутри своего рода звуковой инсталляции абсолютной имплицитности; в ней способность слышать друг друга действует как среда взаимопринадлежности. Это следует понимать не как отрицание наличия в архаичных группах монотонии, а как указание на

300

См. процитированный на с. 17 медиатеоретический тезис Маклюэна об аудиосфере, центр которой всюду, а окружность нигде; пафос этого тезиса в том, что он (благодаря электрическому и электронным медиа) претендует уже не только на этносоциологическую, но и на всемирно-социологическую значимость.

тот факт, что избыточность — это та материя, из которой состоят *corporate identities*. * * Фонотоп не способен создавать информацию из себя самого. Он расходует всю свою энергию на воспроизведение фраз, благодаря которым поддерживает свою форму и сохраняет подвижность. Чужими звуками он, как правило, вообще не способен заинтересоваться. Послание, посылаемое самому себе, состоит исключительно — используем радиометафору — в мелодии позывных своей собственной передачи.

Как фактически происходит синхронизация слуха различных субъектов, можно наблюдать в современном массовом обществе на примере так называемой популярной музыки и хит-парадов, смысл которых первоначально заключался в предоставлении материала для повторов. Начинают с какой-нибудь легко запоминающейся пьесы и следуют результатам тестов, потакая потребности в бесконечном возвращении успешного того же самого. В остатке — акустическая аутосуггестия. Рассмотренная под этим углом зрения современная массовая аудиокультура предлагает почти аутентичную реконструкцию примитивного фонотопа — с тем отличием, что последний представляет собой эволюционную необходимость для совместного бытия людей с себе подобными в постепенно утрачивающем надежность мире или, как мы ее называем, акустическую иммунную систему, помогающую группе оставаться в континууме своей собственной настроенности, тогда как современный аудитивный популизм (вопреки пятидесятническим ожиданиям Маклюэна) нацелен на решение одной-единственной регрессивной задачи — заклеить коллективу уши, сделав их глухими к информации, любому иному звучанию, чему бы то ни было новому.³⁰¹ О том, к чему это ведет, наряду с

301 Маклюэн всерьез полагал, что мы переживаем ренессанс глобального, парадоксальным образом ретрайбализированного «закрытого общества»: оно конституируется как «продукт языка, барабанного боя и технологий, обращенных к уху».

* Корпоративные идентичности (англ.).



Бедуин хомуни перед фонографом.

популярной музыкой (которая, еще раз процитируем Маклюэна, «превращает сообщество в одну-единственную эхокамеру») свидетельствуют современные женские журналы, специализирующиеся на улавливании внутренних голосов своих читательниц. Они представляют собой информативную в антропологическом отношении среду, поскольку формируют печатные версии тоталитарных *gossip*.* В них методически осуществляется попытка смешения коммуникации с информацией; теперь не-новое всегда появляется как новейшее — актуальнейшие примеры вечного возвращения того же самого должны рассматриваться как информация. Эта онтология «женщин у колодца» в качестве почти непререкаемой истины предполагает, что под солнцем не может быть ничего нового. Об искусственном свете и его творениях, инновациях, здесь еще ничего не известно.

Следует остерегаться заблуждения, что эффект фототопа, который словно своего рода акустическая шатровая крыша натянут над группой, может быть понят как всего лишь невольное побочное следствие социального

* Сплетни (англ.).

шумового профиля и голосового общения. Эта крыта, под которой группа наполняется своим собственным звуком, локализуется в себе самой и тем самым устраняет все инакозвучащее, одновременно служит своего рода психоакустическими подмостками. Поэтому фонотопическим фактам часто присущи демонстративные свойства — или, по выражению Адольфа Портмана, «изобразительная и выразительная функция».³⁰² Акустический автотюнинг группы некоторым образом представляет собой инверсию функции пения самцов певчих птиц, служащего для отграничения инкубационных областей и изоляции певцов в центре их звуковых зон.³⁰³ Саунд человеческой группы обладает не только аутопластическим воздействием, но еще и перформативным и даже концертным и эндотеатральным измерением; отдельные голоса играют в нем роль интонаций, интенционально расширяющих коллективный звуковой круг. Изобразительная функция голоса и притязания на более высокий статус генераторов звука воплощаются уже в примитивных шумовых инструментах — хотя и современность также предлагает соответствующие суггестивные эквиваленты и формы экспликации; так, Портман в качестве примера приводит рев мотоцикла, подчеркивая, что «для едущих этот шум означает не столько какое-то неизбежное зло, сколько определенную акустическую манифестацию мотоциклиста, самовозвышение этого индивида, максимальное расширение его индивидуальной или групповой сферы».³⁰⁴ «Общество» есть сумма своих речитативов.

Фонотопическая функция, понимаемая как самонастройка группы посредством уха, связана с обещаниями, благодаря которым совместно живущие достигают взаимопонимания по поводу своих перспектив. В этом смысле звуковой ландшафт группы представляет собой своего

³⁰² См. *Adolf Portmann. Um eine basale Anthropologie // Adolf Portmann. Biologie und Geist. Göttingen, 2000. S. 256 f.*

³⁰³ *Ibid.* S. 257.

³⁰⁴ *ibid.* S. 261.

рода аффективную оперативную сводку или перманентный акустический протокол, в котором фиксируются мнения объединенных в союз людей по поводу того, где они находятся, наверху или внизу, либо же не там и не там. Евангелия и дизангелия в первую очередь определяются свойствами тональностей или оттенков посланий. Чувство воодушевления выражает примитивно-музыкальное состояние, в котором очевиден его изобразительный смысл. Мы могли бы сказать о нем то же, что говорил Ницше об архаичных народных богах: они представляют собой средства самопоздравления. В них верующие восхваляют основания своего прекрасного самочувствия: «люди благодарны за себя самих: для этого им нужен Бог».³⁰⁵ Иммунная группа убеждена, что она может сказать о себе много хорошего; для этого ей необходимо иметь над собой балдахин из торжественного шума.

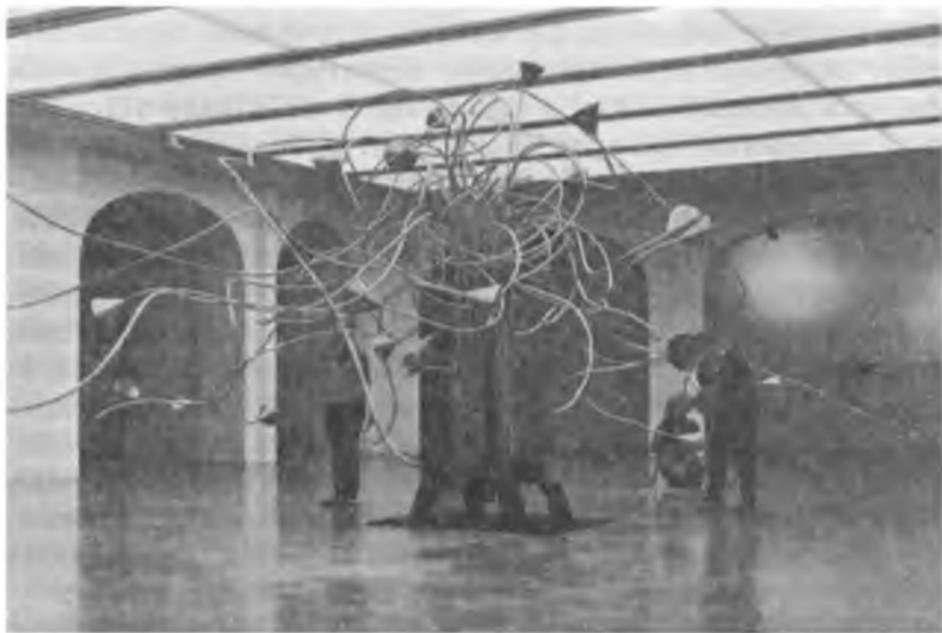
На этом фоне становится понятно, почему «изобретение индивидуума» в так называемых высокоразвитых культурах стало возможно лишь благодаря появлению безмолвных практик. Решающий вклад в это был внесен письмом и последующим приучением к молчаливому чтению. Раскрывающаяся самой себе индивидуальность предполагает, что индивиды могут уединяться на островах покоя, где они обращают внимание на возможное различие между коллективными и внутренними голосами, один из которых в конечном счете выделяется как собственный. Монастырское *silentium** * работает с этим различием, чтобы разделить божественно тихое и человечески громкое. *In interiore homine habitat veritas*:^{306**} Августин настаивает на том, что после цезуры *silentium*-истина сможет быть найдена лишь там, где тихо, — наряду с садом Платона для этого подходят прежде всего дома

305 Friedrich Nietzsche. Der Antichrist // Kritische Studienausgabe. Bd 6. München, 1980. S. 182.

306 Augustinus. De vera religione. XXXIX, 72.

* Молчание (лат.).

** Во внутреннем человеке обитает истина (лат.).



Ребекка Хорн. *Стонущее черепаховое дерево*. 1964 г.

Бога. Эти места разбивают изотопный и изохронный шумовой купол, под которым существует примитивная группа, и создают более сложно структурированный фонотоп с несинхронными шумовыми профилями и неравномерным распределением шума и тишины. Внутреннего человека не существует, пока его не выделяют книги, монастырские кельи, пустыни и уединение; лишь после того как человек сам становится кельей или *camera silens*,* в нем может обитать разум со своим тихим голосом. Разумное Я невозможно без акустической изоляции; еще Гуссерлево *epoché*** связано с этим культивированием в собственной голове отказа от группового шума. То, что феноменологи называют заключением в скобки наивной жизненной установки, по сути дела есть не что иное, как

* Молчаливая комната (лат.).

** Воздержание от суждения (греч.).



Слабоотражающая (безэховая) комната в Институте строительной физики Фраунхофера, Штутгарт.

активный отдых от предрассудков и жестикующий, способствующих тому, чтобы внутри было столь же шумно, как и снаружи. Что такое твердое убеждение, как не хорошо натренированный громкий внутренний голос? Этот доксический крик во мне умолкает благодаря философской медитации. *Homo silens** — пастырь психической деавтоматизации.

* Человек молчаливый (лат.).

Важнейшее побочное следствие *silentium*-эффекта дает о себе знать в противопоставлении публичного и приватного. Это различие, выступавшее в традиционных политических науках для образования основной парной пары, первоначально восходит к определенной внутренней модификации фонотопы, отделяющей ситуации, обусловленные семейными шумами, от тех, в которых доминируют коллективные шумы. В этом контексте приватное оказывается выделенным из группового шума анклавом тихих коммуникаций, если даже не пространством тишины, в котором индивиды оправляются от коллективного саунд-стресса.

Его архетип можно обнаружить в той беседе с самим собой, которую ведет уставший от людей поэт XIX столетия в своей ночной мансарде, замечая в «час ночи», что «тирания человеческих лиц»,³⁰⁷ как и деспотия человеческих голосов, исчезла, пусть и всего лишь на несколько часов. В целом: говорящее *privatim** должно остаться между нами, пусть даже первичная городская среда в виде *gossip* стремится вынести на площадь то, что было сказано тихо. В самом деле, задача сплетен — формы диктатуры коллектива — заключается в уменьшении таинственности приватной сферы по сравнению с публичным пространством. Они — продолжение группового ропота городскими средствами.

Присущая индивидуализму антисоциальная тенденция манифестируется в стремлении растянуть отдых от шума на целый год. И наоборот, присущая группе тоталитарная тенденция характернее всего выражается именно в те моменты, когда она вынуждает сопротивляющихся индивидов к совместному пению. Тем не менее развернутый фонотоп предоставляет пространство для конкретной свободы музыки. В музыкальные моменты слушающим могут открыться причины их совместного

307 Charles Baudelaire. Spleen de Paris. A une heure de matin.

* Частным образом (*лат.*).

бытия по ту сторону группового шума. Свободная музыка не дает обещаний, которые она не сдержит в своем звучании.³⁰⁸ Однако она воспитала ухо в настолько индивидуалистическом духе, что оно способно произвольно воспринимать любое соносферическое состояние как своего рода звуковую инсталляцию.³⁰⁹

В европейской античности факт, что публичное представляет собой модификацию фонотопа, дает о себе знать не только в изобретении трагического театра с его хором и звучащими масками, но и в культивировании публичных выступлений, служивших для формирования общей воли в народных собраниях. То, что позднее станет называться политикой, сначала было лишь культурной формой громкой речи, цель которой состояла в том, чтобы с помощью проникновенного индивидуального голоса, а стало быть, посредством слуха, погрузить групповое тело в желаемое настроение, будь то экспрессивным образом, в созвучии с *communis opinio*,* высказываемым в речи оратора, будь то путем убеждения с целью изменения настроения собравшейся толпы и устранения ее первоначальных предпочтений. Лишь Платон в своем «Государстве» вводит новый тип политика, который должен функционировать уже не как оратор, а как реципиент тихих идей — как известно, с неудовлетворительным результатом, поскольку появления тихого политика мы вынуждены ждать и по сей день. Оно было бы *contradictio in adjecto*,** ибо политика — как искусство возможного в шуме — остается приписанной к громкой стороне фонотопа.

308 См.: Peter Sloterdijk. Das soziale Band und die Audiophonie. Anmerkungen zur Anthropologie im technischen Zeitalter / Hrsg. von Stephan Krass. Edition S2 Kultur. Baden-Baden, 1994; об акустике обещания см. также: Сферы. Т. I. Гл. 7. С. 492—553.

309 Об организации индивидуальных фонотопов с помощью альянса жилых апартаментов и саунд-технологий см. ниже в Главе 2, с. 602.

* Общее мнение (лат.).

** Противоречие в определении (лат.).

Нелегко сказать, как долго нужно было прожить на острове, чтобы догадаться, что это место представляет собой некую тайну. Кто хранит ее? Старейшины или, быть может, целители? Не находится ли она в руках мудрых женщин? Возможно, привилегия на доступ к ней принадлежит рапсодам? Или ближе всего к ней подходят те, кто не способен к логике, — шизофреники? Даже если мы не хотим говорить о гинекологических тривиальностях, нам, чтобы понять, как формируются анклав, следует обратить внимание на присутствие женщин. Тайна острова, по всей вероятности, есть одновременно тайна пространства и тайна женщины. Тот, кто желает ее разгадать, должен быть чувствителен к особенностям женской природы. *Odore di donna** — кухонная тайна? Взаимопонимание с Луной? Не является ли царство женщин неким расширенным очагом, эмаирирующим многообещающие ароматы, атмосферу, благотворно действующую на тех, кто ест с одних и тех же вертелов и из одних и тех же горшков? Или мы приближаемся к тайне острова, когда мимо проходит молодая женщина, окутанная аурой феромонов, своим биологическим *promesse de bonheur***? Спрашивать об этом самих островитян бессмысленно, поскольку они являются продуктом островной тайны, в лучшем случае — ее поэтами, но никак не исследователями. Естественно, они бы признали, что без женщин, матерей, организация их жизни была бы невозможна уже хотя бы потому, что в их компетенции находятся маленькие дети и что они составляют половину неба, половину земли. Но ответы такого уровня нам ничего не скажут о вкладе женского начала в возникновение человеческого острова и его внутреннего форматирования.

* Запах женщины (итал.).

** Обещание счастья (фр.).

Мы продвинемся к сути дела лишь в том случае, если воспримем понятия женщины и пространства в некоем биологическом и топологическом отстранении; тогда мы сможем говорить о женском, прежде всего материнском, теле в геометрических или топологических терминах. Этот поворот принимает во внимание тот факт, что благодаря эволюционным новшествам в биограмме млекопитающих появился радикально новый тип матери — сформировавшийся в результате «революционного» завоевания пространства женского живота как среды для внутреннего откладывания яиц. В силу этого возникает некая уникальная с естественноисторической точки зрения топологическая реальность, ибо теперь экологической нишей для потомства становится материнское тело. В результате интериоризации яйца снижаются риски, характерные для откладывания яиц во внешних гнездах, заменяясь рисками, связанными с внутренней инкубацией, а также риском совершенно нового типа — риском родов.³¹⁰ История успеха млекопитающих доказывает, что эта трансакция была весьма выгодной. Она привела не только к возникновению новой интегральной матери, укрывающей внутри себя однородных себе паразитов, но и к появлению нового типа детенышей, возрастающих в мире с более высокой ценностью связи и более высоким риском разрыва.

Британский психоаналитик и эволюционный биолог Джон Боулби с помощью своей схемы специфического для гоминидов «окружающего мира эволюционной адаптации» заложил теоретические основы психологии риска антропогенеза. Ему удалось показать, в какой мере ранние фазы гоминидного и человеческого существования с точки зрения его психобиологического дизайна зависят от тесного симбиоза матери и ребенка. В разработанной

310 См.: *Sarah Blaffer Hrdy. Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution. Berlin, 2000. bes. Kap. 6 «DieMilchstraße». S. 153 f.; а также: Сферы. Т. I. Экскурс 3. С. 334—341.*

Боулби концепции *attachment** кристаллизуется всеобъемлющее понимание богатого и одновременно хрупкого своеобразия человеческой диадки, как она начиная с плейстоцена формировалась на гоминидных предпосылках,³¹¹ — понимание, из которого одновременно может быть выведено объяснение растущего риска беспризорности и психозов у детей в высокоразвитых культурах и тем более в индустриальных обществах, в которых примечательным образом распространяется тенденция к идеологическому обеспечению раннего предоставления детей самим себе, что рассматривается как нормальная ситуация.³¹² Бели Гегель в своих антропологических лекциях отмечал, что мать является «*гением ребенка*»,³¹³ то с биотопологической точки зрения остается лишь добавить, что мать есть ситуация ребенка — или, в терминах Боулби, его окружающий мир эволюционной адаптации.

Разговор о «матери» предполагает некую человеческую *analysis situs*,** ибо, используя это выражение, мы обязаны сказать, в каком положении по отношению к матери находится ребенок — еще внутри или уже снаружи или же некоторым образом (но в каком смысле?) в обоих положениях одновременно. Тем самым указывается на то обстоятельство, что вследствие интериоризации отклады-

311 *John Bowlby. Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung. München, 1975.*

312 Это, среди прочего, проявляется в атаках феминистских догматиков на теории, с помощью которых реалистично описываются ориентированные на мать потребности маленьких детей. Об инциденте, имевшем место при присуждении Джону Боулби звания почетного доктора Кембриджского университета в 1977 году, см.: *Sarah Blaffer Hrdy. Mutter Natur. S. 554.* Впрочем, тезис об оккультности раннего предоставления детей самим себе («драма одаренного ребенка») следует уравновесить наблюдениями, свидетельствующими о quasi-неопалеолитической материнской заботе и избалованности маленьких детей в Первом мире. Об этом см. ниже с. 817—821.

313 См.: *G. W. F. Hegel. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse // Werke. Bd 10. Frankfurt, 1970. S. 125.*

* Привязанность (*англ.*).

** Топология (*лат.*).

вания яиц и эволюции плода *in utero** * возник некий новый тип события: роды. В результате поворота вовнутрь разыгрывается протодрама выхода на свет, появляется первичная необходимость и способность оставить материнское тело, ранняя фатальность выбора пути, ведущего вперед, на так называемую свободу или простор. Факт родов как матрица всякой радикальной смены места и состояния влечет за собой поистине необозримые последствия.

С этих позиций мы можем более точно определить характер антропогенного острова: он должен быть местом, в котором меняется смысл родов. У потомства вида *sapiens* последнее становится биологическим событием метабиологического значения. Ведь очевидно, что одного факта рождения по типу млекопитающих еще недостаточно, чтобы занять место человека. Млекопитающие рождаются, люди появляются на свет. На острове бытия господствует климат с раздражающими факторами, в котором рождение превращается в появление на свет.

Знаток философии XX столетия сразу же заметит, что здесь мы воспроизводим хайдеггеровское различие между привязанным к окружающему миру способом бытия животного и экстатической миротформирующей сущностью человека. Как можно представить себе генезис этого различия, мыслителя не интересовало, поскольку он считал антропологические и генетические вопросы дофилософскими, второстепенными, догматическими. В действительности же — и мы давно пытаемся это показать³¹⁴ — именно мышление Хайдеггера требует, если уместно это выражение, антропологической «субстанциализации», и мы утверждаем, что это требование удовлетворяется лишь в том случае, если исследование обусловленного человеческим существованием топологического

314 Среди прочего, в книгах: Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik. Frankfurt, 1989. S. 174—210, а также: Nicht gereitet. Versuche nach Heidegger. Frankfurt, 2001. S. 142—234.

* Внутри матки (лат.).



Ян ван Некк. Урок анатомии доктора Руйша.

различия начинается с рассмотрения его происхождения.

То, что рождается, первоначально испытывает лишь замену одной окружающей стихии на другую; это немало, но это еще ничего не меняет в анималистической дефиниции жизни. Тем не менее рождение млекопитающего можно сравнить с переходом от жизни в воде к существованию на суше и в воздухе, словно каждый детеныш класса млекопитающих вынужден в своем собственном становлении повторять доисторический исход из моря и осваивать материковый образ жизни. Однако рождение превращается в появление на свет лишь в том случае, если из окружающего мира, в котором оказывается новорожденный, возникает мир как таковой — совокупность



Йозеф Бойс. 7000 дубов. 1982 г.

вещей или универсум всего, что происходит. Здесь нет необходимости объяснять, что означает выражение «мир» с философской точки зрения; что же касается его топологического смысла, то достаточно сказать, что обозначаемое как бытие-в-мире фундаментальное отношение подразумевает бытие-снаружи. Хайдеггер намекал на это с помощью онтологически приземленного понятия экстаза как бытия-при-обстоятельствах. Тот, кто существует, выдвинут в нечто, в чем он уже не может в пол-

ном смысле быть у себя самого. У людей, онтологических эксцентриков, бытие снаружи предшествует обитанию у себя самого — хотя жесткость этого факта, как правило, смягчается поддержкой сферических альянсов. Когда речь идет о положении *в мире*, первенство внешнего по отношению к любого рода жилищу, инклюзии, оболочке и обустройству у себя самого не вызывает никаких сомнений. Поэтому любая теория элементарной ситуации является также и интерпретацией первичной травмы, связанной с фактом существования такого внешнего пространства, которым невозможно обладать и которое нельзя ни формировать, ни игнорировать, ни отрицать. Поскольку это так, люди обречены на создание интерьеров.

Если мы согласимся с такой постановкой вопроса, то можем отважиться на попытку дать пространственно-теоретическую формулировку. Теперь жить на острове означает: использовать возможность перенесения внутренних ситуаций. Перенесения этого типа возможны в случае, если достижимо такое реальное положение во внешнем, которое может служить фоном или сосудом для реконструкции внутреннего в другом месте. Феномен перенесения (открытый магологами и фасцинологами Ренессанса, радикализованный магнетизерами романтизма и истолкованный в нейрогерменевтическом ключе психоанализом XX века, который использовал его в качестве медиума терапевтической ситуации) порождается эффектом инерции, возникающим в результате преобладания прошлых форм над современными восприятиями. Для его появления и развертывания необходимы четкие сценические различия между некогда и сегодня. Если они даны, как, например, в ситуации переезда или изгнания, вступления в брак или переселения, может возникнуть феномен повторения более ранней сцены в более поздней — процесс, описываемый в известных психологических теориях как проекция аффектов. В нашем контексте также напрашивается мысль рассматривать перенесение в качестве реконструкции тех или иных ситуаций,

причем акцент делается на том обстоятельстве, что первичное перенесение осуществляется как повторное воспроизводство внутреннего состояния во внешней ситуации. В этом отношении информативна парадигма космического полета, поскольку в вакууме наглядно эксплицируется то, что люди всегда делали в наземном «жизненном мире». Тайна инсуляции человеческой сферы заключается в том, что совместно живущие в копродуктивном перенесении обустроивают общее внутреннее в общем внешнем. Остается обратить внимание на то, что перенесения первоначально носят коллективный характер и лишь позднее индивидуализируются в зависимости от средств, языковых игр и форм обитания, поддерживающих приватизационный эффект.

Общий труд, выливающийся в сотворение острова, осуществляется таким образом, что совместно живущие черпают из общего сценического фонда внутренних ситуаций и репродуцируют их в инородной внешней обетановке. В результате возникает в высшей степени когерентная группа, утеротоп, то есть действенная метафора материнского тела. В первом прочтении он интерпретируется как фантазм родства — согласно догматической формулировке, мы, как представители одной нации, всегда суть дети одной и той же матери. Не стоит забывать, что и Платон, когда он был максимально откровенен и вкладывал в уста Сократа учение о благородной лжи, стремился извлечь выгоду из утеротопического эффекта: что еще можно сказать недовольным жителям разделенного на классы города, как не то, что все граждане являются отпрысками матери-земли, которая наряду с золотыми детьми родила детей серебряных и железных, — быть может, в законном с семейной точки зрения ожидании, что их потомки в братском согласии и из пиетета перед далеким общим прошлым договорятся о мирном сосуществовании друг с другом.³¹⁵ Во втором прочтении

315Государство. Книга III. 414 b—415 d.

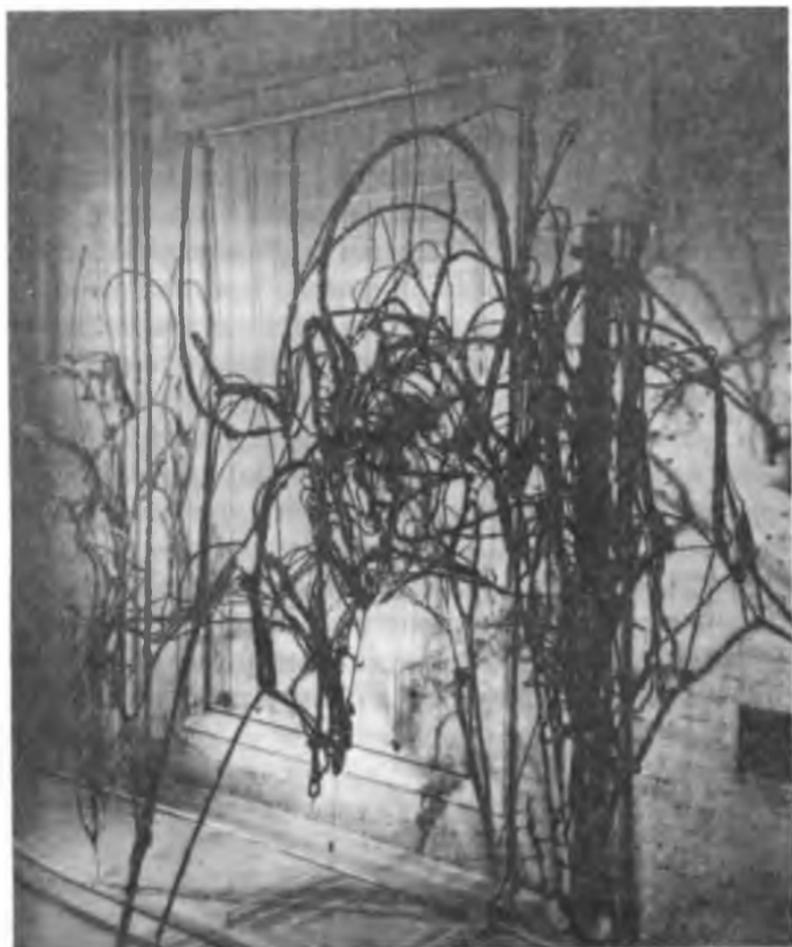
концепция утеротопа предстает как обретший историческую мощь пространственный фантазм, внушающий нам, что, оставаясь локализованными в собственной группе, мы являемся привилегированными существами, живущими в одной и той же пещере, — протосолидарными пользователями одного и того же родового прошлого в общих групповых недрах. «Глубина» группы соответствует характеру ее коллективной нирвана-функции: ее члены соединяются в некоей воображаемо общей неили додействительности, из которой они отправляются в реальное, — подобно родным братьям и сестрам, хранящим общую пещерную тайну, как данное свыше бремя. Утеротопическая *communio** * артикулируется в архаических тотемистических альянсах, а также в многочисленных формах магического и сакрального товарищества более высокого уровня, заканчивая тем самым *communio sanctorum*,** которое в своей совокупности составляет фундамент Матери-Церкви. Когда многие современные философы религии высказывают мнение, что «человечество в своей глубинной основе» представляет собой «религиозную величину»,³¹⁶ они используют возможность изобразить род человеческий в целом в качестве некоего адамического утеротопа.

Тому, кто желает найти объяснение прочности чувства принадлежности к этническим группам (а также их хронической конфликтности и простодушному стремлению вооружаться), не стоит забывать о важности исследования конструкции утеротопов. Они представляют собой политическую форму неспособности к взрослению. Утеротопический синтез осуществляется как отбор людей для совместного исхода из некоей беспримерной пещеры (и как совместное пребывание в ней). Утопический же синтез, наоборот, подразумевает отбор людей для со-

316 Friedrich Heiler. Die Religionen der Menschheit / Hrsg. von Kurt Goldammer. Stuttgart, 1999. S. 31.

* Общность (лат.).

** Сообщество святых (лат.).



Эва Хессе. *Без названия (Rope Piece)*. 1970 г. Публикуется с разрешения The Estate of Eva Hesse, галерея «Hauser & Wirth», Цюрих. Фотография Паулуса Леезера.

вместного похода в некую беспримерную страну, ожидающую их прибытия. Утеротопия и утопия отражаются друг в друге как две разновидности элитаризма: одна ориентирована на происхождение, другая — на будущее. Они представляют собой два источника маниакального сознания — и *eo ipso* два самых глубоких мотива отказа от солидаризации с судьбами прочих людей. Видя это

различие, мы способны понять, что — вопреки идеям Маркса и Энгельса — вся история есть не что иное, как борьба между элитными группами. Констатировать это означает уяснить причину того, почему с момента возникновения военизированных культур началась своего рода двойная мировая война, — война первого порядка между различными элитарными сообществами, отобранными по принципу происхождения, и война второго порядка между теми элитарными сообществами, которые отобраны по принципу происхождения, и теми, которые отобраны по принципу будущего.³¹⁷ То, что до сих пор считалось выбором между войной и миром, в действительности является, как правило, выбором между войной первого или второго типа. Может ли существовать война третьего типа, неясно. А если да, то ее фронт пролегает между избранными и неизбранными. Как показывает опыт, последние воздерживаются от открытой конфронтации. Они довольствуются созерцанием деятельности избранных, пока их саморазрушение не станет свершившимся фактом.³¹⁸

4. ТЕРМОТОП — ПРОСТРАНСТВО КОМФОРТА

Римляне изобрели искусство борьбы с бесполезной болтовней, выражая желаемый результат в четырех еловах. Пример: *ubi bene, ibi patria*. * Применительно к нашей теме это означает, что распространенная склонность людей предпочитать свою родину раз и навсегда объясняется тем, что эффект родины выводится из чувства удо-

³¹⁷

Ср. близкий по смыслу тезис эпистемонриеника Мишеля Серре: «Происходит ли все зло мира из принадлежности? Да. Все зло мира происходит из сравнения. И из дурной славы, возникающей благодаря вступлению в возвышающийся над общим уровнем коллектив» (*Michel Serres. Atlas. Paris, 1996. P. 213*).

³¹⁸ Мы отказываемся испытывать эту оптику на возможных сценариях актуального внутримонетистического троеборья.

* Где хорошо, там и отечество (*лат.*).

вольствия от нахождения на своем месте. Экуменическое объяснение, римский стиль. Оно делает обратной связь между родиной и хорошим самочувствием. Когда ты на родине, тебе хорошо; если тебе не хорошо, стало быть, ты не дома. Если родина не гарантирует *bene vivere* *,* она не заслуживает своего имени; следовательно, можно и нужно искать иные отношения — либо в качестве эмигрантов, либо в качестве преобразователей домашних ситуаций. В речи, произнесенной 29 ноября 1792 года, Сен-Жюст провозгласил: «У народа, который несчастлив, нет отечества». Отныне отверженные обитатели этой земли находятся на пути туда, где они могли бы быть более счастливыми. Как только способность покончить с дурными обстоятельствами исчезает, возникает пресловутый феномен затхлости: верность породившему нас убожеству. Гений Мартина Вальзера нашел для него ключевые слова: «Семья — это товарищество по несчастью. Его не покидают».³¹⁹ Сформулированное лишь в новейшее время фундаментальное право на свободу передвижения предполагает продуктивную неверность собственному несчастью. Люди находятся у себя самих не тогда, когда они пребывают в некоем месте, а тогда, когда им комфортно.

Одним из мотивов жизни в групповой инсультации является способ, каким успешная группа вырабатывает и распределяет внутри себя преимущество в комфорте. Тем не менее тот факт, что это преимущество не возникает под воздействием места, в котором происходит распределение, но что результат распределения позволяет нам оценить место, осознается достаточно поздно. До тех пор мы вынуждены выслушивать массу бессмыслицы — об обетованных землях, о полях отчизны, напоенных нечистой кровью чужеземцев, о номосе земли, о праве народов на собственное государство и о древе свободы, которое

319 *Martin Walser. Ohne einander. Roman // Werke: 12 Bde. Frankfurt, 1993. Bd 7. S. 58.*

* Хорошая жизнь (*лат.*).

каждое поколение обязано орошать кровью патриотов. Патриот — не тот ли это, кто запутался в причинах привязанности к своему месту?

Самый зримый признак преимущества обитания в группе — это очаг; он, как древнейший человеческий символ, является самым недвусмысленным указанием на то, что люди не могут обходиться без создающей комфорт среды. Благодаря совместно охраняемому огню люди открывают, что существуют некие естественные помощники, которые приносят пользу, пока за ними тщательно следят. Сила огня благотворна при условии, что брендвахта не дремлет. Обращение с огнем представляет собой деятельность, располагающуюся на самой границе между колдовством и трудом. В ходе истории развития цивилизации этот первоначально почти абсолютный паритет нарушается в пользу труда, однако магический полюс никогда полностью не исчезает. Если в человеческой деятельности все регулируется равенством действий и их следствий, то, вне всякого сомнения, мы имеем дело с трудом. Он движется к результату настолько прямым путем, насколько это предусмотрено правилами соответствующего занятия. Хотя нередко то, что называют трудом, является лишь пустым времяпрепровождением для большинства «волшебников навыворот», владеющих искусством «делать из многого малое».³²⁰ Сознал ли Ницше, что этим он дал определение общественной работы? Что же касается колдовства, то оно ведет к противоположному результату: ошеломляющему превосходству следствий над действиями. Несмотря на то, что нам не известно, как, собственно, функционирует колдовство (нем. *zaubern*; древнегерм., староангл. *rot färben**), оно, кажется, ведет дальше, чем мог бы завести простой труд. Как только успешность определенных операций стано-

320 *Friedrich Nietzsche. Menschliches. Allzumenschliches I. N 627. Leben und Erleben.*

* Красить в красный цвет.

вится экстраординарной, в игру вступает магия в форме аутентичной каузальной прибавочной стоимости. Поэтому колдовство — не всегда обман; сам мир провоцирует на магический подход ко многим складывающимся в нем ситуациям, ибо мы видим, что время от времени нам удастся достичь большего, чем мы намеревались. Реакцией на этот опыт являются древнейшие понятия счастья и силы. В античности «большее», сопутствующее в высшей степени очевидному, поразительному успеху, наглядно предстает в облике хитрых, умелых, специализирующихся на спецэффектах богов (типа Зевса, Гефеста, Гермеса), которых люди, по понятным соображениям, пытаются сделать своими союзниками.

Древнейшей формой такой союзнической фортуны является огонь очага, у которого хозяйничают женщины и которым занимаются священники. Два вида персонала, двойное обещание счастья. Огонь — домашний бог с большими связями и чувственно воспринимаемая душа дома. С момента как люди признали приносимые им преимущества, пирогенетические мифы объясняют его появление у смертных даром богов или титанов — подарком, который переходит в постоянное владение одариваемых и открывает им доступ к культурному состоянию. Здесь впервые возникает мыслительная фигура «помощи для самопомощи». В староевропейском контексте Прометей — это титан с синдромом помощника, образцовый спонсор и друг людей. Тот, кто доставляет «пантехнический» огонь (*pyros pantechmxs*),³²¹ становится патроном кухонь, зачинателем алхимии, покровителем керамики и металлургии, творцом комфорта и инициатором перераспределения света и удобств — одним словом, подлинным титаном культуры и в силу всех этих свойств самым главным святым в святцах Просвещения. Как тот, кто облегчает людям жизнь и впервые оснащает их знаниями и умениями, как филантроп и зачинщик восстания про-

321 Эсхил. Прометей прикованный. V. 7.

тив идиотии покорности существующему положению вещей, он является первым покровителем термотопа.

Таким образом, это выражение подразумевает не только ту область, в которой члены группы ощущают непосредственную тепловую пользу от огня (мотив, который, ко всему прочему, мог стать значимым лишь на постафриканской стадии культурной эволюции, после того как человечество распространилось в ареалах с ярко выраженной сменой времен года и более долгими зимами). Выражение «термотоп» одновременно обозначает и тот круг, в котором становится заметна польза, приносимая повседневной магией. Жители острова Хиротопия естественным образом являются и термотопийцами, поскольку между тем, что удается рукам, и прибавочной стоимостью, добавляемой огнем очагов, существует определенная синергия. Термотоп — это пространство, в котором ожидания удачи постоянно оправдываются; он образует первичную сферу комфорта — с самого начала, даже если культ общественного счастья смыкается с культом очага лишь в развитых цивилизациях, таких, например, как римская. Самым красноречивым примером здесь является институт государственного очага в храме Весты на *forum romanum*,* * выполнявшего задачу доказательства единства очага и государства — или дома и империи.³²² Он излучает на периферию благовест иммунитет, *integrum*.** В своем первичном символе Римская империя позиционировала себя в качестве переведенного во всемирный формат домашнего термотопа, в котором должно быть установлено тождество *foyer**** и универсума, острова и континента.

Если римские юристы и основатели культов осуществляли политическую универсализацию термотопии, то индийские брахманы занимались ее гипостазированием.

322 См.: Сферы. Т. II. Гл. 2. С. 224—238.

* Римский форум (*лат.*).

** Целостность, невредимость (*лат.*).

*** Очаг (*фр.*).



В течение всей Кумба-мелы (до двух месяцев) индийцы-нага сидят около священного огня.

В их представлении мировая связь в целом может быть постигнута с помощью изменения формы огня. Глубинные эффекты брахманического мышления порождаются тем обстоятельством, что оно уверено в своей пиротехнической компетентности при осуществлении жертвоприношения огню и черпает в этом тщательно измеренном поле многочисленные метафоры. Бели Римская империя концентрируется в нескольких девушках у священного очага, то древнеиндийская культура — в аскетах у жертвенного огня.³²³ Своей предельной плотности она достигает в фигуре отказывающегося (*samnyasin*), который уже не приносит жертвы у внешних кострам, а сжигает все свое существование в некоем ментальном огне, пламени Веды. Поэтому отказывающийся более не принимает участия в обычных приготовлениях, огненных жертвоприношениях и сожжениях; его труп не предается огню, подобно телам духовно незрелых людей, его погребают в земле, ибо кажется неподобающим еще раз внешне ежигать того, кто уже сгорел внутренне. В абсолютном термотопе не только распределяются преимущества жизни вблизи очага — он дает старт конкурентной борьбе за преимущество всех преимуществ: единство с очагом самого бытия.

В других случаях термотопические преимущества определяются гораздо проще. В стратифицированных обществах эгалитарное собрание вокруг огня превращается в аттракцион имущественных преимуществ, скапливающихся в определенном благоприятном месте. Теперь эксклюзивные черты пространства преимуществ складываются в четкий профиль: то, что в менее крупном формате закладывает основы инклюзивной солидарности, в более крупном действует десолидаризирующим образом. Преимущества суть именно то, чего не хватает на всех. Другие огни, иные судьбы. «Тепло, — пишет Гастон Башляр, —

323
de ancienne.

См.: *Charles Malamoud. Cuire le monde. Rite et pensée dans l'In-*

есть имущество, достояние. Его следует ревниво оберегать и можно дарить лишь избранным существам».³²⁴ Способность обеспечить комфортабельную взаимосвязь своих удостоверяет статус патрона, большого босса. В пределах контролируемого им пространства преимуществ зависящие от него ощущают, что в их интересах хранить его тайну; поэтому все группы, дорожащие привилегией принадлежности к нему, носят одно и то же никогда не произносимое вслух имя: *cosa nostra*. Если мы рассматриваем инсулярные общества в качестве пространств дистрибуции преимуществ неясного происхождения, то они обладают мафиозным по своей форме субстратом — это относится даже к такой демократической мировой державе, как США, благосостояние которой зиждется не только на достижениях собственной экономики, но и на латентной, системе обложения данью.³²⁵ В условиях комфорта, уже ставшего привычным, не спрашивают, откуда он взялся. Мистерии перераспределения носят глубинный характер, и облагодетельствованные держатся за них, даже если они уже подозревают *que ce n'est pas catholique*. * Например: привыкшие к субвенциям многочисленные граждане и институты обанкротившегося в 2004 году города Берлина не желают знать, откуда брались те не заработанные ими суммы, которые они намеревались потратить в дальнейшем, а многочисленных подданных эмиратов Персидского залива не слишком занимает вопрос, почему они могут получать от своих шейхов высочайшие доходы, позволяющие им воздерживаться от какой бы то ни было трудовой деятельности.

324 *Gaston Bachelard. Psychoanalyse des Feuers. München, 1985. S. 55.* Башляр говорит (оглядываясь на «Хвалу ночи* Новалиса) о дуализме света и общественно-поверхностного распределения, с одной стороны, и тьмы и интимно-эксклюзивного посвящения — с другой.

325 См.: *Emmanuel Todd. Weltmacht USA. Bin Nachruf. München, 2003.*

* Что это нечто не католическое (*фр.*).



Йозеф Бойс. *Медовый насос*. Documenta VI, 1977 г.

Таким образом, не совсем верно утверждение, что вся история есть не что иное, как история борьбы между группами избранных; в той же мере она есть и история борьбы между группами, дорожащими своим комфортом.

Если мы будем искать морально приемлемую современную альтернативу клановому, клубному и клиентскому имморализму, то в первую очередь вспомним о возникших в XIX и XX веках институтах «государства всеобщего благосостояния». Социальное государство представляет собой региональную генерализацию термотопа средствами техники страхования. Его достижения основываются на открытии холодного огня (раздуваемого с помощью обязательных взносов), вокруг которого могут собираться многочисленные (хотя и относительно привилегированные) нуждающиеся. Национальные и коммунальные системы солидарности (в США добавляются еще и феноменальные добровольные службы), ка-

жется, стали для современных обществ своего рода метаочагом, помогающим многим заслуживающим этого людям, а также некоторым хитрецам поддерживать горение их собственного огня. Пока что такие устройства для перераспределения шансов на благосостояние функционируют исключительно в национальных форматах. Мы могли бы пойти еще дальше и утверждать, что постмодернизированный дух наций зиждется лишь на кассах взаимопомощи и системах страхования, и прежде всего это происходит в Центральной и Северной Европе, где находятся самые комфортабельные термотопические институты мира. Тот, кто захотел бы перенести эти отношения на мировое сообщество, сначала должен был бы разрешить термотопический парадокс и продемонстрировать, каким образом всех можно предпочесть всем. В отсутствии убедительного термического социализма нам пока что придется довольствоваться термической эстетикой.³²⁶ Насколько далеко она может нас завести, показывает «Медовый насос» Йозефа Бойса, символически подключающий все человечество в целом к сладкой жизни.

5. ЭРОТОТОП — ПОЛЯ РЕВНОСТИ, СТУПЕНИ ЖЕЛАНИЯ

Нужно провести на антропогенном острове весь сезон, чтобы обрести чувствительность, необходимую для понимания того, как аборигены организуют желательную для себя жизнь. С самого начала можно ожидать, что климат, в котором проживают живые существа с ярко выраженными утеротопическими и термотопическими кондициями, характеризуется раздражающими факторами и провоцирует повышенную бдительность в

326 *Franz Xaver Baier. Wärmesinn und Wärmeorganismus. Entwurf einer thermischen Ästhetik // Feuer. Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland. Bonn, 2001. S. 463—470.*

отношении преимуществ принадлежности к данному пространству и распределения шансов на комфорт. Поэтому остров, вопреки современным туристическим клише, это отнюдь не место, где можно забыть то, что делают другие. Тому, кто хочет ориентироваться в островной теплице, можно посоветовать с еще ббльшим вниманием наблюдать за аффективным поведением других.

Гуманно-инсулярное поле желаний мы называем эрототопом, ибо эротическое влечение задает парадигму для того, каким образом аффективная конкуренция в группах одновременно и стимулирует и контролирует желательную жизнь совместно живущих. В эротическом поле возникает напряжение, поскольку группы в результате хронически обостряющегося самовозбуждения продуцируют жадно-подозрительное внимание к различиям между своими членами. Из него рождается флюид ревности, циркуляция и текучесть которого поддерживается испытующими взглядами, юмористическими комментариями, унижительными сплетнями и ритуализированными конкурентными играми. В этом измерении эрос манифестируется не как дуально-либидозное напряжение между *ego* и *alter*, а как треугольная провокация. Я люблю тебя, меня возбуждает твой прекрасный облик лишь тогда, когда я могу предположить, что тебя любит некто другой и твой прекрасный облик настолько возбуждает его, что он желает обладать тобой. Если Диотима из Мантинеи на философском языке истолковывает сущность эротического как уступку привлекательности блага, то топологическое исследование делает акцент на стимулирующем возбуждении особенным преимуществом, которое хотел бы получить или которым уже обладает ближний, приватизировавший объект любви.³²⁷ Поэтому эротические процессы в группе представляют собой основную форму конкуренции, инициированной имита-

³²⁷
ris, 1961.

См.: *René Girard. Mensonge romantique et vérité romanesque. Pa*

тивным наблюдением за стремлением других к получению бытийных, имущественных и статусных преимуществ.³²⁸ То, что позднее станут называть *common sense*, есть не что иное, как причастность к тревожному климату свободно циркулирующей групповой ревности. Одно из чудес — и оправданий — демократической формы жизни состоит в том, что фундаментальное настроение активной зависти она трансформирует в гражданское чувство и готовность к кооперации, за исключением тех эпизодов, когда — как бы для разрядки — она сама провоцирует конкурентную гонку.

Как только на антропогенном острове перестают господствовать самые архаичные и простые отношения, его обитатели начинают все больше отличаться друг от друга по следующим критериям: по тому, в чем некто больше остальных; по тому, чего у некто больше, чем у остальных; по тому, в чем некто более значим, чем остальные. Следовательно, жизненная мудрость группы предполагает управление ревностью, осуществляющееся в трех измерениях. Если самовозбуждения группы должны удерживаться в жизнеспособном тоне, коллективу следует быть достаточно деликатным в том, что касается его внутренних бытийных, имущественных и статусных различий. Деликатен тот, кто знает, чего ему не следует замечать. Если мы достаточно долго пробудем в эротопе, то заметим предпринимаемые его обитателями тактичные усилия по соблюдению своей индифферентности в отношении незначительных различий — и их добровольную невосприимчивость к значительным. Такая ситуация нередко ассоциировалась с вытеснением; это сознательное молчание о том, что среди нас находится лесной царь.

Тем не менее следует ожидать, что во всех группах фурор ревности — регулярно или от случая к случаю — будет брать верх над деликатностью. В такие моменты

³²⁸ См.: Сферы. Т. II. Гл. 1. Особенно с. 179—190.

желание ограбить и унижить носителей выгодных различий переходит из латентной в явную форму; пробивает час удовлетворения страсти к перераспределению. В полной мере осуществляется, по словам Ницше, «то отвратительное смешение сладострастия и жестокости, которое всегда представлялось мне подлинным "напитком ведьмы"» и которое, как утверждает автор «Рождения трагедии», составляет сущность не укрощенного аполлонической культурой примитивного и неприемлемого дионизизма.³²⁹ Для противодействия этим сколь пугающим, столь и втайне желанным вспышкам аффективной чумы каждый эрототоп нуждается в своей собственной школе правильного желания или, точнее говоря, в некоей морали, служащей для профилактики ярости, вызываемой различиями. Поскольку возбужденный эрос представляет собой влечение к достоинствам позитивно отличенного объекта, эта «любовь» находит свое выражение в стремлении получить определенную часть добычи и — если деление невозможно — в экспроприации владельца. Объектная область этой любви почти в равной степени охватывает сексуальных партнеров, домашнее и земельное имущество, животных и капитал, духовные и телесные достоинства. Из этого первого грубого искусства любви возникает та культура зависти, которую обычно именуют почетным титулом критики.

Первый урок в школе желания дается посредством запретов. Здесь учат необходимому с помощью табу и императива «ты-не-должен». Чем спокойнее владение, тем проще противодействовать эскалации желания. В запрете становится заметным присутствие кого-то третьего, оказавшегося между мной и тобой еще до нашей эмпирической встречи: этот дающий гарантии Третий, во-первых, отрывает меня от моего наивного влечения к достоинствам другого, а во-вторых, запрещает другому демон-

329 *Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe.*
Bd 1. München, 1980. S. 32.

страцию своих исключительных преимуществ.³³⁰ Но поскольку ни запреты, ни табу не способны нейтрализовать завистливое внимание к чужому благу, а, скорее, способствуют фокусации желаний на недоступном, развитые культуры вынуждены переходить к активным мероприятиям по отвлечению интереса людей к объектам их ревности. Это удастся лишь в том случае, если эти объекты заменяются благами более высокого уровня, идеальная природа которых допускает их бесконечное деление и не допускает частной собственности, провоцирующей ревность.

Вздых, вызванный этой эскалацией желаний, до сих пор дает жизнь всему, что имеет какое-либо отношение к духовному. Как на Востоке, так и на Западе этикам высококультурных культур прекрасно известен факт, что по иронии судьбы люди, бьющиеся за хорошее, упускают лучшее. Ангелы, по словам Эмерсона, покидают нас лишь для того, чтобы могли прийти архангелы. Если в XX столетии действительно имело место предательство интеллектуалов, то оно состояло в извращении вышеназванной иронической ситуации. Они начали высмеивать так называемое лучшее, решив не упускать свою собственную порцию обычного хорошего. «Надстройка» — они это понимают! Отныне ареной, на которой разворачивается борьба за распределение дефицитных благ, ста-

330 Понятие *tiers garant* [третий гарант] восходит к Пьеру Лежандру, ставящему это понятие в центр рефлексии о необходимости позитивной передачи норм (он называет ее «догматической антропологией»). В значительной мере «окциденталистическое», патрицентристское учение Лежандра об институтах и нормах, которое можно рассматривать как лаканианский ответ Гелену, естественным образом выливается в критику эпохи, обращенную против характерного для современной цивилизации ослабления функций отца, законодателя, Сверх-Я, символического порядка, всеобщего подчинения норме и дающего гарантии Третьего; этому соответствует тревога, вызванная появлением коммуникативно-консумптивного субъекта, который может все и «не знает никаких границ» (*Pierre Legendre. Sur la question dogmatique en occident. Paris, 1999*). Лежандр логично упрекает коммуникативные теории и дискурсивные этики в том, что они разбазарили «символический капитал человечества» (*Ibid. P. 72*).

новится всё существующее. Большая политика после 1914 года — это универсализация борьбы завистников, не знающая никаких более высоких уровней.

В платонизме видят описанное по всей форме последовательное восхождение от чувственной, пристрастной и полемогенной любви к любви духовной, возвышающейся над всеми пристрастиями, и любви иренической. Стоицизм в своей этике освобождения от множества потребностей также боролся с искушением участия в прозывающей всё и вся захватнической борьбе. К этой моральной атлетике примыкает и христианская монашеская культура. Самая же зрелая форма этики искоренения заинтересованности, несомненно, была достигнута в буддийском учении о привязанностях и их уничтожении с помощью меча просветления. Используя тонкий анализ причинной цепи, ведущей к порождающим страдание фиксациям, буддизм пытается увести хотя бы меньшую часть людей с арены желания и освободить их от ощущения неизбежности утрат и поражений. Не случайно Фридрих Ницше сумел разглядеть в буддизме самую возвышенную форму аффективной гигиены, — тот самый Ницше, к чьему анализу *ressentiment'a* до сих пор практически нечего добавить. Благодаря ему мы знаем, что природа ощущения поражения заключается в связи проигравшего с объектом, с которым он себя сравнивает с неутешительным для себя результатом; травма, вызванная этим сравнением, влечет не находящую удовлетворения потребность в унижении более успешного объекта.

Иудейский Декалог, прежде всего его заключительная заповедь, в более грубой форме, преимуществом которой является ее категоричность, артикулирует правила, сдерживающие опасную конкуренцию, хотя и лишь в ее самых очевидных сексуальных и имущественных аспектах:

«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола

его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исход, 20;17).

В своей конкретности, отражающей жизнь мелких и средних ското- и рабовладельцев за 1000 лет до Рождества Христова и типичные для нее драмы, Десятая заповедь позволяет увидеть в ней попытку сформулировать всеобщее правило укрощения желаний, способствующее снижению напряжений в эрототопе. В этом контексте понятно, почему Рене Жиар отдает новому антропологическому истолкованию Десятой заповеди центральное место в резюме своих исследований эффектов миметической конкуренции.³³¹ Однако в ущерб своему собственному проекту Жиар не уделяет должного внимания тому факту, что некоторые нехристианские культуры в своей терапии желания посредством снижения заинтересованности в дефицитных полемогенных благах и переориентации его на делимые симпатогенные блага продвинулись гораздо дальше, чем религии Декалога; кроме того, он, по всей видимости, не замечает, что в ницшевской критике морали речь никоим образом не идет о возвращении в культуру насилия на почве ревности. Автор «Заратустры» имел в виду синтез достижений буддийской психологии воздержания и детской непосредственности игрового соперничества — с целью детоксикации староевропейского эрототопа путем поворота к этике великодушия.³³² Мы сможем получить представление о масштабе этой попытки, если примем во внимание, что эксперимент

331 *René Girard. Je vois Satan tomber comme l'éclair. Paris, 1999; нем. изд.: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kritische Apologie des Christentums. München, 2002.*

332 Жиар сближается с Ницше, признавая его громадные заслуги как диагноста конститутивной ревности, однако не добирается до духовной сердцевины ницшевской этики дара и возвращается к таким привычным теологическим клише, как «неоязычество» (*Ibid.* P. 263—279). Следует признать, что имманентный риск этического проекта Ницше, связанный с комбинацией снижения интереса и новой заинтересованности в рамках морали поливалентного типа, еще никогда не был адекватно реконструирован.

современности, в той мере, в какой он затрагивает отношения потребления и конкуренции, привел к почти полной дерегуляции эрототопа. Ни в одной прежней социальной формации систематическое возбуждение желания всего, чем обладают другие, не было столь явным образом включено в мотивацию поведения. В обществе потребления огни ревности³³³ подсоединены к похожим на электростанции энергетическим установкам. Демократические политические системы также целиком и полностью ориентированы на высвобождения недоверия всех ко всем. Еще в 1798 году в «Kentucky Resolutions»* * Томас Джефферсон констатировал: «Свободное правительство зиждется на ревности, а не на доверии». Если бы теория культуры могла сформулировать вопрос, обращенный к XXI веку, то это был бы вопрос о том, каким образом современность намеревается поставить под контроль свой эксперимент с глобализацией ревности.

6. ЭРГОТОП — СООБЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И БОРЮЩИЕСЯ ЦАРСТВА

Пространство, в котором кооперативно распределяются нагрузки, связанные с решением общих задач, мы называем эрготопом; его обитатели, эрготопийцы, объединяются в сообщества совместного напряжения. Описание их деятельности отражает жизнь взрослых (*èrga kai hémèra*), хронику трудов и дней людей, которые не могут существовать, ничем себя не утруждая. Призвание к необходимым коллективным работам осуществляется сначала семейным, неформально-тоталитарным образом, в силу ситуативной очевидности и диктата традиции, позднее — посредством ритуалов инициации, профессиональных требований, статусных ограничений; еще позднее за включение в эрготоп отвечают подневольный труд, соот-

333René Girard. *Shakespeare ou les feux de l'envie*. Paris, 1990.

* «Кентуккийские резолюции» (англ.).



Сотрудники японского филиала «Кока-колы» во время выполнения каллистенических упражнений.

ветствующие эдикты и службы; наконец, нас напрягают *mission statements** и директивы общественного мнения.

В этом горизонте группы становятся коммунами — то есть единствами, интегрированными общими *munera*. Эрготоп образует пространство, в котором совместно живущие ощущают себя пребывающими в окружении долгов и обязанностей — вплоть до призыва на совместную войну с внешним врагом в качестве эталона и предельного значения всякой кооперации (кто не включен в эти отношения, тот в точном смысле слова *immun*: избавлен от обязанностей, трудов, свободен для других приоритетов).

В радикализованных эрготопических ситуациях мы можем обнаружить себя прикованными к галерным веслам, обреченными поддерживать заранее заданный ритм.

* Миссионерские заявления (англ.).

Мы изнемогаем в каменоломнях, в рудниках, на каторге, в трудовых лагерях смерти. В другие времена мы — добровольные кооператоры, в едином порыве занятые общим делом: строители соборов, сражающиеся за свободу партизаны, крестonosцы, финалисты. Сплотила ли нас нужда или связала окрыляющая цель — мы, пока сохраняется поле нашего совместного напряжения, остаемся работниками в винограднике *communitas*. Пример с галерными веслами поучителен, поскольку он способен пояснить концепцию ритмического социализма, при котором социальный синтез осуществляется посредством синхронизированных движений. Таким образом совместный труд организуется как синергия синфазно работающих мускульных систем. Каждый прикованный к веслу арее-тант — безвестный герой труда.

Возникнув из архаичной традиции групповых танцев, простые и в то же время разнообразные обычаи и церемонии совершенствуются в рамках высокоразвитых культур, чтобы поддерживать монотонные движения в группах и массах. В своем исследовании «Танец и муштра в человеческой истории» американский историк Уильям Мак-Нил описал различные формы «мускульной *bonding** **, ритуальной и военной кооперации, способные порождать *esprit de corps*** в гетерогенных составных функциональных сообществах.³³⁴ С помощью этих ритмических *bonding*-техник активизируются очаги возбуждения групповой эйфории. Уже давно люди открыли, что ритмичность напряжения воспринимается как облегчение и что совместное ритмичное усилие отодвигает момент исчерпания сил. Для повышения скорости на марше римские войска по македонскому образцу отмечали свои шаги громким скандированием. Разумеется, механический такт представляет собой лишь эрзац-форму

334 w. McNeill. *Keeping Together in Time. Dance and Drill in Human History*. Cambridge (Mass.), 1995.

* Связь (англ.).

** Корпоративный дух (фр.).



Военная муштра солдат с мушкетами.

общего воодушевления, вызываемого танцем. Там, где нельзя предполагать наличия добровольного коллективного энтузиазма, — например, у рабов на полях хозяев и имперских стройках или у насильно рекрутированных солдат армий Нового времени — вожди в качестве своего рода протеза консенсуса используют ритмическую муштру; к этому приему восходят истоки невольничьей и военной музыки. Еще Платон в «Законах» говорил о консенсусе мускулов и не желал оставлять в компетенции елащавых софистов или тональных демагогов тональности и ритмы, имеющие хождение в государстве. Греческие полководцы достаточно рано осознали роль флейт для акустической интеграции фаланги; они исходили из того, что войско образует единое целое не только как живая стена из щитов, но и как самостоятельный подвижный фонотоп — как если бы армия была неким *war parade*,** экстатически развертывающимся на местности. Хореографическое искусство хранит воспоминание о том, что хоры первоначально представляли собой подвижные группы под единым руководством.³³⁵ Последовательное осуществление единства процедуры и консенсуса в современную эпоху восходит к военной школе Морица Оранского, начавшего с 1590 года превращать голландские наемные войска в синхронизированные боевые машины, ставшие образцовыми для всего передового военного искусства Европы и Азии. В базирующихся на армии политических системах Нового времени муштра становится подлинной школой нации.

Когда напряжение перестает быть групповым и становится делом отдельных индивидов, возникает атле-

335 Ср. ошибочное толкование муштры у Зигфрида Кракауэра: *Siegfried Kracauer. Das Ornament der Masse. Frankfurt, 1963.* Принадлежащая Кракауэру «критическая теория» современного балета как эманы капиталистического приспособленчества обнаруживает типичное соединение историко-антропологической некомпетентности и глубоко-герменевтической претенциозности.

* Военный парад (англ.).

тизм. Самые первые атлеты, появившиеся на заре высоко-развитой культуры, превращаются в экспертов по особому рода напряжениям, на которые способны лишь специально тренированные люди.³³⁶ Смысл напряжения и его место в реальности очевидным образом меняется: когда соперники встречаются лицом к лицу, речь уже не идет о необходимой общей деятельности на благо их группы; спортивный агон — это и не война, и не жатва, и не строительство стены. В их действиях на первый план выступает зрелищный аспект и стремление превзойти соперника, хотя города (точно так же, как современные нации) нередко рассматривают своих атлетов как своего рода делегатов и интерпретируют их успехи как события коллективного значения. Это возможно, поскольку античная, а именно раннеиндивидуалистическая культура греков с ее понятием *ponos*,* придающего достоинство и формирующего мужчину, пришла к абстрактной концепции напряжения вообще, напряжения *sans phrase*.** Тем самым осуществляется разделение эрготопического коллектива на обремененных нагрузкой борцов и освобожденных от нее зрителей; и те и другие, хотя и каждый из своей перспективы, причастны *philoponia*, любви к усилию.

Атлетизм переносит принцип театра на телесное упражнение и тем самым создает цивилизационную альтернативу военной форме стресс-менеджмента. Атлеты — первые симулянты случаев реальной опасности. Вне всякого сомнения, изобретение война-актера относится к самым ценным цивилизационным достижениям европейской античности. Когда в 1896 году состоялись Олимпийские игры современности, ренессанс античного, начавшийся в XIV столетии, вступил в свою примечательным образом запоздавшую массово-культурную

³³⁶ См.: *Ingeniar Weiler. Der Sport bei den Völkern der Alten Welt. Darmstadt, 1981.*

* Труд (греч.).

** Без слов {фр.}.

фазу, разделившись на греческий и римский путь.³³⁷ Тем не менее цивилизующая симуляция войны на олимпийских спортивных сооружениях оказалась не способной предотвратить реальные войны — ни региональные, ни так называемые мировые. В XX веке спорт — на стадионах и не только — нередко становился столь ожесточенным, словно он не отвлекает от по-настоящему опасных боевых действий, а открывает их второй фронт, и это еще одно подчинение Греции римскому диктату, на этот раз в виде победы арены над стадионом.

В эрготопе господствует социальный синтез посредством стресса. Поэтому тайна единства находящихся под общим напряжением групп состоит в их способности не распадаться в условиях высочайших нагрузок. Мы можем утверждать, что экспликация этой ситуации представляет собой одно из ключевых событий в современных науках о культуре. Оно неразрывно связано с работой Хайнера Мюльманна «Природа культур»³³⁸ и с принадлежащим Безону Брокку анализом циркулярной взаимосвязи культуры и войны. Ядро теории культуры Мюльманна составляет радикально эрготопическая и эргономическая интерпретация социальной связи, осуществляемая им с помощью сложного термина *maximal-stress-cooperation** (MSC). Согласно этой теории, группа превращается в эффективно выживающую единицу благодаря способности к синхронизации своих напряжений в ситуациях «все-или-ничего» *alias* «случаях крайней опасности».

Обозначение моментов экстраординарного стресса как случаев крайней опасности или чрезвычайных положений не означает использования секуляризованных теологических понятий, как вслед за своим учителем повторяют последователи Карла Шмитта. Чрезвычайное

337 Об архитектурных формах массово-культурного ренессанса см. ниже Главу 2, раздел С.

338 Heiner Mühlmann. Die Natur der Kulturen. Eine kulturgene-tische Theorie. Heidelberg; New York, 1996.

* Кооперация в условиях максимального стресса (англ.).

положение — это не секуляризованная форма чуда, а политизированная форма биологической стандартной ситуации, на которую тело примата — а следовательно, и человека — отвечает с помощью врожденной, эндокринологически регулируемой программы предельного высвобождения энергии и синтонической солидаризации. Его наличие устанавливается посредством определенной когнитивной схемы, решения по поводу случая крайней опасности. Поскольку эта схема содержит определенный интеллектуальный и моральный аспект, она подвержена культурной модификации. Следовательно, стресс не означает окончательного решения участи — невозмутимость перед лицом опасности является специфической возможностью человека. Она подразумевает освобождение от мобилизации в случае мнимой угрозы и предотвращение преждевременного и ненужного вовлечения в ситуацию борьбы. Уже древние учебники стратегии, например китайского полководца-софиста Сун-цзы, включают в учение о правильном ведении войны добродетель, заключающуюся в умении уклоняться от битвы. На Западе можно вспомнить римского военачальника Фабия Кунктатора, считавшего, что разумный человек даже в условиях близкой опасности способен избегать смертельных загрузок стрессовых программ.

Если человеческий разум, подобно интеллекту их предшественников-животных, истолковывает определенные угрозы как реальные и действительные поводы для экстраординарных эмотивно-телесных ответов, то это отнюдь не означает нарушения нормы тем чудом, о котором говорят теологи и специалисты по эстетике возвышенного. В соответствии с эволюционными особенностями интеллекта животных и древнейших людей существующая опасность оценивается в ключе своего рода онтологии случаев крайней необходимости: ситуация интерпретируется как нарушение обещавшего быть продолжительным покоем обострившейся угрозой. Глубинная биологическая укорененность реакции на мощный стресс дока-

зывает, что экстраординарное есть эволюционировавшее обыкновенное. Хотя чрезвычайное положение присутствует в человеческом теле как своего рода врожденное ожидание, его введение тем не менее инициируется решением о случае крайней опасности, исходящем из некоего командного пункта. В этом смысле уже животные являются онтологами. Вожак — это тот, кто принимает решение о введении чрезвычайного положения; обращаясь в бегство, он — предварительно проделав это с самим собой — переключает в остальных животных «энергетический рубильник»³³⁹ и этим жестом возвещает о наступлении случая применения категорического императива адреналовой системы: теперь все вперед! В такой ситуации максимально действительное дано в его реальном присутствии. Ты противостояешь своей опасности, своему потенциальному убийце, своему Богу и стрессору. Кто этого не знает, не имеет понятия о том, что означает действие в пограничной ситуации.

Эрготопическая производственная тайна «культур» состоит — как показывает Мюльманн в своей изобретательной, сильно формализованной реконструкции — в закономерностях избавления от коллективного стресса. Простая группа в течение по меньшей мере трехфазного процесса преобразуется в субъект высокоразвитой культуры со своим специфическим территориальным, темпоральным или имперским проектом.³⁴⁰ В дострессовой фазе группы развиваются в кооперирующиеся единства с высоким уровнем различий между внутренним и внешним — причем, согласно выводам Мюльманна, прежде всего благодаря самообучающим, самоутешающим, само-

³³⁹ *ibid.* s. 39.

³⁴⁰ Из пяти фаз схемы Мюльманна мы весьма схематично опишем лишь три первые: локальные правила, стресс, релаксацию. Четвертую и пятую фазы Мюльманн называет итерацией и дегенерацией; рассмотрение последней включает в себя интересную новую интерпретацию эффекта фашизма как распространения хулиганства на уровне государства.

возвышающим коммуникациям, объединяемым им под рубрикой «предписания для посвященных». Косвенным образом мы уже неоднократно говорили о них, ибо несложно понять, что некоторые из прежде рассматривавшихся нами измерений человеческой инсуляции, в первую очередь фонотопическое, утеротопическое и термотопическое пространства, тесно связаны с позитивной дискриминацией Мы-группы: все они усиливают склонность совместно живущих к кооперативной сплоченности. Достаточно часто из этой интроверсии культурной группы возникает не слишком симпатичная смесь из хвастовства, претензии на собственную исключительность и агрессии — Мюльманн не боится назвать ее почти нормальной. С его точки зрения симпатичные культуры, то есть группы с высоким цивилизационным фактором, скорее редки, тогда как средняя антропологическая единица отличается «завистливым, параноидальным и агрессивным»³⁴¹ поведением. В 30-е годы эта данность была проанализирована дезиционистски ориентированными теоретиками права. Их политическая полемология гласила: поскольку человек по природе зол, он нуждается в господстве; поскольку господство может осуществляться лишь в герметичной, защищающей от внешнего политической капсуле, война между капсулами неизбежна в силу самой природы вещей. «Тенденция к замкнутости (а тем самым разделению человечества на группировки друзей и врагов) присуща человеческой природе; в этом смысле она есть *судьба*».³⁴² Можно резюмировать, что паранойя есть чрезвычайная ситуация *sensus communis*. Общее чувство такого типа возникает в политических капсулах благодаря коллективному ощущению собственного превосходства над врагом — и подчинения группы

341 Heiner Mühlmann. Die Ökologie der Kulturen // Kunst und Krieg / Hrg. von Bazon Brock, Gerlinde Koschig. München, 2002. S. 52.

342 Лео Штраус, письмо Карлу Шмитту от 4 сентября 1932 г.; см.: Heinrich Meier. Carl Schmitt, Leo Strauss und der «Begriff der Politischen». Dialog unter Abwesenden. Stuttgart, 1988. S. 133.

власти эффекта вражды. Враг — это то, что инстинктивно признается предметом необходимой неприязни и неизбежного подавления.³⁴³

В фазе кульминации стресса группа вливается в некое гипертело, в котором командование переходит к врожденной и усиленной воспитанием психомеханике жизненно важной кооперации. В условиях крайней опасности для «культуры» пробивает час истины — точнее, приходит время для осуществления обратной связи с природным механизмом. Мы могли бы сказать, что ситуация крайней опасности есть подлинная цель культуры, благодаря ей аутоцентризм группы исполняет свое предназначение: помогает ей утвердить себя самое в качестве объекта собственного предпочтения. В этом пункте натуралистическая теория культур способна существенным образом просветить нас. Она демонстрирует: для динамики культурной группы едва ли имеет значение различие, атакуется популяция реальным агрессором или же стрессор воображается внутри нее и проецируется на реальное. Как в первом, так и во втором случае эффект реальности один и тот же. Таким образом, хотя на стороне того, кто отождествляет реальность с неизбежностью войны, и находится значительная часть опыта, он, однако, оказывается во власти некоего непостижимого механизма, поскольку между реализмом и милитаризмом существует регулярная связь: в силу своей онтологической ориентации на военную кооперацию в условиях максимального стресса «культуры» во все исторические эпохи функционируют как инициаторы собственной реакции на максимальный стресс. Они сами продуцируют реальность, в которую ве-

343 См.: *Иммануил Кант*. Критика способности суждения. § 22.

Из этого следует систематическая дефиниция пропаганды: она есть метод производства той основывающейся на неприязни паранойи, которая используется для стабилизации групп, кооперирующихся на базисе войны; кроме того, отсюда вытекает дефиниция функций стратегического консультанта: они состоят в осуществляемой ангажированными Интеллектуалами метапараноидной работе по производству необходимой для войны паранойи первого порядка.

рят, и верят в реальность, которую порождают. Они не понимают ни природу веры, ни природу культур.³⁴⁴

Как показали Брок и Мюльманн, чтобы поставить механику под контроль, необходима цивилизационная инициатива к приручению культур, основывающаяся на понимании эксплицированной «природы культур» (в условиях начинающегося XXI века эксплицировать культуру означает: приступить к фундаментальной критике героизма и раскрыть способы функционирования параноогенного «Мы»). В результате этой экспликации мы сможем понять, почему в интеракциях героических систем на первый план выходит интерпаранойя. Поэтому в эпоху повышенной частоты столкновений при интерпараноидальных контактах война во всех отношениях утверждается в качестве центральной культурной цели народов — как бы мы ни называли агрессивно-оборонительные системы комфорта, стремящиеся сохраниться в качестве своего рода политических коконов.

В постстрессовую фазу падения напряжения происходит оценка добытого благодаря военному стрессу опыта борющейся популяции и — в зависимости от результатов этой самооценки и оценки стресса — проверка правил, с помощью которых организуется жизнь группы по окончании борьбы. Послевоенные ситуации приобретают конститутивное культурное значение. В них в свете снижения напряжения (Мюльманн говорит о тени стресса) декорум, система надлежащего поведения, речи и оперирования образами, в условиях которой формируется жизнь группы, коренным образом перенастраивается. Упрощая, можно сказать, что у выигравших вырабатывается декорум победителей, посредством героического культа способствующий усилению ведущих к успеху качеств группы (его образцовым воплощением являются

³⁴⁴ о неогоббезианском военном символе веры новейшего времени см.: *Robert D. Kaplan. Warrior Politics. Why Leadership Demands a Pagan Ethos.* New York, 2003.

римские триумфальные ритуалы и их проекция на имперские массовые культуры вплоть до нью-йоркских конфетти-парадов), тогда как на противоположном полюсе формируется декорум побежденных — у «плохих побежденных» как работа над подготовкой реванша (придет время нанести ответный удар), у «хороших побежденных» как этика восстановления и осмысления причин поражения (необходимо стать другими). Добродетель побежденных — надежда, находящаяся посередине между смирением и мстью, — временами может приобретать столь наступательный облик, что она просачивается в декорум победителей (эффект, без которого было бы трудно представить себе превращение христианства в имперскую религию), ибо что такое империя, как в первую очередь не система интеграции побежденных? Великодушие по отношению к проигравшим является императивом расцвета действительно великих империй — неудивительно, что этот рецепт (пресловутое *parcere subiectis*³⁴⁵ Вергилия) охотно мистифицируется имперскими идеологами в качестве «универсализма».³⁴⁶ Часто комментируемое различие между Римом и Иерусалимом подразумевает напряженное сосуществование в рамках западной цивилизации пригодных для использования обеими сторонами декорумов победителей и побежденных (другое описание этой ситуации могло бы гласить, что универсальность христианства состояла в предложении общности по ту сторону победы и поражения). После окончания Второй мировой войны это основополагающее для всех традиционных культур различие между правилами победителей и правилами побежденных преобразуется в многознач-

³⁴⁵ См. ниже с. 464.

³⁴⁶ Там, где принцип тактического господства созревает до явной формы, возникает концепция *soft power* [мягкой силы]; см.: *Joseph Nye, jr. Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York, 1990. Таким образом, речь идет не о всеобщей инклюзии, а об инклюзии согласных и пригодных. О феномене имперского парциального универсализма см. ниже Главу 3, раздел 9.

ные синтезы; прежде всего в Германии и Израиле (а отчасти и в Японии) развились формы своего рода гибридного декорума для победивших побежденных или побежденных победителей, для которого едва ли сыщутся исторические прецеденты, — и нельзя сказать, что любители понятных ситуаций останутся ими довольны.

Адаптация к постстрессовым правилам иногда принимает форму возвращения к гражданской и приватной жизни; тогда у индивидов на какое-то время устанавливается решение, гласящее, что правило более не должно исходить от коллектива. Эту ситуацию можно наблюдать прежде всего в достигших длительного умиротворения империях — уже в античных философских школах вырабатывается индивидуалистический эффект, расцветший в имперском покое Рима. В консультировании просвещенных побежденных особенно преуспел добившийся широкой популярности стоицизм, учивший своих адептов во всем подмечать различие между тем, что от нас зависит, и тем, что от нас не зависит. В современную эпоху этот феномен воспроизводится в форме экзистенциальной философии и философии жизни, цивилизационный смысл которых можно понять с помощью идейно-исторического сравнения: как в одном, так и в другом случае речь идет о заботе по отношению к побежденным в тех исторических условиях, когда невозможна мысль о реванше. Европейская философия в период между 1806 и 1968 годами в своей значительной части может быть понята лишь в том случае, если мы рассмотрим ее в качестве продолжительной адаптации декорума побежденных к обстоятельствам времени. То, что со времен разгрома Пруссии Наполеоном называется духом времени, по сути дела представляет собой постоянную актуализацию лечебных методов, которые предназначены для публики, состоящей из проигравших. Поскольку эта задача каждое последующее десятилетие решается с помощью новых средств, духи времени сменяют друг друга подобно терапевтическим методам. В сущности, «терапевтическое об-

щество» возникает уже вместе с романтическим — снизу и изнутри — обращением к природе как к грядущему Богу. Одного взгляда на литературу эпохи достаточно, чтобы понять, насколько сильна была потребность в нем после Йены и Ауэрштедта. С этой точки зрения романтизм был прелюдией к экзистенциализму. Поскольку экзистенциалисты отождествляли человеческое бытие с осознанным крахом, они смогли предложить побежденным и деклассированным всех мастей формулу суверенитета в условиях поражения.

В конце XX века декорум подвергся особенно радикальным улучшениям, поскольку самое всеобъемлющее на тот момент (после буддизма, стоицизма и христианства) предложение по удовлетворению проигравших оказалось снятым с повестки дня. После коллапса социализма, желавшего превратить проигравших всей прежней истории в победителей будущего, возникла необходимость в разработке какого-то совершенно нового модуса достойного поражения. Если республиканская гордость Шарля Пеги была израсходована на переживаемые в победе поражения (*nous sommes des victorieux vaincus**), если лево-радикальный *lotta-continua***-QOWI&HTVISM исчерпал себя, если воинствующая мораль маргиналов *il faut continuer**** в лучшем случае ведет к еще более веселым беккетовским инсценировкам и если диагностированный Лаканом «нарциссизм при утраченном предмете» постоянно теряет свою инфекционную силу, то это означает, что должны быть установлены некие новые стандарты для эпохи после заката иллюзий левого радикализма. Еще не сформулированы обязательные правила для посткоммунистического декорума, однако кажется, что (параллельно с массовым переходом в либерально-капиталистический лагерь) некоторые переиздания «философии

* Мы вновь победившие поражение (фр.).

** *Lotta Continua* — экстремистская левая группировка в Италии, созданная в 1969 году.

*** Жизнь продолжается (фр.).

как искусства жизни» выполняют определенную часть эпохальных задач. Как во времена Зенона и Эпикура, вести рассудительную жизнь означает вступать в безысходность с высоко поднятой головой. В результате в учебной программе появляются такие выражения, как «искусство смирения».³⁴⁷ В терапевтических субкультурах люди посвящают себя заботе о «человеческом потенциале», который строго ограждается от гражданских и политических амбиций. Другие группы, особенно академические *tanqués*,* реформатируют свою маргинализацию в счастливую безработицу; они рекламируют свои неудачи как поражения в своего рода герилье, продолжающей тлеть в подполье: тот, кто говорит о победе, обманывает самого себя. Предложения такого рода резюмируются в рекомендации умерить собственные смысловые ожидания, чтобы избежать депрессии от несбывшихся надежд. В остальном же заинтересованным лицам остается бесплатное удовольствие в очередной раз заняться деконструкцией так называемого победителя — субъекта; героя, мужчины, автора.

Во всех бурных и смелых синтезах Зенона, Спинозы, Кьеркегора и Ницше, изменяющих горизонт постмодерна, верным является то, что по отдельности ни культуры победителей, ни культуры побежденных не будут состоянием своими собственными средствами⁷ выстроить учебные процессы, достойные долговременной¹ традиции. Лишь некая по-новому организованная цивилизация по ту сторону победы и поражения была бы способна виртуализировать реакцию на мощные стрессы и онтологическую ярость, характерную для ситуаций крайней опасности, чтобы культивировать их в спортивных *quasi*-боевых действиях. Она почти во всем противоречила бы

347 См.: *Franz Joseph Wetz. Die Kunst der Resignation. Stuttgart, 2000*; в другой работе (*Daniel Bensaid. Le pari mélancolique. Métamorphose de la politique et politique de la métamorphose. Paris, 1997. P. 236*) речь идет о «камерной музыке смирения» и о *micromorales* [микроморалах].

* Неудачники (*фр.*).

тому, что может сказать современная индустрия победных фантазий так называемой глобализации.³⁴⁸ Она самым резким образом контрастировала бы с философией силы американских неоконсерваторов, которые после 11 сентября 2001 года, приложив руку к раненому сердцу, благословили появление на свет своего рода фашизма добра.³⁴⁹ Философское обоснование отказа от традиционной логики стресса и ситуации крайней опасности лаконично дал Безон Брок в теореме об исключенной ситуации крайней опасности: в возникающей мировой политической культуре заинтересованность в не-наступлении ситуации крайней опасности является более первичной, реальной, обязательной, чем все то, что традиционно считалось первичным, реальным, обязательным. Действительное сообщество совместного напряжения отныне состоит из обучающихся людей различных культур, которые заняты не столько высвобождением энергии для борьбы между своими группами, сколько предотвращением ситуаций, требующих такого высвобождения.

7. АЛЕТОТОП — РЕСПУБЛИКИ ЗНАНИЙ

Неудивительно, что антропологический остров представляет собой место, обитателям которого открыт свет над миром и пребывающими в нем ими самими. Он —

³⁴⁸ Для знакомства с философской критикой стандартных дискурсов о глобализации см.: *Jaques Derrida. Marx' Gespenster. Der verschuldete Staat, die Trauerarbeit und die neue Internationale.* Frankfurt, 1995; *Jean-Luc Nancy. La création du monde ou la mondialisation.* Paris, 2002; *Kostas Axelos. La question de la technique planétaire // Kostas Axelos. Ce questionnement. Approche — éloignement.* 2001. S. 15—35; *Peter Sloterdijk. Weltinnenraum des Kapitals. Zu einer philosophischen Geschichte der terrestrischen Globalisierung.* Frankfurt, 2005.

³⁴⁹ Здесь напрашиваются параллели с «консервативной революцией» 20—30-х годов в Германии; она также основывалась, среди прочего, на мысленной фигуре «самоустранения либерализма» в условиях навязанного врагом чрезвычайного положения. См.: *Ian Vazuma. Revolution from Above* (рецензия на книгу Пола Бермана «Террор и либерализм») // *New York Review of Books.* 26 April. 2003.

территория, где многим вещам не удается остаться скрытыми, несмотря на Гераклита, который своим лаконичным *phýsis kriptesthai phílei* («природа предпочитает оставаться сокрытой») указал на решающий аспект в изначальном распределении скрытого и очевидного. Мир — это освещенное пространство, поэтому обитателям бытийного острова уже достаточно рано становится понятным их положение. Но для них также очевидно, что освещено отнюдь не все. Вероятно, — нет, несомненно, — лишь мельчайшая частица всего существующего открыта актуальному знанию и восприятию. Светлая сфера, в которую мы приходим, представляет собой световое пятно посреди кольца неизвестного, неявного, несказанного, немислимого. По убеждению древних, в этом недоступном таится нечто онтологически существенное, и его исследование станет важным для мудрецов, этих наших зловещих соседей по сфере. Восприимчивость людей к истине развивается из той интуиции, что между освещенной и затемненной бытийными областями возникает некое с трудом улавливаемое пограничное сообщение.

В сущности, есть два наблюдения, способные дать представление о сущности истины: в определенное время нечто новое приходит из объемлющего неведомого в осознанное и высказанное; и наоборот, из ставшего известным нечто возвращается в забвение (*léthe*), импликацию. Следовательно, истина не есть ни твердое наличие ситуаций, ни простое свойство предложений, а представляет собой прибытие и убытие, актуальное тематическое освещение и погружение в атематическую ночь. Пока середина между ними, мнимо вечно-тождественное и присутствующее, привязывает к себе все внимание, динамический аспект события истины не может попасть в поле зрения. Необходимый поворот взгляда к темпоральности истины совершили лишь такие мыслители, как Гегель и в еще большей мере Хайдеггер, — причем в данном случае не так уж важно, с насколько удовлетворительными результатами.

С прагматической точки зрения чувствительность людей к различию между истинным и ложным связана с тем опытом, что броски и прыжки могут быть либо удачными, либо неудачными и неточными. Поэтому сказать, что люди зависят от успеха своих бросков и прыжков, означает не что иное, как заявить, что их затрагивает ценность истины, — и это уже на биологическом уровне. Меткость бросков; и достоверность высказываний с самого начала обладают жизненной важностью, поэтому на острове метателей и ораторов «истина» должна была охраняться как ценнейшее благо. Пограничное сообщение между светлым-открытым и темным-скрытым возникло благодаря событиям, которые «наступают», происходят и наводят на размышления. Различие же между истинными и ложными предложениями коренится в действиях, которые завершаются успешно (точно, подобающе, убедительно) или неудачно (неточно, неподобающе, неубедительно). Таким образом, зримый мир с самого начала дан двумя различными способами: во-первых, как связь действий, которые мы совершаем, и во-вторых, как взаимосвязь событий, которые нас затрагивают. Двойной смысл истины как раскрывания в событии или результате (в «годится» при удачной попытке) и как высказывания в апофантической речи столь же древен, как и сам человеческий остров.

Мы называем то место, в котором вещи становятся очевидными, а также доступными для выражения в речи и образах, алетотопом. Пребывание в нем сопряжено с риском пострадать как от истин, которые обнаруживаются, постигаются и сохраняют значимость, так и от заблуждений, которые лишь позднее распознаются в качестве таковых и продолжают грозить своим повторением. В первом отношении алетотоп можно уподобить хранилищу, во втором — лобному месту или свалке. В хранилище накапливается то, что сберегают, — не случайно немецкое слово *Wahrheit* (истина) связано с такими понятиями, как забота, присмотр, охрана, защита, ожидание.

Тогда как — на лобном месте или свалке — исключается то, что группа не может и не желает сохранять у себя, поскольку оно зловредно, порочно, непригодно и ничтожно. Истинно то, что хранят для повторного использования. Образ хранилища вызывает следующую ассоциацию: истины, прежде чем стать предметом накопления и сбережения, должны быть собраны в ходе некоей первоначальной жатвы, что весьма созвучно хайдеггеровскому указанию на восходящий к земледелию смысл греческого глагола *légein* (жать, собирать, срывать плоды), из субстантивации которого, *lógos*, возникает староевропейское понятие разума и дискурса. В этом отношении алетотоп как поле возделывания истины и место накопления знаний представляет собой подлинную арену человеческой открытости миру (ко всему прочему, из этого несложно понять, почему современные запоминающие устройства лишь маргинальным образом связаны с человеческими отношениями: в них, как и во всех крупных архивах, осуществляются бессубъектные накопления — сбор информации ни для кого).

Тот, кто живет на человеческом острове, *ipso facto* становится пастырем просвета, причем на первых порах не столь уж важно, внимательным или рассеянным. Хайдеггер, как известно, чрезмерно настойчиво подчеркивал различие между хорошими и плохими пастырями, тогда как с разницей между теми, кто охраняет поля, и теми, кто их расширяет, можно даже сказать, между сторожами и завоевателями (или мыслителями и исследователями), обходился как с чем-то, не заслуживающим серьезного внимания. Но какой бы полюс, пастырский или исследовательский, мы ни предпочитали, несомненно одно: отношение людей к истине и истинам невозможно обойти, ибо аффицированность событием истины и его языковыми играми коренится в *genius loci*.* Как место, где «оно происходит», где «оно обнаруживается», где «оно

* Гений места (лат.).

оказывается», где «кто-то его высказывает», где «ему позволено быть сказанным», где сказанное не может превратиться в несказанное, где знакомое и открытое фиксируется и транслируется дальше (и в котором в то же время многое — возможно, почти все — остается латентным и невысказанным), алетотоп вводит своих обитателей в собственный светло-мрак и заставляет держаться истинного. Надежно узнанное требует сохранения, тогда как неопределенное, неоткрытое, быть может, грядущее излучает неверный свет и вынуждает к осмотрительности.

Одной из самых общих характеристик человеческого острова является достаточно раннее деление его обитателей на тех, кто глубоко затронут напряжениями истины, и тех, кто стремится избегать когнитивных стрессовых ситуаций. Из этого деления развивается почти универсальная дифференциация групп на экспертов, оказывающихся лично связанными с тяжело дающимися истинами, благодаря тому что они, отчасти на свой страх и риск, отчасти рядясь в одежды магов или ученых, накапливают знание о скрытом, прошлом и будущем, и на профанов, которые способны довольствоваться очевидностями первого порядка, коллективно накопленными опытом и мнениями, то есть идолами рода. К первым относятся такие фигуры, как шаманы, жрецы, пророки, провидцы, писцы, философы и ученые; ко вторым — рядовые члены племени, неграмотные, пациенты, верующие, эмпирики, неспециалисты, читатели газет и зрители телевизионных ток-шоу. Нет такого «общества», такого «народа», такой «культуры», которые по крайней мере в зачатках развили бы в себе черты своего рода двухпалатной системы доступа к истине; ее первым элементом является, так сказать, *House of Common Knowledge** с обычными знающими в качестве членов, вторым — *House of Cognitive Lords*,** где заседают более знающие, маги, эксперты и

* Палата общин знания (англ.).

** Палата лордов познания (англ.).

профессора. С момента возникновения так называемых высокоразвитых культур этот порядок воплощался в институтах, служивших для проведения различия между знающими и профанами как между двумя народами внутри одной и той же популяции. Среди прочего, это объясняется тем обстоятельством, что высокоразвитая и письменная культуры во многих отношениях являются синонимами; в первые три тысячелетия существования искусства письменности монополия немногих на письмо и неграмотность большинства воспринимались как вечные константы. После распространения всеобщей грамотности культуры, как и искусства, вновь разделяются на *high** и *low*** Еще на заре европейского Нового времени, когда Фрэнсис Бэкон сформулировал программу пытливого и прогрессивного «общества», был заложен памятник алетотопической дихотомии: в образцовом государстве «Новой Атлантиды» также имеется верхняя палата знания, элитарный университет, посвященный чистому прогрессу и именуемый Домом Соломона; члены этой палаты, словно рыцари некоего когнитивного ордена, обязаны хранить полнейшее молчание в отношении не подлежащих обнародованию знаний.³⁵⁰

В этих условиях доступ к менее доступным истинам становится уделом экспертов — более того, экспертное сообщество агрессивно отделяет себя от коммуны обычных знающих и учреждает своеобразную аристократию. Высокомерие пишущих — один из важнейших фактов истории цивилизации. Оно заходит настолько далеко, что некоторые империи мысленно устанавливали антропологическое различие, отделяющее знающих от простых смертных, почти столь же резко, как видовое различие отделяет человека от высших животных. Достаточно вспомнить некоторые мифы о рождении героев мудро-

350 *Francis Bacon. Neu-Atlantis (1624). Stuttgart, 1962. S. 27 f., 43 f., bes. 56.*

* **Высокий (англ.).**

** **Низкий (англ.).**

сти (Будды Гаутамы, Лао-цзы, Иисуса) и исторические сообщения о культуре великих умов (Пифагора, Платона, Конфуция, Ньютона, Гёте), чтобы убедиться в наличии этой пропасти и ее решающей роли в коллективном пространстве истины. Для всех древнейших этноэпистемических порядков различие между мудрецом и неразумной массой является почти таким же жестким, каким в теократиях является различие между богом-царем и его подданными, а в религиозных культурах различие между непорочно чистым святым и отвратительно, грязным народом. Во фрагментах Гераклита презрение знающего по отношению к незнающим звучит громче, чем в любой строке Гегеля или Ницше. Образцами для жреца Аполлона из Эфеса были, -пожалуй, >и вавилонские жрецы-астрономы, проводившие ночи на башнях в наблюдении за созвездиями; не исключено, что у-них зарождается гордый *ressentiment* бодрствующих в отношении спящей массы — аффект, следы которого заметны и в Новом Завете, и в христианской монашеской культуре, и в реалиях сталинской эры (во время Второй мировой войны жители Москвы утешали себя мыслью, что в кабинете Сталина глубоко за полночь все еще горит свет). Платоническое смягчение надменности мудрых, превращающее ее в стремление к мудрости, и стоическая ориентация на идеал, к которому можно приблизиться лишь с помощью постоянной аскезы, смогли предотвратить тотальный распад алетотопа, однако ни в коей мере не лишили своего радикализма оппозицию между экспертами по высоким логико-космологическим и техническим вопросам и обыкновенными абонентами вероятностей в сфере повседневных дел.

Тот, кто живет на антропогенном острове, благодаря своему случайному или сознательно избранному положению внутри алетотопа неизбежно вовлекается в своего рода логомахию: в длительную борьбу за истинное и за адекватные формы его высказывания, в перманентный процесс отделения действительных знаний от мнимых,

истинных пророков от ложных. К этим битвам за истину вполне применимо замечание Ницше о великих переходных моментах истории идей: «Магия этих битв в том, что тот, кто за ними наблюдает, и сам должен биться!» Речь, естественно, идет о когнитивной классовой борьбе сверху — войнах презрения, которые логический клир и сознающая свою избранность аристократия духа ведут против народного мнения, но также и о междоусобных войнах в лагере самих знающих за легитимность и эффективность их понятий и процедур. В последнем случае достаточно вспомнить о таких феноменах, как разрыв элеатов с якобы разоблаченной ими иллюзией движения; о политико-методологической атаке Платона на афинских софистов с целью делегитимации формирования мнений на основании одной лишь вероятности; о религиозно-политическом наступлении Диоклетиана на прорицателей, гадателей и *mathematici* (астрологов) на территории, находившейся под юрисдикцией Римской империи; о борьбе между современными креационистами и эволюционистами за правильное объяснение начала мира; о фиктевской феноменологии овеществленного сознания и ее продолжениях в критиках идеологии XIX века; о позитивистском расчете с «мнимыми проблемами» философии и погружении современного мышления в повседневность; о неоскептической критике по адресу ведущих мыслителей и великих теоретиков XX века или — после трагедий упомянем напоследок и о фарсе — о разоблачительных кампаниях ученых неопозитивистского мэйнстрима, направленных против эпистемологических метафор и понятийных экспериментов постмодерна, кампаниях, поучительных именно своим комизмом и тем, что они стали свидетельством сохраняющейся у публики готовности покоряться мошенническим системам самой различной природы — то внушениям иных обществоведов, то претензиям наивных естествоиспытателей и эпистемологически корректных ученых на лучшее, чем обществоведы, знание.

Исторические расколы алетотопа привлекают внимание к главным условиям распределения знания в человеческих популяциях. Пока знание в когерентных группах распределено нормально-асимметричным образом и, кроме того, всегда сопровождается попутным знанием о том, что знают и чего не знают другие, алетотопическое поле сохраняет способность в такой мере компенсировать свои внутренние различия, что его раскол на эксклюзивные когнитивные партии практически исключен. Поляризация женского и мужского знания, различия между знанием воинов и целителей, несопоставимость миропознания семилетнего ребенка и резюмирующего созерцания седемидесятилетнего старика не могут стать причинами для когнитивной классовой борьбы и глубокого отчуждения групп знающих друг от друга. Лишь в полимифических и полиматических ситуациях, прежде всего после формирования народов из гетерогенных племен и вследствие перемешивания населения в торговых городах, в соответствии с мультикультурными и мультикогнитивными данностями возникает острейший ментальный стресс, вносящий в алетотоп столь глубокий разрыв, что из диффузно инклюзивного всезнания однажды выделяются партии, становящиеся друг для друга все более непрозрачными и непонятными, а иногда даже начинающие презирать и бояться друг друга.

В греческой античности разрешение полимифического кризиса приводит к событию фундаментального культурного значения: уходу философов и ученых из своих коммун. Эти знающие нового типа покидают поле коллективного знания, более не воплощая, подобно своим предшественникам — древним рапсодам и ятромамтам, эпическим певцам и врачам-пророкам культур мудрости дописьменной эпохи, — народное знание. Они организуют группу во всех смыслах слова сепаратных интеллигенций, касту логических и моральных экспертов, которые поддерживают со своими иноплеменными товарищами по интересам, изоляции и абстракции более тесные

контакты, чем со своими соотечественниками. В результате уже в эпоху европейской и азиатской древности возникает интернационал носителей высшего знания; он образует первое экуменическое движение, включающее в себя детерриториализированных логиков, космополитичных учителей этики и отвернувшихся от мира аскетов. Они воплощают собой феномен медитативного или академического пацифизма — ту необходимую фикцию незаинтересованной жизни, соответствующей «чистой истине», которая, словно пройдя очищение социальной смертью, отказывается от фабрикации партийного знания. Из пацифистской аксиомы *akademia* рождается «полная свобода... в игре аргументов и контраргументов». А следовательно, мы с полным правом могли бы утверждать: «Душа науки — толерантность».³⁵¹

Софистический эффект может быть понят лишь в его противопоставлении поиску чистого или абсолютного знания. Он состоит в том, что познание открыто ставится на службу каких-то односторонних интересов, примером чему является деятельность адвокатов в судебном процессе или военных советников. Члены палаты общин нередко относятся к объективной верхней палате с религиозно окрашенным ужасом, зашифрованным под воехищение; тем самым отдается дань ощущению, что знающие — это своего рода живые мертвые, стоящие ближе к числам и звездам, чем к своим согражданам. Элиты освоившей грамотность ойкумены с давних пор разобщены и обречены на жестокую борьбу за преобладание, влияние и повиновение. Согласие великих умов друг с другом с самого начала было не более чем сказкой, которой мудрецы потчевали свою клиентелу.

Первичное условие существования науки — ее асоциальность; ее самосознание вырастает из разрыва с идолами рода, пещеры и рынка. Она способна разворачиваться лишь благодаря превращению ученого из согражда-

351 *Hans Kelsen. Was ist Gerechtigkeit? Stuttgart, 2000. S. 52.*

нина в чужеземца, обращающегося к простецам от имени внешней истины. Условием ее институализации является подчинение профанов догмату, требующему веры в то, что того, кто обладает научным знанием, в обществе обыкновенных знающих следует воспринимать как делегата некоей внесоциальной бытийной области — скажем, как обладателя мандата чисел, треугольников, планет, морских животных, микробов, опухолей и всего остального универсума абсолютных фактов. Как депутат, уполномоченный внешними истинами и трансцендентными идеями, ученый приобретает в коллективе авторитет, иногда даже власть, ибо ему удается привлечь на свою сторону сильных мира сего. Поэтому с идолами четвертого типа — идолами театра — наука рвет лишь *pro forma*. * * в действительности она увеличивает количество театральных идолов и требует для себя подмоетков, на которых носятся котурны более высокие, чем где-либо еще. Для общества потребления истины в эпоху высококультурной организации знания благородная автоэкслюзия обладателей научного знания является чем-то аксиоматически очевидным; трагическим эпилогом такого рода убеждений явились попытки немецких мандаринов на пороге технической эры создать своего рода академическую аристократию образованных — даже в условиях их поглощения национал-социалистской политикой в области высшей школы.³⁵² Пусть алетотоп современного научного производства разделится на сотни самостоятельных пространств и дисциплин, но там, где говорят о каком-либо предмете в смысле той или иной «-логии», на заднем плане все еще возвышается отправитель всех отправителей — трансцендентный световой фаллос, земными представителями которого являются живущие среди нас ученые мужи и дамы, особенно

³² См.: *Fritz K. Ringer. Die Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890—1933. München, 1987.*

* Для вида (*лат.*).



Ребекка Хорн. *Хор саранчи I*. Тридцать пять свисающих с потолка пишущих машинок печатают в различном ритме. Трость для слепых дирижирует хором. 1991 г.

сведущие в математике и философии. *Phallus locutus, causa finita*.*

Насколько глубоко это формирование алетотопа укоренено в староевропейских (и староазиатских) условиях функционирования знания, явствует из того обстоятельства, что длительный культурный кризис XX столетия так и не смог полностью разорвать архетипические отношения между экспертами и профанами. Несмотря на рост в широких массах скепсиса по отношению к науке,

* Фаллос высказался, дело решено (перефразированная латинская поговорка «Рим высказался, дело решено»).

характер связей между обеими палатами и формы их взаимодействия почти не изменились. Лить весьма незначительное число наших современников способно к адекватному пониманию несостоятельности традиционных дистинкций и их мотивов. Тот факт, что вера в науку тем не менее повсеместно сдает свои позиции, отчасти объясняется эндогенной коррупцией экспертного сообщества. Мучительная и нескончаемая борьба экспертов в поле якобы внешних истин вызывает у все более широкой публики ощущение, что и сама истина уже совсем не то, чем она некогда была. Психосоциальная потребительская стоимость эксперта, то есть возможность подчиняться собственному заключению и тем самым избавиться от сомнения, несомненно снижается. Лапидарный тезис Б. Ф. Скиннера «Народ не в состоянии судить экспертов»³⁵³ уже кажется столь же сомнительным, как какое-нибудь китайское *fortune cookie*. * Даже если бы этот тезис был верен, это ничего не изменило бы в том, что мы так или иначе вынуждены выносить свое собственное суждение относительно экспертов. Многие наши современники уже поняли, что, выбирая экспертов, они сами выбирают результат экспертизы. Тем самым древнейшая иллюзия, что истинно знающие суть делегаты внешних истин, развеивается в социальных (если не сказать, слишком человеческих) конфликтах интересов. Не случайно общественность все чаще обращает внимание на научные фальсификации (по пессимистическим оценкам, три четверти всех опубликованных итогов исследований являются результатом манипуляций). Однако еще глубже затрагивает статус института «наука» распад доминировавшей в XVII—XX столетиях бэконовской научной парадигмы, которая с евангелической наивностью апеллировала к естественному альянсу научного и человеческого про-

353в. F. Skinner. *Futurum Zwei*. Reinbeck bei Hamburg, 1972. S. 238.

* Печенье счастья (англ.).

гресса.³⁵⁴ С возникновением научно-военного комплекса, сформировавшегося во время Первой мировой войны на обоих берегах Атлантики (но окончательно после того, как на репутацию современной физики несмываемым пятном легли события 6 и 9 августа 1945 года в Японии), гуманистическая жизнерадостность бэконовского рационализма была похоронена. С этого момента современная цивилизация находится в поисках некоего нового эпистемического *contrat social*,* который учитывал бы положение наук после утраты ими независимости и невинности. Теперь недоверие поселилось и в Большом Кампусе.

В конце только что завершившегося столетия заявило о себе своего рода движение за эпистемологические гражданские права, цель которого — выволить экспертов из их давно разоблаченного золотого изгнания в страну внешних истин и вернуть их в демократическое поле знания. Возможно ли это в условиях все более эзотерического характера исследований (и все более активной приватизации их результатов), вопрос открытый. Он мог бы приобрести поистине судьбоносное значение. Реинклюзия экспертов вызвала бы самое глубокое изменение аллотопических отношений начиная с возникновения высокоразвитых культур. Эта перемена, освобождающая как истины, так и их трансляторы от присущей им эксцентрики по отношению к материнским для них обществам, одновременно была бы — как показал в своих глубоких анализах Брюно Латур — не чем иным, как давно назревшим осуществлением знания реальной жизни наук посредством самих наук.³⁵⁵

Что же касается защиты чистого созерцания от общественного вмешательства, то созерцатели должны будут попробовать обойтись без ссылки на внешние и апри-

354Gernot Bölime. Am Ende des Baconischen Zeitalters. Studien zur Wissenschaftsentwicklung. Frankfurt, 1993.

355См.: Bruno Latour. Das Parlament der Dinge. S. 169 f.

* Общественный договор (фр.).

орные истины. И здесь экспликация также должна разделить то, что в импликации пребывает в единстве. Вероятно, в результате предстоящей реформы отшельники-созерцатели потеряют не так много, как им может показаться на первый взгляд. Возможно, придет мгновение, когда прелести асоциальности уже не будут нуждаться в истине как в предлоге.

8. ТАНАТОТОП — ПРОВИНЦИЯ БОЖЕСТВЕННОГО

Человеческий остров — это место испытания завершившейся жизнью. Там, где встречаются его обитатели, постоянно и в самых разнообразных формах дают о себе знать знаки отсутствующих. Если смертных задевает отсутствующее или трансцендентное, то по двум мотивам, причем при ближайшем рассмотрении выясняется, что они восходят к совершенно различным источникам. Первый мы уже охарактеризовали, рассматривая появление новых истин в пространстве коллективного знания: то, что скрыто за освещенным горизонтом, время от времени посылает нам своих отпрысков в форме возникающих у нас новых знаний; они свидетельствуют о том, что вовне, вверху и внизу простирается некая *quasi*-бесконечность. Поскольку «общества» никогда не застрахованы от открытий, изобретений и идей, люди могут и должны знать, что в своей жизни они будут сталкиваться с новыми истинами. Так появляется первая, онтологическая или алетейологическая, трансцендентность. Совершенно очевидно, что наше прежнее и настоящее мышление и знание не более чем остров в море какого-то еще большего мышления и знания; тот, кто примет это во внимание, поймет, что интеллигенция существует лишь в той или иной степени: ее собственное «больше» или «меньше» составляет ее стихию. Интеллигенция манифестируется в ориентации на то, что она считает превосходящим себя (в противоположность нелепой в структурном отношении позиции критического сознания, равняющегося на ниже-

стоящее, чтобы стать выше, и принижающего выше-стоящее, чтобы избежать необходимости соизмерять себя с ним).

Вторым источником аффектации потусторонним и отсутствующим является обстоятельство, что люди, как обычно выражались древние греки, суть смертные — не только в том смысле, что им предстоит смерть, но и прежде всего в том, что за ними стоят их мертвые. Вторая трансцендентность зиждется на том факте, что жителей антропогенного острова преследуют или, используем более сильный образ, за ними гонятся их предки. Во всех культурах живые образы воспоминаний об умерших преобразуются во внутренние или внешние представления, регулирующие контакты живых с мертвыми. Этот образный мир развивается в особого рода психосоциальный институт, функция которого состоит в руководстве возвращением ушедших на правильный путь. Там, где мертвые репрезентируются надлежащим образом, можно говорить о культе; там же, где наблюдается их нерегулируемое появление, — о привидении. Общим для культа и привидения является то, что они подчеркивают связь трансцендентности с определенным местом: как культ предков может отправляться только вблизи мест, общих для них и их потомков,³⁵⁶ так и привидения не покидают мест преступлений и территорий обитания потерпевших. Это ведет к тому, что с началом эры империй и высоко-развитых культур мертвые адаптируют сферы своей деятельности к новым геополитическим условиям. Поэтому в XIX столетии дело доходит до различных разновидностей телеспиритизма, даже до глобализации привидения, убедительный пример чему дает новелла Мопассана «Le hógia».* * Она демонстрирует, что происходит, когда злой дух бразильского происхождения распространяет

356 Исключения из этого правила можно наблюдать в культе предков у эмигрантов, свидетельствующем о возможности детерриториализированного общения с пращурами.

* «Орля» (фр.).

область своего действия на некий дом в Нормандии (это одно из первых указаний на феномен телеинфекции); картина современного космополитизма была бы неполной без представления о том, что некоторые беспокойные мертвецы научились глобально мыслить и локально являться в виде призраков.

Присущая культурам культа, привидений и памяти связь с местом первоначально дает о себе знать преимущественно в небольших пространственных измерениях примитивных, слабо территориализированных коллективов. Поэтому климат человеческого острова с самого начала определяется тем, что на нем формируется своего рода несчастная зона — танатотоп. Сотни глаз жадно глядят с холмов на обители живых; в ответ живые беспокойно и испытующе вглядываются в горизонт, охваченные смутным ощущением, что рядом присутствует кто-то, на чью благожелательность не стоит полагаться. Но поскольку в архаичных культурах тезис «Бог мертв» имеет силу в своей изначальной формулировке: «мертвый — Бог», это пространство совместного бытия людей с себе подобными и прочим сущим может быть охарактеризовано также как теотоп, или место обитания богов.

Бог древнейших теотопов еще весьма амбивалентен и сложен; контакты с ним отличаются той неоднозначностью, которая присуща общению с незримым представителем потустороннего. Он обращается к своим людям как кровный родственник и верный помощник собственного клана, к другим людям — как грозное, злопамятное, непредсказуемое и требовательное существо. В любом случае он отнюдь не-только-добрый, он может быть и истребляющим мстителем. Договор мертвых с живыми неизбежно включает в себя некоторые щекотливые пункты. Несомненно, амбивалентный заряд, который несут в себе духи предков, объясняется не только бессознательным комплексом вины у живущих и соответствующими ожиданиями мести; архаичные боги суть нечто большее, чем

освободившиеся души, инсценирующие приватную вендетту; скорее, они представляют собой своего рода амальгаму из душ мертвецов и анонимных сил, вызываемых с помощью культовых имен.³⁵⁷ В смерти души некоторых людей сплавляются с этими силами и благодаря их *mana** заряжаются грозной силой (поэтому антропологическая дедукция возвышенного должна была бы доводиться до этих энергий, обозначаемых у Канта как динамически возвышенное). В Яхве, ультратрансцендентном Боге более позднего монотеистического Запада, поначалу весьма заметны черты, характеризующие его как печального, подозрительного, вспыльчивого и отходчивого патриарха.³⁵⁸ Об этом свидетельствуют прежде всего те признаки, которые связаны с функциональной сферой его биовласти; библейское кодовое слово для нее — «благословение» (*berek*), и те, кого оно касалось, постоянно осознавали, как легко оно может обратиться в проклятье. Точно так же древний Зевс демонстрировал качества, присущие скорее параноидному деспоту, чем актуально совершенному Богу онтологов. Как один, так и другой, несомненно, представляют собой композиты из персональной души и природной силы; у обоих способ властвования включает в себя изрядную долю интервенционизма.

Поэтому архаичный бог — совсем не то, во что еледовало бы верить; он — трансцендентный пристава, преследующий своих контрагентов. С нескрываемым

357См.: *Emil Durkheim. Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt, 1984. S. 400.*

358 о комплексном портрете Бога Ветхого Завета см.: *Bernhard Lang. JAHWE. Der biblische Gott: ein Portrait. München, 2002*; о герменевтике ветхозаветных псалмов, посвященных мести и мучениям врагов, см.: *Erich Zenger. Ein Gott der Rache? Feindpsalmen verstehen. Freiburg; Basel; Wien, 1994.* Родственной монотеистической книгой выглядит *prima vista* и Коран как литания об экстерминации неверующих, отрицателей и скептиков; толкователям Корана, как и их христианским и иудаистским коллегам, не так-то просто объяснить, что она понимается не так, как следует.

* По представлениям полинезийских народов, неопределенная сила, источник мощи, могущества, наличествующая везде, где имеет место власть, счастье, удача.

удовольствием он занимается тем, что образует состав преступления *harassment** в психическом регистре. От него можно держаться на расстоянии, лишь пунктуально соблюдая его требования. Не может быть и речи, чтобы в эту эпоху *Dasein* представляло собой выдвинутость в ничто; скорее, оно означает окруженность каким-то липким *quasi*-персональным Нечто, которое из своей потусторонности требует реальных действий. «Жизненному миру» соответствует соотносящийся с ним мир мертвых и духов; он пронизывает мир людей, пропитывает и подвергает его стрессу. В этом режиме боги и предки не воспринимаются как что-то далекое; они кажутся незримыми соседями, приходящими к нам и уходящими от нас, словно наше обиталище является естественной целью их экскурсий и набегов. В данном случае можно говорить о своего рода ближней трансцендентности: близок локоть, да не укусишь, кольцо из страха и неопределенности окружает островитян на минимальном расстоянии.³⁵⁹

Согласно самой природе вещей могилы становятся провиденциальными воротами для близких контактов между посю- и потусторонним.³⁶⁰ От богов этого уровня не приходится ждать ничего, кроме бестактности; у них почти всегда можно обнаружить *ressentiment* по отношению к живому — мстительные чувства формируют ядо-

359 Поэтому многое говорит в пользу того, чтобы в том, что позднее назовут суеверием, видеть одну из основных форм религиозной ментальности вообще: *superstitio* означало у римлян не что иное, как «боязливую осмотрительность в религиозных вещах* — в определенном отношении оно является невротическим вариантом скрупулезной добросовестности (*religio*), с которой следует относиться к знамениям, чудесам и приметам, а также к ритуальным предписаниям. См.: *Dieter Harmening. Superstitio. Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin, 1979. S. 21.*

360 См.: *Johann Jakob Bachofen. Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur; eine Auswahl. Frankfurt, 1975;* а также: *Michel Serres. Statues. Le second livre des fondations. Paris, 1987.*

* Домогательство (*англ.*).



Ацтекская скульптура, изображающая смерть.

виту ю близость поверх границ между смертью и жизнью. Кроме того, пока люди имеют дело с областью близкого потустороннего, проблема достижимости и познаваемости богов и духов имеет для них меньшее значение, чем в эпохи, когда нас начинает мучить «молчание Бога»³⁶¹ и прочие симптомы дефицита присутствия и очевидности. Наоборот, они озабочены вопросом: не слишком ли нескромно постоянно иметь подле себя гостей из незримого? Это объясняет, почему Бог в полном расцвете сил не нуждался в том, чтобы его существование доказывалось обученным логике персоналом.

Дедукция злобы богов не может удовлетвориться указанием на то, что обиженные предки имеют обыкновение возвращаться. Приходящее извне злое и страшное потому настолько важно для понимания человеческих сфер, что оно двояким образом вовлечено в конституирование культурных капсул: во-первых, люди смогли стать онтологическими островитянами, каковыми они являются, лишь потому, что им в течение длительного эволюционного дрейфа удалось вырваться из вредного окружающего мира и переселиться на антропогенный остров — в звонкую комфортабельную капсулу; во-вторых, это переселение никогда не приводит к полной самодостаточности, заключение в культурную капсулу не гарантирует *homo sapiens* чего-то большего, чем частичной свободы от определенных бедствий и травм. Победа внешнего всегда остается реальной возможностью — тем более это относится к силе, исходящей из недр группы. То есть принцип дистанции подрывается принципом инвазии, борьба между обеими этими тенденциями определяет историю как организмов, так и культур. Мы можем проследить, как человеческое пространство формируется стремлени-

361 См.: *Martin Buber. Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie.* Heidelberg, 1987; *Raimondo Panikkar. Gottes Schweigen. Die Antwort des Buddha für unsere Zeit.* München, 1992; *Klaus Schneider. Die schweigenden Götter: eine Studie zur Gottesvorstellung des religiösen Platonismus.* Hildesheim, 1966.



Анатомический препарат: по всей вероятности, циклопин дала повод для возникновения соответствующей мифологии.

ем утвердить первенство дистанцирования перед инвазией или восстановить его после поражения.

Типичный инвазионный стресс воплощается в трех категориях захватчиков: во-первых, в предках и репатриантах из потустороннего, с вторжением которых в групповую психику приходится регулярно сталкиваться; во-вторых, в естественных агрессиях и катастрофах, происходящих в фюсис группы из окружающего мира; и, наконец, в новых истинах, исходящих из изобретений и открытий новаторов.

Поскольку, несмотря на свою завершенность в себе самом, человеческое пространство неизбежно остается и пространством инвазии, оно приобретает черты культур-

ной иммунной системы. То, что называется иммунными системами, является врожденными и институционализированными ответами на травмы. Они основываются на принципе профилактики, подчиненном принципу инвазии. Поэтому «обладание опытом» в первую очередь означает не что иное, как способность организма предвидеть и инвазии, и травмы. Там, где это предвидение воплощается в постоянные защитные мероприятия, возникает настоящая иммунная система, то есть защитный механизм, нейтрализующий типичные ожидаемые травмы. Благодаря иммунным системам обучающиеся тела встраивают свои регулярно возвращающиеся стрессоры в себя самих.

Именно это соответствует функции теотопа (вырастающего из танатотопа): примитивные боги суть интериоризированные категории интервента и обидчика, с которыми постоянно сталкивается данная группа. Каждый архаичный божественный персонаж отсылает нас к той или иной стрессовой инстанции, способствующей формированию культуры. В своей работе «Законы подражания» Габриэль Тард указывал на возможную связь между повсеместным распространением кровожадных богов и повсеместным распространением кровожадных животных, полагая, что всюду, где древнейшие люди становились жертвами крупных хищников, осуществлялось напрашивающееся преобразование обладающих неотразимой привлекательностью животных в присущих данной культуре богов.³⁶² Это можно сравнить с символическим приручением хищных животных их потенциальными жертвами. Тогда как ксенопатическая потребность архаичной психики, желание-быть-привлекательным, удовлетворяется достаточно необычными богами.³⁶³ Аналогичным образом сторонники теории катастроф выводили рождение тех религий Ближ-

³⁶² *Gabriel Tardé. Die Gesetze der Nachahmung. S. 296—300.*

³⁶³ См.: *Elisabeth von Samsonow. Was ist der Sex-Appeal des Anorganischen wirklich? Theorie und kurze Geschichte der hypnogenen Subjekte und Objekte. Vilém Flusser Lecture an der Hochschule für Medien. Köln, 2000.*



Египетский торговец древностями с мумией.

него Востока, которые требовали массовых жертвоприношений, из осуществлявшейся 'в рамках тогдашних культур герменевтики паники после таких космических событий, как падение на землю гигантских метеоритов и соответствующих небесных явлений.³⁶⁴ Согласно этой

³⁶⁴ *Fred Hoyle. Kosmische Katastrophen und der Ursprung der Religion. Frankfurt; Leipzig, 1997.*

теории, из астротеррора возникли грозные боги, заставлявшие тех, кто в них верил, ощутить всю бездну между человеческим и потусторонним миром. С этим согласуется, например, тот факт, что в шумеро-вавилонской письменности знак «звезда» одновременно был и идеограммой для обозначения бога; Быть далеким, как небесное тело, и ужасным, как бог: таковы условия, которым должен соответствовать священный предмет, чтобы успешно действовать в аффективном регистре религиозного мазохизма. С этой крайности начинается развитие абсолютных объектов в немногие гетерономные божественные формы. Следовательно, драма процесса цивилизации предвосхищается в преобразовании злых богов вторжений и катастроф в добрых богов-творцов и хранителей — метаморфоза, которая в конечном счете вылилась в объединение всех позитивных частичных богов в монофериической конституции *inim verum bonum*. Это учреждение единого является самым убедительным доказательством того, что метафизика обладает характером иммунной системы: в зачарованной ксенолатрии и почитании плотоядного чужого в локальных жертвенных культах начинается процесс постепенного поглощения гипногенного внешнего внутренним, пока не останется лишь одно перенапряженное собственное, которое закономерно становится жертвой энтропии. Важнейший промежуточный шаг на пути к имперской мудрости высококультурной инклюзивности, по всей вероятности, совершается в культе богов-домашних животных, подобных быку Апису египтян, которые уже отмечены чертами мягкости и благожелательности. Доместикация животных предшествует доместикации богов,³⁶⁵ но дело не доходит до того, что *agnus Dei** * добровольно отдает себя на заклание вышедшим из послушания людям.

Следы культа чужого сохраняются до тех пор, пока добрый Бог монотеистов может восприниматься как до-

365 *Gabriel Tarde. Op. cit. S. 303.*

* Агнец Божий (*lam.*).



Мортон Шамберг. *God (Бог)*. Около 1918 г.

статочно грозный; агитация за Бога любви не может сразу же лишить силы древнее *timor fecit deos*.^{*} Лишь Бог философов и мистиков-неоплатоников растворяет свою бросающую в дрожь привлекательность в чистой, хотя и темной, интимности. Он превращается в своего рода разумное фоновое излучение и становится праздным и, как следствие, оказывающимся излишним Богом. От ксено-теистического настроения древних в уже не нуждающейся в богах *high culture*^{**} современности сохраняется лишь

^{*} Страх создал Бога (*лат.*).

^{**} Высокоразвитая культура (*англ.*).

некий формальный остаток — ксенофилический стиль и философская аллолатрия.³⁶⁶ Из новейших, заявивших о себе после Ницше (чей Дионис был еще достаточно грозен) теомахов только один ранний Хайдеггер сохранил верность темному, ксенолатрическому Богу, даже если и в форме своего рода божественного остатка, смерти.³⁶⁷

Чтобы люди могли держаться в стороне от архаичных локализованных богов, в ранних теотопах возникает функция жреца: как пограничнику, охраняющему сферу живых, ему поручено сокращать количество вторжений с другой стороны. Самым надежным методом умиротворения потусторонних, требующих свою долю, представлялось жертвоприношение, бывшее *quasi*-выражением основополагающей идеи архаичных теотопийцев. Все они привыкли верить, что выплата налогов мертвым и чужим является их естественным долгом; первыми финансовыми управлениями, несомненно, были палеолитические жертвенные камни, на которых собирал свою дань благоговейный страх. Но где есть долг, там пространство произвола не может быть широким. Первоначально и в течение долгого времени полагавшаяся мертвым доля уплачивалась продовольствием и свежей кровью, как если бы было очевидно, что тени и боги испытывают голод и жажду. Позднее налоги возвышенному потустороннему стали выплачиваться в форме обетов и причащений; кроме того, в употребление вошла валюта милосердия; некоторые боги и богини, казалось, были склонны прислушиваться к диалекту членовредительства своих поклонников, как, например, индийская Великая Мать, которая и по сей день принимает от своих почитателей

³⁶⁶ Что же касается популярной религиозной культуры, то мы с полным правом можем отметить, что она и по сей день сохранила черты культуры паники; см.: *Alphonse Dupront. Du sacré. Croisade et pèlerinages. Images et langages.* Paris, 1987. P. 462.

³⁶⁷ См.: *Heinrich Meier. Der Tod als Gott. Eine Anmerkung zu Martin Heidegger // Heinrich Meier. Das theologisch-politische Problem. Zum Thema von Leo Strauss.* Stuttgart, 2003. S. 73—82.



Лео Реган. Брат Эмманюэль-Патрик освящает новый автомобиль в Лагосе, 1996 г.

восхваления посредством тестикулярных жертв (каста священных кастратов насчитывает почти сто тысяч членов, обитающих на периферии индийского «общества» в качестве проституток, прорицателей и свадебных танцоров). Воспринимаемые в качестве патронов боги охотно соглашались с конвертацией жертвоприношений в послушание. Иногда небожители вроде бы даже не возражали против суицидальных наклонностей своих приверженцев (тенденция, подхваченная радикальными сектами и использованная в качестве материала для аскетизма камикадзе). С возникновением храмовых хозяйств из духа жертвоприношения родилась первая политика перераспределения; теотоп превращается в кассу взаимопо-

мощи и — кроме того, что он выполняет функцию примитивной помощи бедным, — играет не последнюю роль в материальном обеспечении жреческого сословия. В этой перспективе оказывается справедливым тезис, что культура есть не что иное, как история интериоризации жертвоприношения.³⁶⁸

Постоянная соотнесенность «жизненного мира» с близлежащим полем богов и мертвых пробуждает в людях таланты, необходимые для приграничного сообщения. На современном языке они именуется медиальными способностями или, говоря более анахронично, профессиональной пригодностью к терапевтической деятельности. Так обозначается умение ориентироваться в сообщениях, состоящих из косвенных данных. Сколько видов косвенного, столько и талантов. Когда греки оказались перед фактом заката древнего медиумизма, Платон — подобно тому, кто становится зорким только на склоне дней, — представил своего рода синопсис специфических теотопических талантов и предложил различать четыре способа получения посланий из потустороннего. В диалоге «Федр» Сократ говорит о благотворности энтузиазма, благодаря которому избранные люди выступают в качестве рупора богов, — богов, которые, само собой разумеется, уже не репрезентируют никаких сугубо локальных или племенных духов, а превратились в аутентичных народных богов и поднялись на уровень потустороннего средней удаленности или, как сказали бы мы, на уровень олимпийской полутрансцендентности. Речь идет прежде всего о трех основных мантических функциях, которые, как считалось в более древние времена, зависели от тех или иных видов информативной одержимости, — прежде всего о способности заглядывать в будущее и предвидеть грядущие события; затем речь идет об умении отыскивать средства и пути исцеления

368 *Max Horkheimer, Theodor W. Adorno. Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Frankfurt, 1984. S. 61—99.*

при болезни и, наконец, о поэтическом вдохновении, которое, по твердому убеждению древних, могло возникнуть исключительно по наущению муз или самого Аполлона (это позволяет понять, почему первоначально поэзия и музыка появились на свет как теотопические институты и лишь после эмансипации мусических сфер от религиозного культа превратились в самостоятельные практики, не связанные непосредственно с инспирирующим и руководящим потусторонним). Согласно Платону, наряду с дисциплинами древнего медиумизма существует еще и четвертый вид энтузиазма, который он истолковывает как охваченность любовью к созерцавшимся до рождения и воспоминаемым в течение всей жизни прекрасным идеям. Отныне огонь философской мании должен храниться у особого алтаря — у академической кафедры, перед которой собирается логофилическая община.

Нет никаких сомнений, что философия, как ее понимал Платон, представляла собой радикальную модификацию человеческого поведения в теотопе; она провозглашала — как всегда, для меньшинства — некий новый способ преодоления соседства «жизненного мира» с отныне трансформировавшимся в небо идей миром духов. Поэтому академиям, как позднее и церквям, в их изначальном бытийном модусе следует приписать определенные теотопические качества. Культивируемые в них формы сознания служили попытке ослабить одержимость, превратив ее в убеждение. Лишь современность расколдовала если не мир, то по крайней мере академию.

Что же касается христианской церкви, великого теотопа Запада, то в ней в течение долгого времени продолжала жить идея, что люди как медиумы некоего не слишком далекого потустороннего иногда обладают такими специфическими талантами, как ясновидение, способность исцелять или «истолковывать языки»; все, что Павел мог сказать об этих «духовных дарах», ограничивается требованием их разумному подчинению культу Господу.

да.³⁶⁹ Но о том, что и под христианским символом веры харизмы легко преобразуются обратно в злокачественные мании, свидетельствует отнюдь не только огромное количество евангельских сект, которыми особенно елаются США, уже давно ставшие раем для маниакальных коммун; в них Христос трансформируется в некоего демона успеха со значительными монетарными полномочиями или как чудо-целитель спасает жизни перед включенной камерой. Рецидивы былых маний год от года можно наблюдать и у направляющихся в Иерусалим христианских паломников, которые при виде мест страстей Христовых приходят в замешательство и вынуждены прибегать к помощи иудейских психиатров.

Во многих культурах, прежде всего в тех, которые не испытали изменения парадигмы в пользу монотеизма, представление о медиальной коммуникации избранных и особо отмеченных людей с другой стороной никогда не утрачивало своей значимости. В некоторых африканских «обществах» до сих пор живо представление, что дети, которые либо не учатся говорить, либо в какой-то момент прекращают разговаривать, предпочли остаться вместе с предками, поэтому уговорить таких детей сосуществовать с живыми можно, лишь попытавшись убедительно доказать им, в чем заключаются преимущества рожденных.³⁷⁰ В глазах своих родителей и целителей такие «дети-мертвецы» отнюдь не «аутистичны»; они живут в каком-то другом месте, к которому они привязаны намного сильнее, чем к области обитания людей, так что для их переселения сюда необходимо ослабить узы, связывающие их с другой стороной.

Представление о том, что злые духи способны вселяться в тела других людей, распространены во столь многих культурах, что вполне оправданно видеть в нем некую основополагающую идею. С точки зрения верую-

369См.: 1 Кор., 12,1—11, 28—31.

370Tobie Nathan et collectif, *L'enfant ancêtre*. Paris, 2000.

щих такая инвазия служит цели превращения людей в автоматы демонов. Поскольку захватчики не останавливаются и перед мертвыми, древние китайцы иногда запечатывали рты и анусы покойных восковыми или нефритовыми пробками. У некоторых древнегерманских племен был распространен обычай привязывать ноги мертвецов к спине и хоронить их лицом к земле, чтобы затруднить им возвращение.

Как можно заметить, интерес живых к миру мертвых по большей части обусловлен смешением обеих трансцендентностей, с которыми граничит человеческий мир: поскольку люди соседствуют не только с мертвыми, но и с горизонтом, за которым согласно чрезвычайно распространенному убеждению пребывают неразоблаченные истины или трансцендентные идеи, им может показаться правдоподобным представление, что оба эти соседства переходят друг в друга, более того, образуют одно и то же пространство. Из этого следует, что мертвые имеют доступ к неразоблаченному, а наряду с ними, как мы узнаем из платоновского мифа о душе, это относится и к нерожденным. Представление, что не позже чем *post mortem** все выяснится, основывается на прочной ассоциации между мертвостью и обретением конечного знания.

Если же переплетение трансцендентности неизвестного с трансцендентностью мертвых состоялось, неизбежно возникает мотив заклинания мертвых с целью получения информации из окончательного потустороннего. Согласно этой схеме, мертвые, поскольку у них все позади, в большей степени причастны к истинам, пребывающим в области совершенного: те, кто существовал субъективно, чувствуют себя как дома и в том, что существовало объективно, в существенном, как его понимала метафизика. Эта столь желанная путаница стала источником многочисленных некромантических практик, от простых гаданий с помощью мертвецов до вызова умер-

* После смерти (лат.).

ших из другого мира. Мощнейший по своему воздействию пример последнего — явление мертвого Дария в трагедии Эсхила «Персы»: поднявшись из царства мертвых, Великий царь дает свое теологическое толкование персидского поражения — нисколько не шокированный тем, что таким образом превращается в главного свидетеля, дающего показания в пользу греческой веры в единство потустороннего мира истины и царства мертвых. Но величайшие из героев нередко должны были собственной персоной спускаться в подземный мир, чтобы там получить указания по поводу своей будущей судьбы. Не забудем, что ключевые слова окцидентализма, предсказание мирового римского господства, были сказаны мертвым Анхизом спустившемуся в Орк Энею: однажды Рим станет править народами, являть милость покорным союзникам (*parcere subiectis*) и смирять войною (*debellare*) надменные государства (*superbos*).³⁷¹

Из сказанного можно сделать вывод, что контуры теотопа приходят в движение в том случае, если в «обществе» изменяются формы контактов с мертвыми или методы получения знания. И то и другое имеет место в современной цивилизации, которая иначе погребает своих мертвецов и иначе получает свои истины. Интерес к потусторонним вещам в современном обществе ослабевает в первую очередь потому, что к умершим едва ли стоит обращаться за информацией о будущих событиях; их мнение не слишком поможет, когда речь идет об установлении технических правил для управления миром будущего. Мир живых и мир мертвых стали так непохожи друг на друга, что умершие уже ничего не способны посоветовать живым, даже если бы они захотели дать им какую-либо справку. И наоборот, наши современники практически утратили способность задавать мертвым ос-

371 Энеида. Книга 6, ст. 851—853, К сожалению, Анхиз ничего не говорит о том, как должны действовать римляне в том случае, если союзники, со своей стороны, в спорных внешнеполитических вопросах не станут щадить чувств гегемона.

мысленные вопросы. Для получения знания окольный путь через трансцендентность стал излишним. Древнейшее смешение потустороннего мертвых и сверхэмпирического «резервуара» неразоблаченных истин и идей в течение последнего столетия само собой прекратило свое существование, причем для обитателей человеческого пространства это осталось почти незамеченным.

Итак, сумерки богов влечут за собой сумерки мертвых. Утрата важности — общая судьба незримых. На них оглядываются, как на мертвых, не оставивших завещания, как на предков, от которых не много можно унаследовать как доброго, так и злого, — разрядившиеся батарейки, уже не настолько привлекательные, чтобы вести нас к свету из потустороннего. О последних еще-не-мертвых, которые привидениями живут в своих потомках, заботится психоанализ, понявший, что он скорее своего рода внутренние похороны родителей, дедушек и бабушек, чем форма лечения. Потребительская стоимость великих мертвых, которых мы в качестве классиков храним в коллективной памяти, ограничивается тем, что они обеспечивают группе цивилизованных людей некое общее прошлое. Теперь прошлое служит базовым лагерем, из которого футуризованная цивилизация отправляется реализовывать свои проекты.³⁷²

Тот, кто ищет ключевые слова для духовной ситуации современности, должен обратить внимание на актуальное состояние теотопа, который в западном мире вплоть до конца прошлого столетия был сформирован монотеистическими представлениями и отныне несет на себе печать их упадка. Это относится прежде всего к обеим музеефицированным религиям — христианству и

³⁷² о том, что в этом правиле имеются исключения, свидетельствуют, среди прочего, события вокруг канонизации Сор Анхелы де ла Крус (1846—1932), произведенной в начале мая 2003 года в Севилье папой Иоанном Павлом II; ее мертвое тело в течение нескольких дней было выставлено в соборе, и его посетило необозримое множество людей — словно святые еще обладают способностью дать отпор героям светской культуры, в данном случае как классики любви к ближнему.



Штудирование Талмуда во время шлифовки алмазов.

иудаизму, которые уже продолжительное время ощущают, что в собственном доме обречены вести себя как управляющие чужим наследством. На их примере мы видим, как хорошо институализированная религиозная традиция может успешно превратить себя самое в эрзац-религию (под тем благовидным предлогом, что имманентно замененный оригинал в любом случае лучше какой бы то ни было секулярной эрзац-религии). Такое управление не может быть стерильным, о чем свидетельствует тот факт, что, классифицируя в течение XX столетия вверенное им наследство, иудейские и христианские теологи совершили открытие, о котором не будет преувеличением сказать, что оно может оказаться одним из самых значительных фактов грядущей эпохи.

Речь идет об обнаружении некоей третьей трансцендентности, которая не является ни трансцендентностью мертвых, ни трансцендентностью скрытых истин: трансцендентности человеческого Другого. Она отнюдь не связана с инверсией старого тезиса «мертвый — Бог» в со-

временный тезис «Бог мертв», ибо инаковость Другого как таковая не выводится ни из теологических, ни из танатологических источников — даже если в дальнейшем она вновь будет привязываться к классическим трансцендентностям (прежде всего у Левинаса и представителей его школы). Первоначально она основывается исключительно на своем собственном фундаменте, на первичности и неассимилируемости сосуществующей экзистенции. Если даже Бог и мертв, то это никоим образом не лишает Другого его тайны, его недостижимости, его моральных претензий. Все выглядит так, словно позади утративших четкость своих очертаний исторических танатотеотопов — будь то церкви, царства Божии или избранные нации³⁷³ — вырисовалось некое следующее за ними пространство, продолжающее под неметафизическими знаменами нести метафизические напряжения прежних зон мертвых и истин, — пространство, которое логично было бы назвать ксенотопом. Его главный признак состоит в том, что отныне люди определяются как те, кому брошен вызов самим фактом существования чужого, гостя, паразита.³⁷⁴ Вопрос, достаточно ли этого для обеспечения минимального уровня духовной открытости в имманентности, пока остается без ответа. Тем не менее совместное бытие с Другим является одним из тривиальных атрибутов экзистенции, до сих пор не давая повода к завышению собственной оценки, если не считать мистических эскалаций куртуазной любви и зачатков культа чужого в ксенолатрических религиях. Не способно ли именно повседневно сознание-Ты стать краеугольным камнем модифицированного опыта трансцендентности?

373См.: *Erich Voegelin. Das Volk Gottes. Sektenbewegungen und der Geist der Moderne. München, 1994.*

374О самой значительной попытке создания ксенотопической этики см.: *Hans-Dieter Bahr. Die Sprache des Gastes. Eine Metaethik. Leipzig, 1994.* О критике философской ксенофобологии см.: *François Lamelle. Théorie des étrangers. Science des hommes, démocratie, non-psychanalyse. Paris, 1995.*

Некоторые иудейские инициаторы поворота к ксенотопическому мышлению не делают тайны из своего скепсиса в отношении сугубо формального почитания Другого. Они не слишком верят в идиллию диалогического бытия-друг-с-другом. Написанный ими портрет Другого, от которого зависит все прочее, с самого начала изображает его как убитого, мучающего меня вопросом, почему во время совершения преступления я занимался какими-то более важными делами, чем его спасение. В данном случае ксенология, выступающая в качестве наследницы теологии, заменяет предков убитыми ближними. Мучение обретает новую форму, вкладывая в уста каждого убитого последний вопрос, адресованный тем, кто ему не помог, — вопрос о причине неоказания помощи, утраты чувства солидарности, добровольной слепоты, смиренного бездействия. Привидение превращается в испытание совести, причем не изнутри, как при подготовке к исповеди, а снаружи, как на судебном процессе. Цель ксенологического допроса состоит в требовании осмысления безразличия и его мотивов: нежелания помочь, неспособности помочь, занятости в каком-то другом месте — возможно, большего или меньшего молчаливого согласия с преступниками.

Если мы хотим составить себе представление о потенциале ксенотопического мышления, нам следует иметь в виду, что ему должно сопутствовать некое новое, обращенное в будущее описание теотопа и *eo ipso* поля мертвых. Оно позволит осуществить моральную экспликацию зоны встречи с Другим как модификацию совместного бытия людей с себе подобными и прочим сущим: Другой — это тот, перед кем мы всегда остаемся в чем-то виноватыми. Этот поворот мысли позволяет нам бросить ретроспективный взгляд на рождение исторических религий из нечистой совести — диагноз, пожалуй, вытекающий и из анализов Рене Жирара, который, впрочем, склонен видеть причину замешательства перед Другим в воспоминании о совершенных по отношению к нему ре-

альных преступлениях (что подталкивает к поверхностному выводу о его фасциногенной амбивалентности). В то же время совместное бытие в мире эксплицируется как частично взаимное, частично асимметричное отношение ответственности и ручательства друг за друга.

После Гегеля, чье понимание структуры борьбы за признание было развернуто социальной философией XX века, тезис Ницше «Ты старше, чем Я» с начала XX столетия остается самым главным изречением моральной философии.³⁷⁵ Если Мартин Бубер видел в отношении Я—Ты столь же основополагающую форму, как отношение Я—Оно, то Макс Шелер, следуя Ницше, настаивал на первичности человеческой ориентации на сферу Другого: «Бытие в качестве Ты (Du-heit) есть фундаментальная категория человеческого мышления».³⁷⁶ Новизна состоит и в четкой как никогда прежде констатации, что совместное бытие подразумевает не только кооперацию умеющих, но и общее страдание уже-не-умеющих. «*Our society is also an association in our morality*». «*The suffering of the other is the origin of my own reason*».^{377*} Тяжесть сосуществования человека с человеком выводится на первый план — с тем побочным следстви-

³⁷⁵Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. I. О любви к ближнему. См.: Axel Honneth. Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt, 1994; а также: Ludwig Klages. Die psychologischen Errungenschaften Nietzsches. 3. Aufl. Bonn, 1958. Если Ты-философы (как и холисты) утверждают, что Я всюду правит вслепую и, чтобы прозреть, должно прослушать лекцию Другого, то Ницше делает акцент на том тезисе, что Я представляет собой позднее и неправдоподобное завоевание, которое должно подчиняться всегда уже имеющему место первенству Другого; более того, существа, которые могли бы с полным правом именоваться Я, до сих пор еще не появились на свет; то, что до сего дня называлось эгоизмом, всегда было присутствующим во мне эгоизмом Другого.

³⁷⁶Max Scheler. Die Wissensformen und die Gesellschaft. Leipzig, 1926. S. 53 f.

³⁷⁷ Alphonse Lingis. The Imperative. Bloomington (Indiana), 1998. P. 161, 192.

* «Наше общество также представляет собой некую ассоциацию в нашей морали». «Страдание другого есть источник моего собственного мотива» (англ.).

ем, что чрезмерные требования, предъявляемые индивидам вследствие приписываемой им ответственности за опасности и несчастья, подстерегающие как абстрактного, так и конкретного Другого, обретают более определенные очертания. В этой ситуации новозаветный вопрос «Кто есть мой ближний?» должен быть реактуализирован на глобальном уровне — на этот раз в смысле «Кому елдует помочь?» или «Чье имя должно быть помещено на самую верхнюю строчку в листе ожидания несчастных?»

В результате прогрессирующей экспликации коэксистенциальных фактов неизбежно обнаруживается и обратная сторона универсализированной моральной ответственности: ксенофильское и самаритянское мышление заключает союз с самым отъявленным медиальным прагмагизмом, который не брезгует никакими средствами, чтобы отыскать место лад-солнцем субвенций для хорошо организованного лобби виртуальных и потенциальных жертв. Гуманитаристская стратегия быстро приводит к успеху, если эффективные образы мобилизуют чувства тех, кто готов помочь, или если ее адресат в силу исторической вины хронически внушаем — как это, например, выражает формула *white guilt, black power*. * Если же виктимологические средства давления используются слишком экстенсивно, можно предвидеть снижение чувствительности к длительным речам адвокатов Другого. Гипермораль провоцирует сопротивление и моральную энтропию.

Как бы ни инсценировались напряжения между защитниками убитых и живыми или выжившими, это не может помешать тому, что ксенология, последняя версия антинатурализма, рано или поздно также наткнется на стену биосферных фактов. То, что начиная с Гуссерля привыкли называть жизненным миром, в действительности всегда включает в себя одновременно мир живых и мир мертвых: все попытки различных культур дискри-

* Белая вина, черная власть (англ.).

минировать сторону смерти всегда лишь повышает то напряжение абсурда, под которым находятся цивилизации. Чем более агрессивно выходит на авансцену биопозитивизм, тем более парадоксальным становится факт, что смерть в конце концов догонит всех. Бурно развивающиеся *life sciences** представляют собой новейшую версию этого менеджмента абсурда. Желая знать о жизни все, чтобы еще более энергично вступаться за жизнь (или за то, что они так называют), они мешают осознать, что в соответствии с природой своего предмета биология возможна лишь как биотанатология, что *life sciences* могут быть лишь *life-and-death-sciences*** Тот, кто' говорит о биотопах, не принимая во внимание танатотопов, занимается дезинформацией.

Способны ли люди в секулярных культурах на такое рассмотрение, неясно. Следует развивать *ars moriendi**** для себя самого и искусство прощания с ближними; кроме того, необходимо включить в теоретическую установку признание участия смерти в жизненных процессах. Тот, кто понимает Землю как интегральный биотанатотоп человечества, в любом случае обретает перспективу целостности, которая скорее чудовищна, чем возвышенна. В течение XX столетия органон чудовищного приобрел облик экологии — наряду с кибернетикой и полисемантической логикой единственной подлинной новации в когнитивном ландшафте нашего времени. Она представляет собой не что иное, как репродукцию чудовищного в форме науки о равновесии и неравновесии в жизненных процессах по ту сторону человеческой перспективы.

Благодаря встрече экологии и теории культуры становятся возможными довольно странные теоретические положения: теперь может быть высказан тезис, что главная функция всякой коммуникации между людьми за-

* Науки о жизни (англ.).

** Науки о жизни и смерти (англ.).

*** Искусство смерти (лат..).

ключается в «интерсубъективном отрицании бессмысленности и смерти».³⁷⁸ Глубина имеет свою цену. С того времени, как это было написано, человеческий альянс против внешнего был инфицирован экологическим знанием, дело отрицания стоит на ослабевших ногах. В результате пропаганды экологии как господствующей формы мышления рано или поздно многим станет ясно, что последняя глава духовной истории конфликта между абсолютизмом человеческого и индифферентностью биосферных процессов самым непосредственным образом затрагивает человеческие интересы. Ницшевский постулат о том, что более развитая культура должна дать человеку двойной мозг или две черепные коробки — одну для воеприятя научного, другую для ненаучного знания, подтверждается самым неожиданным образом. Люди будущего должны будут соединить свой собственный жизненный порыв с системным взглядом на биосферу, для которого жизнь и смерть представляют собой лишь два аспекта одного и того же процесса. В этом трансгуманном двойном знании обнаружит себя форма мудрости, обязательная для людей в условиях биологически просвещенных цивилизаций. Мудрость означает *modus vivendi*, делающий жизнеспособным знание, о котором сама жизнь не могла бы дать нам никаких сведений.

Если мы предположим, что в конце XXI столетия общепланетарная популяция *homo sapiens* стабилизируется на границе 10 миллиардов индивидов, то получим биотатотоп, в котором при весьма цивилизованном глобальном показателе смертности в 1.5 процента, то есть при средней ожидаемой продолжительности жизни 75 лет, будет происходить не менее 150 миллионов «естественных» смертных случаев *per annum*,* и это соответствовало бы количеству жертв более чем семи эпох нацио-

378 Vilém Flusser. *Motive und Grenzen der Kommunikation* // *Vilém Flusser. Kommunikologie*. Mannheim, 1966. S. 261.

* В год (*лат.*).

нал-социалистского террора или тридцати гитлеровских холокостов, а также соответственно четырех сталинских эр или трех роковых реформ Мао Цзэдуна.³⁷⁹ Чудовищность этих цифр состоит в том, что они следуют из статистических данных, описывающих человечество в состоянии умиротворения. Нейтральные события требуют, чтобы с ними обращались с благоразумной пассивностью, а последняя требует обуздания *homme révolté*,* ничего не прощающего даже идущей своим путем природе. В этих обстоятельствах следует понять, что желание взять на себя ответственность за них попросту абсурдно. Если бы нам нужно было вернуть прежнюю актуальность вышедшему из употребления понятию человеческого достоинства, то его дефиниция гласила бы: принять эти диспропорции к сведению и действовать так, словно каждый дополнительный день в жизни каждого отдельного человека имеет решающее значение.

9. НОМОТОП — ПЕРВАЯ ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИИ

Как любая группа произвольно продуцирует собственную замкнутость в мире своего собственного звучания, словно бы скрывшись за забором непонимания, так и всякое культурное единство спонтанно инсулируется посредством своего *modus vivendi* или своей нормативной конституции. Мы указали на ситуацию, для обозначения которой не существует какого-либо простого и убедитель-

³⁷⁹ Для правого экстерминизма существуют цифры, для левого — оценки. Хартмут Бёме (*Hartmut Böhme*, *Genozid im 20. Jahrhundert. Perspektiven der UN-Konvention von 1948 gegen Völkermord // Paragrana. Internationale Zeitschrift für Historische Anthropologie. Bd. 10. Berlin, 2001. S. 124—148*) приводит результаты количественных и сравнительных исследований геноцида, согласно которым число жертв террора с начала XX столетия и до 1987 года составляет приблизительно 161 миллион человек, большая часть которых — жертвы государственной политики уничтожения собственного населения, причем цифры, относящиеся к левототалитарным режимам, намного превосходят все прочие.

* Бунтующий человек (фр.).

ного понятия, но различные аспекты которой описываются с помощью таких выражений, как «нравы», «культура», «право и закон», «правила», «производственные отношения», «языковые игры», «жизненные формы», «институты», «габитус». Все инсулированные человеческие группы, выдерживающие испытание сменой поколений и благодаря этому существующие в своем собственном времени, хранят какой-то еще не достаточно исследованный секрет стабильности, без раскрытия которого мы вряд ли сможем понять причины их постоянства: они рождают в себе самих некую нормативную архитектуру, которая настолько сверхличностна, величественна и прочна, чтобы восприниматься пользователями в качестве действительного закона, обязательной инструкции и реальности императивных правил. Этот нравственный эфир, говоря языком Гегеля, обладает признаками объективного духа; он предписан индивидам как нечто, что неукоснительно противостоит их мнению и, подобно именам богов, племенным мифам и ритуалам, в неизменном или лишь незаметно изменяющемся виде передается от поколения к поколению. Смертные прихрдят и уходят, формы и законы остаются. Первоначально это прежде всего объективность ритуала, воспринимающаяся настолько серьезно, что народы могут показаться не более чем эмпирическими ансамблями, собранными богами исключительно с целью сохранения форм. Павел Флоренский, репрессированный в эпоху сталинизма русский священник, отстаивал догмат, согласно которому порядки православного богослужения являются более древними, чем мир.

Для такого способа восприятия нравы или институты на порядок реальнее, объективнее и необходимее, чем обязанные жить в соответствии с ними люди. Платоновские первообразы кажутся перенесенными на небо институтами, более светлыми и действительными, чем любая подчиненная им индивидуальная жизнь. Отголосок этого объективизма мы можем обнаружить даже в графиках

движения поездов германской Федеральной железной дороги, которые, не принимая во внимание возможности эмпирических опозданий, вывешены на вокзалах (информация об отправлении — на евангельски желтом фоне, о прибытии — на белом), защищены остекленными рамками и подсвечиваются по ночам, как бы свидетельствуя, что стабильность мира зависит от благоговения железнодорожников перед минутами. Это религиозное почтение к пунктуальности ни в коей мере не является какой-то вторичной добродетелью; оно представляет собой своего рода остывший рефлекс метафизической убежденности в том, что за каждым фактом стоит некое предписание, а на каждом предписании — печать какой-то более высокой мудрости. Поэтому: *omne ens est bonum*, * * Как нечто вообще могло бы существовать, если бы оно не было уполномочено существовать так, как оно существует? Офицер подает даме правую руку просто потому, что так полагается, а не только потому, что слева он носит шпагу, как подсказывает функциональное объяснение. Мы пишем слева направо потому, что, по убеждению совершавших жертвоприношения греческих жрецов, счастливые предзнаменования появляются с правой стороны. Петухи кричат на рассвете, поскольку их день синхронизирован с ритмом порядочных людей, а они, подобно своему Творцу, предпочитают работать с раннего утра. Стоики дали лаконичное выражение веры в силу правил в тезисе, гласящем, что бытие и бытие-в-порядке суть одно и то же. В 1949 году Витгенштейн заметил: «Культура — это орденский устав. Или же предполагает наличие орденового устава».³⁸⁰ Мы называем поле действия таких правил номотопом.

380 *Ludwig Wittgenstein. Vermischte Bemerkungen. Eine Auswahl aus dem Nachlaß // Werkausgabe. Bd 8 / Hrsg. von Georg Henrik von Wright. Frankfurt, 1984. S. 568.* Мы констатируем, что афоризм Витгенштейна намекает на гностически-гомофилическую мечту об обществе без размножения, поскольку в орден можно только вступить, но в нем нельзя родиться.

* Всякое сущее — благое (*лат.*).

Тот, кто оказывается на человеческом острове, видит, что обитающие на нем группы находятся под напряжением локальных правил, — напряжением, имеющем фундаментальное значение для социальной статики. Позитивная корреляция нормативного климата группы с ее стабильностью, а следовательно, с ее живучестью, является древнейшей интуицией мудрецов и старейшин всех народов — ни одно из первоначальных сообществ по выживанию не могло позволить себе легкомысленно относиться к своим нравам, своим формам, своим догмам. Факт, что любой свод правил одновременно оказывается охваченным сетью терпимых исключений, впервые признается лишь современной, системной и инспирированной деконструктивистскими мотивами теорией общества.³⁸¹ В своих морально-критических исследованиях Ницше выводил *нравственность обычая* из его способности просто и не терпя возражений приказывать: смысл всех традиционных требований самоконтроля состоит именно в том, что обычай и традиция воспринимаются как нечто господствующее безусловно.³⁸² Аналогичным образом рассуждает и Габриэль Тард: «Самое деспотичное и педантичное правительство... это обычай».^{383 384} То, что господствует безусловно, считается самоцелью или благом, праведным и почтенным вне зависимости от мнения отдельных комментаторов. О превосходстве этих ценностей *implicite* говорил Цицерон, выдвигая тезис, что мы рождены для справедливости: *nos ad iustitiam esse natos*.^{3*4} Вне всякого сомнения, под *iustitiam* здесь подразумевается не только равнодушная богиня с повязкой на глазах и весами в руке. В ее имени сохраняется отзвук архаичного предрассудка об онтологической легитимности власти форм, процедур и обычаев. Рассмотрен-

³⁸¹ См.: Günther Ortman. Regel und Ausnahme. Paradoxien sozialer Ordnung. Frankfurt, 2003.

³⁸² Friedrich Nietzsche. Morgenröthe. Buch I. N 9.

³⁸³ Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung. S. 346.

³⁸⁴ De legibus. I, 28.

ные в этом свете формальности, структурировавшие римский судебный процесс, окружаются почти такой же аурой смысловой благообразности, что и обычаи, в соответствии с которыми функционирует трюфельный рынок в Карпентра или протекает церемония открытия крупного турнира по сумо в Нагое.³⁸⁵ Как в одном, так и в другом, да и в любом подобном случае, речь идет о создающем фон социальном синтаксисе. Благодаря относительной неподвижности фона нашему наблюдению становятся доступны подвижность и цвет фигур. О том, что при такого рода рассуждениях мы сталкиваемся с вопросами системной стабильности, впервые заговорила лишь новейшая социология. Толкотт Парсонс видел в способности к сохранению структуры (*pattern maintenance*) одну из первичных задач любого социального формирования, представляющего собой определенное единство. В нашем контексте следовало бы говорить о моральной статике, поскольку достаточно полная теория человеческого острова включает в себя возможность описания его укрепления нормативными внутренними напряжениями.

Следует с самого начала отдавать себе отчет, что в такого рода рассуждениях речь идет о четко датированных способах рассмотрения, ставших возможными, по всей видимости, не ранее середины XX столетия, после того как арсенал классической архитектуры и различных строительных логик пополнился революционно новыми статическими принципами, которые даже могут рассматриваться в качестве альтернативы мышлению в статических понятиях как таковых. Мы имеем в виду, во-первых, изобретение первых *air structures** * и пневматических куполов Уолтером У. Бёрдом, Виктором Лунди, Отто Фраем и другими архитекторами-авангардистами в

385 *Marc Augé. Pour une anthropologie des mondes contemporains. Paris, 1999. P. 103.*

* Воздушные конструкции (англ.).



Рукоположение священников в Риме.

США и Европе; эта архитектурная форма, в которой используется слабое давление воздуха внутри помещения, способствовала распространению принципа самонесущего бесстенного строения. Во-вторых, речь идет о разработанных Букминстером Фуллером *tension integrity structures*,* коротко именуемых тензегритетами, — парящих благодаря внутренним напряжениям каркаса пространственных образованиях, отменяющих принцип несущей стены и заменяющих его жесткостью напряжений между связанными тросами антеннами.

Для социологической теории, не использующей выражение «система» созерцательно, а интересующейся его оперативной разработкой в механическом, архитектурном и институциональном конструировании, эти инновации имеют большое значение, ибо они беспрецедентным с

* Целостные тензионные конструкции (англ.).



Тео Ботсхюйвер, Джеффри Шоу и Шон Уэллесли-Миллер. *Air-ground*. 1968 г.

точки зрения истории идей и техники образом эксплицируют смысл системных структур, надежности стабилизационных мер, предпринимаемых в связи с необходимостью адаптации к подвижному. Экспликация здания и крытого места посредством статических расчетов ведет — как прямыми, так и извилистыми путями — к экспликации статичного и постоянного вообще, а затем — к экспликации институционального, государственного, системного с его архитектурной или строительно-логической стороны. Статика превратилась в Первую науку, теория по-става — в первичную этику. Она — современная теория *par excellence*, поскольку занимается сейсмостойкими и выдерживающими различного рода катастрофы строениями. Не случайно один из самых значительных философов права Пьер Лежандр говорит о праве и о государстве как о величинах, которые можно поддерживать лишь с помощью своего рода моральных строитель-



Аксель Таллемер. *Airitecture Hall*. Для Festo Corporate Design, 1996 г. Наполненная воздухом стропильная затяжка и образные боковые фермы. Материал: витрофлекс.

ных лесов или какой-либо подкрепляющей нормы конструкции (*échafaudage, montage*).³⁸⁶ Если слова «Staat» (государство) и «статика» происходят от одного корня, то это может напомнить нам о внутренней связи между двумя архитектурными искусствами, изданием норм и возведением зданий. Но как следует и в том и в другом случае мыслить *status*, после того как строительная логика современной архитектуры пришла к концепциям стабильности, находящимся по ту сторону всего того, что могла себе представить классическая статика?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется пойти окольным путем. Можно вспомнить, что латинское слово *ordo* в его средневековом употреблении могло означать как способность к хорошей организации вообще, так и орден, отдельное хорошо организованное строение духовной жизни. Августин, Бенедикт, Бернар, Доминик, Иг-

386 *Pierre Legendre. Ce que nous appelons le droit // Sur la question dogmatique en occident. Paris, 1999. P. 123—152.*

натий — эти и другие имена собственные свидетельствуют, что орденские уставы могут идентифицироваться как творения отдельных авторов, поэтому эти *regulae** * оказываются столь же произвольными, как и любой установленный людьми синтаксис. Тем не менее они должны стремиться стать такими же эффективными, какой может быть только окруженная нимбом необходимости и ревностно исполняемая норма. Таким образом, *ordo* одновременно является и жизненной формой, и сводом правил, лежащим в ее основании (системные аналитики могли бы пойти еще дальше и утверждать, что «нарушения правил для пользы дела» составляют конститутивную часть *ordo*-жизни³⁸⁷). По аналогии можно заключить, что орденом была и платоновская Академия, поэтому как его «*Politeia*»,** так и «*Nomoi*»*** оставались программными сочинениями, не пригодными для обоснования какого бы то ни было реального сообщества. Блестящее замечание Витгенштейна принимает во внимание двойственность, заключающуюся в понятии ордена, с одной стороны, подчеркивая, что каждая конкретная культура организована по типу ордена, а с другой стороны, указывая на правило, которому следует организация как таковая. Этот двойной смысл можно выразить в двух тезисах: «Культура есть текст» и «Культура есть синтаксис». Применительно к архитектуре сообщества это ведет к тезисам: «Культура есть строение» и «Культура следует правилу, продуцирующему пространство». Где бы ни обретал свои контуры человеческий остров, всюду возникает своего рода нормативное напряжение, свидетельствующее, что на острове действуют определенные правила проживания — для аборигенов (вплоть до возникновения чрезвычайных ситуаций), скорее, незаметные, для чужаков необычные или поразительные, для философов стано-

387 *Günther Ortman. Regel und Ausnahme. S. 33.*

* *Правила (лат.).*

** «Государство» (греч.).

*** «Законы» (лат.).



Аксель Таллемер. *Airquarium*. Для Festo Corporate Design, 2000 г. Диаметр 32 м, высота 8 м. Стабилизируется с помощью вращающейся балластной цистерны.

вящиеся поводом для размышлений о духе институтов и институциональности духа.

В свете вышеназванных архитектурных новаций уже древнейшие человеческие коллективы могут быть уподоблены куполам или тензегритетам, использующим давление воздуха. В них функционирует принцип стабилизации посредством взаимной нагрузки или атмосферного напряжения. Интеграция группы, ее типичная стабильность, ее символическая репродуктивность зависят от ее способности помещать своих членов в условия создающей культуру необходимости повторения. Производство специфического для группы давления или натяжения, привязывающего членов группы друг к другу и к тилизированным задачам, возникает в первую очередь благодаря предшествующим любым формулировкам ожиданиям, которые все имеют относительно всех и каждый относительно каждого. Их языковой формой является принуждение, а в случае конфликта или разочарования — его эскалация до угрозы. Поэтому мы не будем способны к адекватному описанию коллективов, пока не покажем, по каким каналам внутри них направляются потоки приказаний. В их моральную структуру входит

согласие относительно того, кто кому приказывает и кто, когда и какому адресату имеет право угрожать. Суверен — это тот, кто обладает привилегией угрожать. Наука о стратегии определяет угрозу как «вооруженные угрозы»;³⁸⁸ социологически она могла бы быть описана как чреватая санкциями рекомендация.

С точки зрения новой строительной логики Букминстера Фуллера — или, лучше сказать, из перспективы, могущей возникнуть из моральных аналогий к ней, — «общества», как примитивные, так и высокоразвитые, представляют собой тензегритеты ожиданий, а следовательно, укрепленные принуждением и угрозами множества, состоящие из регулярных акций и жилищных условий. В этом контексте очевидно, что распространенное выражение «давящая тяжесть ожидания» заимствовано из лексикона устаревшей статистики, ибо нормализованные групповые ожидания не носят характера давления, а воздействуют посредством влечения, поскольку этому модусу передачи энергии соответствует апелляция к амбициям и самомнению, а также миметический соблазн. Аналогии с давлением становятся уместны только при явной угрозе, поэтому они зарезервированы за чрезвычайной ситуацией. Культура в первую очередь и по большей части представляет собой удержание натяжений, благодаря которым члены коллектива привязываются к свойственным группе регулярностям. Действие права и обычаев внутри группы порождает у ее членов вызывающее аутогенный стресс перманентное раздражение и погружает коллектив в состояние символической вибрации, которую, скорее всего, можно сравнить с эндогенно стабилизированной температурой тела теплокровного живого существа. Та функция, которую в организмах выполняет теплокровность, в социальных единствах порождается вызывающими стресс темами. Поскольку группы всегда

388 *Edward N. Luttwak. Strategy. The Logic of War and Peace. Cambridge (Mass.); London, 1987. Chap. 13: Armed Suasion. P. 190.*



Ютака Мурака. *Pneumatics in Pneumatics*. Всемирная выставка в Японии, 1970 г.

что-то замышляют (например, работу или праздник, войну или выборы) и постоянно чем-то себя возбуждают (будь то природные катастрофы, происки врагов, преступления или скандалы), они непрерывно переплавляют используемый ими материал, чтобы прийти к согласию по поводу своего положения — было бы лучше сказать, своей иммунной ситуации или своего стрессового статуса. С помощью своих актуальных тем группа сама измеряет себе температуру; благодаря своей температуре она сообщает себе свое оперативное единство как эндогенно замкнутую когерентность возбуждения.

Коллективы вибрируют во внутренне вызываемом возбуждении, превращающем нормативный стресс в их нормальный тонус. «Тайна здоровья»³⁸⁹ групп состоит, среди прочего, и в том, что они, как правило, не ощущают и едва ли способны тематизировать свое основное но-

389

См.: Hans-Georg Gadamer. *Über die Verborgenheit der Gesundheit*. Frankfurt, 1993.

мотопическое напряжение, — лить на их анархически настроенной периферии иногда с сомнительной категоричностью говорят об отказе от подчинения нормам и стремления к успеху. Даже Древний Китай не был исключением из этого правила, хотя с точки зрения внешних наблюдателей он буквально сгибался от давления деспотии обычаев; китайский модус бытия-в-мире включал в себя тренинг способности считать свое дисциплинарное напряжение в высшей степени нормальным состоянием мира.³⁹⁰ Нечто сопоставимое европейские наблюдатели XVI—XX веков могли видеть в безжалостном формализме японских обычаев. Вытеснение нормативных стрессоров в подсознание происходит потому, что группы включают свои ожидания действий в рутинный порядок.

Рутин — это отшлифованная повторением и в силу этого ставшая незаметной форма ожидаемого напряжения. Арнольд Гелен в своем главном антропологическом труде подчеркивал выдающееся значение нормализованных ожиданий напряжений и подводил их под понятие институтов, причем под институтом он понимает удачный и прочный компромисс между разгрузками и нагрузками; он — воплощение «стабилизированного напряжения».³⁹¹ В этом понятии институтов можно увидеть апологию бессознательного поддержания порядка, причем в игру вступает концепция бессознательного, ориентированная на латентное, а не на вытесненное (но как персональному бессознательному знакомо возвращение вытесненного, так и латентному знакомо возвращение парадоксального). Согласно этой точке зрения, индивиды должны, рискуя всей своей жизнью, вступаться за порядки, в которых они живут, но в то же время эти порядки избавляют индивидов от необходимости принятия реше-

³⁹⁰ См.: *Paul Lafargue. Das Recht auf Faulheit: Widerlegung des «Rechts auf Arbeit» von 1848.* Grafenau, 1999.

³⁹¹ *Arnold Gehlen. Urmensch und Spätkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen.* Bonn, 1956. S. 88 f.



Р. Букминстер Фуллер. *The Neckless Dome* (Безопорный купол). 1950 г.

ний, словно»делая за них их персональный выбор. Нагружая, они разгружают. Разгружая, они высвобождают энергии для нового обращения к общим задачам, или *ти-нега*. Здесь понятие правила вновь предстает во всей своей фундаментальной важности, ибо объективность правила освобождает индивидов и группы как от трагедии бесформенности, так и от требования постоянной оригинальности.

Сколь бы теорема Гелена об институтах как о фоновых силах поддержания порядка ни соответствовала широким умонастроениям XX столетия, согласно которым в порядках предпочитают видеть простые инфраструктуры, а в стражах порядка — не более чем чиновников, которые наилучшим образом исполняют свои обязанности, если служат и молчат, она тем не менее допускает лишь одностороннее восприятие основных номотопических от-

ношений. Ведь номотоп, как правило, обладает и фасадом, никак не соответствующим тенденции к растворению власти и силы в тихой рутине. Как занимающаяся самовнушением и самозапугиванием величина, опирающаяся на нормы группа живет перформативной силой нуждающихся в публичности ритуалов. Именно здесь следует искать источник политически возвышенного. Правовая система, по крайней мере со времен Рима, разворачивается в особого типа театральность. Как власть не может обойтись без типичных для себя эпифаний, будь то празднества, акты принесения присяги, парады, государственные символы и мучительно сложные протоколы, так и право нуждается в точной инсценировке своих формальностей — особенно в судопроизводстве, устанавливающим такие процессуальные правила игры, которые позволяют увидеть в нем своего рода компромисс между исследованием и театром. И то и другое служат визуализации создающей порядок власти, издревле не удовлетворяющейся бессознательной, так сказать, тыловой мотивацией индивидов. У каждой культуры есть тарпейские скалы. В XVII веке, в эпоху, когда европейская законодательная, или законоинсценирующая, власть самым откровенным образом выставляла напоказ свои догматические потенции, она без обиняков говорила о праве как о «театре истины и справедливости». Из своего догматизма она выводила способность к строгости, которая должна быть очевидной каждому и которая после разрушения Сверх-Я во второй половине XX века может восприниматься лишь как необоснованная жестокость или как претенциозный реликт эпохи персонального господства. Чувство «величественности» сохранилось лишь у некоторых неисправимо староевропейских теологов.³⁹² Они первыми должны были бы понять, почему величественное государство в эпохи своего расцвета демонстрирует как

392 *Hans Urs von Balthasar. Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. 2 Bde. Freiburg, 1990.*



Р. Букминстер Фуллер с моделью тензегритета в Университете Южного Иллинойса. 1958 г.

славные, так и ужасные черты.³⁹³ Более того, короли просто достойны восхищения, если они равнодушно отказываются нас уничтожить. Из продуктов распада величественного ужаса в лоне романтизма развилась политическая эстетика смертельной опасности, мистифицированная буржуазной философией после Бёрка и Канта в качестве способности человеческой души судить о возвышенных или потрясающих предметах. Тем не менее указание на обыденный или quasi-бессознательный аспект пребывания в нормативном пространстве действительно имеет под собой серьезные основания. Объективность и фоновый характер правила уберегают от ошибочной точки зрения, согласно которой «обычай» или законы якобы должны были служить для самовыражения индивидов. То, что сегодня называют выражением, впервые стало возможным лишь на фоне ставших чем-то само собой разумеющимся (а потому и непонятым) символических институтов и культурного автоматизма — оно может осуществлять их ассимиляцию (приобретать, чтобы обладать), а может форсировать бунтарскую контрдифференциацию. Мир выражения подчинен правилу, гласящему, что индивиды, каждый на свой манер, должны обходить правила. Когда Мефистофель объявляет, «что законы и права передаются по наследству, как вечная болезнь», он уже говорит как буржуазный экспрессивист, полагающий, что форма есть нечто, растущее изнутри наружу (и беспокоящее нас как случай «отчуждения», если оно стремится к значимости самостоятельного факта). В хроническом конфликте между следованием правилам и демонстрацией собственных склонностей он в соответствии с новым духом времени выбирает второе.

Из слов гётевского чёрта очевидно, что он несколько не скрывает своей полной приверженности современности — культурному предприятию, пустившемуся в аван-

393 См.: *Richard von Dülmen. Theater des Schreckens. Gerichtspraxis und Straf rituale der frühen Neuzeit. München, 1985.*

тьюру перманентного установления новых правил, не слитком поддаваясь влиянию романтических и католических призывов вернуться к чему-то твердо установленному. Здесь перед нами не что иное, как попытка преодоления традиции сохранения традицией научения. В ней скрывается неприемлемое для всех консерваторов — вплоть до Гелена — представление, что обычаи, институты, законы, синтаксисы и жизненные формы суть нечто такое, что можно изменять, коль скоро возникает возможность их улучшить — при условии, что измененное правило также понимается как правило, которое будет иметь силу. Именно эту прагматическую точку зрения на закон вплоть до последнего времени ни за что на свете не желали воспринять те, кто находился во власти консервативного страха перед переворотом: для них всякое сознательное уклонение от традиции, нормы и прочной организации (по словам Ницше: от «старости», «святости» и «беспрекословности обычая»³⁹⁴) уже включает в себя и отказ от порядка вообще, а в нем для них заявляет о себе самое худшее — анархическая всеобщая стачка против формы, отказ от ритма, тонуса, институциональной основы мира. От «открытого общества толкователей конституции» в этих кругах не ждут ничего хорошего. Как следствие, истинные консерваторы горюют по сильному государству или — в более скромной форме — по порядку Отца, Сына и общезначимого.

Однако в силу этой подозрительности и вследствие этой тоски по возвышенному сущность установления правил в современном номотопе понимается превратно: жизнь по действующим правилам сообщества, если оно является современным, не должна быть просто «бессрочным пребыванием в сфере действия закона»;³⁹⁵ оно уже не думает, что должно быть рабом состояний только по-

394 *Friedrich Nietzsche. Morgenröthe. Buch 1. N 19.*

395 *Hans Thomä. Unter Amerikanern: eine Lebensart wird besichtigt. München, 2000. S. 75.*

тому, что они — состояния. Если оно не молится Богу *status quo* и не опускается а *priori* на колени перед статичным и государственным, то все равно не погружается ни в анархию, ни в суету пустопорожнего менеджмента. Современная жизнь стремится понимать «орденский устав», которому она следует, как выражение процесса оптимизации, в каковом она сама принимает участие, — отсюда ревизионистские настроения новейших времен, отсюда и новое толкование этого правила в таких терминах, как аккумулируемый «социальный капитал» и активно расширяемые «радиусы доверия».³⁹⁶ При всем этом граждане современности остаются столь же заинтересованными в сохранении жизнеспособных форм, как и люди любой верующей в *ordo* эпохи. Более того, они интенсивнее, чем в какой-либо прежней цивилизации, на всех возможных уровнях эксплицируют вопросы безопасности и самым артикулированным образом вырабатывают свои иммунитеты. Сколь бы длителен ни был путь от абсолютизма обычаев и форм к их разжижению в функциональных выражениях и спонтанном нормативном творчестве, активные сторонники современного гражданского общества, сознавая все издержки, пройдут его до конца, словно он есть не что иное, как *curriculum humanitatis** * вообще.

В достигшей своего полного развертывания современности номотопические факты предстают как множество политических и приватных диетических меню, называющих свою состоятельность в качестве рабочих гипотез для совместного бытия коллектива. Здесь можно было бы использовать термин Габриэля Тарда «моральная мода» (*morale mode*), при условии, что под модой также понимается эпидемическая имитация осмысленного и практического. О нуминозном основании права — мистиче-

396 Francis Fucuyama. *Der große Aufbruch. Wie unsere Gesellschaft eine neue Ordnung erfindet.* München, 2002. S. 193—326.

* Жизненный путь человечества (*лат.*).

ском самовозвышении имперских администраций в течение двух последних тысячелетий — современность более ничего не желает слышать. Этому нисколько не противоречит даже тот факт, что у нас эти гипотезы продолжают жить в quasi-возвышенном стиле конституций. Если мы рассмотрим это обстоятельство более внимательно, то сможем заметить, что конституции, в сущности, также представляют собой изобретения и сочинения по определенному поводу.³⁹⁷

Тензегритетный характер совместного бытия людей в номотопическом поле уже не статических и не этатистских ассоциаций проявляется прежде всего в сложной структуре разделения труда. Без учета действующего издадека, постоянного напряжения, дающего о себе знать в праве и обычае, невозможно понять, как люди способны противостоять искушению автаркии в небольших единствах и заняться профессиональной деятельностью в коллективе, где практикуется разделение труда; такая деятельность, как известно, кормит человека лишь тогда, когда многочисленные другие люди в достаточном масштабе заняты каким-то дополняющим его деятельность трудом — до тех пор, пока из дифференциальных отношений разнонаправленных активностей не возникает рыночный эффект, а вместе с ним общество обмена. То, что называют рынком, есть не что иное, как интегрированная дальними напряжениями конструкция из еливающих друг с другом ожиданий. «Система потреб-

397 о том, что это может буквально соответствовать действительно сти, свидетельствуют знаменитые слова Томаса Джефферсона по поводу окказионального характера Декларации независимости от 4 июля 1776 года: «Neither aiming at originality of principle or sentiment, nor yet copied from any particular and previous writing, it was intended to be an expression of the american mind, and to give to that expression the proper tone and spirit called for by the occasion [«Не претендуя на новизну принципа или чувства и не копируя какой-либо конкретный и предыдущий документ, но с целью выражения желания американцев и чтобы дать этому выражению собственный тон и дух, как того требуют обстоятельств ва»]. Цит. по: Hannah Arendt. Über die Revolution. München, 1974. S. 168.

ностей»³⁹⁸ обретает свои механические свойства благодаря комплементарности удаленных, но совмещенных друг с другом отдельных производств. В своего рода моральной фермовой конструкции тензегритет обмена предъясняет совершенно новые претензии к этосу участников рынка, не только требуя от них гарантий качества продукта и платежной надежности, включая лояльное использование монеты, но и прежде всего превращая учет потребностей удаленных других в форму мышления и жизни.³⁹⁹

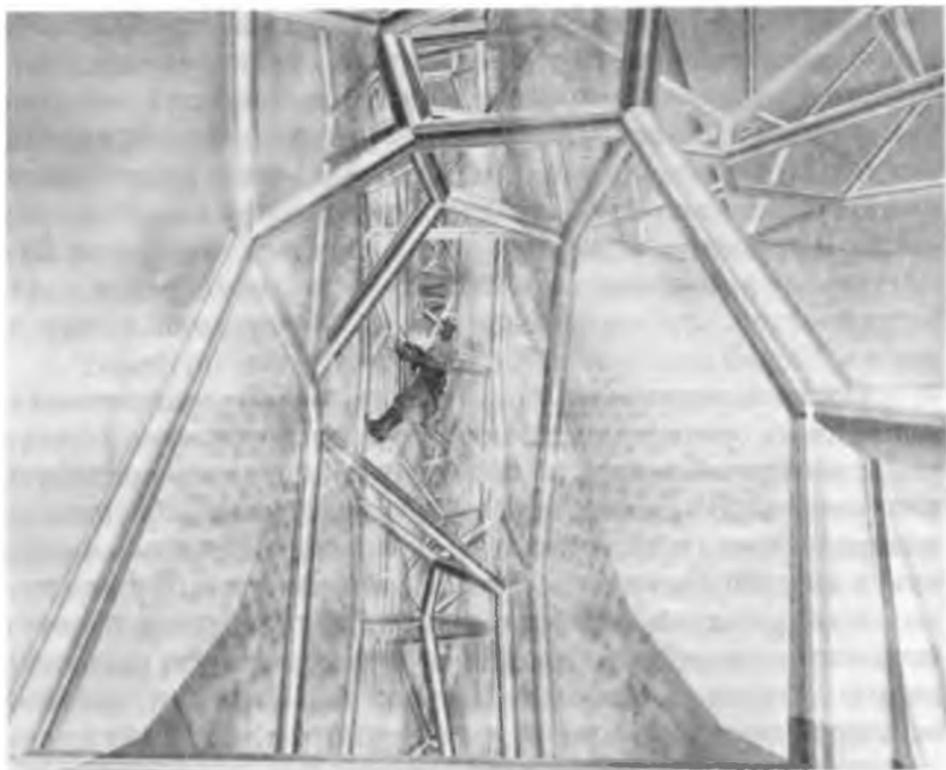
По всей видимости, способность людей существовать в крупных социальных единствах невозможно объяснить, не принимая во внимание цивилизующее воздействие тензегритетов обмена: культивирование интереса к интересу других порождает в высшей степени невероятную с антропологической точки зрения ситуацию внимания к дальнему, к которому позднейшие учителя нравственности присоединили еще более невероятную рекомендацию любви к самому дальнему. Там, где должен осуществиться переход от конкретного к абстрактному, от существования небольшой группы к имперскому формату, наряду с метафорами родства и дома⁴⁰⁰ всегда используются и торгово-этические техники дальних напряжений, делающие возможной первую форму «мирового этоса». Из всех античных авторов самое подробное описание такого рода взаимосвязей дал Аристотель; в определенном смысле наша теория дальнедействующих моральных напряжений внутри полиса и в межполисном пространстве может быть представлена как репродукция аристотелевских анализов городской репутации людей и регулирующей силы авторитета.

В эпоху немецкого идеализма из буржуазного внимания к дальнему как хронического интереса к интересу

³⁹⁸ *З. В. Ф. Гегель. Философия права. § 189—208.*

³⁹⁹ См.: *Michael Ignatieff. The Needs of Strangers. New York, 1984.*

⁴⁰⁰ См.: *Dieter Claessens. Das Konkrete und das Abstrakte. Soziologische Skizzen zur Anthropologie. Frankfurt, 1980.*



Скалолаз на фасаде пенистого тензегритета.

других развивается так называемый категорический императив — формальное понуждение, предписывающее своим адресатам правила по ту сторону какой бы то ни было более подробной информации о содержании их должностования: ты должен желать только таких вещей, по поводу которых ты можешь пожелать, чтобы и другие их пожелали, — а именно, чтобы соблюдать универсалистский мотив: все другие, и чтобы соответствовать рационалистической заповеди: все те, кто способен и согласен воспринимать голос разума. Согласно Канту, вменяемый человек — служащий своей собственной способности суждения, и в качестве такового он подчинен долгу правильно мыслить. Интеллигенция есть по-

виновение заповедям, не отделимым от способностей, — или, говоря языком XVIII столетия, силам души;. Заботливые матери буржуазной эпохи выражали эту мысль сходными по смыслу словами: талант, ко всему прочему, и обязывает! Поэтому они видели свою миссию в том, чтобы вложить в своих детей присущий им порыв веры — с тем результатом, что наплыв одаренных детей мощным толчком двинул вперед цивилизационный процесс. После того как эти инвестиции становятся спорадическими или прекращаются, современный номотоп сверх меры заполняется людьми депрессивными или изнеженными, забывшими долг и разочаровавшимися в желании; над ландшафтом воцаряется настроение коллективной бесформенности, охотно объясняемое недовольством политикой (и охотно истолковываемое не прибегающими к теоретическим средствам моралистами как «нигилизм»). Придав индивидуальному долженствованию форму закона, Кант официально утвердил индивид в качестве гражданина мира или нравственного субъекта глобализации, точнее, в качестве участника всемирного рынка, для которого интерес к интересу других в лишенном границ номотопе стал его второй натурой. Кантовский императив представляет собой самую крайнюю формализацию веры в моральную продуктивность далекодействующего напряжения, возникающего в результате разделения труда. Одновременно он служит выражением предположения, что разумный индивид есть воображаемый всеобщий человек, представляющий своей персоной весь род и следующий своему призванию к самоформированию.

После преобразования немецкого идеализма в немецкую теорию систем категорический императив девальвируется до тезиса: всегда поступай так, чтобы другие могли примкнуть к результатам твоего действия. В негативной формулировке это дает предписание: ты не должен не нуждаться в других. Иначе говоря: ты всегда должен рассматривать людей также и как средство и ни-

когда только как цель.⁴⁰¹ Запрет на самодостаточность служит для переноса акцента с разделения труда на коммуникацию — причем последнее выражение должно достаточно трезво пониматься как отсылка друг к другу (а не как единение друг с другом). Очевидно, что это понятие коммуникации значительно более нейтрально, чем то, которым пользуются консенсус-идеалисты; мы обнаружим в нем ироническое измерение, если вспомним, что и связь комиссара полиции с уликами, оставленными преступником, также представляет собой случай коммуникации; то же самое относится и к связи между вором, грабящим гробницы, и теми вещами, которые облегчают фараону его путешествие сквозь царство мертвых. Здесь возникает понятие коммуникации, которое скорее соответствует модели паразитизма, чем соглашению при равенстве шансов. Но поскольку, как показал Мишель Серре, незваный гость, со своей стороны, сам вынужден регулярно терпеть посетителей или коммуникаторов, пирующих за его счет, а они, в свою очередь, потчуют сотрапезников третьего порядка и так далее, социальное поле можно рассматривать в качестве сети самообслуживания, сплетенной из связей с функциями и жизненными играми других.⁴⁰² Быть может, то, что вслед за современными биологами стали называть окружающей средой, представляет собой перечень паразитируемых из некоего данного места адресов (или список паразитов, к посещению которых следует готовиться).

Наряду с «системой потребностей», интегрируемой обменом комплементарными функциями в процессе разделения труда, прекрасно описанной еще Адамом Смитом и Гегелем, необходимо принимать в расчет и до сих

⁴⁰¹ См.: *Arnaud Spire. Servitudes et grandeurs du cynisme: de l'impossibilités des principes et de l'impossibilité de s'en passer. Paris, 1997. P. 218.*

⁴⁰² *Michel Serres. Der Parasit. Frankfurt, 1980; до Серре о паразитах паразитов (et ainsi de suite) говорил Габриэль Тард: Œuvres de Gabriel Tarde. Vol. 1 / Ed. Eric Alliez. Monadologie et sociologie. Paris, 1999. P. 35.*

пор не привлекающую серьезного внимания систему следующих друг за другом паразитарных акций, которая служит для укрепления ансамбля «стабилизированных напряжений», именуемого *status quo*. На ее базисе, например, осуществляется имплантация эмбрионов вовнутрь их матерей, являющихся самыми сговорчивыми хозяевами. В широкой среде разворачивается так называемый мир труда как интегральный паразит биосферы: он развивает то самое одностороннее наступление производящих человеческих миров на ресурсы растительной и животной жизни, которое Маркс торжественно окрестил «обменом веществ между человеком и природой». На вершине находится фискальная система — грандиозный паразитизм, посредством которого современное государство перераспределения приглашает само себя к столу общества в качестве гостя, который в полном соответствии с законом постановляет, что ему полагается самый большой кусок. Интегральный коммуникатор знает, как присосаться к каждой выплате заработка, к каждой сигарете, к каждой услуге, которую одни граждане оказывают другим. Вывод системного теоретика: без тензегритет-эффекта «коммуницирующих потребностей» и паразитируемых паразитизмов не может быть никакого обособления субсистем.

РЕЗЮМЕ

Островной воздух освобождает: вместе с появлением в саванне антропосфер появляются обрамляющие себя единства, которые в качестве человеческих теплиц получают онтологическое значение. В этих теплицах живые существа приобретают беспрецедентную характеристику — открытость миру.⁴⁰³ Их можно было бы назвать

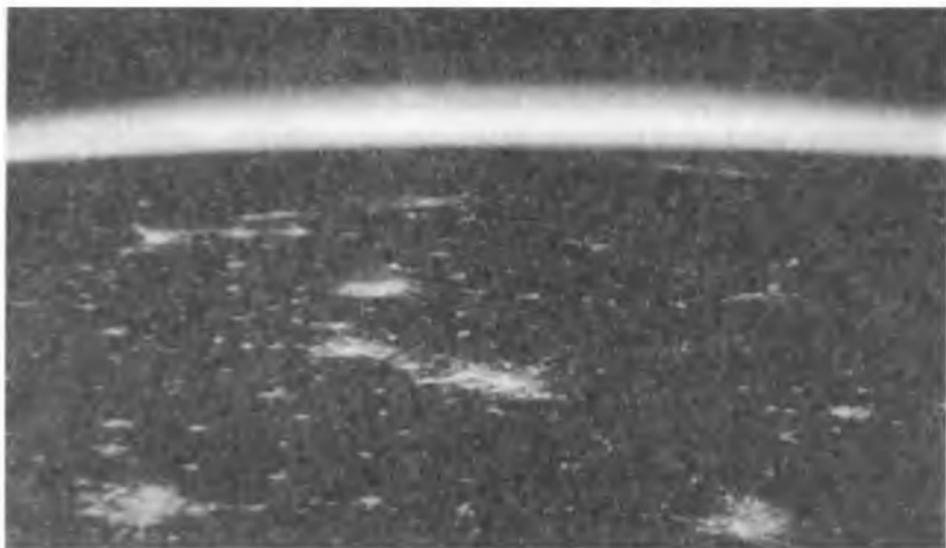
⁴⁰³ См.: *Giorgio Agamben. L'ouvert. De l'homme et de l'animal. Paris, 2002.* Гелен также рассматривал выделение антропосферы из окружаю-

плантациями, на которых выращиваются и программируются мозги и руки типа *sapiens*. О климатизации и поддержании в надлежащем состоянии таких зданий вплоть до недавнего времени было известно почти так же мало, как и о *operating instructions** * космическим кораблем Земля. Классическая грубость и неопределенность, в соответствии с традицией именуемые политикой и моралью, могут дать эффективной кибернетике больших теплиц лишь временные ориентиры. Поскольку единственный открытый для нас путь — это путь цивилизации, сегодня нам следует заняться экспликацией условий эксплуатации антропосферы, до сих пор находивших свое выражение лишь в интуициях и метафорах.

Из синоптического обозрения трех типов рукотворных островов, о которых шла речь в этой главе, мы выясняем, что два первых — абсолютные острова космических станций и относительные острова теплиц — суть не что иное, как искусственные воплощения онтологического островного типа в упрощенных моделях. Космические станции информативны для нас потому, что их предпосылкой является чрезвычайная ситуация инверсии окружающего мира: как имплантированные в вакуум жизненные пространства, они проецируют локальную тайну человечества на Вселенную. Они — самые показательные филиалы антропогенного острова, в условиях чрезвычайного космического положения демонстрирующие, что люди, где бы они ни пребывали, должны пользоваться привилегией обладания внутренним пространством. Тот, кто хочет оставаться человеком, обязан обеспечивать свой комфорт в универсуме. То, что верно для космонавтов, тем более истинно для обитателей того «низкого

щей стихии в качестве истинного механизма формирования культуры: «Природа там сохраняет еще очень многое от антропологически фундаментального "поля внезапности", в которое успешная практика встраивалась, так сказать, как острова нейтрализованного и защищенного привычкой» (*Arnold Gehlen. Urmensch und Spätkultur. S. 112.*)

* Инструкция по управлению (*англ.*).



Рассвет над восточными штатами США; снимок сделан с космического корабля «Коламбия». Слева внизу — Индианаполис. В центре находятся Цинциннати, Дейтон и Коламбус.

ящика» на поверхности земли, о котором говорит Вилем Флюссер.⁴⁰⁴

Как и вывод на орбиту космической станции, строительство теплиц знаменует коренной перелом в представлениях об отношениях между людьми и так называемой внешней природой; благодаря им природа в конечном счете стала восприниматься как нечто не-внешнее, как гражданка республики существ, хотя первоначально ее воспринимали исключительно в форме «товариществ растений».⁴⁰⁵ В конце концов XX век с помощью ассоциации космического корабля и экологии (вспомним о «Биосфере-2» или «Noah's Ark Number Two»⁴⁰⁶) сделал воз-

⁴⁰⁴ См. выше с. 300.

⁴⁰⁵ Об этом выражении см.: *Friedrich Schnack. Der Traum vom Paradies. Eine Kulturgeschichte des Gartens. Hamburg, 1962. S. 331.*

⁴⁰⁶ «Ноев ковчег номер два» — так был озаглавлен текст о геодезических куполах конструкции Букминстера Фуллера (1950). Факсимильное воспроизведение см. в: *Your Private Sky: Diskurs. R. Buckminster*

возможным представлением о вступлении человека в теплый ансамбль, что означало выполнение условий, необходимых для возникновения адекватной антропотопологий: если мы совместим пилотируемую космическую станцию и населенную людьми теплицу, то получим место, характеризующее своих обитателей, — человеческий остров. Место людей должно мыслиться таким образом, чтобы оно выступало, с одной стороны, в качестве имплантата «жизненного мира» в то, что не является жизненным миром, а с другой стороны — в качестве биотопа, в котором человеческие и нечеловеческие симбионты сосуществуют как товарищи по теплице. Одно из древнейших интеллектуальных заблуждений антропотопийцев состоит в том, что они не могли отказаться от восприятия природы как внешней силы: в действительности релевантная природа всегда уже была допущена вовнутрь антропотопической теплицы.⁴⁰⁷

Поскольку с понятием острова связано вытеснение окружающей стихии, нам необходимо ответить на вопрос: каково же то окружение, за счет которого поднимается онтологический остров? Многократно повторявшееся указание, что на пути к превращению людей гоминидные группы развивались на фоне саванн и именно там готовились к своему переходу в царство нового измерения, можно принять лишь в качестве своего рода предварительной справки, поскольку выражение «саванна» принадлежит порядку, никак не связанному с определением существа антропогенного острова. Поэтому с антропотопологической точки зрения оно не информативно. На самом деле выделение формирующейся человеческой группы относится не к ее природному ареалу, африканскому степному ландшафту, а к традиционно свойст-

Fuller / Hrsg, von Joachim Krausse, Claude Lichtenstein. Zürich, 2001. S. 190—239.

407 Отметим, что развернутая Брюно Латуром научно-социологическая критика исключения экспертов на онтологическом уровне сопровождается дополняющей ее критикой исключения природы.

венному ей животному способу *бытия-в* в естественной среде.

Когда представители вида *sapiens* выделяются из своего окружающего мира, они первым делом создают внутренний мир повышенной заинтересованности в собственном предприятии. Они поселяют себя самих в сотканном символическом волшебном шатре, сложенном из внутренних значений и напряжений. Выделение инициирует все более явное переключение внимания с значимых факторов окружающего мира (таких как естественные враги и источники пропитания) на важные аспекты собственного мира — труд, знаки, ревность, конкурентную борьбу за статус, вопросы об истине, потребности в выражении и нуминозные императивы. Чем дальше заходит обособление человеческого острова, тем интенсивнее животные интересы вытесняются из пространства врожденной или благоприобретенной значимости.

Это именно то, что имела в виду идеалистическая философия, говорившая в свою героическую эпоху, что сама природа раскрывает человеку глаза. Мы могли бы парадоксальным образом утверждать, что окружающая стихия оцепенения вытесняется в результате появления острова бодрствования и истины: человеческий остров климатизирует сам себя благодаря избытку бдительности и высвобождающей восприятие осмотрительности. Внимание его обитателей в несоизмеримо большей степени провоцируется различиями и происшествиями в собственной области, чем событиями во внешнем окружающем мире. Если окружающая растительная и животная жизнь представляет собой ограниченную интеллигенцию, то на онтологическом острове возникает тип интеллигенции, которую можно охарактеризовать как свободную или экстатическую. Доведем парадокс до его логического конца: антропический экстаз есть вытеснение животной ограниченности. Поэтому человеческие острова представляют собой миры, то есть коллекции бытия и хранилища успеха. В них подтверждается исконная

связь между бодрствованием и истиной — или между интеллигенцией и успехом. Онтологические острова — это места, в которых открытое вытесняет ограниченное. На феноменологическом языке это означает, что в них бодрствующий дух поднимается из стихии стесненности.

Человеческая сфера возникает, вытесняя свои собственные животные предпосылки. Человечность означает приобретенную неспособность оставаться животным. Если мы прибегнем к метафизическому способу выражения, то получим тезис, гласящий, что мы находимся на острове идеи, который в силу своей бесконечности отодвигает на задний план конечность эмпирических окружений. Поэтому бесконечное может рассматриваться как анклав внутри конечных обстоятельств. Словно разверзается открытая вверх бездна, осуществляется какое-то прерывание жизни, позволяющее увидеть нечто большее-чем-жизнь. Кто может, тот это поймет. Но как бы мы об этом ни говорили, острова пространства людей — это форпосты, выдвинутые в открытое.

Этими рассуждениями о формирующих людей инсуляциях мы отдали дань демону эксплицитного в той мере, которая обязательна для современной теории, призванной объяснить факт существования такого феномена, как человек. Поэтому когда речь идет об описании климатизации обитаемого пространства, мы не можем уклониться от того, чтобы представить антропогенный климат со всей тематической настойчивостью и с достаточной аналитической подробностью определить его компоненты. При этом выясняется, что ни моральные, ни физические климатические факторы не могут приниматься в их простой данности; они становятся пригодными к использованию людьми лишь после их специальной обработки и модификации. Что касается культурных добавлений к элементарному, это является само собой разумеющимся; относительно же естественных добавлений

необходимо показать, что и они оказываются в пределах нашей досягаемости лишь в результате специфического «усвоения». Гегель говорил, что даже обыкновенный воздух в том виде, в каком он нам встречается, не обладает для людей непосредственной полезностью. В «Философии права» он мимоходом замечает, сопровождая свою реплику типичной оговоркой по поводу непосредственного: «Даже воздух приходится приобретать, так как его надо нагревать».⁴⁰⁸ Это лаконичное замечание претендует на то, чтобы считаться кристаллическим ядром философии культуры как атмосферного производства.

Стоит добавить, что атмосферное производство подразумевает отнюдь не только дизайнерскую обработку уже существующих образцов или вторичную кураторскую деятельность; оно представляет собой первичное производство, благодаря которому обретает бытие феномен человека. На языке XIX столетия это означало: антропогенный климат есть базис, на котором возникает человек как надстроечный эффект. Наши рассуждения *implicite* показали, почему при нашем взгляде на предмет уже бессмысленно проводить такое различие между базисом и надстройкой, какого требовали примитивные и изощренные материализмы прошлого. Теперь мы знаем, что в циклической причинности тот или иной эпифеномен какого-либо измерения является базисом других, и наоборот; лишь воля к вмешательству, то есть к практическому упрощению, рождает тенденцию к фиксации принципов, из которых якобы можно вывести какие-то следствия. В действительности же следствия принципиальнее принципов.

Мы попытались показать, как за изолирующими стенами возник тепличный эффект, благодаря которому люди стали «питомцами воздуха», — воздуха, в котором теперь разлито нечто большее, чем опасность и привыч-

408 G. W. F. Hegel. Grundlinien der Philosophie der Rechts. § 196. Zusatz // Werke. Bd 7. Frankfurt, 1970. S. 351.

ность животной жизни в саванне. Согласно нашим рассуждениям, человеческая теплица представляет собой девятимерную структуру, в которую включены главные факты пространства человеческих действий. У нас есть основания полагать, что они описывают тот минимум фактов, без которого принадлежность к антропосфере не может быть понята адекватно. Оригинальность этой теории человеческой сферы (которую имел в виду Гуссерль, вводя не слишком удачное понятие «жизненного мира») проявляется в том, что с ее помощью экспликации подвергается само отношение между эксплицитным и имплицитным. Тем самым она движется по пути, на который впервые обратил внимание Гегель в своей теории рефлексии и который был конкретизирован в теории свойственной системам латентности Лумана. Отныне в имплицитном обнаруживаются два аспекта: оно рассматривается как нечто, с одной стороны, доступное экспликации, а с другой — обладающее собственной ценностью, которую невозможно измерить с помощью одного лишь стандарта эксплицирования. Даже там, где экспликация могла бы состояться, она остается не более чем региональной возможностью; она и не может, и не должна осуществляться повсеместно.

При взгляде на эту девятимерность становится понятно, что в когнитивном отношении «общество» образует поле мест с неодинаковыми экспликационными напряжениями. Там, где они достигают высоких значений, могут артикулироваться теории, выражающие компромисс между сознанием острой опасности и способствующей более интенсивному развитию специализацией — характеристика, подходящая ко всем передовым теориям современности. Интеллектуальные, действующие в местах одинаковой эксплицитности, можно описывать, указывая их положение на своего рода когнитивных изобарах; мы могли бы сказать, что движением интеллектуального по-става перед ними поставлены одни и те же задачи или «дела», — причем, как мы видели, выражения «дело» и

«задача» наилучшим образом истолковываются в свете требований экспликации. Излишне говорить, что тем самым опровергается идиллическая концепция Просвещения, не обращающая внимания на сопротивление прогрессирующей экспликации. Конвергенция между познанием и интересом как всеобщее правило возможна лишь для наивного сознания. Растущей неправдоподобности передовых теорий соответствует все большая нежелательность дальнейшей экспликации. Понятно, то, что Фрейд назвал вытеснением, представляет собой узкий сегмент поля неправдоподобных и нежелательных артикуляций.

Для перевода теории общества на язык пространственных множеств, или пены, топологическое описание антропогенного острова имеет далеко идущее значение, ведь каждая отдельная ячейка в пене отныне должна пониматься как микроинсуляция, содержащая в себе в свернутой форме совершенный образец девятимерности. Этот анализ ячеек представляет собой задачу, в сложности ничем не уступающую исследованию взаимосвязанных крупных тел. Многомерная клеточная социология на свой манер воспроизводит аксиому Габриэля Тарда: *chaque chose est une société** — причем следует учитывать, что выражения *chose* (вещь) и *société* (общество) обозначают отнюдь не только то, что «вещь» состоит из меньших по размеру единиц; теперь каждой отдельной структуре приписывается еще и растворение в многомерности. Каждая семья, каждая пара, каждая резонансная группа в качестве пенных ячеек уже формируют весь антропотоп в миниатюре. Кроме того, каждая ячейка и каждая ассоциация ячеек *alias* культура включены во флуктуирующее многообразие односторонних и взаимных подражаний, скрещиваний и смешений, в котором никогда не может быть идентифицирована какая-либо гомогенная основная форма (не только всякая

* Любая вещь — общество (*фр.*).

культура есть «гибрид»,⁴⁰⁹ такова уже каждая ее ячейка). Как и требовал Элиас Канетти, призывавший видеть в индивидах странников, путешествующих между дыхательными пространствами (в речи, посвященной юбилею Германа Броха),⁴¹⁰ атмосферный анализ должен описывать ячейки в динамичной пене, в их постоянных вибрациях на осях девятимерности.

Благодаря этому взгляду возникает новое понимание функций имплицитного знания. Мы отмечали, что все люди — латентные социологи, но, как правило, не видят причины, почему они должны становиться таковыми в явном виде. Между тем мы вполне способны понять, почему переход в явную форму излишен. Пребывание на антропогенном острове предполагает большую или меньшую способность к навигации в девятимерности, которая издавна *implicite* известна всем под именем «опыта», «реальности» или «мира». Как большинство детей незаметно вникает в сложности синтаксиса своего родного языка, так и каждый обыкновенный островитянин благодаря одному своему участию в жизненных играх первичной группы обретает компетентность, позволяющую ему с достаточной уверенностью передвигаться в каждом отдельном антропотопическом измерении. Существование (*Dasein*) означает понимание всего синтаксиса антропотопы, тогда как понимание этого понимания — совсем другое дело. То, что Хайдеггер в «Бытии и времени» зафиксировал для хиротопы, или подручного мира (что он в силу своей повседневной узнаваемости в недискурсивной ясности указывает на основную черту *открытости*), *mutatis mutandis** можно приписать и всем прочим измерениям. Взрослому обитателю антропогенного острова достаточно одного-единственного взгляда, чтобы ощутить его внутреннюю напряженность и цельность. Самое невероятное

409 См.: *Edward Said. Kultur und Identität. Europas Selbstfindung aus Einverleibung der Welt // Lettre International 34. 1996. S. 24.*

410 См. выше с. 179 и сл.

* Сделав соответствующие изменения (*лат.*).

стало для него само собой разумеющимся; для обитателей онтологического острова импликации фундаментальной ситуации первоначально сохраняются в своей безукоризненной полноте. Подручная вещь, звучащее пространство, генерализированный материнский мир, сфера комфорта, поле желания и влечения, кооперация с другими, бремя истины, испытание богами и напряжение, вызванное требованиями закона: весь каскад сверхкомплексов, по которому они движутся со спокойной осмотрительностью, представляется им почти ровной поверхностью, о которой, как кажется пока, совершенно нечего сказать. Если институционализация колоссального в повседневном общем знании удастся, большинство людей довольствуются обычными воззрениями — и кто может их за это осуждать? По понятным причинам они не доверяют категорическим суждениям о жизненных вещах. Во всех культурах за пределами адской кухни теории люди остерегаются излишних умствований — ведь вместе с эксплицитным приходит буря. Учитывая достижения *esprit de finesse*,* напрашивается мысль, что люди не способны не быть мудрыми. Гёте говорил: «У культуры нет ни ядра, ни скорлупы, / Она — всё разом».

Для объяснения факта, что люди по одиночке или во множестве тем не менее оказываются не соответствующими уровню *sapiens*, необходима своего рода теория самоунижения. Такая теория весьма обогатила бы известную нам историю идей.

* Дух изящества (*фр.*).

INDOORS

Архитектура пены

Сократ: Во мне жил архитектор, полному развитию которого помешали обстоятельства.

Федр: Откуда ты это знаешь?

Сократ: В силу какого-то глубинного желания строить, смутно тревожащего мои мысли.

Поль Валери. Эвпалин, или Архитектор

А. В ЧЕМ МЫ ЖИВЕМ И ДВИЖЕМСЯ И СУЩЕСТВУЕМ

О современной архитектуре как экспликации обитания

Если бы нужно было в самой краткой форме объяснить, какие модификации XX век внес в человеческое бытие-в-мире, ответ гласил бы: он архитектурно, эстетически и юридически раскрыл существование как обитание — или, проще, он эксплицировал проживание. Современное зодчество разложило дом, это формирующее человека дополнение к природе, на элементы и вновь нарисовало его;⁴¹¹ оно лишило город, который прежде организовывал мир вокруг себя, его центрального положения, преобразовав его в местоположение внутри сети из потоков и излучений. Аналитическая «революция», преобразившая центральную нервную систему современно-

⁴¹¹ См.: *H. van der Laan. Der architektonische Raum. Fünfzehn Lektionen über die Disposition der menschlichen Behausung.* Leiden; New York; Köln, 1992. S. 1 (в голландском оригинале для обозначения человеческого жилища используется выражение *menselijke verblijf*).

сти, тем самым затронула и архитектурные покровы человеческой сферы, а учредив своего рода азбуку форм, создала новое искусство синтеза, предложила современную грамматику производства пространства и изменила статус существования в искусственной среде.⁴¹²

Выражение «пространственная революция», использованное Карлом Шмиттом для описания политических последствий перехода к эпохе господства над воздухом,⁴¹³ в действительности следовало бы зарезервировать именно за этим процессом, если бы нам не требовалось вообще отказаться от понятия «революция», поскольку оно является ошибочным в кинетическом отношении и порождающим ложные политические аллюзии термином, не пригодным для обозначения процессов экспликации. То, что рассматривал Шмитт, относится к комплексу феноменов, которые мы описали как экспликацию воздушно-го пространства посредством газового террора, боевой авиации, Air Design и Air Conditioning;⁴¹⁴ он включает в себя совокупность методов (аэротехнических, артиллерийских, авиационных, пиротехнических, фотографических, картографических), в сумме составляющих то, что называют контролем над воздухом или господством над пространством в третьем измерении. Его продолжение в электронной технике дает контроль над телекоммуникациями *alias* «господство над эфиром» с тем часто комментирующимся следствием, что пространство на какой-то момент отодвигается на задний план в пользу примата времени. Однако мнения, что «пространственное мышление» как таковое отныне представляет собой нечто устаревшее, может придерживаться лишь тот, кого сверх вся-

«12 См.: *Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray Silverstein. Eine Muster-Sprache. Städte. Gebäude. Konstruktion / Hrsg. von Hermann Czech. Wien, 1995.*

413 *Carl Schmitt. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. Stuttgart, 1954; 3. Aufl.: 1993. S. 103 ff.*

414 См. выше с. 84—190; а также: *Peter Sloterdijk. Luftbeben. An den Quellen des Terrors. Frankfurt, 2002.*

кой меры смогли впечатлить соответствующие пышные заявления, циркулирующие начиная с 20-х годов прошлого столетия. Английский писатель Э. М. Форстер уже в 1928 году* в своем постисторическом *science-fiction*/1-рассказе «Машина останавливается» вложил в уста одного из персонажей следующие слова: «Ты знаешь, мы утратили чувство пространства. Мы говорим: "пространство уничтожено", но мы уничтожили не пространство, а его чувство».⁴¹⁵ Тезис о примате времени является одной из тех риторических фигур, в которые облекается страх перед современностью. Тот, кто ему поддается, рискует не понять ключевого факта современного мышления, ставшего предметом обсуждения под рубрикой «возвращение пространства».⁴¹⁶ Мишель Фуко говорил: «Современная эпоха, быть может, станет прежде всего эпохой пространства...»

Действительная «пространственная революция» XX столетия состоит прежде всего в экспликации человеческого пребывания или проживания в интерьере, осуществляющейся посредством жилых машин, климатического дизайна и проектирования окружающей среды (вплоть до крупных форм, которые мы называем коллекторами), а также в исследовании феномена соседства с обеими нечеловеческими пространственными структурами, предпосланными или постфактум приданными человеческому пространству, а именно с космическим (макро- и микро-) и виртуальным пространствами. Чтобы сделать пребывание людей в обитаемых местах доступным экспликации, необходима подлинная инверсия отношения между передним и задним планом условий человеческого

415 Edward Morgan Forster. Die Maschine bleibt stehen // Duell im 25. Jahrhundert. Geschichten von glücklichen Welten und kommenden Zeiten. Klassische Science-fiction-Geschichten / Hrsg. von Erich Simon, Olaf R. Spittel. Berlin, 1987.

416 См.: Bernard Waldenfals. Leibliches Wohnen im Raum // Kulturtheorien der Gegenwart. Ansätze und Positionen / Hrsg. von Gerhart Schröder, Helga Breuninger. Frankfurt, 2001. S. 179—182.

* Рассказ «Машина останавливается» был написан в 1909 году.

пристанища. В хайдеггеровской перспективе и тональности бытие-в-чем-то-вообще должно было выйти из колеи, прежде чем оно могло прямо тематизироваться как обживание-в-мире. Если традиционно жилые дома составляли необходимый фон жизненных процессов, то на свежем воздухе современности и существование в «жизненном мире» также затрагивается инверсией окружающего мира.⁴¹⁷ Само собой разумеющимся очевидностям проживания более не удается оставаться на заднем плане. Даже если мы отнюдь не всегда проецируем дома и жилище в вакуум, отныне их следует эксплицировать таким образом, словно они — ближайшие родственники космической капсулы.

Из этого вытекает дефиниция современной архитектуры: она — среда, в которой последовательно артикулируется экспликация человеческого пребывания в рукотворных интерьерах. Поэтому начиная с XIX столетия зодчество представляет собой нечто такое, что в домартовский период* * назвали бы «осуществлением философии». Еще раз повторим вслед за Хайдеггером: оно осуществляет раз-мещение Dasein. Оно не довольствуется статусом более или менее искусного подмастерья, помогающего людям в деле жилищного строительства, истоки которого можно проследить вплоть до обустройства древнейших стоянок, пещер и шалашей. Оно реформирует «места», в которых может осуществляться нечто такое, как проживание, пребывание и у-себя-бытие групп и индивидов в условиях высокого уровня развития автономии, товарно-денежных отношений, правовых институтов, сетевой интеграции и мобильности. Теперь мы знаем, что эти места уже нельзя мыслить как «здесь» и «там» внутри «жизненного мира». В современных обстоятельствах место есть квант огороженного и кондиционированного воздуха, сегмент унаследованной и актуализи-

⁴¹⁷ Об этом выражении см. выше с. 332.

* Имеется в виду мартовская революция 1848 года в Германии.

рованной атмосферы, узел получивших пристанище отношений, перекрестье в сети потоков данных, адрес предпринимательских инициатив, ниша для собственных возможностей, базовый лагерь для экспедиций в окружающий мир труда и переживания, местопребывание бизнеса, регенеративная зона, гарант субъективной ночи. Чем дальше заходит экспликация, тем больше обустройство жилищ напоминает монтаж космических станций. Само проживание и создание резервуаров для него превращается в своего рода сепарацию всех тех измерений или компонентов, которые на антропогенном острове формировались в изначальной конкреции, причем это обособление соединенных в одно целое жизненных условий и их рациональное преобразование могут продолжаться вплоть до предельного значения — воспроизводства человеческого мира-острова в апартаментах для проживания какого-либо отдельного индивида.

Прежде всего следует отметить, что именно новоевропейское повышение мобильности перемещения людей и товаров создало условия для радикального изменения восприятия и формирования человеческого жилища. После того как часть человечества в Европе и США, которая была в первую очередь затронута индустриальной революцией, покинула аграрное состояние и перешла к мультилокальному, полукочевому *modus vivendi*, стало заметно, насколько значимым был старый способ проживания в деревнях и имениях аграрной эпохи. Все наше знание о жилищах и привычках старой эпохи отражает габитус обитания на родинах, в отечествах и странах, сформировавшийся в эпоху десяти тысячелетнего царства оседлости, а его формальные и материальные остатки сохраняются в архитектурных формах дома, деревни и города. Этот универсум принадлежит стесненной жизни, которая в силу своей ограниченности узкими земельными наделами и вялыми ритмами была не в состоянии дать себе адекватный отчет о мотивах и условиях своего жилищного образа действий. У нее никогда не было для этого до-

статочных оснований — не говоря уже об отсутствии средств.

В этом отношении современность не только обладает преимуществом эксплицитности; угол рефлексии изменился достаточно сильно, чтобы могло быть возбуждено постоянное аналитически продуктивное внимание к вопросам пребывания и габитуса. Сегодня мы можем объективно констатировать, что жизнь в оседлости чересчур медленна, слишком замкнута на самое себя и слишком ориентирована на растительную модель, чтобы иметь возможность относиться к присущим ей формам проживания с необходимой для теоретического познания свободой от привязанности к определенной территории. Пока в мире господствовало оседлое состояние, изречение Варрона, гласящее, что земля — это божественный исток, а город — рукотворное дополнение, обладало универсальной значимостью; в нем говорилось: что такое быть дома, способны знать лишь те горожане, которые рассматривали свои городские резиденции как вторые жилища, а свои сельские виллы почитали как родину. Городской человек естественным образом полагает, что на самом деле он не более чем пересаженное растение, а растения не обитают, они укоренены в почве (причем растения с двойными корнями кажутся чем-то гибридным). Лишь с возникновением современных условий коммуникации — коммуникации, понимаемой как экспликация подвижности или телемобильности, — появились реальные альтернативы постнеолитическому габитусу проживания, альтернативы, в конечном счете оказавшиеся способными пролить свет на вечную полумглу оседлости. Теперь скепсис по отношению ко всему, что привязано к почве, может стать позитивным; понятие отрыва от родной почвы обретает ясное звучание и может быть выдвинуто как требование. С наступлением этого перелома у нас появляется возможность понять, что традиционное проживание на так называемых родинах ни в коей мере не является общезначимой парадигмой и нормой челове-

ского местонахождения, как до сих пор утверждают пие-тисты от проживания. Это — привычный, но не вечный способ местопребывания людей, которых где-то что-то удерживает.

1. ПРЕБЫВАНИЕ; ОСТАНОВКА И ХРАНИЛИЩЕ

Чем являются жилища по своей сущности, стало можно говорить объективным языком после того, как современная эпоха выработала специальные архитектурные формы для содействия людям в тех ситуациях, когда им приходится где-то задерживаться. Одним из характерных для присущего ей стремления к комфорту жестов явилось создание предназначенных для путешественников, вынужденных некоторое время ждать пересадки, беспрецедентных архитектурных форм крытой остановки и климатизированного зала ожидания, словно эта эпоха была вынуждена признать, что ожидание для человека слишком безотраднo, и поэтому следует предпринять попытку смягчить его положение минимумом комфорта. При достаточной свободе воображения мы можем обнаружить, что и дома в первую очередь и по большей части представляют собой остановки — точнее, пространства ожидания, в которых люди проводят время вплоть до наступления какого-либо с определенностью предвосхищенного события.

В чем в данном случае были заинтересованы самые древние ожидающие, не составляет загадки: дом неолитического человека — это пространство ожидания, обитатели которого выжидали, пока на окружающих деревню полях наступит момент, ради которого они взвалили на себя бремя пребывания на месте, — мгновение, когда посаженные растения станут пригодны для потребления, складирования и новой посадки. Насколько мы знаем, Вилем Флюссер первым тематизировал и рассмотрел в топологическом контексте этот, казалось бы, триви-



«Коготь» — автобусная остановка в Аахене, спроектированная бюро «Eiseinman Architects» и реализованная «JC Desaux». Фотография Кристиана Рихтерса.

альный, но прежде никогда не описывавшийся *expressis verbis* факт. Дома суть залы ожидания на станциях. Не случайно эта тематизация была осуществлена в рамках спекуляции по поводу метаморфоз жизненного пространства, вызванных открытиями самого дальнего космоса и виртуального пространства.

Итак, дома суть остановки для вынужденной задержаться в каком-либо месте жизни, а кроме того, они представляют собой места, где время вторгается в пространство, — этот тезис является формой экспликации самоочевидности пребывания людей в жилищах, задвинутой на самый задний план. Возвращаясь из самой глубокой незаметности, он представляет собой глубочайшее

проникновение в историю размышлений о строительстве, проживании и обретшей пристанище жизни. С точки зрения философии культуры отношений он весьма плодотворен, поскольку определяет дом исходя из его функции приюта для оседлых, с точки зрения антропологии — содержателей, ибо интерпретирует оседлость как экзистенциал ожидания аграрного продукта (что, да простит нас Хайдеггер, не подразумевает ни заботливого обхождения с вещью, ни заступания в собственную смерть). Кроме того, тезис Флюссера обладает определенными терапевтическими перспективами, поскольку связывает диагноз основной настроенности пребывающей жизни с шансами на изменение настроенности вследствие нового коммуникативного предложения. До сих пор проживание, в сущности, означало неспособность уйти. Что же может еще произойти с живущим в жилище существом «человек», когда оно уяснит, что проживание означает способность-быть-здесь-и-где-то-еще?

Там, где в домах живут *more rustico*,* формируется внутренний климат, соответствующий пребывающей в нем жизни, которая несет на себе печать тихого смирения и навязанной доверительности. В этой ситуации скука — это тональность, в которой свою пьесу играет бытие в целом. Как и любая народная музыка, она такова, что в ней надо родиться, чтобы находить ее выносимой. Порядок должен опираться на то, что совершенно невозможно изменить, даже если бы этого кому-то хотелось: это отношение к совокупности фактов, представляющей собой мир, составляет отличительный признак земледельческих культур. Тот, кто ищет цивилизационно-исторический источник «примата объекта», может убедиться, что он именно здесь. Реальные вещи и их соединения в данные обстоятельства имеют абсолютное преимущество перед голыми желаниями, до тех пор пока мы обитаем в таком мире, в котором во всем, что имеет место, *summa*

* По деревенскому обычаю (лат.).

*summarum** ничего нельзя изменить. В психологическом отношении это дает матрицу чреватой манией депрессии или освещенной слабым лучом надежды подавленности. Знание, основанное на расчете, в этой ситуации всегда имеет оттенок подчинения мощнейшему так-и-не-иначе-сущему. Оседлая жизнь в течение целой эпохи протекала в пространстве этого настроения. Тот, кто возделывает землю, должен уметь ждать; тот, кому не удается задуманное, должен быть готов вновь и вновь начинать сначала.

Крестьянский год — это аграрный адвент. Его психическим результатом является религиозное переживание времени: благодаря мышлению в понятиях сева и сбора урожая формируется взаимоотношение наступления и предвосхищения, с которым связано всякое типологическое мышление с его дуализмом предсказания и исполнения. Что бы ни всходило на полях становления, люди с полным правом ставят вопрос о том, из каких посевов рождается урожай. По плодам их узнаете, что было посеяно. Мыслить в более широких контекстах или быть мудрым в древнем оседлом мире первоначально означало не что иное, как следить за сводом, вздымающимся благодаря заботливо лелеемому созреванию.

Здесь следует вспомнить о том, что древневерхненемецкое слово *bur* означает не только дом, комнату и келью, но также и клетку, в которой содержится домашняя птица; в шведском языке это слово означает арест, заключение под стражу. Слово *Vogelbauer* (клетка для птиц) можно понимать как удел тех, кто зависит от созревания растений. Тот, кто собирается дожидаться созревания растений, должен поместить себя в клетку, в которой царит неторопливость. Поэтому первый дом — это машина для размещения долгого пребывания. Как учреждение для обслуживания циклов созревания крестьянский дом рождает неповторимую привязанность

* В конечном счете (лат.).

своих обитателей к возделываемым землям. Из нее — как ее первая метафизическая прибавочная стоимость — возникает детское доверие к природе как к несущему благо повторению. В этом режиме люди всегда знают, для чего они существуют, ведь событие, ради которого люди пребывают в общем для них положении, всегда остается одним и тем же. Люди коротают свой год, чтобы еще раз принять банальное — точно такое же, как всегда, — причастие природы.

Таким образом, обитание в жилище первоначально означает зависящее от урожая существование на станции «Зерновая товарная». Один раз в году на ней останавливается следующий транзитом поезд с зерном. Если мы до сих пор живы, то только потому, что обладаем привилегией находиться на станции, расположенной на продуктивной железнодорожной линии. Когда груз принят, начинается новый цикл ожидания, поддерживаемый запасами последнего урожая. Если однажды вследствие неурожая или политических волнений поезд не придет, наступит упадок сил и повергнет тех, кто умеет только ждать, в нищету. Если же связь обитания и ожидания нарушается, как это традиционно бывает в периоды военных кризисов и систематически происходит после индустриальной революции, следствием которой стала деаграризация жизни, то это может привести к утрате существующими их ориентации на определяющее короткое мгновение урожая. Как же быть, если придет лето, а на полях уже нет ничего, что можно было бы собрать? Хайдеггер дал впечатляющее описание этой грозной возможности в своей аналитике скуки:

«Это удлинение временного промежутка обнаруживает время пребывания Dasein в его совершенно неопределимой неопределенности. Оно пленяет Dasein, но таким образом, что в чрезвычайно широком и расширенном промежутке времени оно может постичь лишь то, что оно остается в этом промежутке време-

ни и *приковано* к нему... Удлинение есть *исчезновение краткости временного промежутка**.⁴¹⁸

То, о чем говорит здесь Хайдеггер, это террор безработицы, проявляющийся как неимение-чем-заняться. У кратковременности лишь тогда есть шанс стать основой нашего переживания времени, когда мы вовлечены в плодотворное мгновение, которое само говорит нам, что нам теперь делать. Категорический императив аграроонтологии «Не жалея себя ради урожая!» исполним, лишь пока существует смысловое напряжение между предвидением и осуществлением.

Поэтому дом первых земледельцев — это своего рода обитаемые часы. Он — место рождения двух видов временности: времени, выливающегося в некое событие, и времени, которое, словно идя по кругу, служит вечному возвращению того же самого. Благодаря своей принадлежности к первому проекту — взаимосвязи посева и урожая — дома отличаются от хижин, близкими родственниками которых они долго являлись и на которые настолько похожи по своей форме, что их можно перепутать. Прimitивный дом содержит в себе допотопную хижину и упраздняет ее в той мере, в какой перенимает ее функции — охрану сна, защиту от непогоды и паразитов, создание уединенной сферы для сексуальных отношений и комфортной сферы для неторопливого усваивания пищи. Хижина же, наоборот, никогда не содержит в себе дом, ибо она не связана с проектом «урожай», а ее функция исчерпывается ежедневным предоставлением крова (этим обусловлена привлекательность существования хижины для истощенных проектами цивилизованных людей, которые проводят свои отпуска в палатках и кемпингах и уединяются в контейнерах, не требующих от своих обитателей ожидания каких-либо продуктов; в них

418 *Martin Heidegger. Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt — Endlichkeit — Einsamkeit. Frankfurt, 1992. S. 229.*



Превращенные в жилища туфовые холмы в Каппадокии. Кроме жилищ здесь находятся голубятни, зернохранилища, погреба и могилы.

можно жарить на гриле, смотреть телевизор, совокупляться и забыть о брутто-социальной продукции). Что же касается пресловутых экскурсий Хайдеггера в хижину в Готтнауберге, то хижиной она именуется ошибочно, поскольку, по сути, представляет собой амбар, предназначенный для хранения урожая неслыханного. Из хижины на колесах в XX веке возникает жилой трейлер, который, по мысли Флюссера, ценен как свидетельство

окончания неолита, и слукавит тот, кто найдет здесь какие-либо эстетические недостатки.⁴¹⁹

Время, связанное с домами, распадается на время ожидания и время зрелости, на предусмотрительность и реальное настоящее — из них более поздние эпохи формируют дуальность хронического и кайротического с тяжелыми неделями и веселыми праздниками. Как в доме как таковом время расщепляется на две модальности, так и у домашнего хозяйства есть две строительно-типологические стороны: рядом с домом для ожидания, в котором, как правило, в состоянии относительной бедности живут люди, возводится хранилище, дом изобилия, и в нем хранится съедобная ценность, даритель будущего, коллективная свобода от голода и нужды. В эпоху городских империй это силовое поле, в котором сливаются друг с другом запасы, боги и власть с ее машиной войны, будет образовывать энергетический городской центр.

Обе эти строительные формы, каждая на свой манер, соответствуют темпоральным структурам доместицированного Dasein. Склад запасов — это зерновые часы, работающие весь год и обещающие коллективу пользователей, что они переживут этот период, тогда как жилые дома в первую очередь исполняют свое предназначение быть машинами ожидания. Этой двукамерности темпоральных домов соответствует дихотомия путей и движений, связанных с первыми жилищами домашнего типа: с одной стороны, это пути, ведущие от полей к складам запасов и служащие для сбора, накопления и наполнения, с другой стороны — это пути, возвращающиеся от запасов к домам, они используются для распределения, распространения и потребления. На первых путях возникает публичное и общее, в силу чего опубликование до сих пор связано с красивым, в сущности, жестом увеличения общего имущества; на вторых путях появляется

419 *Vilém Flusser. Wohnwagen // Von der Freiheit des Migranten. Einsprüche gegen den Nationalismus. Bensheim, 1994. S. 45—49.*

семейное и приватное, поэтому принесение домой добытых вовне объектов считается одним из древнейших жестов возвращения на свою территорию с возросшим богатством⁴²⁰ (есть еще и третьи пути, ведущие от домов к полям и от полей к домам; позднее они станут маршрутами к рабочим местам и обратно, неблагодарными путями, служащими продолжению ожидания урожая другими средствами).

Тому, кто обладает преимущественным доступом к запасам, проще прийти к мысли, что обитание в жилище должно означать нечто большее, чем ожидание следующего урожая. Заполненное хранилище инспирирует азарт его филобатичных, эруптивных, предприимчивых владельцев, способных содержать свиту и многочисленную родню. Они совершают вылазки, чтобы увеличить радиус своих владений и дать выход своей эксцентрической энергии, тогда как земледельцы, дети глины, всегда обращены к зерновому будущему и способны только исполнять свое оседло-ожидающее предназначение. С той поры как возникла аграрная прибавочная стоимость и ее сакрализованное неравномерное распределение, «общества» разделены на терпеливых — тех, кто сидит на месте и служит, и нетерпеливых, устремленных в даль и творящих историю. Лишь эти последние выдвигают проекты, выходящие за рамки одного года. Привязанности к определенному месту тех, кто в состоянии ожидания занят полевым трудом с целью добычи пропитания, противостоит мобильность хорошо обеспеченных господ, опирающихся на достаточные для экспрессивной и наступательной жизни запасы. У них ожидание созревания злаков перерастает в ожидание созревания побед по ту сторону сезона и года. В более поздние мировые эпохи ожидание результатов и количественных показателей пе-

⁴²⁰ См.: *Manfred Sommer. Sammeln. Ein philosophischer Versuch. Frankfurt, 1999*; а также: *Thomas Scholz. Die Geste des Sammelns. Eine Fundamentalspekulation, Umgriff, Anthropologie, Etymographie, Entlass. Stuttgart, 2000.*

реосмысливается по-новому: как время реализации проекта и период выполнения работ.

Земледельческий мир знает только адвент, но не проект; его разум происходит из размышлений о полезных растениях и их космических аналогах. Уже в силу одного факта, что производится сев, в земледельческом универсуме первое место занимает инвестиционная деятельность, благодаря которой идея прибыли приобретает временную форму; но это мышление в категориях прибыли еще остается дискретным и невнятным. Сегодня для почти канувшего в Лету аграрного мира, и первоначально только для него, является верным замечание Хайдеггера о том, что сбережение составляет «основную черту обитания в жилище».⁴²¹ Так в конце эры оседлости говорит последний пророк бытия-как-растительности. Оглядываясь на проделанную им гигантскую работу, можно сказать, что он был перемещенным в конец своей эпохи протоонтологом вегетативного роста и цветения. Посреди безграничных производств, инвестиций и бомбардировок величайший мыслитель старой Европы, остановившись на пороге между миром роста и миром проекта, все еще видит в неброском наступлении зрелости архетип значительного события.

Dasein, понятое с точки зрения крестьянского жилища, вызывает фундаментальное настроение виноватого терпения, в соответствии с которым как индивиды, так и семьи и народы должны рассматриваться как ждущие существа. В ожидании формируется этос отложенной жизни: она должна позволять использовать себя чему-то такому, что онтологически мощнее и долговечнее ее самой. Как тихий потребитель своего собственного времени отдельная жизнь становится в этом режиме объектом использования некоей превосходящей ее величиной, какие бы имена та ни носила — имена племен, народов, 60-

421 *Martin Heidegger. Bauen Wohnen Denken // Vorträge und Aufsätze, Pfullingen. 5. Auflage. 1985. S. 143.*

гов или искусств. Тем самым очерчена основная ситуация традиционной метафизической интуиции: тот, кто ожидает созревания вещей, неизбежно задумывается об урожае более высокого типа, в котором он сам ожидается подобным созревшему зерну. Мудрость *homo metaphysicus* заключается в девизе: «Пожинать и давать пожинать себя».

2. ПРИЕМНИКИ, УСТРОЙСТВА ПРИВЫКАНИЯ

Благодаря экспликации пребывания как ожидания созревающего начинается первая стадия работы по техническому обустройству среды, в которой люди существуют, живут и творят. Ее сменяет вторая стадия, признаки которой появляются, как только ожидание созревающего распространяется на знаки, возвещающие о чем-то, что к нам приближается и нас затрагивает. Современность спроецировала настроенное на прием ожидание знаков на такие технические аппараты, как радиоприемники и телефоны, существование которых ретроспективным образом позволяет понять, чем всегда были человеческие дома: станциями приема посланий из области экстраординарного. Хайдеггер, чей вклад (а также вклад его наследников Вольнова и Шмитца) в развитие феноменологии обитания в жилище до сих пор остается непревзойденным, истолковал связь между обитанием в жилище и ожиданием знаков необыкновенного как матрицу религиозной или медитативной рецептивности:

«Смертные обитают, поскольку ожидают божественных как божественных. Надеясь, они преподносят им нежданное. Они ожидают намеков на их приход и не замечают знаков их отсутствия... В несчастье они еще ждут неуловимого спасения».⁴²²

422 Ibid. S. 145.



Тацуми Оримото. *In the Box (В ящике)*. 2002 г.

На более простом языке (и без учета того, что в данном случае мы имеем дело с парафразом поэтической теологии Гёльдерлина) это означает, что обитающие в жилищах люди пребывают в той тривиальности, которая впервые позволяет им отличать нетривиальное. Это дифференцирование осуществляется не посредством какого-либо теоретического суждения, а благодаря готовности и способности структурированной привычками жизни контактировать со встречающимся нам необычным, которому мы удивляемся и о котором говорим. В первом приближении это означает, что поселившиеся в своих жилых резервуарах люди жаждут избавления от тривиальности. Эта сценическая универсалия дает о себе знать даже в жизни в современных апартаментах, где пребывание в своем личном пространстве связано с ожиданием

чьего-нибудь телефонного звонка. В часто высказываемом подозрении содержится зерно истины: грехопадение тождественно оседлому образу жизни. Те, кого это касается, понимают, что живут иной жизнью, чем та, для которой они были созданы. Тем не менее уже почти никто не может вспомнить о том, «что было иначе». Бог и номады, которые еще могут быть такими, какими хотят, для оседлых людей существуют *totaliter aliter*.* *

Одним из недостатков домашней жизни является обстоятельство, что она бедна впечатлениями. Если же в ней формируется избыток смыслов и выразительности, он выливается в оракул, в декор, во внутренние и внешние образы.- В свои продуктивные моменты остановленная жизнь породила потолочную роспись, изображающую сцены низвержения в ад и каскады обнаженных женщин. В другие эпохи ожидающая жизнь специализировалась на возведении соборов, этих громадных Пересадочных станций, призванных убедить небеса принять пассажиров — человеческих индивидов. Религиозно кодированный в некоторых культурах институт гостеприимства восходит к возможности воспринимать гостя в своем доме как знак из области экстраординарного и даже непосредственно как «намекающее послание божества». ⁴²³И в самом деле, разве не стал некогда скромный пришелец предсказанным спасителем? Но поскольку аппетит на намеки нельзя удовлетворить с помощью одних лишь гостей, многочисленные мантические системы предлагают свои услуги для оснащения жизни необходимым избытком знаков. Чем меньше оседлые люди переживают сами, тем в большей мере основной пищей для них становятся чудеса. Человек живет не хлебом единым, но любым указанием на то, что нечто происходит и где-то еще. Если однажды сигналы из потустороннего пе-

423 См.: *Hans-Dieter Bahr. Die Sprache des Gastes. Eine Metaethik. Leipzig, 1994.*

* Совершенно иначе (лат.).

рестают приниматься, их заменяют газетные заметки, книжные новинки и знаки времени.

Во втором приближении выясняется, что жилища могут быть эксплицированы не просто как приемники, в них может быть заложен радикальный смысл. Функция приемников состоит в сортировке входящего на значительное и незначительное и, как следствие, в препятствовании душевному разрыву, наступающему в ситуации, когда информативным является все или ничего. В этом смысле жилища представляют собой терапевтические отделения для существ, могущих заболеть от дефицита смысла: фильтры от нигилизма, клиники для лечения нарушений аппарата значений. В этом онтосанаторном понимании пребывания в жилище едины Хайдеггер и Вилем Флюссер, пионеры герменевтики жизни без родины, в остальном идущие противоположными путями. Если Хайдеггер полагал, что обнаружил в отсутствии родины у «современного человека» эпохальный удар судьбы, который нельзя принять без сожаления или, по крайней мере, не перевести в позитивную плоскость с оттенком героической задумчивости, то Флюссер в рефлексиях по поводу своей собственной судьбы еврейского мигранта делал упор на демифологизации родины, более того, на агрессивной концепции существования в ситуации беспочвенности. Этот выбор опирается на один информационно-философский аргумент:

«Родину считают относительно постоянным местоположением, тогда как жилище можно сменить, из него можно куда-нибудь переселиться. Верно же обратное: можно сменить родину или вовсе ее не иметь, но всегда необходимо где-нибудь, все равно где, проживать. Парижские клошары проживают под мостами... и сколь бы ужасающе это ни звучало, люди проживали и в Освенциме. Я построил себе в Робионе дом, чтобы в нем жить. В сердце этого дома стоит мой обычный письменный стол, на котором в привычном кажу-

щемся беспорядке разбросаны мои книги и бумаги. Вокруг моего дома расположена ставшая привычной деревня с ее привычной почтой и привычной погодой. Чем шире круг, тем более необыкновенным становится все: Прованс, Франция, Европа, Земля, Универсум... Я включен в обычное, чтобы проникать в необыкновенное и чтобы иметь возможность делать необыкновенное. Я окружен избыточностью, чтобы воспринимать помехи как информацию и чтобы иметь возможность производить информацию».⁴²⁴

У провансальской деревни Робион, о которой говорит Флюссер, хорошие перспективы выступить в истории идей в качестве контрапункта к Готтнаубергу, ибо она заслужила честь стать модельной деревней при экспликации пребывания с помощью новой логики домашности. Если в контексте топологической рефлексии по поводу экологии и космических полетов мы говорили об инверсии окружающего мира,⁴²⁵ то относительно Робион-эффекта мы могли бы говорить об инверсии жилища: после нее обитание в жилище уже не может рассматриваться как функция родины; напротив, бытие-на-родине (как поймут позднее) представляет собой сколь понятное, столь и проблематичное побочное следствие проживания в жилище.

В свете семиоонтологического анализа жилище предстает как генератор избыточности или как габитус-машина, задача которой состоит в разделении массы входящих, претендующих на значимость сигналов «из мира» на знакомые и незнакомые. В этом смысле жилище — это агентство по обнаружению пригодных для использования повторений. Нельзя быть дома, пока не образовано почти бессознательное единство с собственными четырьмя стенами и всем, что их меблирует. Таким образом, лишь жилище делает своих обитателей по-настоя-

424 *Vilém Flusser. Wohnung beziehen in der Heimatlosigkeit // Vilém Flusser. Von der Freiheit des Migranten. S. 27.*

425 См. выше с. 332 и сл.



It (Станислас Циммерманн и Валери Жомини), *living unit* (жилая секция), it design, www.it-happens.ch. 2000 г.

щему экзистенциально пригодными, наделяя их первой способностью распознавания, позволяющей различать между обычным и исключительным, между тем, что как знакомое остается на заднем плане, и тем, что выделяется, поскольку бросается в глаза как необычное. Следовательно, одной из первичных функций обитания в жилище является наделение жильцов привычками (хотя привычки, со своей стороны, старше и более универсальны, чем строительство домов у оседлых групп). В этом смысле современные жилища представляют собой ярко выраженные нейтрализующие устройства, производящие *background** для сенсбилизации. Современность означает: даже фон превращается в продукт, само собой разумею-

* Фон, задний план (англ.).

щееся становится дефицитным, привычное преобразуется в поле артикулированных задач и технических проектов.

Но то обстоятельство, что жилище (в котором мы живем в настоящее время) может восприниматься нами лишь в определенном ряду жилищ (в которых мы пребывали ранее), становится заметным лишь в эпохи интенсифицированной коммуникации; точно так же слишком поздно становится очевидным тот факт, что все трансферы начинаются как пространственные и жилищные перенесения, в дальнейшем становясь аффективными трансферами или- проекциями. Мы должны достаточно часто переезжать, чтобы с точки зрения третьего, четвертого жилища понять, чем было обитание в первом: произвольным привыканием — подчинением среде и обретением первоначального эмоционального колорита. Хайдеггер воспроизвел это состояние с помощью монументального выражения «заброшенность» — слова, содержащего глубокое и латентно ироничное преклонение мышления перед первым ударом случая. Теперь понятно, почему более позднее и более осознанное обитание в жилище приводит к самостоятельному выбору контекстов привыкания и принятию либо отвержению предложений привычного, материализующихся в том или ином новом жилище. Более позднее жилище естественным образом усваивает все больше черт аутодизайна. В силу этого повторение способно стать матрицей изобретения. Эстетическое сознание можно рассматривать как одно из побочных следствий переезда в новое жилище, поскольку оно развивает способность заключать в скобки феномены. Однако философская добродетель изумления тому, каким образом нечто существует и что оно вообще существует, свидетельствует о неспособности бодрствующей интеллигенции по-настоящему привыкнуть к чему бы то ни было; она демонстрирует, что вселение в мировой дом с незапамятных времен встречает у интеллектуалов весьма скептическое отношение, которое не в состоянии поколебать никакой опыт. Уже первое погружение несет ауру не-

вероятности. Изумление, которое она излучает, деавтоматизирует перенесение. Неверие в абсолютную гарантию повторений есть начало мудрости.

3. ВКЛЮЧЕНИЕ И ИММЕРСИЯ

Экспликация пребывания посредством пространства ожидания и приемника сообщений, а также машины по производству привычек по имени «жилище» подготавливает переход к третьей стадии работы по техническому обустройству среды человеческого обитания, легко достижимой после второй стадии. Флюссер уже дал возможную формулировку этого процесса, когда заметил, что он сам *включен* в избыточное. С помощью метафоры включения Флюссер затрагивает радикальный слой человеческой территориализации в той или иной обстановке, в привычных и обычных обстоятельствах. Исследование сущности человеческого пребывания может достигнуть аналитически удовлетворительного и в достаточной мере провокативного уровня выразительности лишь в том случае, если оно станет аналитикой включающей ситуации, — такова задача, в решение которой, насколько нам известно (наряду с единичными импульсами молодого Хайдеггера), наибольший вклад был внесен относящимися к 1921 году размышлениями Поля Валери о сущности архитектуры как модулировании иммерсии, сравнимыми лишь с намного более поздними попытками Германа Шмитца по-новому обосновать феноменологический ситуационизм⁴²⁶ и с диалогами Ильи Ка-

426

Наиболее выразительной в этом смысле является его в высшей степени необычная книга «Адольф Гитлер в истории» (*Hermann Schmitz. Adolf Hitler in der Geschichte. Bonn, 1999*), в которой Гитлер изображен как художник-инсталлятор и коммунитарный режиссер, чей талант состоял в умении инсценировать (обманчивые) включающие ситуации «общенародной» природы. Выражение «включающая ситуация» Шмитц использует в качестве корректива к недостаточным, по его мнению, анализам пребывания в «жизненном мире» и обитания в жилище Гуссерля и Хайдеггера.



Илья Кабаков. *Туалет*. Вид снаружи. 1992 г.

бакова и Бориса Гройса о теории и эстетике инсталляции.⁴²⁷

Наивысшая ступень эстетической ясности, которая, по-видимому, возможна для экспликации жилищ как аппаратов включения, была достигнута, по нашему мнению, в потрясающей инсталляции Кабакова «Туалет», представленной на девятой выставке *documenta* в 1992 году в Касселе, главная тема которой была сформулирована ее ответственным куратором Яном Хутом как «Дом». В этой инсталляции Кабаков работал с эффектом разочарования, вызываемым тем фактом, что под названием «Туалет» скрывалась не анально-эстетическая безвкусица и не порнографическая сцена или какая-либо

427
Wien, 1996.

Ця Kabakov, Boris Groys. Die Kunst der Installation. München



Илья Кабаков. Туалет. Вид изнутри.

грязная тайна буржуазного мира, а простая квартира, типичная для граждан Советского Союза 50—70-х годов. Идея восходила к автобиографическим мотивам, но в еще большей мере была инспирирована повседневными условиями советской жизни: по словам Кабакова, в художественной школе-интернате, где он учился, его мать занимала должность завхоза, дабы и во время его обучения быть рядом с сыном, и, не имея постоянного жилья, вынуждена была нелегально проживать в функциональном школьном помещении, а именно в переоборудованном в бельевую детском туалете. Поэтому для юного художника жилой туалет стал воплощением русского социального жилища, тем мифическим местом скученности, в котором начиная с 20-х годов должен был подавляться буржуазный индивидуализм и коваться новый советский человек. В то же время одинаковая убогость таких ок-

ружающих миров напоминает о традициях русской общинной жизни, в которой, как уверяет Кабаков, общее несчастье нередко ощущалось как «счастье всеобщей бедности». «Советская власть воспринималась как снежная буря, как климатическая катастрофа». «При всей бедности и кошмарности тогдашней жизни у нас было сладостное чувство, что так живут все, что все мы живем в одной-единственной коммунальной квартире...»⁴²⁸ Гройс в своем комментарии обратил внимание на то, что жилища, ко всему прочему, могут служить метафорами художественных собраний, поскольку они *per se* являются коллекциями объектов, отобранных жильцами по частным — как правило, банальным — непонятым для других мотивам; в силу этого они представляют собой спонтанные выставки, отличающиеся от собраний в художественных галереях только тем, что их посетители должны быть знакомыми коллекционера/жильца, допускающимися к осмотру коллекции по персональному приглашению. В этом отношении, отмечает Гройс, «Туалет» стал не только квинтэссенцией *documenta 9*, но и одной из самых убедительных метафор современной художественной системы.

Эффект отчуждения повседневного жилища в инсталляции Кабакова и в системно-теоретическом комментарии Гройса демонстрирует, что жилища в их нормальной форме представляют собой своего рода антивывставки, функционирующие как частные собрания. Ставшее экспонатом жилище — это частное собрание, перемещенное в публичное пространство, персональный музей не-художника. Следовательно, благодаря инсталляции перед нами самым явным образом предстает машина избыточности Флюссера, мировой фильтр, сортирующий

«23 Ця Кабаков, Boris Groys. Die Kunst des Fliehens. Dialoge über Angst, das heilige Weiß und den sowjetischen Müll. München; Wien, 1991. S. 61. Ср. антитезис Дурса Грюнбайна из его «Зальцбургской речи»: «...разделяемая с кем-то неволя отнюдь не является полуневолей, напротив, она представляет собой ее мультипликацию» (*Durs Grünbein. Warum schriftlos leben. Aufsätze. Frankfurt, 2003. S. 19*).

обычное и необычное. Решающим здесь является то, что попасть в этот интерьер можно, лишь войдя в него в качестве наблюдателя, — жест, нормальный для музеев и выставок, но странный для жилищ; поскольку последние служат именно для проживания, то есть для бытия в модусе не-наблюдения и не-изумления. Входя в свое собственное жилище, жилец обычно оставляет за порогом поведение наблюдателя; его сменяет рассеянное отношение к окружающему, отсутствие концентрации и расслабленность. Обитание в жилище, как правило, детематизировано, поскольку его смысл, собственно, и заключается в производстве привычного и тривиального. Когда же жилище оказывается в музее, вхождение в жилище или погружение в него становится заметным как таковое: появление обычного жилища* в музее тематизирует иммерсию в него посетителя. Для создания тотальной выставки следовало бы разве что выставить в качестве экспонатов еще и самих жильцов.

Но в целом тот факт, что *бытие-в* становится презентабельным в качестве бытия, погруженного в жилую ереду, указывает на некий рубеж в процессе экспликации пребывания в жилищах или иных формах окружения. Тот, кто зашел в «Туалет», оказался вовлечен в своего рода проживание-как-если-бы. Он принял участие в эксперименте с временным погружением в нечто такое, что для других составляло главную ситуацию, — их включение. Вхождение посетителя в «Туалет» оказывалось онтологическим исходом: переход из художественной ситуации в нехудожественную осуществлялся внутри самого искусства — или, вновь говоря по-хайдеггеровски, он размещается в художественном произведении.

Таким образом, инсталляция оказывается мощнейшим инструментом современного искусства для целост-

* В этой главе автор использует близость немецких слов *gewöhnlich* (привычный, обычный), *Wohnung* (жилище), *Gewohnheit* (привычка) и *wohnen* (проживать, обитать в жилище).



Луис Молина-Пантин. *Инсценировка № 2.*

ного перенесения включающих ситуаций в пространство наблюдения — в этом она превосходит родственные искусства театральной декорации и сооружения художественно исполненных вольеров для животных в зоологических садах.⁴²⁹ В наше время традиционный пиетет перед картиной, которая понималась как приглашение наблюдателя войти в изображенную ситуацию, может — по мысли Кабакова — поддерживаться только инсталляцией. Не будет преувеличением сказать, что этот процесс сотрясает привычные условия демонстрации. Если традиционная художественная выставка, как правило, демонстрировала заключенные в рамы или установленные на постаменты экстраординарные объекты, то инстал-

⁴²⁹ о том, что зоологическая выставка может преобразоваться и в антропозоологические «человеческие парки», см.: Zoos humains. XIX et XX siècles. De la Vénus hottentote aux reality shows / Ed. Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Eric Deroo, Sandrine Lemaire. Paris, 2002.

ляция предъявляет нечто включенное и одновременно включающее: объект и его место представляются одним и тем же приемом; тем самым она создает ситуацию, которая может восприниматься лишь благодаря вхождению наблюдателя во включающее и *eo ipso* благодаря уничтожению рамы или ликвидации постамента. Отсутствие у произведения рамы предлагает посетителю отказаться от наблюдения и погрузиться в ситуацию. Таким образом, иллюстрируется как взаимосвязанность художественного собрания и жилища, так и их противоположность: если обычный зритель ожидает от художественного объекта, что тот взволнует его и подтолкнет к погружению в необыкновенное, то выставленное в качестве экспоната жилище обещает исключительное положение противоположного свойства: в нем более всего поражает то, что все нормально, и именно это провоцирует иммерсию в банальность. Речь идет о ставшей очевидной тривиальности, относительно которой никогда точно не знаешь, можно в ней расслабиться или нет. Погружение в ярко выраженную банальность представляет собой ажитацию, которая не ощущается как ажитация. Мы движемся по онтологической территории XX столетия. Словно философ феноменологической школы Кабаков уверяет, что действительно «увлекательные маршруты» современного искусства пролегают «по области банального». ⁴³⁰ А как же иначе, ведь «революции», в сущности, представляют собой не что иное, как экспликации имплицитного. Именно в этом контексте следует понимать брошенное Гройсом замечание: «Похвала банальности всегда двусмысленна...» ⁴³¹

Еще в 1921 году сходные мысли развивал Поль Валери; в одной из глав его диалога-эссе «Эвпалин, или Архитектор» посмертные тени Сократа и Федра ведут беседу,

⁴³⁰ Лиа *Kabakov, Boris Groys. Die Kunst der Installation. S. 137.*

⁴³¹ *Boris Groys. Politik der Unsterblichkeit. Vier Gespräche mit Thomas Knoefel. München; Wien, 2002. S. 22.*

обсуждая на примере архитектуры и музыки принцип иммерсии или инклюзии-в-произведение. Рассуждения Сократа о погруженности и включенности людей в рукотворное окружение начинаются как парафраз зиммелевского дуализма «в» и «напротив»:

«Мне нравится болтать об искусстве... Живопись, любезный Федр, покрывает только поверхность, будь то поверхность доски или стены... Но храм, когда в негоходишь, или, вернее, даже внутреннее пространство этого храма образует для нас как бы род той совершенной величественности, в которой мы живем... Мы существуем тогда, мы движемся, мы живем в творении человека!.. Нас захватывают и нами овладевают те пропорции, которые он выбрал. Мы не в силах от него уйти». ⁴³²

В этом рассуждении акцент делается одновременно на двух моментах: во-первых, в нем автор настаивает на том, что охватывающее в данном случае есть нечто возвышенное, а во-вторых, подчеркивает, что окружающее представляет собой некий артефакт, а не естественное окружение. Само собой разумеется, здесь речь идет не о кантовском динамически возвышенном, каковым является рассматриваемая как могущество природа, а об искусственно возвышенном, благодаря всестороннему присутствию которого рукотворное творение может восприниматься как некое изысканное окружение.

Сократ Валери одним прыжком оказывается в центре современной эстетики и непосредственно обращается к загадке тотального произведения искусства. Поскольку в соответствии с амбициями авангарда последнее охватывает окружающую среду в целом, зритель лишается возможности воспринимать его с «буржуазной» позиции находящегося напротив наблюдателя. Для храма, внутри которого я нахожусь, бытие-в-мире означает буквально

432 *Paul Valéry. Eupalinos. S. 33.*

бытие-внутри-творения-другого, более того, поглощенность искусственным величием. И случайно ли, что этот Сократ использует выражения, напоминающие о речи бывшего изготовителя (театральных) шатров Павла, произнесенной в ареопаге и повествующей о Боге, которым мы живем и движемся и существуем?⁴³³ То же самое, согласно Валери, можно было бы сказать лишь о еще одном виде искусства, музыке:

«Быть в творении человека подобно рыбам в волне, полностью в него погрузиться, жить в нем, принадлежать ему».⁴³⁴

«Не живешь ли ты в каком-то подвижном здании, которое постоянно обновлялось и опять строится в себе самом, полностью подвластное превращениям души, бывшей душой пространства?.. Не казалось ли тебе, будто они окружили тебя, подобно рабу оказавшемуся в сфере распространения этой музыки?.. Не был ли ты окружен ею и вынужден пребывать в ней, словно Пифия в наполненном дымами храме?»⁴³⁵

Таким образом, экспликация пребывания с помощью теории включающего художественного произведения прямым путем ведет к обсуждению эстетического тоталитаризма или добровольного рабства в рукотворном окружающем мире. И в том и другом случае сразу же обнаруживается связь с эстетикой возвышенного.

«Итак, есть два искусства, включающие человека в человека... в камне или в воздухе... каждое из них... наполняет наше пространство искусственными истинами...»⁴³⁶

«33 «Nous sommes, nous nous mouvons, nous vivons alors dans l'œuvre de l'Homme»; ср.: Деяния апостолов, 17,•28.

434 *Paul Valéry. Eupalinos. S. 33.*

435 *Ibid. S. 34.*

436 *Ibid. S. 35.*

Современность — что она в этом смысле, как не экспериментальная площадка для доказательства того, что от возвышенного до банального всего один шаг? В эпоху, когда Валери предавался этим рассуждениям, кинофильм — главный медиум зарождающейся массовой культуры, которая вскоре развернется во всеобъемлющую среду, — хотя еще и пребывал в зачаточном состоянии, но целеустремленно продвигался к подготовке условий для массово потребляемого иммерсивного, мечтательно-миметического опыта. Он работал над порабощением глаза и превращением его из органа наблюдения за погружением на расстоянии в quasi-тактильную среду. В это же время в веймарском «Баухаузе» под лозунгом «Художественное конструирование» начались исследования по интегральному охвату сферы повседневного пребывания. Не только музыка — область демонического; пространственный дизайн, как до него архитектура, также связан со зловещей тривиальностью перманентной или временной принадлежности к преобразованию людьми окружения. Эти искусства эксплицируют пребывание в определенных местах с помощью иммерсионных устройств, представляющих собой не что иное, как предложения о порабощении, обращенные к потребителям тотальной ситуации. Благодаря им обитание в жилище истолковывается как приятное подчинение окружающему. В той мере, в какой жилища являются инсталляциями или смонтированными иммерсионными устройствами, они интерпретируют Dasein как пластическую задачу. Инсталляция представляет собой эстетическую экспликацию включения. Это проявляется, среди прочего, в том, что включения причастны к обоим главным ценностям эстетического суждения; о включениях в приятное и банальное говорят, что они прекрасны или уютны, о включениях в ужасное и тревожное — что они возвышенны или неуютны.

В XX столетии эта экспликация пребывания могла быть продуктивной в той мере, в какой иммерсионное

конструирование — *alias* интерьерная архитектура — ограничивалось жизненными пространствами индивидов и немногочисленных групп, семей и коопераций. Необъятная и постоянно увеличивающаяся в объеме популярная литература об обустройстве интерьеров, о стильной жизни в собственном доме, о реновации старых домов, о роскошных кухнях и ваннах, о кондиционировании воздуха, о культуре освещения, о мебели и оформлении дачных коттеджей свидетельствует о том, насколько широко распространилась по всей аудитории весть о включении в самостоятельно избираемую микросреду, — и это подлинная терапевтическая максима второй половины XX века. Вся интерьерная индустрия служит для пробуждения и дифференциации такого рода требований. Показательно, что после 1945 года сознание включенности стремительно деполитизировалось и оставило возвышенные коллективистские сферы, словно люди более и слышать не хотели о том, что существуют искусства, «включающие человека в человека». Словно коллективная память хранила интуитивное понимание того, что чем в большей степени собраны вместе единицы сформированы иммерсией в совместное, тем сильнее дает о себе знать тоталитарное искушение. Даже когда отдельные художники экспериментируют с возвышенными формами обитания в жилище, окружая себя стерильностью и ужасом, ныне их экзерсисы остаются ограниченными приватным форматом, во всяком случае той или иной субкультурой.

Если когда-нибудь мы сможем реконструировать картину высвобождения демонов XX столетия, акцент будет сделан на попытках тоталитарных вождей распространить включающую ситуацию с жилищ на общее состояние народа и коллектива. Классический тоталитаризм был предписанным свыше синтезом жилища и тотального художественного произведения.⁴³⁷ Захваченное

437 См.: *Boris Groys. Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene Kultur in der Sowjetunion. München; Wien, 1988.*

кликлой государство навязывает себя как тотальная инсталляция и требует от граждан безоговорочной иммерсии. В качестве переходных средств для этих инклюзий со стороны целого на Востоке функционировала «партия», а в Германии — армия. Из них возникли навязчивые супергруппы жильцов, инсценированные как национальные или социалистические коллективы. После их распада привычный жилой тоталитаризм объединился с либеральной массовой культурой. Теперь он проявляется в тенденции к навязыванию строймаркетов и принуждению всех устроителей своего жизненного пространства выбирать из одного и того же ассортимента кафельных плиток, стеллажей, оконных рам и матрацев. Строймаркеты — главные поставщики западного посттоталитаризма. Их послание недвусмысленно: не живи вместе с целым! Обустройайся у себя самого, один или вместе с немногочисленными другими! Но оставайся заметным и веди себя соответствующим образом! То, что мы повсюду окружены мебелью, похожей настолько, что ее несложно перепутать, кажется, еще не самая большая беда. Искусство же инсталляции, в том виде, как его поеле своей эмиграции из СССР разрабатывал Кабаков, можно было рассматривать лишь как оппозицию советскому тоталитаризму; его прелесть до сих пор состоит в том, что оно иронически питается возвышенностью своего потерпевшего крах противника.

4. ЖИЛИЩА КАК ИММУННЫЕ СИСТЕМЫ

Аналитика иммерсии и включения позволяет осуществить переход к четвертой форме экспликации пребывания, истолковывающей человеческое обитание в жилище как обустройство в некоей общей и персональной иммунной системе. Это quasi-гигиеническое измерение первичного экзистенциального формирования пространства

проще всего объяснить с помощью одного на первый взгляд неправдоподобно звучащего тезиса из «Поэтики пространства» Гастона Батляра: «Каждая жизнь в зачатке есть блаженство».⁴³⁸ Тезис становится приемлемым, если мы присовокупим к нему требование превращения топологии в базовую дисциплину иммунологии. С этой точки зрения обустройство мест удачного для-себя-бытия является превентивной мерой предупреждения вероятных нарушений хорошего самочувствия в разделяемом с другими собственном домене. Поэтому топофилическая онтология Башляра может рассматриваться как фундамент теории хорошо позиционированной жизни — точнее, как теория пребывания в эвтоническом пространстве. Обстоятельство, что она противоречит критическому конформизму, не должно сбивать нас с толку. Шок, вызываемый учением о счастливом сознании в условиях повсеместного распространения культа несчастного сознания, пройдет, как только мы признаем, что позитивная теория оптимальной позиции на одно измерение богаче, чем критическая теория, всегда принимающая форму симптома нарушения способности быть к чему-либо причастным. Теория оптимального расположения призвана объяснить, что (и почему) благополучие у себя и в своих пространствах обустроенных людей по времени и по существу предшествует какому бы то ни было отчуждению. Она растолковывает, почему *ressentiment* по большей части выражается и как зависть к определенному месту: тот, кто желает унижения другим, хочет видеть опустевшим место, в котором они были бы у себя самым оптимальным образом.

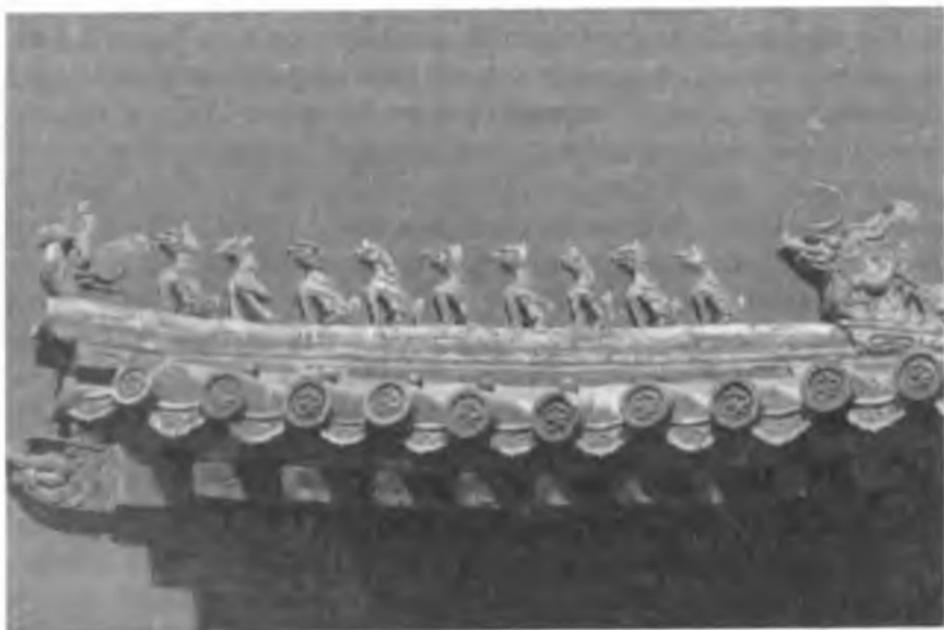
Отсюда недалеко до динамической дефиниции жилища как пространственной иммунной системы. Эта интерпретация на одно измерение превосходит понимание функций своих собственных четырех стен как простран-

438 Gaston Bachelard. *Poetik des Raumes*. München, 1960. S. 132; «Мир есть гнездо».

ства ожидания, генератора избыточности, создателя привычного и включающей ситуации. С иммунологической точки зрения обитание в жилище есть оборонительное мероприятие, благодаря которому область благополучия отгораживается от захватчиков и прочих носителей неблагополучия. Все иммунные системы имеют не нуждающееся в обосновании право на защиту от нарушений. Если оно оспаривается, то только потому, что форматы зон общего иммунитета культурных существ не установлены *a priori*.

Иммунитет (пусть и под другим именем) в первую очередь и по большей части понимается как социальный факт; можно было бы зайти еще дальше и в автоматизированном взаимодействии в рамках иммунитарной коммуны искать критерий социальной когерентности. Традиционно семья и племенная общность — а позднее город, религиозная община, народ, партия, предприятие — считались оперативно эффективными иммунными единицами, а их представителям навязывались такие поведенческие модели, которые соответствуют стандарту совместно обретенного иммунитета — последний начиная с XIX столетия называют солидарностью. Тот, кто покидает определенное таким образом иммунное и солидарное сообщество, традиционно рассматривается как предатель. Скандальность современной модели жилищных отношений заключается в том, что она применяется прежде всего к тем потребностям в изоляции и коммуникации, которые испытывают ставшие более эластичными индивиды и их жизненные партнеры, более не ищущие иммунитарного оптимума в воображаемых и реальных коллективах или космических целостностях (и соответствующих идеях дома, народа, класса и государства).⁴³⁹ Они высвобождают латентный смысловой слой латинского выражения *immunitas*: неучастие в общественном труде более высокого порядка. Поэтому вполне можно ска-

439 См.: Сферы. Т. II. Гл. 8. С. 1004—1013.



Фигуры на крыше фронтона императорского дворца в Запретном городе, Пекин; служат для защиты здания от вредоносных сил.

зать, что современное «общество» суть коллектив, состоящий из изменников коллективу.

Если дома современного типа представляют собой формы экспликации иммунного качества жилых сооружений, то не следует ли ожидать, что в архитектуре начинающейся современности манифестируется конфликт по поводу правильной дефиниции иммунного пространства? Не должны ли дома нашего времени стать материальными символами борьбы между заинтересованностью в изоляции и требованием интеграции? Не являются ли жилища этой эпохи манифестами цивилизаторского проекта, ставящего на повестку дня переформатирование иммунных единств и оптимальных пространств? Несомненно лишь то, что, после того как жилищные и экономические условия стали способствовать эмансипации отдельно живущих индивидов, связь между иммунитетом и коммунитетом нуждается в переосмыслении.

Если жизнь в эпоху «голой жизни» определяется как итоговая фаза формирования (биохимической) иммунной системы, то и «существование» оказывается итоговой фазой становления единоличного домашнего хозяйства.

Римский юридический термин *integrum* обозначал не только невредимое состояние естественных жизненных условий, находящихся под защитой права, но и содержал указание на то, что невредимость целой «вещи» — домашнего очага или общественного блага — сама является результатом некоторой борьбы и определенных действий: если в своем оригинальном и, так сказать, здоровом состоянии нечто существует как бы само по себе, может быть таким, каково оно есть, то лишь потому, что оно пользуется привилегией покоиться под защитой отточенного меча права (в другой терминологии это называлось диалектической взаимосвязью закона и силы). *Integrum* — это составная жизненная ситуация или согласованная целостность, в которой вещи взаимосвязаны так, как взаимосвязаны дом и двор, кожа и волосы, человек и мышь.⁴⁴⁰ Двойные формулы создают защитный покров, гарантирующий собранию мир; они рождают крышу иммунитета, защищающую сообщество. А следовательно, так называемое целое является реципиентом преимуществ проводящей границы, собирающей, дополняющей силы.

Рассмотренное под этим углом зрения право на невредимость домашней сферы представляет собой источник, из которого разворачивается староевропейская правовая культура. Институт права домохозяина является латентным прототипом всякого иммунитета — при условии, что последний интерпретируется как полномочие принимать решение о допуске и недопуске чужих в собственную область, причем собственное всегда должно пред-

⁴⁴⁰ См.: *Hans Hattenhauer. Europäische Rechtsgeschichte. Heirielberg, 1994. S. 7.* -

ставляться как эффективное в иммунном отношении соединение собственное с не-собственным.⁴⁴¹ Иммунитет неявно предполагает применение предотвращающей силы против травмирующей силы; он интериоризирует то, от чего желает защититься. Пространственное право, сердцевина частного права, охраняет объединенную жизнь как совокупность взаимодействующих активностей нескольких жизней, которые могут сами собой развиваться именно там, где они осуществляются, и выражение «сами собой» неизбежно означает: в собственных границах и при исключении иного.

Как локальная самодостаточность иммунитет берет начало в практике удачного лимитирования — он есть важнейший случай инклюзивной эксклюзивности. Никакая универсалистская пропаганда не в силах здесь что-либо изменить: даже Единый Бог (зывается он Яхве, Аллах или *Pater noster**) в первую очередь является великим гонителем. Если он рассылает всем приглашения, то их формулировка подразумевает весьма неблагоприятные условия. Немыслимо, чтобы можно было занять любое место. В доме Отца много жилищ; из-за высоких цен большинство из них пусты. Как дух иммунитета Он, Единый, формально обращающийся ко всем, представляет собой квинтэссенцию селективности.

Интуиции этого типа присутствовали у Ницше, когда он предлагал своим друзьям формулировку нового категорического императива после смерти Бога: сам, своими собственными силами, будь новым начинанием! Будь оригинальной игрой, играющей саму себя, «самокатящимся колесом, начальным движением, святым словом утверждения».⁴⁴² С помощью предложений такого рода *implicite* осуществляется переключение с теологии на им-

⁴⁴¹ См.: *Roberto Esposito. Immunitas. Protezione e negazione della vita. Turin, 2002. P. 13.*

⁴⁴² *Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. I. О трех превращениях.*

* Отче наш (лат.).

мунологию и обусловленное *eo ipso* высвобождение конечных эгоизмов. «Да», обращенное к самому себе, обрисовывает контур реального жизненного пространства утверждающего — самим признанием того факта, что ни одна сфера самоутверждения не может быть всеобъемлющей и что для другого и других, волящих самих себя, всегда достаточно пространства, пусть и всегда в каком-то другом месте. Каждое обращенное к себе локальное «да» плывет в пене из аналогичных ограниченных самоутверждений. «И кто называет Я здоровым и священным, а себялюбие — блаженным, тот, поистине, говорит, что знает он...»⁴⁴³ Впрочем Ницше, безуспешный искаатель атмосферно терпимого местоположения в мире, не объясняет здесь, почему эмпирическим местом обновленного и узаконенного себялюбия, как правило, является жилище, понятое как иммунно-пространственное самопротяжение человека, сильно озабоченного своим благополучием. То, что оно будет скорее небольшим пространством, лишь на первый взгляд кажется удивительным.

Позднее Маршалл Маклюэн раскрыл тайну обитания в жилище в современных условиях, объяснив ее полностью изменившейся иммунной ситуацией. Образованный человек, полагает медиатеоретик, более не обязан «рассматривать свой дом как культовое продолжение своего тела»,⁴⁴⁴ поскольку он уже не использует универсум, его божественное основание и его мнимо универсальный свод правил в качестве своей персональной иммунной системы. Поэтому он более не должен и отождествлять дом с космосом; мировой порядок и стиль жизни расходятся. Поддерживаемый медиа жилец современного дома заменяет неопределенные психосемантические защитные системы религиозной метафизики своими специализированными, юридически и климатически надеж-

««3 Там же. III. О трояком зле, 2.

444 *Marshall McLuhan. Die magische Kanäle. S. 135.*

но инсулированными жилыми клетками (а также анонимными системами солидарности). Современное жилище — это место, доступ к которому незваным гостям почти всегда заказан. *Toxic people*,* * а если возможно, то и плохие новости должны оставаться снаружи. Жилище превращается в машину игнорирования или в интегральный оборонительный механизм. В нем архитектурными средствами защищается фундаментальное право на невнимание к внешнему миру.⁴⁴⁵

Жилище современного человека— это продолжение тела, посредством которого обретает зримость его ставшая привычной забота о себе и его отошедшая на задний план оборонительная функция. Оно делает очевидным, что живые организмы не могут существовать, не заботясь о замкнутости в себе самих. Тем самым жилище становится причастным к основному процессу модернизации: оно артикулирует появление — или обнаружение — иммунных систем, а также экспериментирование автономных единств с более крупными ассоциациями (из которых даже самая большая намного меньше «целого»). Оно стало материальным выражением того факта, что человеческой открытости миру всегда соответствует дополняющий ее разрыв с миром.

Час иммунного дома пробивает ночью, когда он выполняет функцию хранителя сна. Окружая спящих защитным покровом, дом потакает акосмическим потребностям своих обитателей. Он образует анклав безмирности внутри мира — ночной *integrum*, гарантированный крышей и стенами, дверями и замками. Дом, являющийся футляром для сна, предоставляет самое неоспо-

445 Это имел в виду молодой Ле Корбюзье, писавший в стихотворении «une Architecture», что жилище творческого «избранного человека» должно предлагать ему «светлое и герметичное пространство», чтобы он «мог спокойно погрузиться в свою работу; решение этой проблемы необходимо для здоровья элиты» (*Le Corbusier. Ausblick auf eine Architektur. Berlin; Frankfurt; Wien, 1963. S. 34*).

* Ядовитые люди (англ.).



Спящая на татами японка с веером, подголовником и *hibachi* (очагом). Около 1870 г.

римое доказательство взаимосвязи между иммунитетом и пространственной замкнутостью. Он воплощает единство геометрии и жизни, топически осуществленную утопию — как вневременную проекцию интерьера, все-еще-внутри-бытия.⁴⁴⁶ Он охраняет формирующую человека и регенерирующую ночь, в которой нет места строительству планов для дневного мира.

Естественная трансцендентность ночи самым адекватным образом артикулируется в архитектурных формах спален, предлагаемых как рукотворные среды покоя. В них кожа-Я расширяется до постели-Я, окружен-

446

Ср. экстратемпоральную (и одновременно историзирующую) дукцию интерьера из интраутеральной первичной сцены, осуществленную Вальтером Беньямином: *Walter Benjamin. Das Passagen-Werk // Gesammelte Schriften V. 1. Frankfurt, 1989. S. 292.*

ной комнатой-Я в доме-Я. Самый спокойный сон — сон в акосмической луковиче. В ночном доме присутствует бездойность; даже «мы, живущие отдельно» еще находим здесь своего рода тент над нашими головами, — тент, о котором пока нельзя сказать, что он продырявлен и открыт внешнему.⁴⁴⁷ Поскольку гнезда⁴⁴⁸ в четырех стенах, считающиеся пригодными для жизни, не служат для упокоения мертвых и не способствуют вознесению на небеса, дом, обеспечивающий ночной иммунитет, не претендует на грандиозные размеры. Он не требует ни строительства египетских пирамид, ни возведения кафедральных соборов. Возможно, «маленький дом», над которым работают некоторые современные архитекторы,⁴⁴⁹ в первую очередь является формой экспликации ночного у-себя-бытия — для исторических людей в нем заключен архитектурный ответ на аисторическую хижину. В центре небольшого, акосмического, имунитарного дома находится кровать — простое техническое приспособление для сна, которое более всех прочих средств содействовало гуманизации ночей. Итак, многое говорит в пользу того, чтобы «в конечном счете» истолковывать обитание в жилище как реализацию возможности сна у себя самого. В этом смысле кровать — центр мира.⁴⁵⁰ Спальня реальных людей — это не «кристалл, в котором ютится мертвец... как говорит Гегель»⁴⁵¹ и не готическое древо жиз-

⁴⁴⁷ О введенном Д. Г. Лоуренсом мотиве тента, который люди натягивают над собой и в котором художники прорезают дыры и щели, чтобы «впустить сквозняк из хаоса», см.: *Gilles Deleuze, Félix Guattari. Was ist Philosophie? Frankfurt, 1996. S. 241—242.*

⁴⁴⁸ О феноменологии гнезда см.: *Gaston Bachelard. Poetik des Raumes. S. 119—133.*

⁴⁴⁹ См.: *Markus Grob. Tun der Architektur. Stuttgart, 1997; а также: Stephan Isphording. Das kleine Haus für Singles, Paare und ältere Menschen. München, 2002.*

⁴⁵⁰ Это провозглашает в одном из своих самых содержательных текстов Вилем Флюссер: *Vilém Flusser. Das Bett // Vilém Flusser. Dinge und Undinge. Phänomenologische Skizzen. München, 1993. S. 89—109.*

⁴⁵¹ *Ernst Bloch. Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt, 1959. S. 845.* Оба типа — кристалл смерти (пирамида) и древо жизни (готический со-



Картонная коробка как спальня: бездомные 80-х годов.

ни, вознесшееся к «органической вершине»;⁴⁵² она — футляр акосмизма в человеческом формате. Глядя на бездомных, мы можем наблюдать приближающуюся к минимуму потребность в спальне; картонной коробки над головой может быть достаточно, чтобы маркировать претензии спящего на свое заповедное пространство. Традиция донесла до нас слова самого знаменитого бездомного: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову».⁴⁵³ Что это означает? Тот, кого поддерживает сферический гипериммунитет (*et non sum. solus, quia Pater tecum esi*⁴⁵⁴), способен отказаться даже от простейшего спального комфорта детей мира; ему нужна не собственная постель, а покров небес.

бор) — образуют, согласно Блоху, крайние полюса «архитектурных утопий».

⁴⁵² Ibid. S. 850.

⁴⁵³ Евангелие от Матфея, 8;20.

⁴⁵⁴ Евангелие от Иоанна, 16;32. «Но Я не один, потому что Отец со Мною».

Там, где функция дома — предоставление ночного крова, исполняется первичная сцена *integrum*. Выясняется, что безмирность — локальный атрибут. Любой сон есть чей-то сон; всякая потеря сознания есть потеря ограниченного сознания, принадлежащего какому-либо сегменту мира. Не существует мирового сна, ибо у мира нет глаз, которые он как нечто целое мог бы сомкнуть, как не существует и мирового дома, в котором все было бы у себя.⁴⁵⁵ Ведущая метафора классической метафизики — тезис, гласящий, что космос — это дом, — утратила силу вместе с переходом к полностью эксплицированному обитанию в жилищах. Известно, что метафизический рефлекс, состоящий в поиске иммунитета в объемлющем, представлял собой расточительность, на которую были способны лишь самые бедные, бесприютные и незащищенные люди древности и средневековья. Бессильные обитают в гиперболах, сильные заполняют и оставляют территории. Как опорный пункт конечной жизненной способности любое жилище порождает эксклюзивность; каждое точечное самоутверждение вызывает прерывание коммуникации и отрицание окружающего мира. Это его аффирмативная добродетель, его «себя-любие»⁴⁵⁶ и одновременно его нормальное состояние. Кризис мировой души идет через жилища. Даже Бог, если он не просто маска целостности,⁴⁵⁷ а питает пристрастие к жизни, не может вместить всё. Жестокие слова для романтиков ликвидации границ. Кто сможет их услышать?

⁴⁵⁵ См.: *Peter Sloterdijk. Wie rühren wir an den Schlaf der Welt? Vermutungen über das Erwachsen // Weltfremdheit. 7. Auflage. Frankfurt, 2002. S. 326—381*; а также: *Ernst Bloch. Viele Kammern im Welthaus / Hrsg. von Friedrich Dieckmann, Jürgen Teller. Frankfurt, 1994.*

⁴⁵⁶ *Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. III. О трояком зле, 2.*

⁴⁵⁷ о пробуждении от монотеистического аутогипноза и понимании иммунологической непригодности бесконечного Бога см.: *Сферы. Т. II. С. 557—561.*

5. ЖИЛАЯ МАШИНА, ИЛИ ПОДВИЖНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ САМОСТЬ

Вышесказанное открывает путь к пятой стадии экспликации пребывания посредством современной строительной техники — инженерной дефиниции жилища как *жилой машины*. Одиозное выражение, использованное Ле Корбюзье в начале XX века в ходе дискуссии о реформе строительства, предоставляет нам ключевое понятие для актуальной экспликации жилищной ситуации одиноких городских жителей и небольших мобильных семей. И его диффамация сентиментальной архитектурной критикой ничего не может здесь изменить. Оно объединяет технические модели, соответствующие уровню искусства в том, что касается у-себя-бытия, управления временем, конструирования габитуса, климатического дизайна, менеджмента игнорирования, самокомплектации и коизоляции. В нем консолидируется наступление XX столетия на традиционные формы оседлой косности. Выдвинутое в 1922 году Ле Корбюзье программное требование очерчивает горизонт прорыва: «Первым долгом архитектуры в эпоху обновления... является... ревизия существенных элементов дома».⁴⁵⁸ Важнейшим шагом на пути к *Новому Духу* было, по его мнению, пробуждение «духовной готовности к серии».⁴⁵⁹ Эпохальная формулировка, данная в самом начале 20-х годов, гласит: «Дом следует рассматривать как машину или инструмент для проживания... Дом конструируется, как автомобиль, и обустраивается, как автомобиль или корабельная каюта».⁴⁶⁰

Возмущение традиционалистов передовой в аналитическом отношении концепцией архитектуры как изготовления мобильных контейнеров для пребывания людей не заставило себя ждать: в 1927 году критик Эдгар Веполь заметил по поводу проекта Ле Корбюзье, экспониро-

458 *Le Corbusier*. Ausblick auf eine Architektur. S. 166.

459 *ibid.* S. 167.

460 (*Evre complète 1910—1929*. Zürich, 1967. S. 45 f. (порядок частей фразы изменен)).

вавшегося на Штутгартской архитектурной выставке в поселке Вайссенхоф, что жизнь в «таком кочевническом шатре из железа и бетона», возможно, привлекательна для интеллектуалов, но этому человеческому типу непозволительно навязывать свои потребности всему обществу в целом. Оно и в будущем по праву будет связывать все свои ожидания с проживанием в жилище. Дома типа «жилая машина» «не имеют крепкой и надежной связи с землей... они не укоренены в почве...»⁴⁶¹

Если нам нужно доказательство того, что антипатия иногда идет рука об руку с прозрением, то в данном случае оно перед нами. Концепция жилой машины включает в себя программу разрушения, казалось бы, извечного альянса между домом и оседлостью и освобождения обитаемого пространства от окружающей среды. Иногда она абсолютно сознательно реанимирует доисторическую форму кочевнического шатра, который весьма слабо связан со своим окружением (недоверие живущих в традиционных домах к дому-шатру сравнимо лишь с тем отворачиванием, которое традиционные эстетики начинают питать к художественным претензиям современной архитектуры, лишь только они заподозрят, что здание превращается в большую скульптуру). То, что Рудольф Арнхайм называл «достоинством неподвижности»⁴⁶² традиционной архитектуры, ныне пало жертвой императива облегченного переезда. В ходе экспликации достигнут момент, когда дом уже не является просто местом остановки, где смертные ожидают созревания продукта или реализации проекта; теперь он сам должен стать транс-

461 *Edgar Wedepohl. Die Weißenhofsiedlung der Werkbundaustellung «Die Wohnung» in Stuttgart 1927 // Wasmuths Monatshefte für Baukunst. XI. 1927. S. 396 f.* Впрочем, реакция прессы того времени на Штутгартскую выставку была почти целиком положительной; лишь поле 1933 года получили распространение обвинительные суждения, влияние которых ощущалось вплоть до начала послевоенной эпохи.

462 *Rudolf Arnheim. Die Dynamik der architektonischen Form: Gestützt auf die 1975 an der Cooper Union gehaltenen Mary Duke Biddle Lectures. Köln, 1980. S. 151 f.*



Поселение из юрт в Монголии. 1997 г.



Стивен Броуэр. *U-town (Подземный город)*. 1998 г.

портным средством, которое, говоря словами Блоха, «готово к отъезду».⁴⁶³ В процесс обустройства жилищ включается принцип реверсивности.

Жилая машина, несомненно, представляет собой девальвацию символа устойчивости, коим является дом, в пользу «абсолютной подвижности мира» в эпоху денег. Если, согласно Зиммелю, значение денег состоит в том, что «их отдают», то значение жилой машины заключается в подготовке переездов, циркуляции жильцов. Давая пристанище, она напоминает им о предстоящем отъезде в какое-то другое место, на какую-то другую стоянку, в какие-то другие климатические условия. Подобно деньгам, жилая машина есть «так сказать, *actus purus** **, * непрерывное «самоотчуждение от любой данной точки и, таким образом, представляет собой противоположный полюс и прямое отрицание всякого для-себя-бытия».⁴⁶⁴ Постмодернистский девиз «Стабильность через текучесть» уже полностью артикулирован в концепции *machine à habiter*.**

Дом-транспортное средство поднимает симметрию между сооружением и демонтажем до высоты прагматического идеала. Отныне здание воспринимается как гипотеза. Оно, если возводится на уровне искусства, артикулирует требование достижения совершенного образа непостоянства; даже если форма кажется завершенной, локализация остается сменяемой. В таких пространствах обитатель может стать постояльцем у себя самого; хозяин — это пассажир, делающий местопребывание элегантным. Декор — ничто (поскольку он в принципе связан с оседлостью и малоподвижностью), дизайн — всё. На упрек, что такое здание не имеет крепкой связи с землей, адекватным ответом является новация, присущая гибриднему дому-транспортному средству: его нахождение где-либо означает не союз с землей, а парковку на ограниченной площадке. В своих со-

463 *Ernst Bloch. Das Prinzip Hoffnung. S. 859.*

464 *Georg Simmel. Philosophie des Geistes. Frankfurt, 1989. S. 714.*

* Чистая деятельность (лат.).

** Жилая машина (фр.).

чинениях по теории архитектуры Эль Лисицкий артикулировал программный характер антигравитационной тенденции нового строительства:

«Одной из наших обращенных в будущее идей является преодоление фундамента, связи с землей... (это) требует преодоления силы тяготения как таковой. Требуется парящего тела, физически-динамической архитектуры».⁴⁶⁵

Для иллюстрации своих тезисов он ссылаясь на проект «Небоглад» (1924), а также на разработанный Иваном Леонидовым проект Института Ленина в Москве, ядро которого, наряду с небоскребом-библиотекой для 15 миллионов томов, должно было состоять из парящего в воздухе гигантского тара — аудитории, рассчитанной на 4000 человек.⁴⁶⁶ Нового Человека рождает Советская власть плюс левитация. Многочисленные ссылки Ле Корбюзье на автомобиль и океанский пароход — включая футуристическое заявление о равноценности Парфенона и совершенного кузова — не только свидетельствуют о любви к геометрии и зачарованности платоновскими абстракциями, заметными у многих пионеров новой архитектуры; они подразумевают правильное понимание предназначения новых домов как транспортных средств. Поэтому застроенные участки земли следует рассматривать в первую очередь как парковки — или как портовые причалы (концепция, которая позднее манифестируется прежде всего в крупных жилых сооружениях, где апартаменты располагаются друг над другом, как контейнерные боксы в вертикальных гаражах или корабельные каюты, что не всегда согласуется с потребностями преимущественно оседлого населения, не способного разглядеть тождество парковки и жилья). Если бы мы хоте-

⁴⁶⁵*El Lissitzky. 1929. Rußland: Architektur für Weltrevolution. Braunschweig; Wiesbaden, 1989. S. 46, 48.*
⁴⁶⁶*Ibid. S. 47.*

ли образовать некое общее родовое понятие для жилищ нового типа и соответствующих транспортных средств, то прибегнул и бы к выражению «социомобиль»⁴⁶⁷ — «Фольксваген» и групповой резервуар одновременно.

Для новой формы экспликации обитания в жилище связь с концепцией транспортного средства и транспортно-бельного контейнера продуктивна еще и потому, что из обеих аналогий вытекает возвращение к одноэтажности — уже не вынужденное, а обусловленное прагматическими причинами. У транспортных средств нет ни фундамента, ни чердака, контейнеры не имеют подвалов. Таким образом, *machine à habiter* лишает силы требование рассматривать обитание в жилище с точки зрения пребывания в доме, то есть внутри многоэтажной структуры. Единицей, аналитически препарированной автономной жилой оказывается — почти догматическим образом — своего рода штабелируемое бунгало, в котором жизненные движения жильцов должны осуществляться исключительно в горизонтальной плоскости (за вычетом нескольких амбициозных проектов однокомнатных квартир с высокими потолками и хорами). Поэтому понятно, почему такой поклонник дома, как Гастон Башляр, называл современные одноэтажные жилища заблуждением с далеко идущими психологическими последствиями. Если жилище человека действительно передает его душевную «форму», то проживание в одноэтажных единицах знаменует начало конца вертикально структурированной души. Разве может быть душа «протяженной» («ничего не знает об этом»), пока она вынуждена довольствоваться съемными квартирами? Наверное, мы можем считать идеи Башляра проявлением буржуазной ностальгии, тем не менее компанию ему составляет Зигмунд Фрейд, для которого психика с топологической точки зрения представляла собой трехэтажное строение. Что же должно явиться из внутренних крипт, если современники «Баухауза» и культуры бунга-

467См.: Ulf Poschardt. *Über Sportwagen*. Berlin, 2002. S. 29 f.



Эль Лисицкий. *Небоглад*. 1924 г.

ло уже почти совсем не знают, что такое шкаф в подвале, в котором можно было бы хранить мертвое тело?⁴⁶⁸ Для будущих судеб психоанализа, быть может, будет небезынтересно, как люди отнесутся к концепции бессознательного, если у них уже не будет опыта дома с подвалом и чердаком.

Дальнейшее развертывание мотива жилой машины в XX веке позволяет понять, как формула, остававшаяся у Ле Корбюзье скорее риторической, находила свою точную материализацию в многочисленных фокусных точках современной практики обустройства человеческого прибежища.⁴⁶⁹ На раннем этапе ее высшей инженер-

■*68 См.: *Anthony Vidier. The Architectural Uncanny. Cambridge (Mass.), 1992; нем. изд.: unHEIMlich. Über das Unbehagen in der modernen Architektur. Hamburg, 2002.*

■*69 См.: *Robert Kronenburg. Moderne Architektur für variables Wohnen // Living in Motion. Design und Architektur für flexibles Wohnen, Ausstellungskatalog. Weil am Rhein, 2002. S. 18—77.*



Карстен Хейлер. *Коммунальный дом*. 2001 г.

но-технической формой стали проекты *Dymaxion House* молодого Букминстера Фуллера (1927), которые действительно представляли собой разработку первой аутентичной машины для пребывания в плоском пространстве. Во время легендарного доклада Фуллера на заседании Architectural League* * Нью-Йорка в июне 1929 года ее председатель Харви У. Корбетт охарактеризовал модель дома принципиально нового типа как результат лишённого предрассудков размышления «об именно том классе машин, которые в точности соответствуют целям жилища». ⁴⁷⁰ По его словам, можно предполагать, «что мы увидим жилые дома, управляемые подобно автомобилям», «машину многократного использования, которая может

«70 R. Buckminster Fuller. *Dymaxion House*. Vortrag in der Architectural League, N. Y. C., 1929 // *Your Private Sky*. R. Buckminster Fuller. Diskurs. Zürich, 2001. S. 90.

* Архитектурная лига (англ.).



**Р. Букминстер Фуллер со второй моделью *Dymaxion House*.
1929 г.**

быть установлена в любом месте». «Если вы прожили несколько лет в таком доме и желаете совершить путешествие в Европу, черкните записку в прачечную; вам позвонят, заберут дом, вымоют его, почистят, погладят и вновь установят, и когда вы вернетесь, то окажетесь в новом доме».⁴⁷¹

Инженерный дом подчинен принципу монтажа: он более не строится из стен, а устанавливается монтерами. В нем более не живут в европейском смысле слова; дом наполняется той или иной опцией пребывания. Как жилая машина он одновременно является машиной для переезда — и демонстрирует независимость от контекста. Новоонтологический тезис, гласящий, что дом образует искусственную среду между человеком и природой,

•171 Ibid. S. 90—91.

которая в силу самой своей сущности должна оказывать на них примиряющее воздействие, тем самым утрачивает свою силу.⁴⁷² Подвижный дом в столь же малой степени примиряет своего обитателя с окружающим миром, в какой автомобиль примиряет водителя с дорогой. Там, где была природа, должна возникнуть инфраструктура.

Доклад Фуллера начинается с критики эпохи («...я пришел к выводу, что строительство ответственно почти за все наши беды»;⁴⁷³ «В. нашей сегодняшней домашней жизни женщины поработаны в гораздо большей мере, чем в свое время экипажи римских галер*⁴⁷⁴) л. завернется похвалой стаздщртизации и серийному мышлению, а также прямо-таки апофеозом мобильности: ныне речь идет о последовательном отделении дома от почвы.. Новое здание, служащее !вероятному усовершенствованию жизненного пространства мобильных людей, должно подвешиваться вокруг центральной мачты — при этом речь идет об отказе от традиционной статики и о забвении кубических традиций с их догматической прямоугольностью стен, окон и дверей. Висячий дом будет оставаться связан с землей лишь за счет крепления к мачте, причем, несмотря на свою легковесность, он должен быть способен противостоять ураганам и быть сейсмостойким (заметим, что четыремя месяцами позднее, в октябре 1929 года, в докладах, прочитанных в Буэнос-Айресе, Ле Корбюзье *expressis verbis* превозносил оторванный от земли и установленный на сваях [*pilotis*] дом,⁴⁷⁵ *boîte en l'air*;* за десять лет до этого умерший в 1922 году русский поэт Велимир Хлебников в своем радикально-конструктивистском сочинении «Мы и дома*» выдвиги-

472н. *van der Laan. Der architektonische Raum. S. 4.*

473R. *Buckminster Fuller. Your Private Sky. S. 92.*

474 *ibid. S. 98.*

475 Ср.: *Adolf Max Vogt. Le Corbusier, der edle Wilde. Zur Archäologie der Moderne. Braunschweig; Wiesbaden, 1996. S. 67 f.*

* Воздушная коробка (*фр.*).

гал такое требование: «Строить дома в форме чугунных решеток, в которые могут вставляться подвижные стеклянные хижины»⁴⁷⁶).

Спроектированный Фуллером дом своей стабильностью должен был быть обязан каркасу принципиально нового типа, интегрированному главным образом с помощью напряжения при растяжении; это одно из первых указаний на концепцию тензегритетов, благодаря которой Фуллер стал основоположником неклассической статики. Для оттяжки нагрузки применяется чрезвычайно прочная проволока, используемая при производстве фортепьянных струн; кроме того, о дополнительной прочностности должны были бы позаботиться находящиеся под воздушным давлением металлические трубы и шланги («...они, пожалуй, могли бы выдержать посадку самолета, и при этом окна остались бы целы»⁴⁷⁷). Наполненные воздухом полы заглушают звуки и смягчают падения маленьких детей. Двери из аэроэластичного шелка открываются и закрываются с помощью пневматических механизмов. Отсутствуют какие бы то ни было складские помещения; исчезли разделения между помещениями, словно бы возвещающие: здесь нельзя пройти. *Indoors*-перемещения обитателей типизируются и эргономично оптимизируются; все шаги и действия в тщательно просчитанном интерьере ориентированы на потребность *Dymaxion*-субъектов в эффективности и энергосбережении.

476 *Velimir Chlebnikow. Werke. Poesie. Prosa. Schriften Briefe / Hrsg. von Peter Urban. Reinbeck bei Hamburg, 1985. S. 229, 236—237*; хлебниковские дома-остовы, заполненные припаркованными и штабелированными стеклянными шатрами, представляют собой совершенную городскую пену, в отдельных пузырях которой живут, движутся, отдыхают индивиды. «Похожий на кости без мышц, чернея пустотой ячеек для вставных стеклянных ящиков, ставших деньгами объема, в каждом городе стоял наполовину заполненный железный остов, ожидавший стеклянных жителей. Нагруженные ими же, плавали палубы... Иногда в одном владении были две или три клетки...» (*Ibid.* S. 237) [цит. по: *Велимир Хлебников. Творения. М., 1987. С. 598*].

477 *R. Buckminster Fuller. Your Private Sky. S. 97.*



Дутонак Deployment Unit (DDU). 1940 г. Кухня — модель временного аварийного жилища в ожидании бомбардировки британских городов.

Кроме того, благодаря своему удобному расположению и свободной связи с аналогичными зданиями дом представляет собой апологию распада старого коллективистского города, более того, является предвестником децентрализации общины, исчезновения из общества института школы и перехода к самообразованию *Думахи́он*-детей, первого поколения гостей из будущего, которые уже не будут «детьми-тебе-нельзя»⁴⁷⁸ (здесь невозможно не заметить влияния Фрэнка Ллойда Райта). Кроме того, новый дом рекомендуется как машина эмансипации домохозяйки. Если традиционное жилище являлось для них сущей галерной скамьей и неизбежной стрессорной средой, то новый превращается во всеобъемлющее техническое средство содействия ведению домашнего хозяйства; он как внутренне, так и внешне ориентирован на его облегчение. Эмансипация рифмуется с левитацией; и ту и другую можно рассчитать и взвесить. «Общий вес дома составляет около 6000 фунтов. Стоимость использованных материалов, по современным оценкам, около 50 центов за фунт».⁴⁷⁹

Благодаря альянсу с мобильностью новый способ обитания в жилище, согласно Фуллеру, должен привести к благотворному разрыву с традиционной психологией городских «масс». *Думахи́он*-дом должен стать коммуникативной средой человека, преодолевшего последние реликты европейского феодализма, которые связаны с догматизмом фундаментов и верой в тяжесть стен. В силу этого новый стиль проживания в жилище превращается в средство удовлетворения «спроса на движение»⁴⁸⁰ (позднее в «On the Road»* Керуака будет изображено поколение, для которого «единственно достойная функция нашего времени» состоит в том, чтобы «быть в движении»). В то время, когда по дорогам США ездило едва ли

⁴⁷⁸ *ibid.* S. 103.

⁴⁷⁹ *Ibid.* S. 105.

⁴⁸⁰ *Ibid.* S. 106.

* «В пути» (англ.).

20 миллионов автомобилей, Фуллер мечтал о постройке 100 миллионов *Dymaxion-ROMOB*. Позднее он официально заявлял, что никогда не верил в осуществление своего проекта.

Связь между домом и транспортным средством в жилищной утопии Букминстера Фуллера не ограничивается добродетелями подвижности. Действительно, концепция *Dymaxion* уже подразумевает тренд в сторону субурбанизации городов, без которого практически немыслимо современное общество массового потребления, особенно в его американском варианте. Ведь начиная с 30-х годов XX века, с развитием стимулирующей ревность массовой культуры первичными потребительскими аренами или оживляющими конъюнктуру ячейками поглощения, становятся пригородные односемейные домашние хозяйства, которые могли быть связаны с торговыми центрами лишь с помощью моторизованного транспорта. Таким образом, проект Фуллера предвосхищает — пусть и в отчужденно интеллигентной форме — именно те жилищные и *lifestyle**-тренды, которые в его время только начали набирать силу; он агитирует за дом, целиком и полностью спроектированный как машина комфорта, первая добродетель которого состоит в том, чтобы освободить своим обитателям руки для потребления. Фуллеровский вариант утопизма представляет собой одну из манифестаций того «заговора против города», который, согласно диагнозу урбаниста Ричарда Плунза из Колумбийского университета (Нью-Йорк), определяет судьбу городов после мирового экономического кризиса и его преодоления с помощью New Deal.^{481**}

Последующая история архитектурных форм XX столетия демонстрирует, что интерпретация дома как транс-

481 *Véronique Patteuw. The Conspiracy Against the City. Lieven de Cauter in Conversation with Richard Plunz // Een Stad in Beweging / Une ville en mouvement / A Moving City. Brüssel, 1998. P. 230.*

* Стиль жизни (англ.).

** Новый курс (англ.).

портного средства развивалась не в том направлении, которое было указано высокотехнологичным подвесным контейнером Букминстера Фуллера. Там, где имело место эффективное соединение жилого дома и автомобиля, в одних случаях возникали «жилмоби́ли» как интегрированные единства микроавтобусов и меблированных контейнеров, например прикрепленные к автомобилям трейлерные прицепы; в другом случае формировались (прежде всего в США на основе прототипов середины XIX века⁴⁸²) разнообразные субкультуры *mobilhomes*,* настоящие дома, снимаемые со своих фундаментов и с помощью седельных тягачей перевозимые на новые места, где они после коротких монтажных работ по подключению электроэнергии, водоснабжения, канализации и телекоммуникаций вновь становятся автономными жилыми единицами. Мобильный дом определяется как кочующая архитектурная монада, конгениальная своему обитателю в следующем: как дом, так и жилец ссылаются на свободу выбора контекста. Она представляет собой детерриториализированный контейнер, не требующий и не терпящий никакого соседства. Существование также становится предметом экспликации: коммуна и окружение могут в той же мере быть отделены друг от друга, как отделены сексуальность и продолжение рода. Понятие близости эмансипируется от своего тривиального истолкования — задолго до того, как Интернет породил новый модус дистанционного соседства.⁴⁸³ Когда торнадо разрушает какой-нибудь *mobilhome*-поселок во Флориде или в Оклахоме, стоящие возле руин своих домов жители подчас выглядят на телевизи-

⁴⁸² Архитектурный тип «portable cottage» [переносной коттедж], или колониальная хижина, появился в Англии около 1830 года; см.: Matthias Ludwig. *Mobile Architektur. Geschichte und Entwicklung transportabler und modularer Bauten*. Stuttgart, 1998. S. 20 f.

⁴⁸³ См.: David Weinberger. *Small Pieces Loosely Joined. A Unified Theory of the Web*. Cambridge (Mass.), 2002. P. 95—120.

* Мобильные дома (англ.).

онных экранах почти так же, как водители автомобилей, ставшие участниками массового столкновения на авто-страде.

Экспликация обитания в жилище с помощью аналогии с транспортным средством осуществлялась в тени авангарда как бы дважды — второй раз в отнюдь не теоретическом и не художественном пространстве: несчастье по-своему анализирует элементарные структуры проживания. В мире, где бегство и депортация стали маевыми явлениями, неизбежно должны были иметь место крупномасштабные и многочисленные попытки импровизации на тему временного жилища. Возникает мир лагерей, которые мы при любой оценке XX столетия обязаны рассматривать в качестве одного из его главных симптомов. Они представляют собой тяжелый компромисс между недобровольной мобильностью и вынужденной неподвижностью. И все же: даже в своем барачном минимализме этот вид размещения людей подчиняется антропологическому императиву обитания в жилище. При всем различии в степени жесткости лагерные миры сравнимы друг с другом как места скопления «лишних людей», где испытываются способы редукции жилищной культуры к элементарным и совершенно неподготовленным условиям. Здесь выясняется, что редукция жилого пространства к почти пустому контейнеру не должна быть связана с какими бы то ни было эстетическими изысками. Шокирующее замечание Флюссера — «люди проживали и в Освенциме» — представляет собой дескриптивный тезис; в нем артикулируется предельная стоимость пребывания в жилой машине, служащей пространством ожидания смерти. Если в 20-е годы XX века бескачественное экзистенциальное время эксплицировалось как бытие-к-смерти, то начиная с 40-х годов бескачественное пребывание-в-чем-то эксплицируется как бытие-в-контейнере.

**6. АДРЕСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ,
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ,
РЕГУЛЯЦИЯ КЛИМАТА**

Поскольку «проживание» в лагере лишает обитателей свободы выбора места и уничтожает автономию личности, оно *ex negativo** * * подчеркивает еще одно измерение эксплицированного пребывания: благодаря утверждению Dasein в некоем конкретном месте обитание в жилище определяется и разворачивается как обладание резиденцией. Выбор резиденции означает обязательство иметь адрес; адрес есть у того, кто утверждает себя в качестве отправителя и доступен в качестве получателя. В обоих аспектах обитающий в жилище современный человек инвестирует часть своих энергий в свое местожительство как в место осуществления своей предпринимательской деятельности. В этом смысле современный обладатель адреса наследует габитусу староевропейской аристократии, которая была готова платить практически любую цену за привилегированную резиденцию. Для воспитанного в традициях ревнивого внимания к знакам происхождения и ореолу имени дворянства было очевидно, что адрес — это послание. Даже в капиталистических условиях оставление места и ранга посредством демонстрации адреса остается стбящей предпринимательской целью, поскольку оно связано с одной из главных ценностей мобильного общества — доступностью, причем как в активной, так и в пассивной форме.⁴⁸⁴

Современное жилище определяется как адрес в том случае, если оно делает своих обитателей доступными для служб, поставок, сетевых предложений и предоставляет им средство для действий в качестве отправителей заказов и посланий. Местожительство — это первичная инвестиция, с помощью которой действующие лица мира

⁴⁸⁴ См.: *Jeremy Rifkin*. Access. Das Verschwinden des Eigentums. Frankfurt; New York, 2000. S. 154—180.

* По отрицанию (лат.).

бизнеса подтверждают свои деловые качества и обоснованность своих социальных претензий. В качестве инвестиции в социальное место адрес представляет собой компонент твердого капитала. Чем отчетливее проявляется резидентная ценность проживания в жилище, тем больше у поставщиков *housing facilities*,* оснований оценивать свои объекты с точки зрения их коммуникативных возможностей. Самые высокие бонусы достаются тем жилым единицам, которые соединяют преимущества *privacy*** с возможностями *access**** Там, где предлагается такое соединение, жилая резиденция является одновременно и абсолютно инсулированной эгосферой, и легкодоступной точкой в сети разнообразных *on-line-communities***** Она представляет собой пульт управления для отключения внешнего мира и допуска реальности *on demand****** В перспективе таких диспозиций элегантно выражение «умный дом» означает нечто большее, чем рекламный слоган. Ум — это способность навигации в пространстве возможностей. Эксплицированное с точки зрения ума проживание превращает жилище в своего рода агентство: интерфейс и местопребывание агентов, рабочих искусственных программ, взаимодействующих с конечными потребителями — людьми.⁴⁸⁵

Билл Гейтс назвал проект своего жилища *Cyber-home****** вблизи Сиэтла «(почти) всезнающим домом».⁴⁸⁶ Воздвигнутый из стекла, дерева и кремния, он должен служить ему и его супруге прежде всего машиной

<85 См.: *Peter Schefe. Prolegomena zu einer Agentologie. Magie, Metapher oder Mache? // HyperKult. Geschichte, Theorie und Kontext digitaler Medien / Hrsg. von Wolfgang Coy, Christoph Tholen, Martin Warnke. Basel: Frankfurt, 1997. S. 411—432.*

486 *Bm Gates. Der Weg nach vorn. Die Zukunft der Informationsgesellschaft. Hamburg, 1995. S. 297—327.*

* Жилищные удобства (англ.).

** Частная жизнь (англ.).

*** Доступ (англ.).

**** Онлайн-общество (англ.).

***** По требованию (англ.).

***** Кибердом (англ.).

для релаксации и предоставлять им общую среду с максимумом «возможностей для развлечений». *Intelligent toys** превращают дом в среду увлекательных переживаний. Гуляющий по вилле Гейтса окутан своего рода электронной мантией, позиционирующей его в каждый момент времени и окружающей его аурой из света, музыки и оперативных опций. Дом всегда знает, что ему должно быть известно о посетителе, чтобы быть для него полезным. Его можно сравнить с цифровым батискафом, готовым, например, день и ночь по желанию своего обитателя проигрывать песни, в которых встречается слово *yellow*.** На стенах располагаются мониторы, демонстрирующие по желанию зрителя любую картину из архива всемирной истории искусств. «Проживать означает... обладать доступом».⁴⁸⁷

Заметим, что почти все постаграрные, но уже не ремесленно-цеховые жилищные условия отличаются тем, что они (по крайней мере, для работающих членов семьи) основываются на связи между рабочим местом и жилищем. Здесь дает о себе знать еще один аспект эксплицированного обитания в жилище, в силу которого оно категорическим образом определяется как не-работа. В терминологии политической экономии деятельность в этой области описывалась как «репродукция товара "рабочая сила"». Тогда как в социологии общества переживания современное обитание в жилище рассматривается как среда производства и регенерация идентичности — причем жилище исполняет функцию базового лагеря для вылазок в пространство увлекательных переживаний. Жилище все более недвусмысленно квалифицируется как место, в котором индивиды исполняют свое призвание к самореализации в чистой имманентности. Самореализация — это кодовое наименование для конечного собственного потребления. Самый осмысленный результат жизни определяется в этом случае как интенсифицированный

487 *Jeremy Rifkin*. Access. S. 164.

* *Умные игрушки* (англ.).

** *Желтый* (англ.).

поток переживаний, то есть аккумуляция и расходование потребляемых различий в текущее время. Жилища суть резиденции предпринимателей в области переживаний, то есть «машины желаний, производящие максимальное количество сенсаций в единицу времени».⁴⁸⁸

Наконец, современная строительная культура позаботилась о том, чтобы quasi-непредметное физическое содержание всех зданий, окруженный стенами воздух, смогло развернуться в тему *sui generis*. В нашем изложении она составляет последний аспект эксплицированной жилищной культуры современности. На фоне наших прежних рассуждений о теплицах⁴⁸⁹ мы могли бы отважиться на тезис, гласящий, что все современные жилища не только располагают климатическими приборами (в наших широтах — в виде отопительных систем, в 60-лее южных краях — еще и в форме систем охлаждения воздуха), но и сами представляют собой климатические приборы. Очевидно, что до сих пор феномен Air Conditioning не привлекал внимания историков культуры и социологов. Лишь спорадически указывается на огромное значение охлаждения жилого и рабочего помещений для цивилизаторского освоения более теплых и жарких климатических зон Земли. Историк Дэвид С. Лэндис убедительно объясняет популяционные сдвиги в США в пользу Юга и развитие в этих широтах промышленного производства экстенсивным использованием Air Conditioning.⁴⁹⁰ Здесь на память приходит полемически заостренное замечание Гегеля о бесполезности естественного воздуха для человеческих целей.⁴⁹¹ Что же касается современных архитекторов, то они не только осознали свою ответственность за психосоциальный комфорт жилой

488 *Reinhold Grether. Sehnsucht nach Weltkultur. Grenzüberschreitung und Nichtung im zweiten ökumenischen Zeitalter, Dissertation. Konstanz. 1994, S. 100.*

489 См. в этом томе с. 90.

490 *David S. Landes. Wohlstand und Armut der Nationen. Warum die einen reich und anderen arm sind. Berlin, 1999. S. 23.*

491 См. выше с. 90.



Шигеру Бан. *Curtain Wall House* {Дом со стенами-занавесами}. 1995 г.

единицы (вспомним о сформулированном Ле Корбюзье понятии «психической вентиляции»), но все яснее понимают, что наряду со зримой архитектурной структурой их продукт обладает и самостоятельной атмосферной реальностью. Подлинное жилое пространство — это воздушная скульптура, внутри которой ее обитатели перемещаются словно внутри некоей вдыхаемой инсталляции. В этом отношении не многие из великих



Гийом Бижль. *Heating stand (Отопительный стенд)*. 1990 г.

архитекторов XX столетия выиграли от поворота их искусства к макроскульптурному способу мышления.⁴⁹² По мере того как корпуса зданий начинают восприниматься как пространственно-пластические величины, обостряется восприятие пустот (*les creux*) как самостоятельных, нуждающихся в оформлении реальностей. И если начи-

492 См.: *Siegfried Giedion. Raum, Zeit, Architektur. Die Entstehung einer neuen Tradition. Zürich; München, 1992.*

ная с XIX века теплицы возводятся исключительно ради господствующего в них климата, то в XX столетии некоторые наиболее значительные мастера создания пространств обращаются к уже вполне сформировавшемуся искусству обращения с воздухом и климатом.

При взгляде на жилищные практики прошедшего столетия бросается в глаза тот факт, что практическая дефиниция жилищной машины — уже на основании количественного соотношения — должна была стать делом скорее мастеров-любителей, нежели архитекторов. Самая массовая имплантация *machines à habiter* осуществлялась — забудем на мгновение о централизованно управляемом строительстве населенных пунктов при социализме — в стремительно растущих бедных кварталах на окраинах крупнейших городов так называемого (после 1950 года) Третьего мира, где возникли гигантские аддитивно-аморфные невысокие деревни, близкие к нулевой точке архитектуры, импровизации из таких случайных материалов, как жость, картон, солома, глина и дерево, нередко лишенные доступа к минимальным городским функциональным системам, таким как электроснабжение и канализация, самодельные резервуары для преодоления перманентного чрезвычайного положения, свидетельства как неизбытности человеческой потребности в жилище, так и архетипической креативности, которая даже в самых непростых условиях сопровождает манифестацию стремления к хижине, этой первой архитектурной артикуляции требования интерьера. Такие формы демонстрируют, что современная ассоциация домашности и движения осуществляется отнюдь не только под знаком транспортного движения. Есть еще и бегство, заставляющее людей постоянно изобретать новые компромиссы между привязанностью к жилищу и подвижностью. Затянувшееся бегство огромного числа утративших корни людей порождает ситуации, в которых неожиданным образом вновь вступает в силу неолитическое тождество проживания и ожидания. Если вызвав-

шие гигантский поток спекуляций слова о конце истории и имеют какой-либо эмпирический смысл, то он открывается при взгляде на эти феномены. Те, кто оказался в палаточных городках, фавелах, бидонвилях, живут в условиях почти-невозможности обладать каким бы то ни было проектом или требующим будущего прошлым. Ведь для обитающих на этих стоянках дезориентированных и лишенных наследства людей нарушен старый земледельческий баланс между терпением и ожиданием; здесь царит лишь неопределенная надежда на приход внешней помощи без каких бы то ни было видов на самостоятельно созревающий, освобождающийся для существования в подобающее ему время продукт.

В. ЯЧЕЙСТАЯ СТРУКТУРА, ЭГОСФЕРЫ, АУТОКОНТЕЙНЕРЫ

*К осуществляемой с помощью апартаментов
экспликация коизолированного существования*

**Вот, наступает час, и настал уже,
что вы рассеетесь каждый в свою сторону...**

Евангелие от Иоанна, 16;32

Тот, кто будет изучать историю новейшей архитектуры в ее связи с жизненными формами медиатизированного общества, тотчас обнаружит, что обе наиболее успешные архитектурные инновации XX века — апартменты* и спортивный стадион — непосредственно связаны с двумя наиболее масштабными социально-психологическими тенденциями эпохи: эмансипацией изолированно живущих индивидов, осуществляющейся с помощью индивидуализирующих жилищных и медиатехник, и сосредоточением в одном месте в равной степени возбужденных масс, поводом для которого становятся

* Здесь и далее под апартментами имеется в виду небольшая квартира в многоквартирном доме.

специально организованные события в вызывающих воехищение колоссальных сооружениях. Мы пока не заостряем внимание на том факте, что аффективный и образный синтез современного «общества» осуществляется скорее с помощью масс-медиа, то есть телекоммуникативной интеграции не собирающихся вместе людей, чем посредством физического собрания, в то время как оперативный синтез регулируется рыночными отношениями.

1. Ячейка и мировой пузырь

Современные апартаменты — в литературе они именуется также однокомнатными или, более точно, одноместными квартирами⁴⁹³ — представляют собой материализацию тенденции к формированию ячеек, в которой можно увидеть архитектурный и топологический аналог индивидуализма современного общества. В данном месте для объяснения индивидуалистических устремлений нам достаточно вспомнить замечание Габриэля Тарда, сделанное им еще в 80-х годах XIX века: «Цивилизованный человек наших дней, в сущности, стремится обрести возможность отказаться от человеческой поддержки».⁴⁹⁴ Развитие строительства многоквартирных домов позволяет нам сделать вывод, что нет ничего более условного, чем, казалось бы, естественное ожидание того, что на одно лицо будет приходиться по крайней мере одна комната или на одного человека — одна жилищная единица. Если советский модернизм консолидировался в мифе коммунальной квартиры, выступавшей в роли литейной формы для создания пригодного к жизни в коллективе Нового Человека, то модернизм Запада концентрируется в мифе апартаментов, в которых эмансипированный,

⁴⁹³ См.: *Doris Weigel. Die Einraumwohnung als räumliches Manifest der Moderne. Untersuchungen zum Innenraum der dreißiger Jahre. Schliengen, 1996.*

⁴⁹⁴ *Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung. S. 87.*

приспособившийся к потоку капиталов индивид посвящает себя заботе о собственных интересах.

Мы определяем апартаменты как атомарную или элементарную эгосферическую форму — а следовательно, как целлюлярный мировой пузырь, из которого путем массового воспроизводства возникает индивидуалистическая пена. Это определение не связано ни с какой моральной оценкой; оно не содержит в себе никакой уступки католической и неоконсервативной критике эпохи, которая не способна сказать о современном тренде в направлении *vtŕle** *-культуры ничего такого, что вышло бы за пределы стереотипов августинианских инвектив в отношении эгоизма и безразличия; новым в ней является лишь язвительное замечание, что современный эгоист и современная эгоистка стали подписчиками «Daily Me».** Кроме того, мы остаемся вне игры, когда вводятся такие понятия, как «пространственный экзистенциальный минимум», — практически везде, где речь заходит о минимуме, мы сталкиваемся с неадекватным описанием понятия жилой ячейки или атома «жизненного мира», вокруг дефиниции которого кипят страсти современных рассуждений об обитании в жилище.

Чтобы приблизиться к пониманию феномена апартаментов, необходимо увидеть его тесную связь с серийным принципом, без которого немислимо вступление строительства (и производства) в эру массовой фабрикации и промышленной сборки.⁴⁹⁵ Если, по словам Эль Лисицкого, конструктивизм представлял собой пересадочную станцию на пути от живописи к архитектуре,⁴⁹⁶ то серийность — это пересадочная станция на пути от стихийно-

⁴⁹⁵ Об общей истории серийности, стандартизации, научной инженерии и современной войны см. работу Петера Берга: *Peter Berg. 08/15. Ein Standart des 20. Jahrhunderts. München, 2001.*

⁴⁹⁶ Буквально: «Проун — это пересадочная станция на пути от живописи к архитектуре».

* Отдельный, одинокий, холостой (англ.).

** «Ежедневное Я» (англ.).



Кисё Куракава. *Nakagin Capsule Tower* (Капсульная башня Накагин). Токио, 1972 г.

сти к социал-утопизму. В серийности, которая посредством строгой стандартизации регулирует отношения между частью и целым таким образом, что появляется возможность децентрализованного изготовления деталей и централизованного монтажа, следует искать ключ к пониманию характерного для современности отношения между ячейкой и ячеистой структурой. Если разработка



Марина-Сити, Чикаго.

ячейки пронизана духом анализа, поскольку означает возвращение на элементарный уровень, то строительство домов на базе таких элементов представляет собой комбинаторику или, лучше сказать, форму «органического конструирования» — с целью создания архитектурно, урбанистически и экономически состоятельного ансамбля из модулей. О том, что штабелирование многочисленных целлюлярных единств в одном архитектурном комп-

лексе с самого начала предполагало нечто большее, чем случайное или механическое сложение элементарных единиц, свидетельствует огромное разнообразие строительных форм, которыми архитекторы современности отвечали на провокацию модулярного строительства. От планов Ле Корбюзье по созданию пронизанного светом жилого особняка (1922), а также его проектов крестообразных (1925), звездоподобных (1933) и ромбовидных (1938) небоскребов изобилующий всевозможными ответвлениями путь ведет к скульптурным нагромождениям ячеек в напоминающих детский конструктор структурах, таким как, например, *Nakagin Capsule Tower** в Токио (1972), принеся известность японцу Кисё Куракава. Вертикальная агломерация капсульных единиц превращается в ней в обладающий самостоятельной ценностью эстетический феномен. Другие архитекторы нагромождали друг на друга жилые модули в грибовидных и древоподобных строениях. Характерно изогнутые балконы 60-этажных башен-близнецов многоквартирного дома Марина-Сити в Чикаго придают им в плане сходство с цветками. Хотя более крупные комплексы неизбежно формируются путем сложения элементарных единиц и нередко выглядят, как простой штабель, они тем не менее всегда обладают определенной самостоятельной макроскульптурной ценностью — синтаксис многоквартирного дома прямо-таки запрещает простое штабелирование единиц, поскольку без связей посредством коридоров, лестниц, лифтов и электропроводных систем они были бы нефункциональны и не годились бы для перемещения по ним людей.

Апартаменты как жилая ячейка образуют атомарный уровень в поле жилищных условий: как живая клетка в организме представляет собой биологический атом и в то же время воплощение генеративного принципа (Сваммердам в XVII веке: *Omne vivum e vivo*;** Вирхов

* Капсульная башня Накагин (*англ.*).

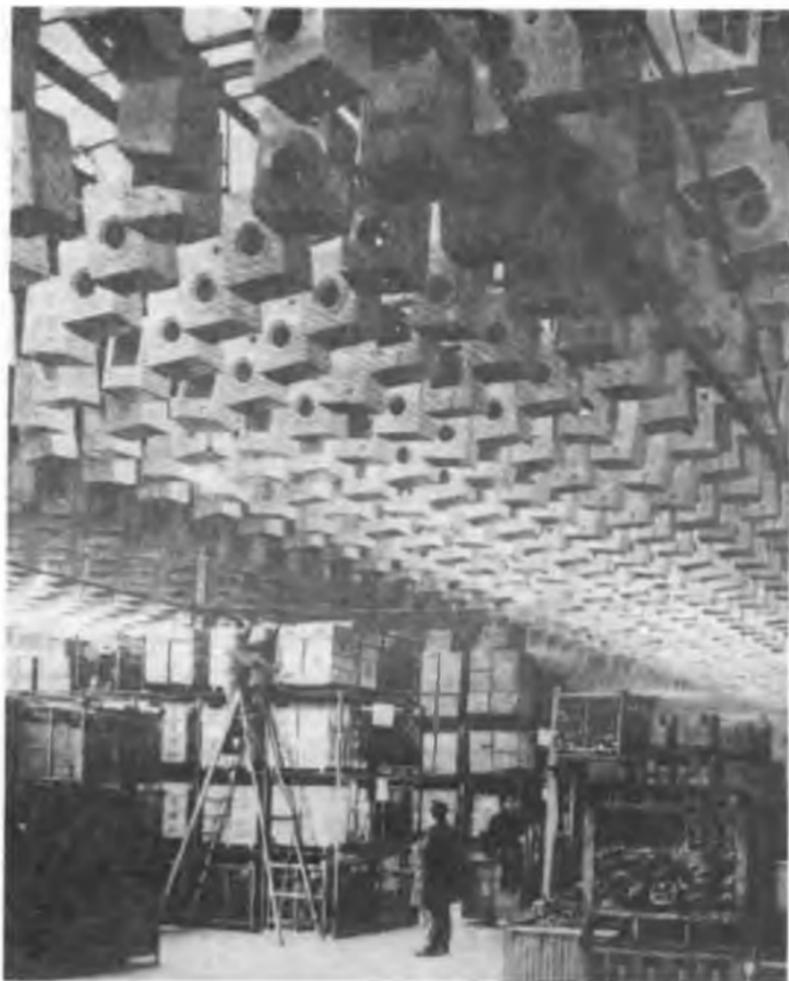
** Каждое живое существо происходит из другого живого существа (*лат.*).

в XIX веке: *Omnis cellula e cellula**), так и в современной конструкции апартаментов выработан жилищный атом — одноместная квартира с живущим в одиночестве обитателем как клеточным ядром своего частного мирового пузыря. Благодаря переходу на уровень целлюлярной единицы само жилое пространство редуцируется к своей элементарной форме. Перефразируя выражение Готфрида Земпера, ее можно было бы назвать «пространственным индивидуумом».⁴⁹⁷ Отнюдь не случайно, что архитектура апартаментов развивалась в тот же самый исторический период, что и феноменологии Гуссерля и Хайдеггера: как в одном, так и в другом случае речь шла об укоренении осмотрительного индивидуума в радикальным образом эксплицированной мировой среде. Существование в квартире, рассчитанной на одну персону, есть не что иное, как бытие-в-мире в одном-единственном экземпляре или осуществляемое задним числом включение прежде намеренно изолированного субъекта в его так называемый жизненный мир по конкретному пространственно-временному адресу. Новое сознание создающих жилища архитекторов и более точное раскрытие предпосылок включения *Dasein* в мир философами оказались синхронно и своевременно появившимися противоядиями от ситуационной слепоты, усвоенной староевропейской культурой рациональности.

Впрочем, характерное для современности новое сближение архитектурного понятия ячейки с понятием клетки в микробиологии обладает определенной исторической легитимностью; когда британский физик Роберт Гук в своем труде «*Micrographia*» (1665) ввел биологическое понятие клетки для описания открытого с помощью микроскопа плотного расположения отграниченных друг от друга пустот в куске пробки, он вдохновлялся аналогией с рядами

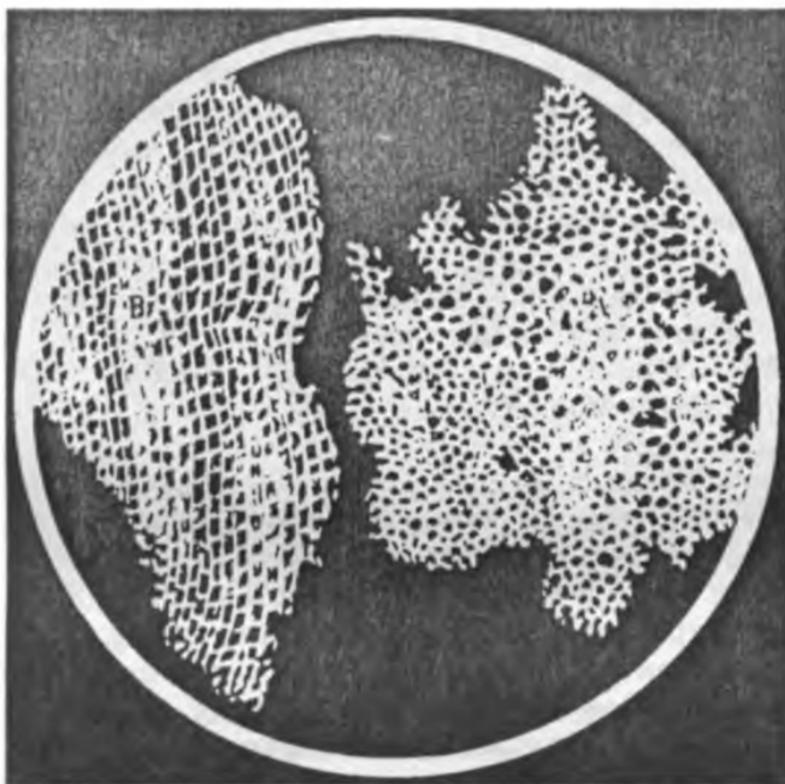
⁴⁹⁷ *Gottfried Semper. Kleine Schriften / Hrsg. von Manfred, Hans Semper. Berlin; Stuttgart, 1884; 1979. S. 422.*

* Каждая клетка происходит из другой клетки (*лат.*).



Висящие стиральные машины.

монастырских монашеских келий. После поворота современной архитектуры к идее редуцированной к идеальному типу жилой единицы понятие клетки после пребывания в плодотворном изгнании возвращается к своему исходному пункту — обогащенной прибавочной стоимостью аналитической точности и конструктивной гибкости. Эмансипированная жилая клетка позволяет сформулировать концепцию условий минимальной архитектурной и



Роберт Гук. *Micrographia*. Лондон, 1665 г. Кусок пробки под микроскопом.

санитарной автономии, необходимых для того, чтобы возможность жить в одиночку могла считаться формально реализованной. Следовательно, в апартаментах в полной комплектации должны иметься средства для осуществления круглосуточного цикла заботы жильца о себе: постель, ванная, туалет, условия для приготовления пищи, обеденный стол, платяной шкаф, кондиционер и система отопления, электропроводка, почтовый ящик, телефон, кабели связи или антенны — причем наличие ванной, влажной клетки, свидетельствует о том, что жилая ячейка, в свою очередь, состоит из различных клеточных единиц.

Отдельный пузырь в жилой пене представляет собой контейнер для организации автономной обстановки жиль-

ца, обустривающегося в своей жилой единице в качестве потребителя первичного комфорта: витальная капсула квартиры служит ему ареной его самоудвоения, операционным пространством его заботы о себе и иммунной системой в чреватом инфекциями поле, состоящем из *connected isolations* alias соседств.⁴⁹⁸ В этих отношениях апартаменты представляют собой материальное воплощение той функции сюрреального резервуара, которую мы описали как функцию аутогенного сосуда.⁴⁹⁹

Афрогенный характер апартаментов вытекает (на уровне получивших свое реальное воплощение архитектурных проектов) из факта, что «одноместные квартиры», как правило, располагаются в домах, которые в соответствии с генеральным планом устроены как агрегаты типизированных жилищных единиц. Многоквартирный дом (или *unité d'habitation**) представляет собой своего рода пространственный кристалл или тело из застывшей пены, внутри которого рядом друг с другом и друг над другом расположено множество единиц, — причем эти формы, как и лабильная пена, подчинены принципу коизоляции, то есть принципу разделения пространства общими стенами. Отсюда вытекает проблема соседства, характерная для многоквартирных домов более раннего типа: недостаточная акустическая изоляция, неприятным образом разоблачающая иллюзию автономии жилых ячеек. Как коизолятор общая стена ответственна за то, что изолированные друг от друга индивиды часто не способны обрести достаточный акустический иммунитет. В социальной пене эффект острова, вызывая который

⁴⁹⁸ С конструктивистской точки зрения определение элементарной архитектурной единицы как ячейки или жилищного атома более продуктивно, чем попытки семиотиков уподобить мельчайшую единицу законченного текста комнате, причем последняя в качестве имени или субстантива должна размещаться в законченной архитектурной фразе, то есть здании. См.: *Frederic Jameson. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. London; New York, 1991. P. 105.*

⁴⁹⁹ См.: Сферы. Т. I. С. 59 и сл.

* Жилищное единство (*фр.*).



Прюитт-Игоэ до сноса в 1972 г.

должна каждая отдельная ячейка, ослабевает в силу плотности расположения ячеек. Следствием становятся нежелательные коммуникации. Исходя из понимания этой проблемы, новейшие архитекторы, занимающиеся проектированием многоквартирных домов, осознали задачу минимизации коэксистенциального стресса, вызываемого *connexiéd-isoZaiioga*-единицами. Там, где она не решается, многоквартирные дома нередко оказываются инкубаторами различных социальных патологий, формулу которых некогда *ex negativo* дал Ле Корбюзье, заметив, что в архитектурном сооружении чрезвычайно важна «психическая вентиляция». Удачная в архитектурном отношении жилищная единица представляет собой не только фрагмент окруженного стенами воздуха, но и психосоциальную иммунную систему, способную в зависимости от потребности регулировать степень герметичности по отношению к внешней среде. «Психическая вентиляция» подразумевает проникновение в изолированные иммунные единства дуновения коммунарной анима-

ции. О том, как его может не доставать, свидетельствуют недоброй памяти города-спутники послевоенной эпохи, словно бы стремившиеся одновременно сделать своих обитателей беззащитными и вызывать у них психосоциальное удушье. Знаменитый снос высотных домов Прюитт-Игоэ в центре Сент-Луиса 15.07.1972 — дата, которую историк архитектуры Дженкс предложил считать моментом рождения постмодернизма, — следует рассматривать прежде всего как объявление об иммунологическом банкротстве вульгарного модернизма в архитектуре.

Факт, что массовое сложение целлюлярных единиц само по себе насыщено социологическими или, лучше сказать, социально-морфологическими импликациями, подтверждается одним наблюдением, возвращающим нас в XIX столетие. В известном пассаже из своей работы «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852) Карл Маркс, описывая политико-экономические основания наполеоновской власти, подчеркивал, что популярная диктатура Бонапарта была защитницей одного определенного класса и его недостаточно артикулированных потребностей, «а именно самого многочисленного класса французского общества, *парцеллярного крестьянства*».⁵⁰⁰ В этой «гигантской массе, члены которой живут в одинаковой ситуации, не вступая, однако, в разнообразные отношения друг с другом»,⁵⁰¹ Маркс обращает внимание прежде всего на ее раздробленность и неспособность вывести из сходства положения какой бы то ни было общий интерес:

«Способ производства изолирует их друг от друга, а не приводит к взаимному общению. Изоляции способствует плохое состояние французских средств коммуникации и бедность крестьян. Каждая

⁵⁰⁰ *Karl Marx. Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte // Marx/Engels Werke. Bd 8. Berlin, 1969. S. 198.*

⁵⁰¹ *Ibid.*

крестьянская семья почти всем обеспечивает себя сама...»

«Земельный участок, крестьянин и семья; рядом другой участок, другой крестьянин и другая семья. Их скопление создает деревню, а скопление деревень — департамент. Таким образом, огромная масса французской нации формируется в результате простого сложения одноименных величин, подобно тому как, например, мешок, наполненный картофелинами, образует мешок картошки». ⁵⁰²

Из контекста становится ясно, что Маркс *ante litteram* обосновывает здесь феноменологию пены, рассматривая совокупность изоморфных единиц парцеллярных крестьянских множеств как образованный путем сложения коллектив; выражения «деревня», «департамент» и «мешок картошки», несомненно, подходят в качестве аф-рологических метафор слабых в структурном отношении ячеистых агломераций. Они должны показать, что (и почему) формация этого рода *tel quel** * не в состоянии проявить партийность или классовую субъектность, — при этом, как полагает Маркс, лишь «революционный» и исполненный воли к власти класс способен удовлетворить свои собственные политические и имунитарные интересы. В этих рассуждениях, несомненно, слышны отзвуки гегелевских идей по поводу структуры, как бы ни иронизировал автор «Философии права» над представлением, что «простое атомистическое скопление индивидов» (§ 273) якобы способно своими собственными силами подняться до юридически организованного существования или даже до конституции. Тем не менее пронизанное классовым сознанием «скопление», по мысли Маркса, проделало бы по меньшей мере половину пути к разумному государственному устройству. Автор «Восемнадцатого брюмера» вряд ли питает иллюзии по поводу длины мар-

⁵⁰² Ibid.

* Такое, как есть (*фр.*).

шрута; он сурово смотрит на обстоятельства, которые внутри каждой отдельной единицы парцеллярного университета ответственны за темноту и изоляцию:

«Парцеллярная собственность... превратила массу французской нации в троглодитов. Шестнадцать миллионов (включая женщин и детей) живут в пещерах, большая часть которых имеет лишь одно отверстие, некоторые — только два и лишь самые привилегированные — три отверстия. Окна в доме — то же самое, что пять чувств для человека».⁵⁰³

Если и был повод констатировать факт «идиотии деревенской жизни», то *materialiter** — по причине (обусловленного дороговизной французских окон) малого количества отверстий в крестьянских лачугах, *formaliter*** — по причине изоляции, препятствующей тому, чтобы хозяева парцелл осуществили переход от бытийного модуса класса в себе к бытийному модусу класса для себя. Отсутствие окон символизирует дефицит коммуникации, просвещения и солидарности. С этой точки зрения парцеллярное крестьянство является своего рода парaproлетариатом; оно, как и индустриальный пролетариат, стоит перед задачей перехода от изолированного и неполитического к организованному и политически вирулентному способу существования. Это можно сравнить с программой трансформации в партию «мешка картошки» — или, говоря в урбанистических терминах, с требованием преобразования агломераций замкнутых в себе пещер в одушевленный коммуникациями национальный рабочий поселок или даже в общеклассовую интернациональную коммунальную квартиру. Там, где были изолированные пещеры, должны появиться политические движения, боевитые профсоюзы, осознающие свои

503 *ibid.* S. 201.

* Материально (лат.).

** Формально (лат.).

интересы объединения классовых борцов, — мы могли бы сказать «пена солидарности», подчеркивая тем самым, что с системной точки зрения многократно упоминаемые трудящиеся являются не субъектом истории и не «массой», а иммунитарным альянсом. Дискурс Маркса основывается на предположении, что с помощью термина «класс» описывается истинный и реальный коллективный формат парцеллярного крестьянства и что поэтому благодаря возникновению «классового сознания» и соответствующей наступательной или «революционной» политики защиты собственных интересов представители этого «класса» смогут завоевать решающее иммунное преимущество.

Выясняется, что социалистическая теория XIX века открыла эпохальную тему, удержать которую ей, однако, не удалось вследствие ошибочных понятийных предпосылок, — речь идет о том скрещении иммунитета и коммунитета, в рамках которого с давних пор разворачивается «диалектика» или циклично-каузальное взаимодействие своего и чужого, общего и не-общего. В скомпрометированном и не подлежащем реабилитации понятии классового сознания кроется еще до конца не продуманное свидетельство того, что именно в эпоху роста индивидуализации, парцелляризации и возможностей изоляции для отдельных ячеек может иметь решающее значение солидаризация с более крупным единством равных себе по статусу для оптимизации защиты собственных интересов. Заметим, что выражение «народная общность» таит в себе аналогичную проблематику, — оно сходным образом искажено и исключено из будущего использования в позитивном смысле. Не может ли быть, что само понятие интереса как такового (прежде всего в таких сочетаниях, как национальные интересы, классовые интересы, интересы предприятия, интересы населения) всегда является скрытой метафорой коммунитарно достижимого иммунного преимущества?

I contain multitudes.

Walt Whitman. Leaves of Grass * **

Как элементарная эгосферическая форма апартаменты являются местом, в котором симбиозы членов семьи, которые с незапамятных времен составляли жилые сообщества, уступают место симбиозам живущих по отдельности индивидов с самими собой и своей окружающей средой. Нет никаких сомнений, что вместе с переходом к современному номадическому обитанию в жилище происходит коренной перелом в способах совместного бытия с себе подобными и прочим сущим. Пожалуй, можно говорить о кризисе вторых персон, которые в определенном смысле вкладываются в первые. Это находит свое отражение в новейших этических теориях: «другой» может раскрыться как реальный Другой (центральный мотив современной моральной философии) только в то время, когда самоудвоение одного в себе самом и множественность виртуальных внутренних Других приобрели эпидемический характер. Лишь теперь пропасть между нарциссическим Другим рефлексии в себе самом и трансцендентным Другим реальной встречи или ее отсутствия становится очевидной всем и каждому. Совокупным «конгломератом жизненных механизмов» (вспомним о вызывающей формулировке Германа Броха, данной им традиционным сферическим общим ситуациям семейного сосуществования и неопределенным целостностям, пребывающим в состоянии сомнамбулического партнерства и симбиотического полунаркоза⁵⁰⁴) в течение XX сто-

504 *Hermann Broch. Die Schuldlosen. Roman in elf Erzählungen* (1950). Frankfurt, 1977. S. 52. Аналогичное высказывание: «...они играли в общую сумеречную игру» (*Ibid.* S. 247) относится к парам в той же мере, что и к более крупным социальным единствам вплоть до формата наций и международных союзов.

* Во мне заключены множества.

Уолт Уитмен. Листья травы (англ.).



Томазо Минарди. *Автопортрет в мансарде*. Около 1813 г.

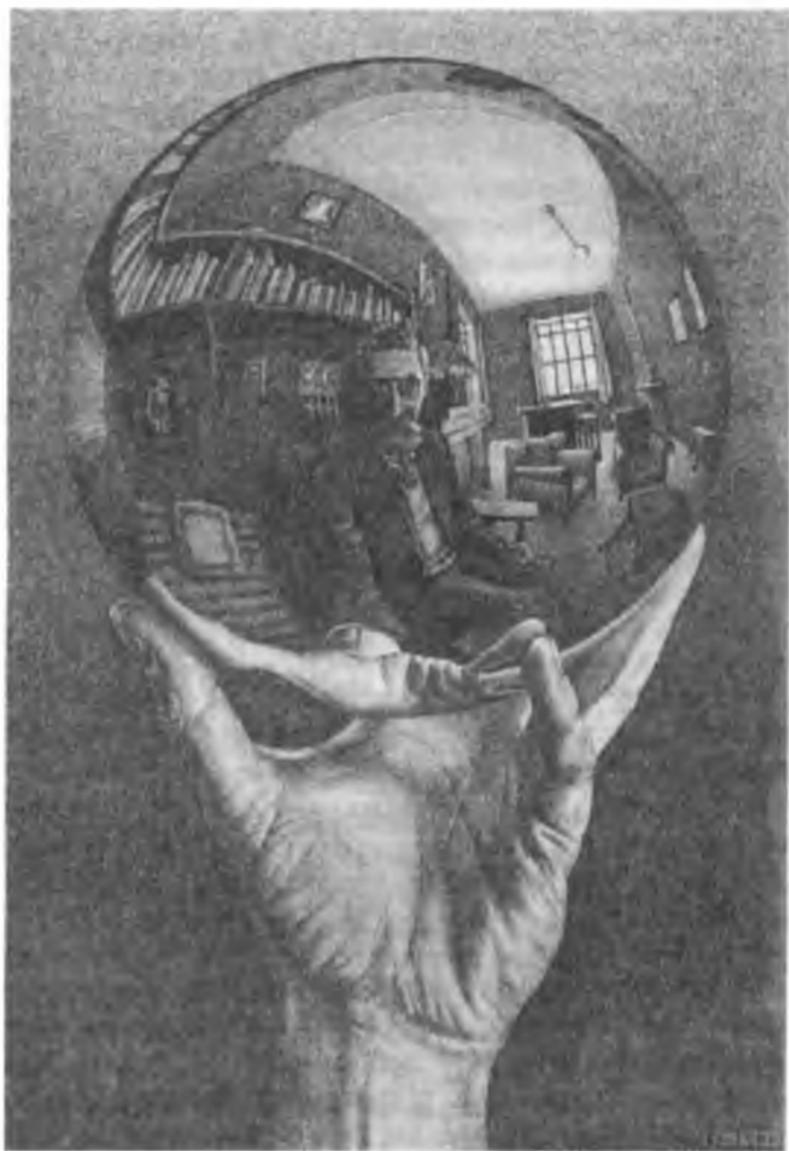
летия завладевает центробежная сила, изгоняющая индивидов в собственные миры-ячейки и активно-пассивные микрототальности. В этом отношении социоанализ посредством изоляции движется параллельно психоанализу посредством самоисследования в искусственной диадической ситуации.

О наличии эгосферы речь может идти в том случае, если ее обитатель развил в себе благоприобретенные на-

выки самоудвоения и привык находиться в непрерывном процессе дифференциации себя самого, то есть в «переживании». Такая жизненная форма понимается превратно, если ее рассматривают лишь как признак жизни в одиночестве в смысле отсутствия партнера и нехватки дополняющего человеческого существа. При более внимательном рассмотрении выясняется, что не-симбиоз с Другим, практикуемый теми, кто в одиночестве живет в апартаментах, может быть понят как аутосимбиоз. В нем содержанием, наполняющим форму пары, оказывается индивид, который, постоянно дифференцируя себя, относится к себе самому как к внутреннему Другому или множеству суб-Я. В этих случаях совместное бытие превращается в непрерывную смену состояний, в которых индивид контактирует с самим собой. Для осуществления самоудвоения предназначены средства, которые мы называем эготехниками, — это распространенные медиальные носители самодополнения, позволяющие своим пользователям постоянно общаться с собой и *eo ipso* образовывать с собой пару как со своим внутренним непредсказуемым партнером. Не случайно убежденные холостяки нередко подчеркивают, что жизнь в одиночку — это самая занимательная форма существования, которая им известна. Эмансипированный индивидуум в силу своего медиального оснащения всегда имеет возможность выподнять функцию собственного спутника. «Одинокий человек всегда находится в дурном обществе» — пожалуй, можно сказать, что холостяцкая и вт^е-культура XX века явилась своеобразным экспериментом, призванным опровергнуть афоризм Поля Валери.⁵⁰⁵

Как мы показали в первом томе, индивидуалистические проблески, в современную эпоху конденсировав-

505 «Un homme seul est toujours en mauvaise compagnie». См.: *Paul Valéry. L'Idée fixe ou Deux hommes à la mer. 1932; нем. изд.: Die fixe Idee oder Zwei Männer am Meer // Werke. Frankfurter Ausgabe. Bd 2. Frankfurt, 1990. S. 24.*



М. К. Эшер. Рука с зеркальной сферой. 1935 г.

шиеся в онтологию разъединенности, лишь в процессе новоевропейской медиареволюции превращаются в убедительную программу. В этом процессе участвовали эготехнические медиа, вырабатывавшие у индивидов новый опыт общения с самими собой, — прежде всего это техники письма и чтения, с помощью которых внедряются исторически принципиально новые процедуры внутреннего диалога, самоконтроля и автодокументации. Следствие этого — развитие у *homo alphabeticus** * не только своеобразных навыков самообъективации, но и навыков воссоединения с самим собой посредством усвоения объективированного. Одной такой эготехнической формой является дневник, другой — испытание совести. В наших размышлениях, посвященных истории человеческой фациальности в контексте универсальных и староевропейских интерфациальных отношений, мы, в частности, указывали на позднее, но решительное вторжение зеркала в оптические отношения европейцев с самими собой, подчеркивая при этом роль этого парадигматического эготехнического средства в переориентации с чувственной рефлексии в другом на так называемую саморефлексию.⁵⁰⁶ В повседневности современного обитателя апартаментов, как и большинства остальных наших современников, взгляд в зеркало превратился в регулярное упражнение, служащее для непрерывной саморегуляции.

«При индивидуалистическом режиме отдельные индивиды становятся точечными субъектами, оказавшимися под властью зеркала, то есть под властью функции отражения и самодополнения. Теперь они организуют свою жизнь во все большей и большей уверенности, что отныне в игре биполярных соотносительных сфер они могут обойтись без участия ре-

506 См.: Сферы. Т. I. Гл. 2: «Между лицами. К возникновению интерфациальной интимной сферы». С. 198—213; выражение «фациальность» является переводом термина *visagéité* Делёза и Гваттари из «Mille Plateaux» (Paris, 1980).

* Человек грамотный (*лат.*).

ального Другого и исполнять сразу обе партии; в ходе истории европейских медиа и европейского менталитета эта уверенность все более и более крепнет, порождая в конечном счете ситуацию, в которой индивиды раз и навсегда начинают считать самих себя субстанциональным Первым, а свое отношение к другим — акцидентальным Вторым. Зеркало в каждой комнате каждого индивида — это практическое жизненное свидетельство о реальности этой ситуации».⁵⁰⁷

Выражение «аутосимбиоз» должно указывать на то, что диадическая структура примитивной сферы при определенных условиях может формально точно воспроизводиться индивидами тогда и только тогда, когда последние имеют в своем распоряжении необходимые медиальные аксессуары для обустройства в обстановке, целиком и полностью базирующейся на самодополнении. То, что в метафизике повседневности понимается под самостоятельностью, со сферологической точки зрения оказывается виртуализацией диады посредством самоудвоения, заботы о себе, самодополнения, само моделирования. В этой перспективе апартаменты могут рассматриваться как ателье по изготовлению отношений с самим собой — или как инвалидный дом для неопределенностей. В отличие от келий монахов и монахинь Позднего Средневековья в них не вырабатывается дву-единство (би-уни-тарность) Бога и души, а, скорее, поддерживается связь индивида с самим собой (уни-бинарность). Это подразумевает проведение психической операции, основывающейся на опыте различия между актуальным состоянием индивида и богатством его потенциальных состояний. Такая связь может быть длительной лишь в том случае, если относительно плотный континуум моментов самонаблюдения и саморегуляции станет определяющим для всей жизненной формы в целом. Подобную ситуацию

⁵⁰⁷ Там же. С. 208—210.

предвосхищал Элиас Канетти, писавший об «обществе, где с каждого пишут портрет и он молится на свое изображение»,⁵⁰⁸ — разве что в нашем случае индивиды создают свои многозначные портреты с помощью многочисленных медиа. Случайно ли, что после посещения Чертоза д'Эма под Флоренцией молодой Ле Корбюзье ощутил привлекательность жизненной формы христианских монахов? «Я охотно прожил бы всю свою жизнь в их так называемых кельях»,⁵⁰⁹ — заметил он в 1907 году во время своего итальянского путешествия. Монастырские жилые единицы, понравившиеся начинающему архитектору, были устроены как двойные кельи с внутренним и внешним помещениями — с точки зрения молодого посетителя это была идеальная модель для более комфортабельных квартир, где жили бы рабочие, или для современных студенческих общежитий.

Взятая в культурно-исторической перспективе зачарованность Ле Корбюзье жилищами монахов хорошо мотивирована, ведь в монастырских кельях Высокого Средневековья взошли первые семена новоевропейской формы субъекта. В этих резервуарах для накопления самости осуществлялась первоначальная аккумуляция внимания, из которого — после поворота основного метафизического тренда от трансцендентности к имманентности — развился современный индивидуализм западного типа. Внимание — это психическая валюта, которой как монахи, так и квалифицированные потребители оплачивают наличие релевантных различий. Если аскетический внемирской индивидуализм материализовался в монашеской келье, то внутримирской гедонистический индивидуализм опирается на культуру апартаментов со всей ее эготехнической аппаратурой. Этот индивидуализм

⁵⁰⁸ *Ellas Canetti. Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942—1972.* München; Wien, 1973. S. 232 [цит. по: *Элиас Канетти. Человек нашего столетия.* М., 1990; перевод С. Власова].

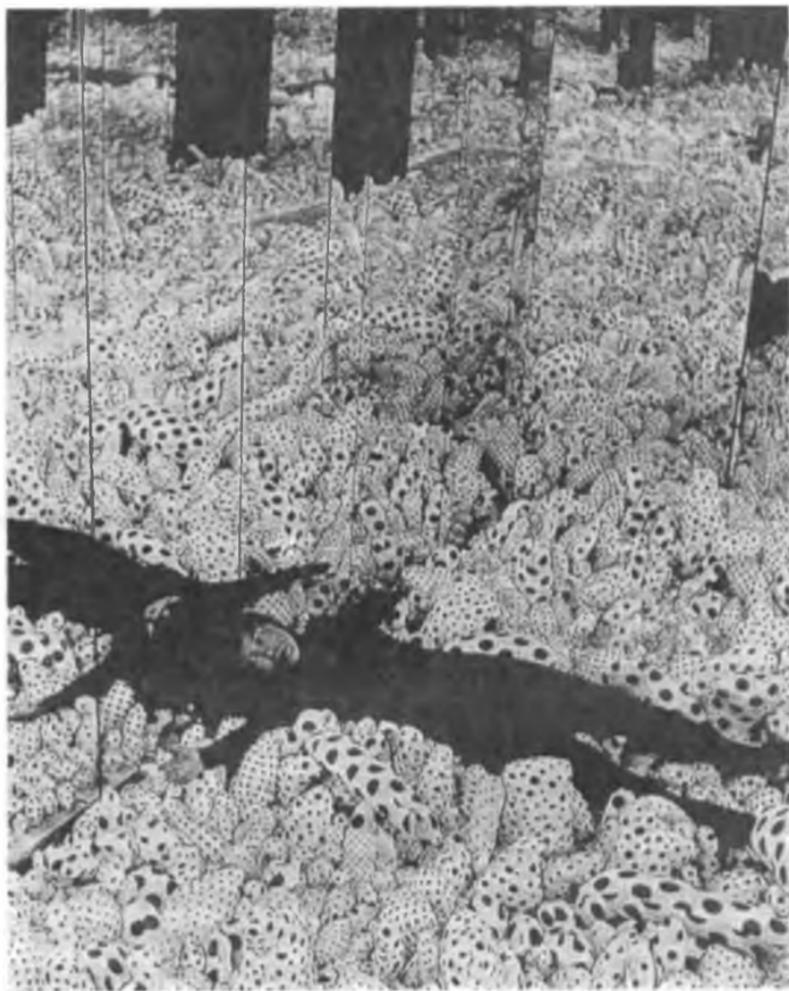
⁵⁰⁹ «Je voudrais toute ta vie habiter ce qu'ils appellent leurs cellules». Цит. по: *Adolf Max Vogt. Le Corbusier, der edle Wilde.* S. 27.

предполагает непрерывное самонаблюдение индивидуума, учитывающее все параметры процесса обмена веществ и смены обстановки. Индивидуализм — это культ пищеварения, торжественно освящающий прохождение через субъект пищи, переживаний и информации.⁵¹⁰ Там, где всё — имманентность, апартаменты становятся интегральным туалетом: то, что в них происходит, в любом отношении происходит под знаком конечного потребления. Питание/пищеварение; чтение/письмо; телевидение/мнение; отдых/работа; возбуждение/разрядка. Как микротеатр аутосимбиоза апартаменты окружают существование индивидов, ждущих переживаний и важных событий.

Поскольку они одновременно и подмостки, и пещера, в них происходит как выход индивидов на сцену, так и их возвращение в область малозначительного. Это несложно объяснить на примере типичных этапов цикла заботы о себе, которые проходит обитающий в апартаментах субъект в соответствии со своим сценарием на день, — начиная с отсека для утреннего туалета, состоящего из опорожнений, омовений (точнее, ряда действий, посвященных бальнеологической заботе о себе), косметических автоассигнований и облачений (точнее, дискретных актов вестиментарного инвестирования). Косметическая аутопрактика уже на относительно простой стадии представляет собой универсум дифференциаций, обладающих в сознании пользователей и пользовательниц высокой собственной ценностью; в силу этого внешний вид собственного лица приближается к уровню художественного произведения (Бодлер предвосхитил это в своей *éloge du maquillage*, * * сказав, что красивая женщина должна быть позолочена, как статуя богини, дабы стать предметом поклонения: *elle doit se dorer pour être adorée*). Аналогии-

510 о метаболическом нигилизме см.: Reinhold Grether. Sehnsüchte nach Weltkultur. S. 98 f.

* Похвала макияжу (фр.).



Яёи Кусамэ. *Infinity Mirror Room (Бесконечная зеркальная комната)*. 1965 г.

ным образом дело обстоит и с выбором одежды, который, в свою очередь, включает в себя иерархию множества универсумов и жестов; здесь комбинация становится дизайнерской задачей, отбор — самостоятельным проектом. В развитом обществе переживания индивидуум квалифицируется как автор, обладающий соответствующими правами на собственный внешний облик.



Эдвард Хоппер. *Room in New York* (Комната в Нью-Йорке). 1932 г.

С завтраком — или с первым жестом приема пищи (точнее, с началом дневного пищеварительного цикла), как бы он ни именовался, — активность в деле заботы о себе переориентируется на удовлетворение метаболических потребностей, что, как правило, не происходит без действий в области плиты и кухни. Кухня в апартаментах — это хиротоп в миниатюре, в котором благодаря наличию соответствующих приборов рутинно осуществляются протопрактики добычи огня, разрезания, порционирования материалов, переливания и пересыпания, наполнения и т. д. В жестах приготовления-чего-либо для-себя способность живущего в одиночку к самоудвоению становится особенно заметной: тот, кто обеспечивает себя, используя собственную кухню, *eo ipso* играет двой-

ную роль хозяина и гостя или повара и едока и таким образом демонстрирует, что в некоторые акты *souci de soi** включается также и *don de soi*,** дар, который Я преподносит Я, показывающий, как даритель относится к получателю. Благодаря прогрессирующей экспликации обмена веществ современной биологией тому, кто сам себя кормит, предоставлена возможность заниматься заботой о себе в критической по отношению к продуктам питания перспективе. Здесь наряду с гастрономическими все большее значение приобретают диетические качества пищи; к продуктам питания присоединяются пищевые добавки, в арсенале для заботы о себе появляются легкие препараты для фитнеса; средства поддержания жизнедеятельности превращаются в средства повышения жизненного тонуса; самокормление приближается к самолечению. Благодаря оснащенности плитой, раковиной и холодильником, техническими средствами для исполнения функций автономной кухни, сегодня даже самая маленькая квартира представляет собой эффективное термосферическое единство. Наряду с санитарными стандартами именно эти элементарные гастросферические величины определяют понимание комфорта в современной жилой единице.

Во многих случаях первые пищеварительные жесты открывают живущему в апартаментах индивиду вход в фонотоп, шумовой универсум коллектива. Ночной шумовой пост обрывается акустическим завтраком, в качестве которого может выступать, например, либо выбранная самим индивидом музыка, либо радио- или телевизионная программа. Это антимолчание демонстрирует, в какой мере живущий в одиночестве сам регулирует свою ежедневную ресоциализацию и свое возвращение в мир, с помощью выбора медиа принимая решение о содержании и дозировке допускаемой реальности. Нечто схожее по смыслу имел в виду Гегель йенского периода, констати-

* Забота о себе (фр.).

** Дарение себя (фр.).

руя, что чтение газет ранним утром есть «своего рода реадиетический обряд утреннего благословения»,⁵¹¹ — с тем нюансом, что в этом случае воссоединение десоциализированного ночью частного субъекта с групповым шумом осуществляется еще с помощью такой культурной техники, как чтение, то есть посредством включения внешних голосов во внутренние моно- и полилоги. Благодаря аудио-медиа келья живущего в одиночку превращается в нечто такое, что с исторической точки зрения казалось невозможным, более того, представляло собой противоречие в самом себе: в индивидуальный фонотоп. Он характеризуется тем, что охват индивида групповым саундом уступает место дискретному допуску определенных шумов, звуков и произнесенных текстов. Из первоначального тотального тюнинга группы, осуществляемого самой группой, выделяются бесчисленные звуковые пузыри — аудитивные микросферы, в которых становится реальностью относительная слуховая свобода⁵¹² (эта тенденция становится еще более очевидной с появлением снабженных наушниками переносных кассетных и CD-плееров — техники инсуляции, которую можно сравнить с появлением в публичном пространстве акустических микроапартаментов; можно было бы сказать и об акустическом водолазном скафандре). Современное общество вибрирует миллионами ячеек в сонорной пене; глядя на бесчисленные конкурирующие слуховые коллективы, мы с полным правом можем говорить о *guerre des ambiances*.^{513*} Даже ставшая нормальной одновременная доступность

511 Афоризмы из гегелевской «Wastebook» (1803—1806); см.: G.W.F. Hegel. Werke: 20 Bde. Bd 2: Jenaer Schriften 1801—1807. Frankfurt, 1970. S. 547.

512 О взаимосвязи между осуществляемой в рамках высокоразвитых культур первоначальной индивидуализацией и молчанием см.: Сферы. Т. I. Экскурс I. С. 273—278.

513 Эта формулировка восходит, насколько нам известно, к находившемуся под влиянием Левинаса французскому кинорежиссеру Ариэлю Визману, с ее помощью артикулировавшему свой опыт диджея.

* Война окружающих сред (*фр.*).

полусотни телевизионных каналов вряд ли способна за-слонить тот факт, что по способу своего фонотопического воздействия телевидение есть не что иное, как приобретающее визуальный характер радио, — с тем отличием, что свобода выбора телепрограмм технически лучше обеспечена, чем это возможно сделать с помощью поисковых систем радио.

Имеются серьезные основания утверждать, что пост-модерн является побочным продуктом дистанционного управления. Пульт дистанционного управления представляет собой ключевое техническое средство, контролирующее допуск звука и изображения, а *eo ipso* и реальности, в эгосферу. Если мы примем во внимание, что сущность вида *homo sapiens* есть то, что он слышит, то поймем, что переход к опциональному аутотюнингу знаменует важнейшую антропологическую веху: как внешнее, так и интериоризированное слуховое принуждение, частичное описание которого с помощью понятия Сверх-Я было предложено психоанализом (касавшимся морального аспекта настройки индивида вышестоящей инстанцией — коллективом), растворяется в тренде к собственному выбору аудитивного окружения. Разумеется, и у индивидуально-фонотопически организованного индивида также всегда имеются слои внутреннего и внешнего слуха, в которых невольно услышанное опережает слуховой выбор.

Превращение апартаментов в индивидуальный фонотоп наряду с подключением телекоммуникаций вносит важнейший вклад в медиальную комплектацию. Оно гарантирует, что ячейка — пусть она успешно исполняет свои защитные функции как инсультатор, как иммунная система, как то, что предоставляет комфорт и позволяет соблюдать дистанцию по отношению к внешнему, — тем не менее остается частью мирового пространства. В удаленной от мира открытости миру аудитивная эгосфера обеспечивает доступ избранных частиц реальности, шумов, сенсаций, покупок, находок и гостей. Ее практическая имплантация

обеспечивается радио и телевидением, рядом с которыми печатные медиа оттесняются на второй план.

По значению для информационного и атмосферного формирования эгосферы с аудио-медиа можно сравнить только телефон, который, являясь двусторонним медиумом коммуникации, представляет собой одно из самых эффективных средств связи резервации с миром. В отличие от самых распространенных односторонних медиа (радио, телевидение, газета, книга) телефон обладает двойной онтологической привилегией: он не только (как правило) передает вызов из реального, но и перемещает вызываемого, поскольку он сам снимает трубку, в (переживаемую как действительная) одновременность с вызывающим — на один бытийный уровень с инициатором вызова издалека. Этот эффект непосредственности дает нам право рассматривать телефон как биофон⁵¹⁴ — вызвать можно лишь нечто не меньшее, чем жизнь. Некто у аппарата — это всегда ставшая присутствующей удаленная жизнь, голос, несущий некую весть, возможно, даже приглашение. Поскольку это может быть достигнуто благодаря телефонным звонкам, апартаменты лишаются «единства места», подключаясь к сети виртуальных соседств. Отныне эффективным соседством является не пространственное, а телефонное. С иммунологической точки зрения телефон представляет собой амбивалентное нововведение, ибо, с одной стороны, он проводит в жилую ячейку канал для опасных инфекций из внешнего, а с другой — стремительно увеличивает зону досягаемости обитателя квартиры в смысле расширения заключаемых им союзов и возможностей деятельности (мы не говорим в этом контексте об Интернете, поскольку он в первую очередь есть не что иное, как продолжение телефона визуальными средствами). Если письменность упразднила

514

Выражение «биофон» ввела Авитал Ронелл в своей работе «Телефонная книга. Техника. Шизофрения. Электрическая речь». См.: *Avital Ronell. Das Telephonbuch. Technik Schizophrenie Elektrische Rede. Berlin, 2001. S. 19* (английский оригинал: Lincoln, Nebraska, 1989).

одновременность создания и получения сообщения, то телефон позволяет отказаться от единства места.

Принцип локальности диалога (точнее, мирозозидающее действие связи между ртом и ухом) подтачивается телефонным разговором — с тем следствием, что тайна сферического резонанса, ранее формулировавшаяся в некоторых религиозных дискурсах,⁵¹⁵ наконец находит свое выражение в технической артикуляции. Ретроспективный взгляд способен показать нам, в сколь значительной мере любое сферообразование включает в себя «сюрреальный фактор»: коммуниканты, находящиеся в том или ином человеко-месте, всегда выходят за пределы сугубо локального. Используя философскую языковую игру рубежа XIX—XX веков, мы могли бы сказать: телекоммуникационная техника ускоряет упадок присутствующей в духе жизни. Она разгоняет инфляцию телепатических эффектов, под которыми мы понимаем психические побочные следствия достижимости издалека. Характерный для индивидуализма способ самоудвоения индивидов предполагает именно то, что телекоммуникативные механизмы со временем развиваются в прочные навыки. Лить в этом случае разъединение не воспринимается как одиночество; оно способствует соединению отдельной души с отсутствующими релевантными Другими и более или менее привлекательными признаками их удаленной жизни.

В досовременную эпоху совершенно очевидным был факт, что самые интересные послания исходят от могучего отправителя по имени Бог; их трансляторами были святые, священники и пророки. Современность делает ставку на таких удаленных отправителей, как гений и корреспондент, сообщающий биржевые котировки. Возможно, в этом состоит важнейший признак существования в метафизически требовательных цивилизациях: интеллигенция отказывается от примата локализованного

515

См. нашу реинтерпретацию библейской истории о сотворении Адама в радикально диадических терминах: Сферы. Т. I. С. 27—42.

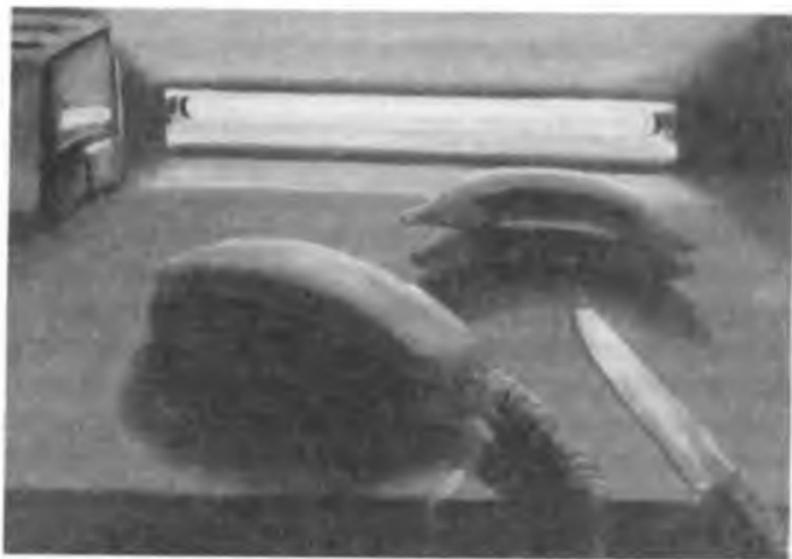
диалога и принимает участие в переориентации потока значений с близкой жизни на удаленную. Поэтому человеческое бытие отныне означает навигацию по знакам, появляющимся издалека, — знакам, за которыми стоят могучие отправители. Этот эффект позволил классическим высокоразвитым культурам расцвести в качестве письменных культур: голоса классиков на носителях письма неотступно преследуют следующие поколения грамотных. Метафизика начинается как телесимбиоз; в нем более поздняя интеллигенция благодаря дисциплинированному чтению может вступить в коинтеллигентную связь с более ранней. Я доступен для отсутствующей далекой жизни; удаленная и прошедшая жизнь доступна нашему прочтению.

Современный опирающийся на телефонную связь образ жизни в апартаментах открывает фазу тривиализации этих достижений. Если урожай достижимой издалека жизни в течение долгого времени собирался при полном господстве внемирского индивидуализма, словно происходило спаривание отдельных душ с Богом или абсолютом, то современный секулярный индивидуализм, как мы уже отмечали, подразумевает спаривание индивида с самим собой — причем индивиду, как всегда остающемуся неизвестным Другому-для-себя-самого, отводится роль своего рода остаточного абсолюта (эта позиция, разумеется, может быть приписана и реальному Другому).⁵¹⁶ Каждое Я, оборачивающееся вовнутрь, могло бы оказаться в достаточной мере трансцендентным по отношению к самому себе. Ему достаточно помыслить себя в качестве композиции из явной и латентной индивидуальности, чтобы понять, что исследование собственной латентности составляет стоящее содержание жизни. Явный индивидуум, пока он интересен себе самому, идет по следу *individuum absconditum** * (заметим,

516

См. выше раздел о танатотопе и его гетерологическом превращении, с. 465 и сл.

* Скрытый индивид (лат..).



Эрик Фишль. *Still Life (Bananas with knife)* [Натюрморт (Бананы с ножом)]. 1981 г. Публикуется с разрешения Mary Boone Gallery, Нью-Йорк.

что массовая культура во многом базируется на отсутствии у большинства индивидов каких бы то ни было оснований интересоваться самими собой, в силу чего для них хорошей рекомендацией является совет ориентироваться на жизнь звезд. Определения звезды: а) интересное увеличение неинтересности прочих; б) агент отвлечения поклонника от него самого).

Ни одно жизненное измерение не делает это столь явным, как сексуальность, которая в индивидуалистическом режиме зачастую организована как базирующаяся на жизни в апартаментах сексуальность переживания или исследование внутреннего пространства эротических возможностей. Очевидно, что переход к так называемой освобожденной сексуальности во второй половине XX века неразрывно связан с той свободой действий, которую предоставляет культура апартаментов, или, по крайней мере, с безопасностью, гарантируемой собственной комнатой. Широко обсуждавшийся феномен биохимических контра-

цептивов, начиная с 60-х годов оказавшихся в распоряжении женщин, в том числе и незамужних, лишь подтверждает наметившийся в 20-е годы тренд в сторону аффирмативной эротики живущих в одиночку. Апартаменты образуют эрототоп в миниатюре, в котором индивиды могут следовать импульсам своего вождения в смысле желания-также-пережить-то-что-уже-пережили-другие. Он представляет собой образцовую арену экзистирования, ибо в нем может усваиваться потребительское отношение к своему собственному сексуальному потенциалу. Но если любящий (*érastes*) и любимый (*erómenos*) совпадают в одном и том же лице, то и этого кентавра не минует тот элементарный опыт любящего, что объект любви не слишком часто бывает настроен на ту же волну, что и он.

В аутоэротике, как и в эротике биперсональной, действует закон, согласно которому при необходимости выбора партнера большинство обречено на ошибку: поскольку люди, как правило, не получают того, кого хотят, они вместо него принимают кого-нибудь другого — в данном случае самого себя. По этой причине апартаменты представляют собой также и кабинет для обработки фрустраций — точнее, экспериментальную камеру, в которой желание реального или воображаемого визави преобразуется в желание самого себя как вызывающего доверие заместителя желанного Другого. В этом парадоксальном кругу возникает и все более агрессивно заявляет о себе самоудовлетворение. Онанизм в апартаментах, по всей видимости, предвосхищенный онанизмом в монастырских кельях, выводит на сцену законченное трехстороннее отношение между субъектом, гениталиями и фантазмом — из чего, впрочем, следует, что мастурбационная сексуальность хотя и осуществляет прагматическую редукцию образа действий, однако не ведет к структурному упрощению интерперсональной бигенитальной операции. Следовательно, эрототопические характеристики апартаментов лучше всего могут быть объяснены с помощью аналогии с борделем: если его клиенты выбирают

из имеющихся в наличии сексуальных партнеров и после достижения договоренности с объектом своего предпочтения отправляются в укромную комнату, то обитатель апартаментов останавливает свой выбор на самом себе как на ближайшем Другом и использует уединенность своей квартиры, чтобы заняться самим собой. Самоудвоение осуществляется здесь в тени того обстоятельства, что индивид безо всяких церемоний подкатывает к себе самому как свой собственный клиент. Как показывает один известный пример, дело может даже дойти до присуждения самому себе ученой степени. Американская феминистка и активистка в области мастурбации Бетти Додсон в своем бестселлере «Sex for One»,* * вышедшем в начале 70-х годов, высказала предположение, что ее упорный интерес к проблеме онанизма позволяет ей претендовать на академическое признание, и, поняв неисполнимость своего желания, объявила: «...после четырнадцати лет уникальных исследований в этой области я сама присвоила себе звание доктора мастурбации». ⁵¹⁷

Поскольку всякой ставшей слишком легкой связи приходится считаться с тенденцией к снижению интенсивности вследствие постепенной рутинизации, то и мастурбационному партнерству с самим собой знакомо пресыщение монотонностью. Отнюдь не всегда индивиды могут считать удачными вызванные ими самими возбуждения. Пресыщение онанизмом устанавливает границу самоудовлетворяющей жизненной формы. Новейшая литература о *stragic*-существовании демонстрирует, что сексуальность живущих в одиночку определяется потребностью избегать аутомоногамии. Даже Бетти Додсон, прославившаяся многочасовыми сессиями со своим вибратором, официально сообщила, что время от времени прибегает к услугам пениса. Но опросы одиноких не

517
1989. S. 12.

Betty Dodson. Sex for One. Die Lust am eigenen Körper. München

* «Секс для одного» (англ.).

оставляют сомнений, что многие из них не по своей воле, а лишь в силу этого затруднительного положения вынуждены мириться с тем, что покой их ячейки нарушает присутствие постоянного партнера.

В современной жилой ячейке наряду с хиро-, термо- и эрототопическими свойствами проявляются и черты эрготопа, если жилец превращает ее в арену своей спортивной заботы о самом себе. Это преобразование апартаментов в приватный гимнастический зал стимулируется трендом современного общества в сторону ориентированных на фитнес стилей жизни, требующих от своих адептов постоянного внимания к своей форме. С этой точки зрения структура самоудвоения модифицируется таким образом, что занимающийся упражнениями индивид расщепляется на тренера и тренируемого, а они объединяются в скоординированных развернутых действиях. При этом (стационарные или перемещаемые) тренажеры могут играть роль явного третьего, способствующего организации предметного отношения с самим собой; в других случаях имеют место упражнения без тренажеров, посредством которых упражняющиеся ведут свой гимнастический диалог с самими собою. Экзистенциализм заявил о себе соматически: философская формула, гласящая, что бытие есть отношение, относящееся к самому себе, вывела на рынок понятную всем версию, согласно которой бытие есть поддержание-себя-в-форме.

Наконец, апартаменты могут быть описаны как филиалы алетотопа: в каждой отдельной жизни, как бы она ни была изолирована от всеобщего, присутствует некий остаточный интерес к истине, пусть даже он заключается в спросе на слова, помогающие индивидам следовать знамениям времени. Тот, кто демонстрирует умеренное медиапотребление, как правило, достигает обычного для нашей формы мира когнитивного экзистенциального минимума, включающего в себя право выбирать и участвовать в разговоре. Тот, кто желает большего, стремится овладеть навыками ориентации, пригодными для ис-

пользования при навигации в неясных ситуациях. В алетопических отношениях с самими собой индивиды выступают в качестве неформальных собственных учителей, заинтересованных в сохранении определенной гармонии со сложившейся в «обществе» когнитивной или научной ситуацией; как минимально образованные автодидакты они получают идиосинкратическую долю в общедоступных ресурсах когнитивной *souci de soi*. И если верно, что в современных когнитивно-теоретических условиях обучение может рассматриваться лишь как просвещенное управление невежеством, то это означает, что более или менее взыскательные члены так называемого общества знаний должны заниматься непрерывной актуализацией собственных дефицитов. Отныне смысл позитивной информации состоит прежде всего в реалистичной оценке доли незнаемого и непонятого. Кроме того, информации во все большей мере отводится функция, соответствующая функции модных брендов и марок, — люди носят частички информации, как носят солнечные очки, дорогие часы или бейсболки. В японской молодежной культуре начиная с 80-х годов получило широкое распространение поклонение культу бессмысленного специального знания.⁵¹⁸ Эти молодые люди поняли, что знание готовит не к жизни, а к телевикторинам.

Источниками информации тем, кто живет в одиночку, служат, как правило, журналы мод, кино- и телегиды, а также научно-популярные книги, время от времени пополняющие домашние собрания. Для многих людей прием новой книги в сообщество объектов, населяющих жилище, все еще является событием. Очарование жизни в апартаментах, среди прочего, состоит в возможности без свидетелей заняться точной калькуляцией своего неповторимого незнания.

518 Volker Grasmuck. Allein, aber nicht einsam — die otaku-Generation. Zu einigen neueren Trends in der japanischen Popular- und Medienkultur // Computer als Medium / Hrsg. von Norbert Bolz, Friedrich Kittler, Christoph Tholen. München, 1994. S. 267—296.

*Макроинтерьеры и городские сооружения для собраний
эксплицируют массовые симбиотические ситуации*

Если в современных мегаполисах тезис «Каждый — это остров» стал для большинства популяций почти истинным, то как может сохраниться возможность мыслить «общество»? Если агентства по анализу реальности работают над полной изоляцией индивидов в их собственных домашних хозяйствах, то агентства по социальному синтезу решают задачу создания всеобъемлющих форм, в которых инсулированные индивиды собираются в интерактивные единства. Поэтому выражение «коммуникация» во всех современных дискурсах несет в себе некую евангелическую коннотацию: это спасительное слово для тех, кто ищет спасения во взаимосвязи, точнее, в символическом обмене и трансакциональных обязательствах — так же, как когда-то, в течение долгого столетия Маркса, спасения ждали от «труда», его разделения и его рекомбинации.

Каждый есть остров... Это окажется плохой новостью для консерваторов, все еще воодушевленных идеей снятия индивидов в заранее данных или интуитивно конституируемых коллективах, и это хорошая новость для тех, кто хотел бы увидеть в ней гарантию того, что дело более никогда не дойдет до увлечения многих злокачественным энтузиазмом в интересах так называемого целого, ибо островитяне, как правило, не слишком пригодны для использования какой-либо целостностью. Однако как бы ни обстояло дело с островным характером существования так или иначе обустроившихся у себя самих индивидов, речь всегда идет о коизолированных и подключенных к сетям островах, которые вместе с соседними островами вынуждены вовлекаться во временную или постоянную связь с более крупными структурами — Национальным собранием, Love-парадом, клубом, масонской ложей, коллективом предприятия, акционерным

обществом, публикой в концертном зале, соседями по даче, школьным классом, религиозной общиной, мае-сой автомобилистов в пробке, собранием союза налогоплательщиков. Если мы описываем эти ансамбли, среди которых есть и эпизодические скопления, и долговременные симбиозы как разновидности пены, то в том числе и для того, чтобы указать на относительную плотность коизолированных жизненных конгломератов или союзов, — плотность, более высокую, чем плотность архипелагов (в целом представляющих собой удачную метафору для инсулированных множеств), но более низкую, чем плотность масс (среди которых есть и такие сбивающие с толку ассоциации собранных вместе телесно соприкасающихся единиц, как тесто, песок и мешок картошки).

О том, что ложные образы способны творить историю, свидетельствует современное политическое понятие массы, метафорический исток которого, представление о способном принимать различную форму и бродящем «тесте» (лат. *massa*), коме, гряде, неоформленном материале, в течение двух столетий позволяло осуществлять самые вредные внушения. При пересмотре лексикона XX столетия из обращения необходимо будет изъять не только выражение «революция», но и понятие массы.⁵¹⁹

Коизолированная пена индивидуалистически кондиционированного общества — это не просто агломерация

519 Важнейший толчок в этом направлении произвел в «Массе и власти» Элиас Канетти, растворивший понятие массы в столь разнообразных оттенках, что более не могло идти и речи о каком-либо едином смысле этого выражения. Следующий шаг сделали Делёз и Гваттари, введшие различие между молярными и молекулярными массами. То, что мы называем пеной, воспроизводит аспект Делёзовой молекулярности. Вслед за Делёзом и Гваттари Негри и Хардт в своей книге «Empire» («Империя») заменили *Masse* (масса) словом *multitude* (множество) — что их немецкие переводчики скорее неточно, чем правильно, перевели как *Menge* (большое количество). Тем самым и у плодотворных в теоретическом отношении левых расставание с идеологией массы стало свершившимся фактом.



Жан-Люк Паран. *Les Angles (Углы)*. Вильнёв-ле-Авиньон, 1985 г.

из расположенных по соседству (отделенных друг от друга) инертных и массивных тел, но множество слабо соприкасающихся друг с другом, образующих жизненные миры ячеек, каждая из которых по причине собственного объема заслуживает звания универсума. Метафора пены предусмотрительно обращает внимание на отсутствие полновесной частной собственности на средства изоляции — речь может идти разве что о совместном владении стеной, разделяющей граничащие друг с другом миры-ячейки. Общая стена, рассматриваемая со своей стороны, образует интераутистический минимум. Все прочее уже можно считать симбиотическим феноменом.

1. НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Если мы убеждены в том, что *modus vivendi*, то есть ритм развития современного «общества», основывается на двойном такте — разложении социальных конгломератов на индивидуированные комплексные единицы и их рекомбинации в кооперативные ансамбли, то нам должно броситься в глаза, в какой значительной мере в формуле о «вступлении масс в историю» артикулирована архитектурная проблематика. В соответствии с разрыхленным агрегатным состоянием своих симбионтов современные коллективы должны ставить перед собой задачу создания таких пространственных условий, которые, с одной стороны, поддерживали бы разъединение индивидов, а с другой стороны — их объединение в крупные кооперативные или контемплативные ансамбли. Это требует новых архитектурных решений.

Уже во время Французской революции стало очевидно, что активисты переворота могли использовать для своих собраний исключительно здания *ancien regime** или публичное городское пространство, прежде всего

* Старый порядок (фр.).

площади перед крупными строениями. Самые интересные из проектов, которые впоследствии были объединены под сбивающей с толку рубрикой «архитектура революции»,⁵²⁰ возникли еще до 1789 года — достаточно вспомнить о спорном *Доме полевых сторожей (Maison des gardes agricoles)* Клода Николя Леду, датируемом 1768—1773 годами, о *Кенотафии в честь Ньютона*, созданном Этьеном Луи Булле в 1784 году, или о *Доме космонолита* Водуайе (1785). Факт, что все эти проекты остались на стадии чертежей, объясняется не неблагоприятными обстоятельствами, а соответствует их собственной спекулятивной логике — время для эмансипации скульптурного понимания пространства и геометрического формализма еще не пришло.⁵²¹

Таким образом, революционные процессы Великих Дней разворачивались в зданиях и на публичных площадях, никак не связанных с событиями, ареной которых они стали. Самый известный пример: заседания созданных Людовиком XVI Генеральных штатов в Версале. В начале мая 1787 года во флигелях дворца было оборудовано несколько залов для сессий первоначально заседавших по отдельности штатов. Когда 20 июня почти шестьсот депутатов, представлявших третье сословие и незадолго до этого присвоивших себе откровенно бунтов-

520 См.: *Emil Kaufmann. Architektonische Entwürfe aus der Zeit der Französischen Revolution // Zeitschrift für bildende Kunst* 63. 1929/30. S. 38—46; *Antonio Hernandez. Grundsätze einer Ideengeschichte der französischen Architekturtheorie von 1650—1800. Basel, 1972.* Термин «архитектура революции» сбивает с толку не только с хронологической точки зрения, но и по существу, поскольку соответствующие проекты никоим образом не связаны с идеями 1789 года, а, вне всякого сомнения, продиктованы франко-масонскими, пифагорейскими и платоническими мотивами.

521 О консервативной точке зрения, согласно которой это время никогда не должно было наступить, см.: *Hans Seldmayr. Die Kugel als Gebäude, oder: Das Bodenlose // Das Werk des Künstlers I. 1939/40. S. 278—310*; а также: *Revolutionsarchitektur. Transformation und Utopie des Raums in der Französischen Revolution. Von der Zerstörung der Königsstatuen zur republikanischen Idealstadt / Hrsg. von Klaus Jan Philipp. Braunschweig; Wiesbaden, 1994. S. 125—154.*

ское название «Национальное собрание» (и провозгласивших его преимущественное право распоряжаться налогами), обнаружили, что двери предназначенного для них *Salle Menus-Plaisirs** * закрыты (якобы по причине подготовки к запланированному в нем большому общему заседанию штатов под председательством короля, намеченному на 23 число того же месяца), они, по предложению депутата Гильотена, недолго думая перенесли свои совещания в близлежащий *Jeu de Paume*** в здание, в котором, как и в предыдущем месте их заседаний, до этого момента в полном соответствии со своим предназначением витала атмосфера монарших забав. Там они принесли свою знаменитую клятву не расходиться, пока не будет выработана и поставлена на надежный фундамент конституция королевства. Этот торжественный обет, первый речевой акт, возвестивший о захвате власти буржуазией, замечателен тем, что его предмет явилась присяга собравшихся собранию как таковому; он не оставляет сомнений в первенстве политического содержания (находившегося еще в процессе формирования) по отношению к локальной и архитектурной форме: «Национальное собрание... постановляет не расходиться и собираться повсюду, где позволят обстоятельства...»⁵²² Суверенитет первой *Assemblée**** продолжавшей свою работу до 30 сентября 1791 года (и распущенной Законодательным собранием, которое, в свою очередь, 20 сентября 1792 года уступило свое место Конвенту), с самого начала включал в себя свободу выбора *ad hoc* места заседаний — то, что в терминологии ниспровергателей XX века станет называться перефункциона-

522 Цит. по: *Denis Richet. Revolutionäre Versammlungen // Kritisches Wörterbuch der Französischen Revolution / Hrsg. von François Furet, Mona Ozouf. Bd 2: Institutionen und Neuerungen, Ideen, Deutungen und Darstellungen. Frankfurt, 1996. S. 853.*

* Зал малых забав (фр.).

** Зал для игры в мяч (фр.).

*** Ассамблея (фр.).

нием. К нему прибегнут уже через несколько дней, когда *Tiers Etat** проведет импровизированное собрание в версальской церкви Людовика Святого (историческое заседание, на котором значительная часть клира объединилась с третьим сословием), затем — осенью 1789 года при переезде Национального собрания в парижский *Salle du Manège*,** школу верховой езды в Тюильри, спешно подготовленную для потребностей учредителей. В мае 1793 года собрание, теперь Конвент, переселилось во дворец Тюильри, где перед этим по проекту художника Жизора был оборудован зал заседаний в форме полуэллиптического амфитеатра с 700 местами для депутатов и 1400 местами для зрителей. Нельзя сказать, что в это время творческая фантазия архитекторов бездействовала: начиная с 1789 года разрабатывались многочисленные проекты зданий, достойных стать местом заседаний Национального собрания; как правило, поводом для них становилось проведение академических конкурсов; большая часть этих проектов была выполнена в героико-классицистическом стиле, многие уже в монументальных масштабах,⁵²³ словно республику можно было провозгласить лишь в декорациях Римской империи, — линия, ведущая от Этьена Луи Булле к Альберту Шпееру, просматривается со всей возможной ясностью. То же самое относится и вообще ко всем политическим литургиям, использовавшимся европейским фашизмом, которые почти до мельчайших деталей — за исключением радиотехнических охвата масс — были предвосхищены в практиках, проектах и стилистических образцах Французской революции.

Учитывая эти процессы, мы могли бы определить «революционные» события как то, что имеет «место», но, согласно положению вещей, может случиться исключи-

523 См.: *Hans Christian Harten. Op. cit. S. 213—217.*

* Третье сословие (фр.).

** Зал манежа (фр.).

тельно в неподходящем месте. Собрания новых активных политических сил, заседания первой *Assemblée nationale*,* Законодательного собрания и Конвента и их комитетов, с одной стороны, клубов и партий, секций и дискуссионных обществ — с другой, несли с собой столь же многочисленные пространственные запросы, а общей для них на первых порах была лишь та трудность, что они вынуждены были размещаться в строительной субстанции старого порядка, используя ее для неортодоксальных функций. Образцовой для множества аналогичных процессов является судьба пустовавшего доминиканского монастыря на парижской рю Сент-Оноре, прозванного в народе Якобинским, который после переезда депутатов из Версаля в столицу превратился в место собраний членов Бретонского клуба, а позднее — «Общества друзей конституции», то есть в идейную кузницу патриотического радикализма и материнскую ячейку сотен провинциальных филиалов, о взрывном распространении которых Камилл Демулен уже в феврале 1791 года мог написать: «В распространении патриотизма, то есть филантропии... клуб, или церковь, Якобинцев, пожалуй, был призван сыграть ту же самую ведущую роль, что и римская церковь в распространении христианства...»⁵²⁴ Факт, что возникшая здесь и борющаяся за власть группировка вскорости стала как активно, так и пассивно идентифицировать себя в соответствии с названием места своих заседаний, свидетельствует, с одной стороны, о власти гениев места над теми, кто в нем собирался, а с другой стороны — о независимости новых силовых констелляций от традиционных локальных семантик. Во всяком случае, мы могли бы сказать, что здесь, как и во многих других местах, имел место перенос авторитета с клира на самых красноречивых на-

524 Цит. по: *Walter Markow. Albert Soboul, 1789. Die Große Révolution der Franzosen. Köln, 1977. S. 131.*

* Национальное собрание (фр.).

родных представителей, а точнее, растворение христианского пыла в порыве патриотов, упоенных идеей человечества.

Аналогичные механизмы в течение некоторого времени работали в пользу умеренных сил, группировавшихся вокруг Варнава, которые в июле 1791 года покинули якобинский клуб и с целью подтверждения своего ухода обосновались в соседнем Фейянском монастыре — как и Якобинский монастырь, находившемся лишь в нескольких шагах от *Salle du Manège*. Когда 13 июля 1783 года популист и поклонник Спарты Жан-Поль Марат был убит Шарлоттой Корде, члены Конвента и представительницы «революционного пола», женщины Парижа, устроили ему пышные похороны. После торжественного прощания с ним в церкви монахов ордена францисканцев, именовавшейся в народе *Cordeliers*, его сердце было отдельно погребено в монастырском своде, а тело похоронено в *Jardin des Cordeliers** (откуда немного позднее его перенесли в Пантеон); с апреля 1790 года это церковное здание служило клубным помещением и партийным центром «Общества друзей прав человека и гражданина»; после конца *terreur*** урна с сердцем пропала при невыясненных обстоятельствах.

Как бы мы ни оценивали символическое значение таких заселений и оккупаций традиционного пространства, в любом случае не вызывает сомнений, что как события, так и дискурсы и жесты, имевшие место в период между 1789 и 1795 годами, ни в каком отношении не могут быть уподоблены конструктивистской фантазии о начале с *tabula rasa*:*** никогда не существовало пустого «республиканского пространства», в котором люди того времени могли бы действовать так, словно они пришельцы из будущего мира. В ходе революции почти ничто не осталось

* Сад монахов ордена францисканцев (*фр.*).

** Террор (*фр.*).

*** Чистая доска (*лат.*); здесь: с чистого листа.

прежним, однако не было создано и ничего нового. Оперативные качества переворота всегда проявлялись в форме новых оккупаций, субливерсий и перефункциональных того, что уже имелось в наличии. Это подтверждается тем наблюдением, что революция почти ничего не построила, но почти все переименовала.⁵²⁵ Эти политические речевые акты, из которых ни один, разумеется, не имел столь серьезных последствий, как переименование и преобразование Генеральных штатов в Национальное собрание, нередко сопровождались реальными и радикальными смысловыми преобразованиями; с политико-символической точки зрения самыми претенциозными из них были, во-первых, устройство в церкви Святой Женевьевы национального Пантеона — своего рода национального архива праха и ауры великих мужей,⁵²⁶ и, во-вторых, превращение Лувра в первый крупный национальный музей, в котором рядом друг с другом должны были обрести последний приют освобожденные (*vulgo** украденные) художественные сокровища со всего мира.⁵²⁷ И все же бросаются в глаза несколько инноваций в сфере уничтожения: уже в 1790 году были удалены фигуры рабов с цоколя статуи Людовика XVI на Пляс-Виктуар, а после восстания 10 августа 1792 года была снесена и сама статуя.⁵²⁸ В разгар якобинской власти «публичное пространство» очищается от памятников персонам, символизирующих монархию; они временно заменяются статуями свободы и республиканскими аллегориями; возведенные во многих местах импровизированные Алтари Отечества вместе с обязательными древами свободы представляют собой символы воинственной гражданской религии якобинства, возла-

⁵²⁵ *Hans Christian Harten. Op. cit. S. 20—29.*

⁵²⁶ См.: *Mona Ozouf. Das Pantheon. Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit. Zwei französische Gedächtnisorte. Berlin, 1996. S. 7—38.*

⁵²⁷ См.: *Eduard Pommier. Der Louvre als Ruhestätte der Kunst der Welt // Gottfried Fliedl. Die Erfindung des Museums. Anfänge der bürgerlichen Museumsidee in der Französischen Revolution. Wien, 1996. S. 7—25.*

⁵²⁸ См.: *Mona Ozouf. Das Pantheon. S. 31.*

* Обычно (*лат.*).

гавшей на своих адептов обязанность самопожертвования даже более энергично, чем монотеистическая миссионерская религия в кульминационный момент своего экспансионистского порыва.

Но с помощью одного лишь общенационального перифункционирования феодальных и церковных залов для нужд собраний представителей третьего сословия (только Париж с его 48 революционными секциями испытывал огромную потребность в местах для заседаний, кабинетов для совещаний, судебных залах, административных помещениях и тюрьмах) пространственные требования *nouveau régime** никоим образом не могли быть удовлетворены. Уже на первом году революции стала ощутима необходимость создания крупных арен для собраний, на которых могли бы встречаться не только репрезентанты, но и репрезентируемые, сами народные массы, получавшие возможность по праздничным поводам физически собираться вместе в хорошо организованных формах, образуя актуально присутствующий пленум нового «общества», то есть суверенный народ-нацию. Хотя в демографических и географических условиях Франции, население которой в то время насчитывало около 25 миллионов человек, это могло быть осуществлено в лучшем случае на уровне больших городов, да и там лишь с большой натяжкой, идеал массового республиканского пленума ни в коей мере не утрачивал своего мобилизующего эффекта. Гражданская нация, воздвигавшая себя перед самой собой как некий возвышенный адрес, желала по крайней мере иногда торжественно собираться как будто бы в полном составе в одном-единственном месте — несмотря на тот факт, что современное общество организовано асинодически: его первым и важнейшим признаком является то, что оно уже не образует способного к собранию единства. Это радикально отличает его от античной демократии, насквозь пронизанной

* Новый порядок (фр.).

требованием, в соответствии с которым полис должен оставаться собираемой в одном месте величиной (за исключением женщин, детей и рабов).

На волне энтузиазма в отношении всякого рода собраний — и это, пожалуй, было неизбежно — античные модели сооружений для крупномасштабных собраний вновь стали предметом настойчивого обсуждения. Европейская античность оставила после себя две концепции крупномасштабных собраний: греческий амфитеатр и римский цирк, или арену, формальное совершенство которых даже по прошествии более чем 1500 лет делало возможным их воспроизводство. Оглядываясь назад, мы можем отметить пророческий характер решения Парижской академии, уже в начале 80-х годов XVIII века объявлявшей конкурсы на проекты публичных торжественных зданий: в 1781 году для *Fête publique*,* в 1782 году для цирка; в 1783 году для зверинца с ареной. Подобные мотивы были движущей силой и конкурсов 1789 и 1790 годов — причем и в это время едва ли кто-нибудь задумывался о реализации проектов (впрочем, *ancien régime* обыгрывал античную арену как праздничную декорацию: в 1769 году по поводу бракосочетания дофина с Марией-Антуанеттой в Rond Point на Елисейских Полях было возведено гигантское здание в стиле Колизея, в течение десятилетия служившее популярным увеселительным местом, пока его не снесли по причине обветшалости). Академические *concours*** все еще целиком и полностью следовали в русле абсолютистских фантазий о народной режиссуре. Они пользовались привилегией без сколько-нибудь серьезных последствий мечтать о гигантских резервуарах, где бы пассивно-празднично скапливались подданные для восприятия зрелищных державных и художественных репрезентаций королевской власти.

* Общественный праздник (фр.).

** Конкурсы (фр.).

Лишь с началом революции модель арены или амфитеатра для «массовой» публичности смогла стать политически вирулентной и в некоторых случаях реализуемой; прежде всего здесь следует упомянуть о грандиозном празднике Федерации — конгломерата патриотических союзов, созданных для противодействия контрреволюционным проидам, — состоявшемся на Марсовом поле в Париже 14 июля 1790 года, в первую годовщину взятия Бастилии.⁵²⁹ Это величайшее массовое мероприятие в европейской истории со времен римского *Circus maximus** знаменовало начало теснейшего сближения Французской революции с экзальтированной идеей реального и интегрального народного собрания; в этот день около 400 000 человек теснились на импровизированных цирковых ярусах, окружавших праздничную площадь, в центре которой Талейран служил патриотическую мессу перед специально для этого возведенным, сомнительным с литургической точки зрения «Алтарем Отечества» (лишь одно событие, произошедшее относительно недавно, могло сравниться с праздником Федерации по количеству зрителей: за состоявшимся 1 декабря 1783 года первым полетом профессора физики Шарля на заполненном водородом шаре наблюдало более четверти миллиона парижан, собравшихся в саду Тюильри, чтобы присутствовать при величайшей сенсации эпохи — преодолении силы притяжения⁵³⁰). В персоне Талейрана в один-единственный исторический момент была осуществлена трансформация священника в церемониймейстера «массовой» эпохи — точнее, произошло рождение медиаполитика как шоумена и консенсус-режиссера. В качестве визуальной доминанты среди праздничных сооружений выступала триумфальная арка из картона, дерева и гипса,

⁵²⁹ Вилем Флюссер в своей коммуникологии связал тип «амфитеатрального дискурса» с понятием тоталитаризма; см.: *Vilém Flusser. Op. cit.* S. 27—28.

⁵³⁰ Интерпретацию этого события в рамках современной истории левитации см. ниже с. 724 и сл.

* Большой цирк (лат.).



Де Маши. Праздник Федерации в Париже. 1790 г. Триумфальная арка в качестве визуальной доминанты.

возведением которой воинственная патриотическая республика недвусмысленно намекала на свой интерес к символике победы времен Римской империи. Эта массивная римская цитата, пожалуй, может навести на мысль, что наполеоновские победы следующего десятилетия были лишь исполнением требований, выдвинутых героическим декорумом патриотических обществ в самом начале революции: что такое победа, как не ответ реального на требования фантазии? Вне всякого сомнения, в сценах на Марсовом поле еще присутствовало многое из церемониального арсенала абсолютизма, поддержанного адаптированной культовой магией католицизма, пусть даже в самой семантике праздника и подчеркивалось, что как абсолютизм, так и католицизм представляют собой отжившие и преодоленные явления. Об уникальном значении этого собрания для самих собравшихся свидетельствует клятва, принесенная Лафайетом от имени федератов всех департаментов, в которой, с одной стороны, скреплялось единство всех французов друг с другом, а с дру-

гой — подтверждалось слияние населения со своим королем (который, со своей стороны, клялся в верности нации и закону — само собой разумеется, притворно), словно на этом непосредственном народном собрании речь шла о том, что собравшиеся присягали своему актуальному совместному пребыванию и, более того, воображаемому сохранению своей общности после возвращения к обычному существованию вне рамок собрания или, как скажут немного позднее, своей национальной солидарности. Впрочем, на заре политической современности едва ли могла возникнуть ситуация, в которой установленное Габриэлем Тардом тождество общительности и сомнамбулизма обладало бы столь радикальной действительностью, как в эту первую годовщину 14 июля; возможно, привыкание французов к таким состояниям является одним из объяснений, почему Бонапарт застал «нацию» столь невероятно внушаемой, мобилизуемой и воспламеняемой.

Через некоторое время после этого воодушевляющего события в дискурсах ранних социалистов возникает чреватый весьма серьезными последствиями вопрос: не означали ли эти объединения всей нации в некое упоенное «Мы» обманом неимущих слоев населения со стороны имущей буржуазии? Поскольку этот вопрос как семантически, так и политически был поставлен корректно, едущие сто пятьдесят лет европейской социальной политики прошли под знаком критики со стороны международных рабочих движений тех обманов и надувательств, которые под вывеской народных собраний и национальной общности стали неотъемлемой частью жизни буржуазных наций. Феномен мнимой инклюзии, таящей в себе реальные жесткие эксклюзии, в один миг оказался на сцене идеологического театра. С его систематического обличения начинается эпоха подозрительности. Отныне критика должна представлять собой разоблачение современной ложной универсальности от имени якобы грядущей истинной универсальности. На этом фоне понятие класса смогло занять первое место в позднейших дискурсах про-



Клятва короля, королевы, нации на празднике Федерации 14 июля 1790 г. Неизвестный художник XVIII в.

игравших революцию: отныне оно направлено против псевдоинклюзивности понятий нации и народа и должно подчеркивать антагонизм между истинным (хотя еще неопределенным), создающим действительную стоимость коллективом пауперизированных рабочих и их интеллектуальных союзников и состоящими на службе у капитала эксплуататорами и идеологами.⁵³¹

⁵³¹ Еще 12 июня 1790 года, во время подготовки к празднику Федерации, Марат в своем листке «L'ami du peuple» («Друг народа») выс-

Современность патриотического культового спектакля на парижском Марсовом поле (в подражание которому во всех более или менее значительных городах Франции прошли аналогичные крупномасштабные собрания на импровизированных стадионах и вслед за которым вплоть до VIII года революционного календаря, то есть до 1799 года, проводились многочисленные подобные праздники, иногда с добавлением агональных и спортивных элементов) состоит в том, что вместе с ним преобразование многочисленной столичной толпы в реальную «мае-су» — представляющее собой архитектурную, организационную и ритуально-техническую (а позднее и юридическую, касающуюся права на собрание) задачу — вступило в стадию эксплицитной разработки. Подготовка и проведение праздника Федерации в 1790 году и мероприятия, ему наследовавшие, со всей очевидностью продемонстрировали, что «масса», «нация» или «народ» может выступать в качестве коллективного субъекта лишь в той мере, в какой физическое собрание таких масштабов становится предметом инсценировки, организованной по всем правилам искусства: сначала — мобилизация участников, затем — управление аффектами на стадионе и привлечение «массового» внимания завораживающим спектаклем и, наконец, — контролируемое муниципальными гвардейцами растворение возвращающейся по домам толпы. Нет теста без сосуда, в котором оно обретает форму; нет «массы» без руки, знающей, для чего она ее лепит.

Праздник Федерации 14 июля 1790 года, *de facto* и *de iure* положивший начало современной «массовой»

тупил против надувательства под лозунгом единства: «Вас успокаивают словами *мир* и *единство* (*union*), одновременно исподтишка готовы против нас войну». Поэтому истинным друзьям Отечества следовало бы отлучить от праздника как равнодушных, так и трусов и предателей. Марату известны еще только моральные и психополитические классы, но не те, которые определяются «местом в производственном процессе».

культуре как еpení-инсценировке, весьма информативен, поскольку на нем отношение между публикой, зрелищем и резервуаром, в котором происходит собрание, уже представлено в образцовых и законченных формах. Дефиле муниципальной гвардии на гигантском поле внутри цирка и отслуженная Талейраном патриотическая месса показали, что для коллективных литургий такого колоссального масштаба характерно тотальное господство ритуала и что даже собранный воедино новый суверен, присутствующая публика, именно в силу своего подавляющего количества вынужден довольствоваться ролью оживленного наблюдателя, шумно выражающего свое одобрение. Это, в свою очередь, означает, что организаторы крупномасштабных собраний должны знать, в какой мере они ответственны за успех аффективного синтеза, то есть коллективного воодушевления. Поскольку возрожденный цирк и как политический фокус, и как массовый коллектор представляет собой машину для производства консенсуса, ритуальная режиссура призвана гарантировать, чтобы все без исключения происходящие в нем события обладали элементарной очевидностью. Тот, кто не понимает текста, должен понять действие; кому чуждо действие, тот должен быть зачарован красочностью представления. Остальных захватит соносферический поток. Разумеется, сам так называемый суверен в этой ситуации никогда не получит слова; однако он может аплодировать появлению своих представителей, более того, ему позволено с помощью ликования и крика развернуть себя самого в акустический феномен «Мы* *sui generis*. Там, где невозможно тайное голосование, к психополитически релевантным результатам ведет коллективный рев. Собранная в цирке-стадионе *quasi*-нация ощущает себя участвующей в своего рода акустическом плебисците, непосредственный результат которого, торжествующий шум над головами всех собравшихся, вырывается из них словно некая эманация, которая, возвращаясь, обращается к слуху каждого отдельного присутствующего. Аутопойе-

сис шума можно сравнить с реализацией ставшего общим местом изречения о *vox populi*. * * Такого рода рев, еще не дифференцированный никакими современными средствами настройки, делает излишней риторiku отдельных ораторов. Путем миметического заражения крик одного становится криком другого; разве что на стадионе крики двух или большего количества ревуших партий взаимно подавляют друг друга. Там, где на место воплей приходит музыкальное единение, возникает пространство политических гимнов. Как демонстрирует история «Марсельезы» и других национальных гимнов, общее пение провоцирует превращение толпы в хор; согласно другой точке зрения, оно даже освобождает истинно хоровую природу общины от давления прозаических повседневных человеческих отношений.⁵³²

Что же касается архитектурных резервуаров для крупномасштабных революционных собраний, то очевидно, что здесь и речи быть не могло о перефункционации феодальных и церковных залов: если зарождающаяся «массовая» культура современности хотела наследовать европейской древности, то довольствоваться чем-то меньшим, чем подобное ренессансному воспроизводство прежде неактуальных форм, она бы просто не могла — а она должна была наследовать, чтобы удовлетворить спрос эпохи на масштабные здания для агрегированных человеческих толп.

То, что архитектурным императивом для крупномасштабных собраний эпохи суверенных народов стало здание, не в последнюю очередь объясняется опытом маесовых встреч под открытым небом, в XX веке нередко проводившихся в форме демонстраций (которые в германском законе о собраниях именуется «шествиями») и определяются как поступательно движущиеся собра-

532 См.: *Esteban Buch. Beethovens Neunte. Eine Biographie. Berlin; München, 2000. Teil 1: Die Geburt der modernen Staatsmusik. S. 19—126.*

* Глас народа (*лат.*).

ния) и таивших в себе высокий потенциал эскалации насилия, вследствие чего охраняемые архитектурными средствами, даже защищенные крышей конвенты дают солидную ситуативную фору для цивилизованного развития событий.⁵³³ Но поскольку едва ли возможно реактивизировать форму, не реанимируя — по крайней мере косвенным образом — изначально связанное с ней содержание, современный интерес к античным «массовым» контейнерам (амфитеатру, арене, цирку) превращается в своего рода популярный Ренессанс, в рамках которого вместе с архитектурными формами возвращаются и соответствующие им типы событий — единоборство, состязание, драма разделения на победителей и побежденных, разве что в отличие от античной арены на современном стадионе смерть уже не может рассчитывать на звание официально приглашенного гостя.⁵³⁴ Иногда совершенно справедливо подчеркивают, что современность в применительной синхронности с демократией реанимировала и два таких античных института, как трагедия и олимпий-

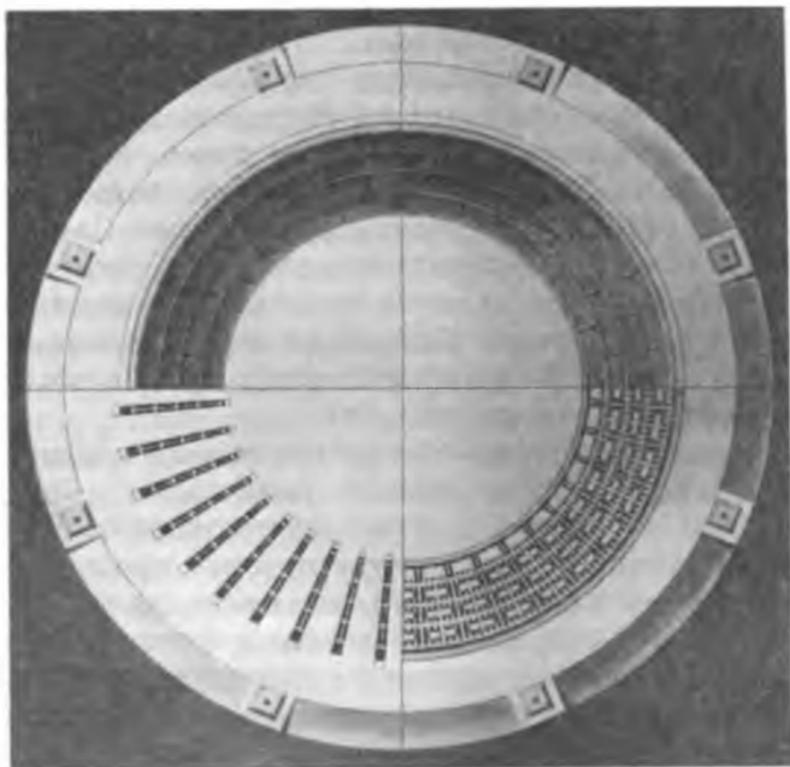
533 Различие между публичными собраниями в закрытых помещениях и под открытым небом четко проводится как в статье 8 германской Конституции, так и в Законе о собраниях, поскольку принцип, в соответствии с которым все немцы имеют право без какого бы то ни было уведомления и позволения мирно и без оружия собираться вместе, при собраниях под открытым небом может быть ограничен законом. См.: *Helmut Ridder, Michael Breitbach, Ulli Rühl, Frank Steinmeier. Versammlungsrecht. Kommentar. Baden-Baden, 1992*; а также: *Martin Quilisch. Die demokratische Versammlung. Zur Rechtsnatur der Ordnungsgewalt des Leiters öffentlicher Versammlungen — Zugleich ein Beitrag zu einer Theorie der Versammlungsfreiheit. Berlin, 1970.*

534 о том, что первые инициаторы олимпийского движения современности не скрывали его ренессансного характера, среди прочего, свидетельствует сочинение французского спортивного педагога Филиппа Дарилы «Физический Ренессанс»: *Philippe Daryl. Renaissance physique. Paris, 1888.* Об античной системе цирков см.: *Karl-Wilhelm Weeber. Papet et circenses. Massenunterhaltung als Politik in alten Rom. Mainz, 1994*; *Paul Veyne. Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique. Paris, 1976* (нем. изд.: *Frankfurt, 1988*); *Clemens Heucke. Circus und Hippodrom als politischer Raum. Untersuchungen zum großen Hippodrom von Konstantinopel und zu entsprechenden Anlagen in spätantiken Kaiserresidenzen. Hildesheim; Zürich; New York, 1994.*

ские атлетические состязания.⁵³⁵ Есть сведения, что еще в 1793 году революционный оратор Дантон требовал проведения Олимпийских игр на Марсовом поле в национально-педагогических целях. Еще ранее, в 1792 году, Жильбер Ромм, один из создателей революционного календаря, предлагал проводить французские Олимпиады по високосным годам. Там, где слово берут такие патриоты, на помощь призываются спартанцы и римляне. Не случайно Брут, убийца Цезаря, является героем момента. Сколько остается ждать присоединения к нему сражающихся на аренах гладиаторов?

Взгляд на эти «массовые» контейнеры, наводящие архитектурные мосты между античными образцами «массовой» культуры и ее современной репродукцией, позволяет увидеть одну из структурных проблем современного общества: разумеется, как целое оно может быть организовано лишь ацефалическим и асинодальным образом, однако в нем сохраняется высокий спрос на цефалические и синодальные инстанции — в фантазиях о главном или генеральном собрании общества они даже непосредственно совпадают (разве что мы вправе задать вопрос, нельзя ли такое собрание, невозможное в реальности, по крайней мере имитировать в каком-нибудь панорамном или философском тексте, и, в случае утвердительного ответа, не приближаемся ли мы хотя бы чуть-чуть к объяснению того весьма примечательного авторитета, которым пользовалась философия в ориентированные на тотальность периоды современности). Популярная среди республиканцев государственно-правовая фикция передачи суверенитета народу, вступавшему в свои права в качестве наследника короля, подталкивает к мысли о восприятии функции головы народным пленумом, как если бы это было практически осуществимо. Впрочем, это могло длиться лишь до тех пор, пока мыс-

535 *Gunter Gebauer. Olympia als Utopie // Olympische Spiele — die andere Utopie der Moderne. Olympia zwischen Kult und Droge / Hrsg. von Gunter Gebauer. Frankfurt, 1996. S. 10.*



Этьенн Луи Булле. *Проект Колизея.*

лители-конституционалисты и юристы третьего сословия не обнаружили насильственный потенциал таких представлений; беспорядочные сцены народных восстаний 14 июля 1789 года и 10 августа 1792 года, сентябрьская резня и многочисленные жестокие эпизоды как в Париже, так и в провинции показали, куда ведет буквальное истолкование теоремы о суверенитете народа. Лишь с помощью строгих ограничений свободы собраний и коалиций оказалось возможным помешать буквальному усвоению толпой носившейся в воздухе народно-демократической догмы: «*Всякая власть исходит с улицы*».

Эти лимитации свидетельствуют о присущей имущей буржуазии способности быстро извлекать уроки из своих первых опытов насилия — пусть даже популисты

на первых порах возражали против недостаточной реализации *égalité** * «новыми господами» и грозили малодушным патриотам ужасным осуществлением философских теорий. Уже Конституция 1791 года содержала в себе попытку ограничения собраний, на которых присутствовало множество людей, желающее представить себя политическим народным обществом, то есть частью воплощенного суверена. Конституция Директории запретила практически все собрания под открытым небом как противозаконные и опасные сборища, — запрет, сохранявшийся в течение всего XX столетия и ставший юридической предпосылкой того суетливого квиетизма (или упорядоченного радикализма), который наложил отпечаток на всю французскую культуру начиная с наполеоновской эры и кончая эпохой мировых войн (более ехидные умы утверждают, что вплоть до наших дней⁵³⁶). Действительно, под властью якобинцев первоначально крепкая вера в экспрессивную мощь достоверности «массового» мероприятия оказалась поколебимой; слишком часто люди видели, как легко собравшиеся в публичных местах толпы людей, *enragés*** каким-нибудь случайным возбуждающим лозунгом, превращались в полуслепую рвущуюся вперед «массу». Канетти назвал наэлектризованные человеческие скопления, которым внушено то или иное намерение, «преследующими массами»;⁵³⁷ их ярчайшими представителями были своры санкюлотов. Если в революции 1789 года дала о себе знать хитрость разума, то она состояла во всегда лишь частичном осуществлении ее принципов; только таким образом она сохранила сопротивляемость по отношению к растормаживающим по-

⁵³⁶ См.: *Klaus Deinert. Die mimetische Revolution oder Die französische Linke und die Re-Inszenierung der Französischen Revolution im neunzehnten Jahrhundert (1830—1871). Stuttgart, 2001; François Furet. 1789 — Jenseits des Mythos. Hamburg, 1989.*

⁵³⁷ *Elias Canetti. Masse und Macht. S. 53 f.*

* Равенство (фр.).

** Взбешенные (фр.)■

стулатам универсализма снизу. Его час вновь пробил в начале XX века, когда европейские фатизмы, солидаризовавшись друг с другом в качестве своего рода интернационала национализмов, добились единства улицы и государства и поставили на повестку дня осуществление тотальной инклюзии того или иного народа в себе самом.

2. КОЛЛЕКТОРЫ: К ИСТОРИИ РЕНЕССАНСА СТАДИОНОВ

Есть мнение, что новоевропейский тоталитаризм представляет собой не что иное, как порождение стадионного консенсуса: в бушующем фонотопе, в котором сотня тысяч голосов накрывает собравшихся шумовым куполом, возникает фантом единодушия, привлекающий демагогов и социальных философов. Здесь рождается своего рода сонорная *volonté générale** — производится, так сказать, плебисцит с помощью криков. В этих обстоятельствах тезис Габриэля Тарда о гипнотическом или сомнамбулическом характере социального состояния человека кажется совершенно справедливым. Вопль толпы на стадионе, возвращаясь к ней, непосредственно связывает ее воедино, поскольку захватывающее зрелище порождает миметическое возбуждение, из возбуждения возникает звуковой жест, а из усиленного массой его возвращения к собственному слуху — взволнованность, приближающаяся к убежденности. Если Элиас Канетти описывал «массу в виде кольца»,⁵³⁸ то это описание характеризует не только визуальную и архитектурную обстановку на стадионе, но и акустическое опьянение, рождаемое собранием и вновь возвращающееся к нему. Как и античные полководцы, современные консенсус-режиссеры умеют ценить завораживающие музыкальные эффекты. Там, где собираются вместе все элементы, ответственные за так назы-

⁵³⁸ *Ibid.* S. 29 f.

* *Общая воля (фр.).*

ваемое переживание, должны присутствовать средства фонотопического синтеза. Если они имеются, событие, воодушевленное слияние толпы, обеспечено. Теперь известно, что значит присутствовать. Тот, кто «присутствовал», подтвердит, что событие как таковое открыло своего рода истину. Одновременно выясняется, как строго ритуальным образом можно обуздать скопление людей в народном контейнере. В период между 1790 и 1798 годами вновь обретенная арена на парижском Марсовом поле и многочисленные аналогичные конструкции в провинции проходят проверку все новыми и новыми помпезными шествиями. Из завораживающего ритуала и оперативного коллективного аутогипноза возникает материал для соборов постхристианских коммун. Отныне современное «общество» получает в свое распоряжение высокоэффективное средство самоубеждения — коллектор, с помощью которого могла бы последовательно решаться как организационно, так и психотехнически задача непосредственного собрания большого количества людей (в том случае, если бы с ней вновь пришлось столкнуться).

В нашем контексте достаточно поставить вопрос: почему прошло еще свыше ста лет, пока новое открытие эффекта арены или Колизея — слияния публики во время лицезрения нарциссически-наркотического спектакля — стало широко использоваться современной «массовой» культурой? В самом общем виде ответ должен был бы гласить, что «общество» XIX века в целом умело уклоняться от стоявшей перед ним задачи, — слишком глубоко в свидетелях революционного переворота и их наследниках сидел ужас перед народно-демократическим кошмаром. Когда в эту эпоху «масса» выходила на сцену, это, как правило, происходило в церемониально контролируемых формах.⁵³⁹ Лишь вместе с потрясениями на-

539 Относительно немецкой традиции см.: *George L. Mosse. Die Nationalisierung der Massen. Politische Symbolik und Massenbewegungen in Deutschland von den Napoleonischen Kriegen bis zum Dritten Reich. Frankfurt, 1976.*

чавшегося XX столетия вновь возобладала тяга к крупномасштабным скоплениям и собраниям, а вместе с ней возник спрос на архитектурные коллекторы для большого количества физически агрегированных людей.

Ключевыми словами для истории коллекторов являются «Олимпийские игры», «русская революция» и «фашизм». Эту разнородную троицу связывает общее стремление разрабатывать крупномасштабные интерьеры для присутствия и передвижения множества людей с целью управления их реакциями посредством инсценированных иллюзий наличия центра. Хотя искусство социального синтеза на современном уровне предполагает лишь не прямое воздействие, это не исключает того, что непосредственные собрания множества людей во временные симбиозы требуют обладания в высшей степени несомненными организационными знаниями. Эти знания находят свое практическое применение в обеспечении функционирования крупномасштабных коллекторов. С появлением и распространением таких макроинтерьеров стало очевидно, что исследованному Вальтером Беньямином архитектурному типу пассажа — в котором он разглядел глубочайшую интерьерную идею XIX века: парадоксальный синтез публичного мира товаров и интимности — более не принадлежит ключевая функция для понимания формирующего пространство процессов в современном обществе. На смену пассажам — в том, что касается их коммерческой стороны, — пришли торговые центры на окраинах городских агломераций или пешеходные зоны в центральной части городов — новейшая архитектура использует их лишь в качестве исторических цитат⁵⁴⁰ (созданное в начале 90-х годов на реконструированном Центральном вокзале Лейпцига торговое

540 Тем не менее с полным правом можем указать на то, что прогулка, в целом скорее не американский вид активности, в США лучше всего практиковать в шопинг-моллах: еще одна модификация праздного времяпрепровождения; см.: *Arthur Kroker, Marieluise Kroker, David Cook. Panik-Enzyklopädie. Wien, 1999. S. 90.*

пространство, как и аркады на Потсдамер-платц и подобные конструкции, представляет собой убедительный пример ультрасовременного инсценированного капиталистического историзма). Что же касается потенций формирования пространства XX столетия, то наиболее значимой оказывается абстрактная констелляция стадионов и апартаментов. Если первые способствуют плотному изопатическому, уничтожающему индивидуальное пространство вспениванию множества людей в больших контейнерах, то вторые связаны с цивилизационным трендом в сторону дискретного вспенивания «общества» в эгосферических ячеистых конгломератах.

В этих тенденциях дает о себе знать некое отклонение во всем комплексе «общества», которое можно было бы описать — на мгновение обратившись к языку Гегеля — как диалектику модернизации. Если в процессе современности неудержимо реализуется закон дифференциации субсистем, то одновременно артикулируются и всегда новые противоположные по смыслу попытки спасения или реанимации функции центра. Часто указывают на то, что мы уже давно обитаем внутри мировой формы, в которой проекция иллюзии целостности или центра на короля (и его логического секунданта, философа или мудрого учителя) искушает только наивных; королевский пост как таковой — призрачное место, в котором целое автоматически знало бы, что оно такое и чего оно хочет, — не освобождается без борьбы. Соппротивление во имя центра формирует свои собственные центры — и собственные привлекательные места для большого числа людей. Парижское Марсово поле, Олимпийский стадион в Афинах и его наследники во всем мире: Фестивальный театр в Байройте, Красная площадь в Москве, зальцбургская Каменная школа верховой езды вместе с Соборной площадью, Имперское спортивное поле в Берлине, комплекс для проведения имперских партийных съездов в Нюрнберге — в этих топонимах показательным образом отражаются рецентралистские и синодальные тенденции, без

которых невозможно понять самые мощные и проблематичные политико-культурные мотивационные течения первой половины XX века. В этих местах пригодные к тому агенты занимаются своим делом, симуляцией наличия центра, — решением задачи, размывающей границы между политикой и прекрасными и возвышенными искусствами. Пожалуй, об этом будет нелишним напомнить, поскольку постмодернистская позитивизация отсутствия центра разрушает исторический климат, позволявший старым и новым централистам верить, что правда эпохи на их стороне. В условиях именно этой исторической конъюнктуры тоска по центру оказалась связанной с волей к пленарному собранию. Если последнее и не представляло собой в буквальном смысле конвент тотальности, какой бы та ни виделась — республиканской, национальной или классовой, то тем не менее призыв к собранию достиг широких честолюбивых элит — этих групп фотогеничных представителей респектабельного общества. Там, где имеется дефицит таких групп, собравшиеся обращаются к рекрутируемому на административную службу персоналу.

В связи с отмечавшимся в 1996 году столетним юбилеем международных Олимпийских игр современности их история была достаточно основательно исследована и изложена в популярных обзорах, так что ее повторение в данном случае представляется излишним. В нашем контексте важен тот факт, что их возрождение и популяризация дали мощный толчок строительству современных стадионов и связанным с ним коллекторным практикам. «Олимпийская идея» не только предоставила современной спортивной идеологии ее высшую инстанцию и связанный с предельной мотивацией ритуал, она усилила и тягу к физическому собранию масс, пусть и деполитизированному, интернационализированному и ставшему объектом вторжения медиа.

Через игры, проводившихся в течение более чем столетия, показала, сколь мало были пригодны конвенции

историзма для контроля над ренессансным взлетом требований к современным аренам. Лишь в самом начале современное спортивное движение определялось образовательно-гражданскими и неоаристократическими мотивами. В результате раскопок в Олимпии, проводившихся в 1875—1881 годах под руководством Людвиг Курциуса, были открыты оригинальные сооружения для олимпийских состязаний; кроме того, в середине XIX столетия был раскопан Панафинейский стадион в Афинах, использовавшийся в качестве места проведения спортивных состязаний в рамках национальных «олимпиад» (на которых в качестве рефери выступали университетские профессора), пока наконец в 1896 году он не стал ареной первых международных Олимпийских игр, состоявшихся, впрочем, благодаря пожертвованиям одного патристически настроенного греческого миллионера; в них приняло участие 295 атлетов исключительно мужского пола из тринадцати стран. В том, что эти первые игры пришлось по вкусу их инициаторам, можно не сомневаться. Пьер де Кубертен засвидетельствовал в своих мемуарах, что «олимпийский горизонт» в его истинном значении открылся перед ним после посещения им вагнеровского Байройта. Спортивные игры, которые он себе мысленно представлял, должны были стать аналогом того неоаристократического анклава, каким был вагнеровский фестиваль, и подобно ему, явившись из возвышенного антимира, оказывать на реальный мир воспитательно-смиряющее воздействие. Если в Байройте состоялось возрождение трагедии из духа музыки, то благодаря Олимпиадам должно было состояться возрождение атлетизма — в соответствии с соревновательным духом экономического общества. Признания Кубертена приобретают значения диагноза эпохи, поскольку они недвусмысленным образом выявляют главную тенденцию современной «массовой» культуры: на смену европейскому ренессансу художников и филологов приходит глобализированный ренессанс атлетов и стадионов.



Панафинейский стадион.

В следующих, парижских Играх старт приняли уже 1077 спортсменов из 21 страны-участницы, среди которых были одиннадцать женщин, выступавших в гольфе и теннисе — к большому неудовольствию пуриста-андрофила Кубертена. Впрочем, этот количественный рост не имел значения для общественного восприятия Игр, поскольку они представляли собой лишь дополнение к программе Всемирной парижской выставки — еще одному коллекторному мифу XIX столетия, были растянуты на 162 дня и не потребовали возведения в Париже специального стадиона. Местом проведения соревнований стали сооружения Французского гоночного клуба в Булонском лесу. Лишь олимпийские объекты Сент-Луиса-1904 еще превосходили скромностью парижские. Если бы воскрешенные — или, как сказал бы Кубертен: восстановленные — Игры были лишь продолжением грекофилии

иными средствами, они едва ли пережили свое жалкое начало. Разумеется, можно предполагать, что такие дисциплины, как метание диска, остались бы в забвении, если бы о них не напоминали художественные произведения вроде статуи Дискобола Мирона из римского музея Терм; первое повторение марафонского забега на афинских Играх 1896 года, состоявшееся по инициативе грекофила Мишеля Бреая, в действительности также представляло собой не более чем дословное цитирование источников вне библиотечных стен. Тем не менее в современном контексте олимпийские архитектурные формы и дисциплины быстро приобрели самостоятельное значение. В течение короткого времени развитие атлетического ренессанса сделало грекоманию старого стиля практически незаметной.

Уже на лондонских Играх 1908 года благодаря возведенному в духе времени из железобетона стадиону *Shepherd's Bush*, вмещавшему около 70 000 зрителей, был совершен прорыв к строительству передовых в архитектурном отношении спортивных культовых сооружений. Эта первая аутентичная олимпийская арена устранила всякое сомнение в том, что канонической формой самых значительных коллекторов современности станет именно римский овал: от греческого стадиона, построенного в форме буквы U и оставлявшего одну сторону открытой, в будущем останется одно название.⁵⁴¹ Что ка-

541 Единственное достойное упоминания исключение: планы Альберта Шпеера относительно Немецкого стадиона, который должен был войти в нюрнбергский комплекс для имперских партийных съездов и служить постоянным местом проведения пангерманских олимпийских игр, предполагали строительство грецизированного сооружения в виде буквы U с трибунами высотой около 100 метров и вместимостью около 400 000 зрителей; работы над ним не продвинулись дальше рытья котлована, сегодня превращенного в искусственное озеро. Согласно Алексу Скоби (*Alex Scobie. Hitler's State Architecture: The Impact of Classical Antiquity. Pennsylvania State University. Park; London, 1990. P. 79*), и в этом проекте римские стиливые элементы преобладали над греческими. Шпеер в своей автобиографии подтверждает это толкование, хотя и ссылается на свои впечатления от отреставрированного Панафинейского

сается *event*-культурной модернизации Игр, то она заставила себя ждать вплоть до Олимпиады 1932 года в Лос-Анджелесе, когда впервые все решающие события состоялись в двухнедельный период — в отличие от прежних Игр, продолжавшихся от трех до шести месяцев и остававшихся обреченными на медиабесперспективность и невнимание широкой публики (за исключением десятидневных афинских Игр в апреле 1896 года). После того как утвердились почти все культовые формальности (олимпийский флаг и олимпийская клятва начиная с Антверпена-1920; олимпийский огонь начиная с Амстердама-1928; лишь эстафета олимпийского огня из Олимпии к месту проведения Игр добавилась только перед берлинскими Играми 1936 года, символизируя переход атлетизма от греков к немцам), олимпизм нуждался лишь в поводе, чтобы окончательно предстать в качестве культового центра атлетического ренессанса.

Мощный толчок к этому дали состоявшиеся на фоне всемирного экономического кризиса калифорнийские Игры, благодаря которым монументализм и развлекательность стали неотъемлемыми чертами олимпийского движения. Главной ареной Игр стал расширенный до 105 000 мест *Coliseum* архитекторов Джона и Дональда Паркинсонов, построенный в 1923 году и еще в доолимпийский период вмещавший 75 000 зрителей — почти столько же, сколько античный оригинал в Риме (для Игр 1984 года в Лос-Анджелесе было возведено еще более монументальное сооружение под тем же названием — впрочем, исключительно на деньги частных спонсоров). В этом наименовании каждый, кто способен читать знаки времени, мог бы увидеть решающее указание на динамику «массовой» культуры XX столетия: преобразование греческого стадиона с помощью римской арены — а точнее, вторжение «второй войны» в притворный мир спортивного состязания. В Новом Свете с задержкой на

стадиона, полученные во время его поездки в Грецию в 1935 году. См.: *Albert Speer. Erinnerungen. Berlin, 1969. S. 76.*

150 лет материализовались видения Булле о *Cirque nationale*.* * С этого момента олимпийский коллектор становится психополитической машиной, первичная функция которой состоит в производстве побед и победителей и превращении зрителей в свидетелей реально осуществляющегося различия между первыми и всеми прочими.⁵⁴²

Разделение коллектива на победителей и не-победителей становится главным таинством современного культа события. Оно превращает сочувствие победителю в главную практику социальной аффективности, смягченную определенным уважением к призерам, к которому обязывает развитие цивилизации (в этом смысле можно утверждать, что изобретение серебряных и бронзовых медалей свидетельствует о цивилизующей функции спорта). Кроме того, как олимпийские, так и все прочие стадионы утверждаются в качестве привилегированных культовых мест современной биорелигии — арен временного страдания атлетов за популярную мечту о превращении тривиального тела в свехчеловечески эффективную статую. После триумфа олимпизма генерализация мотива «второй войны» определяет все фасциногенные формы массовой культуры; она основывается, как мы уже говорили, на инспирированной римлянами редукции драмы к четкому различению победы и поражения. От этого другого чрезвычайного положения зависит не только все возрастающая психологизация спорта в смысле его преобразования в ведение психологической войны, но и его прямая связь с ориентированной на завоевание престижа и статуса политикой тех или иных государств и с системой прибыли еueanf-предпринимателей (в более наивные времена: спортивных клубов и команд).

Скрытые в обновленном олимпизме массово-культурные потенциалы впервые в полной мере проявились

⁵⁴² о феномене агонального *différance* см.: Сферы. Т. II. Экскурс 1
С. 324—338.

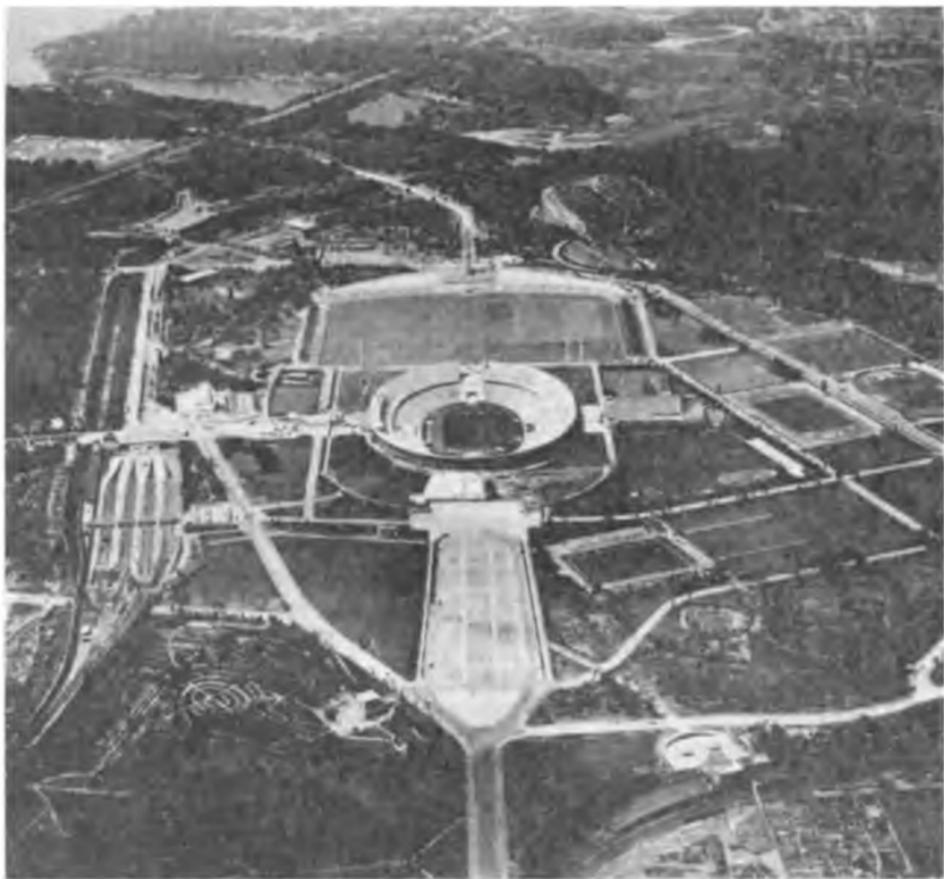
* Национальный цирк (*фр.*).

во время берлинских летних Игр 1936 года. Когда Освальд Шпенглер в первом томе «Заката Европы» заметил, что «какая-нибудь берлинская спортплощадка в дни больших соревнований уже в 1914 году мало чем отличалась от любого римского цирка»,^{543*} он предвосхищал развитие событий; поскольку он умер в мае 1936 года, то не смог пережить подтверждения своего пророческого диагноза.

Если эти Игры, прошедшие с 1 по 16 августа на Имперском спортивном поле в Грюнвальде, вошли в историю как триумф организации, то отнюдь не только по причине их энергичного использования в проводившейся национал-социалистским режимом кампании по привлечению к себе симпатий и повышению собственной респектабельности. В берлинском событии последовательно радикализовались ставшие очевидными начиная с Лос-Анджелеса-1932 тенденции к неогероически-монументальному и нарконарциссическому массовому спектаклю. Несмотря на введенный руководителем оргкомитета Карлом Димом ритуал факельной эстафеты от Олимпии до Берлина, Игры не оставили никаких сомнений в том, что их главная тенденция заключалась в окончательном подчинении грекофилического начала романизирующему следствию. За это ответствен в первую очередь отдающий торжественной гигантоманией стадион берлинского архитектора Вернера Марха, проект которого вырос из сравнительных исследований аналогичных античных и современных сооружений. Созданные примерно в то же время стадионные конструкции Яна Вилса в Амстердаме (Олимпийские игры 1928 года, отмечена архитектурной золотой медалью), Джона и Дональда Паркинсонов в Лос-Анджелесе, Эрнста Отто Швайцера в Нюрнберге (1927) и Вене (1931), а также Умберто Кон-

543 *Oswald Spengler. Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte* (1923). München, 1972. S. 49.

* Перевод К. Свасьяна.



Олимпийский стадион с имперским спортивным полем. 1936 г. Архитектор Вернер Марх.

стантини в Болонье (1925—1927) убедили Марха в конструктивном потенциале открытого взгляду железобетонного каркасного сооружения.

После того как Гитлер, который был чужд олимпизму и ощущал смехотворность «телесных упражнений», выказал раздражение модернизмом проектов Марха, был призван Альберт Шпеер с целью коррекции внешнего облика стадиона в монументальном стиле — в частности, посредством облицовки пильным камнем, которая должна была спрятать открытые взору бетонные плоскости и

элементы конструкции, создав ауру устрашающей неприступности.⁵⁴⁴ Шпеер в соответствии с гитлеровской теорией ценности руин гигантских зданий время от времени предавался мечтаниям о том, что его архитектурные творения через сотни или тысячи лет будут выглядеть как возвышенные реликты, — подражание колоссальным римским сооружениям теперь было уже не только виталистическим жестом, соответствовавшим то «молодой демократии», то «национальной революции», но и трагической и сентиментальной программой. Само собой разумеется, Берлинский стадион отнюдь не строился в расчете на то, чтобы «войти в историю»; поначалу было достаточно, чтобы он считался самым большим в мире, и это, учитывая его 110 000-ную вместимость, в течение некоторого времени, пожалуй, соответствовало действительности. Благодаря псевдодорическому экстерьеру и включению в ландшафт состоявший из церемониальных площадей и голых башен стадион должен был погружать посетителей в состояние возвышенного смирения и социально-идеалистической готовности к отречению от каких бы то ни было персональных проектов. Никогда прежде спортивное сооружение не было спроектировано как машина коллективизации и подавления таких масштабов. Входящий сюда должен был оставить всякую надежду на индивидуальность. Победивший здесь переставал быть частным лицом. Фигура на пьедестале почета становилась чистой эманацией из источника политической и расовой энергии.

Одним из исполненных поучительной иронии моментов культурной истории XX века явился тот факт, что первый кульминационный момент атлетического ренессанса был достигнут при национал-социалистском режиме, — и при этом, как признают даже скептики, дело атлетизма оказалось в надежных руках. Объективная

⁵⁴⁴

См.: *Thomas Schmidt. Werner March. Architekt des Olympia-Stadions. 1894—1976. Basel; Berlin; Boston, 1992. S. 48.*

компетентность фашистских организаторов в устройении крупномасштабных событий такого рода была следствием конвергенции между синодальным ядром национал-социалистской идеологии и олимпийским пафосом, состоявшем в физическом собрании в одном исключительном месте атлетической молодежной элиты мира и верующей в успех публики. Культ фюрера, интимно корреспондировавший с идеей народного пленума, допускает возможность его философской интерпретации как завершающей формы западного централизма: поскольку народ всегда уже собран в фюрере, фюрер может пригласить к себе весь, или почти весь, народ в целом, чтобы отпраздновать торжество гомогенности. Фашизм основывается на полусовременном истолковании концепции народного суверенитета — в смысле неожиданного роялизма снизу: народ эманурует из своего темного центра человека, в котором, как кажется народу, он полностью репрезентируется. Поскольку есть один, который есть все (и обещает быть всем для всех), те, кто собирается вокруг него, могут полагать, что их физическое собрание уже является окончательным доказательством суверенитета. Знаменитое замечание Маркса (в письме, адресованном Руге в марте 1843 года) о том, что филистер — это материал для монархии, применительно к данному случаю следовало бы перевернуть: монарх или фюрер — это материал для филистера. Олимпизм, в свою очередь, зиждется на полусовременной интерпретации существования, пребывающего в убеждении, что вся власть исходит от здоровых тел. Поскольку есть атлеты, постоянно выходящие за пределы человеческих возможностей, все те, кто является свидетелем этого, могут представить себя причастными к царству телесного суверенитета. Спонтанный роялизм фашистского типа отражается в популярно-биологическом аристократизме олимпийской чеканки. Относительная современность обоих — или, точнее, их современная антисовременность — непосредственно связана с широким и профессиональным использованием коллекторов.

В какой мере национал-социалистский неоклассицизм был сформирован благодаря усвоению греческих форм римской *imperium*, можно судить по олимпийским сооружениям в Берлине, программа и пропорции которых ведут свое происхождение от сформулированной в общих чертах в 1934—1935 годах концепции Имперского спортивного поля. Греческая институциональная триада «демократия—трагедия—спортивный агон» была процитирована посредством деления поля на спортивный комплекс, площадь для массовых собраний и театр — причем так, чтобы неискушенный посетитель не мог обратить внимания на пародийный характер сооружения, — но весьма внушительно представлены и атрибуты подавляющей индивида неоимперской архитектуры. Не будет никакого преувеличения, если мы увидим в Имперском спортивном поле национал-социалистский Лас-Вегас — экспериментальную площадку для тотального цитирования. Внутри этого комплекса подвергся претенциозной в духе времени адаптации отнюдь не только римский Колизей, «спортивная арена»; был воспроизведен и греческий трагический театр — в данном случае в форме летнего театра Дитриха Эккарта на 22 000 мест (Большой театр Диониса в Афинах вмещал 17 000 зрителей); кроме того, площадь для народных собраний, так называемое Майское поле, на котором совершалось типичное для фашизма превращение агоры (или абсолютистского *cour d'honneur**) в площадку для парадов и шествий, — не случайно эта часть сооружения была единственной, планированием которой интересовался лично Гитлер, ибо здесь напрашивались аналогии с Нюрнбергом.⁵⁴⁵

545 По свидетельству Шпеера, Гитлер после ознакомления с планами Марха хотел отказаться от проведения Олимпийских игр, поскольку не желал входить в «такой стеклянный ящик»: оригинальный проект предусматривал остекление пространства внутри бетонного каркаса. Майское поле использовалось редко, например во время государственного визита Муссолини в сентябре 1937 года, когда все Имперское спортивное поле заполнило около 1 миллиона человек.

* Почетный двор (*фр.*).

Коллекторы, представляющие собой цитаты исторических образцов (стадион, театр, площадь для собраний), связаны друг с другом аутологическим характером событий, ради которых они были спроектированы. Собрания происходят на них не для того, чтобы исполнить какую-либо программу или репертуар, — сама программа подчинена императиву собрания и является лишь предложением для созыва толпы ради осуществления ее совместного бытия. Там, где немцы собираются, чтобы представить целое, именуемое Германией, единственной темой неизбежно становится немецкость собравшихся. В правила игры таких синодальных делириев, и это сближает их с идеалистическими системами, входит обязательство говорить исключительно о Едином, которое само себя одновременно и презентует, и репрезентирует. Монотеизм — и не только у национал-революционеров — непосредственно переходит в аутоатематизм. То, что называется тоталитаризмом, представляет собой результат подчинения коллекторов и связанных с ними крупных медиа, а именно ежедневной прессы и радиовещания, тематическому суверенитету организатора. Последний с изрядным успехом может требовать от своих граждан не иметь никаких других тем, кроме него самого. Обстоятельство, что многочисленные участники партийных съездов, прежде всего из свезенных отовсюду статистов, все же нередко скучали, говорили о каких-то других вещах и тайком потешались над теми или иными хаотическими ситуациями, охотно обыгрывается жаждащими произвести сенсацию историографами национал-социалистской эпохи. Нам неизвестно, были ли циркулировавшая в народе характеристика геббельсовских речей как «сказок хромоножки», а также переименование Министерства пропаганды в «Имперское управление тщеславия» распространены уже во время нюрнбергских съездов.⁵⁴⁶ Од-

546

См.: *Thymin Bussemer. Propaganda und Populärkultur. Konstruierte Erlebniswelten im Nationalsozialismus. Wiesbaden, 2000. S. 133.*

нако то, что высоко ценимые Гитлером исполнения вагнеровских «Нюрнбергских мастерзингеров» при открытии партийных съездов первоначально проходили перед пустым залом и перед спящими и малокультурными национал-социалистскими партийными бонзами, является засвидетельствованным фактом. Таковы границы общественного воодушевления.

Во время берлинских Игр в «городе имперских партийных съездов» уже существовали два успешно функционировавших крупных сооружения для массово-литургических упражнений — Люйтпольд-арена и Цеппелин-фельд, оба в форме огромных прямоугольников с одной алтарно-крепостной стороной, на которой располагаются трибуны. К этим сооружениям должно было добавиться третье — Марсово поле, предельные размеры которого составляли 1050 на 700 метров.⁵⁴⁷ Среди памятных ландшафтов современности нет другого места, в котором антисовременные теория и практика волшебной силы собрания материализовались бы столь очевидным образом, как в нюрнбергском комплексе для проведения съездов НСДАП, — более того, нет такого места, в котором столь ясно проявился бы фестивальный характер национал-социализма. Хотя европейские фашистские движения, как их англо-американские филиалы, повсюду представляли собой бунт противников дифференциации и формировали оппозицию сопровождающему ее росту приспособляемости гражданско-клиентских субъективностей (ранее: разрушению автономной личности), национал-социалисты оставили за собой право на публичную демонстрацию в высшей степени роскошной агонии политического централизма. Направляемые решительной волей к иллюзии, немецкие игры в целостность представляли собой некорректные инвестиции в устаревшее тре-

547

О культово- и архитектурно-исторических аспектах Нюрнбергского ансамбля см.: *Yvonne Karow. Deutsches Opfer. Kultische Selbstausslöschung auf den Reichsparteitagen der NSDAP. Berlin, 1997. S. 33—91.*

бование мыслить и созывать целостный коллектив, то есть в данном случае народ национального общества как нечто способное к собранию. Кафедральные подмости, как реально существовавшие, так и лишь спроектированные для в общей сложности шестикратно (каждый раз на особую тему) проводившегося нюрнбергского Септемберфеста (с 1933 по 1938 год), позволяют нам понять, куда может завести гений некорректных инвестиций. Функция Гитлера, бывшая одновременно и секретом его успеха, состояла в том, что он мог с фанатичной серьезностью относиться к своей роли художественного руководителя иллюзией собрания; его единственный талант заключался в его способности истолковывать поразительные для него самого успехи национал-социалистского движения в духе своей синодальной мистики. Так, на послеолимпийском «партсъезде чести» 1936 года в Нюрнберге он кричал собравшимся:

«Разве мы не ощущаем в этот час чудо, что свело нас вместе!.. Когда мы встречаемся, нас всех переполняет чудесное ощущение этой встречи. Не каждый из вас видит меня, и не каждого из вас вижу я. Но я чувствую вас, и вы чувствуете меня! Вера в наш народ... сделала нас, заблуждающихся, зрячими и связала нас воедино».⁵⁴⁸

Это выходит за рамки обычной религиозной герменевтики успеха, с помощью которой победители внутренне визируют свою исключительность. Из голого факта массового и действительно происходящего собрания гитлеровская медитация высекает свою мистическую искру. При этом слово «успех» становится синонимом совместного бытия, а совместное бытие — равнозначным автоэкспансии фюрера на присутствующую аудиторию. Тот, кто ищет истину в «вышестоящих субъективностях»,

548
2000. S. 733.

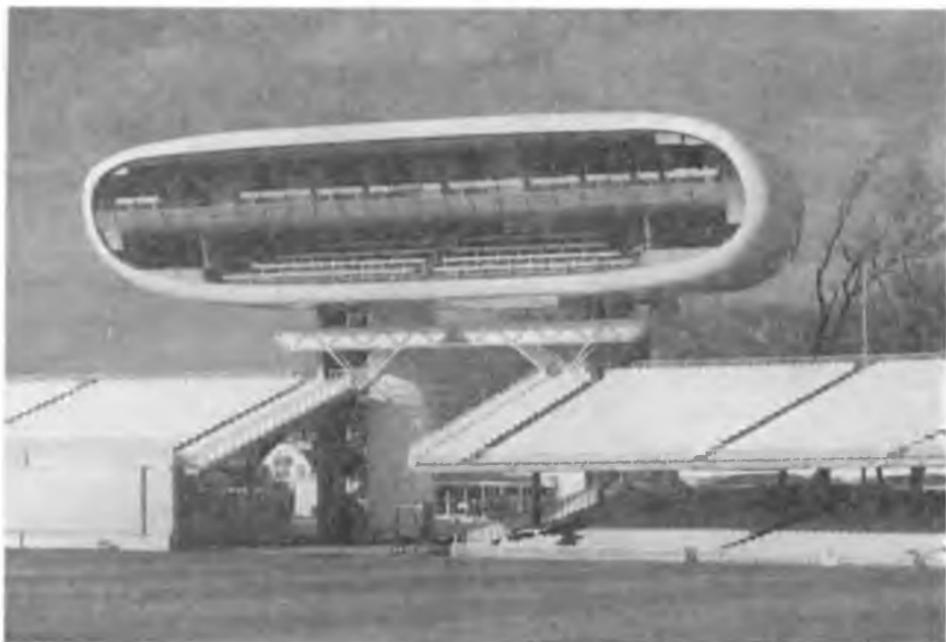
Цит. по: *Joachim Fest. Hitler. Eine Biographie* (1973). München,

легко удовлетворится этим имманентно инсценируемом сверх-Мы. Дополняющие речи произносили предводители построенных в колонны групп народа, как, например, Роберт Лей, который на партийном съезде «Великая Германия» в 1938 году во время церемонии принесения клятвы верности политических руководителей обратился к Гитлеру со следующими словами:

«Вновь перед вами этот единый немецкий народ. Они шагают под великим сводом этого светлого собора, рабочие и крестьяне, бюргеры, студенты и солдаты...»⁵⁴⁹

Само собой разумеется, нюрнбергские организаторы, пока могли видеть сквозь аутогипнотическую пелену, отдавали себе отчет в том, что даже эти массы «единого немецкого народа» оставались весьма селективными репрезентативными собраниями — сотни тысяч, представлявшие почти 70 миллионов. Из этого, как и при всех больших событиях с генерализующей инклюзивной тенденцией, вытекала необходимость дополнения синодальной тотализации тотальной медиатизацией. И именно в этом, в соединении большого события с его быстрой или синхронной передачей масс-медиа, мы можем черпать выкристаллизовавшуюся в национал-социалистский период и сохранившую свою обязательность информацию о возможности организации симбиотических «масс» внутри современных макроинтерьеров и связанных с ними публичных медиа. Тот факт, что коллектор соединяет множество собравшихся людей на медиумической арене непосредственного присутствия, является необходимым, но недостаточным условием подтверждения претензии на всеобщий охват; к нему должен быть добавлен коннектор, дистанционно соединяющий медиум, — либо союз бюрократии и почты, либо печатные и электронные масс-медиа, с помощью которых приводится в действие

⁵⁴⁹ Yvonne Karow. *Deutsches Opfer*. S. 88.



Медиацентр на площади Лордс-Крикет в Лондоне.

фикция интегрального социального синтеза посредством организованных событий. Там, где коллекторы и коннекторы функционируют слаженно, крупные коллективы формата нации оказываются в состоянии симультанного возбуждения, направляемого организаторами массового действия. Более того, таким образом эпизодически могут возникать синхросферы даже планетарного масштаба — например, во время церемоний открытия Олимпийских игр или таких единичных событий, как похороны Дианы, принцессы Уэльской, или прямой трансляции разрушения *Twin Towers** в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, а также национальной церемонии поминовения жертв террористического акта, состоявшейся спустя несколько дней на нью-йоркском стадионе *Yankee*, на которой около двадцати иудейских, христианских и мусульманских свя-

* Башни-близнецы (англ.).

ценнослужителей на глазах миллиарда телезрителей попытались дать интерпретацию всемирного значения смерти 6000 жертв атаки на *World Trade Center** (по уточненным позднее данным, их количество составило около 2800). Эта экспансия в почти универсальное возможна лишь в том случае, если транслируются реальные собрания, а трансляции, в свою очередь, воздействуют на собравшихся. С этой точки зрения развязанная Гитлером война была продолжением массового фестивального действия, — действия, которое по своему культовому смыслу с самого начала и в первую очередь представляло собой торжественное обручение живых немцев и немцев, погибших на полях Первой мировой войны и якобы обманом лишенных победы. Как отмечалось в наиболее тонких интерпретациях национал-социалистской идеологии, ядро немецкой корпоративной идентичности *designed by*** Гитлером, Геббельсом & Co. составлял культ мертвых. По известным причинам намеченный на первую неделю сентября 1939 года «Партсъезд мира» был отменен; субъектам национального охвата мало-помалу становилось понятно, что время фестивалей прошло. Их место занял продолжительный охват немецкой общественности со всеми ее коммунальными, производственными, корпоративными и соседскими организациями, кооперативным стрессом войны и медиагенерированным энтузиазмом, царившим в период сообщений о непрерывных успехах.

3. ДИСКРЕТНЫЕ СИНОДЫ: К ТЕОРИИ КОНГРЕССОВ

Из шести крупномасштабных коллекторов Нюрнбергского *Forum. Germanicum**** — трех площадей для парадов (Люитпольд-арена, Цеппелин-фельд и Марсово поле), проектировавшегося Немецкого стадиона, Старого зала для конгрессов (Люитпольд-халле) и монументального

* Всемирный торговый центр (англ.).

** Разработанная (англ.).

*** Германский форум (лат.).



Фрагмент Нового зала конгрессов в Нюрнберге. Архитектор Альберт Шпеер.

Нового зала для конгрессов, незавершенный остов которого сохранился, — только последнему были присущи некоторые современные черты — не столько с архитектурной точки зрения, ибо он представлял собой гротескную транспозицию Колизея, сколько с точки зрения социологии собраний, поскольку тип здания для конгрессов *eo ipso* содержит в себе современный ответ на потребность в местах проведения дискретных съездов общественных объединений. В то же время это гигантское сооружение, соединявшее в себе элементы арены, концертного зала и административного здания для вагнеризированной бюрократии, отличалось бросающимся в глаза дисфункциональным характером своих пропорций, поскольку даже в условиях национал-социализма здание для проведения конгрессов имеет смысл, если в нем (наряду с богато представленными в Нюрнберге площадками

ми для отправления культа и отдачи распоряжений) есть места для совещаний и дискуссий — целевое назначение, лишь с трудом угадываемое в сохранившихся фрагментах. Новый зал для конгрессов, пожалуй, лучше всего рассматривать как гипертрофированный партийно-оперный театр — машину для устрашения и одобрения; в этих грандиозных декорациях обычные для партийных съездов выборы председателя партии должен был заменить отрепетированный в Люитпольд-халле ритуал «провозглашения фюрера», и политические руководители должны были выслушивать здесь культурно-воспитательные речи Гитлера. Тем не менее Новый зал представляет собой гипотетическую уступку императиву собрания компетентных специалистов для обсуждения конкретных тем. Он — пусть не слишком решительно — демонстрирует, что современные «общества» суть не что иное, как дискретные тематические биотопы, нормальной формой функционирования которых является практика конгрессов, и хотя цезаристский колосс Шпеера опять-таки подчинен преимущественно театральному императиву, он тем не менее представляет собой шаг в сторону привычной современности, которая поддерживает эпизодические симбиозы, мимолетные встречи экспертных коллегий и групп интересов, с помощью соответствующего предложения мест для проведения съездов, залов, конгресс-холлов и совещательных комнат. Если не считать такие крупные коллекторные здания, как стадионы и музеи (а также транзитные коллекторы, вокзалы и аэропорты), современная архитектура занимается в первую очередь выполнением пространственных требований заседающего общества.⁵⁵⁰

550 См.: *Walter Meyer-Bohe, Thomas Meyer-Bohe. Bauten für Schulungen, Tagungen, Kongresse. Leinfelden-Echterdingen, 1983.* Ватой работе (S. 7) содержится и набросок теории конъюнктуры конгрессов: «В любое время на первом плане стоят определенные архитектурные задачи. После Второй мировой войны это было жилищное строительство, затем последовали волны строительства больниц, школ и высших учебных за-



Культурный центр Тижибо. Нумеа, Новая Каледония.
Архитектурная мастерская Ренцо Пиано. 1991—1998 гг.

Сколь мало реально существующее современное «общество» знает о своем собственном мультицентричном, политематическом, интенсивно-сессионном устройстве, свидетельствует в том числе и тот факт, что не существует ни одного адекватного рангу своего объекта социологического исследования проходящей в различных собраниях жизни пенящегося всякого рода союзами, объединениями, клубами, предприятиями и компаниями «общества». Огромный архипелаг конгресс-центров, выставочных комплексов, помещений для заседаний, конференц-отелей, клубных комнат, залов для заседаний объединений и союзов, контейнеров для собраний сотрудников фирм и обществ потребителей, академий выходного дня, партийных школ,

ведений. Ныне акцент делается на зданиях для выставок — от музеев до конгресс-холлов, а в связи с этим и на зданиях для учреждений дополнительного образования».



Линготто, Турин. Архитектурная мастерская Ренцо Пиано. 1983 г.
Штаб-квартира компании «Fiat».

учреждений дополнительного образования, а также залов и комнат для профсоюзных собраний — все это образует *terra incognita* для обычного восприятия «общества» в «обществе». Организованной переоценке роли университетов соответствует спонтанная, мотивированная недостатком наблюдательности недооценка практики съездов и заседаний; едва ли кто-либо имеет представление о том, что эффективный процесс обучения профессиональных групп, субкультур и принимающих решения элит осуществляется во внеакадемическом конференц-цирке. Разумеется, его незримость является лишь побочным следствием отсутствия у «общества» интереса к своему собственному устройству. Разве что в нескольких *public-relation-agentствах* и *event-management-service*-преп,врННТННХ*, в фирмах, специализирующихся на организации выставок,

* Служба управления событиями (англ.).

или на ораторских биржах, в тренд-бюро, а также на многих кафедрах, возглавляемых часто приглашаемыми на конференции и обладающими достаточными риторическими способностями профессорами экономики и организации производства, — собираются материалы для будущей науки о конгрессах и собраниях, тогда как академическая социология, как правило, занята спорами об эффективности теорий деятельности или систем и интерпретацией интерпретаций классиков. Быть может, только новейшие исследования мультисред сохраняют определенный контакт с подлинными пространственными реалиями вибрирующего в ритме дискретных конгрессов мультифокального «общества». В условиях явным образом асинодического устройства целого организация многочисленных дискретных симбиотических ситуаций остается огромным белым пятном на карте социологического внимания.⁵⁵¹

551 Der t+a Messeplaner. Messen & Ausstellungen International, 83. Jahrgang, 2002. Frankfurt, 2002. Здесь на с. 1198—1244 под заголовком «Содействие проведению конгрессов и мероприятий» содержится обзор предложений о предоставлении помещений и услуг 144 конгресс-центров в 110 городах немецкоговорящего пространства, каждое из которых представляет собой спектр от десяти до тридцати больших залов, залов для торжеств, конференц-холлов, комнат для отдыха, помещений для семинаров, клубов, пресс-румов etc. вместимостью от 12 до 10 000 мест. О том, насколько далеко продвинулась техническая экспликация события собрания в профессионально управляемых коллекторах, свидетельствует, среди прочего, книга Петера Гощманна (*Peter Goschmann. Arbeit-slexikon Menschen. Märkte. Marketing. Medien am Point of Interest. Mannheim, 2000*), в которой содержится достойный внимания перечень всего, что относится к ярмаркам, выставкам, встречам, конгрессам, съездам, инициативам, спонсорским организациям etc.; например, мы узнаем, что половые покрытия в помещениях для заседаний должны отвечать минимальным противопожарным требованиям (пожарная характеристика DIN [ДИН — германский промышленный стандарт] 4102, часть 1, класс В 1); что Немецкое общество развития и содействия проведению семинаров и съездов (DeGefest) представляет собой интересный союз энтузиастов экономики конгрессов (который, в свою очередь, проводит свой специальный ежегодный съезд); что микроклимат в помещениях для заседаний, согласно DIN 15906, должен соответствовать требованиям, предъявляемым к состоянию рабочего места, и что в помещениях для заседаний, где запрещено курить, должен быть гарантирован приток внешнего воздуха в количестве не менее 20 кубических метров в час на каждого человека.

Переход к дифференцированной коллекторной культуре предполагает, что в условиях присутствия множества людей, будь их пятьдесят или пятьдесят тысяч, мы избегаем притязаний на более глубокую симбиотику, лежащую в основании религиозных общин или национального коллективизма, а также присущих им идеологий собрания. Практическая мудрость современной культуры съездов и событий состоит в том, что она обслуживает кратковременные (на день или на час) симбиозы коллегий или обществ по интересам на их собственном уровне, не знакомя собравшихся с мрачными и излишними интерпретациями их связи.

Начиная с 50-х годов практичный и неопрактичный стиль проведения конгрессов, обретший свои контуры в конце XIX века, незаметно распространился и в прежде опустошенных политическим холизмом странах. Ведь даже если «общество» в целом — рассматривается ли оно в единственном числе как всемирное общество или во множественном как население национальных государств — при любых обстоятельствах представляет собой не способную к собранию величину (и поэтому тотализируемо лишь медальным и воображаемым образом), многочисленные социальные единицы более низкого уровня, такие как партии, объединения граждан, союзы, ассоциации, товарищества, клубы и профессиональные организации, по институциональным причинам остаются сформированными под влиянием мотива периодического собрания. Можно констатировать, что к конгрессу способно все, кроме целого.

Если Союз южнонемецких ортопедов собирается в 2002 году на свой ежегодный съезд, например, в зале для торжественных мероприятий в Баден-Бадене (а годом ранее он проходил в выставочном комплексе в Висбадене), то председателю, когда он приветствует присутствующих, достаточно сказать, что он рад видеть их в столь большом числе, но он никоим образом не станет размышлять над самим фактом собрания как такового, не говоря уже об упоминании чуда, которое свело их вместе в этот



Конференц-зал Линготто. Архитектурная мастерская Ренцо Пиано. 1983 г.

час; вместо этого он поименно поблагодарит организаторов и оставшихся в тени спонсоров, без усилий которых этот конвент не мог бы состояться. Когда акционеры концерна « Daimler-Chrysler» собираются в штутгартском зале имени Нанса-Мартина Шляйера, Юрген Шремпп не станет говорить, что он — виноградная лоза, а они — виноград, хотя присутствующие в силу своей причастности к капиталу компании столь же субстанциально едины, как и христианская община в мистическом теле Господа. Сдержанные члены синода понимают, что их эпизодическое соединение в будничном симбиозе заседания отнюдь не делает их более близкими к истине, чем их обычный рассеянный образ жизни; минуты присяги общему интересу в речах, открывающих съезд (например, в форме решительного призыва к реформе Министерства здравоохранения), и возможные минуты молчания в память о скончавшихся в период, прошедший со времени проведе-



Контейнерный терминал Бремерхафен.

ния последнего съезда, членах не создают никакого *сontinuo* сверху и не порождают единства, обусловленного мощнейшим стрессом, вызванным совместной борьбой. Голосования по поводу выдвинутых председателем предложений представляют собой манифестации произведенного собравшимися анализа интересов, а отнюдь не эманации из некоей коллективной самости. Тот, кто пришел на собрание и зарегистрировался, *ipso facto* признал свою ответственность за ту ситуацию, в которой компетентные лица и бенефициары дифференциации постоянно работают над оптимизацией игр, приносящих им успех.

4. *FOAM CITY: O* МНОЖЕСТВАХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ

На фоне рассуждений об архитектуре сооружений для проведения собраний становится очевидной топологическая особенность современных городов: с одной стороны, они определяются как местоположения коллекторов, используемых для концентрации большого числа людей; с другой стороны, они включают в себя комплексы апартаментов, служащие жилыми капсулами для отдельно живущих индивидов и небольших семей; и наконец, в них располагаются разнообразные сооружения мира труда, в которых большинство горожан обеспечивают основы своего экономического существования. Для формирования общего триполярного пространства городской жизни (эти полюса — работа, жилище, публичное и коллекторное пространство) в урбанистической литературе используются выражения «транспортное движение» и «коммуникация» — словно феномен города можно свести к универсалиям перемещения в пространстве и потока знаков. После того как бурное развитие электроники обрело свою теорию, дело дошло до таких фикций, как виртуальный город, *online-территория*, *City of Bits*,* Ки-

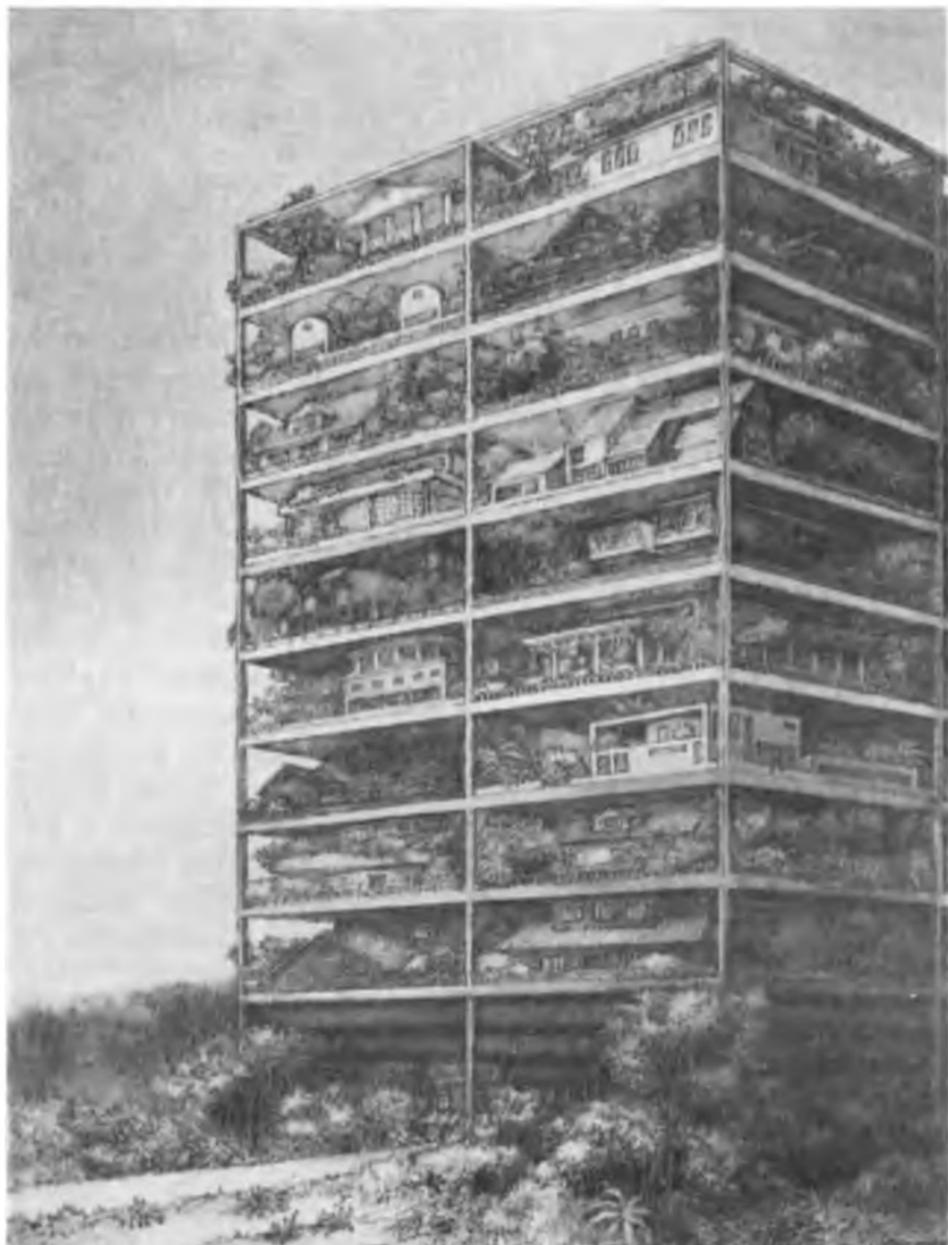
* Город бит (англ.).

бервиль и тому подобных метафор декорпорации. Чем более передовой является модель, тем глубже актуальный город погружается в фантомный хаос узлов телематических сетей. Е-урбанистика снимает материальность и плотность городского пространства в бестелесных телекоммуникационных процессах. Существенный признак городской жизни отыскивают в бегстве от физической локализации и в подрыве включающей ситуации (*disembedding*). Закономерно, что появление таких дискурсов о завтрашнем городе без свойств сопровождается романтикой децентрализации и мистикой дематериализации. Все эти субэйфорические теоремы сознательно игнорируют, а точнее говоря, детематизируют с помощью затрудняющего восприятие выбора понятий то специфически городское, что есть в городах, а именно атмосферно активную агломерацию обладающих собственной ценностью пространственных сегментов, в нашей терминологии — пенный характер по-городскому сконденсированных комплексов.

Мы сможем понять, что такое городская макропена в соответствии с ее реально-сюрреальной пространственной конституцией лишь в том случае, если увидим в ней своего рода метаколлектор, собирающий места собрания и не-собрания. Подлинная функция метрополий заключается, по всей видимости, в гарантии соседского сосуществования центров и не-центров — не в форме некоего централизованного суперкомплекса, а в качестве агломерации, или скопления, дискретных пространственных потенциалов типа «коллектор», «предприятие», «жилище» и «оформленная площадь под открытым небом». Метаколлектор, из которого возникает современный город, никак не связан с людьми, могущими собираться вместе или быть изолированными. Он соотносится с местами, то есть с организованными пространственными фабриками, в которых люди обнаруживают или не обнаруживают возможности для собрания и используют или не используют шансы на коммуникацию.

Если в топическом и утопическом мышлении последних пятидесяти лет присутствовало нечто такое, как авантюра новой урбанистики (а в пользу этого свидетельствуют такие имена, как Букминстер Фуллер, Николас Шёффер, Иона Фридман, Экхард Шульце-Филитц, Паоло Солери, Рон Херрон и прежде всего Констант), то акцент в такого рода проектах делался на попытке покрыть фактические города в буквальном смысле метафорическими, то есть поднятыми вверх и расположенными поверх существующих, метагородами. В фундаментально беспочвенном жесте проектирования этих новых городов мы не должны видеть только утопизм акосмической или полужемной фантазии, довольствующейся дизайном параллельных реальностей; претензия на новое осмысление мультифокального и политематического пространства метрополий с помощью крупномасштабных модельных образований во многих случаях носит аналитический и модельно-теоретический характер. Она нередко служит конкретному, хотя и косвенному, истолкованию настоящего. Пионеры этого подхода, как правило, являются теоретиками хаоса *ante litteram*, которые после краха староевропейского централистского рационализма и дискредитации предусматривающего тотальный контроль холизма экспериментируют с принципиально новыми методами для лучшего понимания синтеза «общества» в уплотненных пространствах.

Новое описание городского пространства поднимает его ввысь: над безнадежными городскими ландшафтами *status quo* на системах высоких пилонов возвышаются радикально искусственные новые пространственные артикуляции, в которых горожане будущего будут жить совместно с себе подобными и прочими вещами. Пилоны и опоры позволяют одним прыжком вверх перескочить через земельный вопрос, который уже не поддается решению на реальной поверхности земли. Логично, что могучие проективные энергии инвестируются в концепцию башни; у новых урбанистов она уже не является архи-



Алисон Скай, Мишель Стона, Джошуа Вайнстайн и Джеймс Вайнз.
High-Rise of Homes (Многоэтажный дом). Проект. 1981 г.

тектурной формой феодального притязания на власть или метафизической устремленности существования ввысь;⁵⁵² она, просто оставляя внизу старую субстанцию, указывает на разрыв между историей и постисторией. Отныне — никакой архитектуры для незастроенных участков, никаких пристроек, никаких реноваций. Речь идет о свободной достройке на высоте, о формировании новых слоев по вертикали, о постисторическом архитектурном самоопределении влиятельных застройщиков, преодолевающих остатки кошмаров всех прошлых поколений. Между старым домом и надстройкой нет никакой диалектики — только последовательность, предстающая в виде наслоения одного над другим. После первого захвата пространства отчужденным обществом и его трагической недвижимостью, знакомой нам как разросшиеся города, с помощью высотных построек Земля должна быть вторично открыта и захвачена, на сей раз в воздухе, причем базовой технологией постистории становится опорно-пилонное строительство. *Une autre ville pour une autre vie.* * *

В многочисленных проектах и моделях Константа (настоящее имя — Констант Антон Ньювенхёйс, род. 1920), которого мы считаем самым значительным визионером и аналитиком второй городской культуры, опорам, созданным в рамках его навевающего мысль о мании преследования колоссального проекта *New Babylon*** (1960—1970), придается прямо-таки философско-историческое значение: они должны обозначить четкую пространственную границу вторичного слоя существования — высвобожденной постисторией радикально-креативной сказочной жизни, которая возвышается над насквозь автоматизированным базисом из таких старых

552 См.: *Elisabeth von Samsonow. Tuch down und Take off. Entwurf einer Philosophie vom (Bau)Grund, Antrittsvorlesung an der Akademie der Bildenden Künste, Wien 1996 // Architektur und Bau Forum. 1/1997. S. 33—40.*

* Другой город для другой жизни (фр.).

** Новый Вавилон (англ.).

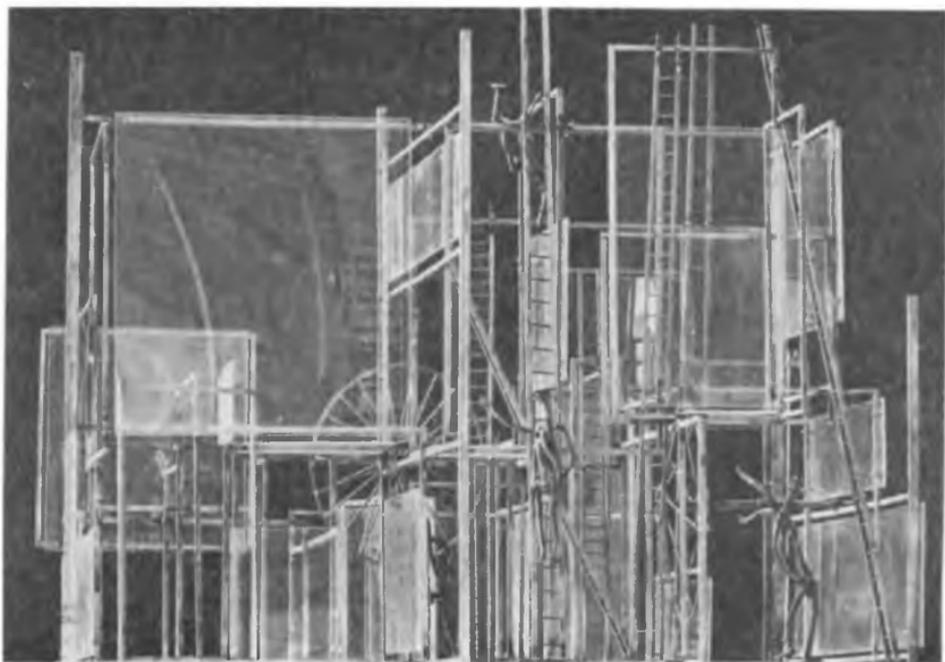


Ингенхофен, Овердик и партнеры. Высотное здание RWE в Эссене.
1997 г.

факторов, как земля, труд, обмен веществ. В новом верхнем мире второго Вавилона (в этом названии дает о себе знать типичная постмодернистская позитивизация необозримости и ее политического следствия — неуправляемости) эра материализма считается завершенной: новые вавилоняне — это вечно подвижные экзистенциалисты, живущие в мире, пришедшем на смену миру отчужденного труда. Их отношение к реальности формируется исключительно благодаря конструкции из мобильных пространств, атмосфер и окружающих миров. Они гуляют в висячих садах безумия — воинственные, конгениальные и конделирантные друг другу. Поэтому старые кадастры не годятся для нового «психогеографического» описания пространства, — описания, ориентированного уже не на земные поверхности, земельные участки, территориальные границы, а только на экспрессивные действия жителей, на их настроения, творения и инсталляции.

Констант, при всех его уступках утопизму, в первую очередь является аналитиком полиатмосферного «общества». Его исходный пункт — присущая практикам человеческого обитания в жилище неустранимая способность генерировать атмосферы. Поскольку утопия Константа, следуя фантазиям Ситуационистического Интернационала, изображает новое «общество» как форму сосуществования счастливых безработных, атмосферная среда совместного бытия, всюду воспринимающаяся не более чем побочный эффект, в его городе впервые становится основным продуктом (Ги Дебор, сотрудничавший с Константином с конца 50-х годов, в 1957 году говорил о «кварталах настроения» и городских «эмоциональных реальностях»⁵⁵³). Новые вавилоняне — это первые обитатели эксплицитной афрополитической структуры, творцы города, разросшегося над землей как поднятая на сваях колония художни-

553 *Guy Debord. Rapport zur Konstruktion von Situationen // Situationistische Internationale 1957—1972, Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig, Wien, 1998. S. 74—77.*



Констант. *New Babylon*. Решетчатый лабиринт.

ков-кочевников и состоящего исключительно из атмосферных резервуаров и реверсивных индивидуированных окружающих сред. Содержанием этого города является история искусства его обитателей. Что касается форм его проявления, то напрашивается мысль, что Констант предвосхитил постисторическую скрап-эстетику фильма «Mad Max».*

Этот жест выдвижения неавторитарных (то есть не рассчитанных на реализацию) моделей позволяет нововавилонскому Афрополису — целиком показанному в 1874 году в Гемеентмузее в Гааге — визуализировать возможную урбанистическую форму той «социальной пластики», которую постулировал в своих метаполитических дискурсах Йозеф Бойс. Оценивая полемическое вмешательство ситуационистов в события мая 1968 года, Марк Уигли констатирует:

* «Безумный Макс» (англ.).



Квартира для женщин, не имеющих постоянного жилища. Токио, 1989 г.

«Атмосфера становится базисом политического действия. Кажущееся эфемерным второстепенное в качестве активного бойца мобилизуется на конкретную войну. Как призрачный конечный пункт таких войн *New Babylon* представляет собой своего рода гигантский атмосферный *jukebox*,* который может быть включен только полностью революционизированным обществом».⁵⁵⁴

Мысленный эксперимент Константа на тему сосуществования креативных безработных в коллективном подвижном пространстве приводит к следующему результату: каждый человек не просто является художником, а,

554 *Mark Wigley. Constant's New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire. Rotterdam, 1998. P. 13.*

* Проигрыватель-автомат (англ.).

точнее, оказывается художником-инсталлятором, причем именно на основании того факта, что спонтанная эманация *ambiances*,* или нагруженных значениями окружающих миров, отождествляется с жизнью как таковой. Афрополитический прорыв способствует тому, что новые вавилоняне более не испытывают необходимости в старом жилом доме и старой атмосфере (обстоятельство, обсуждавшееся в прежних теориях с помощью таких понятий, как отчуждение и обособление объективаций духа; здесь можно вспомнить Георга Зиммеля, назвавшего принудительный характер жизни человека в затвердевшей символ-Ческой скорлупе «трагедией культуры»⁵⁵⁵), а освобождаются для все новых и новых отношений с конструкцией из своих окружающих миров, не будучи связанными прежними условиями оседлой жизни. Предпосылкой для этого является упразднение классического принципа реальности с его онтологическими следствиями — приматом Прошлого и диктатурой сжатости. Чтобы мыслить подобным образом, Констант вынужден был выдать значительный кредит сказочному марксистскому мотиву высвобождения производительных сил, ведущему к ликвидации отчужденного труда. Целью *New Babylon* является создание художественного Эдема в форме планетарного висячего сада для чрезвычайно креативных мутантов, придавшим новое значение выражению «внутреннее мировое пространство». Он не только представляет собой тотальный интерьер, все помещения которого климатизированы, искусственно иллюминированы и атмосферизированы; пребывание в нем равнозначно бытию в своего рода архитектурной ризоме, которая постоянно извивается и непредвиденно дрейфует. В нем, естественно, более нет никаких энергетических проблем и проблем с окружающей средой,

555 *Georg Simmel. Der Begriff und Tragödie der Kultur // Georg Simmel. Aufsätze und Abhandlungen 1909—1918. Bd 1. Gesamtausgabe: Bde 12. Frankfurt, 2001. S. 194—223.*

* Окружающие среды (*фр.*).

поскольку предполагается их экстернализация: мощный остаток доэкологического, окрашенного марксистским гуманизмом мышления, ориентированного на эксплуатацию природы. Существование здесь обладает смыслом бытия-в-инсталляции, то есть при отсутствии зала с твердыми стенами и потребности в родине, в состоянии непрерывной, непредсказуемой, случайной подвижности.

Это дрейфующее поведение (*dérive**), проистекающее как из доверия к следующему шагу, так и из презрения к грандиозным планам (враждебность ситуационистов по отношению к картезианцу Ле Корбюзье совершенно естественна), предвосхищает элементы теории хаоса. Но если принципом роста этого сверхгорода является формирование ризообразных цепочек, то его отношение к серийному строительству, к использованию модулей и к стандартизации остается невыясненным — как и вообще связь между воспроизведением, мимесисом и инновацией; здесь на нашем пути встает миф о перманентной креативности. Тем очевиднее становится факт, что базовой единицей крупной городской формы должна быть не комната и не апартаменты, а *gwasi*-молекулярное единство, которое Констант называл сектором.

Следует признать значительные аналитические качества мономанически-конструктивистских моделей Константа, ибо они, несмотря на свой футуристический жаргон, должны быть прочитаны скорее как описание *status quo*, чем как проект будущего. Их сила состоит в том, что они описывают способ существования урбанизированного общества исключительно с точки зрения его ацефальности, асинодики и мобильности. Вследствие этого они в большей мере способны соответствовать мультифокальной конституции и полиатмосферной настроенности современного города, чем любая существовавшая до сих пор теория. Комментарии Константа подчеркивают эволюционный и текучий характер гипер-

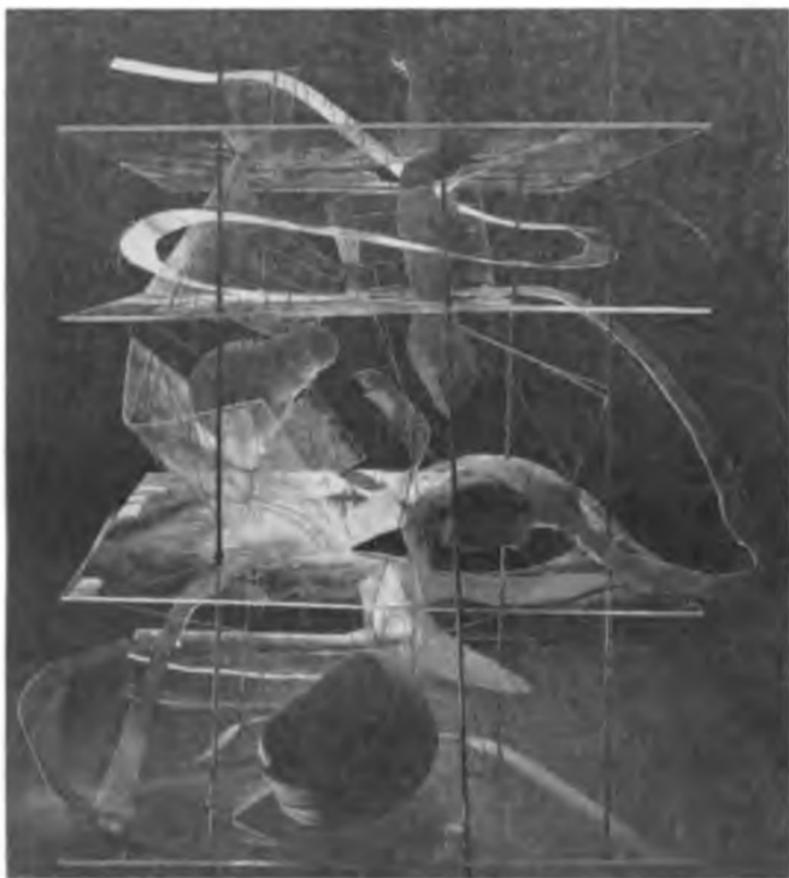
* Отклонение (*фр.*).

города, рядом с которым реальные города выглядят гигантскими тормозными механизмами, а их компоненты с полным правом именуется недвижимостью. Слабость концепции заключается в том, что в ней, несмотря на ее акцент на множественности, отсутствует действительное понимание города как метаколлектора, вследствие чего в ней игнорируется собирательная функция городского пространства, связь мест собрания и кооперация с местами сепарации и иммунизации (буквально: неучастие в *munera*, или делах коллектива). Насколько мы можем судить, в *New Babylon* нет указания ни на коллекторы мае-совой культуры, ни на традиционный мир труда — тем очевиднее становится односторонняя экспансия того типа пространства, который прежде был известен лишь по музеям и художественным средам. Так сказать, планетарная *documenta*, мобильная и долговременная.

Несмотря на все эти слабости, *New Babylon* обладает дескриптивной способностью в отношении тех *life-style*-обстоятельств, которые начиная с 70-х годов стали доминирующими в благополучных регионах Земли: он предвосхищает мир без прочных связей и населяет его внутренние пространства людьми, для которых прогрессирующее ослабление *liens sociaux** и переориентация экзистенциальных стандартов дефицитной экономики на эксперименты с избыточными ресурсами стали свершившимся фактом. То, что в 50-е и 60-е годы XX века было леворадикальной романтикой «интенсивной жизни»,⁵⁵⁶ с развитием $\mathbb{C}/e-v^e$ -цивилизации стало нормой для многочисленных обывателей Первого мира. Пытаясь до конца осмыслить сходство между городом и миром, *New Baby-*

556 Guy Debord, 1957: «Всеобщей целью должно быть, с одной стороны, расширение нетривиальной части жизни, а с другой — максимальное сокращение пустых мгновений. Таким образом, наше влияние на поведение можно рассматривать как предприятие по количественному увеличению человеческой жизни, к которому следует относиться более серьезно, чем к исследуемым в настоящее время биологическим проче-сам» (цит. по: Situationistische Internationale 1957—1972. S. 75).

* Социальные связи (*фр.*).



Геральд Цугманн. ZAK — Zukunftsakademie Coop Himmelb(l)au. C-Print (цветная печать).

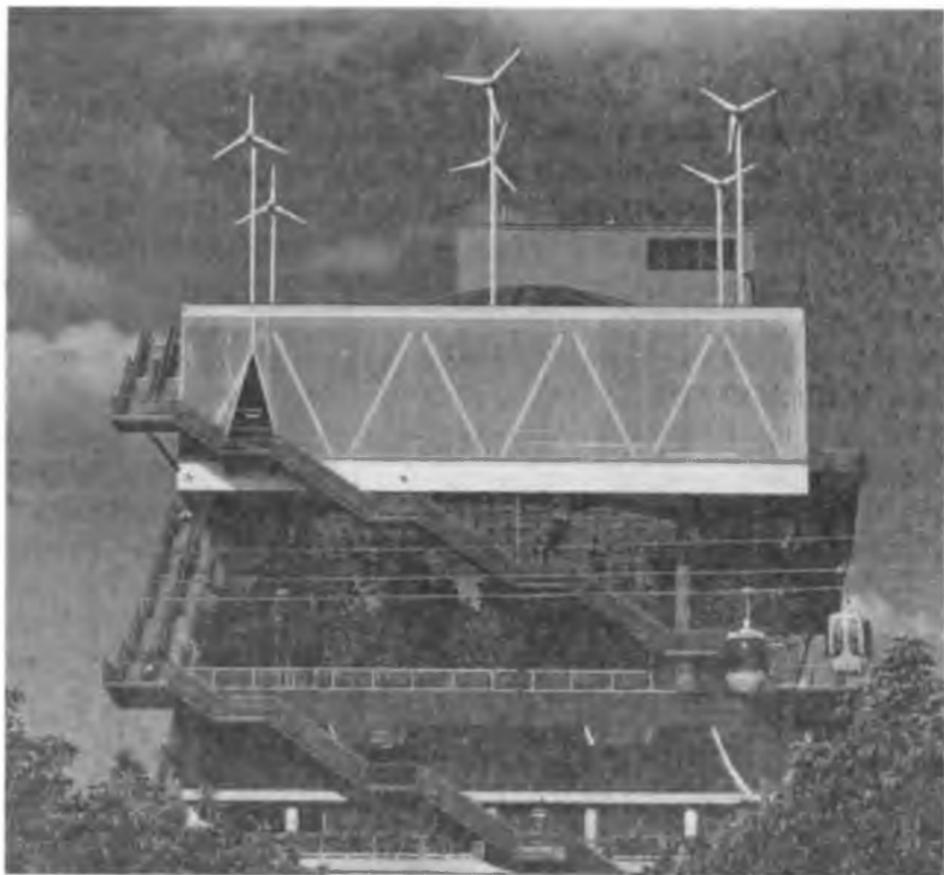
Ион достиг максимального на тот момент сближения трех инсулярных типов реальности: космической станции, теплицы и человеческой сферы;⁵⁷⁷ мы убедимся в этом, сравнив индивидуалистический авангардизм нововавилонской, буржуазно-богемной популяции художников с почти трайбалистскими концепциями первых команд «Биосферы-2». Земля в проекте Константа является не более чем подставкой для мультикультурной (на самом деле моноцивилиза-

577: Подробнее об этой триаде см. выше Главу 1, с. 309—497.

ционной, основывающейся на западном богатстве выразительных средств) космической станции. От старой природы в нем сохранится столько, сколько можно вместить в объемную теплицу. Естественно, и в осуществленном *New Babylon* присутствовали бы животные и растения, но лишь как соседи по интегральному интерьеру, а не как автономная биосфера или внешний зеленый мир.

Реликты импульса Константа можно обнаружить в голландском павильоне на Expo-2000 в Ганновере: в многоэтажном, прозрачном, более того, лишенном фасада здании, подобно жильцам в своих апартаментах, на шести уровнях площадью тысяча квадратных метров каждый, один над другим располагается серия биотопов — конкретно^ воплощение девиза нидерландского участия во Всемирной выставке: «Голландия создает пространство». Как гибридная форма ботанического сада и большого жилого дома это остроумно причудливое здание, своего рода высотная оранжерея, предлагает нам современный комментарий к расширенному пониманию обитания в жилище как размещения биотопического многообразия в условиях высокой городской плотности* Возможно, из этой инсталляции надлежит вывести тезис, что разговоры о «мультикультурном обществе» остаются беспредметными, пока отсутствует осознание того, что матрицу многообразия следует искать в разнообразии биотопов. Эта полибиотопика находит свое воплощение в произведениях передовой архитектуры. Из них следует, что в будущем «природы», или биомы, будут находиться не столько «снаружи», сколько в больших теплицах цивилизации, осознавшей свои задачи в качестве гостеприимной хозяйки биотопических комплексов.

В XX столетии тенденция к включению «природ», или биотопов, в городские конструкции повсеместно выходит за пределы традиционных форм «городского парка» или теплицы. Мотив инкапсуляции распространяется настолько широко, что речь заходит об интеграции все большего количества прежде внешних ландшафтных и

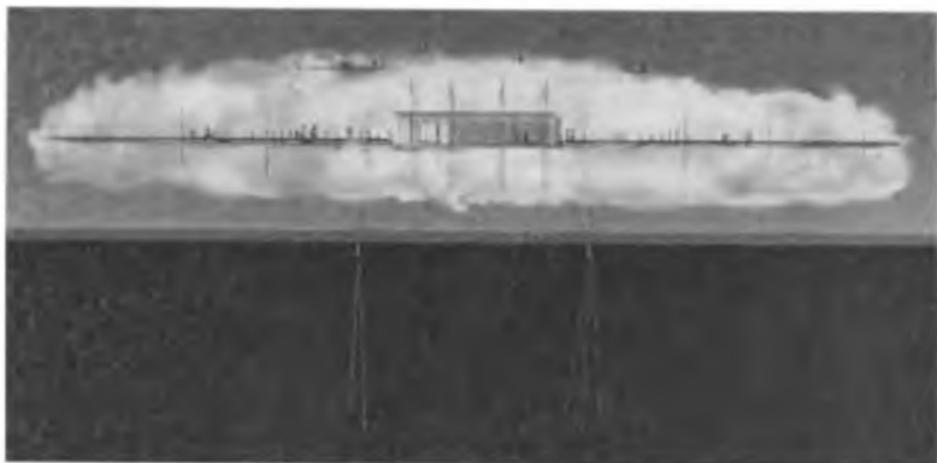


Павильон Нидерландов на выставке Экспо в Ганновере. 2000 г.

городских комплексов.⁵⁵⁸ Современный город (и городской ландшафт) во все большей мере превращается в оперативное единство вышеописанной триады космической станции, теплицы и человеческого острова. На городском полюсе этой тенденции обнаруживаются расширенные интерьеры, такие как инсталлированное в 90-е годы Йоном Йерде *Ceiling Show* * * на Фримонт-стрит в Лас-Ве-

⁵⁵⁸ Lleven de Caeter. *The Capsular City // The Hieroglyphics of Space* / Ed. Neil Leach. London; New York, 2002. P. 271—280.

* Крытое шоу (англ.).



Элизабет Диллер, Рикардо Скофидно. *Blur Building (Здание-пятно)*. 2002 г.

гасе, превращающее всю уличную магистраль в мир ночных огней и звуков, поражающий проезжающую шои'*-публику; на противоположном полюсе мы сталкиваемся с гибридными ландшафтами в закрытых помещениях, воплощенных в некоторых известных крытых лыжных стадионах или залах с полями для гольфа в Японии и других местах. Не следует видеть в таких примерах только курьезы. В обоих случаях современная архитектура выходит за пределы как староевропейской идеи зала для собрания людей, так и утопии крупномасштабного интерьера (типа пассажей Беньямина) и классических коллекторных форм. Новые среды переживания не просто пародируют старые концепции города и природного ландшафта; они, кажется, издеваются и над такими современными понятиями, как «жизненный мир» и «защита природы», пространственная слепота которых отныне становится очевидной.

Этим макроинтерьерам пока что присущ определенный игровой характер, мешающий заметить, что в таких конструктах могла бы осуществляться подготовка к кли-

* Вот это да! (англ.).



Макс Пайнтнер. *Неослабевающая привлекательность природы.* 1970—1971 гг.

матическому чрезвычайному положению. Не случится ли в обозримом будущем так, что и для Европы окажется верным утверждение одного фривольного комментатора, сделанное в конце 90-х годов XX века: дыхание слишком важное дело, чтобы и дальше заниматься им под открытым небом? Не должны ли граждане богатых наций грядущих столетий всерьез готовиться к прощанию с общедоступностью атмосферных ресурсов? Уже сегодня мы легко могли бы представить себе сделанный, скажем, в 2102 году комментарий сотрудника европейского Министерства воздушной и космической атмосферы по поводу к тому времени уже ставшей легендарной работы нью-йоркских архитекторов Лиз Диллер и Рикардо Скофидио, озаглавленной ими *Blur Building** — атмоар-

* Здание-пятно (англ.).

хитектурном сооружении в Ивердон-ле-Бен на берегу Женевского озера, которое стало символом швейцарской Экспо-2002 и было прозвано в народе «облаком»,⁵⁵⁹ ибо оно, используя высокотехнологичные средства, приглашало посетителей на прогулку по длинному мостику, ведущему сквозь искусственный объемный пластик из распыленной озерной воды. Хотя некоторые критики видели в здании из водяной пыли, лишенном твердых очертаний и демонстрировавшем при смене погоды самые различные цвета и настроения, всего лишь забаву и ругали его создателей за расточительность, оно тем не менее понравилось большинству гостей, разглядевших в нем остроумное приспособление для обучения азам искусства хождения по облакам (в водонепроницаемых плащах, разумеется). Отдельные гости могли бы понять и то, что они стали свидетелями изящной и технически продуманной попытки создания макроатмосферной инсталляции — или, поскольку такие инсталляции, как доступные для прогулки облака, вообще не могут быть восприняты в модусе созерцания со стороны, лучше сказать, что их пригласили погрузиться в климатическую скульптуру.

Популярность объекта позволяет нам сделать вывод, что он открыл своим посетителям интуитивное знание о будущих проблемах *Air Design* и климатической техники. От сотрудника вышеназванного министерства мы с удовольствием бы услышали, предзнаменованием какой пространственной и климатической истории стал проведенный столетием ранее ивердонский эксперимент.

559 Elisabeth Diller, Ricardo Scofidio. *Blur: The Making of Nothing* New York, 2002.

ГЛАВА 3

ПОДЪЕМ И КОМФОРТ

К критике чистого каприза

Мне повезло: в течение своей жизни я видел, как меняется *conditio humana*.

Мишель Серре. Гоминисценция

Некогда бедность... была фактором, определяющим все; сегодня очевидно, что она более таковой не является... Проблемы общества, живущего в изобилии и не понимающего самого себя, могут быть весьма серьезными; они даже могут угрожать его богатству. Но они, пожалуй, никогда не будут столь же серьезными, как проблемы бедного мира, в котором простые императивы нужды хотя и исключают роскошь недоразумений, но, к сожалению, не позволяют и найти какие бы то ни было решения.

*Джон Кеннет Гэлбрайт. Общество изобилия*⁵⁶⁰

1. ПО ТУ СТОРОНУ НУЖДЫ

Консерватизм можно определить как политическую форму меланхолии. Для консервативного синдрома, оформившегося в Европе после 1789 года, определяющим оставалось обстоятельство, что он возник из ретроспективного взгляда на безвозвратно потерянные блага, жиз-

⁵⁶⁰

John Kenneth Galbraith. Gesellschaft im Überfluß. München; Zürich, 1959. S. 12, 16.

ненные формы и искусства добуржуазных времен. К его предпосылкам следовало бы причислить уверенность в том, что он никогда не станет господствующей точкой зрения. Свои элегические тона он обрел благодаря подчеркнутому обыкновению видеть в человеческой природе темные константы. Консервативен тот, кто не прекращает верить, что благое и возвышенное связаны с определенными местами и являются уникальными, тогда как для вульгарного достаточны принцип большинства и механическое повторение. Такой взгляд присущ тем, кто уверен, что от истории, одержимой страстью к новому, ждать более нечего. Этот способ восприятия будет культивировать тот, кто ни в коем случае не желает, чтобы его спутали с потребителями грядущих времен. Когда в оптимистически настроенном *mainstream** * говорят о постоянном улучшении жизненных условий, консерватор хмурится. Предполагать в будущем лучшее — не означает ли это поиск в неправильном направлении? Колеблясь между отрешенностью и отвращением, он наблюдает за действиями спешащих к прогрессу и ждет, что энтропия сделает свое дело. Прогресс, убежден он, всегда представляет собой только ускорение бегства от блага, которое, оставаясь недостижимым, находится позади нас. Еще Токвиль описал тип доброжелательно-опасливого ненавистника собственной эпохи, для которого дурное неразрывно связано с приходом нового.⁵⁶¹

Тот, кто, как консерватор, хотел подняться на уровень принципов, должен был идти вплоть до антропологических обобщений; ему следовало научиться ассоциировать идею «человечества» с эпитетом «неисправимое». Если бы мы посвятили себя такого рода практике, то увидели бы, что во все времена люди совершали свой земной путь со всегда одинаковым по своей длине эскортом

⁵⁶¹ Alexis de Tocqueville. *Über die Demokratie in Amerika*. Erster Teil von 1835. Zürich, 1987. S. 21.

* Основное направление (англ.).

из недугов, тягот и пороков. Тогда мы уже не могли бы говорить о «возвращении трагического», ведь мы неизбежно вплетены в него, словно в паутину из первой и второй Природы. Когда современные люди говорят об убеждении, что они наблюдают оптимизацию своего иммунного статуса и своих жизненных искусств, образованный консерватор выражает недоумение. Равнодушный к саморекламе новых времен, он не намерен делать уступок оптимизму. Свершающаяся история, пожалуй, действительно может сделать шаг вперед, но прогресс — невозможен. Большой театр мира — это вечный праздник теплой смерти; тот, кто задерживает ее, оказывается истинным хранителем.

Неудивительно, что аутентично консервативное мировосприятие пережило свои лучшие дни в первой половине XIX столетия, в ту «комплексную эпоху сохранения»,⁵⁶² которую историки по праву называли эрой реставрации. Это были внешне спокойные, филистерские десятилетия, когда защитники прошлого как будто бы в последний раз имели возможность предаваться иллюзии, что у них есть шанс спастись от разлагающей силы прогресса. Ни в какую другую эпоху для столь многих не было столь естественным смотреть на прошлое с сожалением, а на будущее — без веры в улучшение. «Исходи из своих запасов, а не из своих лозунгов» — гласит девиз консервативного скепсиса. Для тех, кто знаком с ситуацией, истина о ней могла быть высказана лишь меланхолически: тот, кто не жил до возникновения социального вопроса, ничего не знает о сладости жизни.

Там, где консерватизм приобретал ученые манеры, он создавал «печальную науку» о человеке и экономических условиях его существования, которая с начала XIX века становится генерал-басом для всех модернизационных дискурсов. Печальна та наука, которая основа-

562 Выражение Альфреда Вебера: *Alfred Weber. Kulturgeschichte als Kultursoziologie. München, 1960. S. 415.*

тельно исследует материальные условия человеческого угнетения. Выражение *dismal sciense** * впервые применил в 1849 году Томас Карлейль, чтобы дать определение иди, точнее, характеристику новой дисциплине политэкономии как она была представлена «высокоцитимыми профессорами» Рикардо и Мальтусом.⁵⁶³ Выражение подкупало, пока еще не слишком популярная теория «богатства наций» одновременно представлялась наукой о неискоренимых причинах сохраняющегося в любых будущих обстоятельствах незавидного экономического положения широких «масс». В правиле Рикардо, позднее названном железным законом заработной платы, эти причины нашли свою классическую формулировку: «естественная цена труда», сверх которой, как казалось, невозможна никакая доплата, есть та «необходимая цена», которая позволяет рабочим как сохранить свой класс, так и размножаться «без прироста и без убыли». Согласно этой точке зрения, хозяйствующее либерально-капиталистическим образом «общество» навсегда должно остаться расколотым на немногих счастливых — *landlords*,** землевладельцев и фабрикантов, получающих прибыль от создающих богатство механизмов неравного обмена на мнимых свободных рынках, и подавляющее большинство несчастных — завязших в пролетарском или аграрно-лауперитическом состоянии без сколь бы то ни было реальной надежды на изменение своего положения. Как «печальная наука» политэкономия является школой просвещенной жестокости, поскольку воспитывает своих адептов в духе безропотного смирения перед мнимой неотвратимостью массовой бедности. Согласно определению либе-

563 Эти слова находятся в пресловутом «Occasional Discourse on the Negro Question» (см.: *Frazers Magazine*, 1849); из-за того, что Карлейль выступил за сохранение рабства, высказанные им мысли сделали его противником как либералов, так и христианских аболиционистов и стоило ему дружбы Джона Стюарта Милля.

* Врачная наука (англ.).

** Помещики (англ.).

ральной теории XIX века, бедные — это те, кому невозможно помочь даже при самом горячем желании.⁵⁶⁴

Заметим, что амбивалентный консерватор Адорно, через столетие после Карлейля по-новому использовавший выражение «печальная наука» (полагая, что оригинально перефразирует название ницшевской «Веселой науки»), держался точки зрения, что ее мрачность-намного превосходит мрачность фактов индустриального пауперизма. Для философа было важно понять необходимую связь, которая не только погружает многих несчастных в продиктованные нуждой заблуждения, но и в корне отравляет существование актуально и потенциально счастливых.⁵⁶⁵ По убеждению автора, даже самые удачливые не в силах избежать искажения мира абстракцией обмена; в нем все «забито подобием». Сама жизнь страдает от подчинения всех без исключения вещей ценовому выражению. Рассмотренная под этим углом зрения ранняя франкфуртская теория, несмотря на ее утопические аспекты, представляет собой завершающую форму просвещенного консерватизма — ее можно было бы назвать и пессимизмом избежавших худшего. В ней основное событие XX столетия, ликвидация массовой бедности в странах первого мира, еще не нашло своего отклика. Она была пронизана убеждением, что экономическое богатство никогда не будет достаточным для ликвидации комплекса бедности, от которого род человеческий страдает начиная с возникновения архаических государств с их жесткими аристократическими или жреческими режимами. Она последовательно утверждала, что любое обога-

⁵⁶⁴ Или те, кому можно было бы помочь лишь в рамках христианского *caritas* [милосердия] или буржуазной филантропии; см.: *Bronislaw Geremek. Geschichte der Armut. Elend und Barmherzigkeit in Europa. Frankfurt; Wien, 1988.*

⁵⁶⁵ *Th. W. Adorno. Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschlädigten Leben. Frankfurt, 1951. S. 7:* «Печальная наука, о которой я говорил своему другу, принадлежит той области, которая с незапамятных времен считалась подлинной сферой философии... учению о правильной жизни».

шение масс может вести лишь к нищете в новых одеждах, подобно тому как просвещение в условиях капитализма всегда означает лишь смену формы обмана. Если в ранней критической теории присутствовала идея, которую, несмотря на эти заурядные преувеличения, можно назвать критичной, то ее следует искать в предположении (как бы слабо оно ни было обосновано), что за эмпирически депрессивными явлениями *homo rauper** скрывается расположенная на противоположном полюсе «природа». На это обстоятельство указывала принадлежащая Адорно формула об «остатке природы в человеке». Если иногда кажется, что его мрачная картина мира окружена золотой рамой, то потому, что в редкие моменты автор позволяет прорваться мысли: в счастливом опыте изнеженного детства присутствуют достойные обобщения или даже практически доступные обобщению моральные предпосылки. В дальнейшем мы обратимся к вопросу о возможности придания этому стыдливо романтическому убеждению наступательной формы. Ответ будет утвердительным. Путь к нему ведет через аффирмативную формулировку понятия комфорта. Чтобы прийти к ней, необходимо заменить антропологию, которая, возможно, несколько поспешно была названа философской, теорией конститутивной роскоши.

В течение нескольких лет после коллапса социализма на рубеже 80—90-х годов XX века для журналистов и комментаторов современной истории из восточноевропейских государств стало чем-то само собой разумеющимся, оглядываясь на прошедшее «короткое» XX столетие, использовать своевременно пущенное в ход Эриком Хобсбаумом выражение «эпоха крайностей». Цитируя его, мы *implicite* становимся на ту точку зрения, что главным содержанием этой эпохи была борьба тоталитарных идеологий этнически-националистическо-

* Человек нищий (лат.).

го и социалистически-интернационалистического типа и успешные оборонительные бои демократического капитализма с этими столь различными кровожадными близнецами. Поэтому основной процесс столетия, казалось, совпадал по протяженности со временем проведения советского эксперимента, а его мощный ход должен был завершиться одновременно с затуханием этого делирия⁵⁶⁶ (ввиду вновь вспыхнувшей конфронтации между капиталистическим миром благосостояния и сетями упрощающей ненависти мы знаем, что такое предположение было весьма поспешным). Тем не менее выражение *age of extremes** не может быть более убедительным, чем это подобает до предела радикализованному тезису. Для историков, направивших свое внимание не только на водопады событий и экзальтированные дискурсы XX века, но и на волны как материальной, так и символической культуры Запада, сегодня важнее наблюдение, что, несмотря как на ее бойни, так и на ее эксцессивные риторические системы, *age of extremes*, в том, что касается ее главнейших результатов, в первую очередь была эпохой непрерывных процессов.

Это, несмотря на радикальные рецессии, относится прежде всего к аккумуляции и распространению инструментов облегчения жизни в Первом мире. Мощное течение — как правило, при постоянном давлении умеренных левых — благодаря включению «масс» было направлено по своему все еще актуальному пути; в исторической перспективе — редкий случай. Тренд в сторону облегчения участи бедных и их причастности к прежним приви-

566 *Eric Hobsbawm. Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914—1991. London, 1994; нем. изд.: München; Wien, 1995.* Нельзя не сказать, что успех формулы «эпоха крайностей» обеспечен прежде всего ее нейтралистской тенденцией; она привлекательна в силу своей полезности для автоамнистии левых, которые после того, как для крайне правых был устроен оправданно жесткий процесс, простили себе свои собственные эксцессы безо всякого процесса, — именем «экстремальной эпохи».

* Эпоха крайностей (англ.).

легиям богатых основывается на семи эффективных континуумах модернизации: непрерывных научных исследований; неутомимом техническом изобретательстве; растущей привлекательности предпринимательской жизненной формы; постоянной экспансии здравоохранения на базе государства всеобщего благосостояния; включении все более широких слоев покупателей в процесс экономического и культурного потребления; консолидации профессионального и юридического иммунитета индивидов, в частности работающих женщин, посредством тщательно разработанного трудового законодательства; и наконец, построении широкомасштабной, даже вездусущей, системы страхования.⁵⁶⁷ Последствия этих реформ средних жизненных условий в течение нескольких десятилетий накапливались в модернизированных странах и наряду со стремительным изменением семейных и ментальных структур вызвали скачкообразное увеличение предполагаемой продолжительности жизни при одновременном резком снижении рождаемости;⁵⁶⁸ но прежде всего они привели к исторически беспрецедентному увеличению свободного времени в темпоральном бюджете индивидов.

Синергия прогрессивных факторов породила ситуацию, в которой индивидам предлагается воспринимать себя всерьез совершенно непривычным образом. В секулярном индивидуализме, составляющем внутреннюю от-

⁵⁶⁷ Дэниэл Белл на жаргоне теоретиков дисконтинуальности называет это «революцией растущих правовых притязаний», являющейся составной частью «революции растущих ожиданий»; см.: *Daniel Bell. Die Zukunft der westlichen Welt. Kultur und Technologie im Widerstreit.* Frankfurt, 1979. S. 271 f.

⁵⁶⁸ За последние сто лет средняя продолжительность жизни выросла у мужчин с 44.1 до 75.1 лет, а у женщин — с 47.6 до 80 лет. О социальных импликациях резкого падения рождаемости см.: *Francis Fukuyama. Der große Aufbruch. Wie unsere Gesellschaft eine neue Ordnung erfindet.* München, 2002. S. 128—157; связь между падающей рождаемостью, грамотностью и демократизацией освещает Эммануэль Тодд в: *Après l'Empire. Essai sur la décomposition du système américain.* Paris, 2001; нем. изд.: *Weltmacht Amerika. Ein Nachruf.* München, 2003.

делку почти вездесущего благосостояния, каждый мужчина (или каждая женщина), пока ему (или ей) удастся избежать депрессии, обречен(а) на то, чтобы считать, что он (или она) важен (важна), — а быть важным означает иметь возможность считать себя своей собственной целью, даже если не существует Бога, интересующегося индивидами сегодня и *post mortem*. Социальное поле лопается, чтобы возникли десятки тысяч арен для проявления индивидуальных амбиций. Воспринимать себя важным... У большинства людей это приводит к решению развлекаться, одному или с другими. С превращением развлечения в жизненный мотив, затрагивающий все слои населения, разрушается тот биополитически-психополитический феномен, который ранее именовался пролетариатом, — погрязший в нищете рабочий класс, для которого единственным горизонтом будущего было рождение потомков, *proles*. Обожествленный угнетаемый индустриальный рабочий класс уходит со сцены — тот воображаемый центральный субъект XIX столетия, о котором революционные неудачники последних постоянно радикализировавшихся влево двухсот лет утверждали худшее и от которого ждали лучшего.

Тот, кто все еще может быть излишне впечатлен воинственным жаргоном и романтикой дисконтинуальности, не поймет, что главное событие XX века может быть истолковано лишь с точки зрения принципа непрерывности: в диахронической перспективе решающее содержание этой эпохи составляет прощание современного «общества» с дефинициями действительности эпохи материальной бедности и ее духовных компенсаций, — дефинициями, которые, как было замечено выше, использовались еще в ранних либеральных политэкономических теориях, пока наконец в течение XX столетия, особенно начиная с 50-х годов, они не начали утрачивать свое влияние на менталитет населения стран первого мира.

В этом контексте новейшие стереотипы, такие как «общество потребления», «общество переживания», *fun*

*society** и тому подобные, приобретают эпохально-диагностическое значение: понятийно беспомощные, но не беспредметные, эти выражения указывают на то экстраординарное обстоятельство, что, несмотря на все усилия мизерабилистического интернационала, климат реальности современного западного «общества» — по всей видимости, впервые в нашей истории, насколько мы можем ее помнить, — уже не определяется преимущественно темами бедности и психосемантикой нужды со всеми их религиозными и метафизическими надстройками. Что бы ни твердил альянс современных адвокатов дефицита, *conditio-humana*-психологов, травмоэкспрессионистов, *vani-fas*-аскетов и академических посетителей страны продолжающейся бедности,⁵⁶⁹ оспаривая сам факт изобилия, но у нас нет достаточных оснований отрицать, что почти все без исключения раздражения современного «общества» порождаются его богатством.

Джон Кеннет Гэлбrait еще в конце 50-х годов, веке после первой кристаллизации этого феномена в Соединенных Штатах и Западной Европе, проницательно заметил, что серьезнейшая проблема «общества изобилия» состоит в том, что ему как понятийно, так и психически трудно справиться со своей собственной новизной, со своей эмансипацией от примата нужды, не говоря уже о политическом истолковании богатства.⁵⁷⁰ Поэтому мало констатировать, что *affluent society*** пока не понимает самого себя; необходимо быть готовым к тому, что оно производит полностью искаженные представления о своем необычном состоянии, более того, что его дежур-

⁵⁶⁹ См. амбивалентный главный манифест неомизерабилизма: *Pierre Bourdieu. Das Elend der Welt: Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen Leidens an der Gesellschaft. Konstanz, 1998*: об истоках средневекового христианского мизерабилизма см.: Lotario de Segni (Papst Innozenz III): *Vom Elend des menschlichen Dasein (De miseria conditionis humanae)* / Hrsg. von Carl-Friedrich Geyer. Hildesheim; Zürich; New York, 1990.

⁵⁷⁰ См.: *Gesellschaft im Überfluß.*

* Общество развлечения (англ.).

** Общество изобилия (англ.).

ные интерпретаторы отвергают все попытки артикулировать его актуальный статус в нейтральных и дескриптивных выражениях как какую-то ужасную наглость. Тот, кто желает рассказать богатому «обществу» о его богатстве — и его моральных импликациях, может быть, лишь бестактным позитивистом, у которого не хватает чуткости для понимания напряжений, сопутствующих благосостоянию. Сколь бы виртуозно ни научилось «общество изобилия» обращаться со своим быстро ставшим привычным богатством (в этом контексте *prima facie** скандально расточительные государственные траты можно рассматривать как участие государства в торжестве изобилия), в своих отрепетированных самопрезентациях оно продолжает держаться за категории универсума нужды. Не убежденное самим собой «общество изобилия» для наблюдения за собой использует оптику, настроенную исключительно на дефицит. Регистрируется любое отклонение от нормы: тот, кто отважится на описания, отличающиеся от обычных политически и гуманистически корректных кризисных балансов, навлечет на себя подозрение в цинизме; тот, кто не признает факта столкновений на многочисленных внутренних фронтах с вопиющими лишениями, будет моментально разоблачен как агент социальной деструкции. Говорить о широко распространенном, но чрезвычайно неравномерно распределенном богатстве первого мира в позитивных терминах: не означает ли это прямого призыва не замечать трагедии у врат роскоши? Не значит ли это закрыть глаза на остатки нищеты, упорно сохраняющиеся внутри зоны благосостояния? В самом благоприятном случае интерпретатору, впечатленному фактами изобилия, следует поставить диагноз наивного человека, соблазненного поверхностными картинками.

Но как быть, если важнейшее вытеснение нашего времени действительно связано с нашим собственным благосостоянием? Если отрицание успеха в деле достиже-

* На первый взгляд (лат.).

ния комфорта стало лейтмотивом всех публичных дискурсов в мире изобилия? Если производственный секрет современного «общества» состоит в перманентной актуализации фантазий на тему дефицита для «широкого среднего класса»? Это не означает, что современная цивилизация способна защитить всех своих членов от несчастных случаев, болезней, неудач, бедности и испытаний, — такой взгляд на отношения между доходами и судьбой был бы чересчур инфантилен. Однако драмы наших дней, как правило, разворачиваются в соответствии со сценариями, уже не восходящими к старой пьесе «Страдания в обществе» ни в той ее версии, которая посвящена теории эксплуатации, ни в той, сюжетом которой является теория отчуждения.

Тем не менее в разбогатевшем мире остается неодолимой инерция социологического пессимизма и его более ранних предшественников, — пессимизма, дефиниции реальности которого, как и в прежние времена, выкованы в борьбе за существование большинства бесперспективно бедных семейных хозяйств. В этой ситуации за последние пятьдесят лет., если не считать значительный материальный перелом, изменилось немного — разве что выкристаллизовались корпоративные навыки управления мнимым дефицитом. В союзах, странах и общинах не занять высокого положения, не превратив практику профессиональных жалоб в свою вторую натуру. При этом вполне обеспеченные люди могут ловить рыбу глубоко в «традиции угнетенных». Что бы ни говорилось в публичном пространстве, ложь о нужде редактирует текст. Все ставшие достоянием публичности речи подчинены закону обратного перевода пришедшей к власти роскоши на жаргон нужды.

Однако, несмотря на этот конкордат комфортабельного «общества» с издавна почитаемой нищетой, накапливаются признаки, свидетельствующие, что процесс производства изобилия исподволь проник в капиллярные структуры социального ансамбля. Согласно новейшим

данным, начиная с 80-х годов немногим менее 10 % населения Федеративной Республики Германия зачисляется в категорию относительно бедных, тогда как большинство оценивается как в широком смысле слова состоятельные, пусть даже в соответствии с правилами игры «рейнского капитализма» это выражение, как правило, используется для характеристики скорее довольно скромного благосостояния.⁵⁷¹ Если бы обострение конкуренции на мировых рынках не способствовало увеличению более бедного сегмента общества до 20 % (значение, которое в склонных к дискриминации США очевидным образом превышено), то в знаменателе дроби мы и впредь имели бы дело с пространством благосостояния исторически беспрецедентного объема.⁵⁷²

Что касается субъективных оценок, то у значительного большинства они, само собой разумеется, драматически расходятся с этими классификациями и квантификациями. Ножицы между статистическим благосостоянием и ощущаемым дискомфортом широки как никогда даже там, где данные не были искажены никакими леворадикальными фильтрами. На всем Западе,

⁵⁷¹ Доклад федерального правительства о бедности и богатстве за 2001 год, прилагаемая таблица 1.13. В группе 25—54-летних бедные составляют 9.6 %, в группе 7—13-летних — 15.3 % (!). См. также: *Reiner Geißler. Die Sozialstruktur Deutschlands*. Opladen, 1992. В Австрии в 2002 году сбережения на семью составляли в среднем около 85 000 евро. U.S. Bureau of Census [Бюро переписи США] сообщает, что начиная с 196-7 года доля бедных в Соединенных Штатах никогда не превышала 15 %. Политэкономическое понятие бедности в стране всеобщего благосостояния обозначает положение лиц, доход которых составляет 50 % и менее от среднедушевого дохода. Штефан Ляйбфрид, Лутц Ляйзеринг и др. (*Stephan Leibfried, Lutz Leisering etc. Zeit der Armut*. Frankfurt, 1995) рассматривают бедность в Федеративной Республике как временный аспект биографии трудящегося: «Мы живем не в обществе двух третей, а в обществе 70—20—10, состоящего из 70 % никогда-не-бедных, 20 % бедных от случая к случаю и 10% часто бедных. "Лишь" 1.3 % населения в течение периода исследования (1984—1992 годы) было полностью бедным» (S. 306).

⁵⁷² Языковой след мышления в дробях дает о себе знать в таких выражениях, как общество четырех пятых, общество трех четвертей, общество двух третей и т. д.

особенно в Центральной и Западной Европе, в конце XX века наблюдается своего рода амальгама из частного насыщения и общественной иеремиады, отражающая депрессивно-эксплозивную псевдоудовлетворенность при нередко весьма прочной оборонительной жизненной ориентации. Этот синдром симуляции нужды и имитации дефицита, юмористически идентифицируемый как «стенания на высоком уровне» (его можно было бы назвать и бельканто-мизерабилизмом, обладай протагонисты голосами получше), в будущих историко-культурных описаниях, несомненно, будет отмечаться как важнейшая характеристика современной культуры, подобно тому как Симон Шама в своем выдающемся труде о Нидерландах XVII столетия некогда уже говорил об эре *Embarrassment of Riches*.^{513*} Тогда в буржуазном мире впервые проявился оксюморон богато-бедного, пышно-смирного жизненного стиля, который с тех пор — при самых различных конъюнктурах — непрерывно погружает совесть состоятельных людей в переменные ванны комфорта и дискомфорта от собственного благополучия. При взгляде на эти феномены хочется придать современному понятию удовлетворенности более радикальное, активизирующее или, точнее, садистическое значение — то, которое было предложено Гэлбрайтом в его позднем исследовании причин сопровождающейся стенаниями сытости западных «обществ»: удовлетворенность (*contentment*) есть «высоко мотивированное сопротивление изменению и реформе».^{573 574}

573 Нем. изд.: *Simon Schama. Überfluß und schöner Schein. Zur Kultur der Niederlande im Goldenen Zeitalter. München, 1988.*

574 *John K. Galbraith. The Culture of Contentment. London, 1992. P. 12*; нечто подобное имел в виду Антонио Грамши, формулируя понятие «исторического блока»; последний определялся как синдром, состоящий из воинственной охраны имущества и агрессивного, антиполитического игнорирования так называемых всеобщих интересов. В постполитическом «обществе» из суммы партикуляризованных рождается удовлетворенная затаенная злоба большинства в *status quo*.

* Смущение богатых (англ.).

Сколь бы распространенной ни была сегодня привычка лицемерно приbedняться, ее все-таки нельзя назвать тоталитарной. Пока еще существуют гнезда сопротивления, в которых состоятельные люди открыто говорят о своем богатстве. Некоторые из них, кажется, даже готовы выводить из него моральные и атмосферные следствия: тот, кто не отрицает своего благосостояния, скорее окажется способен осуществить переключение экзистенциальных симптомов с *ressentiment*'а разбогатевших на щедрую добродетель состоятельных. То, что Ницше называл свободным духом, естественно подразумевает богатый дух, и любое реальное богатство выявляется благодаря примату дара — экономически, морально, эротически, культурно.

Тот, кто испытывает теоретический интерес к богатству как к феномену и источнику этоса, обнаружит в этом поучительные аналогии: даже среди теоретически образованных людей мизерофилы составляют подавляющее большинство, тогда как друзья богатства выглядят исчезающим исключением. Однако, по мере того как в поле актуальных жизненных эмоций традиционная онтология чрезвычайного положения и дефицита оказывается фактически дискредитированной опытом «массового» благосостояния и его экзистенциально-климатическими следствиями, в открытой теоретизированной среде Запада и его партнеров во многих регионах мира формируется потребность в понятиях, которые были бы способны содействовать артикуляции сознания уменьшения тяжести мира.

Желающий достичь этого с помощью современной философии будет во всех отношениях разочарован. Если бы тезис об удивлении как истоке философии когда-либо имел твердое основание, то уникальная ситуация прощания с аксиомами «массовой» бедности должна была бы дать мощнейший стимул для рефлексии. Однако тот факт, что работа современной философии (в некоторых аспектах, за исключением ницшеанского крыла) почти не заметна ни в тематическом, ни тем более в стилистическом

отношении, пожалуй, доказывает, что дело удивления не имеет под собой твердой почвы — и, по всей видимости, уже очень давно.⁵⁷⁵ Разве что в далеко не новом сочинении Герберта Маркузе «Структура влечения и общество»⁵⁷⁶ (1955), представлявшем собой философское введение в учение Зигмунда Фрейда, имелись первые намеки на преобразование принципа реальности в направлении, как это описывалось на жаргоне эпохи, «нерепрессивной культуры». Фокус рассуждений Маркузе — снятие, казалось бы, вечного противоречия между принципом реальности и принципом удовольствия в «общественном» порядке, полностью свободном от подчинения влечению, более того, от всякого подчинения вообще. Конкретный анализ условий современного благосостояния в этом опусе практически отсутствует, хотя он появился почти одновременно с «The Affluent Society» Гэлбрайта. Лишь издалека социально-психологическая спекуляция Маркузе касается действительно эпохального события в психологическом поле: замену *homo pauper*, мотивационная ситуация которого

575 В другом месте мы попытались показать, что философия возникла скорее из жестов хвастовства знанием и вызванного конкуренцией форсирования поисков обоснования тех или иных утверждений, чем из удивления; см., например: Сферы. Т. II. С. 7—39, а также: Nicht getretet. Versuche nach Heidegger. Frankfurt, 2001. S. 255 f.

576 Вышедшей в свет на немецком языке под заглавием «Eros und Kultur» («Эрос и культура») в 1957 году; в 1958 году Ханна Арендт во вводных замечаниях к своей работе «Vita activa, или О деятельной жизни» (нем. изд.: *Hannah Arendt. Vita activa oder Vom tätigen Leben. München, 1981. S. 11—12*) на фоне зарождающейся автоматизации поставила следующий диагноз: «Нам предстоит перспектива общества труда, из которого уйдет труд, а следовательно, единственная деятельность, в которой оно еще разбирается. Что может быть более роковым?» Это радикально снобистское высказывание, описывающее человека труда как излишнего трагического невежду, остается в рамках консервативного синдрома, поскольку не достигает позитивного понимания изобилия, массовой покупательной способности, свободного времени и самостоятельно выбираемой жизненной практики. Вышедшая в свет в 1950 году работа Дэвида Рисмана и др. «Одинокая масса. Исследование изменений американского характера» (нем. изд.: *David Riesman etc. Das einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters. Hamburg, 1958. S. 293*) мимоходом предвосхищает эпохальную тему «дискомфорта среди новых освобожденных».

более или менее адекватно описывалась теориями влечения, разбогатевшим человеком, положение которого еле-дудет интерпретировать посредством теории appetitov, опций, капризов и потоков желания.⁵⁷⁷

Работы более поздних социологов также остались почти совершенно непродуктивными в отношении этого критического вопроса; можно предположить, что представители этой дисциплины не могли публично признать факт существования «общества изобилия», не заподозрив себя самих в том, что они аморальным образом занимаются излишней, праздно́й наукой. Поскольку избыточные социальные науки обречены симулировать социальную полезность, они говорят обо всем, кроме роскоши, за счет которой они существуют и слепое острие которой они воплощают — в том числе и именно в формах *sociologia militans*. * Поэтому с этой стороны пока что нереалистично ожидать удовлетворения потребности в истолковании условий изобилия. Точно так же не поможет и обращение к политическому знанию: правые не могут вникнуть в суть дела, поскольку они не проявляют к нему никакого интереса; левые не пожелали бы обрести понимание, даже если бы и были на это способны (излишне говорить, что обе стороны принадлежат к стенающему лагерю и поют различные тексты на одну и ту же мелодию, — жанр плача перекочевал из музыки в корпоративные самопрезентации, оставив свой след и в национальном юморе). Хотя в литературе, искусстве и экспериментах с жизненными формами XX столетия накопились многочисленные свидетельства великой левитации,**

577

В этом контексте можно еще раз отметить ту уничтожающую критику, которую Делёз и Гваттари обрушили на фамилиялистский психоанализ в своей работе «Анти-Эдип» (1972): отвергнув распространенные интерпретации желания с помощью структуры влечения бедных и дисциплинированных, авторы открыли предпосылки для нового определения продуктивного, небедного и не искалеченного травмой бессознательного.

* Воинствующая социология (англ.).

** От лат. *levis* (легкий).

почти нигде дело не дошло до систематической тематизации и эксплицитного освещения феномена изобилия.⁵⁷⁸ Эстетических доказательств вступления в *big easy** * с избытком, не хватает аутентичной теории снятия напряжения и ликвидации бедности.

Возникает впечатление, будто переход к бездефицитной ситуации оказался для многих людей слишком мажорным, слишком аморфным и стремительным, чтобы он мог стать предметом теории в *intentio recta*.** В то же время у него есть и неприятная сторона: тот, кто открыто признает его, должен собственной персоной присягнуть комфортабельной жизни. Тот, кто согласился жить в условиях тотального комфорта (а кто сегодня в наших широтах не согласился?), не должен ли он одновременно признать: он ничего более не понимает в том, что для большинства представителей рода человеческого в течение последних агроимперских тысячелетий определяло координаты реального. Дефицит дефицита оказывается намного более затруднительным, чем откровенная бедность. Нужда все еще считается сигнатурой *conditio humana*, тогда как богатство воспринимается как пенный гребень над изначальным существованием в условиях дефицита. А следовательно, оно в любой момент может реконвертироваться в предшествовавшую ему нищету. Там, где базис образует нужда, благосостояние всегда будет оставаться надстроечным феноменом. Властная романтика банкротства убеждает, что обедневший возвращается к основам человеческого бытия. Предающиеся ностальгии индивиды, в своих радикально консервативных грезах уносящиеся прочь из современного мира, тос-

578

Если такие попытки предпринимаются, то, скорее, с наивными культурно-реформистскими акцентами; см., например: *John de Graaf, David Wann, Thomas Naylor. Affluenza. Zeitkrankheit Konsum. München, 2002*, где содержится рекомендация быть такими же умеренными, как францисканцы, и столь же удовлетворенными, как индейцы в прериях.

* Большой достаток (англ.).

** В прямом смысле (лат.).

кую по очистительной катастрофе, об *apokátastasis** нищеты, из которой мы исходим. Они желают восстановления той ситуации дефицита, в которой якобы установились первоначальные человеческие взаимоотношения.

Там, где мизерабилизм открыто заявляет о себе, он ссылает под свои знамена друзей бытия и объявляет войну злокачественному обладанию. Ныне внутри самого богатого «общества», несмотря на работы Веблена и другие неуверенные опыты, не существует убедительной теории богатого существования — за вычетом разве что уникальных интервенций Ницше и Делёза. Богатым в их положении, как правило, не приходит в голову ничего другого, кроме как в подражание князькам XVII века обзаводиться художественными коллекциями; иногда мы видим их перелистывающими альбомы репродукций; и когда услужливые историки искусства как придворные льстецы изо всех сил стремятся им угодить, это напоминает известные образцы провинциального феодализма. Можно с полным правом утверждать, что отсутствие адекватной теории соответствует самому положению вещей. Если существует самое что ни на есть ложное представление об общественной жизни, то его следует искать в современном заговоре против восприятия самого очевидного. Консервативная революция первой половины XX века породила неизбежную реакцию в его конце, словно его душу можно было спасти с помощью нужды и ее оборотных средств. В результате появляется новый тип идеологии — модальная идеология, выражающая не мысль, а потребность: речь идет об обратном превращении свободы в необходимость и богатства в бедность.

Почему блокада была столь успешной, объясняется прежде всего социально-психологическими мотивами: тот, кому ощутимо легче, чем всем, склонен не замечать предпосылок своего привилегированного положения. Не входит ли в дефиницию комфорта то обстоятельство, что он может умалчивать о своих предпосылках? И действи-

* Возвращение (*грек.*).

тельно, он оказался бы в тупике, если бы мы потребовали, чтобы живущие в комфорте вспомнили о благоприятных условиях своего существования — или поразмышляли об их моральном содержании. Разве не характерно для жизни в роскоши, что она способна уклоняться от неприятной задачи исследования собственного генезиса? А на возможные сомнения в своем дальнейшем существовании можно не обращать никакого внимания. Самая надежная защита роскоши — отрицание того, что она роскошь; она всегда желает выступать в качестве удовлетворения самых скромных потребностей.

Пожалуй, следует добавить, что темы такого рода всегда предполагают действие некоторой дозы защитной магии: то, что не подвергается опасности, нельзя разрушить даже самыми точными словами. Свою лепту вносит и благоприобретенное отвращение: в ушах бесчисленных представителей переходных поколений звучат голоса их родителей, упрекающих молодых в том, что тем ныне живется намного лучше по сравнению с родителями, когда-то перенесшими гораздо более суровые испытания и более тяжелые нагрузки. Кроме того, определенную роль играет психологический механизм, в соответствии с которым первые реальные разгрузки используются для открытия вентилей частных переживаний бедности. Как только давление снижается, опустошаются хранилища прошлых нужд (или превращаются в культовые места) при сознательном игнорировании улучшения общей ситуации — эффект, без которого не могли бы быть поняты ни бурное развитие терапевтических культур после Второй мировой войны, ни расцвет академического марксизма и других версий экстравагантного радикализма. Безбрежный виктимизм в эру устойчивого благосостояния можно объяснить лишь ситуационной слепотой недавно освободившихся. Достаточно субъективировать понятие бедности, чтобы его объем мог расти до бесконечности.⁵⁷⁹ Такие

579

О некоторых мотивах ошибочного истолкования собственного благосостояния и неудовлетворенности сытых см.: *Gerhard Schutze. Sozi-*

субъективации сначала негласно предполагают генерализованное богатство, чтобы затем в повышенном тоне его отвергать. В этом отношении *low culture** * заимствует стандарты комфорта *high culture*:** начиная с 50-х годов огромное число приобщившихся к комфорту индивидов могло позволить себе «роскошь пессимизма», некогда диагностированную Ницше у Шопенгауэра. Дискомфорт в культуре превратился в затруднения, сопутствующие благосостоянию.

Разумеется, послевоенные обыватели на процветающем Западе более или менее сбивчиво отдают себе отчет в том, что они извлекают выгоду из парникового эффекта комфорта, особенно если основная часть их сознательной жизни пришлась на период между 1945 и 1990 годами.⁵⁸⁰ В это время, как почти в унисон подтверждают наблюдатели более старшего возраста, непрерывно, хотя и не без отступлений, проявлялись все новые и новые признаки колоссальной перенастройки. Кроме того, в течение этого периода на первый план выходили материальные символы почти всеобщего отсутствия бедности. Новый союз «массовой» покупательной способности и «массовой» фривольности почти на всех направлениях ведет к смене психосоциального настроения. Вплоть до низших слоев среднего класса наблюдается демонстративное потребление роскоши — модных изделий, продуктов питания, транспортных средств — как характеристика жизненных форм индустриального общества; культ автомобиля отражает причастность всех социальных слоев к агрессивным, нередко саморазрушительным техникам экспан-

ologie des Wohlstands // Reichtum in Deutschland. Die Gewinner in der sozialen Polarisierung / Hrsg. von Ernst-Ulrich Huster. Frankfurt; New York. 2. Aufl. 1997. S. 261—285.

580 См.: Der Boom. 1948—1973. Gesellschaftliche und Wirtschaftliche Folgen in der Bundesrepublik Deutschland und in Europa / Hrsg. von H. Kaelble. Opladen, 1992.

* Низкая культура (англ.).

** Высокая культура (англ.).

сии.⁵⁸¹ Существенное увеличение свободного времени трагивает *modus vivendi* всех без исключения субкультур и имущественных групп. Огромное число людей использует излишки своего не занятого сном свободного времени для удовлетворения своих капризов, реализации своих талантов, лечения своих болезней, принесения своих субъективных жертв и разработку своих частных метафизик; внимание, умственные способности, знание и *savoir faire** в беспрецедентных размерах инвестируются как одиноко, так и совместно живущими в оформление жилищ и дачных резиденций; преобразование двигательной энергии в спорт, музыку, туризм и многочисленные виды активного отдыха достигает уровня, моделей для которого в истории цивилизации не существует. Даже если верно, что благополучный Север сегодня вынужден, по выражению Паскаля Брукнера, покинуть «кокон счастливых послевоенных десятилетий» и приноравливаться к новым потрясениям, то все же плато, с которого придется на короткое время или на более длительный период спуститься, с социально-исторической точки зрения предполагается беспрецедентно высоко.

Что же касается эмпирического восприятия и моральной интерпретации великого переворота, то люди, пережившие второй послевоенный период, в большинстве своем являются заслуживающими внимания свидетелями эпохи. Тот, кто по завершении Второй мировой войны наблюдал американские и западноевропейские реалии, имел возможность видеть последствия предыдущей, сформированной еще преимущественно экономической нуждой и психосоциальными дефектами эры, а затем шаг за шагом сравнивать их с дефинициями становящейся все менее жесткой реальности последующих периодов непрерывного роста. Последние фазы дефицитного суще-

⁵⁸¹

См.: *Gregg Easterbrook. Axle of Evil. Americas Twisted Love Affair with Sociopathic Cars // The New Republic. January, 2003.*

* Умение (*фр.*).

ствования западного мира относятся к эре обеих мировых войн и бурных стадий русского эксперимента; в 20-е годы сухой закон в США породил запоздалое и тщетное сопротивление старого серьезного отношения к жизни, соединившееся с Великим отказом от потребления и релаксации. Мрачный континуум на Западе прошел через фазу депрессии 30-х годов — тогда Central Park* в Нью-Йорке представлял собой фавелу из палаток и бараков, жизнь в которых с трудом поддерживалась благодаря деятельности благотворительных и коммунальных организаций, — и продолжался вплоть до наступления бедственных последствий Второй мировой войны, включая начало фазы реконструкции. Франклин Д. Рузвельт после великого кризиса 1930 года имел все основания утверждать, что треть населения Соединенных Штатов страдает от недостатка питания и не может нормально одеваться; еще в 1962 году Майкл Харрисон в своем классическом исследовании «The Other America. Poverty in the United States»^{582**} оценивал фактор бедности в США как превышающий 20 %.

На этом фоне становится понятно, почему в первой половине XX столетия казалась естественной и, возможно, даже была легитимной уступка искушению инертностью и дальнейшее использование пессимистических языков XIX столетия — вместе с противоположными им и едва ли менее износившимися утопическими конструкциями, пусть те и пытаются выдать себя за науку о лучшем будущем. Доминирующие дискурсы после 1918 года, за немногими исключениями, можно свести к сколь неизбежной, столь и бесплодной альтернативе: либо смиренное подчинение вечным законам массовой бедности, которые якобы допускают лишь малое число победителей

582 Нем. изд.: *Michael Harrison. Das andere Amerika. Armut in den Vereinigten Staaten. München, 1964.*

* Центральный парк (англ.).

** «Другая Америка. Бедность в Соединенных Штатах» (англ.).

в жестокой конкурентной игре, либо воинственно-отважное мечтание о будущем богатом и эгалитарном конце истории, который станет близок, как только производительные силы «общества» окажутся в подходящих руках. Пребывать в параличе консервативной меланхолии или с аутогипнотическим оптимизмом осуществить скачок в «революцию» (подражая ленинскому делирию и подогревая ожидание близкой возможности) — казалось, таков был выбор, предписанный актуальной исторической ситуацией ее интерпретаторам, считавшим себя реалистами. Обстоятельство, что тем самым требовалось выбирать между двумя полностью устаревшими опциями, осознавали тогда весьма немногие. Даже то, что считалось авангардом, оставалось во власти ложных сценариев для дураков. Скажем, ранняя Франкфуртская школа, которая добилась гегемонии начиная с 50-х годов в Германии, а позднее как *critical theory** в США, как раз запуталась между двумя мнимыми полюсами; она оказалась оригинальной лишь в том, что предложила комбинацию из паралича и прыжка — с последствиями, которые дают о себе знать и в новейшем немецком гала-пессимизме. Лишь незначительное меньшинство интеллектуалов начиная с 20—30-х годов имело желание и способность, не увлекаясь утопиями и не впадая в отчаяние, сохранить трезвое отношение к современным экономическим, юридическим и техническим фактам, которые свидетельствовали о свершении — в результате постоянной аккумуляции едва заметных инновационных, оперативно эффективных отдельных шагов, — эпохального события, коим является первый разрыв круга бедности для многих людей.⁵⁸³

583 в 1923 году в своем исследовании дара Марсель Мосс говорил о том, что французские законы о социальном страховании содержат в себе «уже осуществленный государственный социализм». В 1924 году Плеснер в своем сочинении «Границы общности» разоблачил радикализм как управление иллюзиями и критически рассмотрел его основания, входящие в ошибочную идею коммуны.

* Критическая теория (англ.).

Психодинамическая и ментальная сторона прорыва никогда не исследовалась с должной тщательностью, не говоря уже о понятийных измерениях этого события: ни одному диагносту эпохи не пришло в голову, что современные поколения переживают не что иное, как освобождение понятия реальности от сопровождавшей его с незапамятных времен догматики серьезного, тяжелого и необходимого, в которой (по выражению Готхарта Гюнтера, логика и интерпретатора Гегеля) с давних пор скрывается осадок недостаточного традиционного понимания «бытия», формирующегося в рамках двухвалентного мышления. Повсюду продолжали писаться черные романы позитивизма. Как в левом, так и в правом лагере интеллигенция преклоняла колени перед реальным как перед господствующим, высоким, страшным — лишь крошечный эстетический кружок оказался способен устоять перед культом реальности и его парализующими следствиями. Очень немногие вместе с Музилом смогли понять, что у чувства действительности вырос в высшей степени серьезный соперник, и именно в облике чувства возможности, которое сегодня достигло своей явной формы, выкристаллизовавшись в царство виртуального. Кто уже готов признать, что мутация началась в переживании и понятии самого реального? Послание столетия не нашло пророка. Оно могло бы гласить: мы воекресли из реального — или, менее патетично, впредь мы будем держать реальное на дистанции.

Операция «обогащение» была столь масштабна и к тому же сопровождалась столь мощными противоположными течениями и парадоксальными эффектами, осложнялась многозначностями и исключениями, омрачалась столь тягостными вопросами о сторонних издержках (вплоть до убежденности, что между нищетой и благосостоянием происходит своего рода гонка вооружений, которую последнее в длительной перспективе не способно выиграть), что спустя полвека, если не учитывать некоторые понятийные приобретения, весь ее ход еще не может быть прослежен. Тем сложнее было понять

суть события тогда, когда проявились его первые контуры. Никто из тех, кто после 1945 года обращал свое внимание на феномен «свободной рыночной экономики» или комментировал проникновение электрических бытовых приборов и ископаемых горючих в современный стиль жизни, не был в состоянии оценить значение этих предметов для новой дефиниции таких фундаментальных староевропейских понятий, как «природа», «действительность», «свобода» и «существование». Напротив, едва ли хоть один философ того времени был готов констатировать, что почти весь традиционный вокабуляр его дисциплины начал уходить в историю с появлением в «жизненном мире» телефонов, двигателей внутреннего сгорания, радаров, вычислительных машин. Как бы ни была поколеблена староевропейская экология дефицита, вера в примат необходимости и тягостный характер существования не давала распасться старому миру. Габитус бедности и неудачливости не отказался от своих претензий на господство над душами. Богатство пришло, яко тать в нощи.⁵⁸⁴ Разбогатевшие мысленно были где-то в другом месте.

Сегодня постепенно становится понятно, что отрицание левитации представляет собой константу новейшей истории идей. Где бы облегчение ни подвергалось теоретическому и моральному исследованию, мыслящие в своем значительном большинстве — прежде всего экзегеты и экстремисты, как левые, так и правые, — спускались на землю тяжелой «реальности», которая скрывается под поверхностью повседневности и которой они неустанно присягали, называя ее самыми суровыми именами. Когда разрядка повсюду рассылала своих вестников, то крайние реалисты безудержнее, чем когда-либо прежде, предавались культуре депрессивного мышления. Вальтер Беньямин отважился на образ ангела истории, полагавшего, что созерцает одну-единственную катастро-

⁵⁸⁴ 1-е послание к Фессалоникийцам, 5:2.

фу, неустанно нагромождающую одни руины на другие; тем самым он создал испытательную таблицу для диагностики зрительных расстройств столетия, ослепленного различными видами радикализма.⁵⁸⁵

Нельзя сказать, что его современники предложили что-либо лучшее: они ссылались на борьбу рас и законы крови, эксплуатацию и обострение классовой борьбы, на травму и работу бессознательного, на забвение тела и некрофилическую агрессию, на механизацию жизни и господство аппаратов, на дефицит ресурсов и второй закон термодинамики, на ускорение коммуникации и глобализацию экономики, на несчастный случай и неконтролируемое событие — но прежде всего на катастрофу и еще раз на катастрофу. Это — трон, на котором восседало преданное реальному сознание в своем подозрительном суверенитете. Не было такого тигра, спина которого была бы слишком широка для желавших оседлать его реалистов. Тот, кто считал себя мыслящим человеком, должен был овладеть реальностью и найти победоносный дискурс о формирующем ее принципе. Если Бэкон учил, что природу можно покорить, лишь будучи ей послушным, то реалисты XX века отстаивали доктрину, гласящую, что действительным можно овладеть, лишь ему подчинившись. Любая попытка захвата реального была обречена на конкуренцию с другими фикциями суровой реальности. Супрематизм реализма стал логическим стилем эпохи. В гонке за самой решительной экспликацией реального должны были возникнуть онтологические варианты порнографии — никогда мы еще не проникали взглядом столь глубоко вовнутрь разоблаченной реальности. То, что именовалось идеологиями, — чем они были по своей сути, как не фикциями реального, упивающимися своей суровостью, своей холодностью, своей непристойностью? Чтобы не прослыть мечтательными, могучие умы удари-

585 *Über Begriff der Geschichte // Walter Benjamin. Gesammelte Schriften. Bd I 2. Frankfurt, 1974. S. 697.*

лись в культ жестокой богини Фактичности. Ее поддерживала не менее жестокая помощница Решимость — поскольку сущность решения усматривается в ставке на одну-единственную возможность и в гибели альтернативы. С невыразимым презрением взирали реалисты, правши, певцы суровых фактов на то, что они считали изнеженным либеральным сбродом, отказывающимся учить уроки жестокости: если приходится рубить лес будущего — тем хуже для щепок. Бесчисленные интеллектуалы пребывали в убеждении, что только крупные предприниматели, гангстеры и диктаторы способны разглядеть существо реального; лишь подражание преступлению открывает мышлению доступ на историческую арену. Тот, кто, как сутенер ужаса, не получает своей доли в бизнесе под названием «действительность», ничего не понимает в правилах игры целого.

Но как быть, если философски релевантное событие XX века состояло в том, что все фикции тягостной реальности были ослаблены фактором очевидного подъема? Если, таким образом, главным было признать облегчение как евангелический перелом? Если в трагическом реализме необходимо было разглядеть гипноз черного китча? Если преклонение перед самыми жесткими дефинициями реальности было сигнатурой самого легкомысленного оппортунизма (который сегодня вновь усматривают у интеллектуальных вдохновителей американской реальной политики), словно мы долго размышляли о сущности преступления и пришли к выводу, что только оно придает смысл бытию — в начале было злодеяние? Что если свободный дух должен отказаться от священных икон фактов, которым якобы нет альтернативы, если он хочет держать курс в открытое? И что если признаком реакционного мышления отныне стал его союз с силой тяготения, заключенный с целью отрицания антигравитации?

2. ФИКЦИЯ НЕДОСТАТОЧНОГО СУЩЕСТВА

Эти вопросы демонстрируют, что в ходе XX столетия становилось все сложнее придерживаться фундаментальных принципов классического консерватизма (поскольку он обладает мизер-консервативной, дефицит-католической и враждебной богатству конституцией). По мере того как скрытое и тем не менее вездесущее послание об облегчении жизни материализовывалось в настроениях новых поколений, истолкование мира в свете предрассудка о вечном дефиците утрачивало свою правдоподобность. Его слабость могла быть компенсирована лишь интенсификацией использования пессимистических абстракций — и увеличением импорта негативного. Эта идеологическая констелляция дает старт вторичной эксплуатации периферии, на этот раз в силу мазохизма центра. Склонность импортировать нищету как дешевое сырье и перерабатывать ее в высокоценные обличительные продукты для местных рынков и по сей день вирулентна для протестующих активистов.⁵⁸⁶ Не желая признавать того, что в неслыханных масштабах осуществилось в первом мире, пессимистический Интернационал сравнивает сохраняющуюся нужду третьего мира с новым богатством Запада и составляет отрицательный баланс — более того, даже объявляет благосостояние первого мира причиной бедности третьего мира, представляя его благополучную жизнь результатом несправедливости (как экономической, так и политической) в отношении Южного полушария. Так он заботится о том, чтобы его собственные жизненные условия вместе с его очевидным богатством и прогрессирующим комфортом оставались нетематизированными, поскольку они слишком явно свидетельствуют о виновности. Мы всегда экстатически

586 См.: *Pascal Bruckner. Le sanglot de l'homme blanc. Paris, 1983;* нем. изд.: *Das Schluchzen des weißen Mannes. Europa und die Dritte Welt — eine Polemik. Berlin, 1984.*

относимся к несчастью других — нередко в такой степени, что уже невозможно решить, идет ли речь при этом повороте к не-Я и не-здесь о помощи издалека или о лицемерии у себя дома.⁵⁸⁷ Представители этого образа мыслей ведут себя так, словно открыли какой-то ранее неизвестный закон природы — принцип сохранения мизерогенной энергии. Мизер-консервативный, антипросперитивный дух начиная с 60-х годов инвестировал гигантские усилия в обесценение западного богатства, доназывая неприемлемость прежних методов его приобретения, — как известно, плодотворность всемирных дебатов о «границах роста» состояла в том, что они перевели классический экономический пессимизм (компанию которому с недавних пор составляют все виды фундаментализма) на язык экологии и тем самым оказались привлекательными для альтернативно мыслящего молодого поколения.

Однако самое серьезное усилие терпящего бедствие консерватизма заключалось в углублении теоретических основ онтологии дефицита. Этого можно было достичь, лишь превратив дефицит в своего рода негативную сущность. Необходимо было отделить его от экономических данностей и поместить как можно глубже в существо человека, более того, в самое сердце субъективности, в изначально расщепленную, неполноценную и перенапряженную психику. Когда речь идет о том, чтобы оценивать человеческое существование с точки зрения его фундаментальной недостаточности, решающее значение приобретает отнюдь не фактический, случайный и реверсивный недостаток материальных и символических благ

587

Такой защитник рационалистического утопизма, как Раймонд Толлис, критикуя модный пессимизм современной интеллигенции, замечает: «(Истериические гуманисты) нуждались в том, чтобы брать взаимно несчастья других, ибо если нынешний мир действительно столь беспрецедентно ужасен, то для них было бы морально дискомфортно жить столь беспрецедентно комфортно, как о том свидетельствуют исторические данные» (*Raymond Tallis. Enemies of Hope. A Critique of Contemporary Pessimism. Hampshire; London, 1997. P. 209*).

у значительного большинства реальных персон; то, что действительно важно, теперь должно быть представлено в качестве конституционной или биокультурной ущербности *homo sapiens*.

В анналах наук о культуре воспоминание об этом остроумном, поначалу, казалось бы, даже удачном маневре — переносе датировки человеческой бедности на период более ранний, чем любая исторически и социально конкретная манифестация дефицита продуктов, возможностей и ресурсов, — связано с трудами Арнольда Гелена, ученого, которому обычно дают не слишком объясняющую суть дела характеристику, называя самым блестящим — до Никласа Лумана — из признанных консерваторов XX столетия. По своему месту в новейшей истории идей Гелен — сместившийся вправо младогегельянец, объявивший своей персональной задачей заботу об эмпирической или антропологической материализации философии. В подходе Гелена можно увидеть, так сказать, немецкий путь к прагматизму; его лозунг — скепсис в отношении выдувания пузырей «недействительного духа», его опознавательный знак — презрение к характерному для интеллектуалов доверию к словам. С типологической точки зрения разум Гелена можно охарактеризовать как иезуитский, ибо своими самыми лучшими способностями он обязан *quasi*-контрреформаторской, проверенной сильным противником позиции консервативного сопротивления. Даже парадоксальный титул авангард-консерватора, которым в 70-е годы итальянские собеседники удостоили Лумана, без труда может быть переадресован старшему почти на поколение Гелену. Его имя достойно того, чтобы еще прежде имен Фрейда, Лакана, Адорно и Карла Шмитта упоминаться в тех случаях, когда мы пытаемся понять замыслы самых успешных в XX веке модернизаторов пессимистического синдрома.

В дальнейшем окажется полезным подробно исследовать основную операцию вооруженного геленовскими

методами консерватизма, определение статуса *homo raper* с помощью углубленной антропологии недостаточно, при этом проверив, насколько она последовательна. При этом выяснится, что аналитический аппарат зрелой современности самым недвусмысленным образом был поставлен на службу консервативным настроениям и убеждениям, враждебным облегчению человеческой жизни. Чтобы сконструировать действующего, рефлектирующего, творящего культуру человека, несмотря на весь его творческий потенциал, представив его в качестве лишённого особенных глубин животного, Гелен использует концепции, которые во время формирования его первой системы, в конце 30-х годов, относились к самым передовым, более того, они и по сей день не могут считаться до конца и во всех отношениях исследованными — от безгранично продуктивного высказывания Ницше о человеке как «неустоявшемся животном» и до онтоантропологического тезиса Шелера об «открытости миру» (важнейший мотив цикла лекций Хайдеггера «Основные понятия метафизики. Мир—конечность—одиночество», прочитанного в зимний семестр 1929/30 гг.). Далее для своего предприятия Гелен заимствует из трансцендентальной традиции понятие действия, из современной ему экзистенциальной философии — понятие риска, из децизионизма — понятие полагания, а из психоанализа — понятие симптома. К ним добавляется ряд биологических идей возбуждающей новизны: например, концепция неотении (фенотипической фиксации ювенильных телесных образований) Юлиуса Кольманна или сформулированный в 1926 году сенсационный тезис Лодевига (Луи) Болька о первичной задержке человеческого онтогенеза, а также сохранении фетальных признаков в морфологии взрослого человека.⁵⁸⁸ Если у Гелена сохраняется ка-

588 *Lodewig (Louis) Bolk. Das Problem der Menschwerdung. Vorträge gehalten am 15. April 1926 auf der XXV. Versammlung der Anatomischen Gesellschaft zu Freiburg. Jena, 1926.*

кой-то идеалистический осадок, то он проявляется в тщательно культивируемом антибиологизме, доходящем до отрицания эффективной оснащенности *homo sapiens* инстинктами; такова радикальная позиция, ревизией которой он был вынужден заняться в более поздний период своего творчества.

Все эти определения суммируются в стратегически центральную теорему Гелена о человеке как *недостаточном существе*. Это выражение не только должно указывать на биологическую «негативную оснащенность» *homo sapiens* со всеми проявлениями его неприспособленности, неспециализированности, недоразвитости и так называемого примитивизма,⁵⁸⁹ но и напоминает о давлении повышенных нагрузок, под которым, согласно Гелену, с самого начала находится это чрезвычайно слабо защищенное, не связанное с окружающей средой, лишенное инстинктов, не имеющее органических средств, утратившее врожденное внутреннее руководство животное. Автор не устает во все новых и новых выражениях подчеркивать биологическую несостоятельность этого живого существа: страдающее «уникальным отсутствием средств», это творение, «рассматриваемое как природное существо, является безнадежно неприспособленным»;⁵⁹⁰ оно «не способно к жизни во всякой действительно естественной и первозданной сфере»;⁵⁹¹ представляет собой результат «ставших нормой преждевременных родов»;⁵⁹² ему угрожают необыкновенно высокие «виртуальные внутренние напряжения»⁵⁹³ и присущи опасные способности к деградации и саморазрушению. После того как собраны эти данные, не может не последовать ссылка на прародителя

⁵⁸⁹ Этому комплексу посвящена первая часть главного труда Гелена «Человек», в котором рассматривается особый морфологический статус человека (S. 86—130).

⁵⁹⁰ *Arnold Gehlen. Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Frankfurt; Bonn, 1962. S. 34.*

⁵⁹¹ *Ibid.* S. 37.

⁵⁹² *Ibid.* S. 45.

⁵⁹³ *Ibid.* S. 61.

антропологии недостаточности, Иоганна Готфрида Гердера. Гелен прямо объявляет его своим предшественником и заимствует у него главное двучленное определение человека, гласящее: «его видовой характер» состоит сплошь из «пробелов и недостатков»,⁵⁹⁴ — однако благодаря своему языковому гению, а также своим культурно- и институционально-творческим способностям человек преобразует свой изначальный недостаток в привилегию. Теперь могут последовать программа и признание:

«После Гердера философская антропология не продвинулась вперед ни на шаг, а он схематично изложил то же самое воззрение, которое я хочу развивать средствами современной науки. Ему не нужно делать шаг вперед, ибо оно — истина».⁵⁹⁵

Затратив минимальные усилия, можно показать, что этот суггестивный портрет *homo sapiens pauper* таит в себе двусмысленность, обнаружение которой подрывает смысл всей конструкции, так что после этого его с тем же успехом можно будет рассматривать как апологию противоположной точки зрения. Когда Гелен вслед за Гердером говорит о *homo sapiens* как о недостаточном существе, он предполагает наличие естественной истории ослабления человека или предшественника человека, которая, согласно его собственным предположениям, уже не может рассматриваться как только естественная история. Ибо очевидно, что бедный и слабый человек, как он выведен на портрете Гелена, должен образовывать исходный пункт великой саги о первородном недостатке и его синхронной компенсации культурными способностями. Но эта картина ни в коей мере не объясняет, каким образом живое существо в результате естественной эволюции обрело свои первоначальные недостатки. Столь драматическое приданое из недостатков не могло быть получено в

⁵⁹⁴ **Ibid. S. 83.**

⁵⁹⁵ **Ibid. S. 84.**

ходе естественной истории дочеловека. Сохраняющая саму себя природа не знает успешной традиции непригодности или смертельной слабости, разве что рискованные специализированности типа павлиньего оперения или оленьих рогов — эффекты, о которых у *homo sapiens* не может быть и речи, ибо он, как не устает подчеркивать Гелен, самым очевидным образом неспециализирован и ювенилизирован. Если же биологически и культурно мотивированное развитие привело к таким результатам, какие демонстрирует древнейший человек, то его выделившиеся вследствие эволюции качества не могут истолковываться как недостатки — наоборот, они должны были обладать прежде всего квалифицирующими или, говоря языком Дарвина, улучшающими фитнес добродетелями.

Совершенно ошибочно описывать первичную сцену формирования человека как появление нежизнеспособного существа, которое — едва оказавшись в мире — вынуждено было немедленно спрятаться в защитную оболочку профетического культурного панциря, чтобы компенсировать свою биологическую несостоятельность. Утонченность соматической картины, предлагаемой *homo sapiens*, следует мыслить в связи с долговременно стабильным трендом, который мог быть успешным только вследствие переплетения биологических и культурных факторов. Этот характер развития можно объяснить лишь своего рода самоусиливающимся инкубационным эффектом, превращающим как молодых, так и взрослых особей вида в бенефициаров тенденции к изнеженности, праздности и инфантилизму. Она распространяется, не нанося длительного и общевидового вреда эволюционным возможностям высиженного таким способом, неотеннически рискованного живого существа. История успеха *symbolic species** не могла бы оказаться такой, какой она представляется в сегодняшней ретроспективе, если бы ее

* Символический вид (англ.).

основной маршрут не вел к продуктивному взаимодействию соматической утонченности с психо-невроиммунологическим и техническим усилением.⁵⁹⁶

Если сейчас мы изменим последовательность условий так-бытия-и-становления человека и признаем эволюционную убедительность человеческих морфологий, то индикаторы антропологической оценки *eo ipso* укажут на противоположную тенденцию. Человек не овладевает культурой и ее институтами, чтобы из биологически несостоятельного существа превратиться в сколько-нибудь жизнеспособное создание; наоборот, он таким образом исходит из обстоятельств своего рождения и воспитания, что во всем (вплоть до своих самых интимных особенностей, характера мозга, сексуальности, иммунных структур, наготы) извлекает пользу из своей уникальной инкубационной привилегии. Его сила выражается в том преимуществе, которое дает повышенная хрупкость. Иными словами, *homo sapiens* — не недостаточное существо, компенсирующее свою бедность культурой, а избыточное существо, достаточно защищенное своими протокультурными способностями, чтобы выжить и при возможности преуспевать перед лицом любых опасностей. При этом следует признать, что представители вида *homo sapiens* по понятным причинам, как правило, вынуждены были ограничиваться реализацией небольшой, нередко самой примитивной части своего культурного потенциала, чтобы, как только появится возможность, сразу же продвинуться вперед в типичном для своего вида избыточном развитии.

Homo sapiens представляет собой фундаментально изнеженное, во многих формах избыточное, способное к многократному усилению промежуточное существо, формированию которого сообща содействовали генетические и символически-технические факторы. Его биоморфоло-

596 Terrence W. Deacon. *The Symbolic Species. The Co-evolution of Language and the Brain*. New York; London, 1997.

гические данные указывают на длительную историю аутопластического совершенствования. Его способность к изнеженности унаследована с очень давних времен. В то же время он остается наделенным совершенно животной выдержкой, более того, он одарен выходящей за пределы животной наследственности, инспирированной темпоральным сознанием надежды способностью выживать в самых что ни на есть суровых условиях. Описать вытекающие отсюда признаки как «оснащенность недостатками» — идея, которая может прийти в голову интерпретатору лишь в том случае, если он намеревается доказать факт существования догматически предполагаемого *homo pauper* даже в самые незапамятные времена, хотя исходя уже из самих категорий его собственного теоретического аппарата напрашиваются противоположные оценки. Поэтому *entente cordiale** Гелена с веймарским пастором Гердером есть нечто большее, чем идейно-историческая случайность. Общее для них представление о человеке как о недостаточном существе удовлетворяет новую потребность в буржуазном пессимизме, заменившую для образованных людей ставший неправдоподобным догмат о первородном грехе привлекательной для многих теоремой о наследственном недостатке.

Инверсию используемых Геленом индикаторов наиболее убедительным образом можно обосновать с помощью его же собственных понятийных средств. Тот факт, что *homo sapiens* не может быть недостаточным существом, а с самого начала представляет собой избыточное образование, окажется доступен для всестороннего рассмотрения после того, как мы подвергнем тщательному исследованию два важнейших понятия системы Гелена: во-первых, концепт открытости миру, с которым автор ворвался на философские подмостки своей эпохи, а во-вторых, категорию разгрузки, несомненно являющуюся самым плодотворным вкладом Гелена как в фило-

* Сердечное согласие (*фр.*).

софскую, так и в эмпирическую антропологию, — ее можно признать одним из немногих действительно оригинальных понятийных образований в науках о культуре XX столетия. Поскольку сам Гелен теснейшим образом соотносил эти понятия друг с другом, мы на вполне законных основаниях можем рассматривать их в одной связке.

Из-за своей открытости миру человеческое существо — согласно основополагающей гипотезе Гелена — несет биологически беспрецедентное экзистенциальное бремя: человек, поскольку он переживает, воспринимает и обдумывает больше, чем любое животное, является созданием, не просто испытывающим случайные нагрузки, а структурно перегруженным существом. Его конституция в чувственном отношении подразумевает избыток раздражений, а в прагматическом — неизбежность риска. Поскольку человек не имеет врожденной связи с окружающей средой, по крайней мере со всеми обстоятельствами в целом, а, скорее, постоянно должен идти на спонтанные компромиссы с окружающим миром, его бытию-в-мире присущ характер погруженности в «поле удивления».⁵⁹⁷ «В свете этого рассуждения открытость миру в принципе представляет собой *отягощение*».⁵⁹⁸ Это подразумевает (даже если автор прямо об этом и не говорит), что основной чертой переживания мира и поведения в мире *homo sapiens* является проблематический избыток чувственных впечатлений и способностей к волеприятию и действию, а отнюдь не прошлая бедность и недостаточность. Его неспециализированная, разносторонне адаптивная или «открытая» природа награждает его, во-первых, в высшей степени впечатлительной рецептивностью, а во-вторых, чрезвычайно широким спектром возможностей действия — от тривиальных нейтральных поступков до экстраординарных художест-

⁵⁹⁷ **Ibid. S. 36.**

⁵⁹⁸ **Ibid.**

венных, аскетических, оргиастических и преступных акций. Если бы у существ этого типа могло существовать нечто вроде унаследованного ощущения недостаточности, то оно заключалось бы в трудностях, вызываемых собственным богатством; это проблематика, которая для обыденного рассудка выражается в таких клише, как «мука выбора», *imbarazzo della scelta* и тому подобных; в теории, к которой предъявляются более высокие требования, то же самое содержание фиксируется с помощью таких фигур речи, как «редукция сложности». Благодаря своей пластичности человек отягощен в том же смысле, что и миллионер, подчиняющийся необходимости управлять своим имуществом.

Эти наблюдения подтверждаются рассуждениями Гелена о новаторской категории разгрузки; в этом выражении артикулируется важнейший аспект Всеобщей экономики существования. Если можно сказать, что человеческое бытие действительно в первую очередь представляет собой парадоксальную отягощенность (а именно, как мы показали, богатством сенсорной и прагматической экстастики человеческого существа), то задача разгрузочных механизмов состоит в снижении вызванного богатством первичного напряжения — начиная с формирования соответствующих моделей восприятия и автоматизации развертывания действий и заканчивая нормализацией ожиданий будущего посредством ритуалов и исключения случайностей с помощью использования технических навыков. Упростиись, человек, сделай себя доступным вычислению! Гелен реалистично предполагает, что жизнь как в соматическом и психическом, так и в социальном отношении стремится адаптироваться к условиям эксплуатации хорошо темперированной банальности, — к условиям, которые с психологической точки зрения описываются как привычная обстановка, а с культурно-антропологической — как институты. Поэтому разгрузка представляет собой своего рода механизм экономии — способ не поддаваться искушению самораст-

раты. Ее главный эффект связан с иммунизацией против непосредственности, будь то непосредственность чрезмерного расходования энергии в процессе спонтанной деятельности или непосредственность затопления рискованно деавтоматизированными восприятиями. В некотором смысле она имплантирует первую прагматическую иммунную систему, противостоящую инфекциям психики избытком неассимилируемых раздражений и одновременно пресекающую воспламенение психических энергий в экстатических апертурах поля действия и восприятия.

При такой трактовке понятия разгрузки выясняется, что она не имеет ничего общего с управлением недостатками: она ответственна за руководство богатством, требующим хозяйственной и инвестиционной сообразительности. Лить поскольку стихией человека является избыток, становятся необходимыми упрощения, торможения и процессы привыкания, останавливающие расточительство на низкой ступени, чтобы распорядиться сэкономленными энергиями для выполнения более высоких, символически обусловленных функций. В этом процессе иерархизации как первичным, так и вторичным образом дает о себе знать мотив избытка. После того как Гелен внес свой вклад в — почти удавшуюся — пауперизацию человека уже на элементарном уровне, в его изображении более развитого психического хозяйства *homo sapiens* вновь заявляет о себе отвергнутое ранее первоначальное богатство, причем, поскольку оно было смоделировано с помощью цивилизационных механизмов разгрузки, в форме сэкономленных потенциалов действия, которые настоятельно требуют осуществления на более высокой ступени. Но как и первое богатство, порожденное открытостью миру, Гелен и второе готов описывать как бремя и негативный фактор. Психоэкономический девиз второго богатства гласит: высвобождение; однако оно, в свою очередь, порождает проблему инвестиций — само собой разумеется, что строгая антропология признает только се-

рзные ассигнования. Этот процесс комментируется с помощью примера созерцательной жизни харизматиков, поддерживаемых окружающими их «обществами», или ссылки на способ бытия художников, опасные метания которых между мастерством и беззаконной вседозволенностью предполагают терпение современников. Оба эти типа освобожденного существования должны показать, что все зависит от регуляции избытка энергии, полученного благодаря разгрузке, аскетическим сводом правил, будь то правила для монашеской кельи или мастерской художника, в то время как антрополог с озабоченностью и отвращением взирает на беспорядочное существование художников в анархических субкультурах XX века. Если бы художественный анархизм стал универсальной моделью, то — как опасается Гелен — в течение короткого времени прекратилась бы символическая репродукция «общества» в его институтах. Как и Великий инквизитор Достоевского, антрополог убежден, что свобода предъявляет людям чрезвычайно высокие требования, которым могут соответствовать лишь очень и очень немногие. Для всех остальных, тех, кто не способен к аскезе истинных элит, рекомендуется последовательно проводимая гетерономия. Как решительный традиционалист Гелен ставит на дисциплину для большинства.⁵⁹⁹

Итак, и при взгляде на динамику человеческой разгрузки также выясняется, что о проблематике изначальной человеческой недостаточности не может быть и речи; что действительно требует понимания и экспликации, так это абсорбция избыточных энергий и их перенаправление в сторону более взыскательных процессов. Гелен остается верен своему пессимистическому импульсу и на более высоком уровне: интерпретировав открытость миру

⁵⁹⁹ о пессимизме Гелена — и параллелях между ним и пессимизмом Адорно — см.: *Christian Thies. Die Krise des Individuums. Zur Kritik der Moderne bei Adorno und Gehlen. Reinbeck bei Hamburg, 1997. S. 275—285.*

избыточного существа (человека) как изначальное отягощение, он и сэкономленные и высвобожденные энергии, предназначенные для высшего и дальнейшего, также истолковывает как отягощения второго порядка. Он формулирует пресловутую рекомендацию поставить их на службу объективным формам — даже если это магические ритуалы, приносящие столь сомнительные эмпирические результаты. Лучше использовать пустую форму, пока она способна предлагать себя, чем затеряться в свободе бесформенности и необязательности пустого эксперимента. Яснее не сказал бы ни один член римской конгрегации. Таким образом, очевидно, что проблемой, занимающей антрополога, является отнюдь не рожденное эволюцией недостаточное существо; это — избыточное существо (человек), чья конститутивная изнеженность и не поддающийся калькуляции протуберанец остаются с ним до последнего.

3. ЛЕГКОМЫСЛИЕ И СКУКА

Если наши капризы — это модели наших философий, то скажите мне, Эдвин, в каком из них переливается истина?

Фридрих Шиллер. Прогулка под липами

Если мы вернем парадоксальную конструкцию бедного в силу своего богатства человеческого существа в контекст времени, то обнаружится ее заметная связь с эпохальным движением в сторону облегчения жизни *affluent society*, — движением, которое в другом ракурсе (и на фоне современных систем солидарности) можно было бы определить как переход к первой успешной сети высоко индивидуализированных иммунных конструкторов. Нет никаких сомнений, что главные понятия модернизированного консерватизма, разгрузка и высвобождение, как никакие другие пригодны для теоретического

осмысления субъективных рефлексов великой левитации. Фактически они суть не что иное, как своя эпоха, облеченная в мысль.

С возникновением насквозь юридизированного, погрязшего в навыках оптимизации, движимого деньгами «общества» (еще раз потревожим Гегеля) утвердилось такое «состояние мира», главным признаком которого является осязаемое изменение экзистенциальных весовых пропорций и важных взаимосвязей. Но поскольку «общество», поднятое вверх своей собственной авантюрой, проникающей во все семантические и материальные факты разгрузкой, еще не нашло для этого правильного понятия или, там, где нашло, не умеет его осмысленно использовать, оно подвержено искушению видеть в своих главных завоеваниях новое зло, а в своих инновационных достижениях — беспрецедентные дефекты. И в отношении своих настроений, сформированных высвобождением, покидающее универсум бедности «общество» также остается в сомнениях; когда заходит разговор о необыкновенном улучшении его состояния, оно спрашивает себя, не сбилось ли оно с истинного, то есть тяжело-го и продиктованного нуждой, пути.⁶⁰⁰

Словно обеспокоенный похожими вопросами, Гегель в январе 1807 года писал возвышенным тоном диагноста эпохи:

«Впрочем, не трудно видеть, что наше время есть время рождения и перехода к новому периоду. Дух порвал с прежним миром своего наличного бытия и своего представления... (он) разрушает одну частицу здания своего прежнего мира за другой; о неустойчивости последнего свидетельствуют лишь отдельные

⁶⁰⁰ Высказываниям ангажированных облегчителей оно не доверяет — и понятно почему. Разве не Сталин провозгласил: «Радость — самый заметный признак Советского Союза*? КПСС — образец веселой партии? Не только, ибо НСДАП также знала, что своей силой она обязана веселости.

симптомы. Легкомыслие, как и скука, распространяющиеся в существующем, неопределенное предчувствие чего-то неведомого — все это предвестники того, что приближается нечто иное... Начало нового духа есть продукт далеко простирающегося переворота многообразных форм образования, оно достигается чрезвычайно извилистым путем...»^{601*} *

Если Гегель заблуждается, то в том, что считает легкомыслие и скуку предвестниками ситуации, которая лишь приближается, — в действительности они суть само уже пришедшее новое. Они — первые признаки перехода к едва ли знакомой бытийной неопределенности и свободному от твердых целей протеканию времени, задающим тональность всей новейшей эпохе в целом. Следует понимать, что здесь речь идет не об аристократическом *spleen*^{**} расцветшем при *ancien regime*; здесь не имеется в виду и меланхолическое вкушение *douceur de vivre*^{***} в поздний час. Уже экспрессивный глагол *einreißen*,^{****} используемый для описания распространения таких настроений «в существующем», говорит о наступлении буржуазных условий. Он свидетельствует об озабоченности философа серьезностью изменений отношения к миру в либеральном лагере. Сколько бы ни представлял он себя сторонником нового мироустройства, при котором субстанция стремится развиваться как субъект, он не может признать любой модус субъективности местопребыванием субстанции. Должна существовать серьезная и репрезентативная созидающая форма трудолюбивого субъекта, осознающая себя дома в новой послереволюционной ситуации и организованная свободой, пришедшей к себе

еoi G. W. F. Hegel. Phänomenologie des Geistes, Vorrede. Frankfurt, 1970. S. 18 f.

* Перевод Г. Шпета.

** Сплин, хандра (англ.).

*** Сладкая жизнь (фр.).

**** Рвать, ломать, распространяться [об отрицательных явлениях] (нем.).

в среде права. Романтические модусы легкомысленного и скучающего сознания обладают для Гегеля лишь значением симптомов; они суть не более чем болезненное интермеццо между двумя доброкачественными полюсами: старый был воплощен в католическом субстанциализме, ныне устаревшем, новый относится к постпротестантской свободе в правовом государстве. Тем не менее легкомыслив и скука представляют собой своего рода антракт, которому надлежит отвести столько времени, сколько потребуют для своей полезной работы брожение и переходная лихорадка, ведь на *curriculum*,* ведущему к правовому государству, в качестве необходимых стадий нужно было пройти даже террористические эксцессы Французской революции.

Однако что если бродящее и не думает о том, чтобы после успешного вздутия вернуться в обычное состояние, и хотело бы, однажды поднявшись, утвердиться в своем праве как более легкий, более свободный, более фривольный модус существования? Как нам быть, если каприччо более не довольствуется положением музыкальной тональности или литературного жанра и в будущем желает превратиться в аспект буржуазного *modus vivendi*, в стиль расходования денег и ассигнования эмоций и склонностей? Что если монгольфьеры, поднимавшиеся в небо над французскими городами во время *mode au ballon*** незадолго до революции, были отнюдь не просто обреченными на падение капризами (похожий летательный аппарат, шарльер, в августе 1783 года упал на землю рядом с Гонессом под Парижем и поверг в панику крестьян, атаковавших его вилами и косами, пока наконец не был «убит» ружейным выстрелом какого-то солдата)? Если эти рожденные капризом аппараты, напротив, свидетельствовали о притязании современности на обустройство в воздушном пространстве? Не послал ли еще в 1752 году

* Путь (лат.).

** Мода на шар (фр.).



Бернардино де Соуза Перейра. Первая попытка полета на шаре, на полненном горячим воздухом, предпринятая Бартоломео Лоренцо де Гусмао в присутствии короля Яйуана V. 1709 г.

Вольтер героя своего романа «Микромегас» в полет на солнечных лучах через космическое пространство, тем самым намекнув на намерение просветителей овладеть вертикалью? В этом он не более чем подражал Фрэнсису Бэкону, в 1624 году в своем утопическом повествовании об острове Новая Атлантида напорочившем имитацию птичьего полета с помощью пригодных для этого машин.⁶⁰² Театральные машины эпохи барокко также открыли высотное измерение, и Меркурий в своих крылатых сандалиях, Фортуна на своем шаре парили в воздухе над головами публики. Будь то духовные или светские игры, в их неизбежных финальных апофеозах воздушное пространство стало своеобразной сценой поверх обычной сцены.⁶⁰³ Синхронные оптические обманы потолочной

⁶⁰² *Francis Bacon. Neu-Atlantis. Stuttgart, 1982. S. 53.*

⁶⁰³ См.: *Richard Alewyn. Das große Welttheater. Die Epoche der höfischen Feste. München, 1989. S. 67.*



Соревнования аэронавтов в Альпах.

росписи приглашали публику в путешествия по вертикали. Все эти оккупации пространства высоты были уже необратимы. Даже танцы предреволюционного периода давали понять, что Земля более не могла без сопротивления реализовывать свои старые права на притяжение тел; размеренный шаг сменила культура парящих движений и прыжков.

Около 1750 года какой-нибудь афорист вполне мог бы утверждать, что антигравитация, эlegantность и машина представляют собой главнейшие тенденции эпохи. Феномены говорили сами за себя: разве весь XVIII век поэтически и технически не бредил «искусством воздухоплавания», *navigation aeriennе*, машинами Дедала и аэростатическими шарами? В самом деле, разве накануне Французской революции не настал момент, когда люди ощутили себя созревшими для эмансипации своего бытия от привычной печальной тяжести и для похищения

у богов их последней привилегии, чистого каприза? Успешная демонстрация наполненного горячим воздухом воздушного шара братьев Монгольфье, состоявшаяся 19 сентября 1783 года в версальском дворце в присутствии Людовика XVI, стала официальным сигналом к началу левитации — торжественным событием, в ходе которого овца, петух и утка стали первыми сухопутными животными, поднявшимися на высоту более ста двадцати метров (овцу поселили в королевских конюшнях, и в течение всей своей жизни она была окружена почтительной заботой, как это и подобало свидетелю прогресса). В этот момент политика антигравитации совершила эпохальный скачок и стояла на пороге создания своих собственных средств и машин в форме республиканизма и воздухоплавания, эстетики и терапии, индустрии и телекоммуникаций. Разве не Жак Александр Сезар Шарль, первый человек, 1 декабря 1783 года поднявшийся на борту наполненного водородом шара на высоту 3500 метров, писал днем спустя в «Journal de Paris»: «Никогда и ничто не сравнится с тем мгновением радости, охватившей мое существо, когда я почувствовал, что улетаю от земли...»? Толпа на земле также была опьянена подвигами пионеров и славилась воздухоплателей как истинных героев эпохи; она интуитивно понимала, что здесь затрагиваются ее собственные интересы. Казалось, человечество, представленное своим авангардом в корзинах, подвешенных под устремленными в небеса шарами, нашло способ покончить со своей врожденной неспособностью летать. Герой Жан-Поля, воздухоплатель Джианноццо, жил в гондоле воздушного шара и, как прагматичный юморист, витал в вышине во время ночного сна. Однако факт, что этот отрешенный наблюдатель оставшегося внизу мира в конце концов попал в бурю, упал на землю и сломал себе шею, свидетельствует о том, что писатель, отшатнувшись от собственного сооткрытия антигравитации, в последнее мгновение прибегает к помощи икарического клише, предоставляя последнее слово ко-

Варной силе тяготения. Даже спустя столетие после первых полетов монгольфьеров и шарльеров Ницше в «Веселой науке» скажет о свободных духом друзьях экспериментальной жизни: «Мы, воздухоплаватели». Итак, тому, кто не желает говорить о подъеме, следует молчать и о современности.

Чтобы оценить антиромантический (и антигравитационный) гнев Гегеля, необходимо разглядеть в нем раннеспелую форму современного консерватизма. Он мотивирован верным ощущением, что так называемые романтики, новые легкомысленные и скучающие, поливалентные и нерешительные, эти метафорические аэронавты и парящие в ироническом пространстве предприниматели, более не намерены рассматривать свои левитированные и празднично-бесцельные настроения как патологические временные состояния, от которых следует отказаться, как только мы вновь обретем под ногами твердую почву; впрочем, этот процесс сопровождался несколькими сенсационными переворотами в жизни представителей поколения поначалу игравших со всем и вся «детей субъективности». Столь болезненная для Гегеля острота романтической атаки заключалась в том, что с ее помощью легкое полагало себя для себя. Философ явственно ощущает, что здесь начинается ревизия старых мер и весов для серьезных оценок. Кроме того, для него очевидно, что в современном модусе переживания скука эмансипируется в качестве обладающего самостоятельной ценностью феномена: внутреннее время отрывается от объективных целей, так что появляется свободно дрейфующее, бесцельное, в позитивном смысле безработное сознание, мечущееся от каприза к случайности и обратно к капризу, — это можно было бы назвать рождением больших каникул из духа перечеркнутых конечных намерений. Неудивительно, что такой мыслитель, как Гегель, который все, признаваемое им действительным, рассматривал как интеллигибельное лишь с точки зрения очевидным образом исполненного понятийного за-

вершения, видел в таких подходах не что иное, как распространение безосновательного произвола на объективированный мир. В проявлениях левитирующего духа, словно бы ведущего божественную игру с самим собой и материей мира, он видит лишь «пошлость», которая, по его словам, неизбежно захватывает власть, «если при этом недостает серьезности, страдания, терпения и работы негативного».⁶⁰⁴ Сколь бы близким в целом ни было родство между иронией и диалектикой, Гегель стремится обратить деятельный непокой, который и есть самость,⁶⁰⁵ в серьезное круговое движение и целенаправленную трудовую активность. Поэтому свобода должна смириться со своим преобразованием в осознание необходимости, словно она лишь на одну шальную секунду вынырнула из субстанции, чтобы затем, как будто ее охватило раскаяние и разочарование, сразу же вновь погрузиться обратно в необходимость, закономерность, самоограничение. Никогда брожение живого не должно перерасти в бесцельное движение; никогда подъем не должен следовать своему собственному, произвольно выбранному направлению. Для Гегеля неприемлемо и романтическое короткое замыкание между переживанием и смыслом человеческого бытия, артикулированное в письме лорда Байрона к своей невесте (1813): «Великая цель жизни — это сенсация, благодаря которой мы чувствуем, что мы существуем, пусть даже и в муках». Для мыслителя такие движения и побуждения могут быть лишь движениями и побуждениями дурной бесконечности; их психологическое следствие — больная самость, спасающаяся от своей бездеятельности и безмирности в самонадеянности и напряжении.

Но высвобождение осознающего самого себя легкомыслия было возможно лишь в горизонте такого «общества», которое благодаря аккумуляции благосостояния,

604 G. W. F. Hegel. *Phänomenologie des Geistes*. S. 24.

605 *ibid.* S. 26.

научных и технических достижений уже было готово к уходу из пространства истории, понимаемой как история тяжкого труда и конфликтов, то есть пребывало в состоянии, с высокой точностью и пьянящей опрометчивостью предвосхищенном за письменными столами ранних романтиков. Поэтологическая доктрина Новалиса о потенцировании случайного могла возникнуть лишь при такой конstellации, которая в результате перелома, внесенного Кантом и Фихте, освободилась от диктата внешней объективности как от утратившего свою силу предрассудка. После крушения онтологического *ancien régime* стали слышны новые нотки:

«Все случаи нашей жизни — это материалы, из которых мы можем создавать то, что пожелаем. В ком много духа, тот многое и создаст из своей жизни; для абсолютно духовного человека каждое знакомство, каждый инцидент был бы первым членом бесконечного ряда — началом бесконечного романа. (...) Человечность — юмористическая роль».⁶⁰⁶

Не следует воспринимать констатацию преждевременности таких проектов, как возражение против них. Точно так же вновь и вновь дающую о себе знать муть реального нельзя путать с опровержением антигравитационных тенденций, ведь даже консерваторы с удовольствием интегрируют их в свое видение вещей, а они испокон веку верили в падение, а не в полет. Когда Икар упадет в море, они будут теми, кто всегда это знал. Пессимизм тогда обнаруживает свою слабость, свое родство с мстительностью, когда он проявляет желание одолеть стремление к знанию. Так, стало быть, больше никаких разрешений на взлет для последователей Икара? Еще в знаменитой фрейдовской связи между эрекцией и «преодолением силы тяготения» можно было разглядеть веру в

⁶⁰⁶ *Novalis. Werke / Hrsg. von Gerhard Schulz. München, 1969. S. 336 (Vermischte Bemerkungen «Blüthenstaub». N 65, 62).*

то, что после таких мятежей последнее слово остается за земным притяжением.

Тем, что действительно породила романтическая ирония и искусство легкого отношения ко всем вещам на высшем уровне, стала сомнительность традиционного понятия действительности вместе с его обоснованием в устаревшей одновалентной онтологии; она вылилась не только в кризис «западной телеологии»,^{607 608} но и в ликвидацию свойственного высокоразвитым культурам понятия реальности. Самыми очевидными техническими методами для этого были воздухоплавание, использовавшее подъем вверх, и космический полет, открывший земным телам доступ к невесомости. Отныне в воздухе носится не что иное, как *конец силы тяготения*.⁶⁰⁶ Прорвал смертный час онтологического примитивизма, способного говорить лишь об одном, о необходимом. Новая эпоха — это эпоха усталости субъективности от издавна почитаемых дефиниций серьезного мира. В эту эпоху начинается инфильтрация легкости и многозначности в монотонную тяжесть субстанции. Ведь свобода есть нечто большее, чем осознанная необходимость: она делится между нагружающими и разгружающими силами.

В этом месте становится ясно, в чем заключаются эмпирические интересы плюралистической сферологии: она заинтересована в том, чтобы с помощью новых средств описания приблизиться к реконструкции кон-субъективных или сюрреальных анимированных пространств. Использование понятия разгрузки открывает возможность климатологического истолкования поливалентной реальности, в фокусе которого находится оживление ячеек жизненного мира антигравитационными тенденциями. С этой точки зрения современность оказы-

⁶⁰⁷ См.: *Daniele del'Agli. Abendländische Teleologie. Kritik einer Obsession. Magisterarbeit. Berlin, 1993.*

⁶⁰⁸ «The End of Gravity»: киносценарий Дэна Симмонса и Андрея Ужика; см. в: *Worlds Enough and Time — Five Tales of Speculation. New York, 2002.*

вается расширенным транскультурным экспериментом в области левитации — с акцентом на вспенивание реальности в результате проникновения подъемно-силовых моментов в комплекс, в котором господствует сила тяжести. Теперь следует признать, что предпосылкой понятия цивилизации является понятие антигравитации; оно подразумевает иммунизацию от тяжести, сверхтяжести, испокон веку не парализующей человеческую инициативу. Оно протестует против сдвинутых с места гор. Повороту к облегчению — в рамках тенденции к типичной для эпохи экспликации иммунных техник — в свою очередь необходимо придать недвусмысленную определенность.

После того как дедукция культур из состояния коллективного стресса и являющегося его закономерным результатом группового декорума в общих чертах осуществлена (еще раз сошлемся на открывающие огромные перспективы работы Хайнера Мюльманна и Безона Брока), может быть описан и цивилизационный смысл контр-стрессорных моментов. Об эмпирическом триумфе антигравитационных течений может свидетельствовать и то наблюдение, что во всех областях, где действует рыночный механизм и имеет место инновационная ревизия, нехватка чего-либо превратилась в весьма дефицитное благо. Если бы дело обстояло иначе, не могло бы существовать конкуренции за использование таких ресурсов, как нужда, влечение, потребность, — ни на материальном, ни на символическом уровне. Как известно, в развитой сфере потребления предложение избыточно, тогда как способные сформировать спрос потребности представляются все большим и большим дефицитом.⁶⁰⁹

609

Даже для индустрии реагирования на аварийные ситуации в узком смысле слова с некоторых пор характерен примат предложения: количества несчастных случаев, происходящих в немецких городских агломерациях, недостаточно, чтобы задействовать все мощности официально аккредитованных служб спасения, таких как Красный Крест, Рабочий союз самаритян, Промедик и т. п. Еще более показательны по-

Постоянно — несмотря на все отступления и обесцениения — аккумуляющиеся в течение последних двух столетий антигравитационные эффекты, вызванные избытком цивилизационных средств, запустили процесс ревизии понятия реальности, расшатывающий основы солидного, тяжелого, необходимого. В соответствии с данной нами в начале этого тома дефиницией пены модернизированное социальное поле в целом может быть описано как многокамерная система, состоящая из вздымаемых подъемной силой ячеек — *vulgo* «жизненных миров», в которых симбионты благодаря доступности средств облегчения извлекают выгоду из антигравитационных эффектов. Симбиотические пространства конституированы конкомфортабельно, конфривольно, конделирантно, конюмористично, а также, как правило, конгипокритично и конистерично. Поэтому они не защищены от миметической инфекции и вспышки параноидных эпидемий. Если мы придаем климатологии столь большое экзистенциальное значение, то потому, что в силу философских причин необходимо ставить вопросы, выходящие за рамки вопросов о технических климатических приборах и возможных модификациях физически конкретных условий дыхания: осмысления требует температура бытия-в-мире вообще, настройка *Dasein* между полюсами отягощения и облегчения. Так что такое теперь пена — дыхательный воздух в неожиданном месте?

Здесь следует отметить, что первооткрыватель мирораскрывающих настроек в философском контексте, Мар-

ложение в экономике утилизации отходов: поскольку на немецких производственных предприятиях и в домашних хозяйствах производится далеко не достаточное количество мусора для экономически рентабельного функционирования имеющихся в наличии предприятий по его утилизации, между компаниями, занимающимися ликвидацией мусора, как правило, имеющими коммунальную поддержку, разгорается борьба за «грязное золото». Тем не менее смелые гражданские инициативы по-прежнему вдохновляются возможностью уменьшения количества отходов.

тин Хайдеггер, совершенно иначе устанавливал критерии для оценки легкого и тяжелого: в этом отношении он был собратом Гелена по авангардно-консервативному духу. Сколь современными ни были бы хайдеггеровские рецепты разгружающих потоков в климатическом хозяйстве модернизированной экзистенции, он — как в силу своего габитуса, так и своего пафоса — недвусмысленно высказывался против левитационной тенденции и — еще полностью в духе староевропейского героического мироощущения — выводил достоинство Dasein из призывания к суровому, тяжелому; необходимому. Подобно Геркулесу на распутье, истинный философ выбирает неудобное решение. Однако, как и у Гелена, этот вотум волюнтаристски окрашен — и здесь каприз вновь опережает необходимость. В данном случае героический мыслитель в своем рвении готов даже превзойти традицию. Впрочем, это доказывает лишь то, что первооткрыватель (точнее, экспликатор) не обязан выводить «прогрессивные» следствия из своего открытия.

Выбор в пользу сосредоточенности, серьезности и тяжести (на фоне в высшей степени обостренного понимания значимости и вездесущности таких экзистенциалов, как рассеянность, легкомыслие и нерешительность) отнюдь не могут быть необходимым образом выведены из своеобразной хайдеггеровской феноменологии настроений. При более внимательном рассмотрении выясняется, что понофилические, основывающиеся на апологии усилия и враждебные тенденции к облегчению оценки — как у Хайдеггера, так и у Гелена, Шмитта и им подобных авторов — насквозь пронизаны предрассудками и духом децизионизма; они могут корениться разве что в декоруме староевропейского героизма. Эти протагонисты реализма в расколдованном мире обладали обостренным сознанием того, что в условиях их собственной эпохи рассеянность является куда более масштабным феноменом, чем сосредоточенность. Аналогичным образом им должно было бы стать ясно, что легкомыслие существенно

богаче серьезности, а нерешительность — решения, и наконец (и здесь мы прикасаемся к горячему ядру современности), что освобождение от занятий охватывает более сложное поле состояний, оценок и экзистенциальных шансов, чем занятость.

Лишь добровольный выбор может ввергнуть нас в сердцевину реального. Не нужда велит, а мы сами выбираем трудность. Это понимал Муссолини, объяснявший *fascismo** как ужас перед уютной жизнью. В безграничной популярности спорта, отмеченной диагностом своего времени Освальдом Шпенглером еще до 1914 года, артикулируется истина современной эпохи: в ней повелевающая нужда заменена выбранным усилием; за страстью следует деревянная лошадка; игра потеснила труд, а то, что выступает в качестве труда, есть излишество, состроившее серьезное выражение лица; биржи труда уже давно могли бы называться биржами имитации труда. Повсюду каприз господствует над необходимостью. Лишь в угоду привычной онтологической форме высвобожденные силы сковывают себя и прикидываются такими глупыми, как того хотела бы необходимость; до конца верные своему долгу, они делают вид, что служат в высшей степени серьезным и обязательным целям.

Важнейшая информация об инверсии признаков легкого и тяжелого исходит из экспрессивных миров, в которые облекается популярная неоатлетическая готовность к усилию: именно поскольку цивилизованные, технически разгруженные жизненные формы уже практически никогда всерьез не требуют от индивидов выхода за свои границы (так что *summa summarum* они хронически разгружены от реакции на мощный стресс, вызываемый реальной угрозой их физическому существованию), многие из них намеренно выбирают новую нагрузку, и не потому, что верят в необходимость своего участия, а потому, что — латентно иронично — отстаивают свое право

* Фашизм (ит. ал.).

на повышенное усилие и опасность;⁶¹⁰ мы могли бы называть это эндогенным аппетитом к чрезвычайным ситуациям: исчерпавшие себя героические программы наполняются измененным содержанием. То же самое относится и к повышенным моральным притязаниям; в течение долгого времени они также не могут оставаться удовлетворенными своей свободой творить что угодно. Они отнюдь не безоговорочно признают свою эмансипацию от необходимости. Поэтому в спорте, в потреблении, в предпринимательстве, а с недавних пор и в социальном активизме осуществляется соединение труда и игры, ведущее к совершенно иным результатам, чем могли предвидеть Шиллер и Маркузе.

Из родственного духа умышленного самоотягощения фундаментальные онтологи вывели свое право на вовлеченность в самые значительные вопросы эксплицированного бытия. Хайдеггер лукавил, когда говорил о «неизбежном»; цена отказа от удобств современной рассеянности ради альянса с полюсом тяжести не казалась ему слишком высокой. Здесь можно увидеть жест, сравнимый с христианской тягой к мученичеству Симоны Вайль, нашедшей свое выражение в соответствующей доктрине: «После согласия на смерть согласие с законом, обрекающим на труд ради поддержания жизни, является самым совершенным актом повиновения, который дано совершить человеку».⁶¹¹ Это означает: поскольку физический труд есть ежедневная смерть, он должен стать духовной сердцевиной социальной жизни. Не нужен психоаналитик, чтобы увидеть в такого рода жестах симптомы первичного мазохизма, выражающегося в обращенной вовнутрь сдержанной ярости или в болезненном стремле-

⁶¹⁰ Так, Рудольф Борхардт (по свидетельству Теодора Лессинга) говорил после Первой мировой войны: «Эта война была необходима, чтобы доказать, что я не трус» (*Theodor Lessing. Einmal und nie wieder. Lebenserinnerungen. Prag, 1935; 1969. S. 319*).

⁶¹¹ *Simone Weil. L'enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain (1949). Paris, 1962. P. 378.*

нии к строгому обращению с самим собой.⁶¹² Ницше: «Человек испытывает истинное сладострастие, насилуя себя чрезмерными требованиями...»⁶¹³ Едва ли можно отрицать, что эти феномены словно созданы для описания на адлерианском жаргоне, — причем они представляют собой не столько органические неполноценности, компенсирующиеся высокими достижениями, сколько экзистенциальные настроения незначительности и ненужности, противоположность которых постулируется бегством в необходимое.

Спорт высших достижений и возвышенные философии XX столетия объединяет то, что они имеют смысл, если понимаются как высказывания о состоянии левитации. Наморенное стремление к рекорду и победе как произвольный выбор обязанности и нового бремени свидетельствует о том, в какой степени сама освобожденная жизнь вынуждена заботиться об инвестировании своих смысловых излишков. Там, где отсутствует повелевающая нужда, индивиды могут и должны выбирать свои критические ситуации на всевозможных фронтах. Спорт и увлеченность суть эманации глубинного своеволия, при котором усилие ставится на службу избыточному. Легкомыслив взваливает бремя на свои плечи. Факт, что высокие ставки нередко окружены аурой сакральной серьезности, позволяет увидеть лишь обратную сторону свободного выбора реальности. Когда разбиваются гонщики и парашютисты, как правило, считается, что серьезный конец компенсирует легкомыслие. Разве ницшевский Заратустра не похоронил собственными руками канатного плясуна, превратившего опасность в свою профессию?⁶¹⁴

612 См. также: *Robert Pfaller. Die Illusion der anderen. Über das Lustprinzip in der Kultur. Frankfurt, 2002.*

613 Человеческое, слишком человеческое. III, § 137.

614 К истолкованию феномена серьезного занятия людей чем-то в высшей степени несерьезным следует привлечь наблюдения Хейзинги об абсорбции игроков игрой. Психологическая теория фанатичной позиции как сверхкомпенсированного децизионизма также могла бы кое в чем здесь помочь.

Мы сможем составить косвенное — отраженное в зеркале теории — представление об огромном прогрессе в развитии левитации, если сравним гегелевский предварительный диагноз, согласно которому легкомыслие и скука являются симптомами начинающейся современной эпохи, с теми радикальными выводами, которые в кульминационный период своего творчества (1926—1930) сумел сделать Хайдеггер при осмыслении тем рассеянности и скуки. Для него было несомненным как то, что при обращении к этим мотивам он касается эмоционального ядра эпохи, так и то, что его миссия заключается в том, чтобы вернуться преображенным после падения в бездну современной несерьезности. После опыта пустоты он будет способен, по его собственному убеждению, указать путь наверх; после размышлений о неизбежной рассеянности следует двигаться вперед, к новым формам собранности и одержимости обязательной для исполнения работой. Известность курсу лекций зимнего семестра 1929/30 гг. «Основные понятия метафизики» принесла прежде всего развернутая в нем сенсационная феноменология скуки, о которой не будет преувеличением сказать, что она стала самой глубокой теорией современности, которую смогло произвести на свет XX столетие. Согласно Хайдеггеру, в его сердцевине находится левитировавшая экзистенция, самый заметный признак которой составляет невозможность быть чем-либо полностью захваченным. Человек воспринимает себя как пустую и легкую форму, которую не наполняет никакое содержание; вокруг не видно ничего, что возвысило бы *Dasein* до уровня реального.⁶¹⁵ Здесь понятийно экспонируется невыноси-

615

Об отражении этих наблюдений в постмодернистском психоанализе см.: *Charles Melman, Jean-Pierre Lebrun. L'Homme sans gravité. Jouir à tout prix. Paris, 2003.* В диагностике времени, которой занимаются новейшие исследователи, бросается в глаза антииронизм и поиски опоры в собственной тяжести и плотности. См.: *Jedediah Purdy. Das Elend der Ironie. Hamburg, 2002; Camille de Toledo. Archimondian, Jolipunk. Confessions d'un jeune homme à contretemps. Paris, 2003.* Последняя работа представляет собой автобиографическую книгу, в которой по-

мая легкость бытия: в данном случае она означает «бедствие безбедственности». Это выражение дает первое ясное философское представление о развитом обществе потребления. Как часто консервативный дух держал руку на пульсе эпохи, озаряясь тем, что он отвергает! (Макс Фриш: «Это было не страдание, не бедствие, которого он раньше боялся; это была лишь пустота, и это было нечто худшее, существование выбивалки для ковра».⁶¹⁶)

От неловкости, сопровождающей облегчение, никуда не денешься: поскольку в разоруженном Dasein отсутствует внутреннее ощущение чрезвычайной ситуации, субъект чувствует себя обреченным на бессодержательную разгрузку. Его легкость примечательным образом досаждаст ему — или, точнее, он ощущает, что его тревожит нечто, что могло бы ему досаждать. Он безразличен самому себе — и по праву, ибо, чтобы он ни предпринимал в своей настоящей жизни, для него не может быть ничего действительного. Недостаточно захватывающая жизнь наводит скуку, что означает: мы воспринимаем свое собственное время как некое внутреннее протяжение, которое кажется чрезмерным, ибо оно не наполнено осмысленными действиями. Оно переживается как мучительная длительность перед наступлением следующего события, которое нарушило бы неподвижность. Пример: многочасовое ожидание поезда на провинциальном вокзале. Однако недостаточная заинтересованность простирается гораздо дальше. Животное, у которого нет никакой миссии, на ощупь пробирается сквозь туман; многое возможно, ничто не убедительно. Поскольку я ничем не одержим, я хватаюсь за многое. В искусственном воодушевлении я апеллирую к тому безотлагательному, которое, как мне кажется, взывает ко мне: покончи со мной!

иски точки опоры проходят сначала через хронотоп массового дендизма, затем через разжиженный шизоидный делёзианский хронотоп, чтобы завершиться в эре «новых инкарнаций» («я тяжел, я плотен»).

⁶¹⁶ Max Frisch. Die Schwierigen oder J'adore ce qui me brûle. Zürich, 1957. S. 269.

Я обращаюсь к занятым, агентам важного, активным. Если вы ищете фронтмена, он здесь! Всмотревшись пристальнее, я должен буду признать: и «...это были лишь орнаменты моей дремоты».⁶¹⁷ Сама занятость оказывается формой рассеянности. Растягивая ощущение времени в блеклую ширь, незаинтересованность разлагает концентрацию на существенных объектах. Результат: невозможность сосредоточиться на каком-либо одном действии. Если не удастся убить время даже при поверхностной скуке, то при глубокой скуке оно буквально останавливается в *Dasein*. В силу этого последнее утрачивает признак своей экзистенциальности: способность собираться с силами для внятной деятельности. Плохое настроение становится все более интенсивным, пока самость не утратит свои контуры. Однако Хайдеггер не думает останавливаться на пол пути. Там, где было деятельное *Dasein*, появляется глубочайшая скука. Она есть бьющая в сердцевину жизни невозможность обладать каким бы то ни было проектом.

Когда кто-либо видит в себе только дитя рассеянной и облегченной эпохи и, кроме того, в глубине души ощущает себя проигравшим, у которого ничего не осталось, — ему становится так скучно, что уже совершенно невозможно сказать, кто этот человек, на чью долю выпадает утрата. Как сильный страх способствует потере мира (и по контрасту еще больше привлекает внимание к тому чуду, *что нечто существует*), так глубокая скука приводит к уходу от самого себя. *A contrario** * она может высветить утраченное: сгущение времени в осмысленном действии.

Погружаясь в последнее отчуждение, Хайдеггер касается патологического предельного значения разгрузки, при которой у испытавшего ее пропадает чувство собственной экзистенции, в результате чего он начинает вое-

⁶¹⁷

Peter Handke. Leben ohne Poesie, 1972 // Peter Handke. Als das Wünschen noch geholfen hat. Frankfurt, 1974. S. 15.

* От противного (*лат.*).

принимать себя как интимно-индифферентный факт. Теперь моя подлинность может быть описана как полное отсутствие у меня бытия. Глубокой скуке сопутствуют лишь те обстоятельства, в которых не может обитать никакая самость; тот, кто погружен в глубокую скуку, представляет собой реально экзистирующую инэкзистенцию. В ней бушует боль безболезненности. Инэкзистирующая экзистенция подобно своего рода негативно-му атланту несет на своих плечах всю невесомость универсума. Невыносимо легок тот мир, который перенес ампутацию моего темпорального сердца, моей живой теперь-чем-то-занятости.

Несомненно, философ не требовал бы от своих слушателей этого *descensus ad infero*,* если бы он не рассчитывал высечь в них искру для нового подъема. Смысл размышления был откровенно диалектичным, оно должно было высвободить «позитивную силу негативного», чтобы из состояния пониженного напряжения вернуться к эффективной одержимости так называемым необходимым. Таким образом, у Хайдеггера, как позднее и у Сартра, радикальное освобождение от занятий предшествует занятости — с тем различием, что мастер из Германии конструирует способную к занятости и пригодную к труду экзистенцию на окольных путях воскресения из глубочайшей скуки. Можно добавить: в немецкой форме скуки образца 1929 года таится немецкая форма поражения образца 1918 года. Разумеется, описанная Хайдеггером глубочайшая жизненная опустошенность представляет собой синдром проигравшего, проявляющийся у популяции, утратившей ориентацию на вознаграждение за успех и победу. Поэтому в этих теориях дает о себе знать элемент трагического армейского руководства — вместе с атмосферой реванша на самом высоком уровне. Много побежденных, мало избранных, для того чтобы превратить поражение в особого рода победу.

* Сошествие в ад (лат.).

Поворот должен вести от опустошенности в разгрузке к новому обременению чем-то эпохально важным, необходимым; он связан с признанием терапевтической ценности важного дела. От обнаружения ничтожного ничто в пустом времени *Dasein* поднимается к острой радикализации экзистенции во времени творчества. Жаль, что вскоре Хайдеггер проиллюстрировал свои размышления столь неудачным примером. Он мог бы подать правильный пример, если бы последовал «зову» левитации и встал бы под знамена демократии и невесомости.⁶¹⁸ Такая возможность не предусматривалась его формулировками и проектами. Она предполагала бы изменение его профессиограммы и потребовала бы переквалификации из визионера в интеллектуала; это означало бы согласие с тем, что современные люди должны отказаться от фальшивого мандата необходимости.

4. *YOUR PRIVATE SKY*: * МЫСЛИТЬ ОБЛЕГЧЕНИЕ

Если для проектов Хайдеггера и Гелена характерно стремление уклониться от антигравитации и деконтракции жизненных условий современного общества потребления, то развитие конструктивизма и функционализма после 1945 года возвестило о новой парадигме мышления, в которой с самого начала заметна ее — как хронологическая, так и стилистическая — принадлежность к эпохе левитации. Если угодно, в конструктивистском по-

⁶¹⁸ Самую близкую аналогию к этому экзерсису мы находим в главе, посвященной совести, прекрасной душе, злу и его прощению, гегелевской «Феноменологии духа». Согласно Гегелю, зло должно полностью развернуться как знающий самого себя бунт единичного, прежде чем Бог сможет возвестить о себе или субъект окажется способным поступить на службу всеобщего. Великая дидактика Гегеля предполагает, что она может зафиксировать образовательный смысл зла и замкнуть отчаяние в *curriculum*. См.: *Ernst Behler. Klassische Ironie, Romantische Ironie, Tragische Ironie. Zum Ursprung dieser Begriffe. Darmstadt, 1972. S. 113—115.*

* Твое личное небо (англ.).



Йозеф Бойс. *Levitazione in Italia* (Левитация в Италии). 1973 г.

вороте можно увидеть калифорнийский вклад в новейшую духовную историю — причем Калифорния, как прежде Швабинг, означает не столько территорию, сколько ментальное состояние, которое можно обнаружить как на тихоокеанском побережье США, так и в Иллинойсе или в Билефельде. Близкая связь нового подхода с прогрессирующей левитацией обнаруживается прежде всего в высказываниях философского ментора конструктивистского течения Хайнца фон Фёрстера (1911—2002), которого отнюдь не безосновательно называли Сократом кибернетики. Его эристические и диалогические процедуры выливаются прямо-таки в своего рода критику тяжелого разума. Главная заслуга Фёрстера состояла в объяснении того процесса, который порождает «онтологическую» видимость тяжести. Он доказал — отметим, что это доказательство было предвосхищено в философии Фихте, — что тяжесть объективного есть не что иное, как результат незаметной экстернализации. Объекты становятся чрезмерно тяжелыми, когда они кладутся на чашу весов для оценки реальности без противовеса субъективного. Если тяжелый объект уравновешивается невесомым субъектом, неизбежно перевесит та чаша весов, на которой помещается объект. Этот метод оценки является основной операцией классических субстанциальных учений и одновалентных онтологий. В них субъект непосредственно противостоит глыбе объективного и якобы располагает лишь возможностью подчиниться данному — жест, предполагающийся в классических теориях познания, редуцирующих знание к отображению сущего в субъективной среде. Такая аранжировка позволяет людям завуалировать факт, что самим себе они приписали невесомость, а объектам — тяжелый вес: тяжесть — господин, и человек, желающий быть причастным господству, должен выступать в качестве представителя силы тяжести. Разве что мы найдем какой-нибудь иной способ распределения веса.

Если мы вновь открыто введем в процесс наблюдателя с его дифференцирующей активностью и ответствен-



Шарлотта Буфф. *Трансформации XXV*. Иллюстрированные журналы, хозяйственные сетки. 1992 г.

ностью за проведенные им различия, то он перестанет быть *quantité négligeable*;* он вернется на арену в качестве самостоятельной действующей величины среди прочих величин (прежде всего, если он будет иметь в распоряжении машины, с помощью которых могут передвигаться даже физически самые тяжелые объекты). Вес вещей — это конструктор, формирующийся в процессе обращения с ними; как таковой он доступен тактическим модификациям. А следовательно, необходимо признать, что человек, за что бы он ни брался, всюду встречается со своими предвосхищениями. После осуществления конструктивистского поворота он должен знать: то, что называют тяжестью и легкостью, есть не что иное, как резуль-

* Незначительное количество (*фр.*).

тат уравниваемости или неуравниваемости веса и противовеса.

Из этого вытекает моральная максима конструктивизма: во всем способствовать зримости свободы и ясности избираемых решений. Тот, кто следует по этому пути, не может терпеть никаких экстернализаций; он более не станет признавать авторитета утверждений, ссылающихся на объективное внешнее. Фразы, содержащие такой компонент, как «имеется...», преобразуются в высказывания, начинающиеся с «я полагаю, что...». Не слишком категорический императив Фёрстера гласит: «Всегда поступай так, чтобы росло количество возможностей». ⁶¹⁹ Кибер-Сократу не приходит в голову понимать богатство альтернатив как бремя. Там, где открыто множество возможностей, самые болезненные ситуации кажутся доступными терапевтической коррекции, по крайней мере в том смысле, что тот или иной нежизнеспособный конструкт реальности может быть заменен каким-нибудь менее невыносимым конструктом. ⁶²⁰ Отныне там, где утверждается внешняя реальность, хорошие интеллектуальные манеры требуют, чтобы к имени автора и году выхода в свет добавлялись сведения о том, о каком по счету издании идет речь. Обмен комфорта на необходимость открыто признается деловой основой эксперимента «современность».

Перед лицом судьбы известных до сих пор доктрин эмансипации — догматизации собственных притязаний (а тем самым приближения благожелательной критики к якобинскому полюсу) — конструктивистское мышление может защитить себя, сохраняя по отношению к самому себе определенную сдержанность. Этого можно достичь

⁶¹⁹ *Bernhard Pörksen. Abschied vom Absoluten. Gespräche zum Konstruktivismus. Heidelberg, 2001. S. 40.*

⁶²⁰ По поводу этой формулировки см. высказывание Лумана: «Испытания заключаются в терапии, пытающейся достичь менее болезненных решений и даже заботящейся о свободе в вопросах реальности» (*Niklas Luhmann. Die neuzzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie. Wien, 1996. S. 45*).



Джеффри Шоу. *Waterwalk (Прогулка по воде)*. 1969 г.

только путем постоянной тренировки умения дистанцироваться от самого себя или освободиться от собственной тяжести. Диалогический юмор Фёрстера корреспондирует с концепцией иронического разума Лумана, по методическим и моральным причинам запрещающего себе серьезность в своих собственных вопросах. «Самокритичный разум, — говорит Луман в одном великолеп-⁶²¹

⁶²¹ Ibid. S. 46.

ном месте, — есть иронический разум».⁶²¹ Антигравитационное измерение иронии становится вполне доступно теоретической культуре, как только «она оказывается способна отойти от своей собственной веры в реальность, а следовательно, начинает не верить в самое себя».⁶²² Предостерегая от аутосуггестивного момента, присущего любой форме веры в реальность, Луман — как бывший романтик, повзрослевший благодаря урокам XX столетия, — занимает позицию, которую можно рассматривать в качестве антитезы к чаемой Хайдеггером иммерсии в тяжелый фатум (и, разумеется, как протест против пронизанного крепкой верой в самого себя морального ригоризма и против почти никем не замечаемого левого фашизма, рядящегося в универсалистские одежды и всегда досконально знающего, чего хотят, чем являются и в чем нуждаются люди).

Открытие легкости, в течение XX века материал изовавшееся в различных системах заботы о Dasein, имеет двойное значение для теории сферических отношений: во-первых, как предмет исследования, а во-вторых, как предпосылка ее собственного появления на свет. Лишь после тематизации легкости мы можем описывать одушевленные пространства сосуществования с точки зрения гравитации. После утверждения атмосферного в качестве категории (в качестве онтологически-публичного измерения) все человеческие факты представляются *sub specie** * разгрузки. Теперь в антигравитации можно видеть «фундаментальный» вектор, точнее, тенденцию, направленную против такого измерения, как фундамент. В результате выясняется: культура была бы невозможна без вознесений к небесам ничем не отягощенного сознания. Если реалистическая серьезность с давних пор заявляла, что она представляет собой и знает то, что есть на самом деле, то будущее реалистическое мышление исхо-

622 Ibid. S. 45.

* С точки зрения (лат.).

дит из понимания: антигравитация серьезнее всего, что когда-либо было сформулировано консенсусом относительно так называемого основополагающего.

В результате картина человеческой истории меняется как по стилю, так и по сути: если традиционные «всемирные истории» довольствуются тем, что сопровождают движение «культур» и этносов по рельсам, проложенным их собственными нуждами и внешними стрессорами, то сферологически информированная историография изображает моменты подъема, избытка и свободного дрейфа во внутренних областях антропогенных островов — и именно потому, что теперь мы в принципе знаем, что всегда имеем дело не с испытывающими постоянные затруднения недостаточными существами, а с избыточными существами, ориентированными на комфорт, роскошь интимности, привилегии инфантильности, фазы разгрузки в бодрствующем состоянии и снабжение раздражениями. Сомнительное выражение *conditio humana* отражает тот факт, что эти избыточные творения на самых длительных отрезках своего исторического существования сталкивались с проблемой вынужденного самоограничения. Сколь односторонними приходилось им быть, чтобы обеспечить свое выживание; сколь многое из своего потенциала пришлось свернуть, чтобы сохранить себя в повседневной жизни; сколько ошибочных описаний своей природы — от первородного греха до безграничного вожделения — они вынуждены были терпеливо снести, чтобы выполнить свою задачу адаптации к самым различным мировым ситуациям! «Взросление» — один пароль для объяснения такого положения дел, «интериоризация жертвы» — другой, гипертрофия чувства действительности за счет чувства возможности — третий. Универсальная история легкомыслия могла бы привести доказательства того, что в тяжелых условиях реализма бедности повсюду образуется огромное количество разгруженных ячеек и климатических островов, каждый со своим собственным секретом хорошего настроения. Несомненно,

способность культур к выживанию основывается не только на (односторонне подчеркиваемых Геленом) стабилизационных функциях их символических порядков или институтов, но в той же мере и на незаметной, едва ли воспринимаемой распространенными теориями культуры левитационной работе, благодаря которой обитатели антропогенного острова создают себе пространство для дыхания. Именно эти процессы, по всей видимости, скрываются под сюрреальным титулом: открытие воздуха посредством вдоха.

С помощью категории разгрузки и открытой при ее посредстве эмпирии можно показать, что так называемый — начиная с Фрейда — принцип реальности формируется отнюдь не только благодаря опыту, полученному растущими детьми в результате столкновения с жесткостью, сопротивлением и неподвластностью объектов. За доступ реального в жизнь разума в той же мере ответственны и те феномены облегчения, которые обнаруживаются в процессе контакта с вещами: возможность пережить сопротивление, обойти препятствие, отсрочить трудность, истолковать по-иному недостаток, оспорить обвинение, переформулировать упрек, упростить задачу, компенсировать потери, заглушить боль и избежать фронтального столкновения с тем, в борьбе против чего можно только проиграть. Сюда же относится осознание растяжимости понятий и необходимости интерпретации норм — дополненное пониманием принципиального преимущества хитрости по сравнению с тяжелым трудом и трюка по сравнению с методом. На уровне наблюдения добавляется понимание непостоянного характера любых отношений.

Из всего этого накапливается дифференцированный в соответствии с местом и временем арсенал антигравитационных искусств, который, обыгрывая название альбома одной поп-звезды, можно было бы назвать *эскапологией*.⁶²³

623 Robbie Williams, 2002.

Оснащенные ограниченным набором облегчающих техник, люди самых различных культур стоят перед задачей как можно дальше уйти от тяжести мира — и нести на своих плечах то, что осталось. Мы должны признать онтолога в бравом солдате Швейке. Нередуцируемый остаток тяжелого бытия в качестве отпрыска реального инкорпорируется в разгруженные пузыри, культуры, климатизированные иллюзиями пространства, термотопы и поля искренности. Как правило, этому способствуют религиозные интерпретации: почитание бремени, а также идентификация с могущественным. Там, где существует возможность отыскать преступника, люди прибегают к ритуалам мщения, а позднее к уголовному праву; там, где реальное выступает как враг, люди приспособляются к нему с помощью тренировки внешней и внутренней жесткости. При всем этом приходится считаться с тем фактом, что в тривиальных ситуациях реальное воспринимается лишь в качестве некоего остатка, вследствие чего другая, более мощная, часть лишь посредством воображения, например с помощью сценариев тех или иных угроз, проникает в ментальную репрезентацию. Некоторые цивилизации изобрели функцию официально уполномоченного адвоката, приоритетом которого является противодействие эффектам слишком далеко зашедшей разгрузки, если он придет к мнению, что коллективу угрожает его собственное переполненное иллюзиями хозяйство. Начиная с XIX века наряду с народным трибуном, интеллектуалом, выступающим от имени пока еще безмолвного пролетариата, Европа узнает и трибуна катастроф, указывающего согражданам на чреватый несчастиями потенциал их собственного поведения. Отличительным признаком XX столетия было то, что его интеллектуалы слишком далеко зашли в своих интервенциях от имени реального. Экстремизм, остающийся неразрывно связанным со стилем современности, представлял собой — и это будет понято слишком поздно — избыточную форму реализма. Реализм — это рас-

пространенная форма веры в то, что катастрофа всегда права.

Зафиксируем: без движущих сил легкомыслия обитаемый пузырь (сюр)реальности не может надуться и сохранить свою форму. *U rider your private ■sky** — так гласил бы сферологический ответ на вопрос о том, где ты действительно пребываешь.⁶²⁴ Слово «личное» отнюдь не подразумевает в данном случае уединения индивида в приспособленной к нему иллюзии; оно демонстрирует, что имеет место реальное обитание под балдахинами, которые естественным образом перекрывают только небольшой сегмент целого. Формат — это послание, фрагмент реального — это реальное.

Расположение под собственно-общим небом (как формально, так и материально представимое благодаря принципу зонтика⁶²⁵) приводит к успеху, пока имажинарные иммунные системы подтверждают факт наличия собственного поля одушевления или поддерживают минимальную иллюзию его существования. Нет необходимости демонстрировать, каким образом религия в этом отношении соприкасается с поэзией (как нет необходимости еще раз объяснять, почему марксизм, похваляясь своим превосходством в понимании прозы и базиса, вел прямое разрушительное наступление на человеческие ресурсы). То, чем занимался в варшавском гетто Якоб-лжец, — обеспечением окружающих новостями, которые были куда лучше, чем реальная ситуация, — истари делали рассказчики историй и хранители регенеративных ритуалов.⁶²⁶ Возможно, всякая удавшаяся жизнь (а удавшаяся веегда означает: вопреки обстоятельствам) пред-

⁶²⁴ См.: *Your Private Sky*. R. Buckminster Fuller. *Design als Kunst einer Wissenschaft* / Hrsg, von Joachim Krause, Claude Lichtenstein. Zürich, 1999.

⁶²⁵ См.: *Claudia Bölling, Rolf Horst. Schirme. Der Himmel auf Erden*. Berlin, 1995.

⁶²⁶ *Jurek Becker. Jakob der Lügner*. Frankfurt, 1969.

* Под твоим личным небом (англ.).



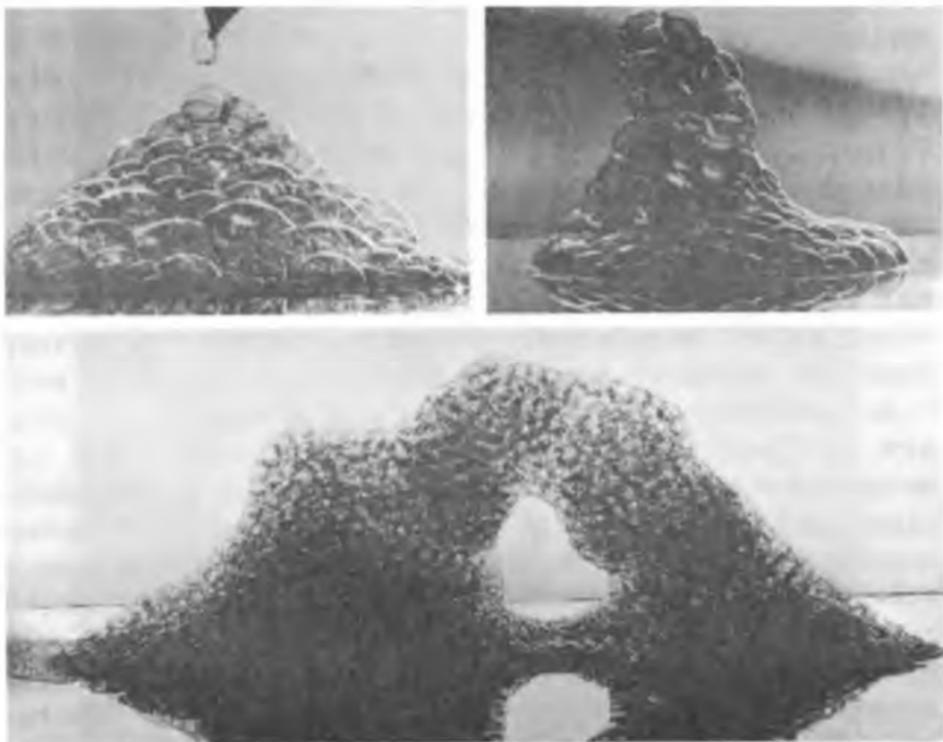
Уолтер Бёрд. *Модель пены*. Возникновение многогранников внутри группы пузырей.

ставляет собой колебание между экзореализмом и эндо-реализмом. Как депрессия соответствует прозе, так гипомания соответствует поэзии.⁶²⁷

De facto фантазия с давних пор находится у власти. Обстоятельство, что в 1968 году это стало открытым требованием, доказывает, что в одно счастливое мгновение дело левитации встретило всеобщее понимание (тогда как наведением мостов между гипоманией и инфантилизмом мы обязаны гению Уолта Диснея: в своем комическом универсуме он смог эксплицировать принцип побочной реальности и преобразовать погружение в китч, в надежный метод уклонения от нежелательного. Впрочем, внедрение *reality-on-demand** * не является привилегией американской фабрики грез, а представляет собой область, в которой старая Европа с давних пор добивалась экстраординарных достижений). Там, где обеспечи-

627 См.: *Reinhart G. E. Lempp. Das Kind im Menschen. Über Nebenrealitäten und Regression — oder: Warum wir nie erwachsen werden.* Stuttgart, 2003; *John S. Kafka. Multiple Realities in Clinical Practice.* New Haven; London, 1989.

* Реальность по требованию (*англ.*).



Спонтанное развитие относительно массивных конструкций в полусухой пене.

вающие подъем частицы разжижаются сверх определенной меры, начинаются явные депрессии. Они демонстрируют, что сопротивление давлению реального сломлено. Если люди должны оставаться способными активизировать свой потенциал формирования пространства, то это предполагает равновесие сил между гравитацией и антигравитацией. В теоретическом отношении из этого следует, что первоначальная афрогенная деятельность человека не может быть артикулирована без четкого понятия подъемной силы.

В условиях четко сформулированного сферического императива ранние произведения «пневматической архитектуры» (например, *Radome*-прототип Уолтера Бёрда на

территории Cornell Aeronautical Laboratory,* 1948; *Rubber Village Fiberthin Airhouse*** Фрэнка Ллойда Райта, 1956 или «Надувной павильон» Отто Фрая на ЭКСПО в Роттердаме, 1958, а также многочисленные аналогичные концепции Виктора Лунди, Букминстера Фуллера, труппы «Архиграм» и др.), которые начиная с 50-х годов входят в число самых интеллигентных и элегантных инноваций современного искусства организации пространства, обладают культурно-теоретической — возможно, точнее было бы сказать: всеобщей нише-технической и капсуль-технической — символической ценностью.⁶²⁸ Воздух, которым дышат под пневматическим куполом, одновременно является частью тектонической среды, сообщающей строению напряжение и делающей простор потенциально обитаемым. Подъемная сила становится агентом пространственной стабильности; уплотненная дыхательная среда непосредственно формирует свод. Если мы экстраполируем архитектурную модель на психосемантику человеческого пространства, то получим самую убедительную наглядную картину динамики подъема антропосферных ячеек и ячейечных групп.

Выше, в рассуждениях об утеротопе и термотопе,⁶²⁹ мы выдвинули тезис, что всякая история представляет собой историю борьбы между сообществами, дорожа-

⁶²⁸ в мае 2003 года в Эшере, под Лондоном, была освящена первая надувная церковь из поливинилхлорида, способная вместить до 60 прихожан; она была создана по высказанной еще в 1996 году (и инспирированной ярмарочными детскими надувными батутами) идее предпринимателя Майкла Гилла, благодаря которой пневматология нашла свое практическое применение (новости yahoo от 14 мая 2003 года). По слухам, в настоящее время в Пентагоне разрабатывается надувное здание парламента, которое может быть установлено в освобожденных от негодных режимов государствах сразу по окончании боевых действий и должно вмещать до ста двадцати в срочном порядке назначенных местных депутатов, которые займутся дискуссиями о демократических конституциях.

⁶²⁹См. выше с. 390 и сл. и с. 400 и сл.

* Корнелльская воздухоплавательная лаборатория (англ.).

** Резиновый деревенский тонковолоконный воздушный дом (англ.).



Ars Electronica (Электронное искусство). 1982 г. Sky Event (Небесное событие).

щими своим комфортом, — с той оговоркой, что вместо выражения «комфорт», которое подразумевает скорее материальные и эмоциональные удобства, в качестве альтернативы может быть использовано понятие «избранность», в котором акцент делается на тимотических, *vui-go*-нарциссических привилегиях собственного так-бытия. Комфорт и избранность роднит то, что их субъекты



Доротея Гольц. *Полый мир*. 1966. Documenta X, 1997 г.

ощущают себя адресатами полагающихся им материальных и духовных привилегий, источником которых является либо некое деликатное меценатство, либо предполагаемые налоги, взимаемые с окружающего мира, либо метафизический альянс, соединяющий с коллективом его небесного покровителя или трансцендентный иммунный принцип.

В дальнейшем мы покажем, что принцип меценатства как движущей силы позитивного предопределения является предпосылкой, без которой невозможно представить существование особей такого чувствительного в психоиммунологическом отношении вида, как *homo sapiens*. С другой стороны, она не представляет собой универсалии, так как из правила меценатской специальной поддержки отдельной жизни существует огромное мно-

жество исключений, — быть может, исключений даже больше, чем обычных случаев, исключений, зафиксированных как в писанных, так и в не написанных хрониках бедности. Ими полны черные книги, повествующие о жизни безвестных, никому не нужных, лишних людей. Показав, как принцип комфорта благодаря меценатству человеческих матерей воздействует на большее успешно прожитых жизней, мы очертим смутные контуры универсальной истории легкомыслия, которая, как мы утверждали, одновременно охватывает и Климатическую историю антропосферы со всеми ее бесчисленными локальными расцветами в индивидуированных сериях.

5. ПЕРВАЯ ЛЕВИТАЦИЯ: К ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ПОДЪЕМА

Мне кажется, они какие-то водянистые — у них отсутствует индивидуальность. Черты их будущих лиц еще спят, как свет на спокойных водах. (...) Ступни их ног еще не осквернены землей. Они путешествуют только по воздуху.*

Сильвия Плат. Три женщины

Чтобы проложить путь непауперистской антропологии, целесообразно более подробно рассмотреть тепловой центр эволюции, характерные для гоминидов и древнейших людей особые формации пространства матери и ребенка. Его главным признаком является часто комментируемая тенденция к продлению детской и ювенильной фазы, находящаяся в процессуальном единстве с радикальной преждевременностью момента рождения. Для объяснения этого феномена палеонтологи приводят еледующий аргумент: для того чтобы человеческие дете-

* Перевод В. Топорова.

ныши появлялись на свет на стадии зрелости, аналогичной той, на которой находятся новорожденные приматы, продолжительность беременности их матерей должна составлять около 21 месяца, что (наряду с другими биологическими противоречиями, прежде всего неврологической и эндокринной природы) исключено, поскольку обычная форма и размеры женского тазового отверстия у представительниц вида *homo sapiens* обуславливают необходимость родов самое позднее через 270 или 280 дней. Это вызывает общий риск крайне преждевременного выброса зародыша в травмирующую внешнюю среду.

Чтобы выразить импликации этого положения вещей столь драматично, как они должны быть представлены в соответствии со своим чудовищным содержанием, нужно было бы прямо сказать, что у людей нормальные роды обладают качеством продиктованного природой прерывания беременности. В сценарии человеческого существования предписано, что три седьмых неизбежной по биопсихологическим причинам фазы беременности мы проводим в среде материнского организма, а остальные четыре седьмых — в стабильной нишевой ситуации, для обозначения которой наилучшим представляется использование выражения «пребывание в экзоутерусе», термина, который должен заменить лишь наполовину соответствующее действительности выражение «грудной возраст». Различие между этими состояниями порождает нескончаемую динамику преемственности. Мы всегда играем в одну и ту же игру: 9 к 12 — или эндобеременность плюс экзобеременность, вместе формирующие условия появления на свет. Этого никто не помнит, но все этим отмечены. Мы не способны составить представление об экстраординарном характере человеческого «положения в мире», пока не достигнем ясного понимания двухтактности родового процесса, более того, его виртуальной многотактности, которая фактически означает его незавершенность. От нее и от ее бесчисленных неврологиче-

ских и символически-динамических импликаций зависит болезненная и ищущая выражения эксцентрика человеческой бытийной конституции вплоть до ее самых крайних ответвлений.

Бытие-в-мире у *homo sapiens* начинается с того, что новорожденные приносят с собой неустранимое требование воспроизведения утратившей позиции во внешней среде; в силу беспомощности ребенка абсолютизм детской потребности принимает в данном случае форму приказа. В этом отношении способность к послушанию является конкретным понятием взрослости. В дополнение к этому окружающие, представленные, как правило, биологической матерью, поддерживаемой эрзац-матерями и «помощниками по гнезду», должны готовить себя к исполнению роли живого инкубатора и к перемещению новоприбывшего в хорошо темперированное, первоначально преимущественно биполярное пространство заботы, особенность которого заключается в том, что оно обеспечивает продолжение беременности менее интенсивными, внешними и интерактивными средствами.

Таким образом, мы можем наблюдать первичную сцену человеческой медиальности. Один является необходимой средой для незрелости другого. Я появляюсь на свет потому, что нечто в тебе идет мне навстречу. Бодрствующий мир в течение некоторого времени должен вести себя так, словно он сообщник фетального сновидения. До-конца-рожденное должно таким образом взаимодействовать с не-до-конца-рожденным, чтобы из обволакивания и удовлетворения потребностей более хрупкого партнера возникало его одушевление — приглашение в открытое, сигнал к исследованию мира, сопровождение первых глав опыта. Готовность человеческих матерей решать эту нормально-сюрреальную задачу опирается на врожденные и благоприобретенные поведенческие модели млекопитающих: согласно прекрасной метафоре социобиолога Сары Блаффер Хрди, эволюция ухода за по-

томством высших живых существ следует по орбитам «Млечного Пути». ⁶³⁰

Все говорит в пользу того, что специфическое попечение, оказываемое древнейшими человеческими матерями своему потомству, можно охарактеризовать как своеобразную форму биологического меценатства: во-первых, поскольку человеческо-материнская функция передачи жизни и жизненных шансов фактически осуществляется, как правило, посредством насквозь индивидуализированных инвестиций в так или иначе выделенных и привилегированных отпрысков, во-вторых, поскольку это особое меценатское попечение ни в коей мере не послушно какому-либо биологическому автоматизму, а может иметь место лишь в том случае, если мать приняла и признала своего ребенка в качестве такового с помощью своего рода психосоматического акта усыновления. Лишь совершив его, она станет способной мобилизовать всю свою экзистенциальную энергию для поддержки своего потомства. Человеческие матери могут следовать своему часто позитивно исполняемому призванию к тотальному меценатству в отношении собственных детей лишь потому, что их попечение есть нечто большее, чем биологическая программа (скорее, она представляет собой своего рода обязательство — возможно, прообраз всякого обязательного занятия) и поэтому может быть оценено лишь на фоне в той же самой мере возможного отказа от него. Чтобы понять это, необходимо свыкнуться с той сбивающей с толку истиной, что в антропосфере даже для естественных родителей усыновление обладает приоритетом по отношению к биологическому родству. Даже естественные родители должны как бы усыновить своего собственного ребенка, чтобы в психосоциальном пространстве он стал тем, чем, как кажется, уже является биологически. Лишь признание ребенка в качестве собственной возможности и потенциально бесконечной задачи

^{63*} Sarah Blaffer Hrdy. *Mutter Natur*. Berlin, 2000. Kap. 6. S. 153 f.

превращает биологическую мать человеческого ребенка в антропогенную мать и *eo ipso* — в нашей (восходящей к Дитеру Клэссенсу) терминологии — в меценатку своего ребенка.⁶³¹

Вследствие наложения на биологическое состояние беременности психогенного обещания заботы животная мать превращается в человеческую мать — и эта мутация не была бы рискованным предприятием, каковым она является, если бы не множество неправдоподобных вещей и контраргументов, которые необходимо преодолеть и подавить, прежде чем из естественной возможности человеческого материнства не выкристаллизуется факт успешной матринизации и коанимации. Бунт феминизма против тысячелетних клише, касающихся требований, предъявляемых материнству, и научное освещение женской роли в эволюции (еще раз сошлемся на эпохальную работу Сары Блаффер Хрди) сходятся по крайней мере в том пункте, что в обоих случаях максимально подчеркивается невероятность, случайность и историческая вариативность феномена «хорошей матери». Согласно подробнейшим исследованиям Хрди, материнское инвестирование в своих детей, как правило, имеет место лишь тогда, когда глобальная калькуляция последствий их признания приводит у матерей к позитивному результату. Поскольку фактически этот результат достаточно часто бывает негативным, выбор пренебрежения детьми и даже их убийства, как бы шокирующе это ни звучало для современного уха, принадлежит к древнейшей сфере материнских полномочий. Абсолютизму детской потребности с материнской стороны соответствует абсолютизм возможности принятия или отказа — ситуация, более реалистичную картину которой давали скорее древнейшие культуры с их мифами о темной и пожирающей матери,

⁶³¹

О функции меценатства в цивилизационном процессе см. ниже с. 778 и сл., а также: Dieter Claessens. *Das Konkrete und das Abstrakte. Soziologische Skizzen zur Anthropologie*. Frankfurt, 1980. S 61, 64 f.

а также бесчисленные истории о *noverca* (мачехе), чем христианско-буржуазное Новое время, в которое Бог представляется одномерно милосердным, а матери — по природе бескорыстными. Наряду с отказом от инвестирования, который, пожалуй, можно интерпретировать как форму сделанного задним числом аборта, на дочеловеческом этапе развития также обнаруживаются явные образцы генетического оппортунизма — например, поведение матери у приматов, которая, после того как ее дети были убиты новым вожаком стаи, все делает для того, чтобы как можно скорее произвести с убийцей другое потомство.

То, что в предыдущие десятилетия в феминистской критике и биологических исследованиях описывалось, а нередко разоблачалось как исторически обусловленная, сформулированная «патриархальным» обществом идеология материнской заботы, по своему цивилизационному содержанию представляло собой попытку различных культур нарушить абсолютизм материнского аффекта (в другом месте мы назвали его перенесенным в начало жизни Страшным судом⁶³²) при помощи своего рода перераспределения властных полномочий между матерью и культурой в пользу потомства. Стремясь уравновесить диктатуру неконтролируемых материнских чувств посредством нормативного правила, повышающего шансы на психическое и физическое выживание отвергнутого ребенка, цивилизованная человеческая группа заявляет о своей эрзац-материнской компетенции: по этой причине моральное сопротивление абортированию нерожденных и пренебрежению рожденными детьми становится важнейшим индикатором того, что цивилизация всерьез воспринимает себя в качестве таковой. Она делает это в достаточной мере, если считает себя способной в случае необходимости быть более приветливой к зарождающейся жизни, чем случайная естественная мать, у которой по

632 См.: Сферы. Т. I. Гл. 7. С. 525.

той или иной причине не хватает сил и готовности для выполнения своей задачи.

В этом смысле цивилизация синонимична адоптивной компетенции. А следовательно, если мы поднимем феномен на категориальный уровень, то можно сказать, что она есть совокупность алломатеринских функций, то есть (согласно Хрди и Уилсону) означает все те функции одушевления, обеспечения, инвестирования в потомков и воспитания, которые могут быть изъяты у биологических матерей и переданы третьим лицам или институтам — от кормилиц и семейных помощников, церковных служб милосердия до абстрактных систем компенсации, в которых дает о себе знать деятельность современного государства всеобщего благосостояния. В этом контексте обычай отказываться от детей не следует рассматривать только как аварийный клапан, препятствующий появлению чрезмерного числа детей у беднейших слоев населения; одновременно он свидетельствует об осознании того, что и нежеланные новорожденные также должны получить последний шанс найти аллородителей. Практиковавшееся в Средние века подбрасывание младенцев к церковному крыльцу подразумевало признание матери-церкви в качестве адоптивной силы. Если в испаноязычном мире, а также в Италии относительно распространенной является фамилия Эспосито, то потому, что за отсутствием фамилий католические священники, как правило, крестили подкидышей в соответствии с их положением — такова заброшенность по-католически.

Мы приближаемся к новой дефиниции цивилизационного процесса: его ключевым механизмом является прогрессирующее разворачивание технических и системных альтернатив первичной матринизации. Цивилизация служит доказательством того факта, что материнство в определенных границах представляет собой протезируемую функцию. Антинатурализм цивилизационного процесса зиждется на метафоризации материнства, он является субституцией материнской власти в действии. Эта

точка зрения основывается на предположении, что видо-вая эволюция форсируется в первую очередь ощущением, что корень зла следует искать в слабости алломатеринского потенциала. Кульминация заместительного процесса приходится на современную эпоху, в которую благодаря переходу к *affluent society* началось массовое освобождение женщин от традиционных ролевых дефиниций; вместе с ним произошла глубочайшая ревизия самых древних стереотипов, касающихся смысла и функции материнства.

Цивилизационное содержание современной эпохи останется непонятным, если мы не распознаем в ней прежде всего гигантский эксперимент по протезированию материнской функции — в единстве со спасением потомства от молоховского пакта между войной и культурой.⁶³³ Наряду с категорией разгрузки интегральная теория культурэкономике предполагает всеобщее понятие протетики. С этой точки зрения первичным протезом было бы лицо, в качестве алломатери оказывающее помощь активной матери. Если верно то, что алломатеринские производственные мощности так или иначе представляют собой ценнейшее достояние определенной культуры, то напрашивается предположение, что потребность в создании символических и технических эквивалентов отсутствующих эрзац-матерей мотивирует цивилизационную эволюцию в целом. Поскольку ангажированные матери, как правило, с величайшей серьезностью воспринимают задачу богатства-ради-ребенка, они естествен-

633 Сошлемся еще раз на работу Хайнера Мюльманна «Природа культур. Проект культурно-генетической теории» (*Heiner Mühlmann. Die Natur der Kulturen. Entwurf einer kulturgenetischen Theorie. Wien; New York, 1996; Idem. Kunst und Krieg. Über das säuische Behagen in der Kultur. Köln, 1998*); впрочем, следует констатировать, что *affluent society* порождает не только дискомфорт от благосостояния, но и дискомфорт от существования в ситуации мира, сопровождаемый военной романтикой и ностальгией по суровым временам (необходимые слова о которой были еще в 1927 году сказаны Жюльеном Бенда в его книге **La trahison des clercs*» [«Предательство клерков»]).

ным образом заинтересованы во всем, что облегчает им их роль. Независимо от любой философии и психологии они понимают, что осуществление этой первичной симуляции имеет решающее значение для жизненных возможностей их потомства; они чувствуют, что оправдание жизни подъемом ради ребенка интимным образом связано с балансом их собственного счастья и несчастья. Поскольку алломатеринские услуги с давних пор и повсеместно воспринимаются как дефицитные, возможность более легкого доступа к ним образует первое, интуитивно привлекательное понятие богатства. Первоначально быть богатым означает иметь возможность обещать матери доступ к изобильным источникам алломатеринских энергий.⁶³⁴ В этом смысле тот, кто не способен обогатить, сам не является богатым.⁶³⁵ Мы определяем богатство как способность участвовать в экспликации этого типа. Возможно, величайшая авантюра цивилизации состоит в экспликации материнства, а вместе с ним и значительной части того, что представляет собой жизнь.

Выше, говоря об утеротопе и особых формах неотеции у человека, мы характеризовали эффект материнской заботы прежде всего с нишетехнической точки зрения; при этом акцент делался на факте, что человеческое пространство «мать—ребенок» — несомненно, в продол-

634 Сара Блаффер Хрди в важной 22-й главе («О человеческом богатстве») своей работы «Мать-природа» (S. 549—578) указывает на дефицитность алломатеринских ресурсов в современном «обществе»; с этой точки зрения современность можно было бы охарактеризовать как эру продолжающейся, если не растущей, бедности. Ниже (на с. 817 и сл.) мы поставим акцент иначе, расширив понятие алломатеринства за пределы феноменов конкретного ухода за детьми и распространив его на все формы обеспечения, осуществляемого государственными учреждениями и социальными службами; в этом свете современное «общество» предстанет как своего рода всеобъемлющий эксперимент по протезированию материнских функций.

635 Дьёрдь Конрад; «Зачем богатство богатым? Для того, чтобы они по-своему помогали тем, кто в этом нуждается и заслуживает поддержки. Охрана детства есть концентрированное выражение защиты прав человека» (*György Konrád. Vor den Toren des Reiches. Frankfurt, 1997. S. 87*).

жение дочеловечески-гоминидных традиций — обладает признаками своего рода микротеплицы, в которой имеет место спонтанный долговременный тренд в направлении утончения человеческой морфологии и вознаграждения более разумных вариантов. В данном контексте мы должны сделать наши рассуждения еще на одно измерение сложнее, поскольку теперь нам, ко всему прочему, надлежит показать, каким образом гоминидное и раннечеловеческое поле «мать—ребенок» развивается в качестве самокультивирующего пространства или психического термотопа. Результат — окончательное формирование поля «мать—ребенок» в его человечески расширенной избыточной версии. Имеющая в нем место селективная тенденция является освободительной не в меньшей степени, чем главный итог антропогенеза: обретение детства. У *homo sapiens*, как теперь известно, соматические и психические образования ребенка (*neon*) не просто сохраняются во взрослой морфологии — в соответствии с неотенической схемой (по-гречески *teinein* означает «натягивать», «простирает»), распространенной у млекопитающих и домашних животных и встречающейся даже у небольших рептилий, например у известного аксолотля; скорее, вид в целом прогрессивно инфантилизируется и изменяется относительно своих жизненных форм в смысле увеличения продолжительности молодости и сохранения способности к обучению. Основная эволюционная линия антропогенеза станет понятной лишь тогда, когда мы увидим в ней следствие из позитивных обратных связей эффектов комфорта, количественно расширяющих и качественно интенсифицирующих пространство «мать—ребенок». Беспрецедентным в естественной истории образом из этих тенденций к самоусилению возникает жизненная форма незрелой зрелости или зрелой незрелости — биокультурная матрица человеческой роскоши.

Охрана детства составляет сущность культуры — при условии, что одновременно речь идет о защите культуры от гипертрофии инфантильного. Неотеническая

тенденция (которая на уровне культуры приводит к тому, что Мишель Серре назвал *гоминисценцией*) была бы не осуществима, если бы она не удостоверялась, сдерживалась и сохранялась с помощью определенного контроля за результатами. Этот контроль приводит в действие то, что в психоаналитической терминологии называется принципом реальности. В этом контексте выясняется, что под этим выражением *implicite* всегда понималась компенсация доминирующего в поле «мать—ребенок» принципа избыточности принципом нагрузки и усилия групповых законов: поскольку обращение к комфорту не знает внутренней меры, оно должно было регулироваться противодействующими эрготопическими и номотопическими силами. С этой точки зрения «культуры» представляют собой локально успешные попытки создания вместилища роскоши. Там, где им удалось стать способными к формированию традиции, они на деле доказывают, что в состоянии уменьшать риски инфантилизации с помощью тех или иных способов стабилизирующего нормирования (понятно, что это сопротивление комфорту формирует то поле феноменов, которое должно было привлечь внимание антрополога Гелена).⁶³⁶

Поэтому отнюдь не случайно, что почти всем без исключения архаичным культурам присущи геронтократические черты: неудержимая инфантилизация антропосферы может компенсироваться только дополняющей ее пресвитеризацией. Поскольку сфера «мать—ребенок» всегда форсирует образование субверсивного фокуса реальности, в интересах групп сбалансировать его самостоятельность поддержанием авторитета старейших. Благодаря этому авторитету из поколения в поколение передается знание о нормативных и эрготопических нагрузках прошедшего проверку временем жизненного контекста. В древнем мире старейшие считались способными править, поскольку

⁶³⁶о динамике способов такого нормирования см. выше с. 473—497.

ку они не способны менять свое мнение; первоначально тяжесть мира покоится на старческом упрямстве. Лишь современность разорвала геронтократические скобки, сжимающие теплицу культуры, и пустилась на авантюру почти безудержного омоложения цивилизации — вплоть до уровня нормативных и логических ориентаций.

В данном контексте несложно проследить, почему актуальная тенденция к ювенилизации культуры представляет собой психосоциальный след, оставляемый «обществом изобилия». Лишь формация этого типа смогла позволить строгости старших посягнуть на классическое вместилище инфантильной роскоши. Сегодня впервые в истории цивилизации легкомыслие, окружающее человеческое детство и детскую непосредственность, более не вытесняется старческой серьезностью. Отныне чаша весов склоняется в инфантильную сторону, как бы ни старались консерваторы нашего времени наполнить серьезную чашу тяжестью — скажем, дурными воспоминаниями, опасными угрозами и гипотетическими тяготами. Это свидетельствует о том, что приобретенная в ходе эволюции ориентация на взаимодействие между нагрузкой и разгрузкой в хозяйстве *homo sapiens* стремительно исчезает.⁶³⁷ Для современных «обществ» эта ситуация по меньшей мере затруднительна. Но возможности, которые она открывает для современной теории культуры, следует признать вдохновляющими: благодаря декомпенсации взрослой культуры связь между обусловленным благосостоянием парниковым эффектом и высвобождением инфантильности впервые становится доступной выражению в четких терминах. В этом новом свете человеческая история предстает как конъюнктурный обзор состояния левитации; она описывает прогресс в осознании комфорта.

⁶³⁷ См.: *Helmut Schulze. Der progressiv domestizierte Mensch und seine Neurose. Die Rolle von Entlastung und Belastung für Krankheit und Heilung. München, 1964.*

Как мы уже говорили, исходный материал для всех превращений роскоши в локальных культурах и ее развернутой выработки в условиях современной цивилизации следует искать во второй половине фазы человеческой беременности, в которой грудной ребенок — в той мере, в какой его сформированные в процессе эволюции потребности более или менее адекватно удовлетворяются, — остается младшим полюсом поля «мать—ребенок» в схожей с утеральной нишевой ситуации. Он находится в ней отнюдь не просто как драгоценный камень в своем футляре; с самого начала он демонстрирует признаки экзистенциальности, поскольку он, постепенно пробуждаясь от доэксистенциального сна, имеет основания считать себя союзником обладающего силами и сокровищами соседнего существа. Интимное соседство с щедро даруемыми богатствами рождает опыт легкого доступа к изобилию, о котором невозможно сказать, в какой мере оно является исчерпаемым. Из этой позиции вырастает предварительное аффективное представление о мире, выливающееся, если оно не опровергается травмами, вызванными лишениями, в фундаментальное настроение беззаботной свободы доступа к сокровищам и возможностям. Первое бытие-в-мире предполагает невозможность быть бедным — по крайней мере там, где матери, со своей стороны, избегают рисков пауперизма и в относительной независимости от обстоятельств сохраняют в целостности способность к богатству-ради-ребенка.

Уже в этом предварительном понятии богатства дают о себе знать некоторые весьма характерные черты; богатство подразумевает здесь предупреждение и упреждение «мира» в том, что касается субъективной потребности, — оно включает в себя постоянно используемую возможность растворения тел в коммуникации. Поэтому богатство воспринимается как нечто материально трансцендентальное и некое чистое «вообще»; его можно поместить на задний план в качестве некоего «имеется», у которого нет противоположности. Таким образом, оно

оказывается просто условием возможности мира. То, что называют открытым, есть не что иное, как измерение богатства в его экзистенциальном отражении. Располагаясь позади прочих фонов, богатство служит фоном для всех возможных фигур, в том числе фигуры определенного дефицита и конкретного лишения. Как абсолютный подъем оно противопоставляется трудностям — каждому в отдельности и всем вместе. Как неисчерпаемый избыток оно снижает остроту всех локальных снижений и сокращений. Оно наполняет пребывающее в резонансе существование насыщенным рецидивами предрассудком, что оно, вне всяких сомнений, всегда обладает чем-то большим, чем самое необходимое. Поскольку богатство включает в себя и донора и «имеется», оно представляет собой одновременно полуперсональный и полуматериальный принцип; в силу этого оно объединяет в себе преимущества дара и находки. Оно есть случайность и собственность. Можно сказать, что в каком-то смысле им можно обладать и его можно отчуждать, и тем не менее оно остается по ту сторону всякой возможности обладания и отчуждения.

Тот, кто хорошо знаком с историей философского мышления, заметит, что в этот экзистенциальный портрет богатства на его первоначальной стадии включены моменты того, что традиция именovala *hupokeimenon*, или лежащим в основании, — понятия, дорогого как грамматикам, так и онтологам, ибо оно выполняет функцию субстанции или субъекта: служить носителем свойств и быть основанием событий. Его классические имена — Бог, природа, субстанция, форма, материя, воля или человеческая практика. В данном контексте нам приходится иметь дело с несущим основанием весьма необычного качества: во-первых, потому, что в качестве первичной среды экзистенциально понятое богатство образует своего рода гибридную форму из «нечто» и «некто» и в связи с этим не поддается вещно-онтологическому истолкованию (конкретно: чтобы мать могла воспри-

ниматься как меценат, она должна предлагать какой-нибудь вещественный подарок, а сверх того, еще и саму себя), а во-вторых, потому, что это несущее основание никогда не функционирует только как подставка для груза или как твердый фундамент для дополнения. Первоначальное богатство одновременно является материальным изобилием и персональным вспомоществованием; оно действует как активная возвышающая инстанция и как резонансный полюс одушевляющего соседства.

Пока Dasein в своих первых формирующих настроечные ситуациях ощущает собственную принадлежность к интерпретированному таким образом богатству, способ его бытия можно определить как несомость. Богатство, которое несет, называется подъемом; несомость, становящаяся фундаментальным настроением, является причастностью к левитации. Потенциал этого тезиса может быть оценен путем сравнения с противоположными формулировками Хайдеггера: в «Бытии и времени» основной характеристикой человеческого бытия-в-мире признается брошенность — выражение, одним из достоинств которого является то, что в нем слышится не только великолепная метафора для обозначения ситуации, в которой экзистенция оказывается оставленной в случайном поле соседнего сущего. В той же мере в нем можно усмотреть и указание на движение вперед и вниз. Брошенность — это разрушительно-погружающая тенденция, связанная с наполовину консервативно, наполовину современно понятым экзистенциальным экстазом; она свидетельствует о погружении в беспочвенную случайность, в отношении которой экзистирующий способен определиться только посредством своей решимости принять выпавший на его долю случай. Нельзя не заметить, что концепция брошенности принадлежит онтологии дефицита, пусть даже, как мы видели, Хайдеггер обращает свое внимание не на экономический или материальный дефицит, а на отсутствие действительной необходимости и недостаток сосредоточенности на обязательной работе. Если молодой

Хайдеггер и приближался к антигравитационным тенденциям, то их, скорее, следует причислить к репертуару своенравно-вынужденных жестов: осторожное сосредоточение и поднятие духа, напряженное замирание по стойке смиренно якобы под воздействием обращения свыше, а позднее и то протестное самоутверждение, которое обсуждается под рубрикой «прыжок», — при ближайшем рассмотрении оно может оказаться всем чем угодно, только не движением наверх. Не услышать трагизма основного тона просто невозможно: тот, кто говорит о брошенности, отдает дань неравенству исходных позиций. В этом слове слышен отзвук опыта огромного числа людей, с самого начала оказавшихся в крайне неблагоприятных условиях, которые, пожалуй, могут быть несколько скорректированы, но уже никогда не будут полностью компенсированы.

Что касается экзистенциальной конституции несомости, то ей чужды вынужденные повороты такого рода. Там, где в самом начале нет лишений, не нужны никакие компенсации. Пока само богатство остается несущим основанием, экзистенция не нуждается в дополнительной зарплате. Первой получаемой ей информацией является чувство, что у нее всего в достатке и даже более того; из этого следует, что пока что можно расслабиться. Поскольку настроенному на богатство *Dasein* не грозит отнятие подарков, ему не нужно недоверчиво оберегать себя с помощью неких чрезвычайных собственных усилий. Оно застраховано от преждевременных конвульсий страха и давления самоконтроля и контроля окружающей среды. Несомую жизнь не отравляют упреки перегруженной носительницы, что она, мол, слишком тяжела и ей следовало бы быть намного менее обременительной. В условиях реальной несомости несомое убеждается силой, переходящей от носителя к нему самому. Как безмятежное лежание на каком-либо ложе способно привести к фундаментальному настроению отрешенности, так и доверив к поднявшей меня руке вполне может отобразиться

в настроении несомости. Оно содержит в себе убежденность в вездесущии антигравитации. Поэтому прямохождение *homo sapiens* не является таким же физиологическим продуктом эволюции, как все прочие продукты; оно представляет собой соматическое воплощение измерения подъема, предвещающее гоминидам их будущее несомое бытие-в-мире.

В этом отношении человеческое прямохождение можно истолковать как открытый взору иероглиф легкомыслия. Оно доказывает, что левитация выдержала свой эволюционный экзамен. Благодаря опыту экстраутеральной беременности, за которым следует длительная фаза притязаний ребенка на материнские и алломатеринские транспортные услуги, в тело *homo sapiens* встроено столько много антигравитационной информации, что в процессе роста оно все больше и больше полагается на свою собственную вертикальность, чтобы в конце концов превратиться в самую яркую эмблему *positio humana*:* — структуру, в которой самая невероятная позиция превратилась в само собой разумеющуюся. В типичной телесной осанке *sapiens*-экзистенции уже сформулирована вся ее программа: люди — это существа, у которых почти невозможное становится повседневным, весьма непрочное — до поры до времени надежным и стабильным, недоступное — вездесущим эфиром. В своей вертикальной телесной конституции *homo sapiens* ежедневно празднует торжество негентропии.

Экономические парадоксы человеческого существа требуют некоего нового критического взгляда на якобы известные, даже тривиальные, но на самом деле все еще непонятые закономерности, действующие в пространстве «мать—ребенок» дочеловеческих и раннечеловеческих живых существ. Если мы попытаемся всерьез проанализировать результаты эволюции, нам станет очевидно, что в ее ходе должен был появиться механизм, ускоряющий

* Положение человека (лат.).

интенсификацию невероятного, превращая ее в связную историю успеха, — его можно было бы сравнить с электростанцией, поставляющей энергию для высвобождения резервов избыточности. Она могла приводиться в действие лишь в том случае, если определенными (мы можем предположить: материнскими и алломатеринскими) движущими силами в подчиненной силе тяжести животный мир встроены острова антигравитации. Человека формирует то место, в котором главной силой является меценатская по своей сущности подъемная сила. Меценат, как понятно теперь, это отнюдь не только состоятельная персона, инвестирующая свои средства в содействие художникам, дабы повысить свой престиж, — вроде того самого Гая Клавдия Мецената, который упрочил свое высокое положение *amicus Caesaris*,* щедрой поддержкой вынудив поэтов Горация и Вергилия воспевать Октавиана как Августа. Первичное меценатство выражается в том, что мать или алломать берет на себя задачу быть-богатой-ради-ребенка, нередко вне зависимости от наличия у нее собственных материальных ресурсов. Меценатскую функцию можно определить как соединение резонанса и подъема. С нее начинается обеспеченная, насыщенная, охваченная антигравитацией жизнь.

Когда Гегель в своих антропологических лекциях называет мать «гением ребенка», он представляет себе психический процесс, в ходе которого досубъективная жизнь благодаря встрече с гениализирующим принципом, коим является мать, наделяется персональной субъективностью; если мы подвергнем этот процесс более тщательному исследованию, то увидим, что эта биунитарная анимация тождественна вручению первичного дара — подъемной силы. В идеализме сознание этого подарка транслируется в как всегда переинтерпретированное убеждение в одаренности свободой, понятой как неотчуждаемое превосходство субъекта над любого рода

* Друг Цезаря (лат.).

внешней необходимостью: ничто не может быть настолько тяжелым, чтобы быть невыносимым для субъекта, пока он преисполнен уверенности, что хочет того, что должен. Это можно счесть метафизическим преувеличением и вводящим в заблуждение перенесением принципа левитации на волю; смысловой мотив идеализма связан с принадлежностью человеческому существу измерения подъема. В ней «имеется» и «ты можешь» соединяется с «тебе помогают», но в первую очередь с разрывающим горизонт «удается». Из этого соединения рождается вера, что самое невероятное начинается как нечто, что, едва осуществившись, становится само собой разумеющимся.

Эти рассуждения показывают: то, что у Гелена именуется разгрузкой, может быть верно оценено, если мы будем рассматривать его в качестве момента некоей более сложной динамики подъема. Для полноты картины необходимо добавить, что разгрузка несомого возможна лишь благодаря увеличению нагрузки, падающей на носителя. Аксиома Ницше, гласящая, что всякая высокоразвитая культура зиждется на фундаменте рабства, выводит из этого наблюдения цивилизационно-теоретические следствия. Однако понятие рабства мыслится у Ницше все еще слишком человечески, в этом афоризме речь еще не идет о его переформатировании применительно к машинам и социальным системам. Антропологическим дубликатом аксиомы Ницше был бы тезис, гласящий, что без субсидий меценатов, создающих комфортные условия, жизнь не знала бы подъема. Если мы исходим из состояния беременности — как пренатальной, так и постнатальной, то нам должно броситься в глаза, что культура возникает благодаря определенному распределению нагрузки. Мы видим, что в данном случае меценатская разгрузка прямо переходит от донора к реципиенту. Но матери — это не просто кариатиды, поддерживающие балки цивилизации. Разумеется, процесс левитации не начался бы без односторонних действий той, что создает комфорт, в пользу того, кто им пользуется; однако такие действия

были бы невозможны, если бы носительница, в свою очередь, не была бы несомна — во-первых, учреждающим семейное хозяйство союзом с отцом (брак — это договор о взаимной разгрузке), во-вторых, деятельностью алломатерей, к которым можно причислить многочисленных родственников и друзей, включая собственных старших детей, и, наконец, организациями по оказанию помощи и формами коммунальной солидарности, появившимися и развившимися в эпоху метафизически мотивированного альтруизма и позднее — во времена возникновения государства всеобщего благосостояния. В целом можно считать, что без разгрузки нагруженных удачное материнство невозможно.

Однако наряду со всеми внешними вливаниями сил и кооперативной помощью важнейший вклад в возникновение эффекта «несения носительницы» вносит действующая через отдельных матерей мать-природа. С помощью множества врожденных диспозиций она сооружает фундамент из биоавтоматизмов, противостоящих перманентному давлению задач, связанных с заботой о ребенке. Оно было бы невыносимым, если бы с ним можно было справиться исключительно с помощью свободной воли, но начиная с первых бондинг-эффектов, лактации и вплоть до роста коэстетических и эмпатических способностей родившие женщины располагают целым арсеналом источников внутренних сил. Именно эти автоматизмы в деятельности телесной электростанции «мать» спонтанно выполняют львиную долю материнской работы, если генераторам не мешают приобретенные расстройства. Мы даже могли бы констатировать, что тайна успеха хорошей матери заключается в том, что она не препятствует работающей в ней материнской машине. Там, где имеет место этот эффект, мать действует с помощью механизмов, делающих ее положение совместимым с жизнью, — в таком случае мать-личность представляет собой левитирующую надстройку над матерью-животным, которое есть она сама.

Кто станет отрицать, что здесь мы приблизились к генеративному полюсу *humanitas*,* возможности благодарности по отношению к несущему основанию? Ей не чужда и сама мать, когда она достигает точки, в которой понимает свою нагруженность как шанс. Она познает то, что известно лишь борцам: возможность усилия есть привилегия. Оптимум грузоподъемности, по всей видимости, был бы достигнут в том случае, если бы между матерью-природой и алломатерью-культурой (законом, благосостоянием и патриархатом) возникла полная синергия. Если мы признаем, что эмпирически она имеет место лишь при весьма редких обстоятельствах, то в качестве всеобщей, естественной нормы она кажется еще более привлекательной.

6. КАТАСТРОФА НЕОЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРЕЙ

Самым важным по своим последствиям событием в ходе психоисторического развития, ведущего к традиционным отношениям, стало появление хронически перегруженной, уставшей, изможденной матери — феномен, который можно проследить от первых крестьянок «неолитической революции» до испытывающих «двойную нагрузку» работающих женщин индустриальных «обществ». У матерей, находящихся в этом положении, можно наблюдать, как перманентные чрезмерные требования приводят к сбоям в динамике подъема в поле «мать—ребенок». Там, где это происходит, нарушается необходимый для несомого несения энергетический баланс — с тем результатом, что в окружающей среде, во все большей степени определяемой недостатком помощи и дефицитом средств подъема, материнство может ощущаться как почти невыносимое бремя, а иногда даже как проклятие. Адресованные женщине слова ангела из гла-

* Человечность (лат..).

вы книги Бытия, в которой повествуется об изгнании из рая, недвусмысленно свидетельствуют, что роды (и то, что за ними следует) для женщин рода человеческого лишаются благословения.⁶³⁸ Проклятие ангела обладает философско-историческим смыслом. Определяя печальную женскую участь как некий вновь появившийся феномен, оно отражает тенденцию пролетаризации матерей в возникающих оседлых «обществах».

Мы сможем в общих чертах составить себе представление о каузальных механизмах, приведших к возникновению этой ситуации, если сопоставим три главных момента оседлой формы жизни: здесь наряду с переходом к требующим интенсивного труда формам обработки земли следует назвать прежде всего более высокий уровень жизнеобеспечения благодаря хранению запасов продовольствия и связанный с этим рост народонаселения. Эта триада тенденций образует контекст, в котором характер семейной репродукции должен был измениться в направлении многодетности, чему способствовали и те религиозные системы, которые сделали своей задачей метафизическую апологию многочисленного потомства (насколько она была возможна в границах симметрии между происхождением и будущим). Возможно, идеализация многодетности знаменует вторжение в культуру контрафактного мышления. То, что было проклятием, отныне выдается за благословение — такова основная фигура нравоучительности, которая намного позднее сама утратит свою актуальность под натиском «рискованного мышления». Быть может, именно с этой инверсии начался разрыв между материнским реализмом и отцовским идеализмом, который как отпечаток власти возник внутри исторических семей.

В любом случае положение женщин-матерей в аграрном жизненном мире существенно осложняется. Если мы возьмем за основу описанные психоаналитиком и палеоантропологом Джоном Боулби стандарты коммуникации

«38 Быт., 3:16.

между матерью и ребенком, как она эволюционировала начиная с плейстоцена, то наряду с девятимесячной интраутеральной и двенадцатимесячной экстраутеральной беременностью обнаружим еще один период общей продолжительностью от четырех до пяти лет, в который ребенок обречен на высокие инвестиции материнской заботы и перманентную близость материнских и алломатеринских фигур; даже по истечении этого времени обратная связь ребенка с обслуживающими его инстанциями является постоянным психосоциальным императивом. Само собой разумеется, что в такой ситуации рождаемость должна любыми средствами постоянно удерживаться на низком уровне, ибо с точки зрения женщины чрезмерные требования, предъявляемые многократным материнством, представляют собой опасность, которую следует всеми силами избегать. В данной ситуации преждевременный второй, литний³ и обременительный⁴ ребенок воспринимается как гость, вместе с которым приходит беда. Поэтому в самых ранних неформальных этиках в отношении этого агрессора допустима любая реакция; следы такого стиля мышления можно проследить вплоть до современного провозглашения права на аборт не готовой к материнству женщины. Однако именно вышеуказанный *worst case** — симультанная нагрузка, вызванная следующими друг за другом родами, — с развитием агрокультурных жизненных форм становится стандартной ситуацией замужней женщины. И хотя общее положение, сложившееся после перехода к земледелию, позволяет материально справиться с вторжением детей в семьи земледельцев и землевладельцев и прокормить многочисленных гостей с помощью прибавочного продукта культивируемых земель, психическое обеспечение вторгающихся тем не менее остается в высшей степени проблематичным. Самым известным симптомом этого системно обусловленного расстройства является эффект Вениами-

* Наихудший случай (англ.).

на: лишь последний ребенок в семье получает ту полноту внимания, которая, собственно говоря, должна была бы достаться каждому, да и то при условии, что мать не будет слишком изможденной и обеспечит должный комфорт. Так *mysterium iniquitatis** врывается в каждую продуктивную семью; в результате братско-сестринский *ressentiment* может развиваться в скрытую мировую силу.

Из этого следует, что в многодетных семьях эпохи неолита формируется бессознательное, ускоряющее ход истории цивилизаций как мы ее знаем: его первым и постоянным содержанием является невыносимое чувство зависти недостаточно обеспеченных индивидов к своим ближайшим соперникам в борьбе за доступ к комфорту, братьям и сестрам; его мотор — неутолимая жажда справедливости, то есть невозможного перераспределения материнского богатства. Отнюдь не за эдипову привилегию (о которой не устают твердить плохо разбирающийся в истории культуры психоанализ) ведется здесь борьба. То недостижимое, за что отныне должна разгореться битва, это абсолютно нормальная, но тем не менее ставшая исключением полномасштабная материнская забота. Речь идет не об инцесте, а о резонансе, не о генитально окрашенном влечении к матери, а о свободном доступе к дарительнице комфорта, не о соперничестве, подтекст которого составляет эдипов комплекс, а о конкуренции между стремящимися отеснить друг друга братьями и сестрами. Когда узы первой интимности слишком ослабевают, дети становятся одинокими в своем отношении к собственной матери. Скандальная причина скрытого от глаз спора такова: в дефиците оказывается то, что, казалось бы, никак не может быть дефицитным.

Отныне все экономики являются потенциально и актуально компенсаторными, они выражают один дефицит через другой. В земледельческих слоях населения высококоразвитых культур почти у каждого ребенка есть более

* Мистерия несправедливости (лат.).

или менее веская причина тревожиться по поводу довербально данного ему и почти всегда нарушаемого обещания причастности к левитации. То, что было названо духом утопии, возникает из невысказанного требования равного комфорта для всех; он представлял бы собой репродуцирование социального синтеза из духа братства по ту сторону зависти. Подчеркиваемый Фрейдом мотив отцеубийства в действительности имеет акцидентальную природу. Содержанием эффективного бессознательного становится страстное, хотя и не осознаваемое, желание уничтожить брата или сестру, непосредственно виновных в твоей бедности и униженности. Таким образом, отнюдь не случайно, что библейская история о самом первом преступлении повествует о братоубийстве; мысль о том, что отец мог бы отнять у тебя какую-либо из полагающихся тебе привилегий, была в этом контексте невозможна. Самые мощные депривативные делирии вызваны отношениями с конкурирующими *peers*;^{*} параноик считает *alter ego*, и только его, способным на самое худшее — и именно потому, что оно с ним уже произошло. Делирий в принципе эмпиричен. Что же касается матерей, то в этих условиях они вынуждены стать более сильным, более справедливым, а в ситуации неизбежной несправедливости и более жестким полом. Они должны управлять дефицитом, коим являются они сами; они заглушают крики, на которые не в силах отвечать одновременно. Эта судьба становится для них неминуемой, как только они — в течение репродуктивной фазы своей жизни и вне ее — оказываются в весьма вероятной ситуации столкновения с последствиями перенапряжения собственной фертильности.

С психоисторической точки зрения с поворота к подчеркнутой многодетности начинается история культур дефицита, ибо отныне в общецивилизационном масштабе в большинстве индивидов впервые укоренилось ощущение недостатка. Исключениями, не считая удачливых

^{*} Равные друг другу (англ.).

выходцев из бедных слоев, являются прежде всего отпрыски древних аристократических семей, самоутверждающая манера поведения которых не только формируется с помощью подобающего их сословию тренинга высокомерия, но и находит поддержку в континууме материнской и алломатеринской ауры богатства. Аристократия — в психоэкономическом отношении это означает получение более высоких шансов на доступ к алломатеринским ресурсам. Эти последние формируют первое психически активное понятие сокровища. Одновременно с относительной пролетаризацией перегруженных матерей (тенденцией, которая лишь отчасти компенсируется ростом их авторитета как придворных матрон) в крестьянских и городских слоях населения возникают новые психологические типы детей, с одной стороны, подчиненных, растущих в атмосфере страха неприятия и пролетаризирующихся своими собственными родителями, а с другой стороны, пробужденных к честолюбию, отведавших горькую сладость обеспеченной жизни и обращающихся к решению своих задач с настроением, представляющим собой смесь из голода, агрессии и ожидания счастья.

В мире дефицита, оперирующем понятием сокровища, возникают первые формы идеализма, который позволяет людям отвлечься от своего реального положения. Понятие идеализма уже здесь предстает столь же раздробленным, каким оно выглядит после ницшевских интервенций: оно говорит не о высоте суверенного самоощущения и не об убежденности в примате сферы идей, а о синдроме интегрированных иллюзий, благодаря которым невыносимая реальность окружается оболочкой новых толкований и преображений. Поддерживая друг друга, иллюзии сбиваются в стаи; там, где они удачно сцепляются друг с другом, они образуют своего рода суггестивную коллегия; автор, чувствительный к порядку и последовательности, может соединить их в определенную систему. Что такое система идей, как не сокровище для тех, кто их лишен?

Очевидно, что именно мать напрашивается в качестве первого объекта идеализации, — не потому, что она сама претендует на превозношение, а, скорее, потому, что дети, остающиеся в неведении относительно истинной природы своей непредсказуемой родительницы, для своей собственной стабилизации нуждаются в утешительном образе Великой Матери. Быть может, динамическим ядром идеалистической абстракции является невозможность видеть в собственной матери маленькое, беспомощное, изможденное создание. Если существуют богини, то как я могу смириться с тем, что именно та женщина, ближе которой ко мне никого и ничто нельзя представить, не богиня?

7. КОМФОРТ В СИМВОЛИЧЕСКОМ. ЭПОХА НЕБЕСНЫХ СОКРОВИЩ

Психологические достижения метафизической эпохи сводятся к тому, что в ней комфорт становится доступным символизации. Символ можно определить с помощью его психической потребительской стоимости: мышления отсутствующего как присутствующего и недостающего как имеющегося в распоряжении. В уживерсуме символизма господствует способ переживания, в соответствии с которым полнота реального репрезентируется в знаках. Поэтому в символическую эпоху судьбы богатства связаны с его имагинациями; знаки богатства переплавляются в богатство знаков. В этом режиме умение создать картину сокровищ и сил в определенном смысле означает богатство и могущество; тот, кто знает и может сказать, чем по своей сути является изобилие, в некотором роде обладает и им самим. Если кто-то имеет понятие об избытке субстанции, то он не может быть отлучен от причастности к ее атрибутам. В этом пункте символизм синонимичен католицизму. Где еще могла бы расцвести вера в то, что тот, кто в надлежащем расположении духа

приблизится к полуистлевшей кости какого-нибудь святого, может быть убежден, что встречает святого собственной персоной? Католический реализм — это продолжение тотемизма другими средствами; он переносит принцип *mana* в эпоху философско-теологических категорий. В этом порядке не существует понятий, не являющихся частями сокровищ, и имен сущностей, в которых не струится энергия истока. Но прежде всего важно, что тот, кто обладает чувством значительного, удаленного и высокого, сам причастен к экстазам вертикальности. В эпоху тезаврической символики или логизированной *mana* мышление и бытие действительно суть одно и то же.

Метафизику и сказку роднит то, что они постоянно заставляют истинных героев идти к цели своих желаний окольными путями. Мы поймем это, как только постигнем сущность метафизической формы желания: само интенсивное желание уже переносит желающего — в модусе символической причастности к искомому богатству — к цели, прежде чем он сделает первый шаг. В символическом пространстве любой искатель сокровищ в конце концов будет найден своим сокровищем. Искать — значит возвращаться к исходному пункту поисков; стремление как таковое уже озарено светом находки. Вне всяких сомнений, отнюдь не случайно, что последний значительный символист в староевропейской традиции Эрнст Блох возвысил кладоискательство до формы мирового процесса. Благодаря предвосхищающей, продуктивной мечтательности поиск превращается у него в своего рода просвещенное производство. Тот, кто открывает Новый Свет, должен достаточно явственно ощущать вихревой след легенд о южных и западных Золотых странах, чтобы понять знаки созревшего для прорыва времени. Тот, кто завоевывает воздух, должен был достаточно долго грезить о полете, чтобы взмыться ввысь на первом попавшемся летательном аппарате. Тот, кто жаждет коллективного богатства, должен был с критико-экономических позиций подходить к природе возможности богатства вообще. Поэто-

му речь вовсе не идет о простом кладоискательстве, плоды удачи должны производиться — в любом возможном смысле этого слова. Всемирная история является для Блоха долгим брожением поднимающегося с мирового дна богатства, которое еще не нашло своего алхимика; оно исполняет императив *enrichissez-vous** * на видовом уровне; его агентом и медиумом является просвещенная неудовлетворенность. Понятно, что символически предвосхищенное «неотчужденное тождество существования и сущности в природе»⁶³⁹ может быть осуществлено лишь в конце истории, — наступление всеобщего богатства отсрочивается. Оно было бы истинным и действительным только в качестве исполненного телоса всех производств, а все его антиципации здесь и теперь должны содержать момент неистинности. Поэтому система Блоха, ставящая в начало грезу о богатой жизни, а ее исполнение, напротив, в конец, не выходит за рамки моделей староевропейской телеологии.

Если же мы, наоборот, поставим в начало осуществленное богатство, то перейдем к такому способу мышления, при котором дефицит допустим лишь эпигенетически; он появляется как некий дурной прибавок, как *privativum*, результат ограбления, некое сокращение. В системе изначального мышления смертные живут под полной защитой своего первичного иммунитета; им не нужно искать, ибо они уже найдены. Для них до самого конца все остается внутри постоянно увеличивающегося круга. Впрочем, мы не знаем точно, как современный человек способен обратиться к этим ориентированным на истоки воззрениям, не дезертировав из своего времени. Сегодня даже у реликтов аристократии магия происхождения лишилась своей действенности. Признание, что холисты обладают более выигрышным иммунным статусом, чем современные люди, отнюдь не свидетельствует о

639 Ernst Bloch. *Das Prinzip Hoffnung*. Bd 1. Berlin, 1954. S. 259.

* Обогащайтесь (*фр.*).

наличии у нас возможности вновь стать холистами. Следует обдумать: зонтик плероматической обороны раскрывается для защиты не от болезней, дефицитов и повреждений, а от травмы ненадежности, переживаемой при отсутствии подъема. Эта оборона должна преодолеть ненадежное с помощью доверия, воспроизведя разрушенный гомеостаз небольшого объема в большем масштабе. Пока заколдованный круг сохраняет свою регенеративную силу, все происходящее может истолковываться как дидактическая пьеса. Более того, в холистическом шаманизме различные расстройства служат необходимой главой в учебном курсе души, призванной изучать свою беспредельность; весь объем жизни помещается во внутреннее пространство, превращающее лишения в производительные силы изобилия. Тот, кто купается в струе, бьющей из самого истока, покрыт коркой невозможности быть бедным так же, как Зигфрид покрыт засохшей драконьей кровью.

Когда в результате постнеолитического агрокультурного поворота в древнейших городах, царствах и империях распространилось фундаментальное настроение дефицита, лишь частично компенсируемое славой царей-богов и их требующей воображаемой причастности аурой величественности, в подавленных популяциях начали формироваться разнообразные мифологические системы — точнее, схемы внутреннего производства образов и заранее сформированные грезы, которые позднее станут описывать как «веру», а еще позднее как верность унаследованным иллюзиям, грезы, предоставляющие недостижимому на Земле богатству трансцендентный адрес. Вопрос о том, можно ли с помощью данных сравнительной мифологии подтвердить наличие предполагаемой здесь генетической связи между первыми оседлыми цивилизациями (с присущим им бифокальным порядком господствующего города и обслуживающей его деревней) и происхождением фантазий о рае, пока остается открытым; несомненно лишь то, что в большинстве высокоразвитых культур,

основывающихся на синтезе агрокультуры, ремесла и письменности, можно наблюдать симптоматическую связь между представлениями о посмертном существовании и фантазиями о свободном доступе к миру сказочного изобилия. В широко распространенных садовых утопиях моменты преобразенного сельского ландшафта компенсируются атрибутами городского образа жизни. Там, где целостность мира воспроизводится в форме сада, богатства природы и культуры согласно сливаются в одном заботливо оберегаемом пространстве.

Мы могли бы говорить об одной из первых форм формирования небесных сокровищ; с ней связано изменение стиля человеческого существования на метафизически кодированное кладоискательство. В фантазме сокровища прототипические образы власти и связанной с ней роскоши, возникшие в культурах древнейших царств, соединяются с моделями внутреннего восприятия изобилия и несомости, которые, как мы можем предположить в соответствии с нашими прежними рассуждениями, восходят к опытам с материнскими и алломатеринскими потенциалами комфорта, сколь бы те ни были дефицитными. Если материальные сокровища действуют для сознания как аттракторы, то в первую очередь потому, что они представляют собой овеществленные радостные послания; они воплощают собой плероматические массы, излучающие обещание того, что однажды последует левитация. Ищущему сокровище обещано, что подъем в конце концов победит. Благодаря фантазиям о сокровищах в базовое депрессивное настроение древнейших имперских культур вводится маниакальный корректив. Сокровище, окруженное грезами, — вот воплощение власти комфорта, предоставляющей себе и своим подданным полноту возможного. В силу своей наглядности архетип богатства, допредметным образом обнаруживающийся в суверенной матери, принимает предметную форму. Теперь остается лишь узнать, где зарыто сокровище. Официальная информация традиции гласит: умри и найди.

Теперь понятно, почему сокровище может быть одновременно и субстанцией, и персоной; об этой дубликации свидетельствуют уже такие фигуры, как новоевропейские фортуны или девы удачи, которые в обращении к своим протеже соединяют персональные эпифании с потоками материальных благ. Образцовой здесь является народная книга о Фортунатусе, том прототипе баловня удачи с подаренным ему волшебным кошельком, прорыв которого к 60-летней жизни живописали европейские авторы XVI—XX веков. Ирония классических сказок об изобилии станет заметна, если мы представим себе всеобщие условия функционирования всемирной метафизической коммуни-кадии: верующие должны предполагать, что хозяин сада, Бог-Отец, обладает неисчерпаемыми возможностями комфорта, которые возле эмпирических матерей переживались, как правило, лишь в намеках. От них постоянно ускользает, что царская плерома, являющаяся им в своем реальном и воображаемом великолепии, сияет лишь потому, что они сами внесли свой вклад в усиление ее воздействия. В пространстве податей, обязанностей и мечтаний они окружают хозяина аурой дарующей комфорт силы, обладать которой они желали бы сами. Не ведая, что творит, народ в классовом обществе готов стать алломатерью хозяина. В то же время народ должен почитать своих великих, словно те, со своей стороны, хотят стать алломатерями народа. В этих желаемых отношениях артикулируется психодинамический *contrat social* метафизической эпохи.

В первом прочтении именно хозяин, позволяя своим клиентам обращаться к себе, дарует им причастность к своему изобилию. Поэтому «назад-к-несомности» богатством образует основной жест райских рассказов в монотеистических культурах, хотя по своей нарративной форме они скорее повествуют о «вперед-к-изобилию». Из многочисленных раввинских рассказов о мессианском времени мы выбрали для цитирования одно место, которое можно рассматривать как пример иудаизации эллинско-римского мотива «золотого века»:

«Раввины учили: будет обилие хлеба на земле, на верху гор (Пс., 71:16). Они говорили: когда-нибудь пшеничное зерно станет подобно финиковой пальме на верху гор. Если же, думаешь ты, будет тяжело жать его, то знай, плоды его будут волноваться, как лес на Ливане; Священный, хвала ему, выпустит из своей сокровищницы ветер, который развеет его муку; тогда всякий выйдет в поле и принесет домой полные пригоршни для своего пропитания и пропитания своих домашних... Некогда пшеничное зерно станет равным обеим почкам огромного тельца... Не как мир сей будет мир будущий; в мире сем придется мучиться, собирая и давя виноград, в мире будущем одну-единственную виноградную гроздь повежут на телеге или на лодке, ее положат в углу дома и будут черпать из нее, как из бочки; лозу ее сожгут под кипящим котлом. У тебя нет одной-единственной виноградной грозди, которая не вместит тридцать мер вина» (Кетубот, ШБ).⁶⁴⁰

Нельзя не заметить, что в этой легенде о мессианской (возможно, даже эсхатологической) ситуации дает о себе знать тенденция к возвращению к скудной и истощенной природе ее утраченной в профанное время функции обеспечения комфорта. Под знаком зерна и вина заявляет о себе архаичный делирий кормилицы — всё переливается через край, всё есть грудь. Восстановленная в своих правах алломать-природа устраняет травму, вызванную отнятием от груди; она останавливает падение в бедность и возвращает своих детей на высоты, где растут гигантские зерна, а роль мельника играет ветер. Решающее значение имеет обстоятельство, что такие картины возвращают способность воображения клиентов в дотру-

640 Цит. по: *Pierre-Antoine Bernheim, Guy Stavrides. Welt der Paradiese — Paradiese der Welt. Zürich, 1992. S. 40—41.*

довое состояние, нагружая Священного, Бога Израиля, универсальной алломатеринской функцией. В грезах о конце времен этого типа Бог представляется не как законодатель, а как спонсор и даритель комфорта. В ином случае осталось бы непонятным, почему люди мессианского времени уже не выполняют своими руками работу по уборке урожая, а находят на полях уже смолотую муку; можно обойтись и без труда виноградаря, ибо виноградная гроздь сама собой превратилась в бочку. В духе представлений об алломатеринском комфорте на помощь призывается природа, способная в любой момент предоставить уже готовые продукты.

Именно такое избегающее промежуточных шагов, к которым относятся труд и отчуждение, сокращение пути к результату составляет сущность комфорта. Мечта о не требующем усилий доходе является парадигмой для всех левитационных и потребительских грез⁶⁴¹ — об этом еледует помнить, когда речь заходит о чрезмерных тратах. Ибо популярны всегда только траты других. Мессианизм означает надежду на такое состояние мира, при котором труд был бы полностью экстернализован, — либо его возьмет на себя тотально раскрепощенная или, что то же самое, насквозь пролетаризированная природа, либо он без остатка будет поручен машинам или какому-нибудь подземному миру отверженных. В таком случае мессианство — это концепция, постулирующая воспроизведение дарующей комфорт материнской силы на уровне целого народа. Поэтому важно отметить, что в этой делириантной экономике Мессия непосредственно сам по себе не может быть меценатом своих адептов. Сначала его приверженцы должны обогатить его настолько, чтобы он оказался в состоянии вернуть аккумулированное в нем богатство природе, которая, со своей стороны, станет алломатерью его клиентелы.

⁶⁴¹ Дополненной картиной не требующей борьбы безопасности и безболезненного иммунитета.

В этом прочтении текстов об ожидании исполнения надежд мессианизм оказывается матрицей изначальной аккумуляции капитала комфорта на небесах. То обстоятельство, что центр его тяжести первоначально падает на пищевые, оральные утопии, естественным образом связано с реанимацией договора о комфорте в развернутом до идеально-типического масштаба постнатальном поле «мать—ребенок». Не может быть простой случайностью, что некоторые наиболее глубокие еврейские мыслители XX столетия приписывали развитию капитала мощную, хотя и разрушительную, силу, поскольку он потенциально был способен удовлетворить всех членов «общества», которые прежде по большей части пребывали в состоянии обнищания; если Вальтер Беньямин предполагал наличие между поколениями «слабой мессианской силы»,⁶⁴² то это свидетельствует о том, что и он, как уже было установлено, несмотря на свою марксистскую ориентацию, до конца оставался пауперконсерватором.

Оральные утопии могут быть преодолены только утопиями пренатальности. В каких выражениях это подчас происходит, демонстрирует Маймонид (1135—1204) в трактате Сангедрин Мишны, иудейского собрания законов, где речь идет о популярных представлениях о потусторонних наслаждениях праведников.⁶⁴³ С нескрываемым презрением Маймонид излагает грубо материалистические в его глазах воззрения тех интерпретаторов, которые полагают, что праведная земная жизнь вознаграждается пребыванием в саду Эдема, где всегда в изобилии пища и питье, а также постели из шелка, дома из драгоценных камней и реки из благородных вин. Кроме

642

См.: *Walter Benjamin. Über den Begriff der Geschichte, II: «Если это так, то существует некая договоренность между прежними поколениями и нашим. Тогда нас ждали на земле. Тогда нам, как и каждому поколению до нас, присуща какая-то слабая мессианская сила, к которой предъявляет свои претензии прошлое. Дешево от этих претензий не отделаешься. Исторический материалист знает об этом»* (S. 694).

⁶⁴³ См.: *Bernheim, Stavrides. Paradiese der Welt. S. 47 f.*

того, по мнению других известных учителей, в дни Мессии Земля будет производить прекрасные, уже сшитые одежды и обеспечивать избранных свежесдобытым хлебом, появляющимся прямо из земли. Как и во всех версиях утопии овеществленного изобилия, высшее благо заключается в избытке постоянного обеспечения благами, производство которых передается природе или переносится в некие незримые мастерские. В противовес этим грубым представлениям о последних вещах Маймонид формулирует философскую утопию бестелесного наслаждения, открытого лишь метафизически обученному интеллекту после разрыва со смертной оболочкой. В этом альтернативном обещании акцент переносится с предметного на допредметное удовлетворение. В согласии с платоновской традицией Маймонид говорит о сугубо духовном блаженстве души, состоящем в присутствии и постоянном познании Бога. Созерцательный интеллект подобен здесь телу без органов, развивающему чистое сознание, не нуждаясь в заботе об условиях его сохранения. В соответствии с традицией чистый интеллект представляется как отделенная от тела субстанция. Такая самость без тела соответствует преоральному состоянию, в котором модальности кормления отступают на задний план, тогда как авансцена принадлежит тонкому ликующему сознанию ноэтического сосуществования с великим Другим (который еще не отделен расстоянием как реальный Другой). Присутствие Бога уже само по себе означает антигравитацию. То, что в философской кодировке предстает как противоречие между материализмом и идеализмом, на глубинно-психологическом уровне соответствует различию между отношением к объекту и причастностью к нобъекту; с психологической точки зрения оно маркирует различие между оральной и пренатальной утопиями. Грань между интраутеральной и экстраутеральной беременностью мотивирует как самые грубые, так и самые утонченные символизации желания несомности.

Поскольку христианская эсхатология во многих отношениях является наследницей мессианизма, нет ничего удивительного в том, что в ней дает о себе знать сходная динамика фантазий о последних вещах. В ней речь также идет о надежде на восстановление ситуации изобилия. Ее стиль, как и популярные иудейские модели, отмечен грубым физикализмом, мотивация которого станет понятней, если мы обратим внимание на то, что восприятие тела на оральной стадии может найти свое наилучшее выражение именно в различного рода алиментарных видениях. Они указывают на присоединение и причастность к свободному богатству. В пятой книге «Против ересей» святого Иринея Лионского цитируются переданные учениками апостола Иоанна апокрифические слова Иисуса, которые, будь они аутентичными, стали бы доказательством наличия в евангельском благовещении мощнейших утопий изобилия. Основная мысль пара-Иисусовой речи заключается в том, что добрые дела праведников могут быть вознаграждены не во времени мира сего, а лить в эру Его второго пришествия, но зато сторицей:

«Наступят дни, когда вырастут виноградники каждый по 10 000 лоз, а на каждой лозе — 10 000 ветвей, а на каждой ветви — 10 000 побегов, а на каждом побеге — 10 000 гроздей, а на каждой грозди — 10 000 ягод, а из каждой ягоды будет выжиматься 10 000 литров вина. И когда какой-нибудь святой схватит одну гроздь, другая крикнет ему: я — лучшая гроздь, возьми меня и с моей помощью вознеси хвалу Господу! Подобным образом и одно пшеничное зерно будет рождать 10 000 колосьев, а каждый колос содержать 10 000 зерен, а каждое зерно давать 10 мин чистой белой муки. И то же самое относится и ко всем прочим плодам и семенам и травам».⁶⁴⁴

⁶⁴⁴

Des Heiligen Irenaus fünf Bücher gegen die Häresien. V, 33, 3 / Übers. von Ernst Klebba. Kempten; München, 1912. S. 240.

И здесь мы также имеем дело с фантазией об услужливой природе, богатство которой превосходит все возможные упования. В раю такого типа современная идеология желания не получила бы никакого удовлетворения ни в своей психоаналитической, ни в своей потребительской форме, ибо в среде изобилия не осталось бы пространства для продолжения существования напряжений, вызываемых влечениями и отношением к объекту. Заинтересованным можно было бы предусмотрительно указать на то, что в таком потустороннем мире ничего нельзя купить. Процитированная фантазия адресована клиентеле, мечтающей об утолении первых и последних потребностей, а не об интересном отпуске. Складываемые числа, характеризующие изобилие, разумеется, не имеют никакого арифметического смысла, а представляют собой кратофанические гиперболы. Они восхваляют Бога, дарителя комфорта, согласно *via eminentiae*.^{*} Вряд ли нужно говорить о том, что планета Земля, даже преобразенная, недостаточно велика, чтобы выдержать хотя бы один виноградник с вышеназванными свойствами. Изобилие, возвещаемое в этом вдохновенном пророчестве, должно пониматься эпифанически: здесь, как и везде, иметь представление о Боге означает восхвалять его; надлежащим образом восхвалять его — означает описывать его способность творить комфорт как безграничную. Место не слишком щедрой матери занимает природа в состоянии постоянного *Potlatch*.^{**} С психологической точки зрения, пожалуй, можно было бы говорить о воодушевленном отражении голода, точнее, о галлюцинаторном стремлении к восстановлению гомеостаза, который позволит прасубъекту понизить травматически повышенное напряжение своих желаний до ну-

^{*} Способ определения с помощью сравнения (*лат.*).

^{**} Праздничный ритуал североамериканских индейцев чинук, сопровождающийся раздачей подарков и уничтожением ценных предметов, для того чтобы путем демонстрации собственного богатства члены общины могли гарантировать свой социальный ранг и повысить свой публичный авторитет.

левого уровня. Освобождение от уз объекта бодрствующего мира посредством снижения экзистенциального напряжения до соответствующего состоянию нирваны нуля воспринимается в этом психоэкономическом пространстве как эквивалент блаженства или свободы.

Таким образом, парадоксальный круг желания конституирует классическую религиозную метафизику: условием ее функционирования является крайнее взвинчивание стремления к бытию возле Бога при одновременном признании, что желаемое может быть найдено лишь в состоянии, свободном от желания. Это состояние понимается как совершенство иммунитета, защищающего от случайности как внешней, нарушающей целостную форму собственной жизни, так и внутренней, которая унижает бедностью и зависимостью. Очевидно, что здесь травма истолковывается как своего рода метафизический талант; тот, у кого ее нет, духовно ограничен, ибо лишен того экстремизма, который дает ранняя рана, и, возможно, только она. Поэтому во всех этих дисциплинах на первых порах необходимо подогреть чувство антигравитации, отторжения от реального: человек должен оторваться от почвы вероятного и переориентироваться на абсолютно невероятное, на невозможное в этом мире, чему наилучшим образом способствуют интенсивные картины вознесения на небеса и соблазнительные приглашения сверху. С небес постоянно манят графикации, преображение, сияющие венцы. В результате тотальной мобилизации души посредством иллюзии выполняются те условия, при которых можно перейти к эвокации пренатального причащения. Это последнее, естественно, не может быть наглядным; оно ведет к неустойчивому гомеостазу, намеки на который содержатся в метафорах винно-океанической разгрузки. Некоторые школы мудрости ограничиваются такого рода перспективами, другие разрывают этот горизонт. Они растворяют поиски в позитивизме, совершенно неотличимом от нигилизма, продукта разочарования во всем.

Примеры способа мышления, счета, речи и восприятия можно множить *ad infinitum*;^{*} в своей сумме они составляют универсальную библиотеку гомеостатических мечтаний. *Eo ipso* они могли бы сформировать компендиум знаний о небесных странствиях исторического человечества — вместе с соответствующим подсчетом жертв. Он показал бы, какой ценой ищущие пытались достичь преобразования, обнажив тем самым меновой базис фанатизмов. Наряду с иудейскими и христианскими представлениями о конце времен полезно было бы подвергнуть исследованиям и детально разработанные фантазмагорические картины райских садов в исламе, который отличает в первую очередь неортодоксальное добавление к традиционным оральным и пренатальным утопиям сексуальных утопий, — мотив, ставший интересным в наше время, после того как Запад встал перед необходимостью осмыслить психодинамические загадки исламистско-террористического культа смерти (тот самый Запад, который с точки зрения его фанатичных, а, возможно, и завистливых ненавистников представляет собой царство реально существующей порнографии и *eo ipso* глубоко травмирующую пародию на популярные представления об исламском рае).^{®45} В этой панораме должны были бы присутствовать и ссылки на блаженства Чистой Страны, вокруг которой приверженцы популярного амида-буд-⁶⁴⁵

645

Впрочем, с филологической (и тем более религиозно-психологической) точки зрения многое говорит в пользу того, что вышеупомянутые райско-эротические фантазии представляют собой не более чем результат неправильного перевода некоторых неясных мест в Коране, например 44-й и 52-й сур; согласно Кристофу Люксенбергу (*Christoph Luxenberg. Die syro-aramäische Lesart des Korans. Ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache. Berlin, 2000*), пресловутые гурии в действительности суть не что иное, как просто белые виноградные грозди, — образ, который в контексте нашей интерпретации орально-гомеостатической динамики образов рая обретает гораздо больший смысл; как мы видели, ожидающая верующего виноградная гроздь образует распространенный топос христианской и иудейской литературы о потустороннем, который мог быть известен и авторам Корана.

* До бесконечности (лат.).

дизма развернули универсум имажинаций и экзерсисов. Кроме того, контекст потребовал бы обсуждения концепций обретения бессмертия в алхимических доктринах эзотерического даосизма. Для наших рассуждений будет излишним рассмотрение дополнительных свидетельств об аффективной одержимости небесами, раем, преображенными мирами и прочими метафизическими и параметафизическими формами левитационного пространства; материалы, необходимые для компаративистского исследования потусторонних миров, можно найти в религиозной и мифографической литературе.⁶⁴⁶

8. ИММАНЕНТНОЕ ЖЕЛАНИЕ, РОМАН О ФАУСТЕ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ РОСКОШИ

В дальнейшем для предлагаемого здесь краткого очерка истории комфорта и его побочных функций значение будет иметь не столько обращение к трансцендентному и разнообразным разгрузочным эсхатологиям (вплоть до фрейдистского мифа о влечении к смерти), сколько возвращение имажинарно кодированного стремления к роскоши и изобилию в земной контекст и область мирских операций. Одним словом, теперь речь пойдет о конституировании современного мира посредством преобразования вознесения в горизонтальный исход, географическим символом которого стала Америка. Этому эффекту способствует имеющая колоссальные последствия смена акцента: с трансцендентности на имманентность и с аскезы на выражение. Поэтому так называемые небеса перестают служить проекционным экраном ставшего безгра-

⁶⁴⁶

Например: *Ian P. Couliano. Jenseits dieser Welt. Außerweltliche Reisen von Gilgamesch bis Albert Einstein. München, 1995; Pierre-Antoine Bernheim, Guy Stavrides. Welt der Paradiese — Paradiese der Welt. Zürich, 1992; Friedrich Heer. Abschied von Höllen und Himmeln. Vom Erde des religiösen Tertiär. Frankfurt; Berlin, 1990; Bernhard Lang, Colleen McDannell. Der Himmel. Eine Kulturgeschichte des ewigen Lebens. Frankfurt; Leipzig, 1996.*

ничным желанием; новый экран натягивается по широте человеческого и земного возможного — вместо направленного вверх трансцендирования современная душа учится пересекать океаны. «Даже воздух становится горизонтальным». ⁶⁴⁷ Чувство бесконечного артикулируется ретросцендентно; оно все глубже и дальше проникает в пространства земных возможностей. Всякое потустороннее ищется теперь уже по эту сторону; то, что было небесами, становится технической проблемой. ⁶⁴⁸ Перемена осуществляется в результате инверсии ориентации навыков со схоластически-риторических на инженерно-технические и предпринимательские операции. Отсюда интерес Нового времени к тем характерным фигурам, в которых воплощается *belle alliance** желания, способности, обладания, действия и потребления.

В этой связи представляется полезным еще раз обрисовать значение образа Фауста. В нем кристаллизуется тенденция, которую мы называем ретросценденцией комфорта: в лице Фауста на мотивационно-исторические подмости выходит активистская субъективность потребления и переживания. Подъемы, как и моторы, также имеют свою историю. В пользу, с одной стороны, своевременности, а с другой — преждевременности этого дебюта, состоявшегося в так называемой народной книге «История о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», изданной в 1587 году Иоганном Шписом во Франкфурте-на-Майне, свидетельствуют как исторические обстоятельства, так и внутренние *quasi*-утопические векторы текста. Здесь кладоискательство, когнитивное и чувственное, становится внутримировой страстью. Своевременность книги о Фаусте доказывает ее успех; наличие в ней преждевременных черт вытекает из

⁶⁴⁷ Gilles Deleuze, Félix Guattari. Was ist Philosophie? Frankfurt, 1996. S. 112.

⁶⁴⁸ См.: Gotthard Günther. Selbstdarstellung im Spiegel Amerikas. Hamburg, 1975. S. 30.

* Прекрасный союз (ψρ.).

того факта, что новый человек, появление которого она возвещает, тип мага-ученого, обретающего могущество благодаря учению, торговле и обману, пока что достигает своих результатов неким полутехническим способом. Действительно, то обстоятельство, что желание Фауста вынуждено искать союза с покровителем желаний Мефистофелем, ярче всего прочего свидетельствует об исторически ограниченном уровне развития производящих комфорт сил. Тем не менее фигура черта станет понятной нам лишь в том случае, если мы увидим в ней рекламный проспект нового могущественного творца комфорта. Он выдвигает до сих пор неслыханный императив: ты должен стремиться повысить свои навыки, пусть даже средствами черной магии! Именно воля к навыку отличает оперативного и операбельного человека Нового времени от онтологического человека Средневековья, преодолевавшего и одновременно упрочивавшего свое бессилие в метафизических картинах мира. В повороте к оперативным навыкам, пророчески артикулированном в гуманистически санкционированном мышлении Фрэнсиса Бэкона, заявляет о себе проект «разгрузка». Качества мастера на все руки квалифицируют технически могущественный, одновременно злой и добрый, преступный и благодетельный дух как оккультную алломатеринскую инстанцию людей Нового времени.

Это обстоятельство прежде не могло быть надлежащим образом освещено: если в книге о Фаусте Мефистофель воплощает фигуру зрелой современности, то потому, что она предлагает «новому человеку» исключительно светские и исключительно технические, пусть еще и дьявольски-технические, способы исполнения желаний; она становится еще более реалистичной от того, что устанавливает регулирующие контуры между демоническим предложением и человеческим спросом: после того как черт продемонстрировал то, что теперь оказывается благодаря ему в зоне досягаемости, желание широким фронтом устремляется к неизведанным дерзостям и расширя-



Иллюстрация из книги о Фаусте, XIX в.

ет рынок для доброй дьявольщины. Таково аналитическое содержание сказки о союзе между сладострастным ученым и продуктивным демоном. Хотя новые способы исполнения желаний носят характер откровенно криминальных действий, они тем не менее вызывают симпатию читателя, поскольку соответствуют принципу перераспределения. Они одновременно и преступны, и справедливы; они справедливы потому, что ревизуют ситуацию вечного дефицита комфорта, пусть только в одном образцовом случае. Народная книга описывает *modus vivendi* роскошествующего доктора:

«Еды и провианта у доктора Фауста было в избытке. Когда он желал хорошего вина, дух приносил ему его из тех погребов, из каких он хотел; по его собственным словам, он нанес большой ущерб погребам своего господина, курфюрста, а также герцога Баварского и епископа Зальцбургского. Кроме того, у него ежедневно была и приготовленная пища, ибо он владел таким колдовским искусством, что как только открывал окно и произносил название той птицы, которую желал, так она и влетала в его окно. К тому же его дух ото всех окрестных владетельных господ, из княжеских и графских дворов приносил ему самую лучшую, в высшей степени роскошную приготовленную еду. Он и его приятель ходили превосходно одетыми; одежду его дух по ночам покупал ему в Нюрнберге, Аугсбурге или Франкфурте или воровал, так как ночью торговцы обычно не сидят в лавках; и то же самое — кожененники и сапожники. В целом все это были украденные или позаимствованные товары... Итак, доктор Фауст день и ночь живет эпикурейской жизнью, не веря, что есть Бог, ад и дьявол...»⁶⁴⁹

649 Цит. по: *Deutsche Volksbücher* / Hrsg. von Carl Otto Conrady. Reinbeck bei Hamburg, 1968. S. 76.

С этим рассказом мы вступили в мир, в котором очень даже выносимая легкость бытия гарантирована, пока есть другие, занятые трудом, — о производственных отношениях еще никто не спрашивает. Рассказчик «Истории» не оставляет никаких сомнений в том, каким образом должно осуществляться судьбоносное фаустовское ограбление: за привычной эксплуатацией народа владельческими господами последует инновативная эксплуатация господ и ремесленников исключительным человеком, будь то ученый, художник или бизнес-консультант.

Очарование, в течение столетий источавшееся фигурой доктора Фауста, от которого в гётевских сублимациях остался зримым только утонченный отблеск, состоит, таким образом, в щедром обещании комфорта внутри мира. Поскольку его адресат остается неопределенным, значительная часть буржуазной интеллигенции всех последующих поколений могла ощущать, что оно обращено именно к ней. След этого очарования еще ощутим и спустя столетия: Фауст — человек, в середине жизни открывший трюк всех трюков: короткий путь к нетрудовому богатству, а тем самым совершивший скачок от желания к потреблению.⁶⁵⁰ Он — протагонист буржуазной претензии на средство обеспечения комфорта настоящего и будущего. Его метафизическое легкомыслие, точнее, его отложенный интерес к спасению собственной души открывает ему доступ к безграничным источникам благосостояния и потребления. Тем самым он предлагает заразительную модель того, как можно одним махом покончить с печальной работой самосохранения. С помощью магических методов он в один прыжок достигает результатов, не совершая длительного марша через производство и честный заработок. Его открытие, символом которого явля-

650

О полном комфорте как равнодействующей триады: нетрудовой доход, безопасность без борьбы и безболезненный иммунитет см. ниже с. 849 и сл.

ется пакт с дьяволом, состоит в том, что и на уровне взрослого желания можно требовать и получить такое же полное удовлетворение, какое ранее было возможным лишь в симбиозе ребенка и заботливой матери — при условии, что к его услугам будет партнер, обладающий высоким потенциалом обеспечения комфорта. Фауст осуществляет масштабную регрессию, которая тем не менее вела к взрослой цели.

Таким образом, у скандального существования Фауста есть имя: безграничность в благополучии. Она ведет к открытому разрыву со староевропейскими традициями умеренной, серьезной, ориентированной на самоограничение жизни, как она была артикулирована в концепциях *sophrosyne** и *moderatio*** Если существует какой-то фаустовский грех, то это конститутивный грех Нового времени, ибо он состоит в выходе из системы староевропейских пропорций. С него начинается не только инфильтрация бесконечного желания в конечные состояния, но и практическая ликвидация границ коммуникации и потребления. И в том и другом уже дает о себе знать динамика развития капитала, отраженная в субъективных качествах неутомимого исследования и неутолимой жажды переживаний. Фаустовская максима дискредитирует меру и *ordo*, ибо она определяется уже не конечными и доступными удовлетворению потребностями, а неисполнимыми желаниями. Этому соответствует то обстоятельство, что жизнерадостный доктор путешествует по только что утратившему границы миру так много, сколько разве что твердый капитал в облике бороздящих мировой океан груженных товаром судов; он более не может и не желает где бы то ни было бросить якорь, ибо у его желаний нет никакого предела; он не может предложить мгновению продлиться, поскольку сам проектирует себя как неудержимый поток, не впадающий в буду-

* Здравомыслие, благоразумие (*греч.*).

** Умеренность (*лат.*).

щее.⁶⁵¹ Даже воздушное пространство уже не застраховано от его вторжений. Фаустовская идеология содержит в себе восстание против границ, проведенных послушанием, дефицитом ресурсов и недостатком предпринимательского духа; и если средства, обеспечивающие Фаусту комфорт, *pro forma* должны быть описаны как порочные, то интенсивность обращения к этим эффектам в течение почти всей буржуазной эпохи невозможно игнорировать. Интерес к греху и распущенности сразу же порождает соответствующий рынок. Там, где такого рода рынок начинает функционировать, публичное внимание фокусируется на более насыщенной жизни.

Лить после того как Запад очевидным образом перешагнул порог *affluent society*, то есть начиная со второй половины XX столетия, обаяние образа раскованного ученого мгновенно поблекло — по всей видимости, потому, что в условиях развитого общества потребления люди утратили ощущение, что их могут чему-то научить символические дерзости и вольности Фауста. Конраду Аденауэру уже не нужно было бы запрещать «Фауста». С изобретением потребительского кредита мы все обгоняем рабочее время и уже живем в желанном будущем — и нет необходимости объяснять, почему кредитная карта сделала обеспечивающего комфорт дьявольского партнера излишним. В системе развитого потребления «в регистр прав человека добавляется право на регрессию».⁶⁵²

И все же с именем Мефистофеля связано одно имеющее важные последствия открытие. Пакт с дьяволом — это шифр для безмолвного контракта, содержанием которого является тотальная материнская забота. Осваивая внутримировые игровые поля, левитация освобождается от апелляции к посмертной жизни. Последующим поколениям европейцев это позволяет осознать свои секуляр-

651 См.: Сферы. Т. II. Гл. 8. С. 806—1013, особенно с. 889 и сл.

652 *Pascal Bruckner. Ich leide, also bin ich. Die Krankheit der Moderne — eine Streitschrift. Weinheim; Berlin, 1997. S. 91.*

ные возможности. Что касается морали в истории, то, по всей видимости, с самого начала она не имела большого значения. Пусть привыкшему к комфорту человеку по истечении 24 лет грозила вечная адская кара, но благосклонная публика несмотря ни на что интересовалась тем, что происходило с безудержно потребляющим человеком во время его приключений: эпическим обжорством, вызывающе роскошным столом, развратными эскападами, путешествиями второго Симона Волхва по воздуху и в космическое пространство (причем в данном случае вертикаль получает определенный авиационный смысл⁶⁵³), репортажами об адском потустороннем мире, инцидентами во время небесного путешествия, переходящего в пилотируемый космический полет, забавной и злой авантюрой некроманта при монаршем дворе, проделками с обезьянами, крестьянами и студентами — всем тем, что очерчивает круг событий, заслуживающих переживания и изображения. Кругосветное путешествие Фауста ритмизируется непрерывными анекдотами о попойках, оргиастических пиршествах и вакханалиях. В сменяющих друг друга картинах кристаллизуется мультиэпизодическая структура новоевропейской повествовательной прозы, выводящей своих протагонистов в широкое поле опыта. Так раннемодернистский роман как первый иллюстрированный журнал способствует формированию субъекта, превращая героя в счетчик сенсаций на единицу повествования.

Что касается одиозного пакта со злом, то он свидетельствует об определенном росте реализма, поскольку тотальный комфорт не-младенцев отныне мог быть открыто представлен как эксплуатация Третьего. Она возможна лишь на основании узурпации и восстания. Ее оправдание, сколь бы амбивалентным оно ни было, мо-

653

Об авиамagических опытах и фантазиях в фаустовском комплексе см.: *Wolfgang Behringer, Constance Ott-Koptschalijski. Der Traum vom Fliegen. Zwischen Mythos und Technik. Frankfurt, 1991. S. 238—241.*

жет проистекать из обстоятельства, что в данном случае, очевидно, имеется в виду ограбление влиятельных господ, вызывающих весьма небеспочвенное подозрение в том, что они, со своей стороны, являются эксплуататорами. Заметим, что мыслительная фигура эксплуатации эксплуататора представляет собой предварительную формулировку принципа перераспределения, без которого не могла бы быть легитимирована причастность современного государства к экономическим успехам общества. В этом смысле фаустовского черта — наряду с фигурами Робина Гуда, Фортунатуса, Уленшпигеля и других — можно было бы назвать провозвестником социального государства, ибо в его действиях невозможно усмотреть примата самообслуживания; он — мистический пращур социал-демократии. Поскольку его транзакции связаны не столько с прямым налогообложением, сколько с перемещением богатства от старых обладателей сокровищ к новым, его деятельность предвосхищает скорее работу биржи, чем функционирование государственной казны.

Как вор и укрыватель краденого в одном лице Мефистофель служит самой наглядной иллюстрацией феномена экспроприации. Он выражает точку зрения просвещенной клептократии, сопровождая богатство до той формы, в которой оно может быть украдено в качестве готового продукта; клептократическому стандарту, по всей видимости, следует и современное фискальное государство, силой закона год за годом изымающее из кармана так называемых наиболее обеспеченных людей половину их доходов. XVIII и XIX столетиям останется вернуть продукт в производственный процесс и интерпретировать сокровище как капитал, а следовательно, предполагать факт воровства (впоследствии переименованного в эксплуатацию) в самом трудовом контракте. Исходя из этого могут быть сформулированы те предпосылки, при которых авторитарное раннебуржуазное фискальное государство преобразуется в кроткое социальное государство современности.



Антуан Ватто. *Вывеска антиквара Жерсена*. 1720 г.

В XX веке, с обретением опыта государства всеобщего благосостояния, главная современная авантюра, переход к левитационному «обществу», вступает в свою оперативную фазу. Ее принцип сформулировал социолог Рене Кёниг, назвавший истинный проект современности «демократизацией роскоши».⁶⁵⁴ Эта формула учитывает указание Шумпетера, согласно которому действительное завоевание капитализма состоит в популяризации доступа к изысканным товарам: прогресс в экономическом поле означает не то, что королева Англии может купить столько шелковых чулок, сколько ей заблагорассудится, а в том, что такие чулки может позволить себе продавщица.

Демократизировать роскошь... Мы должны будем привыкнуть к той мысли, что этот с самого начала вызывавший сильное сопротивление проект начал осуществляться задолго до XX столетия, — как и к тому пониманию, что и современность также может быть только новейшей фор-

654
1986. S. 213.

Цит. по: *Kutsch, Wiswede. Wirtschaftssoziologie. Stuttgart,*

мой основополагающего для нас парадоксального процесса: с того момента как *homo sapiens* вышел на подмостки эволюции, он претендует на почти невозможное как на нечто само собой разумеющееся. В английской морализаторской литературе начиная с середины XVIII века мы — возможно, впервые в истории классовых «обществ» — обнаруживаем указания на начало открытого обсуждения имитации роскоши беднотой; одновременно в этом мы увидели повод жаловаться на «падение нравов», вызванное заражением низших слоев неуместным стремлением подражать богатым. С этого времени дело левитации — прежде всего в лице экономистов — находит красноречивых адвокатов, которые вопреки традициям целой эпохи, враждебным роскоши, на все лады расписывают преимущества интенсивного, даже расточительного, потребления. Для начинающейся эпохи буржуазного одобрительного отношения к богатству типичны пышно украшенные вывески (по-голландски: *uythangboord*) на мастерских, лавках и торговых домах, рисование которых начиная с XVII века превратилось в популярный художественный жанр.

Возможно, в апологиях роскоши первых голландских и английских адвокатов функционалистические аргументы впервые служат политическим и морально-критическим целям. Пресловутая теорема Мандевилля, согласно которой частные пороки, пока они до некоторой степени сдерживаются правом, становятся общественными добродетелями, дает старт метаморфальной рефлексии по поводу моральных фактов; ее успехи не позволяют элиминировать ее из картины ментальной модернизации. Наука о взаимодействии людей в социальных системах приобретает черты несмешной сатиры. В «Басне о пчелах» (1724) Мандевилля говорится: «Обман, роскошь и гордость должны существовать, пока нам это приносит пользу» (*Fraud, Luxury and Pride must live / While we the Benefits receive*).⁶⁵⁵

655 Bernard Mandeville. Die Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vorteile / Hrsg. von Walter Euchner. Frankfurt, 1968. S. 79—92.



Юная потребительница в дизайнерской майке, на которой обозначены системные предпосылки.

Смертные грехи нейтрализуются, становясь продуктивными факторами; порок возносится до локального преимущества. То, что называют социальным порядком, представляет собой побочную выгоду, получаемую в результате суммирования эгоистических действий. Наука о пороке и его



Джо Милецки (Государственная высшая школа дизайна, Карлсруэ, 2003 г.). *Proud, of Merchandising Products (Горжусь продаваемой продукцией)*.

эпидемическом распространении обретает отчетливые контуры: вскоре ее назовут политической экономией.

Эмпирическая очевидность таких связей была в избытке уже в XVII и начале XVIII века; например, в это время взаимосвязь между потреблением роскоши и аристократически-крупнобуржуазной эротикой, а также между торговлей экзотическими средствами получения удовольствия и новой потребительской модой можно было наблюдать уже как бесспорный социологический факт. Даже то, что Зомбарт назвал «соединением феминизма (старого стиля) с сахаром», не укрылось от взгляда тогдашних наблюдателей экономических нравов пере-

ходного периода между дворянской и буржуазной цивилизациями;⁶⁵⁶ в то время говорили о «женском господстве» как душе спроса; само собой разумеется, всегда имелся в виду спрос на предметы роскоши и объекты грандиозной расточительности.⁶⁵⁷ В этом отношении буржуазии Голландии и Англии — ведущих стран эпохи, которым угрожало богатство, — уже нечему было учиться у аристократов старой Европы.

Впервые в новейшей истории буржуазные домохозяйства стали настолько состоятельными, что обыватели могли пускаться во вкусовые и эстетические авантюры на внутреннем рынке. Знаменитая голландская тюльпаномания 1636—1637 годов свидетельствует о том, что миметическая инфекция способна превратить каприз в массовое помешательство; тогда дама *Pecunia** начала в массовом порядке подчинять своих поклонников собственной власти. Любовь к этому сколь царственному, столь и популярному цветку соединилась с неистовой жадой денег; в период распространения этой мании биржевая спекуляция достигла своего первого апогея, чтобы спустя два лихорадочных года ее пузырь лопнул (подобно *пузб1р10 New Economy***).⁶⁵⁸ Не стоит удивляться, что в это же время со всех кафедр Голландии и Британии зазвучали речи об опасностях, которые несет с собой общество потребления. Едва достигнув благосостояния бюргеры вынуждены были, как церковные прихожане, выслушивать, угрозы своих проповедников, в качестве возмездия за роскош-

⁶⁵⁶ *Werner Sombart. Liebe, Luxus und Kapitalismus (1922). Шипчен, 1967. S. 133.*

⁶⁵⁷ в духе этой традиции еще и сегодня аргументирует теоретик торговли престижными марками Вольфганг Райцле («Только победители продают престижные марки»); см.: *Wolfgang Reitzle. Luxus schafft Wohlstand. Die Zukunft der globalen Wirtschaft. Reinbeck bei Hamburg, 2001.*

⁶⁵⁸ *Anna Pavord. Die Tulpe. Eine Kulturgeschichte. Frankfurt; Leipzig, 1999. S. 126—157.*

* Имущество, деньги (*лат.*).

** Новая экономика (*англ.*).

ную жизнь пророчивших им новый всемирный потоп. Казалось, баптистский призыв «Покайтесь!» был разом недвусмысленно переадресован новым богатым. Благосостояние стало синонимично искушению.⁶⁵⁹ А как же, ведь перед глазами духовенства начинающейся буржуазной эпохи стояло светское общество, считавшее своей задачей инфицирование «общества» веселой болезнью (*harpy contagion*) спроса на избыточное.⁶⁶⁰

⁶⁵⁹ в наше время этот феномен находит свою аналогию в странах авторитарного капитализма Восточной Азии, в первую очередь в Сингапуре и Китае, лояльная государству интеллигенция которых постоянно запугивает недавно разбогатевшее «общество» имманентной благосостоянию — и перешедшей на «упадочном Западе» в свою открытую форму — угрозой «эксцессивного индивидуализма».

⁶⁶⁰ Это выражение восходит к рекламным проспектам фарфорового и керамического фабриканта XVIII века Джозайи Веджвуда; см.: *Neil McKendrick. Die Ursprünge der Konsumgesellschaft. Luxus, Neid und soziale Nachahmung in der englischen Literatur des 18. Jahrhunderts // Europäische Konsumgeschichte. Zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18. bis 20. Jahrhundert) / Hrsg. von Hannes Sigrüst, Hartmut Kaelbe, Jürgen Kocka. Frankfurt; New York, 1997. S. 100 f.* Образ заражения новыми потребностями доказывает, что уже за столетие до Габриэля Тарда были сформированы зачатки ментальной эпидемиологии. Уже тогда участникам актуальной игры в обогащение было ясно, что имитация роскоши идет сверху. Поэтому Кольбер был прав, по меркантилистским мотивам поощряя развитие «шелковых мануфактур и прочих аристократических отраслей промышленности» (*Gabriel Tard. Die Gesetze der Nachahmung. S. 359*). О том, что критика роскоши использовалась и в ходе направленной вовне борьбы культур, свидетельствует просвещенческий топос расточительного турецкого султана. Так, в исследовании Константена Франсуа Вольнея, посвященном философии истории, «Руины, или Размышления о революциях империй» (*Constantin Francois Volney. Die Ruinen oder Betrachtungen über die Revolutionen der Reiche (1791). Frankfurt, 1977. S. 79*), мы читаем: «Он окружил себя армией женщин, евнухов и льстецов... Подражая своим хозяевам, рабы возжелал и столь же великолепных домов... и сераль поглотил богатства империи».

9. EMPIRE*, ИЛИ УЮТНАЯ ТЕПЛИЦА; ОТКРЫТАЯ ВВЕРХ ШКАЛА КОМФОРТА

Внимание. Меня ожидают. День
и ночь будут встречать меня на вок-
зале.

Андре Бретон, Поль Элюар. *La nuit
intrautérine***

Тезис, гласящий, что главным событием XX века было освобождение *affluent society* от дефиниций реальности онтологии бедности, обретает (после ретроспективной экспозиции накопленного в ходе эволюции потенциала видового подъема и его метафизического истолкования в эпоху дефицита материнских энергий и алломатеринских резервов) более четкие контуры. Если он верен, то мы сможем показать, что с недавнего времени всеобщие условия материнства — то есть сумма материнских и алломатеринских функций на одного ребенка, включая недавно открытые возможности аутоматеринства, — радикальным образом изменились по сравнению с репродуктивными и воспитательными условиями рискованного аграрного и раннеиндустриального мира, и именно в смысле избыточного роста комфорта, выливающегося в индивидуацию бесчисленного множества одиночек. Мы отважимся на утверждение, что с появлением педагогических новаций в романтизме и тем более с переходом к quasi-тотальному алломатеринскому государству XX века (дополненному благодаря новой медийной окружающей среде протективно-комфортизирующей, анимирующей и пассивизирующей тенденцией) заявила о себе исторически беспрецедентная психосоциальная экология поля «(алло)мать—ребенок». Новые ситуации ведут к экспликации раннего детства с помощью психологии развития и к экспликации более зрелого детства с помощью

* Империя (фр., англ.).

** «Внутриматочная ночь» (фр.).

детально разработанной педагогики (начиная с 60-х годов к ним добавляется экспликация репродукции с помощью планирования рождаемости и репродуктивной медицины, поддержанная дополнительной экспликацией сексуальности с помощью психологии «выбора объекта», консультирования партнеров и порнографической либеральности).

Эти высказывания покажутся достаточно убедительными, как только мы порвем с традицией мыслить государство с точки зрения его отцовской функции. Факты социокультурных новаций мгновенно упорядочатся в осмысленную модель, в которой государственность, включая совокупность общественных служб, будет соотноситься со своим обобщенным алломатеринским качеством, ведь и вся современная культура в целом оставляет от отца только то, что требуется актеру-мужчине, исполняющему роль алломатери, *almus pater*,* кормильцу и обязанному платить спонсору (лишь психоанализ все еще вступает за отца как за вымирающий вид). После того как государства Запада (за исключением все еще ангажированных идеей героизма США) перестали рассматривать себя преимущественно в ракурсе своих полицейских и военных задач, такой взгляд стал вполне оправданным и без какой бы то ни было герметики. Таким образом, интраутеральной — согласно тезису Тристана Тцара — будет не только будущая архитектура, весь жизненный проект людей зажиточных стран можно будет уподобить пребыванию в своего рода инкубаторе.

Как мы видели, социотехническое ядро современности составляет эксплицитное протезирование материнских функций. «Эпохальная концепция Искусственной Матери»⁶⁶¹ — это отнюдь не просто альтернативно-медицинская причуда, высмеянная швейцарским поэтом,

661 *Hermann Burger. Die künstliche Mutter. Roman. Frankfurt, 1982.*

* Отец-кормилец (*лат.*).

одержимым суицидальным комплексом; государство, отныне обреченное на «бюрогамию»⁶⁶² и политику предоставления комфорта, после своего преобразования в агентство благотворительности и соцобеспечения функционирует как мегапротез, предоставляющий службам социальной помощи, педагогам, терапевтам и их многочисленным организациям средства для выполнения стоящих перед ними задач.

В этих констатациях мы не только даем экзистенциальную дефиницию богатства в горизонте корпоративной демократии, гласящую: оно делает левитацию возможной для многих. У нас возникает понимание системной необходимости фискального государства, которое при любых обстоятельствах должно выполнять свой долг быть-богатым-ради-детей, — в этом смысле оно представляет собой социально-пластическую форму экспликации алломатеринства (хотя, выполняя свои перераспределительные задачи, оно не забывает себя самого и своих функционеров); кроме того, мы осознаем его парадоксальность, проявляющуюся в том эффекте, что самое богатое государство, исполняя свои легитимные, нередко сопровождающиеся социально-бюрократическими и патерналистскими эксцессами, алломатеринские функции, порождает максимальное число неблагодарных питомцев; и наконец, мы понимаем, почему это происходит в соответствии с некоей строгой системной логикой. В силу стоящей перед ним комплексной задачи (в качестве воспитывающего государства, комфортного государства, термо-государства, терапевтического государства,⁶⁶³ в качестве безотказного поставщика инфраструктуры, фоновой безопасности и согревающих дистрибутивных иллюзий давать всем то, на что он способен и что у него есть) политический аппарат «общества изобилия» вызывает у

⁶⁶² Это выражение заимствовано из: *Lionel Tiger. The Decline of Males. New York, 1999.*

⁶⁶³ *James L. Nolan. The Therapeutic State: Justifying Government at Century's End. New York, 1998.*

множества ставших пассивно-агрессивными индивидов ощущение, что в условиях всеобщего изобилия и универсализированной клептократии им недостаточно перепадо. Модернизированный дефицит — это уменьшенное оптически обманом изобилие; он пробуждает в получателях эмоционально холодного комфорта *ressentiment*, который при аналогичных условиях возник бы у абсолютно любой клиентелы. Хотя самые привилегированные получают все, что только можно (государственные субсидии — мать *coolness**), они, однако, отнюдь не прекращают обвинять своего благодетеля в скупости, невежестве, бессилии и расточительности в пользу тех, кто не заслуживает привилегий. Не стоит удивляться широкому распространению антигосударственных настроений: именно генерализированная неблагодарность свидетельствует о продуктивности холодных алломатеринских систем. *Affluent society* является первым социальным порядком, позволяющим себе субъективацию отсутствия нужды в неудовлетворенность.⁶⁶⁴

После всего сказанного мы способны выйти за пределы негативной дефиниции *affluent society*. То, что до сих пор казалось лишь освобождением от ментальных и мате-

664

в этом контексте можно объяснить закат интеллектуалов в постмодернистской культуре. Классический интеллектуал может существовать, лишь пока он выступает как глашатай реальной нужды, или, что почти то же самое, реального вообще. После того как нужда превратилась в нечто экзотическое, на интеллектуала падает подозрение, что он желает жить за счет импорта новых недостатков. Жест политизации прежде неполитических бедствий и скандалов на Западе уже пережил свои лучшие дни; он мог бы вновь обрести значение лишь в том случае, если положение нижней четверти в системе роскоши приблизится к политизируемому уровню унижения (на этот эффект ставит Бурдьё в своих исследованиях безмолвного несчастья французов в «*La misère du monde*» [«Нищета мира»]) и если кроме энергии протеста появятся новые перспективы для политики перераспределения. И то и другое отсутствует в настоящий момент и будет отсутствовать в ближайшее время лишь в слабых и смутных формах; поэтому попытка Бурдьё переименовать заботливое государство общества всеобщего благосостояния в государство нищеты (*Etat de misère* // *Express*. 16 mars. 1993) по понятным причинам осталась без последствий.

* Холодность, равнодушие (*англ.*).

риальных условий дефицитного мира, теперь может быть выражено позитивно в тезисе, гласящем, что «общество изобилия» создает тотальное художественное произведение прогрессирующей коллективной автокомфортабилитации, — произведение, выявляющее тенденцию к инклюзии все большего количества участников при одновременном обострении различия между внутренним и внешним. Интегральный комфорт можно определить как амальгаму из достающейся без борьбы свободы, не связанной со стрессами безопасности и не зависимого от выполняемой работы дохода;⁶⁶⁵ о частичном комфорте речь может идти тогда, когда обеспечена причастность к какой-либо одной из этих функций.

После поворота к «массовому» благосостоянию внутри гигантской теплицы устанавливается тождество прав человека и прав на комфорт. Признаваться человеком в конечном счете означает здесь всерьез восприниматься в качестве виртуального и актуального субъекта комфорта. Отныне понятие признания высвобождает свое чрезвычайно долго скрывавшееся следствие: указание на воеприятие Другого в качестве равноправного партнера и соперника у буфетной стойки изобилия. Теперь становится более понятным, почему оно представляет собой морально требовательный жест: вступаться за человеческие права других означает согласиться открыть им доступ в пространство эффективного комфорта, то есть приветствовать их в качестве соперников. Нет сомнений, что борьба за возможный эгоизм Другого представляет собой аутентичную форму великодушия: последнее основывается на признании равных прав на комфорт у тех, кто до сих пор был им обделен. Само понятие справедливости, оказавшись под зонтиком изобилия, подразумевает причастность субъектов права к преимуществам системы

⁶⁶⁵ к ним следует добавить социально-нарциссическое измерение комфорта в системе звезд «массовой» культуры, где мы наблюдаем стремление к известности без труда и усилий.

благополучия. Первым важным шагом к этому является юридическая защита преследуемых; но дальнейшие импликации дискурса о правах человека разворачиваются лишь в том случае, если субъективность Другого доведена до уровня конкурентоспособности в различных полях потребления. «Бесконечная справедливость» означает нескончаемый комфорт; это неразрешимая задача освобождения очевидным образом бедных и обнищавших из их печальной ситуации и открытия им доступа к миру изобилия — намерение, которое не может быть сформулировано без парадоксов. Ибо кто всерьез хотел бы превратить Другого в конкурента по потреблению дефицитных благ?⁶⁶⁶

Тот, кто уже находится в поле экономических привилегий, движется в потоках, извергаемых заводом очищения желаний, который обрабатывает вожделие многих в бесчисленных отношениях. Поскольку у процесса обретения комфорта отсутствует какая бы то ни было имманентная граница, прироста и дифференциации регистрируются на некоей открытой вверх шкале. В системе всеобщего благополучия форма субъективности определяется продолжающимся всю жизнь обучением комфорту; его более ранний фасон, вплоть до коллапса прусского неогуманизма после 1945 года, преподносился под избитой рубрикой «образование»; его более поздние версии артикулировались скорее как требования методов совершенствования *personality** потребителя.

Последствия введения понятия комфорта в моральное поле чрезвычайно серьезны. Они объясняют некоторые этические интуиции, которые, начиная с *amour-*

666 Дитер Зенгхаас (*Dieter Senghaas. Seltene Erfolge, viele Fehlschläge und aufhaltsame Fortschritte. Reflexionen zu David Landes' opus magnum Wohlstand und Armut der Nationen // Leviathan. Heft 1. 2000. S. 142 f.*) указывает на парадоксальную, точнее, самосаботирующую структуру так называемой политики развития, в соответствии с которой от развивающихся наций одновременно и требуют участвовать в конкуренции, и систематически не дают им к ней подключиться.

* Индивидуальность (*англ.*).

*propre**-дискурсов моралистов XVII столетия, ждут своей эксплицитной радикализации. Действительно, справедливость без щедрости есть *ressentiment*; щедрость без воли к распространению комфорта остается эгоизмом. Поэтому свобода означает способность к признанию эгоизма других. Конечность свободы проявляется теперь разве что в следующем: щедрый также рано или поздно будет вынужден обороняться от экспансионизма чужой свободы. Если мы, говоря уже, скорее, языком Спинозы, еще не знаем, чем способно стать изнеженное комфортом тело, то, однако, можем предполагать, какие предстоят конфликты между носителями развитого комфорта и претендентами на будущую причастность к средствам его обретения. Потоки иммигрантов, требующих доступа в большую теплицу:, являются лишь их мягкими предвестниками.

Если участники *opus magnum* современной, жизни нередко недовольны его сценарием и своей ролью в нем и приходят к совершенно иным воззрениям, по большей части причисляя себя к «социальному» крылу и культивируя критический взгляд на господствующие недостатки, то причину этого следует искать, в следующем факте: система, понимаемая как упругая социотематическая конструкция, сохраняет свою целостность исключительно за счет прочной коммуникации своих проблемных фикций. Тем самым обеспечивается обязательное отсутствие конгруэнтности ситуации и настроения (возможно, за исключением их особого рода синхронизаций под воздействием военного стресса). Объективный комфорт, стимулирующий развитие системы в условиях мирного функционирования, субъективно озвучивается при помощи широкой клавиатуры заботы. Поэтому в медиауправляемом *tensegrity* внимание действующих лиц привлекается к тем или иным вызывающим раздражение актуальным темам; оно постоянно подпитывается мотивами недов-

* Самолюбие (*фр.*).



Джон М. Йохансен. *Floating Conference Center (Плавающий конференц-центр)*. 1997 г.

летворенности и форсируемыми в своей настоятельности требованиями большего в условиях острейшего дефицита. Непрерывно возрастающая роскошь обречена быть переводимой на язык недостаточности. Как мы видели, нужда учит говорить, тогда как роскошь может артикулироваться только косвенным образом (тот, кто ищет объяснений тому многократно комментировавшемуся «молчанию интеллектуалов», которое констатируется после окончания холодной войны и заката утопического

социализма, именно здесь их и обнаружит: оно свидетельствует о том, что настоящие интеллектуалы слишком интеллигентны, возможно, даже слишком честны, для того чтобы браться за задачу такого рода перевода).

Пока действующие в системе лица идентифицируют себя со своими ролями и верят своим текстам, для них полностью закрыты любые перспективы на жизнь в теплице благосостояния и исключено любое понимание принципов ее функционирования. Очевидно, что из их самоописаний должны быть изгнаны такие выражения, как комфорт, облегчение, роскошь и разгрузка; господствующая семантика исчерпывается такими формулами, как свобода, безопасность, признание (действительно, для индивидов, стоящих на пороге системы благосостояния, важно прежде всего их собственное *empowerment*;^{*} второй шаг эмансипации подтверждает притязания на часть потока комфорта). Но если управляемость с помощью фантазий на тему дефицита стала для обитателей теплицы изобилия второй натурой, то отнюдь не просто понять, каким образом они смогут собственными силами осуществить смену перспективы. Если теория посреди жизни всегда представляет собой нечто невероятное, то теория комфорта у тех, кто живет в комфорте, невероятна в максимальной степени.

Существует (кроме этнологически-антропологического сравнения) только одна возможность увидеть незримо-необозримое целое и осознать его первичные тенденции и функции: эстетическое отчуждение. Поворот к эстетическому видению есть форма комфорта, способная обратить взгляд к самому комфорту. В самом деле, рефлексивность и комфорт неразрывно связаны друг с другом. Если, по словам Лумана, с эпистемической точки зрения главной темой XX столетия была рефлексивность, то в том числе и потому, что главное событие XX столетия в западных широтах состояло в превраще-

^{*} Полномочие (англ.).



Пенная вечеринка. 2001 г.

нии комфорта в массовое явление. Поэтому то, что было названо рефлексивизацией современности, осуществляется лишь благодаря тематизации комфортных качеств современной эпохи. Мы реализуем эстетически отчужденное восприятие ситуации, двигаясь в социальном пространстве, словно посетители внутри инсталляции. Наблюдатель, осознающий положение дел, понимает, что он осматривает своего рода выставку гораздо большего формата, чем обычный музей, — выставку, которая пока что не может быть отграничена от привычного поля зрения.

Такой осмотр обусловлен, по сути, лишь одной предпосылкой: невозможностью описывать совокупность обстоятельств с помощью понятия природы. Это условие легко выполнимо на свехурбанизированной сцене. Но если мы более не находимся «в природе», ни в первой, ни во второй, то как следует называть это искусственное окружающее? Напрашивается понятие тотального художественного произведения, но оно уже оккупировано эстетической идеологией. Придуманное Йозефом Бойсом выражение «социальная пластика» также выглядит полезной инициативой, однако его уже нельзя зарезервировать для ситуаций, аранжированных художниками, поскольку оно должно относиться ко всему пространству, в котором распределяются привилегии благосостояния, вырабатываются желания, дифференцируются субъективности и разворачиваются имунитарные альянсы. Рассмотренная таким образом Первая Всемирная Инсталляция «Общество всеобщего благосостояния» *de facto* представляет собой социальную пластику, моделирующуюся в том числе и ее участниками. После этого отчуждения даже раздражающий столь многих тезис Бойса о том, что все люди — художники (в оригинальном горизонте являющийся примером эгалитаристского китча), вновь становится пригодным для употребления, поскольку он подходит для определения произвольного и непроизвольного соучастия обитателей пространства изоби-



Михаэль Эльмгрен и Ингар Драгсет. *Elevated Gallery/Powerless Structures (Приподнятая галерея/Бессильные структуры)*. Фиг. 146, 530x575x340 см. Государственный художественный музей, Копенгаген. 2001 г. Фотография Андреаса Шлавика. Публикуется с разрешения Klosterfelde, Берлин.

лия в его обустройстве, преобразовании и климатизации. Каждый художник — клиент, все клиенты — люди, все человеческое спроектировано с прицелом на комфорт. Современные люди говорят даме Люксурии: *fecisti nos ad te*.*

Итак, такие гибридные выражения, как «социальная пластика», «большой музей», «интегральная инсталляция», не случайно призваны описывать супертеплицу с помощью фигур речи из эстетической сферы. Если мы вынуждены обращаться к такого рода фигурам, то, как уже было указано, это происходит в силу двойного мотива: во-первых, поскольку эстетическое отчуждение пре-

* Ты сотворила нас для себя (*лат.*).

доставляет одну из немногих, если не единственную, возможность объективации жизненного контекста, который окружает и пронизывает нас самих; во-вторых, поскольку вся система актуального жизненного порядка, это мировое внутреннее пространство благосостояния, вознаграждающее своих критиков огромными тиражами и присуждающее своим хулителям стипендии, представляет собой в высшей степени искусственное, разумное и обладающее мощным инклюзивным потенциалом образование, которое в любом отношении настолько невероятно, что в нем становится беспредметной оппозиция между искусством и не-искусством. Поскольку жизненные формы *affluent society* являют собой воплощение искусственности, в нем не представляется возможным обращать на отдельные объекты, выделяемые в качестве художественных произведений, большее внимание, чем на любые ничем не отмеченные предметы. Ни один отдельный объект не может заслуживать большего внимания, чем тотальная инсталляция; как следствие, экспонирование произведений искусства сталкивается с конкуренцией со стороны экспонирования артефактов, прежде не подпадавших под понятие искусства, а в конечном счете даже со стороны экспонирования места проведения выставок. Тем самым можно говорить о начале эры самореферентных музейных зданий, более того, самореферентного пространственного дизайна, — сосуды все более явным образом демонстрируют свои претензии на первенство по отношению к своим содержаниям.

Последний шаг в процессе стирания границ понятия искусства ведет к отождествлению социальной и художественной систем — за пределами всех прежних интерпретаций концепта тотального произведения искусства. Когда кто-нибудь перешагивает этот порог, для него существуют только картины с выставки. После вступления в интегральное искусственное пространство философия также превращается в кураторскую практику: то, что было теорией, становится обустройством выставочного

пространства для мировой выставки. В результате суперартефакт «общество всеобщего благосостояния» объявляется пригодным для жизни экспонатом. Если мы — в соответствии с формулой Олафура Элиассона — хотим «окружить окружающее», то мы должны применить метод инверсии окружающего мира^{667 668} ко всей теплице роскoпи в целом.

Теперь становится понятно, почему музей современного искусства — точнее, *expanded museum*^{666*} — смог превратиться в привилегированное место саморепрезентации системы.⁶⁶⁹ В нем — и разве что еще в университетах — происходит встреча разума с фактами искусственного мира. Философски курируемый современный музей обладает странной способностью демонстрировать перманентный конец искусства посредством его погружения в искусственность суперинсталляции. Это единственное место в системе, в котором ее первичное свойство, существование в качестве инсталляции окружающего или искусственной «тотальной ситуации», может быть наблюдаемо как таковое.⁶⁷⁰ В самом деле, «общество благосостояния», коль скоро мы движемся в нем как посе-

⁶⁶⁷ См. выше с. 332.

⁶⁶⁸ См.: *Annette Hinnekens. Expanded Museum. Kulturelle Erinnerung und virtuelle Realitäten. Bielefeld, 2002.*

⁶⁶⁹ См. выше замечания об Олафуре Элиассоне, с. 337 и сл., а также о теории инсталляции Ильи Кабакова и Бориса Гройса, с. 532 и сл. Под руководством Петера Вирбеля Центр искусства и медиатехнологий (ЦИМ) в Карлсруэ стал единственным в мире воплощением нового институционального типа «музея как машины системного познания». Хайнер Мюльманн и Безон Брок в своем проекте двойного музея искусства/войны предложили чрезвычайно актуальный концепт. «Двойной музей решает дидактическую задачу продуцирования культурного метазнания с помощью выставок на тему связи между войной, развлечением, содержанием которого является война, и развлечением с помощью культурного знания, в котором война запрещена» (цит. по: *Heiner Mihlmann. Kunst und/oder Krieg — Das Doppelmuseum // Kunst und Krieg / Hrsg. von Bazon Brock, Gerlinde Koschig. München, 2002. S. 189.*

⁶⁷⁰ о теории иммерсии см. выше размышления по поводу третьего шага экспликации жилища посредством инсталляции и тотального художественного произведения, с. 531.

* Расширенный музей (англ.).

тители-наблюдатели, выказывает признаки тотальной инсталляции; оно образует артефакт-сферу, не отпускающую своих посетителей: превращая посетителей в обитателей (которые очень скоро забывают, что они посетители), она опутывает их нервущейся сетью предложений комфорта и прочих предметов ожидания. Теплица роскоши, рассматриваемая как выставка без выхода, представляет собой действительное *continens*; * она образует *peñé-chon*, вокруг-сущее, в котором, согласно убеждению, распространявшемуся прежними метафизиками вплоть до Ясперса и Вёгелина, мир заключен, как картина в раме или как креатура в духе творца.

Пребывание в теплице благосостояния означает включение в потоки распределения средств комфорта, анимации и левитации. Общий дом роскоши представляет собой комфортно климатизированное, иммунизированное правами на защиту и потребление жилое и производственное художественное произведение, которое разветвляется на миллионы микроинсталляций относительно разгруженной жизни в форме хозяйств, предприятий, субкультур и коллекторов.⁶⁷¹ В этом пеннистом, расчлененном бесчисленными векторами подражания агрегате можно выделить «среды»,⁶⁷² или зоны, оснащенные сходными благами, методами и аффективными моделями; это зоны мощнейшей миметической ассимиляции. «Туалет» Ильи Кабакова на *documenta 9* предлагал нам пример русской коммунальной квартиры, какой она в миллионах экземпляров существовала в царстве реального социализма, — ее экспонирование в Касселе знаменовало триумф художественной практики, стимулировавшей изготовление копий законченных ситуаций или сред.

⁶⁷¹ 0 выражении «коллектор» см. выше с. 636 и сл.

⁶⁷² См.: *Gerhard Schulze. Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt; New York, 1993.*

* Непрерывное, окружающее (*лат.*).



Океан Доме (океанский купол) в Миядзакки (Япония). Вид изнутри.

Среды, изготовленные по готовому образцу или оригинальные, формируют гомогенные пены внутри ландшафта, состоящего из резко отличающихся друг от друга типов пены. Некоторые из них могут *live** выступать на партийных съездах, где собираются среды профессиональных граждан и гремиофилов; другие группируются вокруг субкультурных журналов и выставок, благодаря которым гарантируется стабилизация свойственных ереде моделей. Сцена профессиональных имитаторов Элвиса — в мире их больше 40 000 — в течение года перемещается по городам Соединенных Штатов; поклонники мотоциклов «Харлей-Дэвидсон» по обе стороны Атлантики образуют сети, подчиненные в высшей степени громоздкому своду правил; розоводы всех стран живут, укрывшись за незримыми стенами хорошо организованной мании. Что тогда говорить о причудливых мирах со-

* В живую (англ.).

баководов или любителей лошадей породы хафлингер? Кто может одновременно ориентироваться в субкультурах игроков в гольф, шахматных экспертов, специализирующихся на лошадях ветеринаров-остеопатов, культуристов, маунтинбайкеров, свингеров, млядо демократов, дельтапланеристов, палеолингвистов, лак-фетишистов, любителей пресноводных аквариумных рыбок, фанатов танго, коллекционеров комиксов, авиамоделей и старинного серебра? Кто способен держать в поле зрения сообщества читателей современных авторов, с удовлетворением знатоков читающих такие, например, фразы: «женщины-водолеи всегда пунктуальны», ♦теннисные тренеры чрезвычайно льстивы», ♦я сказал, что для игры в бадминтон было слишком темно» или «он наклонился и очень долго целовал ее благоухающую плоть, и у нее снова закружилась голова...»? В каждой субкультуре особым образом господствуют универсальные законы ассимиляции. Ничто так не уподобляет индивиды друг другу, как общая причуда, которой они отдаются отдельно друг от друга. Всюду верно одно: каприз требует всего человека целиком.

Используя здесь выражение «субкультура», мы имеем в виду пористые пены, сквозь проницаемые стенки которых циркулируют сценотипические инъюнкции, темы и аксессуары. Такие циркуляции обладают строго ограниченным радиусом действия: существование в пене капризов предполагает, что в одном скоплении пузырей совершенно неизвестно, что происходит в другом; как правило, никто даже не догадывается о наличии других зон. В этой связи кажется уместным замечание Тарда о «рыхлом скоплении элементов, связанных главным образом тем, что они не противоречат друг другу».⁶⁷³ С социально-архитектурной точки зрения в этих фахверках из игнорирующих отношений ничто не является лож-

673 *Gabriel Tarde. Die Gesetze der Nachahmung. S. 198.*

ным: сцены стабилизируются, процветают и дрейфуют, расщепляются и образуют ответвления, пользуясь своим правом не обращать внимания на существование других. Более того, сценическая пена предполагает изоляцию отдельных пузырей, ибо в ином случае не может быть достигнута позитивная самодискриминация, удовлетворение эксклюзивностью. Для индивидов множественная принадлежность является чем-то само собой разумеющимся, отдельные субкультуры лучше репродуцируются в монотематике. «Общество», не будучи способным ощутить это в каком-либо фокусирующем центре, организовано мульти-микроманическим образом; у него нет органа для восприятия того, сколько химерических систем, сколько катакомбных культов, сколько разновидностей эскапизма оно в себя вмещает; оно образует полуслепой агрегат из демократических оккультизмов.⁶⁷⁴

Таким образом, необозримое тотальное художественное произведение, «интегрирующее» (то есть позволяющее игнорирующим образом сосуществовать в тесном пространстве) все субкультурные пены, можно созерцать — и то лишь метафорическим образом — лишь в том случае, если мы экстраполируем форму музея на систему в целом и будем двигаться в ней подобно посетителям. Мы узнаём, что такое «капитализм», «Запад» или «мир благосостояния», когда, скажем, посещаем «Клинику грез» Ильи Кабакова; такой же пропедевтической ценностью может обладать и пребывание в Евро-Диснейленде. Позиция посетителя, и только она, позволяет контраинтуитивно ощутить заключенный в суперинсталляции смысл. В ином случае мы неизбежно остаемся погруженными в реализм со всем его критическим приданым. Придерживаясь реалистической точки зрения, мы и

674 См.: *Burkhard Scherer. Auf den Inseln des Eigensinns. Eine kleine Ethnologie der Hobbywelt. München, 1995.*

впредь будем считать невозможной ситуацию, при которой главную роль в процессе актуального мирозидания играют мотивы разгрузки, развлечения, утонченности и комфорта; как и прежде, мы будем убеждены, что нашими главными врагами и сегодня также являются нужда и дефицит, а реальность может быть воспринята лишь в тональности заботы. Следует признать сильные стороны традиционной точки зрения: тот, кто желает держаться исключительно тех тем, которые циркулируют в публичном пространстве словно в своего рода академическом коридоре супертеплицы, неизбежно придет к выводу, что наша цивилизация (в этом она конгениальна любой прежней, сформированной нуждой «реальности») представляет собой гигантскую сеть, сплетенную из дефицитов, недостатков и катастроф, в которой достаточно сомнительные возможности выживания имеются лишь на последних там и сям сохранившихся островах порядка. Поскольку система живет своими фантазиями на тему дефицита (причем уже в своих самых либеральных самоописаниях, а отнюдь не только в леворадикальных, тревожно-готических и хоррор-теоретических преувеличениях), она склонна изображать себя своего рода консерваторией нищеты, депрессии и преступления.⁶⁷⁵

Заняв позицию посетителя, осматривающего демократически-техническую инсталляцию согласно входному билету, мы можем спокойно осознать, что сооружение в целом служит прогрессивному комфорту или комфортабельной прогрессивности обитателей и что непрерывные публичные разговоры о проблемах, дефиците, нужде и соответствующих программах развития и компенсации, включая моралистические фельетоны и сатиры, всегда являются лишь кодами далеко идущих стратегий ком-

675 См.: *Jean de Maillard. Le marché fait sa loi. De l'usage du crime par la mondilisation. Paris, 2001.*



Реклама автомобиля Hummer SUV, производимого компанией «General Motors».

форта. Лить с помощью позитивного понятия комфорта может быть понята всеобщая приемлемость комплекса капиталистических жизненных форм. Рука об руку с роскошью идет справедливость. Возможно, смысл «справедливости» необъясним без фантазии равенства многих перед роскошью *materialiter*. Как только в *Empire*-инсталляции утверждаются базисные политические достижения, правовая защита посетителей-обитателей и свобода от чужого политического господства, на передний план выходит функция комфорта. Любой комфорт подра-

зумеает перспективу лишь собственного повышения; в соответствии с этим он описывает данный уровень как дискомфорт и неприемлемое условие, рассматривая его повышение как самое настоятельное требование защиты прав человека. Отсюда растерянность современных людей перед лицом рецессий и их готовность видеть в малейшем снижении реальных доходов приближение конца света.

Благодаря комфорту в реальность встраивается инфантильность; она переводит неотению в регистр культурных функций. Как мы видели, инфантильность подобно неотении обладает своего рода вектором расширения. Пока он простирается вперед, творение не может быть завершенным: комфорт идет все дальше, борьба за его ориентацию не прекращается. Тот, кто оказывается в системе комфорта посредством миграции или по рождению, тотчас включается в распределение актуальных средств подъема. Хотя это составляет основное условие всегда и в любой культуре, лишь самая передовая современность эксплицировала комфорт. В Австрии город Вена по собственной инициативе предоставляет родителям новорожденных первый комплект белья, ясно осознавая тот факт, что родители нуждаются в алломатеринской заботе. Как и всюду в большой теплице, остаток в большей или меньшей степени соответствует началам. Речь идет не столько о национальной особенности, выражающейся в этом пособии, сколько о локальном жесте, который мог бы быть повторен в любом месте интернационала комфорта. Во всех без исключения национальных пузырях империи изобилия конкурирующие друг с другом партии определяются тем, что они предлагают полемогенные программы распределения богатств, причем они, поддерживаемые возбужденной прессой, порождают в публике ощущение, что борьба за распределение средств облегчения жизни является наисерьезнейшим делом. Это впечатление отнюдь не является беспочвенным: в такой стране, как Федеративная Республика Германия, более половины валового

социального продукта размером свыше двух триллионов долларов (за 2000 год) проходит через перераспределяющие руки Большой Алломатери. Поэтому перераспределение хронически рождает поводы для развязывания войны. Комфорт так просто не отпустит своих детей. Всякая история есть история войн между группами, борющимися за комфорт: это утверждение остается значимым и для волнений в интегральной теплице.

В своей произведшей сильное впечатление книге «Homo Sacer»⁶⁷⁶ Джорджо Агамбен сделал шокирующее предложение мыслить системное целое исходя из формы концентрационного лагеря. Под лагерем Агамбен понимает огороженную местность, существование обитателей которой редуцировано к так называемой голой жизни. Голой является та жизнь, ликвидация которой не вызывает никакого смущения, ибо она уже выведена из-под защиты права. В нашем контексте лагерь может быть легко идентифицирован как иллиберальный вариант гигантской инсталляции — очевидно, что он представляет собой модификацию погружения людей в рукотворное произведение. Это понятие целого также возникает в результате эстетического отчуждения (разумеется, речь идет об эстетике возвышенного) при акцентуации эффектов включения и обнажения и резком ослаблении компонентов благосостояния, иммунитета и свободы.⁶⁷⁷ Гипербола интегрального концентрационного лагеря становится более приемлемой, если мы совмещаем ее с гиперболами музея без выхода и соответственно тотальной инсталляции. С помощью обеих этих фигур — как лагеря, так и интегрального музея — реализуется основная макросферологическая идея о невозможности взгляда со стороны на универсум своего собственного цивилизационного контекста. Тот, кто занимается его исследо-

676 *Giorgio Agamben. Homo Sacer. Frankfurt, 2001.*

677 Ср. высказывание Имре Кертеса: «Запад — это лагерь для помилованных заключенных. Этот лагерь необходимо защищать...» (цит. по: *Die Zeit*. 43/2002. S. 43.

ванием, вынужден двигаться внутри имманентности, подобно Пармениду .находясь в центре окружающей его арены.⁶⁷⁸ (Заметим, что в проекте «Сферы» мы постоянно работаем с негиперболическим, полуметафорическим концептом теплицы, поскольку убеждены в том, что с помощью его дефинитивных характеристик можно описывать не только ситуацию модерна и постмодерна, но и сформулировать принцип непрерывной преемственности, позволяющий провести линию от архаических жизненных форм к современным).

Инсталлирующая самое себя инсталляция охватывает такие традиционные политические и социальные единства, как государства, страны, народы и национальные экономики, и преобразует их в еще не описанный в своих существенных аспектах мировой город совершенно нового типа. Она формирует ландшафт из культурных теплиц, пневматических куполов, внутри которых с помощью эффективных внутренних лозунгов и мотивирующих суггестий репродуцируются многочисленные субкультурально дифференцированные микроклиматы. Сообщение между климатическими пространствами организуется, как правило, в форме туризма, иногда в форме терапии, художественного переживания или гуманитарной интервенции. Здесь сразу приходят на ум оранжереи, в которых отграничены друг от друга помещения с различной температурой и влажностью. В образующих сеть внутрикупольных интерьерах действуют подъемные силы самого различного рода, силы, еще ожидающие более подробного исследования. Этнолог, оказавшийся на располагающемся в гигантской теплице архипелаге внутренних сред, команд и союзов, описал бы некий плотный агрегат, составленный из тысяч источников счастливых гипнозов и очагов возбуждения

⁶⁷⁸ о различии между взглядом на глобусы со стороны и панорамным видением изнутри сферы непрерывного Единого (и о выводах, вытекающих из него для новейшего иммерсионного искусства, например сферического кинематографа) см.: Сферы. Т. II. Введение. С. 66—90.

маниакальных индукций. Он представляет собой хаотическую, постоянно обновляющую самое себя пену из контрафобических экзерсисов, предпринимательских евангелий, направленных в будущее проектов развития и являющихся не более чем пустой тратой времени рваншистских мечтаний. Эти диспозиции и практики образуют сплетение, которое постоянно интенсифицируется и переаранжируется мощной ментальной индустрией, — так можно назвать психотехнически переформулированную религию успеха. Все они принадлежат пестрому арсеналу мании эпохи ее технической репродуцируемости.

Самые убедительные на данный момент, хотя и слишком формалистические самоописания гигантской инсталляции содержатся в таких понятиях, как «общество потребления» или «общество переживания». Наряду с ними на относительную дескриптивную силу могут претендовать такие ставшие популярными концепты, как «общество риска», «общество возможностей» или «общество знания»; даже такому удачному каламбуру, как «McWorld»,⁶⁷⁹ нельзя совсем отказать в определенном смысле, ибо он намекает на мультифокальный, беззаботный и продажный характер суперинсталляции. Он демонстрирует, что глобальные рынки представляют собой универсалии в денежном универсуме, — в данном случае речь идет об универсалии кулинарной вульгарности.

В таком радикальном проекте современной медиатеории, как «Консумистический манифест» Норберта Вольца, гигантская инсталляция описывается как *com■fort*-зона, транснациональное население которой составляет коллектив обладателей покупательной способности. Потребляя предметы, знаки и временные периоды, они

⁶⁷⁹

См.: Benjamin Barber. *Coca Cola und heiliger Krieg. Jihad vs. McWorld. Der grundlegende Konflikt unserer Zeit.* Bern; München; Wien, 2001.

воплощают собой эксплицированную человеческую природу; консумизм — это до конца продуманный гуманизм; только у него, как явствует из манифеста, есть ключ к царству мира, ибо с помощью *raх оесопотиса** * он кладет конец военным интеракциям между открытыми для торговли государствами. Разумеется, консумистический *way of life*** обладает тем недостатком, что рыночный мир предъявляет заниженные требования к нервной системе людей, — у них отсутствует ощущение серьезности ситуации, обещающее освобождение от скуки. Поэтому искусство не ведая скуки двигаться по всемирному лабиринту торговых пассажей, развлекательных центров и порталов требует от индивидов нарушать комфортную банальность постоянным изобретением новых возбуждений.⁶⁸⁰

В царстве капитала любая возможная оппозиция является порождением тех состояний, против которых она обращается. Понимая это, Антонио Негри и Майкл Хардт в своем опусе «Новый мировой порядок» предложили для обозначения глобальной суперинсталляции термин *Empire*.⁶⁸¹ Это «царство» мыслимо лить в единственном числе и обладает явно выраженным экуменическим характером. Поэтому ему якобы более не страшен никакой внешний враг: оно разве что могло бы обратиться против себя самого и пасть в результате восстания своих собственных компонентов. Очевидно: речь об *Empire* религиозно мотивирована, и всемирный успех книги может быть понят лишь в свете этого диагноза. Действительно, она скорее с помощью суггестии, чем посредством аргументов подхватывает еще живые традиции христианской теологии истории и материалистически пе-

⁸⁸⁰ См.: *Norbert Bolz. Das konsumistische Manifest. München, 2002, S. 90.*

⁶⁸¹ *Michael Hardt, Antonio Negri. Empire. Die neue Weltordnung. Frankfurt; New York, 2002.*

* Экономический мир (лат.).

** Образ жизни (англ.).

реозвучивает ее апокалиптические мотивы. Поскольку для спинозистов и делёзианцев нет никакой потусторонней цели становления, то царство капитала, которое целиком и полностью от мира сего, противопоставляется у них в той же мере (хотя и иным образом) мирскому антицарству диссидентствующих множеств или альтернативных экспрессионизмов. Величайшее различие является и в высшей степени двусмысленным: оно устанавливает дифференцию, от которой все зависит и которая, однако, при ближайшем рассмотрении оказывается невыполнимой, — паралич запрограммирован. *Empire* и ее диссидентствующее *multitude*,* несмотря на возбужденные речи об их оппозиции и радикальном противоречии, суть одно и то же.

Тот, кто окинет взором историю религиозных предпосылок формирования земных империй, тотчас увидит, что *Empire* представляет собой своего рода пантеистическую пародию на августиновское противопоставление *civitas terrena*** и *civitas Dei****. Тут имеют место достаточно далеко идущие аналогии: как церковь нередко эмпирически почти неотличима от мира, которому она якобы противостоит, так и *multitude* не способно четко отделить себя от мира капитала, с которым оно не желает иметь ничего общего, — речь может идти разве что об интимной уверенности, убеждающей противника существующих порядков в его пылкой воинственности. Лишь мистическое решение позволяет *affluent left***** понять, что они вообще еще остаются левыми; так, нередко только выбор терминологии дает возможность неудачникам утверждать, что они являются эксплуатируемыми и гонимыми. Исходной точкой им служит интроспективное наблюдение, вызывающее в них ощущение лишь некоего чистого бытия-«против»: поскольку враг, против которого они

* Множество (англ.).

** Град земной (лат.).

*** Град Божий (лат.).

**** Богатые левые (англ.).

восстают (*the enemy against which to rebel*), уже не имеет четких очертаний, приходится довольствоваться аффектом «против»: *this being against becomes the essential key to every active position in the world...*⁶⁸²* *De facto*, несмотря на свою принадлежность к оппозирующей церкви, *against-men*,** как и все остальные наши современники, являются амбивалентными клиентами данного. Интенсивно провозглашаемая враждебность по отношению к *Empire* направлена против не способной к враждебности инстанции, ибо «империя» в своих позитивных аспектах является и желает быть именно оппозиционным множеством, тогда как множество в своих импульсах и детерминациях воплощает темные стороны империи. После того как миновали времена открытого саботажа (по своим методам классовая борьба также является порождением эпохи), диссидентам лучше всего было бы дезертировать; но поскольку, как говорят, более нет никакого внешнего, в котором можно было бы укрыться, дезертирство из системы ведет в никуда (*desertion does not have a place*⁶⁸³). Иное, желая быть совершенно другим, есть то же самое; желая быть в совершенно другом месте, оно остается там, где находится.

Осуществленное Негри и Хардтом исследование мировой капиталистической системы и направленного против нее бунта жизни маркирует логическое завершение движения влево, начатого проигравшими революцию 1789 года. Ретроспективный взгляд на доведенную до крайности двухвековую эскалацию раскрывает нам закон преодоления 14 июля его фрустрированными почитателями: если буржуазная революция терпит крах или неудачу, то возникает левый радикализм; если терпит крах или неудачу левый радикализм, то возникает гнозис во-

⁶⁸² *Negri, Hardt. Empire. S. 211.*

⁶⁸³ *ibid. S. 212.*

* Это существование «против» становится главным ключом ко всякой активной позиции в мире (*англ.*).

** Люди-«против» (*англ.*).

инственности.⁶⁸⁴ Такой гнозис уже не может потерпеть крах, он становится неубедительным.⁶⁸⁵

По всей видимости, свою наиболее взыскательную формулировку не способная к наглядной демонстрации гиперпластика находит в необычайно гладком концепте «всемирного общества» Лумана. Несмотря на свою принадлежность крайне формалистическому дискурсу, это выражение пронизано некоей утопической вибрацией, ибо оно — по методическим, а не моральным основаниям — отваживается натянуть единую понятийную крышу над внутренними мирами глобальной системы благосостояния и ее погрязшими в нищете перифериями. Загадочно говоря о «всемирном обществе» (и избегая употреблять слово «общество» во множественном числе), внимательный социолог вызывает подозрение, что и в системной теории должен иметься по меньшей мере один-единственный жест, который направлен на целое. Это можно понять таким образом, что мэтр из Билефельда не хотел отказывать бесчисленным изгоям Земли хотя

684 Этот вывод относится как к прометеевско-францисканской эскалации у Негри, так и к радикализации чистой воинственности в паратеистическом эссе Алена Бадью «Апостол Павел. Обоснование универсализма» (*Alain Badiou. Saint Paul. La fondation de l'universalisme. Paris, 1997*). Меланхолически-реалистическое освоение «наследия пророческого разума» отстаивает Даниэль Бенсаид в своей книге «Меланхолическое пари. Метаморфоза политики и политика метаморфозы» (*Daniel Bensaïd. Le pari mélancolique. Métamorphose de la politique et politique de la métamorphose. Paris, 1997*). Метафизическая линия защиты левого принципа с религиозно-философской и религиозно-исторической точки зрения прослежена в: *Weltrevolution der Seele. Ein Lese- und Arbeitsbuch der Gnosis von der Spätantike bis zur Gegenwart / Hrsg. von Peter Sloterdijk, Thomas H. Macho. Zürich; München, 1991*; тот, кто хотел бы вернуться к источникам XX века, пусть перечтет работу Пауля Тиллиха «Социалистическое решение» (*Paul Tillich. Die sozialistische Entscheidung. 1932*) и Германа Когена «Религия разума как она вытекает из источников иудаизма» (*Hermann Cohen. Religion der Vernunft aus en Quellen des Judentums. Berlin, 1928*), а также сочинения Шарля Пегги.

685 Он может быть разве что огрублен до вытекающей из недоразумений и упрощений оппозиционной идеологии, каковую обнаруживают в новейших репликах спора между бедным и богатым миром, где речь идет о *confronting the Empire* [противостоянии империи].

бы в семантическом гражданстве Единого «Общества», пусть даже никто лучше, чем он, не знал, что эффективное единство мира не может быть достигнуто ни при каких мыслимых обстоятельствах.

То, что мы описываем здесь как отход от модели реальности, характерной для онтологии дефицита, с социально-исторической точки зрения связано с двумя надломами в социальных и ментальных структурах Европы и Нового Света. Не будет никакого преувеличения, если мы скажем, что оба они являются глубочайшими перевертками в истории постнеолитического человечества: во-первых, восстание против дефицита совпадает с завершением господства традиционного агрикультурного образа жизни, которое наступает со всеобщим распространением индустриально-городского, определяемого монетарной экономикой жизненного стиля; во-вторых, оно совпадает с концом эпохи женской сверхфертильности и резким снижением рождаемости во всех переставших быть аграрными государствах; так, Япония, Германия, Италия с коэффициентом рождаемости 0.9 %, а также Австрия и Испания с подобным коэффициентом 1 % относятся к странам с самым низким уровнем рождаемости в мире.⁶⁸⁶ В группе стран с высоким уровнем благосостояния только США благодаря совокупному воздействию иммиграции и повышенной рождаемости в латино-азиатских сегментах населения могут рассчитывать на рост народонаселения — за счет маргинализации потомков европейцев. Фундаментальную для современности связь между благосостоянием и снижением рождаемости, пусть она и выступает в разнообразных модуляциях, иногда доходящих до прямой инверсии тренда, в целом невозможно отрицать.⁶⁸⁷ Если уменьшение числа

⁶⁸⁶ Согласно данным Fischer Weltalmanach 2003. Frankfurt, 2002.

⁶⁸⁷ См.: Emmanuel Todd. L'illusion économique. Paris, 1998.

детей в некоторых европейских странах, в том числе в Германии, иногда истолковывается как выражение «нажитого пессимизма» (в этой связи говорят об отказе от биологического инвестирования), то в целом оно должно восприниматься прежде всего как шанс на более интенсивное внимание воспитателей, к каждому отдельному отпрыску.

Очевидно, что как одна, так и другая из этих цезур имеет непосредственное отношение к изменениям в поле «мать—ребенок», а тем самым к экзистенциальному фону сил подъема, тогда как тот факт, что в них таятся шансы на радикальное раскрытие абстрактных алло- и аутоматеринских потенциалов, требует специального рассмотрения. Эрик Хобсбаум заметил по поводу первой цезуры:

«Самым драматическим «далеко идущим переворотом второй половины этого (XX) столетия, навсегда отделившим нас от мира прошлого, был закат крестьянства... В начале 80-х годов лишь трое из ста британцев или бельгийцев работали в сельском хозяйстве... И в США доля населения, занятого в аграрной сфере, была не выше. Однако в долговременной перспективе это сокращение сельского населения менее поразительно, чем тот факт, что эта крохотная фракция на рынке труда тем не менее оказалась в состоянии наводнять США и остальной мир не виданным прежде количеством продуктов питания... В Японии... доля крестьян сократилась с 52,4 % в 1947 году до 9 % в 1985... В Финляндии женщина, родившаяся в крестьянской семье и в своем первом браке бывшая крестьянкой, еще в течение средней фазы своей жизни смогла развиться в космополитичную интеллектуалку и политическую личность. Когда в 1940 году ее отец погиб на Зимней войне с Россией и мать с ребенком осталась одна на семейной ферме, 57 % финнов были крестьянами и

лесорубами. В день сорокапятилетия этой женщины таковых набралось не более 10 % ». ⁶⁸⁸

Само собой разумеется, дискурсы такого типа используют общее место культурной революции, однако при более внимательном исследовании выясняется, что и здесь речь идет не о «революции», будь то в политическом или кинетическом смысле слова, а о последовательности экспликаций. В данном случае говорится об экспликации растительной и животной продуктивности, которая самым эффективным образом вторгается в имевшиеся до сих пор практики; ее стимулировали современная агрохимия в союзе с молекулярной биологией и взрывной рост сельскохозяйственной производительности за счет механизации и внедрения методов организационно-экономической рационализации, а также, как и всегда, проблематичный переход к массовому содержанию животных в развернутой системе мясного капитализма. Благодаря этим экспликациям продуктивности — технического фона так называемой биополитики — возникли современные условия, в которых два-три процента работающей популяции не только кормят всю остальную страну, но и производят излишек продовольствия для экспорта. Непредвиденным следствием этого стала возможность освобождения большей части населения от жизненного контекста агрикультуры и ее перемещения в контексты индустриального наемного труда, — обычно этот процесс описывают с помощью термина «урбанизация». Обстоятельство, что первоначально этот переход для многих означал смену аграрно-пролетарской нужды на индустриально-пролетарскую нищету, настойчиво подчеркивалось в социально-исторических сочинениях; с сегодняшней точки зрения и эти выводы стали достоянием истории.

Для современного развертывания множеств желаний освобождение от связи с землей является поистине реша-

688 *Eric Hobsbawm. Das Zeitalter der Extreme. S. 365—367.*

ющей вехой, поскольку для большинства людей оно совпадает с переходом от экономики средств пропитания к экономике денег; оно приводит к скачку от стагнирующей в рамках скромных потребностей формы существования к регулируемому желанием, ориентированному на более ценные продукты и объекты роскоши *modus vivendi*. С отрыва от почвы (и ее нового открытия как рекреационного ландшафта) начинается эра, в которую желание становится первейшим гражданским долгом. Отныне лишь обураваемый безграничными желаниями и способный к точному выбору человек соответствует своему призванию к формированию потребительской субъективности. В теплице роскоши нет никакой «голой жизни», определяющей форму субъекта, а есть обладание покупательной способностью в союзе с мобилизованными аппетитами.

Новая картина включает в себя высокую вертикальную социальную мобильность, поддерживаемую значительным ростом возможностей в трудовых биографиях индивидов. Мультифокальное «общество» предлагает тысячи сред для подражания, десятки тысяч арен для самовыражения, сотни тысяч лестничных маршей для восхождения. Каждая среда, каждая арена, каждая лестница образует своего рода микроуниверсум подъема. Направленная вперед и вверх мобильность опирается на традиционную predisposedность нижних слоев к ориентации на жизненные формы тех, кто находится на более высоких уровнях благосостояния. За социальный порыв вверх не в последнюю очередь ответственно с давних пор широко распространенное среди более бедных убеждение, что они, несомненно, и в качестве богатых людей также производили бы хорошее впечатление, — заблуждение, вытекающее из предположения, что богатое существование представляет собой продолжение обычной, подвижной нуждой жизни на более высоком уровне, причем до осуществления восхождения к благосостоянию у людей отсутствует какое бы то ни было реалистичное представление о жизненной форме, руководствующейся предпочтениями пребывания в многомер-

ных пространствах выбора. И наоборот, у состоятельных людей вследствие вызывающего привыкание воздействия комфортных жизненных стилей всегда есть серьезные основания опасаться, что в бедности они будут выглядеть весьма плачевно, из чего вырастает главный мотив их ожесточенной решимости защищать свое имущество. Тот факт, что при мысли о возможности бедности обеспеченные люди нередко испытывают страх уничтожения, доказывает, сколь мало они в своем собственном случае верят в плоды деятельности государства всеобщего благосостояния, о котором они, глядя на других, говорят, что оно резко снизило остроту рисков бедности.⁶⁸⁹ Озабоченность привыкших к комфорту концентрируется в ночном кошмаре, что постоянное пополнение средств комфорта в один прекрасный день прекратится. В этом гнетущем представлении кроется невнятное понимание хрупкости теплицы роскоши, в которой словно в пышной пене протекают жизненные игры состоятельных демократий.

**10. РОЗА ВЕТРОВ РОСКОШИ.
БОДРСТВОВАНИЕ, ОСВОБОЖДЕННЫЙ КАПРИЗ,
ЛЕГКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ**

Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтоб он был мне гарантирован, когда понадобится.

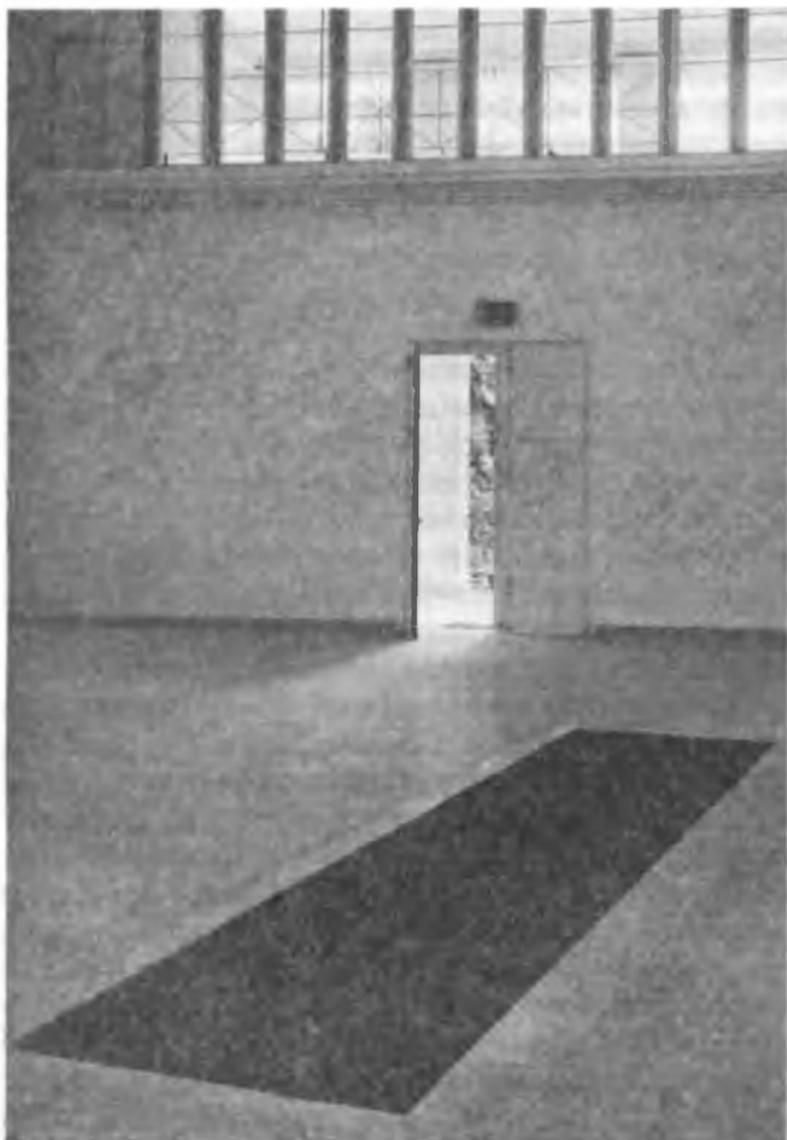
Федор Достоевский. Записки из подполья

Необходимо доминирующий в суперинсталляции индивидуализм (можно было бы сказать, отказ современных индивидов интериоризировать свой социальный статус) свидетельствует о психоисторическом перевороте,

⁶⁸⁹ Об этом комплексе см. упоминаемую в сноске 579 статью Герхарда Шульце.

сравнимом с преобразованием душевной формы какой-нибудь новой религией: его значение состоит в том, что он способствует широкомасштабному освобождению от неспецифического внимания. Мы лучше всего поймем смысл индивидуалистической волны, если увидим в ней роскошную форму бытия-в-мире. Индивидуум — это тот, кто в качестве обладателя переживаний претендует на привилегированный доступ к самому себе. Из этого вытекает задача конечного потребления самого себя. Этика индивидуализма советует своим клиентам рассматривать свое существование как уникальное предложение. Если вокруг кишит множество оно-образных и ты-образных не-Я, то Я непосредственно знает, что оно есть нечто в высшей степени редкое. То, что бывает лишь однажды, кажется прямо-таки достойным культа. То обстоятельство, что индивиды в теплице благосостояния могут относиться к самим себе как к раритетам, является результатом взаимного потенцирования трех пересекающихся трендов, ответственных за индивидуационный климат современности.

Первый тренд: стремительное снижение рождаемости в индустриальных и постиндустриальных странах создает условия, при которых прекращается прежде чреватая потерями для всех конкуренция за дефицитный ресурс материнской любви между чересчур многочисленными детьми в семьях крестьян и ремесленников. Поскольку после десяти тысяч лет злокачественного избыточного предложения дети стали настоящими раритетами, высокие инвестиции материнских и алломатеринских энергий неизбежно вновь должны были стать обычным делом. Хотя повышение доли занимающихся профессиональной деятельностью женщин абсорбировало часть новых возможностей более интенсивного внимания к собственному ребенку, выполнение государством социальных и школьных аллофункций в большой теплице с избытком восполнило эти потери. Впрочем, очевидно, что современная психология — как и религиоведение — до сих пор почти не прореагировала на эту уни-



Мартин Киппенбергер. *METRO-Net World Connection* вентиляционная шахта. Немецкий павильон. Венецианская биеннале, 2003 г.

кальную с психоисторической точки зрения ситуацию: подавляющее большинство родившихся в суперинсталляции являются сегодня безусловно желанными и доброжелательно принятыми. У них могут отсутствовать традиционные компенсации собственной нежелательности: прежде всего перед ними уже не стоит проблема, которая прежде обсуждалась под рубрикой «спасение», — совершающееся постфактум одобрение первоначально отрицавшейся жизни. Чем это обернется для актуального социально-психологического тонуса «общества», исследуется столь же мало, как и долговременные культурные последствия этого нового феномена.⁶⁹⁰ Ситуация подталкивает к выводу, что во всей цивилизации — в большей части спектра социальных страт, несмотря на неравенства между различными средами и нациями, — исторически беспрецедентная материнская и воспитательская роскошь превратилась во всеобщий стандарт.

Как обычно, в климате антропологического острова почти невозможное воспринимается как само собой разумеющееся и служит исходным уровнем для новых требований. В суперинсталляции продолжение фазы обучения вплоть до тридцатилетнего возраста уже не является исключением, причем субъекты таких образовательных инвестиций едва ли соединяют собственное затянувшееся взросление с сознанием своего привилегированного положения. Не ведомым прежним эпохам образом бедное детьми «общество» окружает своих переживающих столь продолжительную юность отпрысков венцом заботы, надежды и восхищения; в этот венец нередко вплетены нити нечистой совести и страха перед будущим, особенно

690 Хельга Хэзинг и Людвиг Янус в изданной ими книге «Нежеланные дети» (*Ungewollte Kinder. Annäherungen, Beispiele, Hilfen* / Hrsg. von Helga Häsing, Ludwig Janus. Reinbeck bei Hamburg, 1994) основываются на «осторожной оценке», согласно которой сегодня нежеланным появляется на свет каждый третий ребенок; это, по всей видимости, завышенные цифры, которые тем не менее, если бы они были верными, указывали на историческую новацию: доминирование желанных, составляющих большинство в две трети.

в гиперморальных субкультурах, в которых процесс размножения вызывает чувство вины. Сегодня во всех социальных слоях желанный ребенок сияет в глазах своих родителей ей драгоценным светом, словно надувная позолоченная верхушка рождественской елки.

Вторым ответственным за индивидуалистический поворот значительным трендом является повышение производительности труда, которое в течение последних ста пятидесяти лет привело к поразительному сокращению рабочей недели, рабочего года и трудовой жизни у огромного числа людей, занятых профессиональной деятельностью. Если в середине XIX столетия годовая выработка услуг рабочими, служащими и чиновниками составляла около 4000 часов — почти половину всех часов в году, то к началу 90-х годов XX века годовое рабочее время наемных работников в Германии и сопоставимых странах сократилось в среднем до 1700 и менее часов; с учетом увеличения периодов обучения и изменения возраста выхода на пенсию это означает сокращение на одну треть трудовой фазы в биографическом бюджете индивидов, что еще пятью поколениями ранее казалось совершенно невозможным за границами *leisure class*.^{*} Рассматривал эти изменения, обычно говорят об увеличении свободного времени. В действительности под клише свободного времени кроется чреватый серьезными антропологическими последствиями, трудноуловимый факт — его можно было бы описать как взрывной рост внимания индивида к самому себе. Его непосредственным следствием является всеобщее подчинение жизни альтернативе скуки или развлечения.

Ни с каким другим обогащающим процессом XX столетия актуализация человеческих потенциалов роскоши не была связана столь тесно, как с массовым погружением индивидов во время своей собственной жизни. Говоря прямо, решающее в конечном счете для всех изменений

^{*} Праздный класс (*англ.*).

морали и жизненных форм событие прошедшей эпохи состояло в радикальном увеличении среднего персонального владения не занятым, сном временем за пределами периодов, посвященных труду и домашним заботам. "Не занятое сном свободное время — это скрещение розы, ветров тенденций роскоши. То, что называют свободным временем, в реальности подразумевает экспликацию периодов бодрствования различными видами деятельности и бездействия, которые в силу своего произвольного, рефлексивного и ориентированного на переживание характера пригодны для направления внимания действующих лиц «вовнутрь». Под «обществом, переживания» следует понимать систему, освобождающую индивидов для медитации над любыми чувственными объектами как над результатами существования здесь и теперь. Облака плывут, книги молчат натюлках, мне это безразлично. Вегетативное выхода!" на первый план, внутренние состояния обрамляются вниманием, ускользающее очевидное прояснится во внутренней теме. «Ты сидишь, и ввиду усталости ты по случайности дышишь теперь правильно».⁶⁹¹

Последнее расширение освобожденной для внимания к самому себе (и его массовое уничтожение посредством развлечения) фазы также весьма впечатляюще в количественном отношении. Если мы отнимем из 8670 часов, которые составляют год, по 8 ежедневных часов, отводящихся на сон, а также 1700 часов годового рабочего времени, то у обитателя суперинсталляции в году останется в среднем 4140 не занятых сном свободных часов. Если от них, в свою очередь, отнять периоды, занятые рутинными актами повседневной заботы о себе и своей семье и поездками к рабочему месту, то у большинства наших современников образуется остаток принадлежащего исключительно им самим времени, совершенно беспрецедентный для всех исторически известных периодов.

⁶⁹¹ *Peter Handke. Versuch über die Müdigkeit. Frankfurt, 1989. S. 52.*

Он питает самые разнообразные измерения роскоши, которые между тем прочно связаны с картиной существования в суперинсталляции. В современном *way of life* в первую очередь бросается в глаза необычайный уровень роскоши мобильности. Почти каждая современная жизнь в беспрецедентной степени причастна к транспортной власти. Современное тело определяется — наряду с его аутооперабельной конституцией — способностью преодолевать расстояния и осуществлять произвольные движения. Дело зашло настолько далеко, что сегодня понятие свободы уже не может определяться вне связи с кинетической расточительностью и туристическим капризом. Объем кинетической роскоши становится ясным, среди прочего, из тех данных социологии транспорта¹ согласно которым два из трех моторизированных, транспортных перемещений связаны с неэкономическими и нейро-профессиональными целями; *je bouge, done je suis*. * Критику чистой эвазии еще только предстоит написать. На 2000 год счет расстояний, преодолеваемых в течение своей жизни средним рабочим или служащим в активных в автомобильном и туристическом отношении главных странах системы благосостояния, многократно перекрывает баланс любого представителя *leisure class* XVII и XVIII столетий, даже если последний занимался таким изысканным спортом, как путешествия. Если мы добавим сюда распространенные эрготопические практики, реализующиеся в форме бесчисленных видов спорта, физических упражнений и гимнастик, танцев, парадов и двигательной терапии, то перед нами предстанет картина беспримерной цивилизации, вибрирующей в осязаемой кинетической роскоши.

Кроме того, в царстве бодрствующего не-труда выкристаллизовалась своего рода система роскошной болезненности. После чистого, самодостаточного движения самой распространенной формой интерпретации возмож-

* Я двигаюсь, следовательно, существую (фр.).



Жиль Барбье. *L'Hospice (Хоспис)*.

ности свободного времени является болезненное состояние.⁶⁹² Достижению этих результатов способствуют так

⁶⁹² В ФРГ при наличии около 39 миллионов рабочих мест (при населении 82 миллиона человек) и средней (в условиях кризиса очень низкой) продолжительности болезни в 9 дней на одного работника в год в 2002 году накопилось около 350 миллионов оплаченных по больничным листам дней. При этом следует отметить, что незримая уик-энд-болезненность (размер которой может превышать 4 миллиарда дней ежегодно) и скрытая отпускная болезненность (предположительно объемом в 1 миллиард дней) остаются неучтенными, как и болезненное состояние того сегмента населения, который не интегрирован непосредственно в трудовую деятельность.

называемые болезни цивилизации, а также принявшие явную форму психические патологии, различные болезненные мании и спортивные травмы, идущие вслед за дифференциацией спорта на сотни субкультур (в результате чего хирургические или травматологические отделения больниц сегодня представляют собой настоящие социологические семинары). Феномен мультиболезненности свидетельствует о расширении болезненного состояния до размеров самостоятельного универсума роскоши. Он доказывает, что недуги могут культивироваться по образцу тренировок различных видов многоборья. Даже там, где болезнь не определяет *modus vivendi* целиком и полностью, она остается вездесущей в качестве фоновой возможности, которая в любой момент может быть актуализирована; без нее были бы немислимы финтес-сцены, *wellness*-* и диеткультуры, замкнутые и хорошо организованные миры курортных городов, бальнеологических убежищ и высокогорных туберкулезных санаториев (за сто лет до того, как Гофрат Беренс в «Волшебной горе» Томаса Манна заявил, что он давно служит при смерти, Бальзак описал тип пышногрудой хозяйки пансиона из Оверни, по-матерински и по-деловому ожидавшей кончины гостей⁶⁹³).

Грандиозному расцвету болезненности соответствует несметное множество специализаций врачебных и терапевтических служб. Наверху производственной шкалы мы обнаруживаем тонкие герменевтики болезни, приучающие пациентов рассматривать свои недуги как шансы; истолковываемый как акт заботы о себе, несчастный случай демонстрирует свою оборотную сторону;⁶⁹⁴ очень многим людям разговор о неврозах и жизненных невзгодах дарует награду проблематичного бытия. В клиническом

693 *Опоре де Бальзак- Шагреновая кожа. 1831.*

694 *Cynthia Fleurie. Pretium doloris. L'accident comme souci de soi. Paris, 2002.*

* Хорошее здоровье (англ.).

архипелаге (только в Германии в «системе здравоохранения» заняты 4.2 миллиона человек) накладываются друг на друга широкие регулирующие контуры роскоши вреда самому себе, роскоши терапии, роскоши предусмотрительности, роскоши страхования и роскоши недовольства, каждый со своим собственным неустранимым жалобным басом, диатонически понижающимся от плохого к еще более худшему; они интегрированы системной необходимостью скрывать комфортный характер современного управления болезненностью за плотной занавесью гуманистического патронажа и естественнонаучно обоснованных минимальных требований. В силу ее патогенных импликаций здесь следует указать и на свойственную современной культуре визуально опосредованную роскошь жестокости, источники и габитуальные модели которой, впрочем, корнями уходят в европейскую художественную историю.⁶⁹⁵

И наконец, в моральном пространстве *affluent society* разворачивается виктимологическая роскошь совершенно нового типа. Ее распространению и разветвлению способствует своего рода медиасоюз корпоративных объединений, адвокатских коллегий, культурологов и фельетонистов-моралистов. Виктимологии роскоши основываются на том открытии, что в суперинсталляции моральная чувствительность публики является символическим ресурсом, доступным материальной культивации. Поскольку после эпохи Просвещения героями могут быть только жертвы, тщеславие вынуждено идти окольным путем виктимизма. Это относится как к индивидам, так и к корпорациям и государствам. Огромное число людей с помощью любительских и профессиональных средств борется друг с другом за привилегию выступать на самых различных аренах в качестве жертвы — еще лучше, в качестве супержертвы, пострадавшего из пострадавших,

695 См.: *Walther K. Lang. Grausame Bilder: Sadismus in der neapolitanischen Malerei von Caravaggio bis Giordano. Berlin, 2001.*

еврея из евреев, парии из парий, проклятого из проклятых этого мира. Знаменитости также интенсивно участвуют в работе этих механизмов, как, например, покойная принцесса Уэльская Диана, огромная популярность которой у женской прессы основывалась прежде всего на тщательно культивировавшемся статусе «царствующей жертвы». Даже мировые державы не чураются притязаний на виктимологические премии: политическое поведение администрации Буша в Соединенных Штатах Америки после 11 сентября 2001 года свидетельствует об исторической новации, состоящей в том, что при представившемся случае сверхдержава решила позиционировать себя как сверхжертву, — позиция, таящая в себе гигантские политические риски, не говоря уже о моральных диспропорциях. Ввиду ожидаемых гратификаций в атмосфере агрессивной эмоциональности была возвращена гиперболическая функция с целью оптимальной презентации своего собственного бытия в свете перенесенных обид. Этот габитус можно сравнить с обычаем антиякобинских *muscadins** * 1794 года бриться наголо *à la victime*,** чтобы сигнализировать о своей солидарности с обезглавленными в период террора нотаблями; но он представляет собой нечто большее, чем кратковременная мстительная мода: начиная с Соединенных Штатов, где с 70-х годов *victim-speak**** стала языком всеобщей коммуникации, в климате всей теплицы благосостояния в целом заявляет о себе агрессивная чувствительность претендующих на статус жертвы культур.⁶⁹⁶ Здесь, по всей видимости, формируется культура долговременного *ressentiment*'а, о которой мы еще не можем сказать, каким образом она уживется со всеми остальными экосистемами морального чувства в

696 Charles T. Sykes. *A Nation of Victims. The Decay of American Character*. New York, 1992.

* Члены одной из секций французского революционного Конвента.

** Под жертву (фр.).

*** Речь жертвы (англ.).

теплоте комфорта. Мы еще не знаем, на что способны тела в состоянии всеобщего *ressentiment*'а.

Однако понятно, что кроме психологических мотивов эти феномены обусловлены серьезными экономическими причинами. Наряду с налогами, направляемыми в государственную казну, и взносами в социальные кассы виктимистический процесс возмещения убытков превращается в третий столп перераспределения благ; он распространяется, интенсифицируя движение в направлении постмодернистской адвокато-медикократии. Заслуженную всемирную славу снискала одна американская истица, которая, желая высушить свою мокрую собачку, засунула ее в микроволновую печь, а затем предъявила фирме-изготовителю печи астрономические требования возмещения ущерба за свое испеченное домашнее животное — с тем замечательным аргументом, что производитель не позаботился указать на те риски, которые связаны с пребыванием млекопитающих во включенных микроволновках. Этот случай можно считать парадигмой нового, упрекающего по своему дизайну разума. Постоянное изобретение все новых, якобы точных, четко очерченных синдромов заболеваний и обид стимулируется потребностью в фиксации могущих стать предметом судебного иска фактов превращения в жертву. Например, весьма многообещающей кульминацией виктимизма стал недавно описанный «синдром экономического класса», который должен дать юридически-медикократические предпосылки для исков о возмещении ущерба против авиакомпаний, если у пассажиров во время длительных перелетов возникнут тромбозы в нижних конечностях. Другими появившимися в 90-е годы популярными синдромами разносторонней применимости, наряду с диссоциативным расстройством (в котором таятся остатки прежней истерии), являются синдром хронической усталости и синдром множественной личности — оба они воплощают собой медицинскую форму постмодернистского прощания с иллюзией виновности.

Там, где фундаментальное виктимистическое настроение соединяется с алармистским настроением, открывается широкое поле для литературы предостережения, позиционирующей распространителя тревоги на тематической бирже в зависимости от того, в какой мере он достигает желаемого результата, состоящего в привлечении внимания: к постепенному накапливанию в мозге тяжелых металлов и неизбежному упадку человеческого разума; к микробной глобализации, в результате которой распространяются новые возбудители болезней невиданной агрессивности; к отдаленным душевным последствиям изнасилования детей их чересчур заботливыми матерями, которые перед сном ставят своим отпрыскам обязательный клистир; наконец, к гигантским метеоритам, держащим курс прямо на Землю. Многочисленные явления в поле развлекательного алармизма выкристаллизовались в своего рода научно-популярную готику, своим меню изысканных причин смерти отвечающую аппетитам жаждущей быть испуганной публики.⁶⁹⁷ Благодаря наличию таких услуг длительная ложная тревога в *culture of fear** *развилась в отнюдь не только американский стиль жизни.

Избыток праздного бодрствования означает для субъективностей то же, что ископаемое топливо и солнечная энергия для машинных систем в теплице роскоши. Свободное, не занятое сном время — это вспенивающий агент, формирующий и расширяющий агломерированные микроманические пространства. Из их резервуаров могут быть выделены подвижные кванты субъективной энергии для разработки культивируемых полей, начиная с самых простых удовольствий. В силу своей избыточной природы многочисленные виды деятельности, у которых отсутствует какой бы то ни было трудовой или производственный характер, становятся доступными тренировке в

697 См.: *Lorenzo Pinna. Fünf Hypothesen zum Untergang der Welt. München, 1996.*

* Культура страха (англ.).

качестве осмысленных усилий; если это происходит, осуществляется переход в форму соревнования; вскоре после своего возникновения любое развлечение становится способным превратиться в своего рода чемпионат. Если оно было достаточно хорошо организованным, оно высвобождает и свои специфические патологии, которые, в свою очередь, могут стать предметом заботы соответствующих тренеров и терапевтов. О том, что праздное бодрствование представляет собой роскошь, свидетельствуют высокие темпы роста расточительности во всех сферах. Это важная привилегия имущих — мало заниматься своим богатством. В этом отношении обладатели экстенсивного, не занятого сном свободного времени эры постмодерна нередко ведут себя точно так же, как владетельные сеньоры прежних эпох, которым не приходило в голову, что на фундаменте унаследованных ими преференций можно заняться каким-либо производством.

Уже то немногое, что вливается в активизм капризов, рождает невообразимо разнообразное и неисчислимо многое. Чтобы обозреть эти результаты с некоей абстрактной точки, следует начать с того тезиса, что богатство является богатством только для ценящего его праздного бодрствования. Поскольку роскошь праздного бодрствования представляет собой ключевую функцию любой роскоши, она образует центральную нервную систему консумизма и индустрии свободного времени. Более того, она таит в себе тайную духовность, казалось бы, бездуховной эпохи, ибо дает матрицу для всякой нюансирующей деятельности. Иронию, заключенную в поиске сокровищ (сокровище, предполагаемое в предметах, находится в бодрствующем сознании искателя) замечают лишь медитативные субкультуры. Лишь немногие индивиды осознают, что роскошь рефлексии и медитации — внимательность к собственному вниманию — определяет основную форму самых острых переживаний.

Главный поток праздного бодрствования направлен в сторону тех предметов, визуализация которых в про-

цессе бодрствующего обнаружения воспринимается как удовлетворение. Бодрствующая жизнь в мире накапливает излишки внимания и тренируемой способности суждения, без которых нет никакой утонченной заботы о себе, никакой циркуляции опыта более высокого порядка; 60-лнее того, пока трудовая жизнь представляла собой преимущественно занятие ремеслом, это последнее также извлекало выгоду из прибавочной стоимости утонченности, не отделимой от либидинозных обратных связей умелого, внимательного исполнения своих профессиональных обязанностей. Сегодня это можно наблюдать в многочисленных сферах расширенного инвестирования праздного бодрствования. Все формы культуры воспоминания — ядра староевропейской концепции цивилизации — живут использованием избыточного времени бодрствования, заполняя его внутренними и внешними образами прошлого. То, что с XIX века известно как историзм, представляет собой ощутимый в масштабах всей культуры побочный эффект канализации чрезмерного количества свободного времени в изображение привлекательных картин прошлого; удовлетворение от того факта, что о других эпохах вообще что-то известно, формирует замкнутую субкультуру вспоминающих. Наряду с адептами религии искусства истористы первыми посвятили себя задаче переформулирования своих капризов во всеобщую необходимость, точнее, в основной духовный продукт питания для многих.

Культуры декаданса возможны потому, что роскошь бодрствования, как правило, артикулируется как роскошь болезненности.⁶⁹⁸ Там, где размышляют о болезненности, слабость раскрывается как тренируемое состояние. При высоком уровне коллективной эмансипации в области тренировок потери формы в привыкшей к достаточному комфорту популяции можно наблюдать весьма

⁶⁹⁸ См.: *Julia Kristeva. Le temps sensible. Proust et l'expérience littéraire. Paris, 1994.*

впечатляющие результаты: периодические усилия ведут к быстрому истощению у детей и эпидемической смутной пресыщенности всем и вся у взрослых.

Культуры негативизма возможны потому, что в ереде неудачников большое количество свободного времени может инвестироваться в описание всевозможных предметов, пропущенное сквозь фильтр зависти. Уже давно значительная часть того, что в газетных приложениях именуется критикой и комментариями, скорее могла бы быть подведена под рубрику роскоши злорадства и роскоши пренебрежительности; ее потребительская стоимость состоит в том, что она удовлетворяет спрос на жесты пустого высокомерия (некогда это было монополией журнала «Шпигель», ныне стало почти всеобщим стандартом).

Культуры *ressentiment*'а возможны, и они процветают как никогда прежде потому, что благодаря встрече фрустрации и свободного времени значительная доля внимания может быть направлена на злобную память о нанесенных обидах; неусыпная интеллектуальная ревность постоянно порождает сменяющие друг друга инквизиции, борющиеся против ересей успеха. Полезны ли эти формы роскоши культуре в целом, чем бы та ни была, остается неясным. С оптимистической точки зрения можно отметить, что *ressentiment* способствует обмену агрессивных веществ с помощью насыщенных балластными веществами фантазий на тему обид и унижений.

Решение интерпретировать феномен роскоши исходя из избытка свободного времени для праздного бодрствования имеет то преимущество, что при изображении различных модификаций роскошного оформления жизни мы не должны тратить время на всякого рода анекдоты и перечни, что отличает даже самые значительные достижения прежней историографии: в классических моралистических историях, посвященных роскоши, фигурируют платья, украшения, цветочные композиции, здания, мебель, еда, любовницы и парады прислуги, однако

дело не доходит до выработки какой-либо универсальной точки зрения — за исключением точки зрения благосостояния со всеми его капризными эксцессами. Мы не без интереса узнаем, что в XVIII столетии один французский чревоугодник по имени Верделе готовил себе блюда из языков карпов, каждое из которых стоило 1200 ливров и требовало смерти от двух до трех тысяч этих рыб; образцом для него был римлянин Вителлий, чьи композиции из фазаньих и павлиньих мозгов, языков фламинго, печени макрели и молок мурены стали легендой.⁶⁹⁹

Основываясь на высвобождении праздного бодрствования, мы получаем критерий, более адекватно освещающий экзистенциальные качества избыточного, чем любое предметное понятие богатства и расточительности. Одновременно мы подчеркиваем, что инвестирование «времени и денег» в тот или иной привилегированный сегмент деятельности и потребления представляет собой случай свободного каприза. Победа над необходимостью может быть зафиксирована в самом понятии роскоши — то есть, согласно вышесказанному, в точке пересечения благосостояния и праздного бодрствования. Таким образом, констатируется, что и каприз предполагает тренировку. Там, где каприз совершенствуется в упражнениях и растворяется в индивидуированных линиях, сериях и ответвлениях, он порождает особого рода гравитацию. Можно было бы сказать, что виртуозность есть не что иное, как чрезмерная расточительность, сдерживаемая культивирующей силой тяжести повторения.

Кроме того, указание на праздное бодрствование как на источник роскоши вплотную подводит нас к «эстетике

699 Самая важная из прежних монографий, посвященных роскоши в какой-либо отдельной культуре, 11-я глава монументальной «Истории римских нравов» Людвиг Фридлендера (*Ludwig Friedländer. Sittengeschichte Roms. Stuttgart, 1980. S. 645—747*), дает следующую классификацию соответствующих феноменов: роскошь стола, роскошь одежды и украшений, роскошь жилых зданий, роскошь домашнего убранства, погребальная роскошь, рабовладельческая роскошь.

повседневности», которая, как нам недавно было продемонстрировано, связана с «роскошью второго порядка», образцово воплощенной в жажде покоя, пустоты, упрощения и настоящих чувств.⁷⁰⁰ Поскольку феномен праздного бодрствования предшествует бифуркации внимания и рассеянности, с ним должны считаться обе модификации эстетических теорий, каждая из которых ориентирована на какой-либо один из двух этих полюсов.⁷⁰¹ Более того, поскольку он предшествует и оппозиции внимательной заботы (*religere*) и пренебрежения (*necligere*),⁷⁰² бодрствование может влиться в стабильные культы — но также и в импровизации. В качестве матрицы как религиозной, так и профанных развлечений свободное бодрствование связано как с закономерным, так и с уникальным.

Распространенная на предметы повседневности эстетика — как явление массовой культуры — есть изобретение XX века (как уже указывалось, ее прототипические формы в голландской мистике домашнего быта восходят по меньшей мере к XVII столетию); она не может отрицать своего происхождения из реально осуществляющейся разгрузки. Она была бы немислима без масштабного расходования свободного времени на восприятие и рафинирование объектов и констелляций окружающей среды. То, что называют вкусом, по ту сторону хорошего и дурного, представляет собой распространение оральное бодрствования на самые различные области суждения о чувственных явлениях.

Без роскоши свободного времени для праздного бодрствования и его непрерывного инвестирования в культивируемые поля не было бы ничего из того, что в течение

700 См.: *Norbert Bolz. Das konsumistische Manifest. S. 102 f.*

701 См.: *Jonathan Crary. Aufmerksamkeit. Wahrnehmung und moderne Kultur. Frankfurt, 2002; Walter Benjamin. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit // Gesammelte Schriften. Bd I 2. Frankfurt, 1974. S. 482—498.*

702 о происхождении слова *religio* от глагола *vis legendi* см.: *Cicero. De natura deorum, II, 28.*

нескольких последних десятилетий наблюдается в области «культуры быта» и ее отшлифовки на всех уровнях популярного и элитарного дизайна: никакой культуры ванн, кухонь, напольных покрытий, материалов и красок. Никакого *air design*, никаких экспедиций в царство ароматов;⁷⁰³ никакой утонченности чувства орнамента⁷⁰⁴ (орнаменты — это феноменальные абсорберы времени жизни), никакого особенного вкуса в отношении домашней обстановки и декора, никакой приятной расслабленности в универсуме антиквариата. Без избытка свободного бодрствования не было бы ни ощущения формы дорогих авторучек и автомобильных кузовов, ни чувства пространственного климата, ни ощущения созвучия старого и нового, ни чувства совместимости взаимодополняющих и контрастирующих элементов в композиции окружающего мира. Тем более не было бы никакого взгляда за пределы производственной деятельности, никакого чувства смены ландшафта и скользящих горизонтов, изменения климата и атмосферного хроматизма; не было бы ни метапотребности в прекращении тщеты потребностей, ни обращения к ценностям чистого «бытия», ни тоски по первоначальному, изначальному.

Излишне говорить, что вся литературная и музыкальная культура зависит от возможности расходования не занятого сном свободного времени на чтение, слушание, повторение и сравнение. Достаточно отметить: в истории всех без исключения цивилизаций — вопреки популярной критике культуры и теории упадка — никогда не инвестировалось такого множества единиц времени в чтение книг, журналов и газет, в слушание музы-

703См.: *Günther Oliloff. Irdische Düfte — himmlische Lust. Eine Kulturgeschichte der Duftstoffe.* Frankfurt; Leipzig, 1996. S. 270 f. Мы узнаем (S. 277), что Жак Герлэн, обладатель абсолютного нюха, якобы в любой ситуации мог различать 3000 обонятельных качеств, — «достижение, возможное лишь в результате интенсивных ежедневных тренировок».

704См.: *Handbuch der Ornamentik: zum Gebrauche für Musterzeichner, Architekten, Schulen und Gewerbetreibende sowie zum Studium im allgemeinen* / Hrsg. von Franz Sales Meyer. Stuttgart, 1993.

ки всех жанров, в просмотр телепрограмм, в посещение кинотеатров, ток-шоу, театров, кабаре, публичных дискуссий *etcetera*,* как в наши дни; сегодня работает величайшее множество певцов и инструменталистов высочайшего ранга; число романистов, лириков, актеров, режиссеров и художников всех уровней и категорий находится на исторически беспрецедентном уровне (разве что профессиональные ораторы почти исчезли); в наши дни активно абсолютное большинство оркестров, оперных театров, хоров, танцевальных трупп, драматических театров. Все они должны предполагать наличие сегментов публики, готовой обменивать свое внимание на развлечение, искусство и информацию.

Третье измерение комплексного индивидуалистического тренда возникает в результате преобразования серьезного общества в возбудимый агрегат из заботящихся о самих себе и создающих самим себе комфорт клиентов, покупателей и потребителей. Считается общим местом психоистории, что в XX веке был дан старт перенастройки субъектных форм с требований раннего капитализма на требования развитого или, как говорили раньше, позднего капитализма: с пуританского трудового образа мыслей на либеральную ориентацию на свободное время, с серьезной экономии на кредитное легкомыслие, с ограничения потребления на жажду переживаний, с героизации предпринимательских добродетелей на прославление знаменитостей из мира спорта и развлечений. В новейших вариантах критики культуры говорится о том, что у субъекта эпохи постмодерна исчезают такие элементарные признаки, характерные для классической персоналистской культуры, как ориентация на стабильные нормы, убеждение в собственной непродоваемости, чувство собственного достоинства на основании подтвержденной на деле компетентности, чувство биографической непрерывности и родства, что создает полностью совместимого

* И так далее (лот.).



Эрик Фишль. *Рождение любви (вторая версия)*, 1987 г.
Публикуется с разрешения Mary Boone Gallery, Нью-Йорк.

с капиталом человека. О нем отчасти с осуждением, отчасти описательно говорится, что он колеблется между работой и развлечениями, что у него нет морального ядра, что он изворотлив, как змея,⁷⁰⁵ отличается высокой трудовой мобильностью, лишен предрассудков, как торговец оружием, постнационален, как владелец борделя. Тем самым констатировавшаяся Марксом и Энгельсом аналитическая власть денежных отношений («все сословное и устойчивое испаряется»⁷⁰⁶), пожалуй, достигла бы последней цитадели домодернового порядка, личностного слоя. Благодаря открытию в развлечении (нем. *Spaß*, воз-

⁷⁰⁵ О мотиве «змеи» см.: *Antonio Negri, Michael Hardt. Empire. S. 66—72.*

⁷⁰⁶ *Das kommunistische Manifest*; цит. по: *Karl Marx. Die Früh-Schriften / Hrsg. von Siegfried Landshut. Stuttgart, 1968. S. 529.*

можно, происходит от итальянского *spasso* — «экспансия», «расширение») источника создания ценностей субъективный фактор окончательно интегрировался в сферу капитала; наконец, и эротическая жизнь также была открыта для рынка, словно опровергая пущенный в ход Вильгельмом Райхом миф о «сексуальной революции», согласно которому наемные работники, проявляя во всей полноте свою сексуальность, превращаются в фаллических повстанцев — а следовательно, становятся невосприимчивы к. любого рода отчуждению.

В действительности включение сексуальности в культуру развлечения — говоря без полемических унтертонов — способствовало широкой субъективации сознания богатства и тем самым вызвало требующий к себе серьезного отношения эффект обнаружения истины. Присущая человеческому существу невозможность быть бедным ни на каком другом биологическом свойстве — за исключением способности к праздному бодрствованию — не иллюстрируется столь очевидным образом, как на сексуальности. Она представляет собой природный талант к переживанию счастья в самом узком смысле слова — поскольку в данном случае мы руководствуемся тем, что распространенное начиная с эпохи Возрождения выражение «талант» (от греч. *tálanon* — «взвешенный») ведет свое происхождение от новозаветного термина «доверенное имущество» или способный к росту «фунт». Разрыв с традициями догматизма бедности наиболее явно проявляется в XX столетии в высвобождении дедемонизированной, натурализованной или позитивно недооцененной и одновременно художественно интенсифицированной сексуальности. Если выше мы утверждали, что до сих пор у нас нет аутентичной теории разгрузки или депауперизации, то здесь необходимо сделать одну оговорку: при ближайшем рассмотрении выясняется, что науки о сексуальности, во второй половине столетия вырвавшиеся из рамок, заданных им в конце XIX века, частично закрыли эту брешь, предложив мощнейшую косвен-

ную теорию современной эпохи. Они рассматривают индивидов как богатых и способных к дальнейшему обогащению владельцев сексуального имущества. Сексологин обладает (Томас Бернхард и в этом случае сказал бы: естественным образом) формой инвестиционного консалтинга. Она исходит из той интуиции, что многие собственники весьма неумело обращаются со своим имуществом, будь то по причине различного рода затруднений (по всей видимости, мизерабилистического происхождения) или в силу незнания имеющихся опций и неумения свести баланс доходов и расходов.

Своим существованием современная сексология обязана таким поворотом к эксплицитному, который на факты сознания современной эпохи навешивает мистифицирующий ярлык «революции». Сексуальная экспликация, наложившая свой отпечаток на культурный облик XX столетия, используя публицистические, научные, эстетические, психологические и экономические средства, исторически беспрецедентным образом раскрыла способы и предпосылки сексуированной жизни; она нарушила монополию регулируемой браком парной сексуальности, опубликовав и предоставив для выбора альтернативный перечень опций — от асексуальности и далее аутосексуальности вплоть до гомо- и гетеросексуальности во всех обычных и девиантных модификациях, пока они могут практиковаться в некриминальных формах; она обострила взгляд на генитальные факты и беспрецедентно расширила пространство наблюдения — вплоть до той точки, в которой слово «эксплицитный» является точным обозначением для раскрытия интимных подробностей;⁷⁰⁷ она — по контрасту с освобожденной сексуальностью —

707

Мехди Белхадж Касем (*Mehdi Belhaj Kacem*. «Society*. Jeu investigatif et aventurier sur la communauté désavouable. Paris, 2001. P. 239, 258—262) интерпретировал гетеросексуально-порнографическую визуальную продукцию эры либерализации, исходя из характеристики «гипервидимости» женских органов и перформанса мужского возбуждения.

выявила структуру перверсий, при которых речь, как правило, идет о попытках кодирования сексуального действия потребностью в драматичности, жесткости и тяжести: во-первых, чтобы интуитивно установить связь практик удовольствия сексуального характера с эндорфинными реакциями, во-вторых, чтобы воспрепятствовать растворению возвышенной сексуальности в рутинной (еще одно бегство от свободы к необходимости, то есть консервативная революция желаний); она довела издревле существовавший латентный зазор между сексуальностью и размножением до открытого разрыва, формально состоявшегося в результате внедрения стероидальных оральных контрацептивов, первый успешный синтез которых был осуществлен Карлом Джерасси 15 октября 1951 года в Мехико, а начавшееся в 60-е годы широкое использование поддержало поворот к облегченным формам гетеросексуальных отношений⁷⁰⁸ (Джерасси с полным правом указывал, что «большая часть этих изменений в сексуальном поведении произошла бы и без них»⁷⁰⁹); благодаря возможности почти абсолютно надежного контроля над рождаемостью сексуальная экспликация с предельной ясностью обнаруживает люксуриозный характер брачных и внебрачных сексуальных актов. Никогда прежде — если не считать локальных форм аристократической эротики — не было столь очевидно, что «секс» (используем теперь соответствующий американский термин) представляет собой совершенно самостоятельное проявление роскоши. Как естественный театр подъема он предоставляет всем активным индивидам возможность исследовать свой антигравитационный потенциал. Благодаря своему расположению в точке пересечения выражения страсти, столкновения, развлечения и спорта он открыт доступу со всех сторон. В своей деко-

⁷⁰⁸ *Carl Djerassi. Die Mutter der Pille. Autobiographie. München; Zürich, 2001. S. 82—105.*

⁷⁰⁹ *ibid.* S. 102.

дированной форме он есть не что иное, как чистый каприз, если под словом *caprice* мы понимаем порыв, цель которого находится в нем самом. Его исполнение включает в себя вознаграждение самого себя (тот, кто еще и спрашивает, какая ему от этого польза, задает совершенно лишний вопрос).

Поэтому декодированный, эксплицированный, легко отделяемый от эмоциональных и репродуктивных значений секс образует центр культуры развлечения, то есть системы эмансипированных капризов. Лишь исчезающее меньшинство интимных действий актуально и потенциально все еще связано с производением на свет потомства с желанной либо нежеланной возможностью, тогда как большинство любовных игр ограничивается горизонтом получения удовольствия, перформанса или разгрузки (неудивительно, что консерваторы Запада и современные апологеты авторитарного капитализма на Востоке — не говоря уже об исламистской реакции — едины в своем отвержении легкой сексуальности). На гротескно разросшихся рынках проституции с самого начала главную роль играет пристрастие к той или иной игровой форме. Чем эксплицитнее сексуальность, тем ближе она к полюсу чистой расточительности. Впрочем, этот опыт, сегодня доступный бесчисленному множеству эротически номадизированных индивидов, традиционно был достоянием редких супружеских пар, которые были счастливы в браке в течение долгих лет; они пользовались привилегией не обращать внимания на присущий их связи экономический парадокс. Если в результате тысячи объятий, одинаково радостных, на свет появилось несколько детей или даже один-единственный ребенок, то эта диспропорция между многим и немногим давала самую неподдельную картину счастья.

Замкнутая сама на себя сексуальность, доминирующая ныне в малолетних «обществах» Запада, эксплицирует эволюционно обоснованное природное измерение расточительности. Ее зачатки имеются у всех млекопита-

ющих, она интенсифицируется у гоминидов и достигает кульминации в линии *homo sapiens*. Переход к пермасексу намечается у некоторых приматов; уже здесь сексуальная активность имеет самостоятельную люксуриозную ценность, а иногда, как демонстрирует известный пример обезьян бонобо, она вливается в групповой менеджмент. Из миллионов незрелых яиц, которые находятся в яичниках каждой женской особи вида *homo sapiens*, в течение одного жизненного цикла созревает едва ли больше четырех сотен; из них при интенсивной половой жизни оплодотворяется менее трех процентов; менее половины процента развиваются в потомство. Еще более вопиющи диспропорции у мужских особей вида. При количестве 40 миллионов сперматозоидов на одну эякуляцию мужчины, частота эякуляций которого составляет два раза в неделю, в течение сорока лет эмитирует более ста миллиардов сперматозоидов, из которых, как полагают биологи, около половины в нормальной степени подвижны, правильно сформированы, пригодны к зачатию.

После физиологической экспликации сексуальности становится возможной биологическая дефиниция мужской экзистенции: декодированный «мужчина» — это канал, по которому проносятся каскады сперматозоидов. По отношению к этому почти все прочее кажется надстройкой. При таком уровне расточительности реальными результатами зачатия — будь то обычные отцы, распутники или турецкие паши — можно пренебречь. Субъективное отношение мужчин к своим расходам также практически не имеет значения, поток сперматозоидов не спрашивает, читает ли данное лицо апостола Павла или Жоржа Батая.

Сексуальная экспликация непосредственно переходит в экспликацию подъема. Можно утверждать, что в этих экспликациях существенные черты природы человека (обратим внимание на отсутствие кавычек) выражаются более адекватно, чем во всех прежних системах, детерминированных аскезой и дефицитом. В них доступ к

изобилию всегда достигался исключительно окольным путем, через внутреннюю стагнацию или организованную фрустрацию, тогда как в эротическом либерализме один из субстратов человеческого богатства, свободное потребление имеющихся в изобилии удовольствий, выносятся на поверхность без каких-либо препятствий со стороны запретов и неврозов. Рассмотренные со столетней дистанции «тайная религия половых сношений» Франка Ведекинда и совершенно темная «религия вагины»⁷¹⁰ Отто Вейнингера суть не что иное, как первоначальные осложнения при декодировании сексуальности. В них идущая издалека традиция нищеты приходит к своей окончательной форме. Теперь сочувствие в отношении отживших неврозов такого рода стало вопросом образования. Стоит ли добавлять, что в таких возможностях достигает своей кульминации одна из самых изоциренных форм роскоши — эмпатическое внимание к вещам, которые более не нужны.

710

См.: *Carl Christian Bry. Verkappte Religionen. Kritik des kollektiven Wahn (1924)* / Hrsg. von Martin Gregor-Dellin. München, 1979. S. 150, 154.

Взгляд назад

ИЗ ДИАЛОГА ОБ ОКСЮМОРОНЕ

Макроисторик: Пока мы ждем автора, который векоме присоединится к нашей компании, нам, быть может, стоит попытаться несколько упорядочить наши впечатления. Со своей стороны я признаю, что с потоком фраз, прошедшим сквозь меня в процессе чтения, мне главным образом помогала справляться моя профессия. Пока автор тащил меня через долготы и широты своих наблюдений — или я должен сделать самому себе комплимент, подчеркнув, что я продирался сквозь них своими собственными силами, — у меня усиливалось впечатление: в том, что касается общей исторической конструкции, речь идет о весьма грузоподъемной нарративной модели, аналогичной той, которую мы используем в наших макроисторических исследованиях, модели, с помощью которой история человечества (а о меньшем здесь речь и не идет) приводится к некоему триадическому знаменателю: неолитический разрыв отделяет палеолитическую эпоху охотников и собирателей от последующих агрикультурных цивилизаций с их царской властью и издающими приказы администрациями; индустриальный разрыв, в свою очередь, немногим более двух-трех столетий тому назад отделил эпоху инертных локальных владычеств от ускоренных жизненных форм современности. И эта теория трех царств, если мне будет позволено так ее называть, напоминает об определенной идеалистической теории процесса — *tant pis** для Гегеля и его после-

* Тем хуже (фр.).

дователей. Мы окончательно перестали быть идеалистами. В своих исследованиях конденсации случайных открытий в мощные тренды мы не следуем за мировым духом в его пути сквозь время и не внемлем голосу истории бытия. Но еще хуже для тех, кто на основании сходств между новейшими макроисторическими моделями и фикциями философии истории соблазняется выводом, что мы движемся по знакомой территории.

Этим я не пробуждаю напрасных ожиданий: я не стал бы говорить о своем понимании того, что в конечном счете означают так называемые сферы. Я сомневаюсь, что впредь буду работать с такими выражениями. Мне не достаточно ясно, что такое диады или мультиполярные сюрреальные пространства, не говоря уже о том, чтобы я был в состоянии показать, как народы живут под своими так называемыми воображаемыми балдахинами, как городские культуры существуют за своими иммунизирующими стенами, а либеральные популяции обитают в своих комфортабельных теплицах. Ну хорошо, историки известны тем, что они не в ладах с более абстрактными идеями. Тем не менее я убежден, что эти невнятные и сбивчивые теоретические фрагменты, в солидности которых я, по правде говоря, далеко не полностью уверен, каким-то образом связаны с вышеупомянутой фазовой конструкцией, которую я после длительного и никоим образом не опровергнутого тестирования считаю хорошо обоснованной.

Мы, макроисторики, рассматриваем себя как скептических наследников прогрессивных универсальных историков, а в остальном твердо верим в то, что мы проделали полезную, даже необходимую работу, ибо задали эмпирические ориентации в цивилизационном процессе, будучи убежденными, что этот процесс действительно есть и что он в определенных границах может быть рационально реконструирован. Однако мы предостерегаем от преувеличений или, что то же самое, от нормативных высказываний о конечных целях истории. Как и все

наши современники, прошедшие школу сомнения, мы следуем совету: пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а идеологи — идеологов. Прежде всего: пусть исторические идолопоклонники роют своим собратьям могилы, где уже лежит их злосчастная свита, что в современных условиях приведет к возникновению гигантского некрополя, кладбища героев ложного послушания, на котором вместо монотонных крестов из земли будут торчать миллионы вытянутых рук и указательных пальцев — неизвестно, принадлежат ли они жертвам, указывающим на своих соблазнитель, или самим соблазнительям, продолжающим свои поучения из потустороннего мира...

Литературный критик: Позволю себе прервать вас — мне кажется, с помощью этих картин вы существенно приблизились к риторическому ядру проекта «Сферы», если бы такая центристская метафора, как ядро, соответствовала данному предмету. В чем же, если говорить о языковой форме, состоит эксперимент, проведенный посредством этих книг? Я бы сказал, речь идет об осуществлении кооперации поэтического вдохновения и скепсиса. Или, иначе говоря, предпринимается критика прозы, расширяющаяся до критики XX века. Не подготовили ли лжеучителя столетия своими прозаическими дискурсами о массах, решающих битвах и конечных целях истории тот реалполитический экстерминизм, ставший главным признаком эпохи? Если после этого исторического отрезка мы предпочитаем холодный стиль, на то имеются и внешние причины. На каждое слишком громкое слово политической прозы приходится миллионы убитых, на каждое пришедшее к власти преувеличение — гигантский жертвенный костер, на каждую руководящую ошибку мышления — уничтоженный народ. Если мы попытаемся найти кратчайшую характеристику XX столетия, то, возможно, следовало бы начать с констатации: это была эпоха, не прощавшая ошибок.

Макросторик: Я согласен — при условии, что перед лицом ужаса мы не впадем в продиктованную *ressen-*



Петр Ковальски. *Sculpture flottante* (Плавающая скульптура). 1974 г.

*timen'*ом ложную скромность. Когда после 1945 года мы ощутили дух времени, внушавший, что не стоит браться за какую-либо крупную тему, ибо до нас в ней пробовали себя идеологи, мы потратили десятилетия на наши корректные маленькие и тихие дела, ценное время, которое весьма пригодилось бы, чтобы продвинуть вперед реальные исследования структур истории цивилизации. Не говорил ли великий этнолог Марсель Мосс, что каждый прошедший день, в который мы не собирали обломков человечества, это потерянный день для науки и истории человека?

Теолог: Смотри-ка, мы опять охвачены пафосом! Дорогие коллеги, попрошу немного внимания. Было бы столь же ошибочным огульно утверждать, что послевоенная эра была исключительно потерянным временем. Преодолеть такое заблуждение, как национал-социализм в Германии с его кузенами и шуринами у других европейских наций, это не безделица. Если после 1945 года немцы и многие другие староевропейцы потратили много времени на осмысление этой ошибки в ее истинном существе, чтобы гарантировать невозможность ее повторения — что, несомненно, с некоторых пор достигнуто, — то в этом нельзя видеть излишнюю расточительность. Прошу прощения, что я занимаю ваше время банальностями.

С духовно-исторической точки зрения посттоталитарную ситуацию можно определить как возвращение современного духа из *hybris*. Это событие, обладающее своим собственным достоинством. Впрочем, господа, вы понимаете, что если я использую такие слова, как «духовная история» или «событие», то в силу своей профессии делаю это в несколько ином смысле, чем мои коллеги с философского факультета.

Теорию сфер я воспринимаю на этом фоне как строго датированное предприятие. В моих глазах она представляет собой некий криптотеологический опыт, возможный лишь после разрушения современных систем мистификации. Я знаю, что автор будет протестовать против



Луиза Буржуа. *Клетка (стеклянные шары и руки)*.
1993 г.

такого истолкования, — он считает себя свободным антропологом, точнее, антропомонстрологом; он идет настолько далеко, что саму теологию рассматривает как монстрологическую дисциплину. Пожалуй, самое меньшее, что можно сказать, так это то, что благодаря обращению к теории атмосфер как Первой науке делается вывод из разоблачения крайнего реализма. Дата этого опыта твердо установлена: после *hybris* современности.

Литературный критик. Я не уверен. Не является ли макротеория этого формата, в свою очередь, некоей гибридной формой? Не содержит ли она, сверх того, радикальную апологию модернизма, если вместе с автором видеть критерий современности в том, что имплицитное преобразуется в эксплицитное, а фон выводится на авансцену? Я бы мог утверждать, что автор сознается в *hybris* особого рода, скажем, в методической *hybris* — причем в двух аспектах: во-первых, поскольку его труду присуща

стилистическая нота, а вы не можете отрицать: стиль не-коллегиален; во-вторых, поскольку этот проект рождается из духа распространения слухов, а это, с позволения сказать, категориально-теоретическое выражение для обозначения междисциплинарности. С ее помощью гибридизация знания становится программой. Не следует забывать, что пока у такого знания в мире есть только одно правдоподобное место: автор. Автор — единственный коллоквиум, в котором различные голоса сливаются друг с другом и порождают резонансные эффекты, тогда как так называемые коллоквиумы профессионалов производят только параллельные дискурсы, которые нигде не пересекаются.

Что касается посттоталитарной ситуации, уважаемый коллега, то, пожалуй, вы правы. Я только думаю, что для данного предприятия это указание не имеет высокой разъяснительной ценности, ибо оно слишком общо; в лучшем случае оно задает мотив встраивания во всякую более или менее претенциозную теорию определенных гарантий от злоупотребления, как это подобает постидеологическому тексту. Этот факт не нуждается в пространственных доказательствах: сферология уже на своей терминологической поверхности представляет собой акцию устрашения против всего того, что ориентируется на серьезность, власть и квоту. Властители всех мастей будут остерегаться говорить о пене, а тем более — о пузырях. Автор с самого начала отдавал себе отчет в том, что принятые им в первом томе мрачные зондажи интимной области не пригодны для цитирования, ведь с помощью негативной гинекологии не занимаются пропагандой. В тексты включен запрет на подражание, который в данных социопсихологических условиях функционирует достаточно надежно. Уже само цитирование является риском для цитирующего, и так будет впредь. В отношении раздела об актуальных системах комфорта, которым злонамеренно завершается третий том, можно предполагать нечто подобное. Он не захватит массы, профессора ощу-

тят дискомфорт, серьезные юноши подожмут губы, профсоюзные деятели заколеблются, если что-либо поймут.

Чтобы достичь сути, следует исследовать те риторические фигуры, в которых проявляется имманентная этому труду *hybris*, — еще раз воспользуюсь этим выражением. Вы могли бы назвать ее скромной *hybris*, если вам по душе оксюморон. Как мне кажется, ключ к своему рабочему методу автор спрятал во введении ко второму тому «Глобусы», где он выводит классическую европейскую метафизику из систематического употребления превосходной степени: поскольку в силу своего предполагаемого происхождения из божественного интеллекта мир обладает круглой формой, можно сказать, что он находится в морфологическом оптимуме. С принципа совершенства начинается мышление. Впредь оно должно поддерживать уровень — а это означает, что оно в каждый момент остается обязанным суперлативу. В этом режиме говорить о том, что есть, означает выражать в речи то, что представляет собой высшее, наилучшее, совершенное, по крайней мере пока говорится об обоих сверхпредметах (Боге и мире) и их политических дополнениях (оптимально организованном городе и благой жизни в нем), — как известно, философы-классики занимаются этим с величайшей охотой. «Сферы», если судить исходя из их средней части, суть не что иное, как эссе о суперлативе; они описывают его интимные начала, его морфологический триумф, его плюралистическую трансформацию и потому...

Макроисторик: Осмелюсь еще раз прервать вас, дорогой коллега. Этот способ рассмотрения кажется мне притянутым за уши. Кроме того, он чересчур формалистичен. Вы не обидетесь, если я откровенно выскажу свои сомнения по поводу ваших рассуждений? Возможно, мое недостаточное понимание сущности сферического и мешает мне, но я утверждаю, что это не меняет сути дела. Я констатирую: у трилогии есть предметная тема, проходящая сквозь все ее части, если мы читаем ее как то, чем она, бесспорно, является, а именно как учебник

истории, масштабное повествование о способах бытия-в-мире на трех стадиях, или при трех модификациях, цивилизации: в эпоху охотников и собирателей, в эпоху агроимперий и в техническую эпоху. Из этих модальностей бытия-в-мире явствует, что (и почему) они радикальным образом отличаются друг от друга. Собираются ли люди внутри созданного ими самими языкового колокола вокруг палеолитического очага, идут ли они в аграрную эпоху под защиту общих стен или владеющего письменностью царственного покровителя и группирующейся вокруг него интеллектуальной элиты, живут ли они в современном государстве всеобщего благосостояния и власти масс-медиа, в котором обеспечение безопасности существования разделено между общественными службами и частным выбором верующих, — в каждом случае возникает совершенно особенное понимание *conditio humana*. Каждая из этих ситуаций обладает своим собственным профилем рисков и рождает соответствующие конструкции обеспечения безопасности, картину которых мы можем представить себе благодаря истории религии и историческому правоведению. Я хотел бы сказать, что все это, несомненно, относится к области содержательных вопросов; они составляют предмет истории картин мира или, если угодно, эмпирической онтологии. Простите, если я еще раз скажу, что постоянно узнаю здесь схему макроистории, хотя автор использует ее, сместив акценты.

Метафоры пены представляются мне плодотворными прежде всего потому, что они пространственно-аналитически отделяют друг от друга цивилизационные стадии: слабая связанность и мобильность первоначальных форм небольших сегментированных обществ теперь становятся более заметными, чем прежде, словно в древнейшую эпоху истории человечества существовали своего рода крошечные *rogue states*,* одиночные, наркотицирующие сами себя группы, всеми силами стремящиеся из-

* Бродячие государства (англ.).

бежать встречи с чужаками. За этим временем следует эпоха племен, народов и царств, основной характеристикой которых, кроме наличия четких иерархических порядков, является их умеренная плотность, — возможно, война как историческая форма столкновения *per se* представляет собой отличительный признак полуплотных межэтнических отношений. Наконец, с переходом к современности начинается эксперимент с высокоплотными конгломерациями, о котором мы можем сказать лишь то, что в антропологической матрице он выделяет совершенно иные черты, нежели все прежние формации. Современность, говоря языком автора, это эра нарастающей кофрагильности, *à la longue** она могла бы означать переход к поствоенному миру. В кофрагильных системах 60-лнее невозможно работать с такими концептами, как независимость и автономия. Там, где плотность стабилизируется, прежний общий, ориентированный на суверенитет разум с его стратегическими понятиями может быть низведен до уровня фольклора. Не исключено, что нам предстоит эпоха кооперации, которая разрушит имперскую логику и демистифицирует традиционные политические коллективы, возбужденные народы. Поскольку эти феномены разворачиваются в течение длительных периодов времени, мы вынуждены ждать решения последующих поколений. Тогда станет видно, как повлияют следующие два столетия на национальное государство и фикцию народа. Я хотел бы оставить открытым вопрос о том, справедливо ли постулировать продление действия макроисторического закона нарастающей плотности вплоть до появления суперконтекста, представляющего собой стабильную финальную пену; если бы это удалось, это было бы доказательством того, что между морфологией и исторической наукой возникают какие-то неортодоксальные отношения. Вспомним о дефиниции Ньютона, согласно которой тела тем плотнее, чем интенсивнее их инертность. Поэтому всемирная ци-

* В дальнейшем (*фр.*).

визация представляла бы собой состояние высокоинтегрированной, гиперактивной инертности. Возможно, в один прекрасный день мы будем утверждать, что плотность — это судьба.

Если бы я искал в этом труде какую-либо инновативную энергию, я увидел бы ее прежде всего в том обстоятельстве, что макроисторические стадии рассматриваются в нем с необычных, выходящих за пределы отдельных фаз точек зрения. Сколь бы ни были глубоки оба великих разрыва, как неолитический, так и индустриально-технический, тем не менее, как нам здесь демонстрируется, несмотря на все метаморфозы, сохраняются постоянно нарастающие затруднения людей, вызванные их преждевременным появлением на свет, их изнеженностью, их ювенилизацией, их хронической потребностью в иллюзиях. Повсюду заметна та привилегированная незрелость, которую в философских кругах называют открытостью миру» — я могу предположить, что под этим имеется в виду сдвиг от априорной к апостериорной регуляции. В соответствии с этим человек был бы получающим образование монстром, он — чудовище, которое учится. В этом контексте для меня обретает смысл указание, что *homo sapiens* зависит не только от биологических, но в еще большей мере от культурных иммунных систем. Я признаю: это вызывает раздраженное отчуждение, когда я обнаруживаю, что старые добрые институты, которыми мы, как теоретики культуры, занимаемся ежедневно, описаны как цивилизационные иммунные системы. Посмотрим, что будут с этим делать профессиональные корпорации.

Теолог: Я могу констатировать, что мы вновь подступаемся к монстрицие, на которую я бегло намекнул в начале нашего разговора. Едва заходит речь о человеке, как в игру вступает нечто нечеловеческое. Следует добавить, что это *cum grano salis** соответствует положению

* С некоторой иронией (лат.).

дел в моей дисциплине. В XX столетии мы изменили наши представления о Боге. Мы полагаем, что теория о нем может быть лишь неявной и косвенной, не говоря уже о том, чтобы защищать его перед лицом мирового зла на помпезном процессе. Скорее мы оправдываем нервные системы в ситуации незамкнутости мира. Это порождает не позитивную и не негативную, а ставшую бездомной теологию, если вы позволите мне это выражение. Если мы хотим оставаться современными, мы обречены на анонимность. То, что мы можем сказать, пребывает в неврологическом, коммуникативно-этическом или иммунологическом изгнании. Не будет ничего удивительного, если однажды какой-нибудь молодой автор нашего факультета поймает мяч, который был здесь брошен (указание на связь между иммунитетом и коммунизмом). В целом я признаю, что эта книга вызывает у меня приятные чувства; она уязвляет меня тем образом, который подобает мне в силу моей профессии. Я думаю, что понимаю почему: читатель христианско-постхристианского обряда не может не чувствовать себя тронутым возвращением в поле зрения пространства, ибо пространство, что было на некоторое время забыто, является местопребыванием 60-гов. Мы обращаемся к знакам пространства, как ранее обращались к знакам времени. После столетия поклонения времени воспоминание об одушевленном пространстве кажется возвращением к нашим лучшим возможностям.

Литературный критик: Я возражу, несмотря на двойной риск, во-первых, доставить себе самому редкое удовольствие быть одного мнения с богословом, во-вторых, быть еще раз обвиненным в формализме. Когда вы так быстро — я полагаю, слишком быстро — переходите к содержанию, все равно, отыскиваете ли вы его в истории культуры и картин мира или обнаруживаете в метаморфозах теологии, от вас ускользает то, что я называю работой текста; вы упускаете информацию, хранящуюся в риторических конструкциях. Если мы предположим,

что я все-таки прав в своем тезисе, что автор, прежде всего в том, посвященном глобусам, стремится воспроизвести суперлативистскую и супрематистскую форму классической философской речи (в этом месте меня прервали), то нам следовало бы рассматривать трилогию как своего рода машину для производства параллельно движущихся систем гиперболизации. Эти системы рассылают свой порыв в нескольких направлениях, причем нам никогда не становится ясно, где заканчивается наивность и начинается пародия. Сто лет назад это называли опасным мышлением. Сегодня мы можем обойтись и без таких пафосных формул, однако остается вопрос, каким образом текст может воспрепятствовать переходу собственных излишков идеологического рода в социальное пространство, ведь наш автор знает, что нужно не столько философию защищать от «общества», сколько «общество» от философии. Я нахожу ответ в литературном методе: если мы не занимаемся ни теологией, ни мировоззренческой тотализацией (а я решительно настаиваю на этом), то текст должен обуздывать свои собственные гиперболические обострения, свои порывы, свои большие жесты, пока не будет достигнуто внутреннее равновесие между маниакальными и скептическими тенденциями. Этот маневр можно описать с помощью уравнения: порыв минус спад равняется нулю — здесь можно вспомнить изречение Гераклита о том, что путь вверх и путь вниз суть одно и то же. Естественно, вместо слова «порыв» можно использовать такие выражения, как «энтузиазм», «чрезмерность» или «антигравитация»; осмысленными синонимами спада были бы «скепсис», «пародия» и «сила тяжести».

Теолог'. Примечательным образом у меня это уравнение не решается. В моем прочтении, если из «вверх» вычесть «вниз», то получится не нуль, а некий позитивный остаток. Если вы правы, то объясните мне, почему в моем чтении возникает прибавочная стоимость? Почему я чувствую радость? Откуда избыток? Не следствие ли это не-

коей проекции, что иногда раскрытые страницы погружают меня в настроение, знакомое мне по майским богородичным службам или пятидесятнической литургии?

Литературный критик: У аналитиков это соответствует правилам искусства укладывать читателя вместе с его книгой на кушетку. Обычно субъект проецирует лить в том случае, если объект предоставляет ему какую-либо отправную точку. Вам могла бы прийти по душе характерная для данного труда вычурная манера письма — в этом случае вы были бы эмоциональным соучастником автора, во всей полноте проявляющим комплексе рога изобилия. Лично я склоняюсь к предположению, что бодрый тон вовлекает вас в приятную путаницу: не может ли быть так, что то, что само по себе является новой версией веселой науки, принимается вами за радостную весть?

Теолог: При том условии, дорогой коллега, что радостная весть, со своей стороны, не позволяет себе выступать в качестве веселой науки. А если серьезно, раз обе стороны могут выбрать маскировку, то кто в состоянии понять, с какой из них он имеет дело?

Литературный критик: Поставленный таким образом вопрос неразрешим, и мы должны приветствовать его наличие из одного только либерализма. Однако, коллега, у нас возникло впечатление, что вы желали бы понять, как возникает тот позитивный остаток, который, как вы полагаете, у вас имеется. Если бы мы захотели пойти коротким путем, то ограничили бы исследование ссылкой на симпатию. Это вполне приемлемый образ действий, ведь факт симпатии — наилучшая из всех причин, она тождественна последнему обоснованию; и если заговорил о чувстве, то *causa** окончательна. Если же мы готовы продолжить исследование по ту сторону эмоционального оракула, то нам опять-таки следует заняться уже предлагавшимся мной выше описанием формы.

* Причина (лат.).

Я вновь начну с утверждения, что классический философский текст представлял собой практику суперлатива. Он был хвалебной речью, превозносившей сверхобъекты — Бога и мир; третья тема философии — душа, застрявшая между ними бедняжка, которую позднее назовут субъектом или *Dasein*, — в данный момент не должна нас интересовать. Следовательно, мы можем дать определение оптимизма как риторической формы: *de mundo Deoque nihil nisi bene*,* точнее, *nihil nisi optime*.** Первая теория — это гиперболический комплимент всему, что есть; она стремится быть чистым панегириком, хвалой бытию, хвалой совершенству. Согласно популярной точке зрения, оптимизм, к сожалению, превратно понимается как аффективная настроенность, словно достаточно обладать так называемым веселым нравом, чтобы, подобно философу старой школы, видеть все в самом радостном свете. На самом деле оптимизм настроения рождает китч, наивное в своей хитрости сокращение пути к умиротворенной картине. Ничто не может быть дальше от истинного познания, чем созерцание муляжей мирной жизни. Философский оптимизм — это жесткая дисциплина, по-человечески он невероятен, ибо осуществляет оборону наилучшего в почти невозможных ситуациях. Он желает не меньшего, чем засвидетельствовать Богу и миру совершенство в знании реальных обстоятельств.

Возьмем такую классическую ситуацию, как положение в России после октября 1917 года: красноармеец выпускает из винтовки пулю, которая могла бы попасть в мое ленивое буржуазное тело, не спрячусь я в укрытие. Но по размышлении я вынужден признать правоту пули, ведь она принадлежит истории, тогда как моя жизнь — это только бездействующая нервная система. На стороне винтовочной пули необходимость, я же принадлежу к избыточной материи, пока не пойму того, что происходит в

* О мире и Боге ничего, кроме хорошего (лат.).

** Ничего, кроме наилучшего (лат.).

величайшем масштабе. Это — реальный оптимизм, все прочее — болтовня за чаем. Следует признать, что такой тезис не обладает изначальной убедительностью. Необходимо буквально вывихнуть себя, чтобы прийти к нему. Поэтому уже античные философы призывали к жизни в постоянном упражнении. Вывих — позднее он был назван трансцендированием — нуждается в тренировке. Всё это — вещи, которые XX столетие уже не понимает, ибо его вклад в духовную историю состоял прежде всего во вторжении в теорию нетренированных. Поскольку жизнь в тренировке, именуемой *áskesis*, также по-человечески невероятна, древнейшие друзья мудрости в Греции, подобно их современникам, первым атлетам, должны были быть и друзьями усилия. Некоторые спали на голой земле, иные отвергали даже подушку. На народ это производит большое впечатление, он любит монстров, имеющих дело с невероятным. На вершине конъюнктуры мыслители вызывали восхищение как акробаты оптимизма и бесстрашно шли по канату лучшего-из-всех-возможных - миров.

Макроисторик: Здесь напрашивается комментарий с эволюционной точки зрения. Невероятность того, что вы называете философским оптимизмом, отражается, если я правильно понимаю, в невероятности ранних аграрно-монархических жизненных форм. Возможно, смысл первых высокоразвитых культур состоял в сокрытии в своих картинах мира собственной невероятности, лишь поэтому они представляются манифестациями вечных законов. Как первые великие цари должны были быть специалистами по просвещенному руководству, так и первым метафизикам надо было стать профессионалами в деле просвещенного понимания империи. В обоих случаях почти невозможное оказывается самым несомненным утверждением. Собственно, онтология в своей классической форме представляла собой своего рода универсальную картографию, и очевидно, что люди не чертят карт, если не хотят защитить ту или иную область.

Таким образом, понятия бытия и империи, в свою очередь, отражаются друг в друге. Бытие — это совокупность территорий, а империя — их администрация. Когда философы возносили хвалу наилучшему под титулами *kósmos*, *ágathon*, *óti** и т. п., то косвенным образом они превозносили империю, и эта хвала была объективным дополнением восхваления монарха, которое, как мы знаем из истории всех культур, породивших царские троны, было школой хвастовства. Суперлатив принадлежит политической кибернетике. Благодаря ему власть и ее благополучие подвешиваются на вершине бытия; смертным подобает подчинение высокому командованию, их убеждают в том, что их счастье заключено в возможности служения. Лишь с возникновением буржуазной цивилизации развивается практика дурнословия в адрес монархов и по аналогии с ней начинается приписывание дурных предикатов и существу, как его отдельным регионам, так и в целом. Едва была обретена эта свобода, как действительность превратилась в одну-единственную область бедствия. Результат известен: пробуждающийся дух современности заменяет онтологию оптимизма, которой была подчинена этика послушания, онтологией несовершенства, к которой присоединяется этика реформы или революции.

Литературный критик: Таким образом, суперлативы не выходят из употребления, они направляются по другому пути. Современные люди не рассуждают иначе, они преувеличивают иначе. Куда это ведет, мы поняли на собственном опыте. Теория XX века инвестирует в пессимистические гиперболы, она изобретает риторику наихудшего из миров и наихудшего Бога. Следствие — эпоха брюзжания. Хорошо замечено: худшее, что можно утверждать о Боге, это то, что его нет; худшее, что можно было бы сказать о мире, это то, что в нем есть шансы только у реалистов. Забывают добавить объяснение: истинное имя

* Космос, благо, сущее (*грея.*).

места, где невозможно ничто, противоречащее реальности, — преисподняя. В драматургическом смысле реалисты и дьявол — это один и тот же персонал.

Теолог: Теперь, хочешь не хочешь, передо мной стоит задача дополнить мое высказывание по поводу датировки теории сфер. Эта теория постгибридна, поскольку постпессимистична. Позитивный остаток, заставивший меня задуматься, возможно, проистекает из неожиданного отказа от пессимистических преувеличений, от которых, казалось, мы уже никогда не избавимся. И сегодня теория, которая обходится без ругани, все еще выглядит пришельцей с других планет.

Литературный критик: Я, кажется, все же испытываю запретное удовольствие быть одного мнения с представителем вашего факультета — и это самый чувствительный пункт. Описание формы ведет нас к тому месту, где становится очевидной работа гиперболы. Автор сталкивает преувеличения, пока они не нейтрализуют друг друга, что не следует путать со снятием. Зачем же нужно это удвоение преувеличений? Я вижу в нем метод изображения комплексности. Ведь комплексность — насколько это понятно — невозможно ухватить с первой попытки. Языки комплексного возникают из отказа от предшествовавшего упрощения.

В риторике известны такие фигуры отказа от упрощения, как *correctio* и оксюморон. При первой фигуре оратор перебивает себя самого, заменяя первое, менее пригодное, выражение вторым, более пригодным. Можно было бы утверждать, что вся история идей следует этому приему, — разве что исправления осуществляются в течение жизни нескольких поколений. Другая фигура вводит к тому наблюдению, что некоторые говорящие понимают, что не способны решить, хотят ли они описать какой-нибудь вкус как сладкий, но к тому же и горьковатый, или как горький, однако еще и сладковатый; в результате они спешат побыстрее проскочить вперед, извлекая из нерешительности некое самостоятельное значе-

ние, сладко-горькое, двойной вкус, двойной предикат. *Oxymoron* буквально означает: остро-тупое, жгуче-мягкое. Когда Сафо воспевает двусмысленный эрос, она использует составленный из слов *glykos* (сладкий) и *pikros* (острый, пикантный) предикат *glykypikros*, дабы сказать, что любовь на Лесбосе, как, наверное, и в других местах, является счастливым бедствием, восхитительным мучением. Из соединения противоположных качеств в одном связном высказывании развивается первая речь о составном, непростом, немонохромном. Лить с помощью таких выражений можно говорить о китайских соусах и всеобъемлющих ситуациях. Именно это со своих позиций делают зримым тома «Сфер». Они оставляют на языке вкус комплексности. В онтологическом отношении этот прием рождает речь о наилучше-наилучшем из возможных миров; в моральном отношении он продуцирует высказывания о зло-благом, в психологическом — о депрессивно-воодушевленном, в отношении эргономии жизни — о тяжело-легком. Нет необходимости указывать, что это предприятие осуществляет конверсию монотонно пессимистической науки в печально-веселую — современную форму *docta ignorantia*.* Форма оксюморона постоянно в ходу — что и требовалось доказать.

Напомню одно замечание Габриэля Тарда из его книги о подражании, которое, полагаю, *mutatis mutandis* очень хорошо подходит к тексту трилогии. В театре современности, говорит социолог, трагедия все больше и больше уступает комедии, однако комедия, постоянно выигрывая в объеме, становится все печальнее и мрачнее. Необходимость покончить со снисходительным отношением к комплексности лучше не сформулируешь. Вы сами ввели термин «постпессимизм», он предполагает отказ от одномерных негативистских преувеличений.

Макросторик: Неплохо сказано. К сожалению, я не в силах полностью принять вате понимание вещей.

* Ученое незнание (лат.).

Я охотнее вернулся бы к тому, что считаю предметным уровнем, и подчеркнул, что с моей точки зрения речь идет не столько о формах высказывания для комплексных фактов, сколько о положении вещей самом по себе, точнее, о комплексных жизненных условиях и их историческом развертывании. Сама книга, очевидно, также поддерживает это мнение, иначе было бы непонятно, зачем нужны эти рассуждения о строительстве космических станций, о теплицах, о стадионах и городских апартаментах, даже и о конгресс-центрах, — рассуждения, дополняемые, на мой вкус, весьма сомнительным путешествием по психосоциальным ландшафтам современных форм роскошной жизни. Для меня из всего этого вытекают не столько риторические, сколько моральные и цивилизационно-политические следствия.

Я полагаю, что автора можно понять так: он пытается исследовать эксперимент современности, дезинтеграцию агроимперских жизненных и мыслительных форм и ликвидацию традиционных холистических техник послушания и самоограничения в современном индивидуалистическом культе честолюбия и массовом гедонизме вплоть до его крайних следствий. Мне кажется, он хочет ответить на вопрос, который до сих пор едва ли был открыто поставлен: что мешает нам предложить описание рисков, связанных с современными способами мирозидания, не делая уступок как теориям упадка, так и теориям прогресса? В этом я опять-таки вижу нечто такое, что я называю этосом макроисторика.

Позвольте мне объяснить, что это значит. Благодаря нашим зондажам, простирающимся до эпохи охотников и собирателей, у нас имеется пример (и буквально один-единственный) того, как человечество в своем подавляющем большинстве преодолело разрыв со своим древнейшим *modus vivendi*, — перелом, который, как признает большинство наших современников, за исключением нескольких романтических скептиков и утопических натуралистов, несмотря на его печальные следствия

в виде хронических войн, эксплуатации и угнетения, имел для нашего вида значение эволюционного скачка. Нет и намека на доказательство того факта, что между природой человека и в высшей степени невероятным агрикультурно-имперским образом жизни существовала какая-либо необходимая внутренняя связь, и тем не менее многие культуры на Востоке и на Западе в течение этой эпохи развивались таким образом, что нельзя не признать: определенные слои и измерения человеческого потенциала были реализованы весьма убедительно. От понятия реализации невозможно отказаться — оно является элементом макроисторического кредо, оно выражает уважение историка к удаленным в пространстве и времени образам жизни.

Недавно мы столкнулись с тем обстоятельством, что в поле зрения оказалась вторая великая цезура, радикально изменившая ход истории, — я имею в виду индустриально-культурный и технолого-капиталистический прорыв, который замечен нам просто как *factum brutum*,* поскольку мы являемся его акторами, свидетелями и продуктами. Но что касается его оценки, мы находимся в почти невозможной ситуации. Все, что мы можем сказать о новом *modus vivendi*, несет на себе оттенок двусмысленности, поскольку в соответствии со своим положением внутри процесса мы сами являемся в высшей степени двусмысленными существами. Вплоть до глубин наших понятий и ощущений мы являемся двойными агентами, колеблющимися между агроимперскими и технико-капиталистическими структурами. В то же время мы — жители пограничья между глубинным и поверхностным понятийными мирами, первый из которых организован метафорически и созерцательно, а второй — точно и операционально. Мне представляется интересным, как автор проводит корреляцию между, с одной стороны, глубиной и имплицитным, а с другой — поверх-

* Грубый факт (лат.).

ностью и эксплицитным; в ней кроется интерпретация перехода, ориентированная не столько на материальные, сколько на логические параметры. Поэтому следует со всей определенностью понимать, что мы — переходные люди и останемся такими в обозримом будущем. В нас более или менее бессознательным образом все еще живет старая эра, мы все еще мыслим в наших фоновых категориях, таких как крестьяне, воины, короли, священники и профессора, — назовем только этих репрезентантов агроимперского персонала, которые, все без исключения, представляют собой воплощения *homo hierarchius*.* Это не более чем сказка — утверждение современных социологов, что нас в полной мере можно рассматривать как порождения новой эгалитарной эпохи; это истолкование некорректно даже для индустриальных феллахов Среднего Запада США. Все без исключения развитые языки — это «вчерашние» языки, они удерживают нас в континууме традиции, и то же самое относится и к историческим религиям. Лишь крайне редко нам удастся высказывание, уже принадлежащее настоящему, и никто не созрел для всемирной культуры будущего. Даже наши так называемые революционеры были не более чем агрессивными лунатиками, блуждавшими между эпохами. Тем не менее мы, бесспорно, также и дети переворота, гонящего нас к новым вершинам невероятного. *Climbing Mount Improbable*** было хорошим названием для того, чем мы занимаемся после того, как разразилась Индустриальная Революция, — мы взбираемся на вершины пенных гор, достигающих беспримечной высоты. Сто лет мы выбираем наших правителей в соответствии с совсем молодыми обычаями равенства, несколько десятилетий мы живем как городские полукочевники, полагаясь на парк транспортных средств, размеры которого не могут не поражать. Со вчерашнего или позавчерашнего дня наш

* Человек иерархический (лат.).

** Восхождение на гору невероятного (англ.).

мир — это мир обладателей покупательной способности и телезрителей. Если вы согласны с ницшевской характеристикой современного индивидуума, то мы — точь-в-точь последние люди, которые нашли счастье и моргают.

На стыке эпох непросто создать корректную теорию. Я убежден, такая теория была бы противоядием от обоих искушений нашего времени — реакционного и революционного. В проекте «Сферы» мне больше всего импонирует его эпическая нейтральность, его решительная нерешительность, его способность дать слово обеим сторонам. Я полагаю, что его колебания между эпохами, его неутомимое перемещение от актуальной перспективы к исторической и обратно указывают на определенный методический принцип: храня воспоминание о психокосмических сокровищницах прошлого, автор в то же время причастен к современной опустошенности внутреннего мира. Характер его повествования, по всей видимости, определяется решением сделать паузу в полемике о ходе развития цивилизации, пока у нас не появится убедительное описание нового и как такового, и в его отношении к старому.

Само собой разумеется, и современный перелом также не дает нам и тени доказательства того, что между эластичной природой человека и формирующимся ареалом жизненных форм технического мира существует какая бы то ни было необходимая внутренняя связь, однако и здесь многое говорит в пользу того, что в формирующихся обстоятельствах, так же как и в уходящих, счастливым образом вырабатывается полнота черт человеческой плазмы. Технологический прорыв привел в движение нечто, что также можно назвать реализацией. Уже есть классики модерна, уже имеются завоевания этой эпохи. Следующие столетия продолжат оба реестра.

Теолог: Но понятие реализации заставляет вспомнить и о его противоположности. Пожалуй, верно, что после технической цезуры бесчисленные человеческие

жизни, как вы говорите, реализуют себя в теплицах благосостояния, пусть даже здесь остается гораздо больше пустого и фрагментарного, чем о том знают статистические ежегодники. Однако мы согласны с предположением, что богатые общества Запада и высшие слои остальных модернизирующихся наций действительно являются ныне и будут являться в дальнейшем наиболее вероятными местами для хорошей жизни, — тем более бросается в глаза, что за пределами гигантской теплицы нередко господствуют отношения, которые можно описать как полное отрицание человеческого потенциала. Не исключено, что так было всегда и архипелаг *homo sapiens* издревле содержал своего рода проклятые зоны. Однако условия проявления неблагополучия изменились. В нашу плоть впилося жало информации. Насколько мы можем судить, сегодня три четверти человечества пока остаются лишенными возможностей, предоставляемых климатом благосостояния. Ввиду кратковременности жизни «пока» означает навсегда.

Моральные импликации этого утверждения трудно-обозримы. Они также представляют собой своего рода оксюморон, однако такой, в котором заметно преобладает горькое. Если бы человечество было, как выражаются идеалисты, субъектом высшего порядка, то можно было бы утверждать, что как целое оно провально-удачно. Но это было бы слишком утешительным. Форма оксюморона оказывается здесь несостоятельной, поскольку, пока не развилась универсальная культура равновесия, человечество отнюдь не является каким-то единым действующим лицом, которому могло бы что-то удаваться, а что-то нет. Колоссально само разделение: здесь что-то почти полностью удается, а там что-то почти полностью не удается. Удача и провал распределяются по ситуациям, которые фактически не коммуницируют друг с другом. Они образуют самую радикальную дифференцию, которую только можно себе представить, возможно, даже более радикальную, чем различие между смертью и жизнью. Пожалуй,

нечто подобное ощущают те наши современники, которые превратили успех в последнего Бога. Середины не существует. Кто здесь решится на синтез, который окажется дешевой ложью? Мы стоим перед расколом, рождающим неравные половины. В обозримом будущем шансы на удачную жизнь будут распределяться между зонами богатства и зонами бедности настолько асимметрично, что напряжение возрастет до невыносимого уровня. И тем не менее мы вновь вплотную сталкиваемся с формой оксюморона: ведь тот, кто живет на нашей стороне лимеса, может находить невыносимое очень даже приемлемым. Бедствующим по ту сторону стены нередко кажутся невыносимыми не только их собственные жизненные условия, но и мысль о том, что в каком-то недостижимом «где-то» терпимая жизнь была бы возможна. Если у XIX века был его социальный вопрос, то перед нами стоит проблема исключения. Она представляет собой постмодернистскую форму несчастного сознания.

Глядя на эту жестокую картину, мы понимаем, в чем во времена твердой веры состояла потребительская стойкость Бога, — на этот раз я выражусь, как хладнокровный функционалист. В сочинении «О ничтожности человеческого существования», вышедшем из-под пера Лотарио де Сеньи, впоследствии папы Иннокентия III, мы обнаруживаем рассуждение, разъясняющее метафизические условия равновесия между людскими судьбами. Владетельный господин, говорится в нем, находится ничуть не в лучшем положении, чем самый бедный слуга, ибо первый, как и второй, подвержен не только тягостям своего положения в этом мире, но и ужасу вечности. Здесь перед нами — тень схоластического аргумента, согласно которому различные конечные величины по отношению к бесконечному равны. Следует признать, что эта математика милостивого Бога обладает определенной утешительной ценностью. Побуждая всех рассматривать себя как почти-ничто перед лицом колоссального, она внесла свой вклад в торможение распада христианского

человечества по крайней мере на символическом уровне. Сейчас мы не располагаем такой высокой арифметикой. Мы уже не знаем, переживет ли Бог, своим появлением обязанный первому разрыву, вторую цезуру.

Макроисторик: Господа, кажется, по не известной нам в данный момент причине автор не смог выполнить своего обещания принять участие в нашей беседе. Поэтому, я полагаю, мы будем вынуждены завершить ее без него. Рискаю повториться, я, со своей стороны, отмечу, что читаю эту книгу как эмпирический этик и исследователь символического поведения, то есть именно как историк. В этом качестве я вижу, что здесь была предпринята попытка изложить историю человечества как историю пространства, точнее, как историю продуцирования и организации пространства. В этом находит свое выражение убеждение, что жесты дарования и принятия пространства являются первыми этическими актами. При чтении книги у меня возникло и окрепло подозрение, что на самом деле автор хотел написать универсальную историю щедрости, представив ее под маской феноменологии пространственных расширений. Иногда у меня возникало ощущение, что я читаю длинный параграф о категорическом императиве по Марселю Моссу, которого я как в некотором смысле одного из крестных отцов нашей дисциплины столь охотно цитирую: мы должны раскрыться и осуществить себя в дарах — как в добровольных, так и обязательных, ведь в этом нет никакого риска.

Литературный критик: Этот же самый автор в почти классической традиции различает счастье и богатство, подчеркивая, что народы, классы, семьи, индивиды могли обогащаться каждый по-своему, но быть счастливыми они способны лишь в том случае, если научились спланировать вокруг общего богатства. Как истый француз и лирический социалист Мосс затем цитирует миф о рыцарях Круглого стола и настойчиво рекомендует его своим современникам, словно этот миф столь же актуален, как и во времена Кретьена де Труа. Человечество могло бы

стать своего рода коммуной Артура, подняв искусство деления на уровень, подобающий эпохе. Вероятно, автор проекта «Сферы» не столь рыцарствен, кроме того, он, видимо, придерживается мнения, что круглых столов недостаточно.

Тем не менее круглая форма Артурова стола положила начало; она намекает, каким образом сосуществуют право индивида на свою собственную авантюру и общая честь. Сферическое появляется достаточно рано — ас ним и все прочее, что относится к этим фрагментам языка сопричастности.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К ТОМАМ I - III

- Абрамович, Марина III: 302
Август, Гай Октавиан (римский император) I: 184, 187, 188, 190; II: 58—61, 237, 313, 326, 336, 437, 440, 717, 720—722, 744, 745, 889; III: 778
Августин, Аврелий I: 25, 97, 156, 476, 492, 525, 563, 566—570, 572, 573, 582, 588, 596; II: 59, 114, 125, 142, 172, 173, 175—178, 281, 293, 294, 487, 532—534, 601, 700, 701, 740; III: 385, 480
Аврелиан, Луций Домиций II: 310, 724, 743
Аг, Луи II: 456
Агамбен, Джорджо II: 548; III: 838
Агриппа, Маркус Виспаний II: 437
Аденауэр, Конрад III: 808
Адо, Пьер II: 368
Адорно, Теодор Визенгрунд I: 501; II: 649; III: 687, 688, 713, 723
Адриан, Публий Элий (римский император) II: 60, 313, 436, 437, 439—441, 448, 724
Азе, Пьер-Гиацинт I: 245
Аквапенденте, Иероним Фабриций III: 315
Аккончи, Вито II: 50
Алакоке, Маргарета Мария I: 128
Алан Лилльский II: 422
Александр Великий I: 184; II: 63, 215, 293, 318, 407, 747
Алкивиад I: 119, 204, 206; II: 356, 397
Алкуин II: 820
Альберти, Леон Баттиста II: 191, 229, 275, 317—319, 321
Алье, Эрик III: 71, 296
Альсберг, Пауль III: 370
Альтдорфер, Альбрехт I: 122
Альфонс Кастильский II: 413
Аль-Халладж I: 587
Аменемопе II: 186—188
Аменхотеп IV, Эхнатон (египетский фараон) I: 610; II: 713, 714
Амери, Карл III: 172
Амель, Анри Фредерик II: 618
Анаксагор I: 622; II: 46, 370, 384
Анаксимандр Милетский II: 45, 384
Андерсон, Джеймс III: 349
Андесснер, Ирене I: 196, 198, 202
Андрез, Валентин II: 280
Ансельм Кентерберийский II: 595
Антоний Пий (римский император) I: 430; II: 54, 60
Антонис, Корнелис II: 288
Анхела де ла Крус III: 465
Апиан, Петер (Петр) II: 424, 817, 919

- Апиан, Филипп II: 860
 Аполлодор Дамасский II: 437, 439—441, 444, 448
 Аполлоний Родосский I: 498
 Апоний II: 701
 Аппадурай, Арджун II: 1008
 Араго, Жак-Этьенн-Виктор II: 980
 Арендт, Ханна III: 698
 Аренсберг, Уолтер и Луиза III: 189, 190
 Аристарх Самосский II: 415, 693
 Аристид, Элий II: 408
 Аристотель I: 65, 221, 347, 387; II: 51, 56, 121, 122, 191, 231, 306, 400—406, 412, 420—423, 425, 428, 467, 470, 477, 479, 481, 506, 539, 655, 999; III: 27, 80, 264, 493
 Аристипп II: 421
 Аристофан II: 370
 Армстронг, Нейл II: 824
 Аридт, Эрнст Мориц II: 322
 Арнобий II: 701
 Арнольд, Йозеф II: 989
 Арнхайм, Рудольф III: 555
 Арто, Антонен II: 127
 Архимед II: 51, 54
 Арчимбольдо, Джузеппе III: 278
 Атлан, Анри II: 285
- Баадер, Франц Ксавьер фон I: 242, 432
 Бабель, Исаак III: 160
 Бабитц, Иви I: 483
 Бадью, Ален I: 561; II: 400, 410; III: 844
 Байер, Марсель II: 709
 Байервальтес, Вернер II: 550
 Байрон, Джордж Гордон, лорд III: 732
 Балестра, Антонио II: 913
 Бальзак, Оноре де I: 245, 246; II: 140; III: 857
 Бан, Шигеру III: 574
 Барбье, Жиль III: 856
- Барнав, Антуан-Пьер III: 621
 Барт, Карл III: 244
 Бауэр, Бруно II: 927
 Башляр, Гастон I: 98, 99, 425; II: 24, 361, 615; III: 406, 407, 543, 559
 Беккет, Сэмюэл I: 561; II: 191, 324
 Белл, Дэниэл III: 690
 Бельтинг, Ганс II: 58
 Бёме, Гернот II: 140
 Бёме, Хартмут III: 473
 Бёме, Якоб I: 129, 230; II: 681
 Бенда, Жюльен III: 768
 Бенедикт VIII (папа) II: 755
 Бенедикт XIV (папа) II: 583
 Бенедикт Нурсийский III: 480
 Бензе, Макс II: 7, 35, 38, 41, 264, 564
 Бенсайд, Даниэль III: 844
 Бен-Хорин, Шалом II: 286, 779, 780, 782
 Беньямин, Вальтер I: 196; II: 344, 459; III: 178, 348, 550, 638, 680, 708, 795
 Бергандер, Гётц III: 134
 Бергасс, Николас I: 232, 244
 Бергер, Джон I: 280
 Бёрд, Уолтер III: 477, 756, 757
 Беринг, Эмиль фон III: 201
 Бёрк, Эдмунд II: 928; III: 489
 Бернар Клервоский III: 480
 Бернарден де Сен-Пьер, Жак-Анри III: 311
 Бернардино де Соуза Перейра III: 728
 Бернини, Лоренцо I: 577
 Бернхард, Томас III: 871
 Бёрч, Хэл III: 251
 Берц, Петер III: 579
 Беттельхайм, Бруно I: 455
 Бехайм, Мартин II: 814, 817, 828, 834
 Биант Приенский II: 15
 Бибер, Э. О. II: 382
 Бижль, Гийом III: 141, 575
 Биркас, Акос II: 513
 Бирнбаум, Уриэль II: 303

- Блох, Эрнст I: 330, 637, 638; II: 304, 884; III: 32, 54, 552, 557, 788, 789
- Блум, Гарольд I: 390
- Блюменберг, Ханс II: 246
- Бовилус, Каролус II: 84
- Бодлер, Шарль III: 599
- Бойс, Йозеф I: 459; II: 163; III: 395, 408, 409, 672, 746, 827
- Бойс, Чарльз Вернон I: 76; III: 43
- Боккаччо, Джованни I: 104, 152
- Болдуин, Томас III: 125
- Болль, Франц II: 54
- Больк, Лодевиг (Луи) III: 714
- Больнов, Отто Фридрих II: 140, 141; III: 524
- Больц, Норберт II: 223; III: 840
- Бомбардони II: 345
- Бонаventura (Джованни Фиданца) II: 128
- Бонифаций, св. I: 417
- Бонифаций IV (епископ) II: 454
- Бонифаций VIII (епископ) II: 795—797, 799
- Бонк, Зигмунд III: 244
- Боран, Майкл III: 19
- Борн, Бертран де II: 633
- Борхардт, Рудольф III: 739
- Босх, Иероним I: 45, 80, 339
- Ботсхюйвер, Тео III: 479
- Боттичелли, Сандро III: 34, 35
- Боттичини, Франческо II: 524
- Боулби, Джон III: 391, 392, 782
- Бозций, Анций Манлий Северин II: 863
- Бразза, Саворньян де II: 955
- Браманте, Донато II: 445
- Брасс, Эд III: 353
- Бреаль, Мишель III: 643
- Брендель, Отто II: 24, 25
- Брентано, Клеменс фон I: 252
- Бретон, Андре III: 157, 160, 817
- Бри, Теодор де II: 227, 866
- Брок, Безон III: 30, 150, 422, 427, 431, 735, 830
- Брокес, Бартольд Генрих II: 836
- Броуэр, Стивен III: 556
- Брох, Герман II: 140; III: 95, 180—187, 189, 243, 506, 592
- Брукнер, Паскаль III: 704
- Брунеллески, Филиппо II: 445, 607
- Бруно, Джордано I: 16, 126, 225, 227, 228; II: 487, 495, 540, 554, 584, 588, 593, 818, 853, 902—904; III: 244
- Брут, Марк Юний III: 633
- Брэндом, Роберт III: 207
- Буассарк, Жан-Жак I: 296
- Бубер, Мартин I: 575; II: 778; III: 469
- Бугенвиль, Луи Антуан де II: 980
- Будда, Гаутама Сиддхартха I: 178, 183, 184; III: 438
- Булле, Этьенн Луи III: 617, 619, 634, 645
- Бурдые, Пьер III: 820
- Буржуа, Луиза III: 881
- Буркхардт, Якоб II: 316, 320
- Буфф, Шарлотта III: 748
- Буххайм, Томас II: 82
- Бэкон, Фрэнсис I: 135, 137; II: 358, 863, 894—896; III: 437, 709, 728, 803
- Бэкон, Фрэнсис (художник) I: 196, 199
- Вайбель, Петер III: 337
- Вайнз, Джеймс III: 668
- Вайль, Симона III: 739
- Вайнингер, Андреас II: 81
- Вайнстайн, Джошуа III: 668
- Вайпрехт, Карл II: 940
- Вайцзеккер, Карл Фридрих фон III: 141
- Валери, Поль III: 82, 189, 531, 537—540, 594
- Вальдземюллер, Мартин II: 817, 932, 937
- Вальзер, Мартин III: 401
- Вальмики, Махарши III: 40
- Вар, Публий Квинтилий II: 702
- Варбург, Аби II: 57

- Варий Авит Бассиан (Гелиогабал)
 (римский император) II: 724
 Варрон, Марк Теренций II: 317,
 901; III: 513
 Варфоломей Англичанин II: 218
 Василий Кесарийский I: 620
 Ватто, Жан Антуан III: 811
 Вашингтон, Джордж I: 232
 Вебер, Альфред III: 685
 Вебер, Макс I: 526; II: 223, 688;
 III: 230
 Веблен, Торстейн III: 701
 Вёгелин, Эрик II: 995—997; III:
 831
 Ведекинд, Франк III: 875
 Ведеполь, Эдгар III: 554
 Веджвуд, Джозайя III: 816
 Везалий, Андреа III: 65, 66, 68
 Вейден, Рогир ван дер I: 590
 Вейнингер, Отто III: 875
 Веласкес, Диего Родригес де Силь-
 ва I: 199; II: 835
 Вергилий II: 292, 440, 605, 608,
 631, 634, 657, 707; III: 778
 Верделе III: 865
 Вермеер Дельфтский, Ян II:
 972
 Верн, Жюль II: 259, 841, 842,
 844, 845, 847, 902
 Вернан, Жан-Пьер II: 379
 Веспасиан, Тит Флавий (римский
 император) II: 313, 723
 Веспуччи, Америго II: 932
 Визман, Ариэль III: 603
 Вико, Джамбаттиста II: 777
 Вилс, Ян III: 646
 Вильбранд, Йозеф I: 243
 Вильгельм II III: 87
 Вильгельм V Баварский II: 336
 Винчи, Леонардо да I: 62, 469;
 III: 43
 Вирбель, Петер III: 830
 Вирхов, Рудольф III: 582
 Витгенштейн, Людвиг III: 26,
 150, 475, 481
 Вителлий, Авл (римский импера-
 тор) III: 865
 Витория, Франсиско де II: 918
 Витрувий Поллион II: 225,
 227—229, 238, 1015
 Вици, Бела I: 94
 Водуайе, Леон II: 380; III: 617
 Волков, Владислав Николаевич
 III: 328
 Вольней, Константен Франсуа
 де III: 816
 Вольтер (Франсуа Аруэ) III: 728
 Вольфарт, Карл Кристиан I:
 233, 234, 236, 243, 260—262
 Вудворд, Джозайя III: 13
 Вулф, Альфред Р. III: 179
 Вурмен, Ричард Сол III: 26
 Гайзер, Конрад II: 25
 Галилей, Галилео II: 593
 Гама, Васко да II: 886, 922, 942
 Ганди, Мохандас Карамчанд
 «Махатма» III: 16
 Ганнибал II: 310
 Гарвей, Уильям I: 123, 132,
 334—337
 Гарденберг, Карл Август I: 243
 Гарнак, Адольф фон I: 606
 Гартман, Эдуард фон I: 334; III:
 163
 Гауф, Вильгельм I: 132
 Гваттари, Феликс I: 169, 172,
 173, 175, 178—180; II: 262;
 III: 300, 596, 614, 699
 Гверчино (Джованни Франческо
 Барбьери) I: 602
 Гвидо из Виведжано I: 410
 Геббельс, Йозеф III: 121
 Гебироль, Соломон бен II: 484
 Гегель, Георг Вильгельм Фрид-
 рих I: 54, 210, 243, 254, 457,
 529, 603, 635; II: 18, 97, 235,
 305, 322, 360, 385, 407, 423,
 447, 558, 673, 788, 820, 841;
 III: 90, 155, 241, 372, 378,
 392, 433, 438, 469, 474, 496,
 503, 504, 551, 573, 589, 602,
 639, 707, 725, 731, 732, 745,
 876
 Гейне, Генрих II: 1007

- Гейтс, Билл III: 571, 572
Гелен, Арнольд III: 28, 219, 256, 375, 413, 485, 486, 490, 497, 713—717, 719—723, 737, 745, 753, 771, 779
Гелиогабал. См. Варий, Авит Басиан
Гельдерлин, Фридрих I: 259; И: 209, 806; III: 525
Генрих II Святой И: 7.55, 756
Генрих III И: 756
Генрих VII И: 798
Георге, Стефан I: 271
Гераклид Понтийский II: 25
Гераклит Эфесский III: 24, 83, 227, 433, 438, 888
Гер дер, Иоганн Готфрид фон И: 273, 322, 898; III: 59, 123, 172, 202, 716, 719
Герлэн, Жак III: 867
Гермес Трисмегист I: 585; И: 540
Геродот II: 277, 297
Гесиод II: 55; III: 35, 37, 40
Гёте, Иоганн Вольфганг фон I: 78, 127, 181, 218, 231, 473; И: 36, 39, 418, 673, 900; III: 25, 108, 232, 438, 507
Гиббонс, Дженифер и Джунифер I: 454
Гилл, Майкл III: 758
Гильберт, Уильям I: 230
Гильен, Хорхе И: 436
Гильотен, Жозеф Игнас III: 618
Гиммлер, Генрих III: 122
Гитлер, Адольф И: 459, 762; III: 16, 87, 97, 119, 120, 531, 647, 650, 652, 653, 656, 658
Глюк, Кристоф Виллибальд I: 352
Гоббс, Томас И: 739; III: 266, 271—273
Годвин, Малькольм I: 415
Гозе, Штефан III: 306
Гойя, Франсиско Хосе де I: 240
Гольц, Доротея III: 760
Гомер I: 497, 498, 500, 501, 503, 505, 512, 524; II: 55, 214, 306
Гораций (Квинт Гораций Флакк) И: 59, 997; III: 232, 778
Гота, Грумбах цу I: 136
Гофман, Эрнст Теодор Амадей I: 269, 270
Гошманн, Петер III: 661
Грабер, Густав Ганс I: 256
Грак, Жюльен И: 457
Грамши, Антонио III: 696
Гранвиль Изидор Жерар I: 247
Грант, Эдвард И: 415
Гратцер, Анита I: 532
Гретер, Рейнгольд, II: 410
Григорий I Великий (папа) II: 801, 802
Григорий VII (папа) И: 756, 758
Григорий XIII (папа) II: 53
Григорий Нисский I: 620
Гройс, Борис II: 87; III: 532, 534, 537, 830
Гроссетест, Роберт II: 912
Гроф, Станислав I: 354
Грунбергер, Бела I: 218, 358—361, 363, 371; II: 207; III: 301
Грюн, Виктор III: 180
Грюнбайн, Дуре III: 534
Грюндер, Карлфрид II: 872
Грюневальд, Маттиас I: 444; II: 492
Гук, Роберт III: 583, 585
Гумбольдт, Александр фон II: 815—818, 820—822, 824, 980
Гумбольдт, Вильгельм фон I: 243
Гундольф, Фридрих I: 271
Гусмао, Бартоломео Лоренцо де III: 728
Гуссерль, Эдмунд И: 247, 342, 897; III: 30, 223, 470, 531, 583
Гэй, Джон II: 582
Гэлбрайт, Джон Кеннет III: 683, 692, 696
Гюйс, Франс II: 958
Гюнтер, Готхард I: 36; III: 707
Давкинс, Ричард II: 99
Д'Аламбер, Жан Лерон III: 219

- Дали, Сальвадор I: 217; III: 151, 152, 156—158, 164, 165, 179
- Данте, Алигьери I: 67, 474; II: 179, 421, 479, 481, 482, 502, 595, 599, 600, 602, 604—606, 608, 609, 611—613, 622, 627—629, 631, 633, 641, 645, 651, 654, 656—659, 665, 740, 806, 818
- Дантон, Жорж III: 633
- Дарвин, Чарльз I: 175; II: 822, 717, 980
- Дарий (персидский царь) II: 716
- Дариль, Филипп III: 632
- д'Асколи, Чеко II: 472
- Дебор, Ги III: 671, 676
- Девлин, Люсинда III: 115, 118
- Декарт, Рене I: 347; II: 593, 894
- Делёз, Жиль I: 88, 139, 169, 172, 173, 175, 178—180, 557; II: 38, 89, 262, 410, 548, 557; III: 82, 269, 300, 310, 361, 596, 614, 699, 701
- Де Маши III: 626
- Демулен, Камилл III: 620
- Дени, Жан-Батист I: 134
- Деррида, Жак II: 327, 376, 410, 706
- Дефо, Даниэль II: 870, 954, III: 309
- Джеймс, Генри I: 434
- Джеймс, Уильям I: 278; III: 195
- Джемелли Карери, Джованни Франческо II: 844, 845
- Дженкс, Чарльз III: 588
- Джерасси, Карл III: 872
- Джефферсон, Томас I: 417; II: 948; III: 416, 492
- Джотто ди Бондоне I: 148—157, 159, 193
- Диана, принцесса Уэльская II: 465, 773; III: 859
- Диггес, Томас I: 19; III: 554, 593, 817
- Дидро, Дени III: 17
- Диллер, Элизабет (Лиз) III: 680, 681
- Дим, Карл III: 646
- Дин, Грант III: 49
- Диоген Лаэртский II: 7, 26
- Диоген Синопский II: 361, 423, 585
- Диодор III: 341
- Диоклетиан, Гай Аврелий Валерий (римский император) II: 724, 743, 747, 748, 754; III: 439
- Дисней, Уолт III: 756
- Добровольский, Георгий Тимофеевич III: 328
- Додсон, Бетти III: 610
- Дойблер, Теодор I: 464
- Долендо, Бартоломеус II: 335
- Долто, Франсуаза I: 401, 403, 405, 407
- Доминик, св. III: 480
- Домициан, Тит Флавий (римский император) II: 715, 719, 743
- Донн, Джон III: 240
- Доре, Гюстав II: 483, 485, 486, 488, 603, 604, 622, 624, 638, 642, 729
- Достоевский, Федор Михайлович I: 485, 487—490, 562; II: 265; III: 723, 849
- Драгсет, Ингар III: 828
- Дрейк, Фрэнсис II: 837
- Дюмон, Луи II: 208
- Дюпре, Дитлинд и Вильгельм I: 594
- Дюпон, Пьер II: 185
- Дюрер, Альбрехт I: 168; II: 48, 956, 958, 974
- Дюркгейм, Эмиль III: 250
- Дюрр, Ганс Петер I: 282, 293
- Дюшан, Марсель I: 483; III: 188—190, 193
- Евгений, Флавий II: 234
- Евдокс Книдский II: 411
- Еврипид I: 206; II: 361
- Евсейий Кесарийский II: 727, 751

Екатерина Сиенская I: 103, 110—111, 113—114, 116—117

Елизавета I II: 53

Епископ Гиппонский. См. Августин, Аврелий

Жане, Пьер I: 278

Жан-Поль (Иоганн Пауль Фридрих Риттер) I: 514; II: 487, 939; III: 730

Жерико, Теодор II: 886, 887

Жером, Жан Леон II: 331

Жижек Славой III: 53

Жиран, Рене I: 228; II: 182, 183, 185; III: 250, 415, 468

Жомини, Валери III: 529

Жуан III II: 871

Зайонц, Артур II: 501, 551

Зельдмайр, Ханс (Ганс) II: 477, 556

Земпер, Готфрид III: 583

Зенгхаас, Дитер III: 822

Зенон Элейский III: 431

Зиммель, Георг II: 212; III: 250, 294—296, 301, 306—307, 311, 342, 557, 674

Зойме, Иоганн Готфрид II: 980

Зомбарт, Вернер III: 814

Иисус Христос I: 153, 159, 166, 190, 319, 450, 451, 488, 491, 605, 640; II: 686, 687, 693, 694, 702, 741, 767—769; III: 438, 462, 797

Икскуль, Якоб фон III: 191, 246, 248

Иллич, Иван II: 344

Иннокентий III (Лотарио де Сеньи) (папа) I: 639, 640; II: 759; III: 900

Иоанн, апостол III: 797

Иоанн Баварский, герцог I: 599

Иоанн Дамаскин I: 614, 622, 624, 641, 647, 649

Иоанн Павел I (папа) I: 804

Иоанн Павел II (папа) II: 582, 777, 804, 977; III: 465

Ир, Лоран де ля II: 908

Иригарай, Люс III: 175

Ириней Лионский III: 797

Исодзаки, Арата III: 300

Иуда I: 153—158; II: 639, 640, 740

Йерде, Ион III: 679

Йетелова, Магдалена III: 142

Йон, Джи III: 113

Йонг, Эрика III: 53

Йохансен, Джон III: 824

Кабаков, Илья III: 531—534, 537, 542, 830, 831, 834

Кадзантакис, Никое I: 511

Кайзерлинг, Герман, граф II: 846, 847

Калигула, Гай Юлий (римский император) II: 719, 744, 746

Калло, Жак II: 976

Камбиз (персидский царь) II: 716

Камонс, Луис де II: 922

Канетти, Элиас III: 117, 180, 181, 183, 184, 226, 506, 598, 614, 635, 636

Кант, Йммануил I: 241, 432, 632, 650; II: 821, 899, 900, 953; III: 449, 489, 494, 495, 733

Капур, Анит II: 1009

Капурро, Рафаэль I: 486

Карл IV II: 53

Карл V II: 470, 855, 856, 860, 870, 871

Карл Великий I: 417, 436; II: 753—755

Карлейль, Томас III: 686, 687

Карреньо де Миранда, Хуан I: 607

Картер, Джимми III: 179

Карус, Карло Густав I: 230; III: 163, 201

- Касем, Мехди Белхадж III: 871
 Каснер, Рудольф I: 155, 180
 Кассий Дион II: 441
 Кафка, Франц I: 53, 225, 368, 424; II: 655, 793
 Кафкалдес, Атанасиос I: 256
 Кейс, Джон II: 580
 Кеммер, Ганс II: 533
 Кёниг, Рене III: 811
 Кеплер, Иоганн I: 16; II: 117, 411, 486
 Кернер, Юстинус I: 252
 Кертес, Имре III: 838
 Керуак, Джек III: 566
 Кёстлер, Артур II: 414
 Кёстнер, Эрих III: 185
 Кизер, Дитрих Георг фон I: 243
 Кинтинье, Жан де ла III: 343
 Киплинг, Редьярд II: 982
 Киппенбергер, Мартин III: 851
 Киприан, Фасций Цецилий II: 700
 Кирхер, Афанасий I: 230; II: 290, 497, 875, 897
 Китасато, Шибасабура III: 201
 Киттлер, Фридрих II: 766
 Клавдий (римский император) II: 313
 Клас, Питер II: 906
 Клаузнер, Йозеф II: 778
 Клауке, Юрген II: 124, 893
 Клеве, Йоос ван I: 163
 Клее, Пауль II: 549
 Клеобул Линдский II: 15
 Климент V (папа) II: 797
 Клоотс, Анархарсис III: 289
 Клотц, Генрих II: 5, 463
 Клэссенс, Дитер II: 199, 360; III: 150, 370, 765
 Кляйн, Мелани I: 95
 Ковальски, Петр III: 879
 Когельник, Кики I: 209
 Коген, Герман III: 844
 Когут, Павел I: 223
 Кожев, Александр II: 38, 87, 88
 Койре, Александр I: 19; II: 137, 416, 554
 Кокс, Донна III: 250
 Колумб, Христофор I: 22; II: 108, 110, 824, 837, 838, 840, 848, 850, 854, 870, 872—874, 885, 889, 900, 913, 916, 917, 920, 921, 929—931, 933, 949, 950, 955, 986, 995; III: 212, 213, 239
 Кольманн, Юлиус III: 371, 714
 Кольбер, Жан-Батист II: 64; III: 816
 Конрад фон Вюрцбург I: 103—104, 106; II: 531
 Конрад, Джон II: 663, 665, 666
 Конрад, Дьёрдь III: 769
 Константин (Ньювенхёйс, Константин Антон) III: 667, 669, 671—675, 677, 678
 Константин I Великий II: 38, 233, 726—728, 751, 760
 Константины, Умберто III: 646
 Конфуций I: 317, II: 315; III: 438
 Коперник, Николай I: 16; II: 49, 411, 418, 554, 584, 586, 588, 808, 853
 Корбен, Анри I: 161, 584
 Корбетт, Харви III: 561
 Корде, Шарлотта III: 621
 Корефф, Иоганн Фердинанд I: 243
 Корнелл, Джозеф II: 355
 Корнманн, Вильгельм I: 232
 Коронелли, Винченцо II: 832
 Кох, Михаэль II: 108
 Кох, Роберт III: 192, 201, 213
 Кракауэр, Зигфрид III: 420
 Кранах, Лукас II: 121
 Кратег из Маллы II: 54
 Краус, Карл III: 186
 Кревель, Рене III: 305
 Креймер, Стюарт III: 179
 Кривелли, Карло I: 445
 Крикалев, Сергей Константинович III: 327, 332
 Кристева, Юлия I: 545
 Кришнамурти, Джидду I: 432
 Крукенберг, Петер I: 243
 Ксенофан III: 70
 Ксеркс II: 716

- Куазеву, Антуан II: 735
 Кубертен, Пьер де III: 641, 642
 Кубин, Альфред I: 269
 Кук, Джеймс II: 855
 Кулиано, Иоан I: 126
 Кунктатор, Фабий III: 423
 Кунрат, Генрих II: 333
 Куонг Ки, Тиом III: 113
 Купка, Франтишек III: 297
 Куракава, Кисё III: 580, 582
 Курциус, Людвиг III: 641
 Кусама, Яёи III: 600
 Куэ, Эмиль I: 241
 Кьеркегор, Сёрен II: 670, 673, 677, 682, 685, 698, 699, 706; III: 431
 Кюн, Ганс II: 998
 Кюри, Мари III: 213
- Лаборде-Нотгале, Элизабет I: 278
 Лакан, Жак I: 223, 459, 482—484, 508, 548—553; II: 159, 753, 784; III: 157, 430
 Лактанций, Луций Целий Фирмиан II: 700
 Ламетри, Жюльен Офре де I: 103, 133, 135, 137—140
 Лангбен, Юлиус II: 322
 Ландсберг, Геррад фон II: 865
 Лао-цзы I: 313—318; III: 438
 Латур, Брюно III: 19, 71, 209, 216, 217, 219, 220, 445, 500
 Лаудон, Джон Клодиус III: 349—350
 Лафайетт, Мари Жозеф Мотье, маркиз де I: 232; III: 626
 Лафатер, Иоганн Каспар I: 171, 180—182
 Лафито, Жозеф-Франсуа II: 242
 Лафонтен, Оскар II: 999
 Лев III (папа) II: 753
 Лев VII (папа) II: 762
 Левенгук, Антоний ван I: 337
 Леви, Пьер III: 59
 Левинас, Эммануэль I: 46, 153, 224; II: 410; III: 464, 603
 Леви-Стросс, Клод II: 238
- Ле Гофф, Жак II: 628
 Леду, Клод-Николя-Луи II: 381, 478; III: 617
 Лежандр, Пьер III: 413, 479
 Лей, Роберт III: 654
 Лейбниц, Готфрид Вильгельм I: 41; II: 540; III: 11
 Лейк, Гвендолин II: 298
 Ле Корбюзье II: 390; III: 60, 549, 554, 558, 560, 563, 574, 582, 587, 598, 675
 Леонидов, Иван III: 558
 Леопольд II Бельгийский II: 746, 920, 955
 Лепик, Оливье III: 85
 Лернер, Жан-Пьер II: 122, 415
 Леруа-Гуран, Андре I: 177
 Лесневская, графиня I: 252
 Лессинг, Готхольд Эфраим I: 452; II: 765
 Лессинг, Теодор III: 739
 Лёффельхардт, Питт II: 647
 Ли, Марк III: 323
 Либескинд, Даниель II: 130
 Ливий, Тит III: 284
 Ликет, Фортуний I: 340
 Линдберг, Чарльз II: 854
 Лиотар, Жан-Франсуа II: 410
 Лойола, Игнатий I: 601; III: 480
 Локк, Джон III: 266
 Ломмель III: 97
 Лоренцетти, Амброджо I: 158—160
 Лотарио де Сеньи. См. Иннокентий III (папа)
 Лоуренс, Дэвид Герберт III: 551
 Лукреций III: 26
 Луллий Майнцкий I: 417
 Луман, Никлас II: 626, 739; III: 250, 254, 295, 504, 713, 749—751, 825, 844
 Лунди, Виктор III: 477, 758
 Лэйнг, Рональд I: 321—327
 Лэндис, Дэвид III: 573
 Людовик XIV II: 64, 732, 735, 763; III: 343
 Людовик XV II: 457

- Людовик XVI I: 266; III: 617, 622, 730
 Люзак, Али I: 133
 Люксенберг, Кристоф III: 800
 Люсид, Шеннон III: 325
 Лютер, Мартин I: 411; II: 266, 271
 Ляйбфрид, Штефан III: 695
 Ляйзеринг, Лутц III: 695
- Магеллан, Фернан I: 22; II: 49, 830, 831, 837, 838, 850, 855, 856, 861, 885, 895, 949; III: 67, 239
 Магритт, Рене I: 378—383, 411
 Мазаччо I: 48
 Майер, Михаэль II: 101
 Маймонид (Моте бен Маймон) III: 795, 796
 Майстер Экхарт I: 483; II: 128, 540, 544, 552
 Макиавелли, Никола II: 863; III: 193
 Маккензи, Джордж III: 349
 Маклюэн, Маршалл I: 645; II: 741, 1003; III: 17, 18, 158, 167, 381—383, 548
 Мак-Нил, Уильям III: 418
 Максенций, Марк Аврелий Валерий (римский император) II: 728
 Малевич, Казимир I: 329, 356; III: 162
 Мальбрант, Никола I: 529—531; II: 590, 591
 Мальтус, Томас Роберт II: 867, 868; III: 686
 Мандевиль, Бернард де III: 812
 Мандельштам, Осип II: 606
 Мани I: 447—451; II: 533
 Манке, Дитрих II: 544
 Мани, Томас I: 308; III: 95, 857
 Мансфельд, Яаап II: 74, 82
 Мантеньи, Андреа II: 957
 Мануэл I II: 922, 924
 Мао Цзэдун II: 314; III: 473
- Марат, Жан-Поль III: 621, 628, 629
 Марк Аврелий, Антонин (римский император) II: 60, 61, 64, 466, 746, 761; III: 283
 Марк Антоний I: 187, 190; II: 745
 Маркс, Карл II: 72, 890; III: 250, 400, 497, 588, 589, 591, 613, 649, 869
 Маркузе, Герберт III: 698, 739, 868
 Марсупини, Кристофоро I: 119
 Мартинец, Дитер III: 85
 Марх, Вернер III: 646, 647, 650
 Марцелл, Марк Клавдий III: 50
 Мастер из Мескирха II: 105
 Матфей, евангелист II: 685
 Махо, Томас I: 166, 172, 177, 180, 183, 292, 300, 303—305, 308, 309, 311, 396, 406, 432, 481
 Маццароний, Марк Антоний II: 801
 Мачука, Варгас II: 945
 Медичи, Козимо I: 118
 Меланхтон, Филипп II: 418
 Мелвилл, Герман I: 487; II: 357, 614, 664, 854, 855, 881, 921, 946, 947, 952, 961
 Мемлинг, Ганс II: 752
 Мергелер, Анна II: 876, 877
 Меркатор, Герард II: 817, 860
 Меркатор, Михаэль II: 817, 839, 933
 Меркатор, Румольд II: 934
 Мерло-Понти, Морис II: 941
 Месмер, Франц Антон I: 127, 230—235, 237, 239, 240, 243, 246, 247, 249, 251, 265, 266, 268, 418, 420, 422, 423; III: 201
 Метро, Альфред II: 923
 Мехтхильда Магдебургская II: 537
 Меценат, Гай Цильний III: 778
 Мечников, Илья Ильич III: 201
 Мид, Ричард I: 231

- Микеланджело II: 445
 Милецки, Джо III: 814
 Миллер, Хью II: 199
 Миллее, Джон Эверетт I: 12
 Милль, Джон Стюарт III: 686
 Мильтон, Джон I: 474
 Минарди, Томазо III: 593
 Мишо, Анри I: 212, 492; II: 806
 Моисей I: 41; II: 253, 296, 540, 680
 Молина-Пантин, Луис III: 536
 Молотов, Вячеслав Михайлович II: 991
 Монгольфье, Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн III: 730
 Монтень, Мишель Эйкем де II: 343, 863
 Мопассан, Ги де I: 435; III: 447
 Мор, Генри II: 590, 591
 Мор, Томас III: 374
 Мордак, Жан-Жюль Анри III: 85—87
 Морель д'Арлё, Луи-Жан-Мари I: 179
 Мориц Оранский III: 420
 Мосс, Марсель III: 706, 880, 901
 Мост, Йоганн III: 91
 Моцарт Вольфганг Амадей II: 746
 Музиль, Роберт I: 468, 470, 471, 554; III: 707
 Мурака, Ютака III: 484
 Мурильо, Бартоломе Эстебан II: 49
 Мурхард, Фридрих Вильгельм Август I: 235
 Муссолини, Бенито III: 650, 738
 Мэйн, Том III: 52, 253
 Мэтер, Коттон II: 951
 Мюллер, Клаус II: 198
 Мюллер, Кристиа II: 198, 999
 Мюльманн, Хайнер I: 58; II: 195, 278, 994; III: 30, 80, 150, 268, 307, 422, 424, 425, 427, 735, 768, 830
 Набоков, Владимир I: 462, 464—466
 Найт, Томас III: 349
 Наполеон Бонапарт I: 270; II: 277, 436, 673, 762, 802; III: 241, 429, 588, 627
 Нассе, Кристиан Фридрих I: 243
 Негри, Антонио III: 614, 841, 844
 Нейер, Андре II: 285
 Некк, Ян ван III: 394
 Нери, Филиппо I: 127—128
 Нерон, Клавдий Цезарь Друз Германи (римский император) II: 719, 723, 743, 745, 746, 748
 Нефертити II: 714
 Николай Кузанский I: 63, 565, 588, 589, 591—596, 599—602, 617; II: 41, 116, 117, 128, 289, 468, 471, 473, 476, 495, 540, 563—579, 615; III: 72
 Нильсон, Леннарт II: 88, 93, 330, 490, 903
 Нитхаммер, Фридрих Иммануил III: 241
 Ницше, Фридрих I: 20, 238, 260, 279, 295, 485, 488, 489, 491; II: 5, 38, 63, 90, 115, 189, 339, 350, 351, 466, 475, 510, 557, 560, 584, 585, 589, 593, 626, 778, 868, 901, 902, 905, 941, 1013; III: 30, 124, 201, 203, 204, 237, 325, 385, 402, 412, 414, 415, 431, 438, 439, 458, 469, 476, 490, 547, 548, 697, 701, 703, 714, 731, 740, 779
 Новалис (Гарденберг, Фридрих фон) II: 563, 792; III: 307, 407, 733
 Нойманн, Эрих I: 291
 Норманд, Карл Петер Йозеф II: 380
 Нуссбаум, Марта II: 999
 Ньювенхёйс, Констант Антон. См. Констант
 Ньютон, Исаак I: 230, 231; III: 320, 438, 885

- Овидий, Публий Назон I: 204
 Овьедо, Фернандес де II: 855
 Ойдес, Иоганнес I: 128, 130
 Октавиан. См. Август, Гай Октавиан
 Олброу, Мартин II: 990, 1011
 Олдрин, Эдвин II: 824
 Орем, Николай II: 470
 Оримото, Тацуми III: 525
 Отгон I Великий I: 437
 Отгон III (император)· II: 755 -
- Павел, апостол II: 292, 677, 680, 683* 685, 692 —696, 701—703, 775, 778—784; III: 233, 461
 Павел VI (папа) II: 804
 Пайер, Юлиус фон II: 940
 Пайнтнер, Макс III: 681
 Панкоуст, Уильям I: 463
 Паолини, Джулио II: 981
 Паран, Жан-Люк III: 31, 615
 Парацельс (Гогенхайм, Филипп Ауреол Теофраст фон) I: 230
 Паркинсон, Джон и Дональд III: 644, 646
 Парменид I: 63; II: 9, 44, 79, 80, 83, 90, 92, 94, 122, 384, 526; III: 839
 Паррено, Филипп III: 255
 Парсонс, Толкотт III: 477
 Паскаль, Блез I: 19; II: 363
 Пастер, Луи III: 192, 209, 212, 213, 216
 Паттерсон, Роберт III: 250
 Пацаев, Виктор Иванович III: 328
 Пеги, Шарль III: 430, 844
 Педру II II: 922
 Периандр Коринфский II: 15
 Перпетуа, св. II: 705
 Петерс, Карл II: 920, 938
 Петерсон, Макс III: 85
 Петерсон, Эрик II: 687, 691
 Петр, св. I: 441; II: 254, 683, 701—703, 753
- Пиано, Ренцо III: 173, 659, 660, 663
 Пигафетта, Антонио II: 850, 855, 885
 Пий IV (папа) II: 802
 Пикар, Макс I: 180
 Пикассо, Пабло III: 156
 Пинеус, Дженни III: 55
 Пиранези, Джованни Баттиста II: 51, 80, 329
 Пирс, Питер III: 355
 Писарро, Франсиско II: 955
 Питтак Митиленский II: 15
 Пифагор II: 526; III: 438
 Плат, Сильвия III: 761
 Плато, Жозеф Антуан Фердинанд III: 43, 44
 Платон I: 50, 65, 118—119, 144—148, 214—216, 218, 524, 533, 610; II: 12, 24, 31, 43, 45, 56, 63, 89, 115, 118, 122, 138, 354, 358, 359, 368, 370, 372—374, 377—379, 384, 386, 387, 389, 390, 392—395, 399—402, 404, 405, 411, 412, 425, 426, 429, 438, 444, 467, 481, 484, 505—508, 511, 512, 516, 517, 526, 527, 540, 662, 680, 731, 778; III: 25, 221, 235, 239, 265, 267, 282, 284, 286, 380, 385, 389, 397, 420, 438, 439, 460, 461
 Плеснер, Хельмут III: 204, 706
 Плотин II: 481, 495, 501, 505, 516, 518, 540, 572, 711, 713, 730; III: 11
 Плуунз, Ричард III: 567
 Плутарх I: 409; II: 25, 26, 317
 По, Эдгар Аллан I: 268, 269; II: 519, 661
 Поле, Жан-Жак I: 267
 Поло, Марко II: 848
 Порете, Маргарита I: 579—583
 Порта, Джакомо делла II: 445
 Порта, Джованни Баттиста делла I: 180
 Портман, Адольф III: 384
 Поу, Карла II: 999

Прокл II: 501, 671, 730
Пруст, Марсель II: 140
Псевдо-Дионисий Ареопагит I:
442, 606, 610, 612, 614; II:
451, 468, 516, 574, 600, 611,
713
Птолемей, Клавдий II: 415
Пуайе, Бернар II: 374
Пулен, Жак III: 256
Пэкстон, Джозеф II: 346, 347
Пюисегюр, маркиз де (Аман-Ма-
ри-Жак де Шатене) I: 232,
240—242, 245, 246, 418, 420

Раймунд Луллий II: 504
Раймунд Капуанский I: 103, 110
Райне, Арнульф II: 132
Райт, Томас II: 543, 819
Райт, Фрэнк Ллойд III: 566, 758
Райх, Вильгельм I: 310; III: 870
Райхерт, Клаус II: 865
Райцле, Вольфганг III: 815
Ранер, Карл III: 69
Ранк, Отто I: 325; II: 207
Ранке-Гравес, Роберт фон III: 314
Рафаэль II: 79
Реган, Лео III: 459
Редон, Одилон I: 353; II: 519
Рейнолдс, Питер К- III: 376
Рейносо, Пабло III: 9
Рейш, Грегор II: 489
Рётцер, Флориан III: 357
Рибера, Хусепе де II: 102
Ридель, Вольфганг III: 243
Рикардо, Давид III: 686
Рильке, Райнер Мария I: 66, 307,
400, 424; II: 443, 616, 825
Рим, Вольфганг I: 534
Рисман, Дэвид III: 698
Риттер, Иахим II: 873
Рихтере, Кристиан III: 515
Рич, Дэвид I: 344
Ришар Сен-Викторский I: 631
Робертсон, Роланд II: 1011
Рогозов, Леонид Иванович III: 77
Роджер, Джордж II: 244

Роджерс, Ричард II: 465
Родлер, Иеронимус II: 956, 958
Родс, Сесиль II: 857, 938, 939,
955
Розенкранц, Карл II: 811
Розенцвейг, Франц II: 779, 780,
782, 785
Розеншток-Хюсси, Ойген I: 432;
II: 784—788, 838; III: 150
Ролз, Джон III: 288—290
Ромбах, Генрих II: 322
Ромм, Жильбер III: 633
Ронелл, Авитал III: 605
Ротонди, Мишель III: 52, 253
Руге, Арнольд III: 649
Рузвельт, Теодор II: 992
Рузвельт, Франклин Делано II:
991; III: 705
Руссо, Жан-Жак I: 895, 601; II:
562, 618; III: 284
Рэ, Ман II: 1020
Рэнд, Эйн II: 946

Сад, Донасьен, Альфонс Фран-
суа, маркиз де I: 140; II: 370
Сайд, Эдвард II: 852
Саллес, Эвандро I: 96
Самсонов, Элизабет фон II: 298
Сартр, Жан-Поль I: 369, 646,
667, 947; III: 98, 102, 744
Сасаки, Юичиро III: 136
Сафо III: 894
Сваммердам, Иоганн III: 582
Сенека, Луций Анний II: 191,
221, 324, 326, 744—746
Сен-Жюст, Луи Антуан Леон III:
401
Сеннет, Ричард II: 877
Сен-Симон, Клод Анри де Рув-
руа I: 245
Сепульведа II: 821
Сервий Туллий II: 310
Серре, Мишель I: 425, 435; III:
371, 400, 496, 683, 771
Сийес, Эмманюэль Жозеф III: 16
Силби, Эбенезер I: 239

- Симмонс, Дэн III: 734
 Симон Волхв III: 809
 Скай, Алисон III: 668
 Скиннер Б. Ф. III: 444
 Скоби, Алекс III: 643
 Скофидио, Рикардо III: 680, 681
 Смит, Адам III: 250, 496
 Сноу, Чарльз Перси III: 244
 Сократ I: 145, 146, 204, 206, 214,
 437, 440; II: 356, 360, 382,
 397, 594; III: 397
 Солери, Паоло III: 667
 Солон II: 15
 Спиноза, Барух I: 177, 612; II:
 469, 484; III: 72, 431, 823
 Спуйбрёк, Ларе III: 298
 Сталин, Иосиф Виссарионович
 III: 438, 725
 Станьино, Бернандино II: 640
 Стенсен, Нильс I: 101
 Стона, Мишель III: 668
 Стоукс, Дэйл III: 49
 Стэнли, Генри Мортон II: 920,
 938, 939, 980
 Сулла, Луций Корнелий II: 313,
 745
 Сун-цзы III: 423
 Сухраварди, Шихабалдин I: 584,
 586, 587
 Сципион Африканский Младший
 II: 310
 Талейран, Шарль Морис де III:
 625, 630
 Таллемер, Аксель III: 480, 482
 Гард, Габриэль III: 162, 187, 204,
 209—212, 250, 258, 295—297,
 299—302, 454, 476, 491, 496,
 505, 578, 627, 636, 816, 833,
 894
 Татиан II: 687
 Таубес, Якоб II: 778, 779, 782
 Тейп, Уолтер II: 89
 Теней, Марк II: 293
 Теофил Антиохийский II: 687
 Тереза Авильская II: 279
 Тернер Д. А. III: 114, 116
 Тертуллиан, Квинт Септимий
 Флоренс II: 771
 Тесла, Никола III: 148
 Тестелен, Анри II: 64
 Теш, Бруно, III: 109
 Тиллих, Пауль III: 844
 Тимм, Герман I: 180; II: 140
 Тит, Флавий Веспасиан (рим-
 ский император) II: 746
 Тициан I: 207; II: 878
 Тодд, Эммануэль III: 690
 Тодоров, Цветан I: 395
 Тойнби, Арнольд Джозеф II: 195
 Тойффель, Патрик III: 306
 Токвиль, Алексис де III: 684
 Толлис, Раймонд III: 712
 Томатис, Альфред I: 256, 273,
 308, 516, 517, 522—524; II:
 209
 Томкинс, Кельвин III: 190
 Трансильванус, Максимилиан
 II: 860
 Траян, Марк Ульпий (римский
 император) II: 436, 437, 439,
 441, 761
 Труа, Кретьен де III: 901
 Тцара, Тристан III: 818
 Уайлд, Джеймс II: 823
 Уайтхед, Альфред Норт II: 859;
 III: 217, 220, 243, 296
 Ужика, Андрей III: 327, 734
 Уигли, Марк III: 672
 Уилбер, Кен II: 551
 Уилсон, Фрэнк Р. III: 377
 Уилсон, Эдвард III: 767
 Уильямс, Робби III: 753
 Уиткин, Джоэл-Питер I: 165
 Уитмен, Уолт III: 592
 Уолкер, Барбара I: 289
 Уоллес, Марджори I: 454
 Уорд, Барбара III: 336
 Уорхол, Энди I: 196, 200, 414,
 476, 484, 513
 Уотлинг, Джон II: 930
 Урбан VI (папа) I: 437
 Уэллесли-Миллер, Шон III: 479

- Файхмайр, Иоганн Михаэль II: 801
 Фалес Милетский I: 15, 25, 26, 31, 373
 Фарнезе, Елизавета II: 53
 Фаузер, Алоиз II: 52
 Фелиситас из Карфагена I: 705
 Феллини, Федерико I: 86
 Феодосий I (восточноримский император) II: 234
 Фернандес, Алехо II: 964
 Фёрстер, Хайнц фон III: 747, 749, 750
 Фехнер, Густав Теодор III: 241
 Филипп IV Красивый II: 797
 Филипп V II: 53
 Филон Александрийский II: 715, 746
 Финдайзен, Андреас Лео I: 344, 543
 Фине, Оронсе II: 932
 Фихте, Иоганн Готлиб I: 260—265, 277; II: 557, 563, 649, 762, 763; III: 201, 733, 747
 Фичино, Марсилио I: 103, 118—125, 142, 144, 147—148, 218—225, 266; II: 368, 495
 Фишль, Эрик III: 608, 869
 Фладд, Роберт II: 480, 494, 525
 Флаш, Курт II: 546, 563, 574
 Флоренский, Павел I: 159, 161—162; III: 474
 Флюри, Фердинанд III: 106, 107
 Флюссер, Вилем II: 142; III: 53, 300, 499, 514, 516, 520, 527, 528, 531, 534, 551, 569, 625
 Фока Византийский II: 454
 Фома Аквинский I: 425, 442, 606, 640
 Фонтана, Доменико II: 445
 Фостер, Норман II: 463
 Форстер (Фостер), Георг II: 855, 980
 Форстер, Рейнгольд II: 981, 982
 Форстер, Эдвард Морган III: 510
 Фоссати, Гаспар II: 456
 Фра Мауро II: 851, 929
 Фрай, Отто II: 1018; III: 46, 477, 758
 Фрайер, Ханс II: 914, 915
 Франк, Георг II: 833
 Франциск I II: 967
 Франциск Ксавьер (миссионер-незудит) II: 977
 Франческа, Пьеро делла I: 53
 Фрейд, Зигмунд I: 125, 204, 223, 224, 231, 252, 258, 259, 301, 303, 310, 420, 473, 477—479; II: 67, 165, 203, 417, 738, 782, 938—940; III: 28, 157, 163, 245, 505, 559, 698, 713, 753, 785
 Фридлиндер, Людвиг III: 865
 Фридлиндер, Соломон I: 328
 Фридман, Иона III: 300, 667
 Фридрих II Гогенштауфен II: 351—353
 Фридрих II Прусский I: 133; II: 982, 983
 Фризий, Гемма II: 92
 Фриш, Макс III: 742
 Фробениус, Лео II: 264, 362
 Фронтизи-Дюкруза, Франсуаза I: 173
 Фуггер, Антон II: 876, 877
 Фуггер, Раймунд II: 860
 Фуджихата, Масаки II: 87
 Фуко, Мишель I: 88, 142; II: 38, 129, 262, 474, 668, 892; III: 510
 Фукс, Петер I: 621
 Фуллер, Ричард Букминстер II: 195; III: 335—337, 348, 478, 483, 486, 488, 499, 561—564, 566—568, 667, 758
 Фуртенбах, Мартин II: 860
 Фурье, Шарль I: 245
 Хааке, Ханс II: 133
 Хабер, Фриц III: 87, 92, 96, 97, 99, 100, 106, 110
 Хабермас, Юрген II: 501
 Хайдеггер, Мартин I: 44, 85, 88, 313, 342, 343, 346, 348, 350, 351, 554, 556, 558, 646, 648, 649; II: 18, 35, 40, 43, 67, 76,

- 78, 140—143, 200, 266, 347,
417, 438, 470, 615, 617, 674,
730, 809, 810, 826, 900, 909,
912, 914, 918; 941; III: 9, 74,
118, 140—143, 216, 220—,
223—226, 237, 313, 322, 367,
369, 374, 393, 395, 433, 435,
458, 506, 516, 518—520, 523,
524, 527, 530, 531, 583, 714,
737, 739, 741, 743—745, 751,
775, 776
- Хайек, Фридрих Август фон III:**
281
- Хайнзон, Гуннар II:** 251, 862
- Хайнрикс, Ханс-Юрген III:** 32
- Хайнрих, Клаус III:** 250
- Халлер, Альбрехт фон I:** 130
- Хаммурапи (вавилонский царь)**
II: 189
- Хан, Георг Давид II:** 861
- Хандке, Петер II:** 699
- Хардт, Майкл III:** 614, 841, 843
- Харрис, Артур III:** 133
- Харрисон, Майкл III:** 705
- Хаслингер, Йозеф, III:** 116
- Хаузер, Каспар I:** 385, 386
- Хаусвольф, Анника фон I:** 74
- Хаускеллер, Михаэль II:** 344
- Хаусхофер, Карл II:** 859
- Хеер, Фридрих I:** 58
- Хеердт, Вальтер III:** 110
- Хейден, Питер ван дер II:** 630
- Хейзинг, Клаас I:** 180
- Хейзинга, Йохан III:** 740
- Хексэм, Ирвин II:** 999
- Хёлер, Гертруда II:** 108, 877
- Хёллер, Карстен III:** 561
- Хельмот, Жан-Баптист ван I:** 230
- Хельвейн, Готфрид II:** 661
- Херрон, Рон III:** 667
- Херрхаузен, Альфред II:** 877
- Херцог, Роман II:** 879
- Хессе, Эва III:** 399
- Хилон Спартанский II:** 15
- Хильдегарда Бингенская I:** 372—
377, 393
- Хлебников, Велимир III:** 563
- Хобсбаум, Эрик III:** 688, 846
- Хойбах, Фридрих I:** 90
- Хокинс, Стивен II:** 501
- Холлейн, Ханс II:** 262
- Хонсу-Мес I:** 283
- Хоппер, Эдвард III:** 601
- Хорн, Ребекка III:** 386, 443
- Хрди, Сара Блаффер III:** 763,
765, 767, 769
- Христофор, св. I:** 319; II: 97,
103—108, 873
- Хубилай, хан II:** 314
- Хут, Ян III:** 532
- Хуфеланд, Кристиан Вильгельм**
I: 248; III: 123
- Хуфеланд, Фридрих I:** 248—
250, 252—259, 261, 420, 529
- Хэзинг, Хельга III:** 852
- Хэмблин, Ричард III:** 95
- Цабель, Бернд III:** 357
- Цезарь, Гай Юлий I:** 188; II:
235, 313, 587, 640, 720, 722,
723, 745; III: 633
- Целларий, Андреас II:** 808
- Цензорин I:** 428, 433, 434, 440
- Церелий I:** 428
- Цибермайер, Матиас II:** 834
- Цик, Штефан I:** 302
- Циммер, Генрих III:** 39, 40
- Циммерман, Станислас III:** 529
- Цинна, Луций Корнелий II:**
745
- Цинь Шихуанди (первый Китай-**
ский император) II: 314, 315
- Цицерон, Марк Туллий II:** 484,
744; III: 199, 270, 476
- Цугманн, Геральд III:** 677
- Чезвик, Билл III:** 251
- Чейз, Чарльз А. II:** 518
- Черчилль, Уинстон II:** 984; III:
134
- Чессмэн, Черил III:** 113
- Чимерлино, Джованни II:** 931,
932
- Чоран, Эмиль II:** 653

- Шайхет, Аркадий III: 15
 Шама, Симон III: 696
 Шамберг, Мортон III: 457
 Шанкара, Ачарайя I: 329
 Шарль, Жак Александр Сезар III: 625, 730
 Шастене, Арман-Мари Жак де I: 240
 Шатобриан, Франсуа Рене де II: 629
 Швайцер, Эрнст Отто III: 646
 Шедель, Гартман II: 295
 Шеер, Герман III: 172
 Шекспир, Уильям I: 228, 229; II: 680, 863, 924; III: 90
 Шелер, Макс III: 469, 714
 Шеллинг, Карл Эберхард фон I: 242
 Шеллинг, Фридрих Вильгельм Йозеф фон I: 241, 242, 247, 253, 254, 420; II: 115, 938; III: 163, 201
 Шенберг, Арнольд I: 211
 Шёнвизе, Эрнст III: 185
 Шёнер, Иоганнес II: 817
 Шерман, Синди I: 196, 201
 Шёффер, Николас III: 667
 Шиллер, Фридрих I: 513, 514; II: 552, 743; III: 724, 739
 Шиллинг, Альфонс III: 57
 Шипп, Кристоф I: 860
 Шиппер, Кристофер I: 315, 316
 Шлавик, Андреас III: 828
 Шлеммер, Оскар I: 205; II: 148
 Шлиман, Генрих II: 283
 Шмитт, Карл I: 463; II: 691, 901, 918—921, 927, 943; III: 129, 422, 509, 713, 737
 Шмитц, Герман I: 138; II: 140, 141, 825, 838; III: 30, 143, 223, 316, 524, 531
 Шнайдер, Эмиль I: 266
 Шолль-Латур, Петер II: 955
 Шопенгауэр, Артур I: 15, 245, 266; II: 901, 902; III: 163, 196, 201, 204, 305, 703
 Шоу, Джеффри III: 479, 750
 Шпеер, Альберт II: 459; III: 12, 16, 97, 619, 644, 647, 648, 650, 657, 658
 Шпенглер, Освальд I: 77, 78; II: 195, 233, 260—262, 264, 323, 361—363, 451, 452, 857, 1013; III: 230, 319, 341, 646, 738
 Шпис, Иоганн III: 802
 Шпиц, Рене I: 307, 455
 Шпрингер, Аксель III: 257
 Шрадер, Герхард III: 115
 Шрамм, Перси Эрнст II: 53, 756
 Шребер, Даниэль Пауль I: 116; II: 538, 610, 837
 Шремпп, Юрген III: 663
 Шрётер, Вернер I: 507
 Штайгер, Отто II: 862
 Штайнер, Рудольф I: 598
 Штайнкопф, Вильгельм III: 97
 Штекель, Вильгельм I: 85
 Штиглиц, Иоганн I: 268
 Штокхаузен, Карлхайнц II: 528—
 Штраус, Вото III: 200
 Штраус, Давид Фридрих III: 242
 Штраус, Лео III: 287, 425
 Штрут, Томас II: 147, 887
 Шуберт Готтхильф Генрих фон III: 163
 Шульце, Герхард III: 849
 Шульце-Филитц, Эхкард III: 667, 848
 Шумпетер, Йозеф III: 811

 Эвклид Мегарский I: 440
 Эйзен, Чарльз I: 130
 Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид II: 459
 Эйлер, Леонард II: 547
 Эйхендорф, Йозеф фон II: 809
 Эккарт, Дитрих III: 650
 Элиассон, Олафур III: 337—340, 830
 Элленбергер, Генри I: 127, 266, 418
 Элькано, Себастьян II: 837, 850, 855, 923, 925; III: 67
 Эль Лисицкий II: 515; III: 161, 558, 560, 579
 Эльмгрен, Михаэль III: 828
 Эль-Хассен, Роза II: 1005

Элюар, Поль II: 876; III: 817
Эмерсон, Ральф Уолдо I: 352; II:
902, 904; III: 413
Эммерих, Анна Катарина I: 252
Эмпедокл II: 9, 384, 526
Энгельс, Фридрих III: 400, 869
Энгр, Жан-Огюст-Доминик III: 38
Эннемозер, Йозеф I: 243
Эпикур II: 296; III: 431
Эратосфен Киренский II: 215, 216
Эриугена II: 614
Эрнст, Макс II: 876
Эсхил III: 464
Эхнатон. См. Аменхотеп IV
Эшенмайер, Карл Август I: 242

Эшер, Мориц Корнелис III: 595

Юлиан, Флавий Клавдий (рим-
ский император) II: 727
Юлий II (папа) II: 802
Юнг, Карл Густав I: 125, 458
Юстин II: 687

Яков (Иаков) Ворогинский I:
149; II: 103, 704, 770
Ямвлих II: 516, 540, 730
Янус, Людвиг I: 256; III: 852
Ясперс, Карл I: 113; III: 230, 831

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАМЕЧАНИЕ	7
ПРОЛОГ. ПЕННОРОЖДЕННОСТЬ.....	22
Воздух в неожиданном месте.....	22
Толкование пены.....	27
Плодородные пены — мифологическая интермедия	34
Природные пены, атмосферы.....	43
Человеческие пены.....	49
Пены в эпоху знания.....	60
Революция, ротация, инвазия.....	65
Когда эксплицируется имплицитное: феноменология.....	69
Явление чудовищного.....	74
Мы никогда не были революционерами.....	81
ВВЕДЕНИЕ. ВОЗДУХОТРАСЕНИЕ.....	84
1. Газовая война, или Атмотеррористическая модель.....	84
2. Нарастающая эксплицитность.....	122
3. Air/Condition.....	150
4. Мировая душа в агонии, или Появление иммунных систем.....	190
5. Программа.....	248
ПЕРЕХОДНАЯ ГЛАВА. НЕ КОНВЕНЦИЯ, НЕ ВЕГЕТАЦИЯ. <i>Приближение к пространственным множествам, которые, к сожалению, называют обществами .</i>	. 260
ГЛАВА 1. ИНСУЛЯЦИИ. К теории капсул, островов и теплиц .	. 309
А. Абсолютные острова.....	318
В. Атмосферные острова.....	339
С. Антропогенные острова.....	359
1. Хиротоп — подручный мир.....	366

2. Фонотоп — бытие в радиусе слышимости	380
3. Утеротоп — мы-пещеры, миры-инкубаторы	390
4. Термотоп — пространство комфорта	400
5. Эрототоп — поля ревности, ступени желаний	409
6. Эрготоп — сообщества совместного напряжения и борющиеся царства.....	416
7. Алетотоп — республики знаний.....	432
8. Танатотоп — провинция божественного	446
9. Номотоп — первая теория конституции ...	473

Г Л А В А 2. INDOORS. Архитектура пены..... 508

A. В чем мы живем и движемся и существуем. <i>О современной архитектуре как экспликации обитания</i>.....	508
1. Пребывание; остановка и хранилище	514
2. Приемники, устройства привыкания	524
3. Включение и иммерсия.....	531
4. Жилища как иммунные системы.....	542
5. Жилая машина, или Подвижная пространственная самость.....	554
6. Адресный менеджмент, местоположение конечного потребления, регуляция климата	570
B. Яченстая структура, эгосферы, аутоконтейнеры. <i>К осуществляемой с помощью апартаментов экспликации коизолированного существования</i> 577	
1. Ячейка и мировой пузырь.....	578
2. Самоудвоения в жилище.....	592
C. Foam City. <i>Макроинтерьеры и городские сооружения для собраний эксплицируют массовые симбиотические ситуации</i>.....	613
1. Национальное собрание.....	616
2. Коллекторы: к истории ренессанса стадионов. 636	
3. Дискретные синоды: к теории конгрессов	656
4. <i>Foam City</i> : о множествах городских пространств.....	665

Г Л А В А 3. ПОДЪЕМ И КОМФОРТ. *К критике чистого каприза* 683

1. По ту сторону нужды.....	683
2. Фикция недостаточного существа	711
3. Легкомыслие и скука.....	724
4. <i>Your private sky</i> : мыслить облегчение.....	745
5. Первая левитация: к естественной истории подъема	761
6. Катастрофа неолитических матерей.....	781

Научное издание

Петер Слотердаик

СФЕРЫ

ПЛЮРАЛЬНАЯ СФЕРОЛОГИЯ

Том III

ПЕНА

Редактор издательства *Т. Л. Ломакина*

Художник *П. Палей*

Технический редактор *Е. Г. Коленова*

Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г.

Сдано в набор 26.08.09. Подписано к печати 15.10.10.

Формат 60 X 84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура School Book.

Печать офсетная. Усл.-печ. л. 53.9. Уч.-изд. л. 46.3.

Тираж 1000 экз. Тип. зак. № 3450. С 207

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука» РАН

199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1

E-mail: main@nauka.nw.ru

Internet: www.naukaspb.spb.ru

Первая Академическая типография «Наука»

199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-026346-8



9 785020 263468

Петер Слотердаjk

Сферы III

пена

«Пена.

Плюральная сфералогия» -
заключительная часть философской
трилогии Петера Слотердаjка «Сферы»,
впечатляющей попытки реконструкции истории
человечества с точки зрения имманентной топологии
существования. Развивая программные
идеи первых двух томов, Слотердаjk разворачивает в
«Пене» философскую теорию современной эпохи, главной
характеристикой которой он считает освобождение от
метафизического моноцентризма и переход к пониманию жизни
как децентрализованного, мультифокального и полиархического
явления. В остроумном образе пены находит свое выражение
плюрализм проектов мира, что позволяет автору, с одной стороны,
дать оригинальное философско-антропологическое истолкование
современного индивидуализма, а с другой стороны - описать характер
тон связи, которая объединяет индивидов в относительно стабильную
структуру, в социологической традиции именуемую «обществом».
Таким образом, именно в морфологии человеческих жизненных
пространств может быть найден ключ к пониманию существа
самых актуальных антропологических и социальных проблем.
В этой связи получают философское осмысление такие
социально-политические, культурные и технические
феномены, как современная архитектура и «общество
всеобщего благосостояния», концептуальное
искусство и политический терроризм,
орбитальные космические полеты
и оружие массового
уничтожения.